

ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

2009

№1–2 (71)

весна

« Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое испкупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть. »

Е. А. Баратынский

Главный редактор

Марина Саввиных

Заместители главного редактора

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

Иван Клиновой

Елена Тимченко

Михаил Стрельцов

Секретарь

Наталья Слинкова

Дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

Редакционная коллегия

Николай Алешков

Набережные Челны

Алексей Бабий

Красноярск

Владимир Балашов

Саяногорск

Юрий Беликов

Пермь

Светлана Василенко

Москва

Михаил Гундарин

Барнаул

Дмитрий Мурзин

Кемерово

Александр Колесов

Владивосток

Сергей Кузнечихин

Красноярск

Валентин Курбатов

Псков

Александр Лейфер

Омск

Евгений Мамонтов

Владивосток

Евгений Попов

Москва

Лев Роднов

Ижевск

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Александр Силаев

Красноярск

Михаил Успенский

Красноярск

Илья Фояков

Санкт-Петербург



Николай Гоголь

Торжество духовной трезвости

Письма к друзьям

О лиризме наших поэтов

Поведём речь о статье, над которую произнесён смертный приговор, т. е. о статье под названием «О лиризме наших поэтов». Прежде всего, благодарность за смертный приговор! Вот уже во второй раз я спасён тобою, о, мой истинный наставник и учитель! Прошлый год твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотел послать Плетнёву в «Современник» мои сказания о русских поэтах; теперь ты вновь предал уничтожению новый плод моего неразумия. Только один ты меня ещё останавливаешь, тогда как все другие торопят неизвестно зачем. Сколько глупостей успел бы я уже надумать, если бы только послушался других моих приятелей! Итак, вот тебе, прежде всего, моя благодарственная песнь! А затем обратимся к самой статье. Мне стыдно, когда подумаю, как до сих пор ещё я глуп и как не умею заговорить ни о чём, что поумнее. Всего нелепее выходят мысли и толки о литературе. Тут как-то особенно становится всё у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на противоречие. Вновь повторяю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твёрдый взлёт в свете разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносове и Державине, даже у Пушкина слышится этот строгий лиризм повсюду, где ни коснётся он высоких предметов. Вспомни только стихотворения его: к пастырю церкви, Пророк и, наконец, этот таинственный побег из города, напечатанный уже после его смерти. Перебери стихи Языкова и увидишь, что он всякой раз становится как-то неизмеримо выше и страстей и самого себя, когда прикоснётся к чему-нибудь высшему. Приведу одно из его даже молодых стихотворений, под названием Гений; оно же не длинно:

Когда, гремя и пламеня,
Пророк на небо улетал,
Огонь могучий проникал
Живую душу Елисея.
Святými чувствами полна,
Мужала, крепла, возвышалась
И вдохновеньем озарялась
И бога слышала она.

Так гений радостно трепещет,
Своё величье познаёт,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полёт.
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зреет для чудес,
И миру новые светила —
Дела избранника небес.

Какой свет и какая строгость величия! Я изъяснял это тем, что наши поэты видели всякой высокой предмет в его законном соприкосновении с верховным источником лиризма — богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской природы уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета вызывали у наших поэтов этот лиризм, близкий к библейскому. Первый из них — Россия. При одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, всё становится у него шире, и он сам как бы облачается величием, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более, нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь к отечеству отозвалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем, довольно чистосердечных, только плюнь на Россию. Между тем заговорит Державин о России — слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Одна простая любовь к отечеству не дала бы сил не только Державину, но даже и Языкову, выражаться так широко и торжественно всякой раз, где ни коснётся он России. Например, хоть бы в стихах, где он изображает, как наступил было на неё Баторий:

...Повелительный Стефан
Один могущественный стан
Уже сбил толпы густые —
Да ниспровергнет скопятия,
Да уничтожится Россия!
Но ты, к отечеству любовь,
Ты, чем гордились наши деды,
Ты ополчилась. Кровь за кровь —
И он не праздновал победы!

Эта богатырски-трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному промыслу, который так явно слышен в судьбе нашего отечества. Сверх любви участвует здесь сокровенный ужас

при виде тех событий, которым повелел бог совершиться в земле, назначенной быть нашим отечеством, прозрение прекрасного нового здания, которое покамест не для всех, видимо, зиждется и которое может слышать всеслышащим ухом поэзии поэт или же такой духоведец, который уже может в зерне прозревать его плод. Теперь начинают это слышать понемногу и другие люди, но выражаются так неясно, что слова их похожи на безумие. Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодёжь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая то, что их мысли ещё глупые ребенки, вот и всё. И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдрут: из них один только бывал избранник божий, которого сказанья вносились в святую книгу еврейского народа; все же прочие, вероятно, наговаривали много лишнего, но тем не менее они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умели сказать здраво и ясно; иначе народ побил бы их камнями. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, что сильнее других слышит божью руку на всём, что ни сбывается в ней, и чует приближение иного царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов. И этого не может быть у поэтов других наций, как бы ни сильно они любили свою отчизну и как бы ни жарко умели выражать такую любовь свою. И в этом не спорь со мною, прекрасный друг мой!

Но перейдём к другому предмету, где также слышится у наших поэтов тот высокий лиризм, в котором идёт речь, то есть — любви к царю. От множества гимнов и од царям поэзия наша, уже со времён Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что их чувства искренни — об этом нечего и говорить. Только тот, кто наделён мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, лёгкие соображенья, увидит здесь лесть и желанье получить что-нибудь, и такое соображение оснует на каких-нибудь ничтожных и плохих одах тех же поэтов. Но тот, кто более, нежели остроумен, кто мудр, тот остановится перед теми одами Державина, где он очерчивает властелину широкий круг его благотворных действий, где сам, со слезою на глазах, говорит ему о тех слезах, которые готовы заструиться из глаз, не только русских, но даже бесчувственных дикарей, обитающих на концах его империи, от одного только прикосновения той милости и той любви, какую может показать народу одна полномочная власть. Тут многое так сказано сильно, что если бы даже и нашёлся такой государь, который позабыл бы на время долг свой, то, прочитавши сии строки, вспомнит он вновь его и умилится сам перед святостью званья своего. Только холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине; но кто сердцем не камень, тот не прочтёт без умиленья тех замечательных строф, где говорит, что если и перейдёт его мраморный истукан в потомство, так это потому только,

... Что пел я россов ту царицу,
Какой другой нам не найти
Ни здесь, ни впрямь в пространном мире.
Хвались, хвались моя тем лира!

Не прочтёт он также без непритворного душевного волненья сих уже почти предсмертных стихов:

Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет:
Екатерины муза дремлет
... Петь
Уж не могу. Другим певцам греметь
Мои оставлю ветхи струны,
Да черплют вновь из них перуны
Тех чистых пламенных огней,
Как пел я трёх царей.

Старик у дверей гроба не будет лгать. При жизни своей носил он, как святыню, эту любовь, унёс и за гроб её, как святыню. Но не об этом речь. Откуда взялась эта любовь? — вот вопрос. Что весь народ слышит её каким-то сердечным чутьём, а потому и поэт, как чистейшее отражение того же народа, должен был её услышать в высшей степени — это объяснит только одну половину дела. Полный и совершенный поэт ничему не предаётся безотчетливо, не проверив его мудростию полного своего разума. Имея ухо слышать вперёд, заключа в себе стремление воссоздавать в полноте ту же вещь, которую другие видят отрывочно, с одной или двух сторон, а не со всех четырёх, он не мог не прозревать развития полнейшего этой власти. Как умно определял Пушкин значение полномочного монарха и как он вообще был умён во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жёсткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона не далеко уйдёшь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; — для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединённые Штаты. А что такое Соединённые Штаты? Мертвина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди их одного такого, который бы движением палочки всему подавал знак, никуда не пойдёт концерт. А, кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нём и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счёт других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласия!» Как метко

выражался Пушкин! Как понимал он значение великих истин! Это внутреннее существо — силу самодержавного монарха он даже отчасти выразил в одном своём стихотворении, которое между прочим ты сам напечатал в посмертном собрании его сочинений, выправил даже в нём стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: К Н***. Вот её происхождение. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Всё в залах уже собралось; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул «Илиаду» и увлёкся нечувствительно её чтением во всё то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошёл он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своём следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатление, и плодом его была следующая величественная ода, которую повторяю здесь всю, она же вся в одной строфе:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошёл с таинственных вершин
И вынес нам свои скрыжали.
И что ж? Ты нас обрёл в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира.
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаясь лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял нас, бессмысленных детей.
Разбив листы своей скрыжали.
Нет! Ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Сходить под тень долины малой,
Ты любишь гром небес и также внемлешь ты
Журчанью пчел над розой алой.

Оставим личность императора Николая и разберём, что такое монарх вообще, как божий помазанник, обязанный стремиться вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает бог, и вправду ли был Пушкин уподобить его древнему боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратьев, кто страшно ответственностью за них пред богом освобождён уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льёт, может быть, незримо такие слёзы и страждет такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик божий, неумолкаемо к нему вопиющий, — тот может быть уподоблен древнему боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрыжали, проклявши ветрено-кружащееся племя, которое, наместо того чтобы стремиться к тому, к чему всё должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя самих созданных кумиров. Но Пушкина остановило ещё

высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества, вымолило её криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви божией, которая бы всё умела простить нам — и забвенье долга нашего, и самый ропот наш, — всё, что не прощает на земле человек, чтобы один затем только собрал свою власть в себя самого и отделился бы от всех нас и стал выше всего на земле, чтобы чрез то стать ближе равно ко всем, снисходить с вышины ко всему и внимать всему, начиная от грома небес и лиры поэта до — незаметных увеселений наших.

Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин, задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием возникнувшего в душе его ответа. Не мешает заметить, что это был тот поэт, который был слишком горд и независимостью своих мнений и своим личным достоинством. Никто не сказал так о себе, как он:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа;
Вознёсся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа.

Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты; но положим, если бы даже стих остался в своём прежнем виде, он всё-таки послужил бы доказательством, и даже ещё большим, как Пушкин, чувствуя своё личное преимущество, как человека, перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость званья своего перед званием венценосца и умел благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величество своего званья.

Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен, наконец, сделаться весь одна любовь, и таким образом станет видно всем, почему государь есть образ божий, как это признаёт, покуда чутьём, вся земля наша. Значенье государя в Европе неминуемо приблизится к тому же выраженью. Всё к тому ведёт, чтобы вызвать в государях высшую, божескую любовь к народам. Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь: всякое постороннее прикосновение жестоко разболевшимся его ранам; всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся, наконец, до того, что разорвётся от жалости и бесчувственное сердце, и сила ещё доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, ещё доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такую, какую никогда ещё не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Всё полюбивши в своём государстве, до единого человека всякого сословья и званья, и обративши всё, что ни есть в нём, как бы в собственное тело своё, возболев духом о

всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своём, государь приобретёт тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству, и которого прикосновение будет не жёстко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратиться в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение своё — быть образом того на земле, который сам есть любовь. В Европе не приходило никому в ум определять высшее значение монарха. Государственные люди, законоискусники и правоведцы смотрели на одну его сторону, именно, как на высшего чиновника в государстве, поставленного от людей, а потому не знают даже, как быть с этой властью, как ей указать надлежащие границы, когда, вследствие ежедневно изменяющихся обстоятельств, бывает нужно то расширить её пределы, то ограничить её. А через это и государь и народ поставлены между собой в странное положение: они глядят друг на друга чуть не таким же точно образом, как на противников, желающих воспользоваться властью один на счёт другого. Высшее значение монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю бога создать её в России в её законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякой раз, как только излетает из уст их слово царь. Его слышат у нас и не поэты, потому что страницы нашей истории слишком явно говорят о воле промысла: да образуется в России эта власть в её полном и совершенном виде. Все события в нашем отечестве, начиная от порабощенья татарского, видимо, клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот всего в государстве, всё потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и тёмному, какую воздвигнул царь в своём государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью, и всё придёт в сознание сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия. Смотри также, каким чудным средством, ещё прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти как самому государю, так и его подданным, уже брошены были семена взаимной любви в сердца! Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принёс и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным. Любовь вошла в нашу кровь, и завязалась у нас всех кровное родство с царём. И так слился и стал одно-едино с подвластным повелителем, что нам всем теперь видится всеобщая беда — государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него, или подданный позабудет своего государя и от него отрешится. Как явно тоже оказывается воля бога — избрать для этого фамилию

Романовых, а не другую! Как непостижимо это возведение на престол никому неизвестного отрока! Тут же рядом стояли древнейшие родом, и притом мужи доблести, которые только что спасли своё отечество: Пожарский, Трубецкой, наконец князя, по прямой линии происходившие от Рюрика. Всех их мимо произошло избрание, и ни одного голоса не было против: никто не посмел предъявлять прав своих. И случилось это в то смутное время, когда всякой мог вздорить и оспаривать, и набирать шайки приверженцев! И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линии родственником царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле, так что не только им притесняемые и казнимые бояре, но даже и самый народ, который почти ничего не потерпел от него, долго повторял поговорку: «Добра была голова, да слава богу, что земля прибрала». И при всём том всё единогласно, от бояр до последнего бобыля, положило, чтоб он был на престоле. Вот какие у нас делаются дела! Как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов, которые слышали полное определение царя в книгах Ветхого Завета и которые в то же время так близко видели волю бога на всех событиях в нашем отечестве, — как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов не был исполнен библейских отголосков? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы облечь такую суровую трезвостью их звуки: для этого потребно — полное и твёрдое убеждение разума, а не одно безотчётное чувство любви, иначе звуки их вышли бы мягкими, как у тебя в прежних твоих молодых сочинениях, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нет, есть что-то крепкое, слишком крепкое у наших поэтов, чего нет у поэтов других наций. Если тебе этого не видится, то ещё не доказывает, чтобы его вовсе не было. Вспомни сам, что в тебе не все стороны русской природы; напротив, некоторые из них взошли в тебе на такую высокую степень и так развивались просторно, что через это не дали места другим, и ты уже стал исключением из общерусских характеров. В тебе заключились вполне все мягкие и нежные струны нашей славянской природы; но те густые и крепкие её струны, от которых проходит тайный ужас и содрогание по всему составу человека, тебе не так известны. А они-то и есть родники того лиризма, о котором идёт речь. Этот лиризм уже ни к чему не может возноситься, как только к одному верховному источнику своему — богу. Он суров, он пуглив, он не любит многословия, ему приторно всё, что ни есть на земле, если только он не видит на чём впечатления божьего. В ком хотя одна крупинка этого лиризма, тот, несмотря на все несовершенства и недостатки, заключает в себе суровое, высшее благородство душевное, перед которым дрожит сам и которое заставляет его бежать от всего, похожего на выраженье признательности со стороны людской. Собственный лучший его подвиг ему вдруг опротивеет, если за него последует ему какая-нибудь награда: он слишком чувствует, что всё высшее должно быть выше награды. Только по смерти Пушкина обнаружились его истинные отношения к государю и тайны двух его лучших сочинений. Никому не говорил он при жизни о

чувствах, его наполнявших, и поступил умно. После того, как вследствие всякого рода холодных газетных возгласов, писанных слогом помадных объявлений, и всяких сердитых, неопратно-запальчивых выходок, производимых всякими квасными и неквасными патриотами, перестали верить у нас на Руси искренности всех печатных излияний, — Пушкину было опасно выходить: его бы как раз назвали подкупным или чего-то ищущим человеком. Но теперь, когда явились только после его смерти эти сочинения, верно, не отыщется во всей России такого человека, который посмел бы назвать Пушкина льстецом или угодником кому бы то ни было. Через то святыня высокого чувства сохранена. И теперь всяк, кто даже и не в силах постигнуть дело собственным умом, примет его на веру, сказавши: Если сам Пушкин думал так, то уж, верно, это сущая истина.

Царственные гимны наших поэтов изумляли самих чужеземцев своим величественным складом и слогом. Ещё недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу, и сказал в такое время, когда и сам он был раздражён противу нас, и всё в Париже на нас негодовало. Несмотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, что в одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, но, напротив, что-то свободно-величественное: и тут же, хотя это не понравилось никому из земляков его, отдал честь благородству характеров наших писателей.

Мицкевич прав. Наши писатели, точно, заключили в себе черты какой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальством, если бы их жизнь не была тому подкрепленьем. Вот что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.

Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет. Как он весь оживлялся и вспыхивал, когда шло дело к тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему! Как выжидал он первой минуты царского благоволения к нему, чтобы заикнуться не о себе, а о другом несчастном, упавшем! Черта истинно русская. Вспомни только то умиленное зрелище, какое представляет посещение всем народом ссыльных, отправляющихся в Сибирь, когда всяк несёт от себя — кто пищу, кто деньги, кто христиански-утешительное слово. Ненависти нет к преступнику, нет также и донкишотского порыва сделать из него героя, собирать его факсимили, портреты, или смотреть на него из любопытства, как делается в просвещённой Европе. Здесь что-то более: не желание оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упавший дух его, утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга. Пушкин слишком высоко ценил всякое стремление воздвигнуть падшего. Вот отчего так гордо затрепетало его сердце, когда услышал он о приезде государя

в Москву во время ужасов холеры, — черта, которую едва ли показал кто-нибудь другой из венценосцев, и которая вызвала у него сии замечательные стихи:

Небесами
Клянусь: кто жизнью своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор, —
Клянусь, тот будет небу другом,
Какой бы ни был приговор
Земли слепой.

Он умел также оценить и другую черту в жизни другого венценосца, Петра. Вспомни стихотворенье «Пир на Неве», в котором он с изумленьем спрашивает о причине необыкновенного торжества в царском доме, раздающего кликами по всему Петербургу и по Неве, потрясённой пальбою пушек. Он перебирает все случаи, радостные царю, которые могли быть причиной такого пиროвания: родился ли государю наследник его престола, именинница ль жена его, побеждён ли непобедимый враг, прибыл ли флот, составлявший любимую страсть государя, и на всё это отвечает:

Нет, он с подданным мирится,
Виноватому вину
Забывая, веселится,
Чарку пенит с ним одну.
Оттого-то пир весёлый,
Речь гостей хмельна, шумна.
И Нева пальбой тяжёлой
Далеко потрясена.

Только один Пушкин мог почувствовать всю красоту такого поступка. Уметь не только простить своему подданному, но ещё торжествовать это прощение, как победу над врагом, — это истинно божеская черта. Только на небесах умеют поступать так. Там только радуются обращению грешника ещё более, чем самому праведнику, и все сонмы невидимых сил участвуют в небесном пиришестве бога. Пушкин был знаток и оценщик верный всего великого в человеке. Да и как могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей? Замечательно, что во всех других землях писателя находят в каком-то неуважении от общества, относительно своего личного характера. У нас напротив. У нас даже и тот, кто просто кропатель, а не писатель, и не только не красавец душой, но даже временами и вовсе подленек, во глубине России отнюдь не почитается таким.

Напротив, у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живёт уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим. В одной из наших губерний, во время дворянских выборов, один дворянин, который с тем вместе был и литератор, подал было свой голос в пользу человека, совести несколько запятнанной — все дворяне обратились к нему тут же и его попрекнули, сказавши с укоризной: «А ещё и писатель!»

Искусство есть примирение с жизнью

Винovat перед тобой, душа моя! Всякий день собираюсь писать — и непостижимая неохота удерживаает. Передо мной опять Неаполь, Везувий и море! Дни бегут в занятиях, время летит так, что не знаешь, откуда взята лишняя минута. Учусь, как школьник, всему тому, чему пренебрёг выучиться в школе. Но что рассказывать об этом! Хотелось бы поговорить о том, о чём с одним тобой могу говорить: о нашем милом искусстве, для которого живу и для которого учусь теперь, как школьник. Так как теперь предстоит моё путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому же, как не тебе? Ведь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи — здесь. Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступивший в свет юноша, пришёл в первый раз к тебе, уже совершившему подороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет. Но я её вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства.

Не моё дело решить, в какой степени я поэт; знаю только то, что, прежде чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал чутьём всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало главным и первым в моей жизни, а всё прочее вторым. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба. Ещё я не давал себе отчёта (да и мог ли тогда его дать), что должно быть предметом моего пера, а уже творческая сила шевелилась и собственные обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Всё совершалось как бы независимо от моего собственного (свободного) произволения. Никогда, например, я не думал, что мне придётся быть сатирическим писателем и смешить моих читателей. Правда, что, ещё бывши в школе, чувствовал я временами расположенье к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединилась к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения — вот происхождение моих повестей! Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною ещё сызнала, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры. Ещё одно обстоятельство: мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком

состояния и классы общества, что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что её бояться, стало быть, её не следует тратить по-пустому». Я решился собрать всё дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться, — вот происхождение «Ревизора»! Это было первое моё произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка. Представление «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединенья и обдуманья строжайшего своего дела. Уже давно занимала меня мысль большого сочиненья, в котором бы предстало всё, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами видней свойство нашей русской природы. Я видел и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог предо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостаёт, что я не умею ещё ни завязывать, ни развязывать событий и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера. Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать и приобретать даже их приёмы и замашки, — а способность творить всё не возвращалась. От напряженья болела голова. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить в свет первую часть «Мёртвых душ», как бы затем, чтобы увидеть на ней, как я был ещё далёк от того, к чему стремился. После этого нашло на меня вновь безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы — и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состоянья, оторвавши меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писателем, уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над душой человеческой.

О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнёшь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с Тем, Который Один из всех доселе бывших на земле показал в Себе полное познание души человеческой, божественность Которого если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда делается уже не слеп, а просто глуп. Этим крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведён я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют её высшие степени и явления. С этих пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдёт, что даже и язык будет правилен и звучен, а слог окрепнет. И, может быть, будущий уездный учитель словесности прочтёт ученикам

своим страницу будущей моей прозы непосредственно вослед за твоей, примолвивши: «Оба писателя правильно писали, хотя и не похожи друг на друга». Выпуск книги «Переписка с друзьями», с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, не подумавши, что, прежде чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришёл в пользу мне самому. На этой книге я увидел, где и в чём я перешёл в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состоянья общества, попадает почти всякий идущий вперёд человек. Несмотря на пристрастие суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне место моё и границы, которых я, как писатель, не должен переступать.

В самом деле, не моё дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Моё дело говорить живыми образами, а не рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюка сделаться достойным производителем искусства? Мог ли бы я выставить жизнь в её глубине так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое душа человеческая? Писатель, если только он одарён творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе будет всё невпопад. Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал ему противоположного прекрасного человека? Как выставлять недостатки и недостойнство человеческое, если не задал самому себе вопроса: в чём же достоинство человека? и не дал на это себе сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Как осмеивать исключения, если ещё не узнал хорошо те правила, из которых составляешь на вид исключения? Это будет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность выстроить наместо его новый. Но искусство не разрушенье. В искусстве таятся семена созданья, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда, даже и в те времена, когда всё было невежественно. Под звуки Орфеевой лиры строились города. Несмотря на не очищенное ещё до сих пор понятие общества об искусстве, все, однако же, говорят: «Искусство есть примиренье с жизнью». Это правда. Истинное создание искусства имеет в себе что-то успокоивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не подымается в сердце движение негодования противу брата, но скорее в нём струится елей всепрощающей любви к брату. И вообще не устремляешься на порицанье действий другого, но на созерцанье самого себя. Если же создание поэта не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный горячий порыв, плод временного состоянья автора. Оно останется как примечательное явление, но не назовётся созданием искусства. Подделом! Искусство есть примиренье с жизнью! Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства. Искусство должно изобразить нам таким

образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это живые люди, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства, не выключая даже и тех, которые, не имея простора свободно развиваться, не всеми замечены и оценены так верно, чтобы каждый почувствовал их и в себе самом и загорелся бы желаньем развить и возлеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить всё, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только, и таким образом действуя, искусство исполнит своё назначение и внесёт порядок и стройность в общество!

Итак, благословясь и помолясь, обратимся же сильней, чем когда-либо прежде, к нашему милому искусству. Что касается до меня, то, отложивши всё прочее на будущее время (когда Бог удостоит быть достойным сколько-нибудь того), хочу заняться крепко «Мёртвыми душами». Съезжу в Иерусалим (чего стало даже и совестно не делать), поблагодарю, как сумею, за всё бывшее. Помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, и с Богом за дело. Очень, очень бы хотелось, чтобы привёл Бог нам опять пожить вместе, в Москве, вблизи друг от друга. Перечитывать написанное и быть судьёй друг другу теперь будет ещё больше нужно, чем прежде. Затем от всей души поздравляю тебя с Новым годом. Дай Бог, чтоб он был нам обоим очень, очень плодотворен, плодотворнее всех прошедших. Прощай, мой родной! Целую тебя и обнимаю крепко. Пиши ко мне. Твоё письмо ещё застанет меня в Неаполе. Раньше февраля я не думаю подняться. Обнимаю всё твоё милое семейство вместе с Рейтернами.

О том, что такое слово

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чит, —

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своём поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или недобдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом — мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший

только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность звания своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подалше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребёнком, а не мужем, получа всё, что нужно для мужа? Словом, ещё какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдываться обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе тем, что не съёл, по крайней мере, целой половины од своих. Эта половина од представляет являные поразительные: никто ещё доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как это сделал Державин в этой несчастной половине своих од. Точно как бы он силился здесь намалевать карикатуру на самого себя: всё, что в других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннею силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и принуждённо; а что хуже всего — здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевлённых одах и которые тут просто смешны и походят на то, как бы карлик надел панцирь великана, да ещё и не так, как следует. Сколько людей теперь произносит сужденье о Державине, основываясь на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял. И всё потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню.

Приятель наш П...н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестию его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: «Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке всё достойно любопытства», — и тому подобное. Всё это пустяки. Какой-нибудь мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, державшие произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений,

досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом — в те поры, когда не пришла ещё в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Тот же наш приятель П...н тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им всё, чего он набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом — выказывал перед читателем себя всего во всё своём неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? Нет, они заметили в нём одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорей в руки всем всё, что ни находил на пользу просвещения и образования русского... И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремленьем к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нём так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздаётся гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои, — говорит Иисус Сирах, — растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твоё слово, и выковать надёжную узду, которая бы держала твои уста».



Ольга Карлова Семь кругов блужданий вокруг Николая Васильевича Гоголя

Заместитель Губернатора Красноярского края, заместитель Председателя Правительства края, доктор философских наук профессор О. А. Карлова прочла этот доклад на Академическом собрании, посвященном 200-летию Н. В. Гоголя, 1 апреля 2009 г., в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

В художественном наследии запечатлены история и душа народа, в которых только и может личность обрести свои духовные горизонты, богатую эмоциональную палитру и нравственные законы. Каждый волен искать и находить в классическом произведении своё, близкое его уму и сердцу.

И всё же благословен народ, который не только то, чем сиюминутно восхищается, но и то, что кажется ему сегодня нелогичным, противоречивым, откровенно слабым, честно признаёт культурным фактом, всё величие которого, возможно, будет понято только его потомками. Быть честным перед своей культурой и историей — важнее этого долга для интеллектуальной элиты России вот уже несколько столетий нет ничего.

Одним из первых имён в этом долгом списке культурного переосмысления и освобождения от идеологических штампов стоит имя Николая Васильевича Гоголя. Гении часто остаются непонятыми, ибо, опережая время, улавливая в настоящем трагические повороты будущего, пытаются предостеречь современников, они, подобно Кассандре, сталкиваются с их неверием и насмешливым всезнанием. Обсуждение противоречий творчества и судьбы Гоголя, распространявшееся ещё при жизни писателя, позже стало, с одной стороны, хрестоматийным, с другой, теоретически изощрённым.

Вспоминается знаменитый рассказ Пушкина о наборщиках, которые так смеялись, набирая гоголевскую пьесу, что рассыпали шрифт. Чем более глубоко мы вчитываемся в Гоголя, тем более сильным становится ощущение, что общественно-литературная критика XIX века в своих идеологических перипетиях «рассыпала шрифт» текстов Гоголя, заменив его собственными интерпретациями.

Гоголь был решительно зачислен революционной либерально-западнической интеллигенцией и, прежде всего, В. Г. Белинским, в основатели реализма и «натуральной школы», и остался в хрестоматиях сатириком, критиком самодержавия и государственности.

«Перегибы» этого подхода к Гоголю были убедительно показаны в целом ряде статей и докладов художественной интеллигенции рубежа XX века в трудах Достоевского, Розанова, Мережковского, Брюсова. Однако голос революционной демократии оказался слышнее в Советской России, чем голоса тех, кто видел в Гоголе философа, великого фантаста-мистика и религиозного пророка, все литературные образы которого глубоко символичны.

Рубеж XXI века дал новый толчок к переосмыслению гоголевского наследия, благодаря работам

целой плеяды современных российских исследователей — И. Ильина, В. Воробаева, И. Виноградова, И. Золотусского, М. Меньшикова и других, кто постепенно открывает нам неизвестного Гоголя, убеждённого монархиста и религиозного философа. Гоголя-мыслителя, которого более уместно вспоминать рядом с Блаженным Августином, Джонатаном Свифтом и Сереном Кьеркегором, нежели в кругу революционно-демократической интеллигенции. В сущности, Белинский был прав: на революционно-демократических путях «продолжения Гоголя», как он выразился, не было, потому что для Гоголя самих этих путей не существовало. Он раньше других увидел опасность «высокомерия ума», искушение «страстей ума» и их разрушающую силу, которые позже обошлись нашему народу так дорого.

Чтобы услышать Гоголя, очень цельного и последовательного в своих метаниях и поисках, достаточно обратиться к самому Гоголю — его письмам, статьям и, главное, — его книгам. Достаточно услышать гоголевский голос, признав его законное право на непонятость современниками, величие гуманистических заблуждений и правоту нравственных открытий.

Родился Николай Васильевич Гоголь 1 апреля 1809 года в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Детские годы прошли в имении родителей Васильевке, рядом с селом Диканька, краем легенд и исторических преданий. И первое литературное влияние на него оказал отец, Василий Афанасьевич, театрал, автор стихов и остроумных комедий. За домашним образованием последовало Полтавское уездное училище, затем Нежинская гимназия высших наук. Здесь, как в Царскосельском лицее, дети провинциального дворянства учились играть на скрипке, занимались живописью, участвовали в спектаклях. Эти годы связаны у Гоголя с мечтами о юстиции, о «пресечении неправосудия». В декабре 1828 года Гоголь приехал в Петербург с широкими планами о благородном труде на благо Отечества. Стеснённый в материальных средствах, он пробует свои силы в качестве чиновника, актёра, художника, зарабатывает на хлеб уроками.

В печати Гоголь дебютировал дважды. Сначала как поэт: его стихотворение «Италия» (без подписи) прошло незамеченным, а поэма «Ганц Кюхельгартен», имевшая подражательный характер, получила в журналах отрицательные рецензии. Зато второй дебют сразу поставил Гоголя в число первых литераторов России. В 1831–32 гг. вышел в свет цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». В сознании русской публики и отчасти критики

неподражаемая оригинальность «Вечеров» на долгое время создала им репутацию художественного феномена, не имеющего прецедентов и аналогий. Белинский в 1840 году писал: «...укажите в европейской или русской литературе хоть что-нибудь похожее на эти первые опыты молодого человека... Не есть ли это, напротив, совершенно новый небывалый вид искусства?»

Горько, когда не понимают, понося. Ещё горше, когда не понимают восторженно. Сам Гоголь в письме к матери 30 апреля 1829 г., скорее, с досадой восклицал: «Здесь так занимает всех всё малороссийское...» Он сам очертил первый круг заблуждений современников — прочтение его, Гоголя, текстов в духе модного в те годы этнографического собирательства. Хоть и лестным было восхищение Белинского, но гоголевское украинофильство вовсе не являлось «совершенно новым небывалым видом искусства», а лежало именно в русле общемировой романтической традиции, недаром Н. Надеждин в своей рецензии назвал Украину славянским древним Римом. А потому от этнографического собирательства украинофильства своих современников О. М. Сомова, М. А. Максимовича, В. Т. Нарезного, Гоголь существенно отличался тем, что создал собирательный образ народного бытия в контексте романтического двумирия, борьбы добра и зла, Христа и нечисти.

В «Вечерах» сформировался и второй круг блужданий вокруг Гоголя — распространённый в гоголевдении стереотип о положении раннего творчества Гоголя на пограничье русской и украинской культур и об исключительной принадлежности к русской культуре позднего творчества. Этот стереотип существенно искажает характер национальной самоидентификации писателя и культурный фон его эпохи. Новая универсальная имперская культура России формировалась властью по аналогии с византийской и античной римской, имевшими также наднациональный характер. Они связывались не с каким-либо этносом, а именно с государством. Основой этой новой культуры во второй половине XVII века и становится украинская (иначе говоря, «украинско-белорусская», «югозападнорусская») культура. Преимущество, отданное ей официальной властью объяснялось и её развитостью; и тем, что украинская православная епархия до 1686 года входила в юрисдикцию Константинопольского патриарха, а потому через Украину Московское царство как бы символически связывалось с исторической Византией.

«Общерусскость» Гоголя прежде всего культурно-идеологическая. В его произведениях и письмах можно обнаружить значительное количество образов «общерусского» политического сознания: это и «Русская земля», за которую умирают запорожцы в «Тарасе Бульбе», и «Русь — птица-тройка» в «Мёртвых душах», и «Россия» в «Выбранных местах». Культурно-философское значение этих образов не в бытописательстве и этнографизмах — перед нами не реальная Малороссия или Велико-россия, как считает большинство исследователей, а абстрактно созданный метафизический общерусский Универсум, утопия «Мировой державы», наделённая конкретными украинскими и великорусскими этно-культурными признаками.

Третий круг блужданий вокруг Гоголя связан с безоговорочным отнесением автора «Вечеров» к роду комического таланта. Успех произведения приписывали его весёлости вкупе с яркостью национального колорита, а такие определяющие романтические черты «Вечеров» как напряжённость, драматизм, конфликтность, ощущение скрытого несоответствия, выводящие произведение на уровень мировой романтической литературы, были отмечены вскользь, хотя именно они уже отчётливо определили стиль Гоголя: драматический колорит его смеха, неразрывно связанный с романтической философской дихотомией «бытия духа» и «кругов российской жизни». В течение всего своего творчества писатель остался верен этому стилю, который можно определить как философский мифосимволизм, с логикой чудесного и соединением несоединимого, с гиперболизмом сакрального и ценностными перевёртышами. В этом третьем круге блужданий и заблуждений — исток мифа о трёх Гоголях: Гоголе «Вечеров», Гоголе «Мёртвых душ» и Гоголе «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Между тем выплавка гоголевского стиля происходит в 30-е годы в мучительных размышлениях о принципиальных отличиях между самобытной («старосветской») культурой России и новейшим европейским «просвещением» «цивилизованного» Петербурга, о чём он скажет в цикле своих «петербургских» повестей.

В них происходит решительная перестройка сентиментальных и романтических конфликтов и поэтики. Начинается смелая игра с романтическими образами, характерами, сюжетами, темами и мотивами, игра, которая, тем не менее, остаётся в рамках философии романтизма. Верх гоголевской смелости — повесть «Шинель», в которой он делает следующий шаг: место трансцендентального стремления к высокой художественной цели заняла «вечная идея будущей шинели» на толстой вате. Свернувшийся до элементарной жизненно важной потребности романтический символ придал повести колоссальный масштаб — обыденно-комическое развернулось до трагического. Новый приём оказался эффективнейшим средством — однако, не натурального показа действительности, на чём настаивал Белинский, а именно взлёта от бытописательства к философскому повествованию.

Благодаря успешному литературному дебюту Гоголь знакомится с В. А. Жуковским, П. А. Плетнёвым, А. А. Дельвигом, А. С. Пушкиным. Своими повестями он стал известен при дворе. Благодаря Плетнёву, бывшему воспитателю Наследника, в марте 1831 года Гоголь вступил в должность младшего учителя истории Патриотического института, находившегося в ведении императора.

В 1832 году в России в качестве основ народного образования были провозглашены начала Православия, Самодержавия, Народности. Эти принципы были заявлены Сергеем Семёновичем Уваровым при вступлении в должность управляющего Министерством народного просвещения.

Гоголь стал одним из первых сотрудников Уварова. Результатом этого сотрудничества явилось поступление Гоголя в 1834 году адъюнкт-профессором на кафедру всеобщей истории Петербургского университета, а кроме того, публикация

писателем в том же году в журнале Уварова четырёх статей, тесно связанных с замыслом «Тараса Бульбы».

В частности, напечатанный во втором номере журнала гоголевский «План преподавания всеобщей истории» стал программной статьёй, созвучной воззрениям на этот предмет самого министра. «...Цель моя, — писал Гоголь, — образовать сердца юных слушателей... чтобы... не изменили они своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными Отечеству и Государю».

Четвёртый круг блужданий вокруг Гоголя — это осознанное непризнание того факта, что в этих словах заключается сердцевина не только просветительской деятельности великого писателя, но и идейный смысл его произведений. Как отметил С. А. Гончаров, «... Гоголь смотрит на всё «внутренним», «духовным оком», он, в отличие от большинства современников, убеждён: искусство может быть важным средством направления человека к Богу. Не о социальной справедливости и разделе имущества речь в его произведениях, а о том, что сам Гоголь называл «внутренней направленностью отдельного духа, огнём созерцания добра, любви, облагораживания жизни из сердечных глубин».

И «Тарас Бульба», а позже и «Ревизор», и «Мёртвые души» так или иначе поднимали тему «процветших» на русской почве плодов западного развращающего влияния, против которых выступала и программа Православия, Самодержавия и Народности. Не случайно Гоголь прямо рассчитывал на поддержку Государя при прохождении его произведений в цензуре — в чём и не ошибся. Известно, что только благодаря императору Николаю I «Ревизор» был разрешён к постановке и печатанию. Вскоре после премьеры Гоголь отвечал в «Театральном разезде...» своим недоброжелателям: «Великодушное правительство глубже вас прозрело высоким разумом цель писавшего».

Свою комедию «Ревизор» Гоголь задумал как глубокое морально-философское произведение. Символический смысл пьесы раскрыт автором в «Развязке „Ревизора“» (1846): «Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждёт нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор — это наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя».

В апреле 1836 года состоялась премьера «Ревизора» на сцене Александринского театра в Петербурге, на которой присутствовал государь Николай Павлович. За экземпляр «Ревизора», поднесённый императору, Гоголь получил бриллиантовый перстень.

В «Ревизоре» открылась новая ипостась романтического взгляда автора на исторический момент жизни народа и возник новый круг блужданий вокруг Гоголя: писателя все хвалили за яркое сатирическое бытописание. Непонятый, он горько признаётся: ««Ревизор» сыгран — и у меня на душе так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперёд, как пойдёт дело, и при всём том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Моё же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не моё». Недовольство Гоголя премьерой и толками

вокруг неё было столь велико, что, несмотря на настоячивые просьбы Пушкина и Щепкина, он отказался от предполагавшегося участия в постановке пьесы в Москве и вскоре уехал за границу.

В «Ревизоре» уже отмечается тенденция сужения поля так называемой открытой фантастики, ухода её в философско-мифосимволический стиль, в глубинные пласты текста, в мифопоэтический гротеск, в то, что Ю. Манн определяет как «не столько фантастическое, сколько странно-необычное».

С осени 1835 г. Гоголь занят написанием «Мёртвых душ», сюжет которых был подсказан ему Пушкиным и которые с отъездом писателя за границу в июле 1836 г. и особенно к концу жизни становятся главным его творческим делом. «Мёртвые души» — единственное произведение, с которым Гоголь связывал своё место в мировой литературе. Он видел соотношение между всем, написанным им, и «Мёртвыми душами», как между «Дон Кихотом» Сервантеса и другими повестями великого испанца.

В «Мёртвых душах» драматическая коллизия «Ревизора» сменяется эпической, о которой Гоголь позже скажет: «сочинение полное, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться». От первоначального жанра «романа» Гоголь отказывается, романтический философизм его творчества увлекает его в жанр эпической поэмы, где могли бы вольно отразиться и диалектичность подходов, и своеобразная «единственность» произведения. И подобно тому, как в «Тарасе Бульбе» реализована гоголевская этно-эпическая идея «Илиады», так в «Мёртвых душах» он обратится к странствиям по кругам российского бытия современного ему Одиссея.

В письме к Жуковскому Гоголь жалуется, что «скотина Чичиков» едва добрался до середины повествования, в то время как Одиссей Гомера в переводах Жуковского уже вернулся в Итаку. И всё это потому, «что русскому надо быть намного изворотливее с русскими, нежели греку с греками». Поэма «Мёртвые души», которая на внешнем уровне представляет собой череду сатирических характеров и ситуаций, в окончательном виде должна была показать путь к возрождению души падшего человека. Духовные основы замысла «Мёртвых душ» лежат не в сатирически-реалистическом ключе поэмы, а в духовно-религиозных и общественно-гражданских исканиях Гоголя на путях преодоления всего «неправославного», «неверноподданнического», значит и «ненационального».

В начале июня 1842 года, сразу после выхода из печати первого тома «Мёртвых душ», Гоголь уезжает за границу — и там принимается за систематическое чтение книг духовного содержания. В «Авторской исповеди» он писал об этой эпохе своей жизни: «Я оставил на время всё современное, я обратил внимание на узанье тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Всё, в чём только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустычника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришёл ко Христу, увидевши, что в Нём ключ к душе человека».

Зимой 1843–44 гг. в Ницце Гоголь составил обширный сборник выписок из творений святых

отцов. В начале 1845 года в Париже он работает над книгой «Размышление о Божественной Литургии». Параллельно с новыми сочинениями Гоголь интенсивно трудится над 2-м томом «Мёртвых душ». Писание продвигалось медленно. Продолжение поэмы он не мыслит теперь без предварительного воспитания своей души. Летом 1845 года он пишет духовное завещание, позднее вошедшее в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», и сжигает рукопись второго тома.

О самом сожжении мы фактически не имеем других сведений, кроме сообщённых самим Николаем Васильевичем в последнем из «Четырёх писем к разным лицам по поводу «Мёртвых душ». «Не легко было сжечь пятилетний труд, произведённый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу». В этом же письме Гоголь объясняет причину сожжения своего труда: «Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело скорее вред, чем пользу».

Предсмертная болезнь, загадка сожжения рукописей и христианская кончина породили ещё один «круг блужданий» вокруг Гоголя с концентрацией огромного количества окололитературных и даже медицинских гипотез. Ключ к пониманию — религиозная содержательность его личности, которая, по справедливому утверждению И. А. Ильина, остаётся ещё закрытой от нас, главным образом, потому, что многие из нас ещё слишком далеки от тех проблем, которые волновали Гоголя, поскольку пока его творчество по-прежнему большей частью понимается в социальном контексте.

Последнее десятилетие жизни Николая Гоголя проходило под знаком всё усиливавшейся тяги к иночеству. Аскетские устремления и монашеский идеал позднего Гоголя носят не только религиозные ризы, но и гражданские одежды: «Нет выше звания, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышляю мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать <...> Монастырь наш — Россия! Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для неё, ступайте подвизаться в ней».

Не давая монашеских обетов, Николай Васильевич Гоголь воплощал их в своём образе жизни. Сам он не имел своего дома и жил у друзей. Свою долю имения отказал в пользу матери и остался нищим, — помогая при этом бедным студентам. Оставшиеся после смерти Гоголя личные его имущество состояло из нескольких десятков рублей серебром, книг и старых вещей — а между тем созданный им фонд «на вспоможение бедным молодым людям, занимающимся наукою и искусством», составлял более 2,5 тысяч рублей.

Физическое состояние Гоголя в последние дни жизни резко ухудшилось: очевидцы заметили в нём усталость, вялость и даже изнеможение — отчасти обострение болезни, отчасти действие поста. К нему приглашали знаменитейших московских докторов, он, однако, наотрез отказался от лечения. Гоголь соборовался и причастился Святых Таин. Он считал, что ему ближе

всех по духу преп. Иоанн Лествичник, в знаменитой «Лествице» которого раскрыты этапы духовного восхождения. Не случайно, как пишут очевидцы, последние слова Гоголя были: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!» «О, как сладко умирать». 4 марта 1852 года около 8 часов утра, Николай Васильевич Гоголь преставился о Господе.

Таков биографический путь писателя и философа, значение которого то превозносили выше Пушкина, то низводили до среднего уровня бытописательства. Его объявляли и светочем революционной демократии, не представляя, по словам Чернышевского, как в этом смысле «могла бы Россия обойтись без Гоголя». Его же и официально низвергали с пьедестала народной любви за то, что он не вписывался в идеологическую схему «передовой общественной мысли XIX века».

Сегодня сняты идеологические ограничения, и о существовании вклада Гоголя в сокровищницу русской культуры можно говорить научно честно и по-человечески пристрастно. Пришло время разобраться с большей частью блужданий вокруг личности и творчества великого писателя. В частности, с таким значительным по масштабу литературоведческим стереотипом, как тот, что Гоголь является «зачинателем русской прозы». Это утверждение верно только в той мере, в какой зачинателем прозы может быть объявлен любой поэт гоголевского периода, и в той мольеровской терминологии, которая даёт определение прозы как того, что «не стихи».

Давайте спросим себя, уважаемые господа, о какой собственно прозе речь? В зачине пушкинского романа в стихах: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог...» прозы сто́крат более, чем в следующих, так называемых прозаических строках Гоголя:

«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё: с середины неба глядит месяц; необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятней; горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух и прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Недвижно, вдохновенно стали леса... Девственные чащи черёмух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод... А вверху всё дышит, всё дивно, всё торжественно. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслужался его посреди неба»

...Да полно, господа, о реальной ли простой и скромной хотя и приятной природе Малороссии идёт здесь речь? И о какой реалистической прозе мы говорим в этом фантастически романтическом и безусловно поэтическом описании?

А может (я цитирую) «никогда прежде в России взор сатирика не проникал так глубоко в повседневное, в будничную сторону социальной жизни общества» именно потому, что вовсе и не сатириком выступал Николай Васильевич Гоголь в своих произведениях, а философом и знатоком души народа? Может, всё дело как раз в том философском и мифосимволическом обобщении, которое у Гоголя скорее противостояло бытописательству «натуральной школы»,

чем формировалось в его недрах? Конечно, Гоголь много работал над собиранием материалов для своих повестей. Но всё собранное совершенно преображалось под его пером, образы действительности разрастались одной какой-нибудь стороной, то чтобы стать чем-то «ослепительно прекрасным», то чтобы явить «излишество и множество низкого». Действительность изменялась в созданиях Гоголя, по мысли Розанова, подобно тому как изменился колдун из «Страшной мести», приступив к волхвованию, — «нос вытянулся и повиснул над губами, рот в минуту раздался до ушей, зуб выглянул изо рта».

Тому, кто упорно объявляет Гоголя бытописателем, прекрасно знавшим Россию, реалистом, сумевшим так «натурально» описать её житьё-бытьё, похоже нет дела ни до фактов его биографии, ни до его собственных откровений, ни до «рассыпанного шрифта» его произведений. А ведь Гоголь написал свою великую поэму «Мёртвые души» не где-то на просторах России, а в Риме. Более того, он откровенно признавался в письме: «С того времени, как только ступила моя нога в родную землю, мне кажется, как будто я очутился на чужбине».

Знал ли Гоголь русский народ, как знал Гиляровский закоулки, лавки и кабаки Москвы? Скорее, нет, чем да, но в своём мире грёз и фантазий он знал о нас что-то такое, что делало и до сих пор делает его грёзы и фантазии потрясающей проекцией российской реальности. Причём реальности сегодняшней, рубежа третьего тысячелетия, в то время как произведения бытописателей «натуральной школы» XIX века прочно ушли в культурный архив.

Трижды прав Валерий Брюсов, утверждавший: «Мир Гоголя ничем не напоминает прозаический стиль жизни». Вот на стене висит картина, где изображена нимфа с такими большими грудями, «каких читатель никогда не видывал», вот слуга Павла Ивановича, что подобно планете имел «свою атмосферу» и стоило ему войти в необжитое помещение, и сразу начинало казаться, что здесь давно жили люди... Вот «шаровары величиной с Чёрное море», и конечно же та самая редкая птица, которая долетит до середины Днепра, хотя птицы с лёгкостью перелетают целый океан. «Утверждать, что Гоголь был фантаст, что, несмотря на все свои порывания к точному воспроизведению действительности, он всегда оставался мечтателем, что и в жизни он увлекался иллюзиями, — пишет Брюсов, — не значит унижать Гоголя. Опровергая школьное мнение, будто Гоголь был последовательный реалист, я не тень бросал на Гоголя, но только пытался осветить его образ с иной стороны».

«Гоголь все явления и предметы рассматривал не в их действительности, но в их пределе» — так формулирует особенности его стиля В. Розанов. «Конечно, — продолжает он, — Россия времён Гоголя не была населена теми манияками, теми чудовищами и теми ангелами красоты, которые выступают перед нами из его повестей. Тогда жили такие же люди, как теперь, в которых смешное соединялось с благородным, красота с безобразием, героизм с ничтожеством».

Мережковский подчёркивал, что серенькая русская жизнь 30-х годов обратилась под пером Гоголя

в такой апофеоз пошлости, равного которому не может представить миру ни одна эпоха всемирной истории. Когда в городе узнают, что Чичиков скупал мёртвые души, чиновники начинают судить и рядить о нём, и толки их тотчас доходят до последних границ вероятного. Одни говорят, что Чичиков — делатель фальшивых ассигнаций. Другие — что он хотел увести губернаторскую дочку. Третьи — что он капитан Копейкин. «А из числа многих, в своём роде, сметливых предположений было, наконец, одно, — странно даже и сказать, — что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон».

В другом городе появление гоголевского героя производит путаницу почти революционную... Скандалы, соблазны и всё так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мёртвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха... В одной части губернии оказался голод... В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что родился антихрист, который и мёртвым не даёт покоя, скупая какие-то мёртвые души. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, уколошили неанхристов... В другом месте мужики взбунтовались»...

Поистине нужно быть русским человеком, всегда готовым в жизни ко всему и привыкшим всему (особенно плохому) верить, чтобы признать эту удивительную революцию, вызванную похождениями Чичикова, за реализм. А ведь вся эта история едва ли менее невероятна, чем то, что нос майора Ковалева стал самостоятельно разъезжать по Петербургу в мундире с золотом.

Мифосимволическое начало, в котором бытовое ничем не отделено от фантастического, диалектика невозможного и возможного органично и гениально правдоподобно, благодаря формуле гротеска — такое начало характерно именно для фольклора, основным носителем которого в каждую конкретную эпоху является самое старшее поколение. Вспоминаются слова моей бабушки, родом ещё из XIX века, которая, достигнув в светлом уме и твёрдой памяти 90 лет, ничему из вновь открытого наукой или придуманного советской фантастикой не удивлялась, а только говорила важно: «Всё может быть». Это великое мифопоэтическое фольклорное «Всё может быть» ярче всех в русской классике воплотил Гоголь, и оттого он значительно более по-русски народен, чем целый сонм бытописателей.

Важнейший критерий народности Гоголя — последовательное выражение идеалов народа. Одиссеево путешествие по кругам Ада российской жизни у Гоголя получилось лучше, чем описание Чистилища этой жизни и её предполагаемогорая во 2-м томе «Мёртвых душ». Мне представляется, именно потому, что Гоголь, подобно Сервантесу, остро чувствовал разницу между нормой, вокруг которой происходит культурообразование в большинстве стран Запада, и идеалом. Идеалом, тем более возвышенным и совершенным, чем менее вероятна хоть малая его реализация в российский действительности.

В этом смысле явно недооценён диалог творчества Гоголя и Сервантеса, о котором сам Гоголь очень часто упоминал. Близость народных идеалов

Испании и России, как и сходство тяжёлых исторических обстоятельств, их сформировавших, неоднократно подчёркивал Ортега-и-Гассет. Целый ряд исследователей полагают, что из всех европейских культур только русская и испанская культурные традиции имеют такое «идеальное», а не «нормативное» возделывание (от древнего корня «коулт» — возделывать).

В «знаменателе» романа «Дон Кихот», который был так важен для Гоголя, Сервантес положил именно великий народный идеал, который является призмой взгляда на мир и мерой всего. Всё описываемое в романе относится к этому идеалу, как числитель относится к знаменателю, и эта «дробь» даёт огромный философский масштаб повествования, необходимый диапазон гротеска, почву и оправдание для мистических исканий Бога в душе и мире. Связи между Сервантесом и Гоголем недостаточно изучены именно потому, что не сформирована отечественная традиция рассматривать Гоголя как философа, и российское литературоведение в своих многочисленных трудах долгое время ограничивалось «линейным» сводом тем, сюжетов и образов писателя.

Все эти размышления наводят на мысль, что противоречия Гоголя почти целиком возникли из блужданий общественных взглядов вокруг него и его произведений. Это не столько противоречия Гоголя, сколько противоречия в его понимании. Сам он всегда подчёркивал цельность и своего пути, и своего внутреннего мира. Гоголь написал в «Авторской исповеди»: «Я не совращался со своего пути. Я шёл тою же дорогою <...> и пришёл к Тому, Кто есть источник жизни». В письме к С. Т. Аксакову от 16 мая (н. ст.) 1844 года Гоголь замечал, что «внутренне», в главных своих положениях он не изменялся никогда — шёл «тою же дорогою», «не шатаюсь и не колеблясь никогда во мнениях главных», «с 12-летнего, может быть, возраста». Возраст, на который указывает в этом письме Гоголь, — это возраст его поступления в Нежинскую гимназию. Но, помимо этого, 12-летний возраст — это ещё и установленный законами Российской империи возраст принятия подданными присяги на верность Государю — «верно и нелицемерно служить и во всём повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови».

Наше поколение всё ещё несёт в себе грех идеологического упрощения, обманчивой лёгкости и понятности гоголевского наследия, из недр советской педагогики. Гоголя — этого пожалуй самого сложного русского писателя, оставившего в наследстве русской литературе не столько прозу, сколько «прокладные вопросы человечества» — этого Гоголя «проходят» в школе в соответствии с заложенными ещё в XX веке стереотипами: в 6-м классе — «Вечера», в 8-м — «Тарас Бульба», в 9 и 10-м — «Мёртвые души». И этот «простенький» Гоголь школьного разлива, мешаёт видеть удивительно глубокую и цельную фигуру писателя, философа, фантаста, религиозного мыслителя.

Однако помимо понятных читательских стереотипов есть и другая причина «блужданий вокруг Гоголя». Она — в стереотипах русского

общественного мнения, падающего на обличения и особо ценящего оппозиционность. Для нас истина рождается в споре, где каждый отстаивает до хрипоты свою точку зрения, а не в долгом духовном пути сомнений и открытий. Но ведь истоки самого мышления суть сомнения. Однако мучительные для самого Гоголя попытки переосмысления себя и своего творчества его современники с готовностью расценили как предательство и слабость. А ещё лучше — как сумасшествие.

В этом смысле поражает «упорная и замечательная самостоятельность Гоголя», как обозначил это исследователь В. В. Зеньковский. Гоголь слишком отличался от большинства современников и достойно нёс этот крест.

Когда Гоголя спросили, откуда он берёт вдохновение, он отвечал: «Из дыма. Пишу и сжигаю». В этом недовольстве писателя сделанным беспорочно проявилась бесконечность его духовных устремлений. Гоголь, по свидетельству Н. В. Берга, рассказывал: «Только после восьмой переписки, непременно собственной рукою, труд является вполне художнически законченным, достигает пера создания».

Может быть, поэтому, несмотря на все перипетии российской истории, сегодня перед нами во весь рост продолжает стоять Великая тайна жизненности произведений Николая Васильевича Гоголя. Истоки этой тайны — в абсолютной самодостаточности гоголевского наследия, его самоотверженной автономии от групповых — литературных, педагогических и даже дружеских — взглядов и интересов его времени.

Возможно, именно благодаря всему этому одинокий более иных гениев той великой эпохи романтического Одиночества, Гоголь смог оказаться столь щедрым на стиливые и жанровые открытия, смог творчески пережить Пушкина и Лермонтова, дав мощный толчок русской литературе от Достоевского, Гончарова, Салтыкова-Щедрина до Набокова, Булгакова и Зощенко.

Уподобимся же самому Николаю Васильевичу Гоголю, который написал и даже напечатал своё произведение, никогда не считал свою работу над ним законченной, продолжая неутомимо совершенствовать его. Писатель, произведения которого имеют такое количество редакций, заслуживает того, чтобы вчитываться и вчитываться в его тексты, написанные им в муках сомнений и торжестве веры.

Сам Н. В. Гоголь писал С. Т. Аксакову 6 августа 1842 г.: «Я знаю, что много ещё протечёт времени, пока узнают меня совершенно, пока узнают, что мне можно всё говорить и более всего то, что более всего трогает чувствительные струны. Так же, как я знаю и то, что придёт, наконец, такое время, когда все почувют, что нужно мне сказать и то, что <заключается> в собственных душах, не скрывая ни одного из движений, хотя эти движения ко мне не относятся».

200 лет со дня рождения великого русского писателя Николая Гоголя — достойный повод, чтобы проделать этот духовный труд, важный для каждого человека, именующего себя русским интеллигентом, для каждого, кто вообще считает себя русским.



В. П. Астафьев на страницах «ДиН»

Верю, что силы найдутся

Дорогие друзья-читатели!

Первая книжка журнала «День и Ночь» в 2009 году посвящена юбилеям, имеющим к нему, журналу, самое прямое отношение. Нынче в мае исполняется 85 лет Виктору Петровичу Астафьеву и 70 — Роману Харисовичу Солнцеву. Исполнилось бы... Хотя думать о каждом из них в прошедшем времени до сих пор не получается.

В этом есть, должно быть, своя строгая правда: люди, оставившие след, зарубку, «затесь» на вековом стволе в тайге человеческой, неизменно «здесь и теперь», рядом с поколениями молодыми и свежими, какие бы напасти и поветрия тайгу эту ни пригибали.

«Надо же! — воскликнул молодой человек, которому знакомая девочка прочитала любимые стихи Пушкина, — Двести лет, а он всё пишет!». Случай совсем недавний. И он внушает надежду на то, что источники русского национального духа не до основания ещё забиты смрадной жижей, льющейся на наших детей с телеэкранов, с обложек глянцевого журналов, с рекламных щитов и, что греха таить, зачастую и с учительских уст...

Этот смрад, эта порча более всего тревожили Виктора Петровича в его последние годы. И не виделось путей превозможения, а если и виделись такие пути, то говорилось о них с превеликой осторожностью и оглядкой... Но вот оказалось, что скромные тропинки, которые в середине девяностых стали возникать в результате почти безнадежных попыток нескольких несправимых романтиков, не только не заросли сорняком, но — напротив! — ширятся и даже... множатся. Такова энергия астафьевского влияния, не иссякшего по сей день.

Журнал «День и Ночь» — одна из таких тропинок. Роман Солнцев 14 лет, поступаясь личным временем, а зачастую и здоровьем, строил и развивал совершенно особое, разноголосое и многополюсное периодическое издание. Виктор Петрович часто и с удовольствием печатался на страницах «ДиН». Это были новые главы из находящихся в работе повестей и романов, ещё не публиковавшиеся «затеси», интервью, критические статьи, записки. После его ухода редакция журнала несколько раз выпускала тематические номера, посвящённые наследию Астафьева. Здесь же публиковались воспоминания, отклики, посвящения — всё то, что образует уникальную атмосферу присутствия



писателя в живом мире реагирующих на его творчество людей.

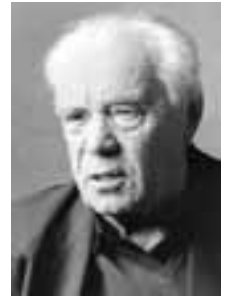
Материалы, собранные здесь, в этом выпуске, — не только ретроспектива. Это и свежий срез, и попытка прогноза того литературного потока, который уже как-то грешно и несправедливо называть «провинциальным». Где у нас нынче провинция? Кто рискнёт ткнуть пальцем? Поэтому красноярский журнал не оглядывается на столичные моды, не стремится соответствовать популярным доктринам и не берёт на себя роль духовного водительства. Нашим единственным постоянным ориентиром остаётся Астафьев — с его широкой, противоречивостью, любопытством к другому, не похожему на него самого, жаждой справедливости и могучим художественным чутьём. На том и стоим.

Редакция «ДиН»

Виктор Астафьев

О войне и мире

Запись Галины Смирновой



Беседа эта с Виктором Петровичем Астафьевым произошла без малого десять лет назад, накануне 50-летия Победы и дня его рождения (1 мая), у него дома. За окном радовались хорошей погоде синицы, близился вечер. А Виктор Петрович, раздосадованный неловким, может быть, моим вопросом о Великой войне, давно минувшей, но всё не оставляющей нас горькой памятью о себе, молчал-молчал и заговорил — горячо и устало:

— Это сейчас запели, завспоминали песни фронтовые, заговорили о фронтовиках. А то и голоса им не давали. Да вообще обвиняли во всём старшее поколение, тех же фронтовиков, нас, то есть: дескать, вы в ответе за всё, что плохого в стране случилось, вы и должны сделать то-то и то-то. Что за *всё* в ответе должно быть старшее поколение. Мы. Должны.

Да никому я ничего не должен! Всем имею право так ответить. Как и каждый, например, фронтовик или тот, кто для фронта в тылу работал не легче, чем пехота на войне. Никому ничего, и народу своему ничего — *не должен!*..

Как рассказать, что значит один день войны — да не день, а час только один, одна минута войной навязанной страсти... Вот в Дагестане мой знакомый, заслуженный фронтовик, вспоминал одну жестокую военную минуту и такой подвёл итог этим своим воспоминаниям о том коротком по минутам-то бое, когда на его глазах погибло много молодых, каким он и сам был тогда, новобранцев, он сказал (и я бы всюду слова эти заглавными буквами поставил): **ВОЙНЫ НЕ РОЖДАЮТ СЫНОВЕЙ — ВОЙНЫ УБИВАЮТ СЫНОВЕЙ!**

Да есть и пословица дагестанская такая. Это мы с ним по душам беседовали-размышляли про судьбу нашу, про нынешние-то российские по-фронтовому тяжёлые дни. Хуже нет, когда непонятные войны — тоже, как у Гитлера, без всяких объявлений, да тогда не извне, а изнутри страны на тебя, на твоих детей нападают. Из-за угла, в спину, в самые незащищённые судьбы. Хуже нет и подлее этого ничего нет!

Вот и как же мы дошли огромным нашим народом до жизни такой? Вот и подступают ко мне с вопросом — а что же, мол, дальше? И вы за тот же вопрос...

Едешь по городам и весям, с мужиками, где ни заговоришь — и вот спрашивают и спрашивают: как жить дальше? Что делать? Дескать, что было доброго да справного — то всё порушено, а что плохо было, так ещё плоше становится, а нового-то ладного к жизни не видать что-то.

Но эти все вопросы люди сами, сам народ должен задавать *себе*! А не ждать, что придёт дядя писатель какой-то, воспитатель ли из детсада придёт, умный ли Президент, наконец, или учёный и скажет им, научит, как жить — научит.

Конечно, этот вопрос в русском человеке всегда, как заноза, сидит. Но если ты сам себе на него не ответишь, вывод *свой личный* не сделаешь, лично не потрудишься, как пчёлка, то откуда толку-то и взяться? Ну, сколько времени прошло и проходит ещё-ё-ё на глазах — а мы всё так и не можем внутри себя эти проклятые вопросы пробить, высветить, чтоб понятны хоть они-то стали. Вот и нет его пока у нас для народа толкового-то ответа, а стало быть, и толкового дела не получается.

Я по самонадеянности проехал — вон какая амплитуда — от Мурманска до Владивостока, встречался со многими разными людьми, и везде так-то вот допрашивали... Но ведь и в те времена, в которые хотят многие сейчас вернуться, люди — тот же самый народ — задавали себе те же самые вопросы. И сами же себе тростили: так жить нельзя, так нельзя жить дальше...

Сами себе. Сами — себе. А вот ответить себе же да решить: возьмусь-ка я да *сам* сделаю то-то и то-то, чтоб лучше стало, — где были такие-то люди? Однако, жить *так* продолжали. Если всё в той жизни можно назвать было жизнью.

Что? Опять вопрос — почему? Почему продолжали? А потому и жили под такие вот вопросы, что из ничего — ничего и не происходит, тем более такие, как у нас, крутые виражи. Ничего само собой не деется и не сдеется. Никак! А то будто пришёл Горбачёв, и следующие за ним, и взяли такую подножку подставили народу, что он, народ, свалился, значит.

Да, свалился народ, всё видим, и теперь ноет и плачет, и голосит, и вопрошает: *почему*? Но как же не понимать, что ничего никогда в жизни не происходило и не происходит само собой. У Даля вон не зря пословица народная записана: «*всё это не свалилось с неба*». Да, и время наше страшное, история эта наша — да разве не мы сами, не сам народ их сотворил, каждый, кто в России живёт. Так пусть сам и отвечает, а главное, пусть сделает что-нибудь, пусть делает, делает!

Глупый вопрос, стандартный для меня вопрос — как дальше жить... Да как Бог велел, так и живи!

Когда ко мне с таким вопросом приступают, всегда отвечаю: что вы мне-то этот вопрос задаёте, а не истории? Не каждый сам себе? Каждый же человек — история, её частичка в судьбе страны.

Вот вы себе — каждый! — и задайте этот вопрос. И честно на него ответьте.

Нас же Христос учил заповедям: не убий, не укради, не возжелай чужую жену, ничего чужого не захоти и не возьми. Всего-то три-четыре заповеди навсегда надо запомнить. И следовать им. И всё в порядке будет.

И есть же нации, народы, которые стараются следовать этим заповедям, — ну и живут более или менее.

Да! Не убий, не укради, не пожелай жены ближнего твоего, трудись в поте лица своего — и будешь счастлив в труде своём и трудом своим. Что ж, говоря, не следовали им, этим заповедям господним? Вас в революцию так называемую поманили, значит, дешёвым хлебом, чужими пайками, наделами, свободными бабами — и вы побежали за картавым за этим, за маленьким, как его Бунин называет, — чего за ним побежали-то? И что же бывает хорошего, если побежишь за кем-то, орущим сдуру. Не по своему разуму, без разбору побежишь — куда прибежишь?

Одних гоняли, другие молчали — и всё терпели это. Вот и дотерпелись. Вот все и прибежали, куда совсем не все хотели прибежать, правильно, говорю? Кивают: мол, правильно. Да, а теперь вот вернуться не можете. Ослабели. И думать — тоже ослабели! За вас всё время думали, жизнью вашей руководили. При вас разоряли крестьянство, вас разоряли! Гоняли из барака в барак, из района в район, а вы терпели всё это, и вас сделали «перекати-полем», а как ещё называть «вербованного»?.. Терпели? Так что же сами-то с себя теперь не спрашиваете? Почему — с нас или с кого другого? Не с себя?

...Виктор Петрович ладонью стукнул по столешнице, словно вбил в неё этот вопрос. Затем ладонью же, мягко, огладил чистую скатерть перед собой и негромко, может быть, чуть успокаиваясь внутренне, добавил к сказанному:

— Может быть, потому, что в России и всегда-то на писателя смотрят, как на царя: то почитают, как Бога, то с божницы скидывают, да ещё передерутся из-за этого; то опять на божницу сажают — до очередной смуты. И уж после его смерти начинают разбираться, что такого этот писатель и почему сказал миру... И что должен был сказать...

Он откинулся на спинку стула и продолжал, не ослабляя сдержанной тихой яри, видно, мысль наболела и продолжала болеть, грызть сердце:

— Да ничего я никому не должен, как не должен ничего, во-первых, каждый фронтовик, а я войну-то прошёл, как многие миллионы русских мужиков. И готов повториться: вдумайтесь же, вот только перед юбилеями Победы снова запели в России песни военных лет, да заговорили хоть более или менее слышным голосом о фронтовиках, подарки им придумывают. А раньше-то, все эти годы, что же — их не было рядом с нами, убитых и оскорблённых? И что же — народ не видел всего этого? Видел и молчал или уж протестовал очень слабо.

Тут вот интересный был выпущен Указ президентский — читали, наверно? — *не брать налог с подарков фронтовикам*. А многим ли и во многом ли этот Указ поможет, особенно если учесть, что,

во-первых, их, фронтовиков, совсем уже осталось мало. А во-вторых, всё равно, «младое племя» за всё спрашивает со старшего поколения. Плохо воспитанное, а то и *вовсе не воспитанное* в уважении к собственной истории, к родителям, оно, это поколение, считает: вы, старшие, в ответе за прошлое и должны сделать то-то и то-то, что лучше вокруг стало. На каждом шагу убедиться можно, что такой спрос и фронтовикам предъявляется, что они тоже *должны!*

А вот не должен я ничего и никому. И всем имею право так ответить — как и каждый фронтовик настоящий имеет право ответить, или тот, кто для фронта в тылу работал от зари до зари. Мы все, фронтовики, расплатились уже перед прошлым и будущим, а тем более перед настоящим. Расплатились всем: и кровью, и жизнью, и детьми. Вот и я, как многие из фронтовиков, работаю и до своих последних дней, даст Бог, буду работать. И никому ничего не должен. Моя жизнь теперешняя, как и каждого живого ещё фронтовика, защищена такою кровью, такими муками, такими жертвами — что никому ничего мы не должны. А то приходилось слышать и такое, что, дескать, мы, народ, вас, писателей, кормим.

Как это он, народ, меня кормит?!

Мне однажды председатель колхоза тоже так сказал — мы, мол, вас кормим. В Вологодской области было, когда жил там. Выпили мы с ним по особому поводу: выставка у него была, обязательство у него было. Столько-то продукции он должен был своим колхозом доблестным дать, а колхоз-то бедный был. И вот вижу, перед ним лежит обязательство на столе — 64 тысячи рублей: столько, значит, прибыли дать государству. А рядом, на столе же — два выпуска «Роман-газеты», как раз с моим «Последним поклоном».

Я говорю ему: посмотри, сколько стоит «Роман-газета», тираж посмотри. Это — моя продукция, три миллиона тираж.

— Вишь ты, процедил он чуть не сквозь зубы, гонорара-то огребё-ё-шь, и аж губки поджал: гонорар этот немylimый представил себе...

Посчитаем, говорю ему. По рублю за экземпляр — это уже три миллиона выпуск, а два выпуска — шесть миллионов, так? Я лично получил *за это за всё* четырнадцать тысяч рублей, по 7 тысяч за один выпуск. Остальное взяло государство. Для чего — не отвечу, не знаю, может, для вашего же вот колхоза. А ты говоришь «Мы тебя кормим». Так кто кого кормит-то? От одного, говорю, выпуска два с лишним миллиона рублей прибыли государству, а ты со всем своим колхозом собираешься 64 тысячи дать. Убытков, говорю, ты принесёшь 64 тысячи, а не прибыли, если по совести-то считать... Да если ещё прибавить всё, что издавалось и издаётся у писателей наших за рубежом, и сколько от всех этих изданий доставалось и достаётся посейчас самим писателям, которые были обобраны тем самым государством... Куда всё это девается — не видно. Пошло, наверно, на пропой кому-то.

Вот так и жизнь каждого фронтовика прошла, как говорится, для государства. А лично для него, для всех нас, фронтовиков, она прошла *безгонорарно*. Очень мало нас в живых осталось.

Вот нас было шесть человек взвода, а в живых от всего взвода из войны вышли только трое — половина. Половина людей, живых и молодых, ушли на фронт и не вернулись!

Сколько солдат послал на фронт один только наш огромный Красноярский край — ну и сколько вышли к сегодняшнему-то дню? Всего около 7 тысяч человек, и они тают, тают, работники той войны. Нас всё меньше, а «перестройки» всё больше...

А в результате, что мы оставляем после себя? Разорённый народ оставляем. Очень усталый народ, хотя по сути своей молодой совсем ещё народ, даже в детстве ещё где-то находящийся по земным-то своим срокам. Усталый народ, разорённую землю, разорённое государство оставляем. Да, это очень грустно.

И ещё: оставляем ли надежду, спрашивают. Об этом сложно. На кого надеяться-то? Последние десятилетия нам доказали шаткость надежды. Пришла, вроде, смена, рухнули коммунисты... Да куда они не рухнули, куда не делись.

Нужны какие-то очень большие сроки для того, чтобы народилось действительно новое поколение. Принципиально новое. А ругаем молодых людей, которые ни во что не верили, ни в коммунистов, ни в одного из нас, которые против коммунистов были и есть. А что их ругать-то, за что? Власть, из вранья выросшая, не может пользоваться никаким доверием — ни тогда, ни сейчас. И не будет ей доверия, пока честно не покается и не начнёт без вранья жить...

Мы в газетах тоже ввали изрядно. Я тогда послужил и в газетке, и на радио, на Урале было, так изнутри знаю, сколько вранья было беспардонного. Затырщицей, закопёрщицей была «Правда», остальные за ней тянулись.

Помню, когда работал в городской газетке, два года не мог научиться передовые статьи писать, а за них у нас платили больше всего: 25 рублей, а весь-то номер 75 стоил. Бестолковый такой я был, что мог о чём угодно писать, а вот передовую — ну никак не могу. Заданность, видно, у меня такая была. Так вот, принёс мне редактор «Правду»: учись, говорит! Читай внимательно! Ну, я почитал-почитал, вчитался и, подражая «Правде», написал... Так вот, если кому-то из молодых сейчас интересно знать: в такой передовой статье, положенной для городской газеты, если ты привёл три положительных факта, то отрицательных может быть только два, не больше! И чтобы начинал передовую со Сталина — и заканчивал Сталиным. По любому поводу.

А я вёл в газете лес и транспорт, так вроде бы Сталина и некуда вставлять, но вставлять надо было всё равно! Вот, представь, передовую «Подготовим путевое хозяйство к зиме» или какое-нибудь костыльное там хозяйство, ахч (административно-хозяйственная часть — Г.С.) — и всюду Сталина суём...

Привыкли, словом, халтурно работать, халтурно жить, халтурно говорить — и мало кого это тревожило! Человек, если подобрал потертый кошелек да отдал его хозяину, — уже и герой был. И газетки об этом писали! И сейчас так-то пишут, за героизм выставляют простой

человеческий поступок. Вот так обесценивались и обесцениваются ценности человеческие. Я проехал как-то по всему городу Красноярску в городском транспорте, пришёл в здешнее политбюро тогдашнее — крайком партии, там спрашивают — чего это сияешь? Да как же не сиять, говорю: весь город проехал, в трёх организациях был, а шапку не сняли, нигде не оскорбили ни разу, не обсчитали, щас, говорю, лозунг провозглашу — спасибо партии родной, народу любимому! Место в автобусе уступили — ну как такой город не хвалить...

Всё, конечно, сложно, но всё и просто. Мы за годы и годы к примитиву привыкли. Во всём. И сами даже не осознавали, насколько охалтурили себя — в том числе, и с помощью слова, тех же газет, радио.

Между прочим, я и на радио послужил года полтора, платить уж стали хорошо, лучше вроде жить стал. Но сам ушёл, чтобы — Господи, спаси и помилуй — сохранить хоть остатки собственного достоинства. Иначе надо было терять бы уважение к самому себе.

...Вот перестройка, а мы и сами не заметили, что из той халтуры, да из вранья повзросло. Не заметили, как перешли в обыденной жизни на блатной жаргон, ведь почти весь народ стал разговаривать на каком-то сленге, на блатном. А почему ему и не разговаривать-то именно так, когда почти половина населения была по тюрьмам. Каждый второй или сидел, или привлекался, или погибал в лагерях. Этот сленг, этот блатняк — всё это, конечно, грязь, которой быть не должно, а она есть. А грязь всю эту на лаптях мы принесли.

Мы сначала, значит, сделали такой переворот: вышли из деревни и, как сказал один покойный поэт, «вышли мы все из народа — как нам вернуться в него?»

Так вот и сейчас: вышли-то мы вышли, а вернуться, не знаем как. Сначала со своим деревенским уставом, с законом своим — а они жестокими были настоящие-то законы деревенские! — так вот с этими законами сразу пошли в услужение: в парикмахеры, в шофёры, в мотористы (сюда особенно много, это доступнее было, такие ближние профессии), в слесаря там. А на каблуках-то, на подошвах-то всю деревенскую грязь притащили с собой в «новую жизнь». И сразу вообразили, что мы очень культурные. Ну, вешалка у начальника самая большая, к уборщице и не подступишься, а уж шофёр-то при новой жизни так вообще — задает и не извинится. Ну как с таким-то грузом на подошвах да не стремиться к цивилизации, не захотеть других поучить...

...Годы назад, приехав после длительного отсутствия в Красноярск, я прямо обрадовался, что вот есть же в городе талантливые люди: назвали хлебный магазин просто «Нива», а молочный — «Бурёнка». А это было время, когда в Москве — сплошь появились надписи на австрийском, да на английском, даже прежний замечательный магазинчик «Пингвин», мороженое там продавали, ребятня там гужевалась с мамами, так вот он хоть и остался «Пингвином», да только литеры уж стали латинскими...

Обезьянья подражательность. Когда она кончится? Кончиться она может только с помощью

лучшего образования. Имею в виду не только школу, институт, а и такую школу, как чтение классики и просто хороших книг. Да приучать начинать ребятшек к чтению, пока пешком под стол ходят, а то потом их от этой ниндзи, да от трансформера с компьютером не оттащишь — и какими же вырастут? Кого сами потом воспитают?

А ведь это мы объявили себя когда-то самой читающей нацией в мире. Он был, был, конечно, читательский голод, у определённой части населения, но хороших книг на всех не хватало. В основной-то массе что мы читали: «Как закалялась сталь», «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке» да Максима Горького с Владимиром Маяковским. Да и то мозолили эти книги в школе, ну в институтах на соответствующих факультетах...

Тут, конечно, со мной могут поспорить, особенно те, кто исхитрился в страны соцлагеря за хорошими книжками съездить — книжками, прекрасно изданными в России, да только в наших магазинах на прилавках их и не выдывали...

По правде же самой-то читающей нацией как были скандинавы, так и остаются. Даже в наши благополучные шестидесятые годы (как раз учился на высших литературных курсах) мы были на 12-м месте по потреблению книг на душу населения. Первое же место, ещё с 20-х годов, как занимала, так и по сию пору занимает маленькая Исландия, в 60-х годах там было по 312 книг на душу населения. Такая маленькая страна, с наш Ачинский район по территории, а имеет Университет, двух Лауреатов Нобелевской премии по литературе и нескольких гроссмейстеров по шахматам. Всё население до недавнего времени в Рейкьявике насчитывало 65 000 человек, а для них — 65 книжных магазинов, в том числе 2 международных. Собственную энциклопедию издают, в сорока с чем-то странах имеют посольства и консульства. И это, я понимаю, народ дружный! Вот когда американцы навалили им цену на фрукты, которую исландцы «поднять» не могли, тогда Сигулд Блендель, жил там такой учёный, занимался лесом (в этой стране был когда-то лес, как у нас на Севере) — тогда-то Сигулд Блендель и сказал, что надо сажать и выращивать собственные фрукты, и предложил свои наработки. Власти и выслушали Бленделя, и не отмахнулись от его мыслей. И нашли в стране тёплые склоны гор с гейзерами, создали фруктовые плантации — и уже давным-давно с собственными фруктами...

А Голландия? К нам чего только не привозит теперь Голландия, которая не имеет ни выпасов (и земли-то в обрзе), ни покосов, а получает от коров 10 000 литров молока, а если ниже этого количества, скотину тут же забивают на мясо. И вот это молоко, от таких коров, голландцы нам и присылают в разных видах. А мы, на нашей просторной земле, значит, за 2 200, за 2 500 литров в герои производили доярок и председателей колхозов, хотя ни те, ни другие в таком «производстве» героев не виноваты были, а наша система советская. Какую сами же, кстати говоря, и создали.

Вот говорят: Сибирь, Сибирь, каторжный край. А в этом краю и минусинские места есть, и шушенские, их не случайно в прошлом-то злые языки

называли сибирской дачей Ленина. Возьмёшь на язык минусинский помидорище медовый, так и персика не надо. И что про бахчу тамошнюю вкуснейшую говорить, если в шушенской благодатной земле у настоящего трудяги и виноград созревает на открытой почве. Вот это бы всё — да на пользу тому, кто тут работает, на пользу собственному Отечеству. Так нет: свободно работать не давали. Зато в Болгарии да Венгрии для Сибири закупать на валюту или там в обмен на самолёты помидорчики и зелёный горошек — это было пожа-алуйста, чиновным карманам раздолье... А ведь всю Сибирь, и не только, могут кормить своей витаминнейшей природной едой эти и многие другие, к примеру, Байкальские Богом обвеянные места. Сейчас там люди начинают что-то предпринимать. Но всё равно раньше работников-то земли поспевают чиновники всяческих мастей: и свои, и из столицы даже, успевают продать за прорекетировать на сторону... И что же мы всё это терпим?

Только не надо все беды — и за горошек этот тоже — сваливать теперь на партию и её правительство: они тоже были *из нас!* Это *мы* все кормили *систему* и вольно или невольно поддерживали её.

...И вот дожили до очередной годовщины Победы. Как себя чувствую? Я очень плохо себя чувствую перед этой датой, по разным причинам. А куда уж отмечать её... Я, вообще, с детства тяжело переживаю многолюдствие и праздники. Помню, в 39-м, Постышев тогда разрешил ёлки новогодние, у нас первую ёлку такую открывали в Игарке (Постышева расстреляли потом, наверно, отчасти и за это дело) — как-то мне она радости не принесла, эта ёлка. Помню, увидел её тогда в первый раз и разрыдался. И потом во всякие праздники чувствовал себя очень плохо. Никогда не ходил ни на какие демонстрации, ни на какие коллективные праздники. После войны — может, из-за контузии, но не только. Я и в детстве такой же был. Если много народу — вот премию недавно тут вручали — давление сразу поднимается.

А в день Победы особенно плохо себя чувствую. Побед-то в сегодняшней жизни нашей мало видно. Передёргивая мои же слова, иные хитромудро говорят, что мы, мол, потерпели Победу, а одержали поражение. Я не люблю это своё высказывание, но тут открывается простая истина.

Дело в том, что и Японии, и Германии, и Финляндии, и иже с ними после войны запрещено было иметь свою армию и военный бюджет. И вот вам факт: эти все страны ожили в течение 20–30 лет после нашей Великой Отечественной. Ожили — потому что не имели военного бюджета! А мы-то имели какой бюджетнице! 80 с лишним процентов бюджета государственного работало на войну — и сейчас ещё работает! Вот ведь за счёт чего ещё наши беды. Вот и спрашивают — а как же нам не иметь его, военный бюджет, после той-то бойни? Справедливый вопрос. За кордонами-то дружеские — только улыбки, а слабину чушь окажи, и тут же оттяпают, что смогут и у страны, и у тебя лично. Так не будь же профаном. Государством мудро управлять — это тяжёлая работа, вот и делайте её не за страх, а за совесть. Военный-то бюджет, если и нужен, то нужен он нам честный бюджет — по отношению к своему народу честный.

Ну и, конечно, германцы хорошо работают, японцы хорошо работают в то время, когда мы собрания собираем да раздумываем над проклятым вопросом «как дальше жить». Хотя и пространства российские наши диктуют свои смыслы. Однажды в беседе с одним японцем, когда пошутил — вот бы, мол, вам наши просторы, чего бы вы здесь понаделали, коли на клочках своей островной земли чудо-сады выращиваете, то собеседник мой ещё больше сузил свои узкие глаза, засмеялся и заявил: «А может, стали бы такие зе ленивые, как ви...»

Вот оно как бывает.

Да, японцы, германцы — дружный народ, и финны доказали это же. Но всё-таки основная причина в том, что нет у них военного бюджета. Они сейчас, конечно, всяческим обманом стремятся занять армии свои, но договоры-то ещё действуют.

Однако, кроме военного, есть и ещё один важный фактор. Вот Адэнауэр, которого вкупе с Тито и Франко так талантливо кровавыми рисовали Кукрыниксы, хотя я считаю, что в эту компанию совсем напрасно попал Адэнауэр — он же за Гитлером не пошёл, не принял ни его программы, ни войны не принял! — так посмотрите, как он вёл себя, будучи бургомистром Кёльна!

Всю войну он просидел на своей вилле в Гарце. В 50-х о нём вспомнили: давай в бургомистры! Кёльн, как и многие другие германские города, был разбит авиацией английской. И вот в то время, когда мы его рисовали с кровавым топором в руках, бургомистр Адэнауэр проклятуший, идя с работы, брал в руки заступ и нарочно шёл с этим заступом по улицам. Каждый день шёл старик после рабочего дня работать ещё и на разборке военных завалов. Ему за 60 тогда было. Ну и что немцам из Кёльна, да разве только из Кёльна, — что им оставалось делать при этом? Ругались, кто по-немецки, кто по-русски, а тоже шли. Куда ж деваться, если сам бургомистр без всякого парада шёл разгрэбать. Надо было разгрэбать, надо было жить! Д-да, так знаете, сейчас вокруг Кёльна, я бывал там, выросла 50-километровая — вглубь — полоса леса, её и называют лесом Адэнауэра. Вот память. А у нас в это время, наверно, лепили где-нибудь рядом с отхожим местом Ленина, Сталина да Кагановича. Работали, конечно, тоже, и как работали, Боже ты мой! И сколько надо было разгрэбать в России после войны, чинить да восстанавливать. Но и лепили, лепили этих лениных да кагановичей, трагили на них время, деньги и силы людские... А силы эти были — те же фронтовики, войной покаленные, да бабы, которые всю войну ни выходных, ни проходных не знали, а знали больше «похоронки». Да пацанва с ними...

Да, вот ещё почему ожили они, эти страны: потому что без военного бюджета.

А как свои реформы провели, скажем, те же немцы? Выдали им по 47 марок, каждому жителю. Всем! Командир ты, или солдат, барин — не барин, простой работник или там бургомистр, а всем одинаково по 47 новых марок: начинайте с завтрашнего дня все жить на эти 47 марок, приспособляйтесь, разгрэбайте завалы, развивайте своё дело, кто на какое способен, получайте свою зарплату,

а сбережения ваши, когда всё наладится, в срок такой-то (я забыл конкретно, в какой срок, но он был выдержан правительством) все будут возвращены. И — возвратили!

У нас же, хоть и перестройка, а взяли всё и обесценили, всех снова обобрали — всех, даже несчастных пенсионеров, которые в основном на похороны откладывали нищенскую свою зарплату. И теперь опять простых людей заставят раскошелиться, вкладывать в эту чеченскую яму. А не было бы чеченской — выдумали бы какую-нибудь другую, нас этому не надо учить — искать на солнце пятна, рыть яму для самих же себя. Тупик, обрыв — если их нет на нашем пути, так великолепно сами их сделаем, вы-ы-ыкопаем! И будем потом терпеть и страдать от этого.

Так не пора ли перестать бить себя в грудь, не пора ли каждому взяться за дело, за конкретное, для себя и для страны своей полезное, кто на какое способен. Убрать грязь вокруг себя, работать, трудиться, а не ждать, что вот новый правитель хороший придёт и укажет, как и что делать, как жить дальше, и всё у нас тогда само собой сделается.

Не делается! Само собой ничего не делается.

Как-то сподобился тут в гости сходить к одному нашему художнику. В подъезд зашёл — Боже ты мой! — говорю, люди разве тут живут? Во что подъезд превратили — скотина же не захотела бы здесь жить, да она хотя бы матерщину на стенах писать не умеет, ну поднуть только может да боком потереться об угол...

...Мы переглянулись: подъезд, в котором жили Астафьевы, от самых первых ступенек и до их хрущёвочной квартирки, приятно удивил чистотой, улыбнулся яркими половичками у дверей. Виктор Петрович заметил наш перегляд и усмехнулся:

— А девочки моют, внучка вот моя тоже. Да сейчас — что, а вот раньше к Новому году, бывало, украсят весь подъезд флажками, еловых веточек повешают. Не все, конечно, так старались, вот и сейчас все по-разному вокруг себя быт устраивают. Но в жилые дома теперь то и дело въезжают, переезжают новые жильцы, коммерсанты, например, так им забота о подъезде — в дикость. Да ещё в каждую квартиру тащат разную там аппаратуру и включают у себя на полную катушку, сети не выдерживают напряжения. У соседей гаснут телевизоры — ну и что, новые соседи извиниться и не подумают.

Однако, у нас вот есть один тоже сосед, Витёк, большой любитель этой самой аппаратуры. Что-то там он с ней делал у себя — ну и пожёт всё у соседа. Так потом сразу наладил всё и ещё с полгода всем предлагал, мол, давайте, я вам то почию, да это почию. И чинил. И деньги ни под каким видом за это не брал, такой уж человек. Так что, видите, и сейчас, как в войну было и после войны, — не все, не все скурвились в народе нашем. Не все спились. Есть и среди молодых людей такие, как наш Витёк, как не быть, большинство, может быть, таких на разных уровнях. На них-то и надежда.

Я на встречах с читателями порой, знаете, спрашиваю: а вот сколько есть среди вас плохих людей? Поднимите руки!

(Как тут было удержаться от вопроса — поднимают ли?... — Г. С.)

— А поднимают! Хотя уж это я, конечно, тут передвигаю кое-что, а всё-таки считаю: хороших и плохих сейчас, может быть, уже не пятьдесят на пятьдесят, а плохой половины уж меньше, совестливых больше становится. Одно несомненно: этой-то совестливой половине живётся сейчас хуже всех. И как трагично, как трагично чувствуют себя сейчас настоящие, подлинные коммунисты, кто истинно верил и во имя этой веры отдавал свои силы, свою жизнь...

А кто такой настоящий коммунист? Это порядочный, хорошо матерью воспитанный человек. Вот из другого, но нашего же российского времени: князь Раевский. По-моему, он был такой настоящий коммунист. Детей своих вывел на батарею под огонь. В партии не состоял (да и это ли только надо, чтобы настоящим-то коммунистом быть), взяток за то, чтобы сынов своих спрятать от армии, не давал, а чести ради жертвовал собою и детьми. Младшему было всего 14 лет — но всех на Бородине под вражеские пушки вывел. Так и коммунист настоящий: если рождён был в любви, матерью, как следует, воспитан и поступать приучен по совести — им-то, таким вот коммунистам, горше всего сейчас. Они же видят, что рухнуло всё, во что они свято верили, ради чего трудились, и понимают — или понимать начинают — почему рухнуло... Скамейка из-под них выбита.

Так и в народе. Так и у молодых наших: кто ловчит, кто по течению плывёт, а кто и думает, мучается.

Хожу иногда в костёл, органичным залом его ещё зовут у нас в Красноярске. Присмотрел как-то: в одном ряду в зале кажен раз одни и те же девки сидят, в антрактах — книжки читают, а музыку, особенно если что-то хорошее, с благоговением слушают, видел, даже слёзы вытирают. Не болтаются, значит, по вечерам, где попало, не шоркаются по подъездам и, может, слушая Баха, Бетховена, Гайдна да Чайковского, одинокими и останутся в то время, как те стервы из подъездов по пять уж раз замуж выскочат. Вот им, девушкам таким, тоже потяжелее живётся сейчас, нежели иным их сверстницам.

Живёт у нас тут одна учёная дама, хорошая моя знакомая, люблю с ней встретиться, поговорить, что называется, за жизнь, хоть редко это получается. Работа у неё и наука её — с севером связаны, а родом она ярцевская, Валеи зовут. В экспедиции часто ездит, обычно это мужские экспедиции, так вот она, кроме науки, ещё и обстирывает мужиков, и готовить им успевает. Как-то говорю ей: а где твой мужик, что одна-то всё? А в тюрьме, отвечает, сидит. Да за что сидит, спрашиваю? А ни за что, отвечает, я его выдумала, Виктор Петрович, я его вычислила по ярцевскому своему положению, и по всему выходит, что у меня мужик должен вот такого сословия быть, что должен сидеть в тюрьме, вот он там, гад, и сидит, а я сижу, незамужняя, здесь...

Так вот наши бабы и маются: у одних муж в тюрьме сидит, у других помирает раньше времени от жизни такой или его, как Листьева, убивают в расцвете лет.

Я знал его немного, Листьева, записывались с Сашей Любимовым как-то здесь, в Овсянке, для

«Взгляда» — по поводу римских встреч. Толковый и приветливый был парень — из тех, кто умел переживать и сопереживать и не боялся подставить свою шею под трудное дело... И Листьева, и всех их душевно жаль, кто где ни погиб, в Чечне или в подъезде собственного дома. И кто знает, сколько ещё времени таких вот ребят — не худших ребят! — ещё будут душисть у нас, будут убивать. Кто убил — знает тот, кто это убийство заказал, или кто на него спровоцировал. У нас поторопились все очень дружно представить убийство Листьева как просто коммерсантское, как коммерческую разборку, ведь легче всего на эту причину свалить всё нашему обывателю. А если сказать просто, что убили Листьева как корреспондента, как хорошего человека по другим соображениям, чтобы, например, запугать его смертью кого-то, — то народ и не запугался, а взял да объединился тогда. Вон какое столпотворение было на кладбище в 9 дней.

Есть ещё, значит, в обществе здоровые силы, которые не хотят, чтобы исчезли мы все, и не только плачут, но и стремятся что-то делать во имя этого. Хоть и плятиса на нас в новых обликах разный там фашизмик. Отовсюду плятиса: с подмостков депутатских, с телеэкранов, из газет да журналов новомодных паршивых, что в руки взять противно, а их-то поразвелось! Но даст Бог, как развелось, так и известись бы должно, не может быть иначе. Время вот только, времечко!..

Но народ наш разнобразен! Убеждён я, что народ наш такой не поддастся новому фашизму, в какой бы личине тот ни выступал и откуда бы ни наступал. В этом и есть нотка оптимизма. Пусть хотя бы нотка будет чистая такая, а придёт пора — и музыка светло и мощно зазвучит. Как наша русская история, например, в судьбе старообрядцев.

В жизни у меня немало было встреч со старообрядцами. Чтобы правду о них рассказать — их хорошо знать надо.

Как-то, после «Стародуба», получил я письмо из Петербурга — Ленинграда тогда ещё. Ну выдала мне читательница-ленинградка! Я, говорит, всё у вас люблю, Виктор Петрович, кроме «Стародуба», уж лучше бы вы не писали этого, я сама выросла в старообрядческой семье, и самые святые это у нас, самые хорошие люди. В общем она деликатно так написала: что-то, мол, не туда, не в ту степь понесло вас, Виктор Петрович. Вот так вот!

А понесло меня по молодости лет, начинал ещё по соцреализму работать, ничего толком не знал, всё насочинял. Есть у нас Знаменский скит в Дивногорске — знаете? — ну, я в нём ночевал, так одна старушка там мне показала хорошую. Ну, она-то действительно очень хорошая была старушка. Сохранилась у меня фотография этого скита и его монахов. Это были очень раскольники сильные. И разные. Из тех старообрядцев, которые тогда уже крепко сомневались в таком советском-то строе. Старообрядцы ведь, как и мы с вами, люди неодинаковые. Хоть и живут по уставу своему, а мыслить могут по-всякому...

Называли, да и называют их у нас всех кержаками, общим этим словом: кержаки и кержаки, вроде кондовые сибирское понятие. А это неправильно. Кержаки-то — это очень маленькая

часть старообрядцев: выселенцы с Нижегородской губернии, с реки Керженец, есть такая в России. Читать нам всем надо побольше — Мельникова-Печерского и другие книги по истории земли, на которой живём, ребятишек подробно и внимательно знакомить с этой историей. Чтобы умели разбираться в этой истории, в том числе и что это за старообрядцы такие, почему раскольниками слывут, даже и в учёных-то книжках. А по сути их раскольничество в том состоит, что делали попытку к созданию гражданского общества. Недаром же из них-то и вышли лучшие купеческие семьи в старой России.

Старообрядцы — это действительно продержавшиеся в устоях своих люди. В том числе в чисто бытовых устоях. Ну, к примеру, не дадут они из своей посуды пить никому, а для гостя, если внезапно случится, специальные кружки держат. Да лишним словом с ним не обмолвятся — в своё время натерпелись как инакомыслящие, память крепка...

Жили старообрядцы прежде в очень глухих местах, сибирских в основном: у нас на Енисее да в Алтайском крае. Но и они за время порастоврились почти, маленько уж их осталось. Тем не менее влияние их огромно, и ещё предстоит ему проявляться граждански, этому просветительскому влиянию.

Вот многие ли знают, к примеру, о духовных законах, которыми из века в век держатся старообрядцы? Немногие, конечно. Да и откуда это знать, особенно нашему молодому поколению — кто шибко-то о старообрядцах людям рассказывал? А кто маленько и читал официальные «художества», так считает, что это такие консерваторы заядлые, отделившиеся от государства. Тот же факт, что в своё время — я уж тут повторюсь — все лучшие купеческие семьи из старообрядцев вышли, связывают в основном с Рябушинским да Мамонтовым. Но почему же только о Рябушинских да Мамонтовых знают? Всё вон Волжское пароходство было в руках старообрядцев, и ни разу ни один купец — а они ж съезжались на свои съезды, и это только наш соцреалист Горький изображал, что на съездах этих лишь пьянствовали да зеркала били, а правда не вся это, хотя, конечно гуляли, наверно, и севрюгу ели и разгульничали когда. Но при всём при этом ни одного подряда волжские пароходчики не взяли на вино. Ни разу! За спавание народа, за распространение вина среди бурлаков хоть однажды купца просто выключали из пая. *Навсегда*. Этим мог заниматься кто угодно другой — но только не старообрядцы. А уж коли кто прикасался к такому богопротивному делу, он немедленно подвергался со стороны старообрядческого общества остракизму — ну и выключался из этого общества. Сурово. И справедливо! Поскольку раз принял закон — следуй ему!..

И ещё: насколько они, такие купцы, грамотными были, вы можете судить хотя бы по судьбе Белоголового. Он же ведь, этот купец, двух своих сыновей в ученье отдал не в гимназию, а к декабристам, Муравёву и Борисову. Те сразу же одного из сыновей, Антона вернули домой Белоголовому, сказали, мол, купеческую линию он пусть продолжит, а в науке ему не светит, мол, ума ему

тут давать бесполезно. Зато второго сына — научили, и был он потом великий врач и гражданин России, — приходилось читать «Воспоминания Белоголового»? Известен был и почитаем. Похоронен он в Петербурге. Лечил Тургенева, Некрасова...

Вот какие люди из старообрядческих семей выходили. Как правило, корни у многих таких людей — старообрядческие. Покопайтесь в их судьбах — немалые знания душе своей добавьте.

Да хоть сейчас: обратитесь в местечко Александров, есть такое у нас в Алтайском крае большое старообрядческое село Александров на канале. Там живёт один человек, который имеет ну высочайшее образование. Старообрядец он; и по существу — *голова* он есть того места всего. У нас, я уж говорил, осталось немного старообрядцев, в Алтайском же крае целый район их объединился. Занимался ими у нас покойный ныне писатель Миша Перевозчиков, написал книгу «Старообрядцы». Когда наш Миша помер, я позвонил этому *голове* из Александрова и сказал, что вот выпущена такая Мишина книжка, 15 тысяч экземпляров тираж, а всего шесть штук продано — время-то для народа не книжное было! — остальные в коридоре лежат. Он отвечает: немедленно приеду и выкуплю. Приехал и купил весь тираж и увёз в Алтайский край. Людям...

Всем своим укладом жизненным и, главное, верностью ему, разве они, старообрядцы не просветительствуют? Умей только смотреть, наблюдать, учиться у них — учиться понимать историю народа и земли, из которых вышел.

Истоки истинного понимания христианства — не официального государственного, а из глубины народной, из корней народных, пожалуй, и в старообрядческих укладах жизни сокрыты. Как сокрыто в отдалённом Ферапонтовом монастыре изумление древних фресок Дионисия Мудрого, удивительного чудотворца русского, как хранится оно в божьих ликах Рублёвских да Феофана Грека икон, в старинных росписях, сохранившихся от тех времён, пусть маленько, не только в храмах, но и в церквушках глубинных...

Вот у кого тоже художникам современным ещё учиться нужно. И учатся же! Сколько тихого сияния вижу на многих полотнах у тех, кто не на потребу кошельку тугому пишет, а старается не изменять миру своему душевному и таланту. Им, таким-то вот художникам, тоже сейчас ох как трудно настоящее-то писать — кормиться было бы на что.

Да, вот что найдёшь у настоящих-то старообрядцев — очень сильные и чистые истоки просветительской и всяческой другой духовной деятельности. Но, как народ говорит, чего не поищешь, того и не сыщешь! Ищите же, люди, такое-то здоровое во всём!

Меня когда-то отчасти знакомство с историей старообрядчества и привело к убеждению, за которое меня уж били и надо мной куражилась недалёконькая критика: это хорошо, что декабристы в своё время потерпели поражение. Потерпев поражение, они очень много чего делали и сделали для Отечества, особенно для Сибири. Если бы они победили в ту пору, то раздраз в стране был бы ещё хуже, чем у нас сейчас. России, может быть,

не существовало бы уже давным-давно. Пестель, Трубецкой и другие — они могли пользоваться вилкой, салфеткой, ножом за *готовым-то* столом очень хорошо. Но вот возьмём судьбу Трубецкого. Этот офицер, причём не русский офицер, благополучный и вообще пряником кормленный, тоже пошёл в Сибирь. А у них, декабристов, идеи никакой ясной не было, народ за ними не пошёл бы, и они с народом не пошли бы, декабристы, а просто великую — нет, невероятную! — смуту устроили бы, свалку бы несусветную устроили, и Россия, возможно, уже давно бы на княжества разбилась. Бог знает, что было бы: вот то же самое, что сейчас происходит. А чего сейчас нам не хватает — не хватает объединяющей силы, и *слова* тут мало.

Но верю, что силы — найдутся.

Верю, что лучшие люди России, в том числе и такие люди, как старообрядцы, да люди, ими воспитанные, будут, в конце концов, помогать спасать нас, наш придавленный народ, разлагающееся государство.

...Вернёмся к старообрядческому местечку Александрову. В одночасье сгорела там изба. Восьмеро детей остались без крова. Миша Перевозчиков, жив ещё был, через краевую газету «Красноярский рабочий» обратился от имени погорельца: помогите, люди добрые, чем можете. Я тоже собрал мешок, зашил, отправил, — кстати говоря, дошло по адресу. Ну, погорелец вскоре всех через газету поблагодарил, а потом сказал: спасибо всем, кто помог, не надо больше помогать. Лес, сказал, уже заготовили для новой избы, паства собралась, избы поставила, детям кто-то чего-то подарил, а дальше, мол, это дело рук Божьих и моих. Сейчас у него, бывшего погорельца, знаю, всё в порядке, живёт нормально.

А вот другой пример. Ниже Енисейска в ста километрах бежит речка Кий. Запустили мы там как-то тоню, и есть там такая рыбка — тагунок, сейчас она, правда, редкая стала, только в затоках у Туруханска и Енисейска ещё водится, и эти места люди, конечно, знают, рыболовецкие бригады там стоят. Так вот, кийскую тоню бросили люди, а мы всё равно заехали туда прошлым летом и порыбачили.

Ночная рыбалка — трудная рыбалка, но что же интересней может быть!..

Рыбка стоит в устье реки и ждёт, пока скатятся хариус и ленок, после сама заходит туда и вымётывает икру. Так она поступает потому, что иначе хариус и ленок её икру просто съедят...

Да, так вот, несколько лет подряд сюда рыбачить мы заходили, и никого рядом не было, не видали, а прошлым летом, смотрим, стоят три избы, баня, навес. Люди.

Спрашиваю — кто? Старообрядцы, отвечают, с Бирюсы.

...Пришлось им перебираться сюда с Бирюсы. Всё у них там было, на Бирюсе: и посёлок, и пасека, но...

Сначала кто-то устроил пожар, зажгли на пасеке омшаник. Люди кинулись тушить пасеку, а в это время им сожгли посёлок. Четыре года после этого они восстанавливались и уж начали оживать — как поплыла по реке возле них мёртвая рыба. Где-то там, в верховьях поставили, значит, такую химию,

что после этого ни им там, ни рыбе не выжить было. Вот и решили переселиться на Кий.

Место выбрали хорошее. Однако...

Мужики, говорю, место-то вы умеете выбирать, и это замечательное место, лес рядом и по самой реке много всего — ягод и всякой благодати, и охота здесь должна быть хорошая, места нетронутые почти, и эта тоня тагуновая, и красная рыба на той стороне водится. А давно ли вы переселились сюда и сколько вас?

Четверо, отвечают, да стряпка. И за какое же время вы всё это поделали, спрашиваю, и сенок провели, и баню с сараем поставили, и избу успели построить?..

Оказалось, за две недели. Вчетвером. Вот, говорю, мужики, вас бы заставить коммунизм-то строить, так вы бы давно его построили. Да будь он проклят, говорят, не надо его нам, ведь как при Советах преследовали нас — так до сих пор преследование это не кончилось ещё. Никому, говорят, не мешаем, но до сих пор не принимают нас. Принимают тех только, кто сам начинает жить так, как те, кто их и преследовал. Вот и здесь, говорят, собаку уже украли.

Не знаю, как они приживутся там, на Кие. Ведь действительно старообрядцам не дают жить до сих пор. Случалось в войну: их посёлки с самолётов, вот как в Ярцевском районе было, обливали керосином, соляркой и сжигали, потому что люди эти против войны, они не давали рекрутов. В 1945-м на каком-то своём собрании старообрядцы решили всё же рекрутов давать, но всё равно преследования продолжались. И до того власти тогдашние допреследовались, дорасстреливались, что уж далеко после войны выявилась такая жутчайшая история.

Делали аэросъёмку на каком-то притоке Нижней Тунгуски. Лётчики обратили внимание на то, что внизу — странным образом наклонённые кедры, а это могучие деревья. Что их могло наклонить? Так вот, обнаружили целый лес таких кедров, начавших сверху желтеть. С чего бы это?

Решили сесть, выяснить — с чего. И обнаружили... целое селение в землянках, вырытых под корнями кедров.

...Бежали когда-то старообрядцы от бесконечных преследований, добрались сюда, избы побоялись уж ставить и вот подкапывались к корням поближе, чтобы сверху никто не разглядел их посёлок. И прожили таким-то вот земляным способом десятилетия. Но началось уже у них кровосмешение, чего старообрядцы страшно боятся. Даже что в землю сеяли — семена злаков, которые при любой беде старообрядцы с собой носят, — и то уже начало вырождаться...

Разве не обязаны мы, ныне живущие, задуматься о первопричинах такого вот подкорневого жителя и последующих мытарств инакомыслящих людей в наши-то времена...

Та экспедиция, конечно, не оставила таёжных робинзонов под корнями. Вышли они оттуда уж в такое время, когда стало возможно заниматься и фермерством. Ну и поселились у Ворогова, на острове. Развели скот, вырастили свиной — а у них мясо не принимают. Как в прежние годы. Принимать-то не принимают, а вот ночью

кто-нибудь возьмёт да и пристанет к острову, да свинки две и зарежет. Хотя всего-то две маленьких семьи от того подкорневого братства осталось к тому времени.

Не знаю, к сожалению, какова сейчас их судьба. Проезжал как-то мимо того острова — вроде есть там какие-то строения. Значит, жизнь теплится. Каким образом теплится — а каким властям это интересно?..

А мы сейчас как живём? Живём при той смуте, которую и не мог не обернуться весь рабский тоталитаризм, пережитый народом российским. Разве не смута то, что происходит в государстве? Смута великая. Смутное время. Если мы по-коммунистически — под штыком — маленько что-то наладили, то теперь, когда штык убрали, просто доказали всему миру, что не можем пока что жить свободно, хотя и стремились к этому. Это, как кто-то правильно сказал, — это та же бритва в руках ребёнка: любое неосторожное движение — и обрезался. Свободу мы восприняли как-то очень своеобразно: мол, свобода — это всё дозволено, это разгильдяйство, раздолбайство, воровство и откровенное бандитство. Появилась безработица. И люди говорят: тогда, при Советах хоть мало с радостью-то работали, но всё же сколько-то получали. И многие уже обратно в те Советы хотели бы вернуться, пусть там и дорогая будет та дешёвая колбаса, пусть кому она доступная будет, а кому не доступная, хотя половина граждан той колбасы не видывала и не едывала, — но уж хоть покой будет, какая-то уверенность в завтрашнем дне...

Вот такая вот перестройка ты наша! А ведь до края-то ещё мы не дошли. Вот-вот власть захватят, объединившись в банду, силы, о которых предупреждал Лесков сто с лишним лет назад, сказав: «Проклятое государство, в котором объединяются только силы зла».

Возьмём нашу Советскую эпоху «принудительного оптимизма», как хорошо её кто-то назвал. Так вот, они обязательно постараются объединиться снова, силы зла, и даже, может быть, вернуться, как Наполеон, на 200–300 дней назад, в прошлое. Но они никогда и ничего не смогут уже сделать. Они и с тем-то, оставленным к семнадцатому году почти в порядке Российским государством смогли сделать лишь одно: уничтожить крестьянство, без которого нельзя выжить. Не может человек без крестьянина, без хлеба существовать, не научился этому — без земли, без хлеба. Они устраивали и устраивают только свалки, а когда приходит поражение, они его не признают, это не те люди. Они даже сейчас не признают поражения своего — нам, дескать, не в чем каяться, это демократы довели до сегодняшней разрухи за несколько лет.

Они, значит, целомудренно всё делали и здорово, а тут всего за несколько лет такое государство огромное, такой народ почти что уничтожили. Но если они за 70 лет всё-таки не смогли этот народ полностью уничтожить, хотя очень

стремились к этому, то за несколько лет тем более не смогут. А вот помочь, так сказать, к пропасти продвинуться — это пожа-а-луйста.

Нация надломлена была в войну. И мы не восстановили ещё российскую, русскую нацию, это враньё всё, что восстановили. Да и как бы мы восстановили её без деревни-то? В войну погибло 13 миллионов рядовых. А рядовых всегда поставляла деревня. Вернулись же, кто выжил, — к чему вернулись? Сразу умирать начали: ведь не было условий жить, не было условий *выжить дома*.

И это после *Победы-то!* В такой-то войне. А ведь ещё хуже условия были в деревне, чем в городе.

На что же надеяться теперь? На чудо, которое столько раз спасало Россию. Помогало и от монголов освободиться, и в смутные времена, и в 1812 году, и в сорок первом Господь помог. Но любое чудо, конечно, из реальных хороших дел человеческих складывается, из настоящего труда и из работы мысли. Из простой честной работы, из строгости к себе, из горения душевного, без чего ни фрескам Дионисия не появиться, ни добиться победы в войне невозможно было, а горением таким богат наш народ. Из такой вот строгости, из такой работы, как у старообрядцев, всё-таки они сила большая духовная, хоть и немного их теперь осталось, хоть и в тайге они, а объединённая сила.

Всем нормальным людям так-то объединяться не грех перед новейшими напастями.

А ещё — если бы не бабы наши русские, так мы пропали бы уже давно. Как только шибко тяжело приходится, так находится какая-нибудь партизанка Василиса и взваливает на себя мешок с картошкой и луком, да пьяного прихватывает мужика своего, ещё и вилы берёт — и с этим-то со всем грузом врага бить...

Видел я однажды на Курском вокзале в Москве, вверх по туннелю поднимался: баба вверх по ступенькам, два бидона, пустых уже, видимо, к электричке в Орловскую область, наверно, уже, продала что-то, — так вот, мешок на ней, эти бидоны и два ребёнка при ней рядом, а под мышкой голова зажата пьяного мужика. И она всё это тащит вверх по ступенькам, а он её кроет матом, эту бабу, а она — тащит. Дотащила до перрона, разжала руку, и мужик упал тут же. На асфальт. И — лё-ё-жа — её матом: нехорошая, мол, такая, бросила...

Вопрос вопросов, конечно, как такое общество может называться обществом, а государство — государством, если до сих пор основная тяжесть жизни нашей — на женских спинах, на женских руках.

Но как раз вот это ещё нас, может быть, снова выручит: бабы наши удивительные. Хотя они тоже устают уже, наши бабы.

Вот так отвечал однажды, десять почти лет назад, накануне 9 мая Виктор Петрович на вопросы о том, что, на его, Астафьевский, взгляд дальше делать, как жить в России.



Евгений Колобов

Говоришь, и тебя не перебивают

Поминальное слово

Сладок будешь — расклюют,
Горек будешь — расплюют.

Русская поговорка

...Пошёл бы в ту тихую, бессильную, может быть, и в самом деле имеющую быть затоптанной оппозицию, которая состоит в том, чтобы встать рано, помолиться и работать.

В. Розанов. «Опавшие листья»

В 1975–76 годах, в Свердловске, я дирижировал оперу К. Молчанова «Верность». Трудно теперь оценить качество музыки и постановки, важно, что была она по Астафьевской прозе — повесть «Пастух и пастушка». На старости лет я вообще уже не знаю, что такое музыка: стихи, шум травы... великая проза? К тому моменту я прочёл всё, что только можно было прочесть у Астафьева. А в 94-м году судьба так свела, что мы в числе прочих получили премию «Триумф». Оба вместе. Виктор Петрович — и я... Он тоже что-то обо мне знал, слышал, может быть, мои записи. Тогда он подарил мне свои книги — и я просто был счастлив.

Астафьев — легенда страны, писатель от Бога. А он мне: «Ой, Женечка! Мне нужно родственников на концерт «Триумфа» провести...» Я говорю: «Постараюсь, сделаю». Сразу такое ощущение, будто мы знакомы давно. Давно... Меня это так тронуло. Встреча.

Потом он у меня в театре был, и маленькая сосёнка из Овсянки, тут, под окнами Новой Оперы растёт — сейчас счищают снег, и я говорю: «Осторожно». Она у меня в коробке деревянной, в карасике. Виктор Петрович потом всё спрашивал: как? растёт сосёнка?

А когда у него в 1999 году был юбилей, 75 лет, я позвонил в Красноярск, в симфонический оркестр, и спросил:

— У вас время свободно для репетиций?

— Свободно.

— Я хотел бы концерт для Виктора Петровича продирижировать с вашим оркестром.

Играли Рахманинова, третью часть из Второй симфонии, его романсы. Виктор Петрович попросил Калинникова, Первую симфонию — и мы сыграли первую часть. Ещё «Адажио» Альбини. «Таис» Массне. Вальс Хачатуряна из музыки к «Маскараду». А «серьёзных» разговоров между нами особых не было ни тогда, ни после. О чём я мог говорить с ним — своим серым языком? И он тоже — целовал меня после концерта, растроганный. А говорить-то — что?.. Я только слушал его.

Вот так мне однажды Рихтер позвонил и предложил продирижировать его концерты в Валенсии.

У меня чуть ли не язык отнялся, я не мог понять: Рихтер позвонил мне! Ведь я ещё мальчишкой слушал его игру, и тут вдруг... как Бог на меня упал.

...Прошли мы с Виктором Петровичем по деревне по Овсянке, вдоль берега Енисея. Это ещё раньше было, до юбилея, года два-три минуло после «Триумфа». Я тогда принимал госэкзамены в Красноярске, и мы с Костей Якобсоном, моим другом, ректором института — у него там камерный хор — поехали к Виктору Петровичу. И даже видеофильм сняли. Они с Костей тоже были уже знакомы: хор пел в овсянkinской библиотеке. Мир в Красноярске всё-таки потеснее... культурный, так сказать, слой.

И вот, в этом фильме, на видеокассете, сидит он у себя в кабинете за столом там, в Овсянке, — и рассказывает. Он такие шуточные вещи говорил! Рассказал, например, как позабыл свою фамилию. «Блин, — говорит, мягко так, не гадко, с хорошими русскими словами, — фамилию свою забыть! Едем мы с Марией Семёновной из Болгарии, а я так врезал на каком-то банкете с болгарскими писателями, что когда в аэропорту нужно было заполнить декларацию, вдруг и обнаруживаю: забыл!.. Но я, падла, хитрый, я к Маньке своей — чего она там царапает? Ты, говорю, наверное, забыла, как надо заполнять... И вдруг вижу: *Астафьев!* И я вспомнил! Астафьев...»

...Это весной в мае. Жара. Заходит сестра его двоюродная и спрашивает: «Вить! Ты поливал сегодня посадочки-то?» А он: «Ну, ты видишь, какая жара? До воды далеко. Я просто взял и посс...» Мы так смеялись.

Избушка — напротив дома, где он родился. Я был поражён: у нас ведь теперь всякие крутые русские и разные там «великие» живут, конечно, мощно.

А тут — мы бутылочку коньяка привезли, на всякий случай, какие-то фрукты... и великий писатель моет их прямо в ведре. А потом библиотеку показал, которую построил.

— Виктор Петрович, вас тут, наверное, на руках носят, в вашей деревне?

А он мне:

— Дорогой мой! В конце этой деревни не знают, кто такой Астафьев.

С болью. В том смысле, что многие и книг-то его не видели, тем более не читали. Сейчас там и храм стоит, тоже он заложил, — в нём его одного из первых и отпевали, в этом Храме.

Да что тут говорить...

Это он сказал. И вправду изжигал, свою душу надсаживал. Его роман «Прокляты и убиты» — какая-то мощная, трагическая, громадная, *неоконченная* (как у Шуберта) симфония о России. О её судьбе, о горькой её доле. Да какая там симфония! По времени то, что он написал, — больше, чем симфония. Больше, чем опера. Музыка существует временно, и если я её исполню, это будет гораздо короче, чем если б я Астафьева прочитал. Это Эпос какой-то! Военный эпос. В «Затесях», в тетради 7-й, есть такое название: «*Последняя народная симфония*»...

Я бы вообще «Прокляты и убиты», «Весёлого солдата», «Затеси», последние рассказы как бы в рекомендацию давал — прочесть правителям нашим высокопоставленным (нами и поставленным, о чём они, наверное, забыли). У кого ещё остались совесть, чувство стыда. Прочитали бы Астафьева — по-другому, быть может, стали бы смотреть на Землю, на человека. Потому что человек простой в этой стране — сорняк.

У Астафьева огромна боль (Космическая!) за русский народ, за страну. И печаль — неутолима и безысходна. Поэтому он и музыку Рахманинова любил, слышал. Эту боль и тоску, ностальгию по Родине, связанную с человеком и с природой. А у Шостаковича он, наверное, сумел бы, как никто, расслышать муку от злодейского государства — нам посланную. Но Шостакович писал не слова, а ноты...

...На концерте он сидел рядом в десятом, в сердиночке. Концерт был в четыре часа дня, 2-го мая, и я сказал: «Низкий поклон. Все русские музыканты вам низко кланяются». И — до слёз. Так и оркестр играл, от души, от сердца. Поклонились ему Музыкой! А что мы ещё тогда могли, кроме этого, как и теперь, — только поклониться. Сказать последнее прости.

Его надписи мне на книгах — может быть, одни из самых лучших для меня рецензий.

«Евгению Колобову в память о встречах в Сибири и с благодарностью за его прекрасную Музыку и волшебство, с которым он её творит. Кланяюсь. Виктор Астафьев». Это 2-го мая 1999 года, а 3-го:

«Евгению Колобову для неторопливого чтения. Женя, дорогой, может, я и о твоей Музыке когда-нибудь сподоблюсь написать... Спасибо тебе за неё, дорогой человек.»

То не хвастовство, я ведь не по «ящику» выступаю, где постоянно крутятся одни и те же лица, и ощущение такое, будто это вся интеллигенция, весь цвет нации и есть. Для меня воспоминания о нём трогательны безумно. Да и одна из книжек, на которой была сделана надпись, называется: «Благоговение». Так что и я к этому человеку — как русский человек — отношусь с трепетом и благоговением.

Мои родители из Вятской губернии, тоже из глубинки, издалека. И в мою голову закрадывается сходная мысль — а что если Бог действительно отвернулся от нашей Земли. Он не смотрит, не глядит на нас. Что мы сами с этой Землёй делаем, что творим? Мне так кажется, что Астафьев никакой перспективы улучшения в жизни простых людей, народа вообще не видел.

Ну и мордовали его господа от власти, как могли, всё последнее время. Они и внесли свою «творческую» лепту в то, что он ушёл.

И то сказать, умирать в такой стране,
пожалуй, лучше, чем жить
Дж. Свифт

Сними с меня усталость,
матерь смерть...
Б. Чичибабин

Может, подобные мысли посещали и Виктора Петровича, потому что он ничего — даже с его именем и человеческими возможностями — сделать не мог. Это какой-то Сизифов труд.

Они с Нагибиным Юрием Марковичем хорошо общались, были большие друзья; и я натолкнулся у того на точную фразу: «У нашей жизни есть одно огромное преимущество перед жизнью западного человека: она почти снимает страх смерти». Это написано в шестидесятом году, но, по-моему, ничего не изменилось. И у Астафьева, как у Пушкина, — он как будто тоже шёл на пулю. Или на амбразуру. Ну что он мог сделать? Библиотеку в пределах одной деревни. Но он ведь страдал за всю страну, за весь наш несчастный народ.

Я боюсь этих слов, потому что, к сожалению, их неверно поймут злые люди... Эти три первые дня после его смерти... Я просто плакал... Сам попал в больницу, поэтому не смог лететь на похороны. И когда стал читать роман, у меня сердце болело, а представляю, как оно болело у него. Это же надо — прожить такую жизнь, возвратиться назад, в 42-й год, и заново пройти весь путь. Во второй раз! Через Преисподнюю... И снова результат один: прокляты и убиты. Убиты жизнью, системой этой. Да он пророк! И литература его — пророческая. В его книгах есть такие особые, «тёмные» и страшные места, но от них идёт ослепительный свет.

Как он пишет о природе. Боже! Это ж поэт гениальный. (Я не про жанр говорю). Но что делают сейчас с этой природой! О поле русском, о хлебом поле у него монолог есть. Мы все «монологи» когда-то в школе учили: Болконский о дубе... А тут... Откровение о судьбе человека. Но — никаких уже иллюзий.

И у меня имеется такое маленькое стихотворение:

Необъяснима подлость каверзной напасти:
Родиться в сказочной стране,
А умирать в зловещем государстве.
Ну что за судьба нам такая?... Всем...

Писатель с перепуганной душой —
потеря квалификации.
М. Зоценко

Но он был настолько Солдат — в жизни. Никогда не боялся идти до конца. Он же по сути сиротой был: детский дом, после 6-го класса уже работает, учёба в фЗО, снова работа, война в 18 лет... А вот Цветаева пишет: «Тому, что безусловно, не надо родословной». Ну подумайте, какая у него была

Родословная? А у нас сейчас — Дворянское общество, Английский клуб (я вот тоже его член...).

Но мы всё-таки не случайно в *День защитника отечества* его вспоминаем. Он действительно был великим защитником нашего Отечества до конца своей жизни. *Виктор Петрович Астафьев*. Война его так и не оставила, «красным колесом», как у Солженицына, по нему проехала, кровавым. И он сказал им — партии, системе, государству — всё, что о них по этому поводу думает. На посошок.

В комментариях к роману есть описание: один солдат воевавший прислал отзыв, упомянув, что при росте 172 см он был весом 39 кг. Так заботились о нашей Армии-победительнице. А Иисус Христос, когда шёл на Голгофу, весил 32 кг, добавляет Астафьев в скобочках.

Всех нас что-то ведёт — дар ли, судьба или случай. Но он шёл — прямо *туда*. Прошёл свой долгий путь, хотя, я думаю, что в той России, где он жил, жить нужно мало. Долго — невыносимо...

Случайно, в «Литгазете», кажется, читанная фраза: «Вероятность смерти для хорошего человека выше её вероятности для плохого». Астафьев прожил столько, сколько отпустил ему Бог. Разве вообще можно было существовать — с таким чутким, помнящим сердцем?..

...А мы века живём увечно,
Ни в грош не ставим жизнь свою,
Родную землю зло калечим,
И в каждый день — как на войну...

Это в Финляндии мною было писано, прошлым летом, где всё меня поразило, — уют, тишина, чистота, любовь к природе... я ведь ленинградец, природа вроде бы близкая. А тут — каждый день как на войну!

Одиноким скиталец,
лесной бродяга с детства.
*Комментарий к роману
«Прокляты и убиты»*

Астафьев — один из самых свободных людей на земле. Но — и самых одиноких. Меня резануло, что к Рихтеру на сорок дней в Зал Чайковского никто из правителей не пришёл. А на этот раз из Москвы ни единая душа из писателей на похороны не приехала. Ну, Бог им судья. Тут, наверное, и зависть среди вашего брата, как и среди нашего. Простить же друг другу ничего не могут!.. А вообще одиночество творчества — хорошее состояние на старости лет. Может, и не только на старости... Но главное, я знал: он — живой, он есть, он пишет, он работает. Мне уже и жить легче. А зачем — просто так-то? У нас теперь все поголовно целуются, особенно почему-то мужики. А потом друг на дружку пишат. Но при этом — целуются. Это жизнь человеческая, как говорится. Не судите да не судимы будете. Имеется в виду, однако, что не другой человек тебя судить не станет, а там, где со всех нас спросится...

У добродетели много
проповедников и мало мучеников
Гельвеций

Виктор Петрович Астафьев был мученик добродетели. Может, конечно, кое-кто ещё остался — мы их узнаём, когда их уже уносит. Не хочу сказать — уносят на кладбище... Они улетают от нас туда, в Небеса. В «Моцарте и Сальери» не написано, что Моцарт умирает, а сказано в ремарке: Уходит. И такие люди, как Астафьев, просто уходят.

О нём говорить — ещё право надо иметь. Я не интервью даю. Просто вспоминаю. Когда умер Андрей Дмитриевич Сахаров, кто-то написал: «Умер великий юродивый России». Может, Астафьев тоже — словно великий юродивый, от рождения болеющий, болящий. И это ему памятник нужно поставить в Москве ли, в Красноярске ли, на Малаховом ли Кургане. А почему — юродивый? Так он ведь не публицистикой занимался, а Литературой, Словом. Через какой-то странный, загадочный Образ подводил нас к столбам своих выстрадаанных идей. *Пролётный гусь. Морошка. Царь рыба*. Это же образ целой страны, которую загоняют в сети. Загнали... Ой!..

Красоту порождает страдание.
Тео ван Гог

Может, и я думал песней, звучал на ветру вместе со всеми будущими братьями, ещё не ощущая их, несясь вместе с ними каплей дождя, белой снежинкой, диким семечком, пролеском света над землёй?

Астафьев

Почему талантливых композиторов много, а великие только те, кто прожили трагическую судьбу — Моцарт, Мусоргский?.. Астафьев самозабвенно любил музыку! У него есть новелла «Аве Мария» о Шуберте — замечательная. Так почувствовать музыкальную материю, «раскалённую до последнего градуса» страданием. Страданием не человеческим, а уже небесным. Или, ещё совсем молодым парнишкой, во время войны работающим на станции Базаиха составителем поездов, увидеть на сцене оперного театра облака, услышать мрачные звуки всемирной трагедии жизни и смерти — в «Бале-маскараде» Верди! И «Реквием» потом ощутить — как «состав своей крови».

Он ведь никогда нигде этому специально не учился, но никакой профессионал-музыковед так не напишет. Однажды сказал мне: «Женя, выше Музыки ничего нет». Как?! Казалось бы, писатель должен отстаивать свой профессиональный интерес, а он... В Музыке для него заключалась любовь человеческая. И потому он в своей прозе — великий Музыкант-Художник. Многие нынешние теперь просто «текст» лепят. А он из тех, кто не сочиняет, — *записывает*, что им шепчут откуда-то оттуда, сверху. Провидение ли, Бог ли, птицы, небо...

Я вообще думаю, что он многие свои вещи писал, просто слушая музыку.

Одно ощущение, что рядом с тобой жив такой человек, уже счастье. Но и теперь, после его смерти, его книги для меня — это целый мир, равновеликий Музыке.

Я к нему как к Великому Старцу на поклонение ехал. Свято-молитвенное отношение у меня было и есть, ни больше — ни меньше.

Я уже говорил как-то, что, может, Моцарту я на том свете полы буду мыть или бегать за вином. А Астафьеву — хоть карандаши точить, хоть что. Всё, что угодно...

Ведь музыка, как и растения, принадлежит всему миру, всему человечеству, а не одному государству, не одной территории, не одной личности. Музыка и природа — самые демократические из всего того, что есть на свете.

Астафьев

Большое, конечно же, видится на расстоянии. Для всего нужно время. Я сейчас Астафьева читаю под каким-то другим углом зрения. С каждым годом всё-таки надеюсь, что не дурнею — не умнею, умнеть уже поздно, но хоть мудрею чуть-чуть... И вспоминаешь жизнь своих родителей, которая тоже была покалечена, в той или другой степени. Фильм такой был — «Жизнь прошла мимо»...

Это для Виктора Петровича жизнь не мимо прошла, потому что после него труды, книги останутся, которые могут кому-то помочь. Поздно, не поздно, — неважно. Эти книги способны превратить в людей тех, кто ещё называется человеком и кто в смокинги одевается... Но ведь у многих жизнь просто зачёркнута. В принципе. Воевали за идеалы, а другие в это время устраивали себе коммунизм в отдельно взятой квартире. Так что чего они мне песни поют «за народ»? Это — их «музыка».

...Но так им врезать! Так написать, как Виктор Петрович написал, — не просто злость нужна, а ещё, наверное, Дар Божий. Так высказать... И он высказал. Успел. А вот о кошке своей, как он сам пишет, — написать не успел... Если дальше эту страницу закроют великую, и действительно станет она последней — что тогда вообще читать? Не хотелось бы думать, что это закрытая, последняя страница. Позор, но в городе Москве не издано полное собрание сочинений Астафьева!

Ведь огромна же человеческая потребность — в чтении. Я, когда читаю Астафьева, то всё вижу — как в зримом действии. И казармы, где ребята эти жили, и место, где Снегирей, мальчишек этих, расстреляли ни за что, ни про что... Не понимаю, почему это в эстетике такое деление: «литература и искусство», почему писателей забором отделили? Вроде у слова нет могучего пластического обеспечения.

Но прежде всего я Музыку астафьевского слова слышу.

Апдайк сказал однажды: «Если у Бога есть голос, то это ветер». Не этот ли Ветер Виктор Петрович слышал над Енисеем?

Само писательство — великая музыкальная способность, всепобеждающая. Напечатают, не напечатают, но я-то сказал, выразил! И если Бог слушает нас, то услышит.

Писать — это особый способ разговаривать: говоришь, и тебя не перебивают.

Ж. Ренар

Когда пишешь, находишься, так сказать, в процессе, — тогда тебя никто не перебивает. А так-то очень даже могут. И перебить. И не услышать. Астафьев вот тоже — кричал, а его не слышали, как в Пустыне.

...Он претерпевал смерть от Государства — постоянно, ежедневно.

...Апокалипсис, верно, будет. Он уже идёт. Сам Астафьев так, по-моему, считал — что всё началось (или кончилось) в 17-м году. Такой долгий — предолгий период нашей жизни.

...Но у него в книгах не только Апокалипсис — там и юмор всепроникающий, как у Гоголя, — трагикомедия. Трагедия! А ты вдруг смеёшься...

...Неслучайно он в Красноярск уехал, подальше от столицы, от суеты. Мог бы жить в Вологде. Или в Москве, где бы его, наверное, «растаскали», измельчили. А какие «тусовки» в Овсянке?... Уехал в Сибирь — как ушёл в свой монастырь. В монастырь ведь тоже по-разному можно уйти. Это была его Родина, его корни. Бабушкина иконка и иконы, брошенные в топку.

...Способы перебивать, убивать — тоже бывают разные. Сейчас они проще, изошрённее. Как в советской песне: «Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой...» Раньше — из винтовочки убивали, танками давили. А нынче раз — и нет человека. А ведь как долго приходилось мучиться людям, раненым войной. Эти медсанбаты бесконечные, переполненные до краёв страданием, гноем и кровью. Просто уму непостижимо — как же долго они мучились!...

Это чтоб своё, родное государство так относилось к своим же людям. Так ненавидеть свой народ! Нет, непостижимо умом...

Да ладно, может, Бог меня простит, Виктор Петрович. Я-то вроде жив... Не знаю, чего ещё говорить...

...«Диво дивное! Уборка хлеба среди зимы. Воистину всё перевернулось в этом мире. Не зря, не зря переворот был, не зря Господь отвернулся и от этих, землю русскую населяющих, людей, от земли этой, неизвестно почему и перед кем провинившейся. А виновата лишь она в долготерпении. От стыда и гнева за чад, её населяющих, от измывательств над ней, от раздоров, свар, братоубийства, пора бы ей брыкнуться, как заезженной лошади, сбросить седока с трудового, сёлами потёртой, насаженной спины...» («Про-кляты и убиты»).

«Видимость. Видимость правды, видимость кипучей деятельности. Видимость знания, образования, видимость забот о народе и солдате, видимость крепкой обороны, видимость могучей Армии, видимость незыблемого единства,

видимость сплочённого государства, которое осыпалось в три дня...»

«Климат, где нет места истине...»

«Боль человеческая никуда не исчезает, она всевечна и всеместна и, переложив её на бумагу, вольно или невольно, нагружаешь ею своего читателя».

Я представляю, как он нагрузил сам себя!

И в Сибири, в Красноярске тоже всё перегружено, предельно сгущено. С одной стороны, — земля Сурикова, Астафьева, Андрея Поздеева. Но ведь и «великие вожди» нашей страны тут свой след оставили. А может, и не они затеяли? Чёрт его знает, не поймёшь... Может, и русская

литература, как говорил Розанов, помогла внести сюда свою лепту? Вот и слушая сейчас русскую музыку, я вдруг улавливаю иногда отзвуки большевизма, какие-то его зачатки...

О, Господи! Не дай бог, там тоже какой-нибудь коммунизм строят. Партвзносы нужно кому-то платить. И будет там свой Владимир Ильич Ленин... не дай бог, Ленин с Троцким там будут... Блин! Блин-блин-блин, и Клинтон — блин, как у Вознесенского. Один блин. Страна блинная. Бляхмуха. Правда, Света, не знаю, чего ещё говорить. Больно. Больно, горько, студёно, морозно. И безысходно. Но, надеюсь, не для него... Ладно, что сказал, то сказал.

Запись Светланы Васильевой
от 23 февраля 2002 года
г. Москва

Совершенно народный человек

деятели культуры о В. П. Астафьеве

Олег Табаков Пока Астафьев был на земле и в русской литературе, меня не покидало ощущение духовного порядка. Съездить к Астафьеву в Красноярск — как причаститься, прочитать его новую повесть или роман — как глаза промыть, заново почувствовать жизнь, её реальные ценности и заботы. Из мясорубки великой войны он вынес своё понимание жизни и смерти. Он нашёл дальнобойные единственные слова для того, чтобы обжечь читателей той правдой, которую хранил в себе. До последнего дня, до последнего слова своего он ни разу не покривил душой. Он был национальным писателем в самом высоком смысле этого трудного понятия.

Борис Стругацкий Такие люди рождаются раз в сто лет. Он рассказывал о войне как о тяжёлой, грязной работе, говорил о том, как ломает она жизни и судьбы, как трудно остаться личностью. Астафьев личностью остался, ни под одно из времён не приспособиваясь. Вот это «неприспособленчество» всегда восхищало в нём.

Валентин Непомнящий Это был один из последних рыцарей русской культуры и «среди пуганой русской словесности» (говоря его словами) он стоял, как Брестская крепость.

Даниил Гранин Виктор Астафьев был очень хороший прозаик, писатель и человек с характером. Это был настоящий солдатский характер. Мне особенно дорога его военная проза: Астафьев один из немногих, а может быть, и единственный, кто показывал всю грязь и мерзость войны. Его книги говорили о войне так, как мы не привыкли — не с точки зрения победы, а с интонацией трудной и горестной. У нас были с ним расхождения, конечно, а как же иначе. И в нём особенно ценна была независимость. Он был по-настоящему независим.

Фазиль Искандер Я очень любил Виктора Петровича Астафьева и как писателя, и как человека. Он был одним из выдающихся писателей нашего времени. Его произведения — и «Царь-рыба», и «Последний поклон», и «Прокляты и

убиты» — всегда захватывали душу и читались с огромным интересом. Всё, о чём было написано в его книгах, он видел, знал и пережил сам. Это необыкновенный тип писателя, пользующегося личными первоначальными впечатлениями.

Константин Ваншенкин Это был настоящий солдат — битый, стрелянный, неунывающий, весёлый и печальный, сердечно добрый и по-настоящему злой, порой грубый. Всё в нём было. Он цеплял читателя, что называется, за живое. Не все его принимали, и это естественно — он был ни на кого не похож в нашей прекрасной литературе о былой страшной войне. Ведь, кроме общей, война у каждого была ещё и своя. Он написал и немало иной, нежной прозы, но главными в нём сидели те четыре года. Он был словно тот партизан, который не знал, что война кончилась, и всё пускал эшелоны под откос, — всё писал о войне свои бесстрашные пронзительные книги.

Анатолий Приставкин Виктор Астафьев не мельтешил, не суетился ни по каким поводам, а сидел в глубинке, колот дрова и писал свои замечательные произведения. Не случайно к нему за советом ездил президент. Не случайно к нему обращались россияне в трудные моменты по самым насущным вопросам. Он прожил полноценную жизнь, какую только может дать своему гражданину российская история. Это был совершенно народный человек, невероятного внутреннего убеждения и внутренней крепости. Несмотря на то, что он болел, был немолод — он имел стержень — крепчайший нравственный стержень, который, как говорится, держал его на плаву.

Борис Панкин Не только коллеги по цеху — литераторы — оглядывались на слово и дело Астафьева. Не только для них служил он живой совестью. И не только они побаивались согрешить лишним раз перед его единственным, оставшимся с войны, но всевидящим оком. Властители, политики, бизнесмены шли к нему на поклон, особенно последние полтора десятилетия. Но — много было званных, да мало избранных.

Розмари Титце

И меня не отпускает война

Речь по поводу вручения
Пушкинской премии В. П. Астафьеву



31

Розмари Титце ■ И меня не отпускает война

Дорогой Виктор Петрович, Вам со мной не очень повезло. От меня ждут похвального слова, а чего требует этот жанр, совершенно очевидно: обзора творчества, выявления «магистральных линий», обрисовки основных сюжетов и их трактовки, а также определения места в живом литературном процессе. Задача ответственная в любом случае, тем более, если речь идёт о таком богатом творчестве, как у писателя Виктора Астафьева.

Поручили, однако, это выступление переводчику, и тут начинается беда: не чужой ли это огород? Куда уж переводчику до обзоров и «магистральных линий»? Ведь переводчик — человек деталей. Даже — фанатик деталей. Он роется в микроскопе языка, то тут натолкнётся на любопытное слово, то там поднимет на вилы непонятное выражение, а то и надолго задумается о том, удастся ли пересадить цветочек какого-то очень уж своеобразного оборота речи на почву другого языка. К обобщениям переводчик прямо-таки патологически неспособен, и это чуть ли не особая примета его профессии.

Как же быть? Выход один: примириться со своей профессиональной ограниченностью и предложить вниманию публики несколько языковых деталей, а так же личных воспоминаний, связанных с моим — правда небольшим — опытом перевода астафьевской прозы. Не обойдётся при этом без частого употребления местоимения первого лица, что в данном жанре уж совсем непростительно. Поэтому очень надеюсь на Ваше снисхождение, Виктор Петрович, и на то, что Вы, как великий огородник, не обидитесь, если ода у меня не получится, и я всего лишь скромно, по-своему, поогородничаю.

Итак, взгляд из другого языка на прозу Виктора Астафьева, взгляд переводчика. Прежде всего, бросается в глаза невероятное изобилие астафьевского словаря, причём он крайне конкретен, насыщен реальной жизнью, то есть, обозначает вещи не вымышленные, а видимые и осязаемые. Кроме того, он отличается особой, я бы сказала, «оседлостью», и эта привязанность к месту подчас озадачивает переводчика не в малой степени. Судите сами:

Что такое «куть»?

Почему спят на каких-то там полатях?

Как выглядит жалица? И как она обжигает?

Что значит «усмыгнуть»? Или «обопнуться»?

Какого вкуса елец?

А «бадоги»? Что с ними делают?

Почему устраивают «охоту на овсах», когда речь о медведе?

И тут переводчику приходится совершать своего рода этнографические экспедиции в труднодоступные области языка, иногда не разведанные даже словарями наречий и ботаническими, зоологическими или другими справочниками. А если и справочники не помогут, то приходится докучать носителям языка, вплоть до самого автора, бесконечными вопросами, так что этот барьер, как бы он ни был высок и страшен на первый взгляд, всё же преодолим.

Допустим, переводчик выяснил самобытные слова, накопил семена — а как они взойдут? Примутся ли в живом языке? Тут и начинаются настоящие трудности.

Как достичь того астафьевского напора речи, того стремительного бега, в котором всё ещё слышится устное повествование? Как придать родному немецкому всю сочность этого языка, его вкус, его запахи? А главное — как добиться эмоционального накала этой прозы, той страстности, которая прямо-таки пышет из каждой щели, из каждого промежутка между словами?

Найти хоть отдалённое соответствие можно лишь услышав живые голоса внутри себя, а в случае «Последнего поклона», если погрузишься в собственное прошлое и подхватишь там нестертые ещё слова мамы или бабушки, их полузабытые интонации.

Так что сидит переводчик астафьевской прозы, странным образом брошенный на произвол своей биографии, перед машинкой и мучает память, а в конце рабочего дня на бумаге всего несколько фраз, но на это копание в прошлом ушло столько душевных сил, что чувствуешь себя, как будто — целое поле вскопал.

Но достаточно о муках работы. Как немецкий читатель воспринимает Астафьева?

Я приводила примеры «сибирских» слов из двух вещей Астафьева, включённых мною в сборник сибирских рассказов. Все, кто бы его ни читал, вспоминали «Бабушкин праздник». И непременно с улыбкой. «Здорово, как они там в Сибири гуляют...» Дальше эти отзывы различались в зависимости от того, кто говорил: «И как эта бабушка никого не оставляет без ответа, всегда находит меткое слово!» Или: «Вот этот праздничный стол, огурчики, рыжики, пирог — загляденье!» Это, разумеется, реакции женщин. А явный любимец мужского пола — дядя Левонтий.

Мой шури́н до сих пор с уважением вспоминает: «Какие песни за столом пел, а в конце, чтоб не буянил, лежал связанный под скамейкой и зубами ножку грыз...» Каждый находил в этом празднике то, что ему по душе, причём любой отклик, повторяю, сопровождался улыбкой, и об этой улыбке, мне кажется, стоило бы задуматься.

Конечно, тут привлекает читателя некоторая экзотика: чужая и жутковатая Сибирь, а вот, на тебе — такое гулянье! Даже зависть это возбуждает в аккуратненьких, умеренных моих земляках, я прекрасно понимаю! Но главное, что убеждает и даже подкупает в этом — и не только в этом — рассказе Виктора Астафьева, — чувство. Простое, человеческое, неприкрытое. Своеобразная география чувств. Чувств из страны детства. Только в детстве они бывали такими яркими. И нам нужно, чтобы нам об этом напоминали, в противовес тому, что нас окружает. Как говорится в «Бабушкином празднике»: «Злом сердце быстро изнашивается». И от теплоты и доброты этого напоминания — улыбаемся.

Второй рассказ, опубликованный в нашем сибирском сборнике, более тихий, но он мне так же дорог: «Осенью на вырубке». По изуродованному, но всё ещё живому лесу бродит охотник, он же писатель, и когда он вдруг, лицом к лицу, сталкивается с медведем, зверь ему кажется в первую секунду выдумкой писательской фантазии. Встреча с этим предпоследним медведем (не последним — последний сидел к тому времени уже в клетке Ленинградского зоопарка) представляется мне всегда образом и смыслом астафьевской прозы. С одной стороны, вобрать в слово и тем самым в слове сбересть — это писательская задача. С другой стороны — указать на разрушения и тем самым сбересть в жизни, это задача человеческая.

Вернёмся ещё раз к похождениям переводческим. Этнографическая подготовка перевода иногда бывает необходима не только в косвенном смысле, но и в самом прямом. «Лучше один раз увидеть...» К тому же, какой отличный повод оправдать свойственную подчас немецким людям склонность к далёким странствиям. Поэтому в те времена, когда мы с коллегами работали над сибирской антологией, мы отправились в настоящую экспедицию по стране сибирских реалий и наречий. И почувствовали себя чуть ли не первопроходцами, как в XVIII-ом веке, чуть ли не какими-то Мессершмидтами или Стеллерами языка.. Но было это в 80-ые годы, и тогда нам позволили любоваться Красноярским краем только из окон транссибирского поезда.

И всё-таки, побывала я в Овсянке. Уже потом, в 90-ые, после выхода книги. Постояла перед бабушкиной избой, потрогала её пальцем и удивилась: какая она маленькая, как в ней помещались все

гости? Посмотрела с берега и на Енисей — ах вот, куда уплыл дядя Левонтий на следующее утро, после попойки... Увидела и библиотеку, построенную стараниями Виктора Петровича, это двухэтажное чудо среди овсянкинских огородов. Когда я подходила, библиотекарьша Вида как раз гонялась за Юлей, любознательной соседской козой, не впервые проникшей внутрь. То, что я узнала в библиотеке, и то, что наблюдала в Красноярске — с какой любовью и с каким уважением люди относятся к своему земляку Виктору Астафьеву, поставило меня перед новой переводческой проблемой. То понятие «Народный писатель», которое воплощает собою Виктор Астафьев, никак не переведёшь на мой родной немецкий. Слово такое есть, но понятия такого просто нет.

Не могу не упомянуть здесь о другом немецком вторжении в Россию.

В феврале, сразу после заседания жюри Пушкинской премии, мы с Андреем Битовым были в Веймаре и там в парке случайно набрали на советское военное кладбище. На надгробных плитах были даты рождения — 18-й, 24-й, 20-й год. «Вот, — сказал Андрей, — «астафьевское поколение».

Виктор Петрович, Вы не раз говорили, что Вас не отпускает война. И Вы всю свою писательскую жизнь продолжаете писать о войне.

Я преклоняюсь перед мужеством и упорством, с которыми Вы боретесь с этой войной, а также перед радикальной решимостью, с которой Вы показываете ужасы этой войны.

В знак признательности разрешите — ну, «подарить» Вам в заключение короткое автобиографическое отступление.

Я родилась в ноябре 44-го года. А несколько недель спустя отец пропал без вести на восточном фронте. В моём детстве образ отца состоял из одной фразы, из привычного в те годы эвфемизма: «Он остался в России».

Тому, что я стала заниматься русским языком, есть множество причин; но однажды, когда уже давно была переводчицом, меня вдруг осенило: самая глубинная причина как раз в этой фразе — отец «остался в России». Так что в некотором, хотя и совсем в другом смысле, и меня не отпускает война.

Последнее время я всё чаще думаю, что мне выпала, наверно, счастливая доля. Ведь, кроме художественных увлечений и пристрастий, что для человека моего поколения могло стать лучшим занятием, чем узнавать и переводить литературу тех, кому пришлось обороняться от нашей агрессии?

Таким образом, дорогой Виктор Петрович, как видите — мне с Вами очень повезло. Большая честь для меня, что на меня возложили обязанность вручить Вам немецко-русскую Пушкинскую премию.

Виктор Астафьев Умели! Да ещё как!

Письмо Владимиру Колыхалову



Авось к тому времени, когда выйдет этот номер, поспеет у «Издателя Сапронова» в Иркутске готовящийся к 85-летию писателя том переписки В. П. Астафьева «Нет мне ответа». И опять Виктор Петрович ворвётся в нашу литературу, словно и не уходил, — с его прежним беспокойством. И опять захочется обнять и оттолкнуть его, принять каждое слово и воспротивиться каждой запятой — так он будет целостно жив, горяч, противоречив, так бережно нежен и смущающе резок. И впервые будет особенно понятно, что его гнев и страдание, его любовь и благословение миру объясняется тем, что он с самого начала пути осознаёт себя русским писателем во всей глубине и ответственности этого понятия.

Сегодня мы плохие дети своей традиции и предпочитаем укрыться в игре и необязательности перед словом. Всяк сам себе закон и традиция. Литература от этого стала эффектнее, цветистее, но ощутительно легче. Трагедии перестали быть страшны и спасительны, а комедии смешны и очистительны. Литература, по слову А. Битова, стала профессиональной, то есть перестала быть русской литературой. Это не парадокс. Это печаль от сознания того, что мы оставляем, какой континент покидаем, чтобы расселиться по, может быть, уютным и комфортабельным, но слишком малым для просторного русского сердца островам.

Книга Виктора Петровича возвращает космос здорового земного и небесного глубинного существования и оказывается неожиданным портретом действительно живого, яркого, ни минуты не пребывающего в покое сознания. В книге будет видно, как он жадно, как радостно учился и совершенно естественно, что так же яростно учил, как ни клялся, что всякое поучение для него нестерпимо. Из письма в письмо он спрашивает товарищей, читали ли (Солженицына, Стейнбека, Носова, Сервантеса), смотрели ли в кино и театре (Товстоногова, Дзефирелли), слушали ли (Бетховена, Альбини, Свиридова)? И тех, кто ближе, кто вокруг — смотрели ли, слушали, читали? Ему хотелось, чтобы все были связаны единством делания и общностью любви.

И мне уже не терпится привести одно из астафьевских писем сибирскому писателю Владимиру Колыхалову, написанное по прочтении его романа «Дикие побеги», вышедшего в Молодой гвардии в 1968-м году. Перечитать это письмо вместе, чтобы подстегнуть ожидание книги самого Виктора Петровича, вспомнить, как говорили друг с другом русские литераторы, как знали они дело, которому служат, и как следом за Пушкиным и Тютчевым, Толстым и Буниным, Шмелёвым и

Зайцевым отвечали за него. Если бы мы сегодня слушали произведения своих товарищей так же любяще и строго, если бы так же спешили поместить их в контекст золотой традиции, мы не только читали бы другие книги — мы жили бы в другом обществе, где слова «свобода, история, человек, будущее» были бы полны смысла, а Бог и великие писатели прошлого улыбались бы нам и не давали сбиться с пути.

Валентин Курбатов
16 апреля 1969 г. Вологда

Дорогой Володя!

Ну и толстую же книжку ты написал! Читал я её, читал... Я ведь толстые книги сейчас читаю трудно и долго — глядело моё послабело, и голова побаливает. Но твою добил — оттого, что люблю книги сибиряков. В них у талантливых, разумеется, авторов и не наезжих, а коренных сибиряков — всегда покоряет выпуклая образность, сочный и богатейший язык, сочная природа. Наш грубоватый, не подмазанный крылышком юмор, не вымученная, но выставленная напоказ честность и правда. Правда непосредственная, неотразимая, как жизнь, которая вроде бы как сама собой разумеется, и потому её обычно принимают и воспринимают без ахов и охов и никакой излишней подозрительности к ней не проявляют. Такова уж она, настоящая правда: её или принимают целиком, или отвергают, но тоже целиком, ибо она неделима и неотделима, эта «исповедальная проза».

«Верха» наши, наторевшие в надзоре за словом, совсем не случайно относились к этой прозе снисходительно — она была безопасна и «безвредна», ибо скользила по верхам событий и жизни, шибала больше в нос и не трогала сердца. К этакой литературе во все времена все привыкли очень быстро, а настоящего слова, по справедливому и потому уже осуждённому в «Огоньке» замечанию Градина, Россия всегда боялась.

Твоя книга написана в лучших традициях сибирской прозы, которая была и осталась, по моему глубокому убеждению, лучшей и определяющей в прозе 20-х и 30-х годов. Зазубрин, Ошаров, Петров, Иван Кратт, Шишков, Березовский, Жуков, Сейфулина, Вс. Иванов, Черкасов (покойный, а не живой!) и множество других сибиряков зачали советскую прозу и продолжали её с новейшим живописным блеском, они как бы изголодались по живому слову, по живому разговору, в душах их скопилось столько красок, столько живописных образов и эмоциональности, что они её выплёскивали удало, безудержно, темпераментно и иной раз одной страницы (у Шишкова, например), иному современному столичному «художнику слова»

хватило бы на целый роман — так они бедно заряжены жизнью, так мало видели и пережили.

Всё это, присущее лучшим сибирякам, как бы само собой перешло к нам. Да и как могло быть иначе? Мы же росли и выросли на этой литературе! И всё это ярко, зримо и вещественно присутствует в твоей книге.

Но я глубоко убеждён, что сибиряки наши, если б дали им возможность созреть, жить и работать, вспомнили бы, в конце концов, что до них были Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин — в прозе, Пушкин, Блок, Некрасов — в поэзии, которые умели — да ещё как! — писать и образно, и живописно, и удачно, и правдиво и... как хочешь. От стихийной, порой «голенькой» прозы они постепенно переходили к мысли. А если уж шла война, то и её описывали, и не одними батальными сценами отделялись эти воистину мудрые художники, мятущийся человек появлялся у них на позициях. И мятущийся, чего-то ищущий граф, и мужичок, со «своих позиций» пытающийся понять себя. Если уж нищий студент угрожал старухе, то за него нравственные вопросы решал не всезнающий майор Пронин или мимо ехавший и случайно завернувшийся в роман секретарь обкома, а сам он, студент, обращал свой взор вокруг и в самого себя. И всё вокруг постигал — и высшую нравственность, и падение — путём мучительного размышления над сущностью человеческой жизни, над её величием и мерзостью.

Тургеневы, Достоевские, Толстые достигли высших вершин в слове, потому что сделали слово мыслительным, и, мало того, пошли дальше, забрались туда, откуда возникает эта мысль, — в человеческую душу.

Увы и ах! При всём блеске прозы 20-х и 30-х годов, особенно сибирской, она лишилась основного достижения нашей русской Великой литературы. Она изображала — и только. Она, захлебнувшись, спешила вперёд, летела, подхваченная запущенной во всю мощь и на всю «железку» круговертью событий и собственной жизни. Ещё разговорю: дай ей время приостановиться, осмотреться, поразмыслить — литература эта непременно пошла бы в глубь явлений жизни, занялась бы самоанализом и осмыслением вновь народившегося общества.

Я думаю, не случайно почти всю сибирскую литературу вырубил под корень. Кто-то инстинктивно почувствовал, что она, если не представляет, то будет представлять опасность. Такие мужики, как Зазубрин, Петров и Ошаров, очень много знали и даже сотой доли того, что знали, ещё не только не выложили на бумагу, но и не коснулись. И они-то в первую очередь и пострадали. Оставшиеся в живых Шишков, Сейфуллина, Иванов были травлены литературными гончими и по существу загнаны в угол. Взамен им хлынула в литературу та самая хевра, которая «счастье в том находит, что хорошо на задних лапках ходит».

Думаю, ни Зазубрин, ни Петров, ни тем более Павел Васильев не написали бы в самые страшные годы слов: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»

Именно потому, что они, настоящие бойцы-коммунисты, люди с чистой душой и прекрасной

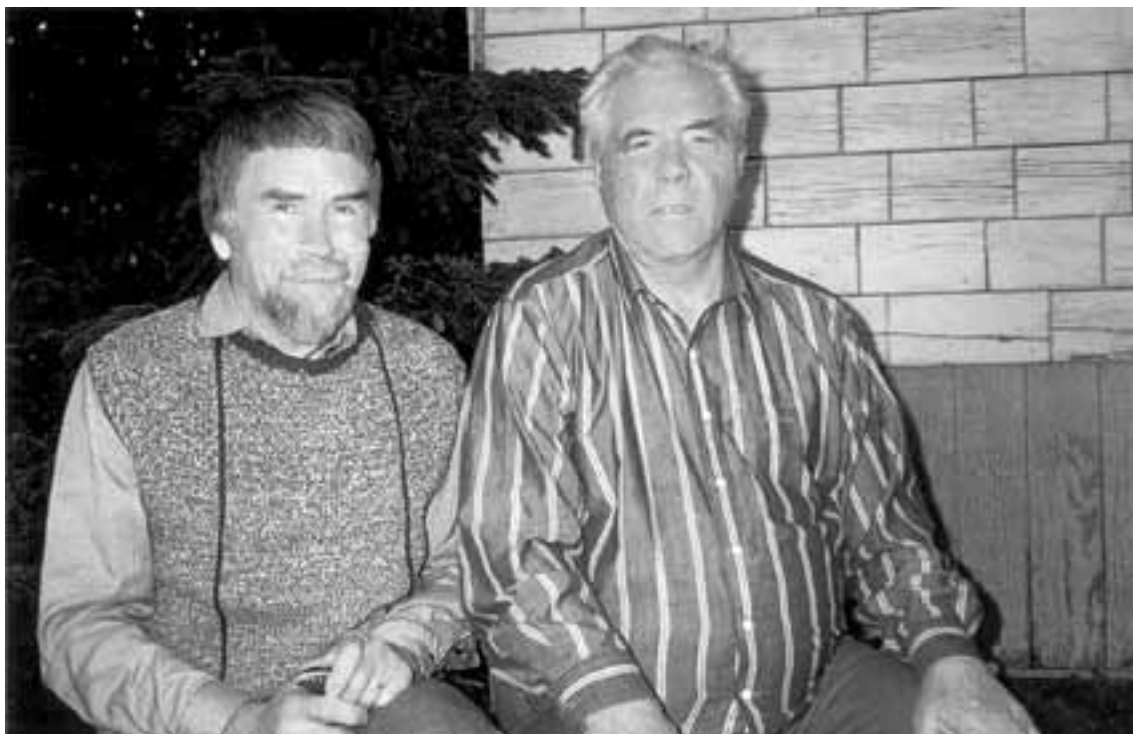
биографией, не делали этого и не сделали бы, их и не стало.

Не стало их, нашлись другие, те самые, которые для нас, мальчишек, писали книжки («Я сын трудового народа», «Белеет парус одинокий»), готовя из нас патриотов и тех самых бойцов, которые потом с этими книжками умирали в окопах, а авторы держали в столах или в душах уже заготовки «Трав забвения» или «Святого колодца», чтобы отречься от того, что они делали раньше, умыть руки, по существу предав нас, смотревших им в рот и верившим на слово. «Пора подумать о душе», — пишет Катаев в «Траве...». А о какой душе-то? Души-то нет! Там уже банная мочалка, которой Катаев и иже с ним натирала спины в общественных банях всем, кто казался им шире спиной и влиятельней. «Его пример — другим наука!» Что и говорить, они многому нас научили, прежде всего, тому, что жить и работать в литературе так, как они, нельзя — это подло!

Вот я и подхожу к той мысли, ради которой и развёл всю эту прелюдию и которая, так сказать, навеяна твоей книгой. Литература наша сейчас в лучших своих книгах мучительно пытается пойти вглубь, вернуться к тому, что было ею уже достигнуто и развито, и пойти дальше. Логика жизни неумолима. Она требует этого от всякой созревшей или полусозревшей литературы. Всё чаще и чаще в книгах талантливых людей делается видно, что они (пусть и запоздало, с издержками, со скрипом в мозгу и в костях) хотят приблизиться к работе Толстого и Достоевского, не повторяя их, не эпигонствуя, не воображая, что им дан Богом тот же талант, а ориентируясь на их совесть, самостоятельность взглядов на жизнь и явления общественные.

И снова, как прежде! Только начала наша литература заглядывать вглубь, только приступила к осмыслению окружающей действительности, как её начали трясти за грудки и гнать. Вперёд! Вперёд без остановок. Некогда остановиться, некогда думать. Помогайте, раз вас кормят, решать хозяйственные и строительные вопросы. А в души заглядывать себе и другим — это потом, это непозволительная роскошь, это — самокопание! Кому оно нужно?

М-да-с! Цепь снова замыкается. На щит уже снова поднимаются Бабаевские, Семенихины, Андреевы, Горбачёвы, которые, опять же по сибирскому выражению, трём свиньям пойло не сумеют разлить, а берутся писать и решать нравственные вопросы. Но как может решать эти вопросы человек, будучи сам совершенно безнравственным, бездарным, оголтело давящим всё талантливое вокруг, чтоб утвердить себя и посредственность, коя ему ничем не угрожает. Сложный сейчас стоит вопрос перед каждым, честно и даровито пишущим человеком. Куда и с кем идти? Стоит он и перед тобой, Володя, да ещё как! Ты, может быть, и сам того ещё не сознаёшь, переживая счастливую литературную юность. Книга твоя хороша, слов нет. Но вся она пока ещё от стихийного таланта, неорганизованного, невзвезданного. Я не случайно вернулся и перечитал предисловие Залыгина. О-о, это мудрый мужик! И предисловие он тебе написал осторожное и мудрое.



Книга твоя ещё очень бытописательна. Её можно, где угодно остановить и ещё сколь угодно продолжать. Из неё можно вынимать целые куски, главы и даже части — и ничего не изменится. Из неё можно вынимать людей или добавлять. А людей в книге целые роты и полки. А смертей сколько! А событий! И все они, за исключением главного героя, исчезают куда-то, как пешки с доски, — отыгрались и долой! Многие умерщвлены без всякого лукавства, по одному принципу: так в жизни бывает или было.

С середины книги становится утомительно следить за судьбами людей, читать необязательные эпизоды и целые главы. Пятая, да и четвёртая часть, начали уже дробиться на эпизоды, и запоминается потрясающая новеллка, как утонул внук Ивана Сосипатьевича и как был убит председатель колхоза. Остаётся в памяти сенокос и ещё кое-что. А остальное уже вяло написано, многословно. Ну вот, спроси ты сам себя: зачем столько страниц написано о медвежонке и как два дурака травили его?

На стихии таланта, на достоверности материала, на добротном языке и добром юморе, неторопливой и достоверной интонации стоит твой

роман, который точнее бы назвать бывальщиной и которую так любят у нас читать, везде и всюду. Ну, а дальше что?

Можно гвоздить дальше на этом же уровне, эксплуатируя биографию и дарование — это очень простой и лёгкий путь. А если по-другому? По тому, о чем я, совсем неспроста, толковал почти всю остальную часть письма.

Ох, трудное это дело! Повесть «Перевал», написанную по тому же принципу, что и твои «Побеги», и о том же — я писал несколько месяцев, и её напечатали мгновенно. А хвалили-то как! Взхлёб! Повесть «Пастух и пастушка» (того же размера — 6 листов) пишу уже третий год и конца работы ещё не видно, и я совершенно не уверен, что кто-либо решится её печатать. Пишу о своём примере не ради хвастовства, а потому как он ближе.

В заключение моего затянувшегося письма прошу тебя воспринять всё тут написанное как субъективное, товарищеское и ещё вызванное тем, что ты сибиряк, а значит, родня, перед которой лукавить грех.

Желаю тебе работы и творческих мучений, которые совершенно всем нам необходимы, особенно сейчас. Жму руку.

Виктор Астафьев

16 апреля 1969 г.

г. Вологда



Владимир Зубков

Виктор Петрович, он же Сергей Митрофанович

Первым настоящим писателем, которого я увидел «живьём», был Виктор Астафьев.

Отучившись на филфаке Пермского университета, волей судьбы без промедления я оказался в должности литсотрудника знаменитой областной газеты «Звезда», в тесной, на три стола, комнатке отдела культуры. Однажды ноябрьским утром 1962 года дверь отворилась, вошёл незнакомый человек среднего роста, крепкий, с открытым приветливым лицом, в поре сорокалетней мужской зрелости. «Знакомся, — сказал мой зав Жан Чесноков, в прошлом военный лётчик. — Это писатель Астафьев».

Желторотый газетчик, я до этого Астафьева не видел. Слышал, конечно, что есть такой автор нескольких повестей и книжки рассказов среди пермской писательской братии, но не более того, есть в Перми литературные имена и погромче.

Лишь много лет спустя узнаю, что Астафьев тогда только что получил в Перми первую в жизни квартиру «от государства». А до этого демобилизованный, с ранениями, наградами и обретенной на военных дорогах женой прожил восемнадцать лет в деревянных домишках промышленного заводского городка Чусового. Похоронил там не прожившего и года в голоде и тяготах первого ребёнка — дочку Лидочку, вырастил вторую дочку Ирину и сына Андрея. После мытарств на тяжёлых и чёрных работах попал в редакцию местной газетки и четыре года выдавал на её страницах суконную подёнщину, начав одновременно писать и собственную прозу. Затем, польстившись, по его словам, на приличную зарплату, «легко, почти балуясь, гнал жизнерадостную словесную дрисню на областном радио» в должности разъездного корреспондента по Горнозаводскому кусту. А далее начал, не служа нигде, жить на вольных писательских хлебах.

Ничего об этом я ещё не знал в тот осенний день, когда Астафьев принёс к нам в отдел новый очерк «Вдали сияет Кваркуш». Точнее, «заметки писателя» о том, как со школьниками из городка Красновишерска он ходил летом на горные склоны Северного Урала. Как ребята, помогая пастухам, гнали на луговые выпасы стадо колхозных коров, охраняли его от волков, учились терпеть походные лишения, постигали суровую красоту уральского предгорья — тут тебе и романтика, и какой-никакой заработок.

Через неделю очерк появился в «Звезде», но вошло в него далеко не всё из того, что Астафьев увидел, что передумал в уральской тайге и о чём рассказывал нам с Жаном в тот день. Видел

брошенные, полуразвалившиеся избы, поставленные тридцать лет назад раскулаченными крестьянами, которых загнали под конвоем в дикие лесные распадки: живите, как хотите. Видел уже заросшие мелколесьем пашни, которые эти люди раскорчевали в тайге...

Говорил с горечью о переломанном хребте русского крестьянства. За его душевной болью — знать этого я тогда не мог — была исковерканная судьба родни, арестованной в 1931 году и сосланной на север за создание «вооружённой контрреволюционной организации в селе Овсянка» (!!!), о чём мы узнаем много лет спустя из заключительных глав «Последнего поклона». Он говорил нам о вещах, которые тогда были окружены глухим молчанием, не рисуясь своей смелостью, говорил словами спокойными и прямыми. В них не было ни опаски совка, ни позы обличителя, ни апломба всезнайки. Я впервые за свою недолгую жизнь слушал совершенно свободного человека, которому незачем было сглаживать свои мысли и маскировать их иносказаниями. Не верить его правде было нельзя.

Я не мог тогда знать, что таких впечатляющих встреч с Астафьевым у меня больше не будет, что вскоре уйду из «Звезды» в университетскую литературоведческую аспирантуру, пройду искушение разными научными темами и, в конце концов, вернусь к Астафьеву уже как исследователь его творчества, напишу не один десяток статей и докладов о его прозе. Что приеду в Красноярск, с высокого берега Енисея увижу наяву мир «Последнего поклона», пройду по улочкам его родной Овсянки, присяду в его домике на диван, где один за другим сидели два российских президента, выражая уважение к своему великому соотечественнику.

Позже я видел много фотографических и живописных портретов Астафьева, кадров любительской и профессиональной киносъёмки, на которых он запечатлён, но всё же так и не мог до конца понять, почему тогдашнее впечатление от встречи с Астафьевым оказалось таким сильным, чем привлекал к себе — внешне и внутренне — этот человек так безоглядно. Объяснение пришло, когда я однажды перечитывал один из лучших рассказов Астафьева «Ясным ли днём», тот самый, в который словно алмазом врезана его коренная идея: «Память да совесть не выключишь». Взгляд упал на строки, которые пробежал прежде, не задерживаясь. Это был портрет главного героя Сергея Митрофановича, старого солдата и даровитого певца в момент, когда он исполняет любимый романс:

Ясным ли днём,
Или ночью утрюмо
Всё о тебе я мечтаю и думаю.
Кто-то тебя приласкает?
Кто-то тебя приголубит?
Милой своей назовёт?..

«В голосе его, без пьяной мужицкой дикости, но и без лощёности, угадывался весь характер, вся его душа — приветная и уступчивая. Он давал рассмотреть всего себя оттого, что не было в нём хлама, темени, потайных закоулков. Полуприщуренный взгляд его, смягчённый временем, усталостью и тем пониманием жизни, которое является людям, познавшим ожесточение и смерть, пробуждал в людях светлую печаль, снимал с сердца горькую накипь житейских будней. Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноком, ощущал потребность в братстве, хотел, чтобы его любили и он бы любил кого-то».

Я перечёл ещё раз и вздрогнул. Да ведь это же и есть сам Астафьев, каким я его тогда увидел и почувствовал! Это его личность, перенесённая в душевный портрет героя! Как это случилось, какой неожиданный импульс подтолкнул писателя вложить в черты любимого литературного героя свой характер, по крайней мере, часть его? Я не знаю. Думаю только, что воздействие духовного обаяния Астафьева, исходящего от него жизнеутверждающего света довелось испытать не мне одному.

Незадолго до своей смерти гостил у Астафьева летней порой его старший друг и наставник в литературе, известный критик Александр Николаевич Макаров, автор первой книжечки об астафьевском творчестве, опубликованной Пермским книжным издательством в 1969 году. Усталый и уже безнадежно больной, он провёл несколько дней рядом с Астафьевым в милой сердцу писателя деревушке Быковке близ Перми, в старой деревенской избе. А вернувшись в Москву, признался Астафьеву в письме: «После этой поездки мне захотелось жить».

В том же году Астафьев перебрался на жительство из многолюдной, грохочущей Перми в Вологду, которую потом назвал в «Затесях» одним из самых смиренных и добрых городов России. Я знал об отъезде Астафьева и удивился, неожиданно столкнувшись с ним на заснеженной аллее городского парка в центре Перми. Оказалось, он приехал завершить переездные дела. Как водится, я поинтересовался его первыми впечатлениями от Вологды. Дежурный вопрос, не более того. «Вологда понравилась, — ответил он, — там люди на окраинах до сих пор, уходя из дома, его не запирают, а приставляют к двери палочку — хозяйина, мол, пока нету. Вообще там люди живут между собой иначе, чем в Перми, чем в большом городе».

«Как это иначе?» — не понял я. Ответ Астафьева поразил простотой мудрости, которая помнится до сих пор. В городе, сказал он, люди живут впригирку друг к другу — на улицах, в магазинах, во дворах, везде... Если их тысяч до трёхсот, как вот в Вологде, не больше, то люди чувствуют неосознанно, что они вроде бы среди своих, среди близких. Что им ещё не раз придётся между собой сойтись, встретиться так или

иначе. Поэтому человек лишнего себе не позволит, вожжи внутренние какие-то удерживают от вседозволенности. Конечно, бессовестность и хамство везде есть, но всё же не как в крупных городах. Там люди разобщённое, отчуждённое. Чем больше людей в скопище сбивается, тем больше в нём человек одинок.

Читая позже «Затеси», самую свободную по форме высказывания, самую исповедальную прозу Астафьева, я натолкнулся не раз на мысль, близкую той, что услышал от него тем зимним днём давнего 1969 года, когда самой книги «Затеси» ещё не существовало. Натолкнулся на его тоску по душевному расположению человека к человеку, на жажду людской общности, иссякающей в нашем раздроблённом постиндустриальном мире.

Вернёмся, однако, к памятного для меня рассказу Астафьева «Ясным ли днём». Дело случая, но именно он привёл спустя несколько лет к возобновлению нашего общения с Виктором Петровичем, только уже в эпистолярной форме. В начале 80-х годов Пермское книжное издательство предприняло ежегодный выпуск малоформатных тематических сборников русской новеллистики, рассказов о любви, о природе, о деревне и т. д. Мне как специалисту по военной прозе было предложено составить книжку лучших рассказов о Великой Отечественной войне. Естественно, в ней нашёл место и пронзительный по интонации астафьевский рассказ «Индия».

В начале 1985 года сборник вышел из печати. По обязанности составителя я отправил один экземпляр в Красноярск Астафьеву как одному из авторов. Послал и забыл. Спустя пару месяцев, перед самым Днём Победы на моё имя неожиданно пришла из Красноярска бандероль, а в ней — семисотстраничный том изданных в Москве повестей и рассказов Виктора Петровича. На первой странице — астафьевское письмо-автограф:

Владимиру Анатольевичу Зубкову с поклоном и благодарностью с берегов Енисея бывший солдатик желает мира на земле и спокойствия в каждом доме, успехов в труде, а не на войне. (Простите, что долго не откликнулся — стал часто болеть и до сих пор болею).

В. Астафьев
Май 1985 г.
Красноярск

Держа в руках нежданный и дорогой астафьевский подарок, я долго не мог опомниться. Не мог поверить, что в наши меркантильные дни такое возможно. Что великий писатель, загруженный делами и удручённый нездоровьем, нашёл время отозваться на мой малозначительный жест с таким вниманием и такой щедростью. Астафьев вновь качнул в лучшую сторону мои представления о человеческой отзывчивости и добросердечии.

Составляя для Пермского книжного издательства проспект следующего сборника прозы (увы, выйти в свет ему было не суждено), я включил в него и рассказ Астафьева «Ясным ли днём». Напомню, что в нём два сюжетных плана. Бывший фронтовик, командир орудия, а ныне инвалид, Сергей Митрофанович возвращается из областного города после врачебной комиссии



Красноярские писатели на презентации очередного номера журнала «День и Ночь» (1996 г.)

Стоят: Э. Русаков, А. Астраханцев, Н. Волокитин, Р. Солнцев, М. Успенский, Н. Ерёмин, А. Фёдорова
Сидят: А. Немтушкин, В. Астафьев, М. Корякина-Астафьева, М. Саввиных, С. Кузнецихин

и наблюдает на вокзале проводы призванных в армию ребят. После знакомства и проведенных с ними в поезде нескольких часов, он выходит на своём полустанке и отправляется в родной посёлок той же дорогой, которой осенью сорок пятого года добирался на костылях из госпиталя. Вот и всё, да не всё.

Рассказывая призывникам о потерянной в бою ноге, Сергей Митрофанович возвращается памятью в лето 1944 года, когда «войско наше уже набрало силу — подпятило немцев к границе, и все большие соединения начали обзаводиться ансамблями. Повсюду смотры проходили. Попал на смотр и Сергей Митрофанович, тогда ещё просто Сергей, просто товарищ сержант». И здесь в сюжете рассказа открывается второй — военный — план, с центральным эпизодом, более чем острым даже для жёсткой «лейтенантской прозы» шестидесятых годов, когда и был написан астафьевский рассказ.

«К массовому культурному мероприятию высшее начальство решило приурочить ещё мероприятие воспитательное: в обеденный перерыв на площади возле церкви вешали человека — тайного агента гестапо, как было оповещено с паперти... Народ запрудил площадь. Гражданские и военные перемешались меж собою. Большинству фронтовиков-окопников не доводилось видеть, как вешают людей».

Так-то ладно всё было задумано! Попоем-попляшем, в перерыве поприступуем на

публичной казни фашистского прихвостня, сытно пообедаем и снова попоём-попляшем. Астафьев пишет сцену повешения в самых жёстких натуралистических подробностях, которые тяжело читать, а наблюдать их астафьевским героям ещё тяжелее. «Ни командир орудия, ни заряжающий обедать не смогли. И вообще у корпусной кухни народу оказалось не густо, хотя от неё разносило по округе вкусные запахи. Военные молча курили, а гражданские все куда-то попрятались... На душе было мутно, и скорее хотелось на передовую, к себе в батарею».

За всем этим — не только несовместимость планового смертоубийства со светлыми, праздничными чувствами солдат, но и нравственная глухота организаторов казни, превративших её в часть культурного мероприятия. О том, что такой взрывоопасный эпизод не мог пройти и не прошёл незамеченным мимо зоркого взгляда надзирающих за литературой, я узнал позже, и открыл мне на это глаза сам автор рассказа. Дело в том, что подыскивая текст для расклейки, я стал сравнивать различные издания, и обнаружилась неожиданная картина. Среди разных изданий рассказа в книгах астафьевской прозы и коллективных сборниках на протяжении многих лет этот пятистраничный эпизод то исчезал из текста, то возрождался, подобно птице феникс. Например, в первом, журнальном издании («Новый мир», 1967, № 7) он отсутствует, но присутствует в выпуске пермского альманаха «Молодой человек» того же

года. Встал вопрос: включать или нет «мигрирующий» эпизод повешения в готовящуюся публикацию? Чтобы узнать волю автора, я написал Виктору Петровичу в Красноярск, пользуясь нашим прежним, по Перми, знакомством, и упомянул то издание его рассказов в «Советской России» 1984 года, где этого эпизода нет. Ответом стало письмо Виктора Петровича. Публикую его здесь впервые.

Дорогой Владимир Анатольевич!

Пишу почти на ходу, поэтому кратко — включайте, что хотите, только сборники присылайте, пожалуйста. С тех пор, как книжка попала в «дефицит», перестали присылать авторские, а издательство «Радуга» даже в договоре оговаривает сие, и я им недавно прямо на договоре крупно с руганью написал, что хорошо устроились, ничем не обязаны автору.

Да, эпизод повешения целиком списан с жизни — это было первый раз в моей жизни, когда я видел, как вешает человек человека, и на всю жизнь, и я же был, и провалился из-за этого на смотре и не попал в «ансамблю». Я же когда-то неплохо пел. Конечно же, с самого начала всё это в рассказе было, и, начиная с «Нового мира», его холостили. Один раз, в пермском сборнике «Молодой человек» мне удалось напечатать рассказ целиком, и я берёг книжку до «хороших времён», но они так и не наступили, и едва ли наступят, а вот редакторша «Молодой гвардии» была у меня «в доску своя», и я чуть не на коленях умолил её вставить некоторые куски в «Царь-рыбе» и некоторых других вещах, а «Ясным ли днём» расклеил нагло по «Молодому человеку» (второй сборник мне пожертвовал Саша Граевский, ах как жалко мужика, как жалко!).

И редакторша «не заметила» расклейки по старому, где-то откопанному изданию и, как потом призналась, молилась втихаря, чтобы ещё кто не заметил. Теперь я везде стараюсь издавать рассказ целиком, но вот находятся «бдительные» издатели (я только после Вашего письма и заглянул в книжку) центрального! столичного! издательства и на всякий случай пасут свою шкуру. Я, конечно, насрамлю их, да толку-то!..

Поклон всем «нашим» в издательстве. Поскольку уезжаю я надолго и далеко — аж в Японию, то шлю всем новогодние приветы и пожелания — главное здоровья и мира, а остальное уж всё стало игрушками.

Пусть будут здоровы и Ваши близкие, а Вам пусть хорошо живётся и работается.

Кланяюсь — Ваш Виктор Петрович (В.Астафьев)
27 ноября 1984 г.

Небольшое пояснение. «Молодой человек» — литературно-художественный сборник произведений пермских авторов, регулярно выпускавшийся Пермским книжным издательством в 1960–70-е годы. В его шестом выпуске, который редактировала Надежда Николаевна Гашева, Астафьеву удалось впервые напечатать рассказ «Ясным ли днём» полностью, без купюр. Александр Моисеевич Граевский — главный редактор этого издательства, фронтовик, друг Астафьева, скончался вскоре после того, как был снят с работы «за идеологические ошибки» в 1969 году.

За строками письма вновь встал Астафьев с его открытостью, прямотой и расположением к адресату-собеседнику. Подтвердились самим автором, что важно для литературоведа, факты его фронтовой биографии и творчества. И ещё — поднялась завеса над закулисной, изнаночной стороной жизни советского писателя.

Известно, через какие редакторско-цензурные фильтры протискивались к читателю правдивые книги о Великой Отечественной войне, как старательно вымарывалось из рукописей всё, выходящее за военно-пропагандистские стереотипы. «Ни одна моя повесть не дошла до читателя неизуродованной, — с горечью комментировал свои отношения с редактурой единомышленник В.Астафьева в литературе Василий Быков, — Давили и теснили. Теснили и давили». Приучали к тому, что «самый лучший советский писатель — это ум и талант плюс умение укладываться в пределы дозволенного так искусно, чтобы этих пределов как бы и не было» (критик Юрий Карабчиевский).

Всё это, разумеется, известно в общем виде. А тут — выхваченный астафьевским письмом из повседневности живой фрагмент советской литературной кухни. С произволом издателя, кромящего текст без ведома автора. С ухищрениями автора в попытке спасти свой текст. С бессилием что-либо изменить в этой отлаженной машине и глубоким сомнением в том, что настанут для литературы лучшие времена. Думаю, что и наступившие времена не принесли Астафьеву успокоения. Не могу без горечи перечитывать его прощальное «Завещание»... Астафьевский «Звездопад», повесть о войне и первой любви, завершается печальными и светлыми словами о ночных звёздах, которые «вспыхивают, кроят, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли...», но свет их всё ещё идёт и идёт к нам, всё ещё сияет нам». Это ведь не только о звёздах. Это и о людях тоже. Таких, каким был Виктор Петрович Астафьев.

г. Пермь



Виктор Астафьев

В преддверии высокой и чистой жизни

Ещё один год

Прожит ещё один год, 51-й год после окончания Великой трагической войны, отголоски которой наступают нас и по сию пору — вот мой фронтовой друг из Орска пишет, что одолевают хвори, болит старая рана, старость накатила — 72 года. Он — мой одноклассник и уже мечтает только о лёгкой смерти, без мучений и никому не нужных оттяжек, «всё устроено по Божьему завету — мудро, наступает время уступать место на земле внукам и правнукам, только б не извели они нашей доли-участи и жили бы мирно на мирной земле...»

«Лёгкой жизни я просил у Бога, надо б лёгкой смерти попросить,» — изрёк когда-то мудрый поэт, но печально вспоминаются и произносятся эти слова, может, оттого, что не было «лёгкой-то жизни», и прошла она в вечной тревоге, в борьбе с неудой, со злом, в заботах о хлебе насущном.

И всё время по окраинам России загорались кровавые конфликты, возникали огненные очаги, готовые разгореться в неслышанный пожар новой мировой войны. Если ничего не горело по окраинам нашим, мы «добровольно» лезли в конфликты зарубежные, защищать чью-то свободу, восстанавливать справедливость, то в Испании, то на Кубе, то в Эфиопии, то в арабской пустыне, то в джунглях Африки, то аж в Южной Америке, а в это время под шумок в стране творился произвол, массовый террор, в лагерях смерти, которым позавидовали бы и немецкие фашисты, через колено ломался хребет самого покорного и законопослушного русского народа.

Вспомнить смешно сейчас, но это было, было — мы патриотически воспитанной массой защищали бедную Джамилу Бухиред из Туниса, французенку, в нетрезвом виде улёгшуюся на рельсы, чтобы преградить дорогу поезду, везущему солдат на подавление восстания в Алжире. А уж как мы сострадали из барачков и из спецпереселенческих казарм бедному чернокожему певцу Полю Робсону, имеющему всего лишь несколько вилл и «незначительный капитал» по американским меркам.

«Так приезжай же к нам, товарищ Робсон, и будешь ты свободен, как и я!» — бия себя в грудь кулаком, кричал со сцены Усольлага знакомый мой поэт-пермяк, ни за что, ни про что мотающий «червонец» после фронта, взятый в тюрьму прямо с госпитальной койки...

Всех-то нам пожалеть и утешить хотелось — такой мы жалостливый народ. Но кто же, кроме Бога, пожалует и утешит нас, российских простодушных людей, кто поклонится России за то, что она заслонила собой Европу, спасла мир от фашизма и своим горьким примером, миллионами

жертв, реками крови спасла ту же Европу, тот же мир от красной опасности, от сатаны, которая истерзала наш народ, наше обескровленное отечество? Никто-никто больше не хочет коммунизма, никто-никто не желает идти нашим безумным и горестным путём.

Лишь наш загурканный, замороженный, обобранный и угнетённый коммунистами народ, немалая часть его, снова хочет повторить кровавый наш и голодный путь, устеленный русскими костями.

Боже, Боже! За что ты насылаешь нам снова это испытание, это бедствие? Ведь мы ещё и не жили по-человечески, оглядеться не успели. Неужто мы, безбожники, отступники от веры, обесценившие самое ценное — жизнь человеческую, истерзавшие себя и свою тихую природу, так провинились перед Тобой?! Но мы уже понесли кару за грехи наши, так пожалей детей наших и внуков! И прости нас в преддверии той высокой и чистой жизни, в которой нет «ни болезней, ни страданий, ни горя, ни стенаний, а жизнь бесконечна...». И успокой, успокой нас, чад своих, устремлённых в геенну огненную, «ибо не ведают, что творят...»

22 ИЮНЯ

Всё-таки прав мудрец Лев Толстой: война — это преступление против разума, и если люди причислись именно на войне проявлять свои лучшие качества: мужество, выносливость, товарищество, беззаветное служение Родине и народу, — преступление это двойное — оно ещё и против человечности, ибо все эти прекрасные сами по себе качества даны человеку Богом и природой совсем для других целей — для любви к ближнему, для жизни и созидания на земле, а не для разрушения того, что сотворено и дано человеку Создателем.

Два страшных авантюриста, охваченные идеями завоевания мира, вовлекли два великих народа в кровопролитную войну — в результате проиграли и они, и весь мир — жизнь обесценилась ещё больше, земные ресурсы подорваны, по земле мутной волною катится одичание, безверие, жажда сиюминутных благ и удовольствий. Войною сбитое с нормального пути человечество слепо, бездумно и весело катится к пропасти.

Весёлого на войне было мало, а если и было, то это «веселье» примитивного человека, обречённого существовать на грани животного, прячущегося от смерти в земляной норе, горькое же и страшное вспоминать тяжело, а писать о войне и совсем занятие тяжкое, неблагодарное — работа на износ.

(«Прямая речь», 1996 г.)

Золотая середина культуры

Выступление на научно-практической конференции «Чтения в библиотеках российской провинции»

С этой трибуны мне, прежде всего, хотелось бы поблагодарить библиотекарей за их поистине подвижнический труд сегодня и привести для примера слова З. Гердта, к которому я отношусь с большим уважением и как к артисту, и за то, что он не оставил Россию в трудный час и не уехал в Израиль, как многие, хотя его и очень приглашают. Так вот, по словам З. Гердта: «Культура сейчас в России находится в провинции, а золотая середина той культуры — это музейные работники, учителя, библиотекари», — в чём я с ним полностью согласен, особенно по отношению к библиотекарям. И я хочу привести один яркий пример из жизни краевой научной библиотеки, где мне очень часто приходится бывать, а однажды стать свидетелем одной удивительной сцены. Директор библиотеки возмущалась своими сотрудниками: «Дуры, дуры, им 3-й месяц зарплаты не платят, ребяташки одни кинуты, на дорогу денег нет, а они про какую-то методику сцепились, как казаки шашками рубятся». И, конечно, это преступление, что им зарплату не платят и во многом обижают их, но и слава им за то, что есть ещё сегодня в России люди, что за культуру, как казаки, шашками рубятся.

Хочу вспомнить, как боролись библиотекари «научной» за свою новую пристройку и выставили, и при своих небольших возможностях оборудовали замечательные залы, и всем показали, что можно и культурно жить, и даже культурно работать.

Говоря о важности и подвижничестве труда библиотекаря сегодня, я хотел бы напомнить собравшимся о подобной благодарной деятельности российских библиотек в прошлом — а именно о библиотеках Павленко. Был такой издатель Павленко. Артиллерийский капитан, вышел в отставку, занялся издательским делом. Первым начал издавать серию «жзл». издал собрание сочинений Писарева и много чего хорошего. А весь накопленный капитал завещал после смерти на создание библиотек по всей России. «Павленковских» библиотек по России было создано 2500. Некоторые размещались в школьных шкафах, у некоторых были свои помещения. Недавно журнал «Уральский следопыт» провёл исследование, что случилось с этими библиотеками, и снова обнаружилось, какому разгрому подверглась культура России, остались лишь крохи «Павленковских» библиотек, обнаруженные кое-где на Урале. И вот так же, как когда-то в прошлом веке просвещали народные массы Павленковские библиотеки, так и сегодня — несут культуру и знание наши современные библиотекари в те же самые массы. И спасибо им за это.

Не могу не отметить и то, что, любя своё дело, не хотят сегодня библиотекари уходить из своих библиотек на другую работу. Вот на примере овсянковской библиотеки, откуда не хотят уходить в сельсовет библиотекари, хотя там и платят

больше и регулярно. Уходят и возвращаются. Не могут они там, к своему делу привычные.

И в завершение хочу обратиться ко всем, кто связал себя с библиотечным делом, — держитесь, дорогие мои! И надеюсь, что честные библиотекари, библиотекари по призванию, никогда не оставят своего необходимого обществу дела, а уж народ как-нибудь, как встарь, когда приходил для учителей, обучавших по деревням ребяташек, кусок хлеба с квасом, найдёт и для вас этот кусок хлеба с квасом. Не даст погибнуть. А там, даст Бог, всё образуется, и выстоит Россия, и заживёт полегче, да побогаче, надежды для этого есть.

Овсянка, 16 августа, 1996 г.

Литературные встречи в русской провинции.

Профессия прекрасная и проклятая

Речь на церемонии открытия Красноярского литературного лицея

Дорогие учителя и дети! Не надо только думать ни детям, ни вам, что вы научите тут писать кого-то. Но если вы повысите у детей общую культуру, читательскую культуру, если заинтересуете их книгами, чтением, это уже будет большая победа. А что касается писательского труда, то вот уже скоро будет пятьдесят лет, как я занимаюсь этим делом... И чем дальше я писал, тем больше убеждался, что я писать не умею. Сейчас, заканчивая итоговое собрание сочинений, я особенно во многом разочаровался, плевался, ругался... Но неудовлетворённость собой — это и есть как раз то, чему учатся очень долго и упорно.

На этом я о литературе брошу говорить, а буду говорить немножко о другом. На днях я был на премьере балета «Жизель» в оперном театре. Спектакль очень хороший, на хорошем уровне, чистенький, какой-то светлый, хорошо поставленный, не затянутый, как иногда у нас в провинции бывает. Но больше всего меня обрадовало то, что Жизель была курносая, наша, и полный зал был подростков. Вот это больше всего обрадовало, потому что когда начинаешь газет, то кажется, что все подростки наши толкнутся в подъездах, курят марихуану и занимаются ещё какими-то непотребными делами. Нет, оказывается, в оперном театре были подростки, и вели себя прилично. В очереди слегка потолкались за мороженым, а так в общем-то всё вполне прилично было. И судя по аплодисментам, они уже, по-современному говоря, в этом деле «волокут», не просто, как бараны, сидят. И я радуюсь тому, что хотя бы часть детей выключают из нашего бедственного положения, из этой порчи, которая происходит вокруг, и куда-то их призывают, ведут, и дети получают заряд культуры... Может быть, это громко сказано, это уже зависит от них самих в основном.

Я рад, что появляется в Красноярске ещё такая «ячейка», где ребята будут сидеть и не просто думать, чёрт знает о чём, и толкаться, они будут читать, слушать Марину, а это большое счастье, дети, что вы слушаете такую преподавательницу,



Работы лицеистов на выставке в честь пятилетия Красноярского литературного лицея

как Марина наша... я просто завидую вам, хотел бы родиться вновь и сидеть, её слушать. Когда она приехала ко мне в Овсянку с этим письмом к директору «Красцветмета», Владимиру Николаевичу Гулидову, я за голову схватился, говорю: «Миленькая, Марина, этот Гулидов уже как колхозный петух... Кто только его не щиплет! Ну, попробуй, попробуй, попроси маленькую эту сумму на ремонт. Если даст, Господь его спасёт когда-то, в Царствие небесное поместит за все его благие дела». И вот он нам помог. И все, кто нам помогли в этом, тоже будут иметь причастие к тому, что тридцать-пятьдесят детей они приобщили к культуре. И сами при этом лучше стали. Потому что делающий добро всегда становится лучше.

Я от души всего хорошего вам желаю. Ещё раз повторяю, что писать научиться нельзя. Если Бог дал, потихонечку, не зазнаваясь, что — вот я, поэтесса уже... не надо... Я знаю многих очень хороших русских писателей, с которыми учился на Высших литературных курсах, общался десятки лет... они с большим трудом и очень редко произносят слово «писатель», в любом удобном случае о себе они скажут «литератор», очень осторожно. Потому что это очень большая ответственность. В России, где писали Пушкин, Гоголь, Толстой, Тургенев, Достоевский... да ещё так называемая второстепенная литература, которая составила бы

честь любого европейского государства... Произносить после них слово «писатель»?.. Да и они редко его произносили, чаще говорили «сочинитель». Слово «сочинитель» — мне всё-таки больше нравится, больше оно соответствует истине и той профессии, которая существует в этом мире. Профессия прекрасная и проклятая. Ничего тяжелее нет. По крайней мере, я не знаю. Работал я рабочим всяких специальностей... И в горячем цехе работал, в аду бывал, но знаю, что вот это — уже на износ. Это изнашивает навсегда. Всё изнашивает!

Если только вы соглашаетесь с тем, что вы будете литераторами, готовясь к огромному внутреннему постоянному труду, постоянному чтению от утра и до вечера, чтению не только того, что вам нравится, но чаще всего того, что вам не нравится, совершенствованию, обязательному приобщению к музыке, к природе... без этого никакого литератора не бывает... И — просто будьте здоровы! Была в шестидесятые годы такая эпиграмма:

Орёл был у нас председателем.
Зайчишка был наш издатель,
А критиком был медведь.
Чтобы быть российским писателем,
Большое здоровье надо иметь!

Чего я вам и желаю!

Сергей Шумский

Радость встреч

Воспоминания о В. П. Астафьеве



Я учился на втором курсе Литературного института им. А. Горького, а Виктор Петрович на Высших литературных курсах при этом же институте. Где и как произошло это знакомство, сегодня припомнить не могу, годы стирают с нашей памяти многие житейские моменты, остаётся только сам факт — была встреча.

Скорее всего, встретились в общежитии нашего института по ул. Добролюбова, 9/11, пообщались как земляки-красноярцы. В самом институте это не могло произойти, так как учились мы в разных зданиях, я в основном двухэтажном особняке — доме А. Герцена, а Виктор Петрович в пристрое у входа во двор, рядом с театром А. Пушкина. Двор институтский по Тверскому бульвару, 25, по московским меркам очень просторный и уютный: в центре большой сквер с крупными дубами и клёнами и скульптурой в полный рост А. Герцена, затянута сеткой железной площадка для спортивных игр, а за ней — низкое длинное строение барской конюшни, где в бывших стойлах жили сотрудники, в том числе и писатель Андрей Платонов, работавший одно время институтским дворником. Жена его проживала здесь и в наши годы.

Это редкая архитектурная соразмерность барской усадьбы среди каменных нагромождений сохранилась и поныне, приятна глазу как достопримечательность столицы. Поразительными качествами наделила матушка-природа человеческую натуру — чувствовать, распознавать в других людях родственность души. По пристрастиям душевным, увлечениям творческим, по внешнему ли облику — как, каким образом это происходит, почему, кто управляет нашими порывами и помыслами? Характер, чутьё, зов природы? Загадка.

Может быть, что-то другое?

Но в сущности никакой загадки тут нет, всей нашей сутью правит психика настроения, которая удерживает в своих запасниках всё пережитое и увиденное. И пространство, и время мы преодолеваем по необходимости в нашем воображении — наяву и во сне. Прошлое в настоящем, а будущее в прошлом — всё с нами и при нас, закон жизни и закон всего живого на земле.

И здесь очень уместно привести мудрые слова Сократа: «Когда рассуждаешь, подумай о прежде бывшем и сравни его с нынешним, и всё, что не явно, явным сразу окажется».

Иногда я поднимался на седьмой этаж общежития. Вышекурсники занимали верхние этажи и проживали по одному в комнате. Нас же, студентов, размещали по два человека и только на пятом

курсе расселяли по одному, чтобы мы могли написать дипломную работу и успешно защититься. В общем, условия проживания были у всех великолепные, ни в одном московском вузе, как и во всей стране, таких студенческих благ не было. Мы это знали и гордились вслух и про себя.

В народе не случайно сложилось присловье — земляк земляка видит издали. Землячество, несомненно, определило наши добрые дружеские отношения с В. Астафьевым на многие годы. Хотя слово «дружеские» в прямом его понимании здесь не совсем уместно, поскольку мы просто не могли подходить быть друзьями: Виктор Петрович был старше на целых десять лет и смотрел на меня хоть и ласково, доброжелательно, но требовательно, строго, с высоты своего возраста участника Великой Отечественной войны, ну, и житейского и писательского опыта. Он состоялся к этому времени как личность, как писатель, был признан и уважаем. После публикации повести «Звездопад» о нём много писали и говорили. Я сразу прочёл повесть взахлёб, и меня потянуло к земляку.

Когда я вошёл первый раз, Виктор Петрович сидел за столом, обложившись книгами и тетрадками и перед ним светила настольная лампа, хотя в окно ярко проглядывало солнце.

— У меня, Серёга, грамотёшка небольшая, ха-ха!.. — похохатывал он сам над собой. — Никаких высших и средних я не кончал... так по коридорам малость потолкался... Вот и умнею рядом с книжками, ха-ха! А дураку где умнеть? Да и глядело слабое, один глаз почти ничего не смотрит. «Язы-ыко-зна-ание, — медленно, с помощью пальца, прочёл он на обложке книги. — А какая это на хрен наука о языке, скажи мне? А? Язык не знать надо, а чувствовать. Вон моя бабка не могла прочесть ни одного слова, а говорила — заслушаешься. Я от неё всё перенял, вспомню, как...

После первой же встречи мы узнали многое друг о друге. Я рассказал, что родился и вырос в глухом таёжном углу в двухстах километрах от железной дороги, которую впервые увидел в шестнадцать лет, ну, и город Канск, куда пригнали стадо овец на убой.

Виктор Петрович много рассказывал о своей родной Овсянке, и про Игарку, где жил все детские годы в детдоме.

Во всех этих местах я бывал, плавал дважды до Дудинки, жил целый год у брата в г. Норильске. Дудинка и Норильск в заполярной зоне, а Игарка — чуть южнее, километров на триста, на бургомистровом берегу Енисея.

За семь лет жизни в Красноярске я облазил все окрестности. В летние и осенние месяцы часто ходили на рыбалку, за ягодами, грибами, орехами, за черемшой — всего было в те времена в изобилии в таёжных местах, по левую сторону от Енисея. А по правую часто забирались на знаменитые «Столбы», что расположены ближе Овсянки, шарились по дёбрям и ущельям вокруг лысой горы Токмак. Мы её в шутку прозвали Тык-Мык, так как забраться на неё невозможно, да и делать там нечего, она «лысая». Места вокруг Красноярска изумительные по красоте, величественности и неприступности береговых скал и горных уступов — действительно дивные. Отсюда и название города появилось — Дивногорск.

...Москва процветала в те годы, магазины ломились от изобилия колбас, продуктов и сладостей, но мы, студенты, жили скудно, многие впроголодь, и я к таким относился. Старшие братья редко помогали деньжатами, они знали, что я самостоятельный с детских лет и выживу в престольной. И старался, как мог, был старостой все пять лет, а с третьего курса добился повышенной стипендии. Моей привычной пищей была картошка в мундирах, с капустой или огурцами, иногда с докторской колбаской за 16 коп. сто гр. Обедали в институтской столовке, там дешевле брали с нас.

Несколько раз я занимал у Виктора Петровича рубль или два на хлеб. После реформы денежной нам, студентам, платили по 25 рэ стипендии, а высшекурсники получали аж по 150 рублей — по тем временам это большие деньги.

Но однажды я поднялся к Виктору Петровичу со своей большой радостью — мою пьесу «Свои дороги» приняли к постановке в Центральном детском театре и я получил солидную сумму гонорара — две тысячи рублей!

Это был первый мой творческий успех. Виктор Петрович посмотрел на меня своим внимательным взглядом и похлопал по плечу.

— Рад за тебя, Серёга, сибиряки мы, нас... — и он показал кулак.

Я купил себе модное пальто, остальные деньги отложил про запас.

Я, конечно, поведал в нескольких словах, о чём шла пьеса. В 1957 году на каникулы после первого курса в музыкальном училище я отправился на строительную площадку будущей Красноярской ГЭС и устроился в пионерном посёлке (будущем Дивногорске) плотником. Хотелось, помимо заработка, написать пьесу о строителях будущей ГЭС, я даже рекомендацию взял в краевой писательской организации, меня там знали, я пробовал писать драму и раньше и показывал им.

За три месяца я потрудился и на бетонных работах, спускался в кессон под мостовую опору. Работал я кессонщиком и раньше на правом берегу Красноярска — опускали «опрокинутые стаканы» под водонапорные башни. Тяжёлая работёнка под большим давлением воздуха. Даже травму однажды получил — в камере выхода сорвался с дверной ручки от перепада давления домик и ударил меня концом в бровь, думал, что останусь без глаза.

А вернувшись в Красноярск, за месяца два накал пьесу, показал в писательской организации и

вот оказался в единственном в мире престижном институте...

— Дивногорск — это рядом с Овсянкой, — проговорил Виктор Петрович. — Овсяника моя...

Он повторял несколько раз: «Овсянка моя...» — вздыхал и надолго умолкал.

Думаю, что разговоры с Виктором Петровичем о его родной Овсянке и подтолкнули меня уехать в свадебное путешествие именно в Овсянку. Мы поселились в доме его тётки Апраксиньи Ильиничны, сняли большую комнату. Десять дней загорали, купались в Енисее собирали камешки, даже походили по берегу быстрой речки Мане — сладкие дни пролетели как один миг счастья. Было это в 61 году, сразу после третьего курса. Теперь вот — только одни воспоминания греют душу. Виктор Петрович в те годы жил в городе Чусовой.

Талант. От рождения он, дар Божий или проявления природы, умения трудиться душой?

Задатки к творчеству заложены у всех Богом, но далеко не все способны работать, творить душой, возвышать себя духовно, то есть вдохновляться. Хотя, оглядывая жизнь людскую по сути проявления страстей телесных и душевных, поражаешься: сколько же гордыни у человека, самомнения, чванства, недоброты по отношению к другим, иногда даже самим близким людям, ради одной мнимой цели — возвысить себя, утвердить, утешить, позабавить, И ненасытность этих порывов, изощрённость действительно поразительна для воображения.

Человек родился. Человек появился на Земле, предстал перед Богом, который благословил его и обрёл на вечные блуждания, сомнения и терзания в бесконечных пространствах мира, внешнего и внутреннего, что вокруг и в нём. Великое таинство рождения жизни и всего живого.

С первыми шагами по Земле люди пытались уловить, распознать, выразить эти поразительные, чудные проявления всего живого и трепетного, выразить телесно и душевно, прикосновением к теплу и красоте, к дивным звукам и краскам природы — восхищались, страдали, терпели.

В сущности ничего не изменилось в мире и человеке и поныне — мир манит и пугает, гнетёт и возвышает, жизнь прекрасна и заразительна! И человек в вечных поисках и заботах: как запечатлеть весь трепет живого в музыке, в живописи или в слове — самом великом богатстве, которым владеют люди.

Способов выразить настроение словом много, но многие ли знают хотя бы основные средства выражения наших чувств?

Сам Виктор Петрович так определяет состояние человека и его способностями творить:

«Что движет сознанием художника, прежде всего музыканта, живописца, поэта? Подсознание. Оно, оно, нами не отгаданное, простирается дальше нас, достигает каких-то, может, и космических далей и тайн. Тайна и движет творчеством, потому-то все великие гении земли верили в Бога или вступали с ним, как Лев Толстой, в сложные, противоречивые отношения. Бог есть Дух. Он всегда с нами, даже когда вне нас. Он — свет пресветлый — и есть та боязная тайна, к которой с

детства прикоснувшись, человек замирает в себе с почтением к тому, что где-то что-то есть, а когда один остаёшься — оно рядом, оно постоянно оберегает, руководит нами, одаривает, кого звуком, кого словом и всех, всех — любовью к труду, к добру, к созиданию».

Вначале было слово.

Русский народ утвердил в своём многовековом опыте: слову — вера, птицам — воздух, рыбам — вода, а человеку — вся земля.

За словом — дело. Творить словом, трудиться, вещать, проповедовать, метать словом, бросаться, болтать, блудить, поносить...

Сколько же действительно возможностей слова отразить и выразить человеческую натуру, его психологию и необузданные порывы тела и души?

Пять основных средств слова, которыми пользовались художники слова с древних времён. Виктор Астафьев умело, может быть, не ведая об их существовании, употребил уже в первом рассказе «Сибиряк», уже здесь обозначился стиль его повествования — действие, мир души, символы и картины действительного и воображаемого.

«Марш окончен. Большая изнурительная работа позади. Бойцы из пополнения шли трактами, просёлочными дорогами, лесными тропинками, дружно карабкались на попутные машины, и всё равно это называлось, как в старину, маршем». — это первый способ изображения, рисования словом.

Рассказ, повествование — самый распространённый способ в литературе воссоздать картину жизни, природы, действия — того, что по-учёному называется сюжетом, фабулой.

«— Ну и вид у вас! — шутливо проговорил лейтенант, — Попортили здорово вы, наверно, крови старшине в запасном полку...

— Всякое бывает, товарищ лейтенант.

— Фамилия?

— Савинцев моя фамилия, Матвей Савинцев, я с Алтая».

Это прямая речь. Второй способ выражения действий и событий.

«Разговоры всё больше на одну тему: дадут или нет сегодня поесть? Единодушно решают: должны дать, потому как здесь уже передовая...»

Несомненно прямая речь. Третий способ.

«Попить бы,» — появилась первая, ещё вялая мысль..... «А связь-то как же? Вот беда».

Разговор с самим собой. Четвёртый способ выражения.

«Но Матвей ничего этого уже не слышал. Перед ним ним колыхалось бесконечное ржаное поле. От хлебов лились сухость и жара. Он совсем близко увидел колосок, похожий на светленькую бровь младшего сынишки».

Собственная картина мира, или свобода ассоциаций.

Пятый способ и, несомненно, самый ёмкий и эмоционально-насыщенный, поскольку в нём наиболее образно, красочно преподносятся, рисуются разнообразные, реальные и фантастические картины, мира — видимого и невидимого. И мы ими увлекаемся, завораживаемся, верим, что над полем ржи действительно летит «верный монах», или разговаривает человеческим голосом мерин

Холстомер. Умел эти необычные картины рисовать и В. Астафьев как истинно-самобытный мастер слова — в стихийно-народном духе, самозабвенно, часто необузданно, с упоением и восторгом.

Написать письмо Виктору Астафьеву в Вологду меня заставило желание продлить наши добрые земляческие отношения, начатые в давние литинститутские годы в Москве.

Я пригласил Виктора Петровича в первом же письме посетить нашу Тюменскую область, о чём я говорил при встрече с вологжанами В. Беловым и В. Коротаевым.

За три года работы редактором многотиражки «Авиатор Тюмени» я облетал на самолётах и вертолётах всю громадную Тюменскую область вдоль и поперёк, часто публиковался в областных газетах и по радио, но многие события и судьбы не вмещались в газетные материалы.

И я начал писать рассказы. Так вот и случилось, что первые четыре рассказа оказались у В. Астафьева. Передал я их через Леонида Фомина вместе со сборником «В пору жаворонков», где опубликована моя повесть «Соболихинский баянист». К этому времени я уже работал редактором Тюменского отделения Средне-Уральского книжного издательства, часто бывал в Свердловске (теперешнем Екатеринбурге), общался с Лёней, который с давних пор дружил с В. Астафьевым.

Отношение к моим творениям участливое. И позднее я убедился, что так заинтересованно и доброжелательно относился Виктор Петрович ко всем, кто к нему обращался, а обращались к нему оценить свою писанину многие со всех концов страны и из-за рубежа.

«Дорогой Сергей!

Рассказы твои, присланные Лёней Фоминым, подзалежались у меня — опять я был занят последние полтора года, и рукописей скопилось много «Но вот попал в больницу — простудился и нарушил роздых — я листаю рукописи, отвечаю на письма».

Рассказы твои написаны уверенной рукой, они почти ужа «на уровне», но им мешает некоторая эскизность — в обоих рассказах взят как бы один только, верхний пласт, а этого очень мало. Лучше, полнее написан рассказ «Ночь после пожара» (лучше б назвать просто «После пожара») и больше, постоянно задерживаться на образе пожара этого самого, пристальней и на протяжении всего рассказа описывать пепелище, как оно то разгорается, то вновь затухает и как с него уже тащат столы и ещё чего-то, как оно пахнет, как дети детсада с ужасом смотря на то место, где они раньше играли, веселились, пели, как раньше сама Лида почему-то врала и явилась на пепелище, стоит, смотрит, плачет, не зная зачем и почему, но мы-то знаем, знать будем — это её жизнь сгорела случайно запросто и из этой жизни все как-нибудь воруют, ворует и главный герой тайную и грешную любовь и т. д. и т. п. — вот Вам второй пласт. Ну а если Вы напишете все муки женщины, живущей с пьяницей... о том, как из-за него, возненавидев всех мужчин, она всё же, влекомая плотью, ползёт ночами украдкой к молокососу и видит его насквозь, и потом... как бы получив плату за

весь стыд и муки, тая ребёнку, посланного вместо потерянной дочери, она отваливает от него, уходит в себя, в свою «тайную жизнь», то вот Вам и третий пласт.

Вообще рассказ получится только в том случае, если Вы примете сторону «зрядадельную», т. е. женскую... как ни крути — она б...ь и от этого на рассказе лежит печать случайности, поверхностности. Вот так. Второй рассказ Вам лучше бросить, использовать материал его где-то в другой вещи. Желаю Вам всего хорошего, не бойтесь работы, особенно в рассказах, писать их всё же — большое удовольствие.

Кланяюсь — В. Астафьев.

Несколько слов в письме мне не удалось, как ни старался, разобрать и прочесть, вынужден эти пропуски обозначить многоточиями. Почерк у Виктора Петровича наитруднейший — это знали все, да и он сам знал, но ничего поделать не мог, ранения давали о себе знать.

В 1978 году в издательстве «Современник» у меня вышел сборник прозы «Качели» стотысячным тиражом. В книгу вошли повесть «Соболихинский баянист», одиннадцать рассказов и записки о археологической экспедиции на Дальнем Востоке «С грузом тысячелетий». По содержанию, по объёму издание получилось, вызвало интерес у критиков и читателей. Ребята из издательства предлагали без промедления вступить в Союз писателей.

Книгу я сразу же послал Виктору Петровичу и попросил у него рекомендацию. Он вскоре ответил, о книге отозвался с похвалой, но в рекомендации отказал, мотивируя тем, что у него в данное время очень сложные отношения с Союзом писателей, много нападков со стороны критиков и недоброжелателей за его выступления и взгляды — всё это, наверняка, повлияет на реакцию при моём приёме. Так, скорее всего, это и было бы при рассмотрении моей кандидатуры.

Трудностей с рекомендациями я не испытывал: с радостью написал мой учитель В. Розов, известный уральский прозаик Н. Никонов и К. Лагунов, в те годы руководитель Тюменской областной писательской организации. И сразу же меня приняли в Союз писателей СССР — удостоверенные то храню с душевной теплотой в своём архиве.

В начале семидесятых, работая редактором издательства, я готовил к изданию рукопись Л. Суриной по лекарственным растениям Тюменского региона, и она меня познакомила со знаменитой в те годы живницей Ириной Фёдоровной Спиридоновой, жившей под Тюменью. Мы часто ездили по окрестностям, собирали травы, рыли корни. Позднее о судьбе известной травознайки я написал пьесу «Судили знахарку», по ней был поставлен телевизионный фильм.

И в те же годы я приобрёл в сорока километрах от Тюмени, но уже в Свердловской области, усадьбу с избёнкой и большим огородом и стал выращивать многие лекарственные, пряные и съедобные растения — сейчас их у меня насчитывается более семидесяти. Занятие это очень увлекательное и нетрудное, нужно только знать и

хотеть. И в лесу многие растения собираю и заготавливаю для своих нужд, лес для меня — дом родной, радостно бродить в нём, дышать его ароматами и покоем, пением птиц.

И тогда же я послал В. Астафьеву семян некоторых пряных и питательных растений и получил от него благодарственное письмо:

«Дорогой Серёжа!

Ты может и мимоходом, «невсерьёз» предложил мне семян, а ведь не откажусь от них. У меня дом в деревне и огромный участок, на котором растёт трава, в основном дикая, — пырей и деревья там и сям. Я и не пытаюсь облагораживать участок, но я люблю, чтоб в нём была всякая всячина, так на Урале... участок я... всё, что растёт в лесу и всё там есть, и всё мне там это и жалко.

Пришли мне всего помаленьку и напиши, как, где и с чем садить... всего, если есть у тебя, анису! Вывелся на Руси анис! А вся Европа пьёт водку с анисом, нам же он нужен для засолки капусты, да и для распространения по нашей глухой и оглохлой деревне.

Я закончил, начерно, правда, весь «Последний поклон», устал и даже вчерашнее сообщение о том, что утверждено моё собрание сочинений (его несколько раз бодали) меня не встряхнуло. Едва ноги таскаю, давление, болит голова, толстопуз, сам себе противен. Собираюсь на юг — отдохнуть и подлечить лёгкие. Будешь писать Лене, передай привет.

Кланяюсь — Виктор Астафьев.

Послал я Виктору Петровичу семян аниса, огуречной травы, любистока (любим-трава), эстрагона-тархуна, кресс-салата, базилика, чабреца, кинзы (кориандра). Написал подробно, как сеять, выращивать и употреблять в пищу и приправы. Других трав, таких, как салат, шпинат, портулак, настурция, спаржа, ревен, сельдерей, пастернак, петрушка, не выслал, надеялся, что он сам их выращивает. Ну, а мяты перечной, кошачьей, тоже не смог, так как их лучше разводить корнями. При оказии поделюсь.

Позднее узнал, что многие из трав Виктор Петрович посадил в огороде и они прижились, росли, но огород, как я свою деревню, вскоре пришлось покинуть и уехать в Красноярск. Родина звала, мечта сбылась.

А мечта попутешествовать по склонам Восточного Урала теплилась у В. Астафьева тоже многие годы. На Западном Урале он бродил несколько раз с Лёней Фоминым, давним его другом. А вот по восточным дебрям и склонам, там, где прошлишь когда-то пешком и по воде легендарные гиперборейцы — мечталось, в снах виделось...

Давно замечено, что человека манит и притягивает туда, где осталось тепло детства, свет и красота родных мест. И Виктор Петрович томился, тосковал, перебирался то в Чусовой, то в Вологду, то в Пермь, всё-таки ближе к заветному, а потом махнул в родную Овсянку, зажил счастливо и просто и в ней, в Овсянке, упокоил свою мятежную душу рядом со своими предками. Это было и есть счастьем истинного русича!

В Тюмень приезжал В. Астафьев в 1963 году, встретился на Центральной площади с К. Лагуновым, тогдашним руководителем писательской организации, поговорили о чём-то и он тут же вернулся на железнодорожный вокзал, уехал. Никто сегодня не может сказать, о чём был разговор и о цели приезда: в живых не осталось никого. Но ходили слухи, что и. Астафьев намеревался переехать на постоянное жительство в Тюмень.

Однажды я сделал предложение Виктору Петровичу приехать в Тюмень. Но он отказался — было это в 1974 году, черновика моего письма, к сожалению, не сохранилось, может быть, осталось письмо в архиве писателя, не знаю этого. Но вот его ответ у меня есть.

«Уважаемый тов. Шумский!

Благодарю Вас за любезное приглашение, но нынешний год у меня юбилейный и весь уже расписан, да и нездоровье угнетает — на поездки столь дальние и долгие меня просто не хватит.

Может быть, удастся в другой раз исполнить Вашу просьбу, а пока ещё раз спасибо за любезность —

Всем тюменцам кланяюсь.

В. Астафьев.

17 марта 74 г.»

Много позже, а именно в 1991 году, мы договорились с Виктором Петровичем о поездке по Тюменской земле. При разговоре о предстоящем путешествии лицо его крупное полыхало красками, глаза теплились, брови вздрагивали, и весь он оживлялся, махал руками, как будто это уже случилось — явь, те земли...

— Хочется посмотреть Салехард, покрутить Полярный круг, — вспомнил он не раз, — Мужик, Саранпауль — одни названия чего стоят!.. Побродить по предгорьям, там, говорят, геологи открыли много точек с залежами разных дорогих и редких металлов, золото прямо в траве валяется... А народец этот северный — зыряне зырят по тундре, ненцы, ханты. Северяне, пожалуй, единственные на земле, не потеряли свои вековые традиции, самобытность, привычки и повадки. Вот моё письмо:

«Здравствуйте, Виктор Петрович!

Докладываю о поездке по Оби: она возможна.

1. Я написал о Вашем желании Юре Афанасьеву, нашему хорошему прозаику, он всю жизнь живёт в Мужах (Шурышкарокого района) и попросил его помощи, Юра — северянин, рыбак и чудак.

2. Договорился с Тюменским пароходством (вёл разговор с главным инженером Яшиным Валентином Николаевичем, начальник в отпуске), они обещают отдельный катер. Яшин заверил, что делает всё для удобного плавания. Время — июль, август самое подходящее.

Хотелось бы у Вас узнать: откуда лучше отплыть — из Тюмени, Тобольска или из другого места? Нужна ли встреча здесь с местным начальством? С первым секретарём обкома я познакомился, он неплохой русский мужик. Но я ему, помня Ваш наказ, не говорил о предстоящем плавании. Короче, черкните по необходимости,

время терпит. А может быть, я до лета появлюсь в Красноярске, у меня есть туда нужда, там живут старший брат и сестра.

И я бы, разумеется, хотел с Вами сплавать.

После съезда сидел в Голицино, ездил на Новый год в Запорожье с сынком к старшему брату-фронтовику, Вашему ровеснику. Вернулся на прошлой неделе.

С Наступающим 1991 Вас, Виктор Петрович, пусть он для Вас будет добрым, прибыльным (рынок же!) и здоровым. Травмами я по-прежнему занимаюсь, много выращиваю в огороде — если будет желание, посмотрите. А если есть теперь какая нужда подправить что, скажите, напишите, чем могу.

Всего Вам лучшего!

Ваш земляк С. Шумский.

26 янв. 91 г.»

«Дорогой Серёжа!

Очень рад, что ты не забыл о моей просьбе, что хлопчешь и готов сплавать со мной.

Конечно, хорошо бы уплыть прямо из Тюмени, зайти в Тобольск и посмотреть на Васюганские болота, проплыть устье... (название невозможно прочесть, а неточность с болотом простительна)... катер-то тем хорош, что где надо остановиться можно и порыбачить и поговорить с народом спокойно.

А насчёт встреч? Я потерял к ним всякий интерес, в насаду они мне, но коли надо — с творческим активом и с секретарём — готов поговорить. Ну, и у Коли Шамсутдинова надо побывать, погугарить.

Вот теперь буду жить мечтой о поездке, в которую давно собираюсь. Лечиться, Серёжа, некогда, живу на износ. Люди наши беспощадны, сами себе покоя не дают и своим писателям, как могут мешают, особенно корреспонденты и репортёры всякие и приبلудные творцы.

Ну, да Бог им судья.

Обнимаю — Виктор Астафьев.

12 февраля 1991 г., Красноярск

В Красноярске будешь — мой телефон 25-39-94, деревня рядом с огородом, дом на улице Щетинкина, дом 27 (нижний конец села). С весны я живу там. Жену звать Мария Семёновна.

К большому огорчению многих, эта многообещающая и интересная поездка не состоялась: Виктор Петрович приболел и прислал телеграмму об отмене путешествия.

Особенно тёплые и радостные воспоминания у меня остались от трёх поездок в Красноярск и в родную деревню В. Астафьева Овсянку, где проходили всероссийские дни «Литературные чтения в русской провинции».

Каждая поездка — это прежде всего встреча с Родиной, с родными людьми, местами, улицами и домами, где когда-то пришлось жить, работать, учиться. Особенно памятные выступления перед людьми в самой Овсянке с участием Виктора Астафьева, в Дивногорске, Красноярске, Уяре,

где меня принимали как земляка, так как рядом Канск, куда съездил проведать свою сестру Аню, могилу матери. Да и до родного Тасеевского района было недалеко, по сибирским меркам каких-то полтораста вёрст. И один раз выбрался, побывал в Тасееве, Сухове и Струкове.

Самыми тёплыми были встречи с братьями по перу, с некоторыми знакомился, с другими встречались как со старыми друзьями — крепкие пожимания рук, обнимания, взгляды, улыбки, стопки за обедом. На всех чтениях бывали Валентин Курбатов из Пскова, Михаил Кураев из Санкт-Петербурга, Анатолий Буйлов, Владимир Полушин, Валерий Латынин, Алексей Бондаренко и многие другие.

В каждый приезд — памятное, волнующее событие. Во второй в 98-ом — освящение часовни Святителя Иннокентия Иркутского, которую построили и сложили из тёсаных брусков без единого гвоздя за несколько дней, И в этот же день — большой литературный вечер на берегу Енисея, на крыльце библиотеки, построенной с помощью знаменитого земляка. С этих литературных чтений я увозил домой пудовый груз — пятнадцатитомное собрание сочинений В. Астафьева. Факт исторический: за всю историю русской литературы ни у кого из писателей не выходило полного собрания при жизни.

В свою очередь я подарил Виктору Петровичу несколько своих книг, вышедших в разные годы.

А на «Литературные чтения» в 2000 г. собралось очень много народу — писатели, критики, библиотечные работники из разных мест России. Публики тоже стекалось из окрестностей много.

Заходили с Алексеем Бондаренко в гости к В. Астафьеву, пили чай, вспоминали былое. Виктор Петрович чувствовал себя неважно, глухо подкашливал. Но всё равно выходил с батожком за калитку, встречал гостей — бодрился, приветливо вступал со всеми в разговоры, бросал шутки.

Во дворе, сразу за узким дощатым проходом, за низким штакетником росли два маленьких кедра, ёлка, раскидистый куст калины с кистями красных ягод, которые гости мимоходом срывали и клали в рот. Я тоже отведал спелой калины.

А в полдень прямо на берегу Енисея были накрыты столы длинные с разной снедью и

выпивкой. Лавки, как и столы, из свежеструганных плах вод пологами из плёнки на случай дождя — от всего исходил первозданный дух сибирского раздолья!

Светило яркое сентябрьское солнце. Енисей катил свои тугие воды, ласкали глаз вековые сосны на противоположном берегу. Чудо: как они удерживались на склонах и скалистых глыбах?! Чудо природы и всего живого на этой прекрасной родной земле!

Нарядные бабки водили хороводы, толкли мелкий галечник, звучали песни, тосты, музыка, говор, смех — что ещё лучше может расположить к умным беседам и душевному умиротворению?! Есть в нашей России два великих достояния — необъятные земные просторы и такая же широта души. Загадка русского человека — называют те, кому это недоступно понять и ощутить сполна!

...Потом прогулка на речном трамвае к двадцатиметровой плотине ГЭС, подъём в водной камере, плавание по морю, уходящему ширью и изгибами в далёкие южные плоскогорья. Не раз обозревал и снизу и сверху Красноярскую ГЭС — это творенье рук человеческих производит неизгладимое впечатление.

В последние перестроечные года вокруг В. Астафьева велось много всяких толков о его изменчивых взглядах и настроениях, о его размолвках с В. Распутиным и В. Беловым и другими писателями, с кем он раньше поддерживал отношения...

Думается, что всё это суета, и она уляжется и забудется, как сон бредовый. Всё это уже было и всё прошло: скучно, господа! Какие и с кем были размолвки и перепалки у наших классиков девятнадцатого и двадцатого веков — кто о них сейчас вспомнит и вспоминает?

Всё определяет творчество и творения, которые оставляет писатель будущим поколениям. В. Астафьев, несомненно, останется как Мастер русского Слова — это бесспорный факт.

...Небольшой домик на бутристом берегу Енисея виден отовсюду, его знают и к нему идут люди, чтобы поклониться таланту. Маленький огородник с цветами и грядками, банька, беседка... И столько теплоты от разговоров и незаметных откровений и взглядов — радость встреч с талантливым писателем-земляком ношу в себе постоянно.



Светлана Савицкая Я верю тебе, мама

Планета снов

Серый каменный город проснулся раньше солнца. А его сны ещё спали. Они, как беспризорные бомжи, разлеглись прямо на лестницах у закрытых ворот Павелецкой. И их не трогал дворник Мамед, будто знал места утреннего ночлега утомлённых за ночь сновидений.

Асфальт в горошек совсем не нравился Большому начальству, и Мамед по заказу, пока людская масса ещё не попёрла в проёмы подземки, скребком отдирали прилипшие к асфальту и при мороженные за ночь круляки выплюнутых жевательных резинок, раскатынных в мышинный лаваш. Освещённые фонарями высокие старинные двери заперты. На них отпечатки тысячи пальцев. На мраморных лестницах тяжестью выдавлены пролежни от тысячи ног. Возле урн — тысячи окурков. В них — тысячи жизней, стремлений, радостей, проигрышей и судеб.

А сны — а что им, снам? Какая разница, где спать? Или кого одаривать своим тихим счастьем... Они готовы утешить тысячи людей новыми надеждами, дать короткий отдых перед новым будним днём.

Ну, вот ещё одна неприкаянная душа. Что её к метро пригнало в такую рань? Стоит. Курит.

«Если окурков мимо урны бросит — в зуб дам», — решил Мамед.

А Марьяша не торопилась бросать недокуренный угасший трупик тонкой сигаретки. Разглядывала Мамеда, прищурившись.

«Не спала», — решил дворник.

— Рано ещё, закрыто, — буркнул он, чтобы завязать разговор.

— Да что ты говоришь? Вот удивил! — съязвила Марьяша.

— Такие молодые девушки у вас в Москве курят. Это плохо, — огрызнулся Мамед без малейшего акцента. За десять лет скитаний по московским улицам он хорошо освоил местный диалект.

Сны вздохнули и начали потихоньку убираться прочь. Отползает сырым туманом в вентиляционные люки канализации. Не дали им сегодня выспаться всласть. Не дали.

Марьяша подошла к урне и, помяв на всякий случай о край изящную сигаретку, бросила её, смятую и скрюченную, внутрь устряпанной вечным герпесом сигаретных плевков простуженной пасти урны.

— Тебя как звать-то, житель солнечного Кавказа? Магомед, что ли? — разглядела она под шапочкой уборщика чернявые брови.

— Зачем сразу Магомед? Мамед меня зовут.

— Какая разница?

— Один берёт — другой дразнится. Вот и разница.

— Ну, хорошо, Мамед так Мамед.

— Какая ты грубая! — снова обиделся дворник, — Мамед меня зовут. Мамед.

— Я и говорю: Мамед.

— Ты не так говоришь. Моё имя произносить мягко надо. Букву Д, — он ещё раз произнёс своё имя Мамед, только его Д была действительно очень мягкой и звучала почти как «дъ», только без мягкого знака.

— Мамедь, — произнесла Марьяша, — Теперь правильно?

— Почти правильно. Ещё потренируешься пару раз, и получится, — улыбнулся Мамед, обезоруживая неожиданно белозубой улыбкой, — а тебя?

— Марьяша.

— Маша?

— Маша звучит, как «три рубля и наша». Но можно и Маша. Уж все сегодня один к одному! Я ж не то, что ты — Мамед-Магомед!

— А чё не спишь?

— А ну его, козла, — занервничала девушка и снова достала сигаретку.

— Эх, вот куришь ты зря. Найдёшь другого.

— А чё искать то? Миллион вас тут на пуд сушёных! И все хотят найтись! — Марьяша подумывала, закуривать или нет, и убрала сигаретку в карман.

— Чё ж ты злая-то такая? Красивая. А злая. — Доскрёбывал миролюбиво уже до двери липучие жвачки Мамед, глянул на её стильно уложенные волосы до плеч, а с плеч — на аккуратные сапожки с невысоким каблучком, бриджики с пришитой сбоку фирмой, новёшенькое моднёшенькое кашемировое пальтецо, в таких по подземкам не «шарятся», — Ещё не скоро откроют. Замерзнешь.

— Тебе какая боль? Ну и замерзну.

— Шла бы домой. К маме.

— Ну уж нет, Мамедь! Лучше у метро сдохну — к матери не пойду! У неё муж молодой, я ей нафиг не приделалась.

— Беда с вами, москвичками. Никакого уважения друг к другу. Ни к старым. Ни к молодым! Тогда к нему возвращайся.

— Сыта по горло. Ревнивый чёрт. Старше меня вдвое. Вот и бесится. А я — профи! Понимаешь, — она замылась, чтобы вспомнить, как правильно произвести его имя, и у неё почти получилось, как надо, — Мамедь, профи я! Журналист. Есть тут в Москве такая профессия. Мне тусовки — дом родной. Я ж не лебедь с Рублёвки. Мне материал делать нужно. Фактуру собирать. Ай, — махнула

она рукой, но не вытерпела и сказала всё-таки, — А не под мужиков подкладываться ради зелени. Сама себе на кусок с икрой зарабатываю.

— Тогда бери такси и сними гостиницу.

— Нет у меня на такси. Гонорар должна была получить, да задержки какие-то с кризисом пошли, прямо не знаю. Может, сегодня дадут. Может, завтра. Может, вообще скажут: спасибо за работу, желаем удачи! Последние дни издательство доживает...

— А куда поедешь?

— Думаю пока. Че пристал? Думаю. Решаю. Вот до компа доберусь и приму решение — куда податься. Разместила резюме. Есть ещё кое-какие идеи. Ответа жду. Впереди Новый год. Как новая жизнь. Начну всё с нуля. Не впервой. Творческий человек должен уметь умирать...

— Кризис везде. Кому твоё резюме? Совок подержи лучше, чем зло на людей срывать, — подошёл, улыбаясь по-свойски, Мамед.

— Давай свой совок. Всё равно делать нечего, — вдруг согласилась Марьяша. — В месяц сколько получается?

— Э, нет, — улынулся кавказец, показав ещё шире удивительно красивые ровные зубы, заблестевшие в утренней полумгле невероятно чисто. — Знаю я вас журналистов, вы под ногти быстро залезете. Сколько получаю — все мои!

— Ну и мети тогда сам. Была охота помогать, — фыркнула Марьяша, но совок не отложила, и пока Мамед загребал внутрь окурки, чуть ли не в двух словах жизнь свою прошлую умудрилась туда же замести:

— Прикинь, Магомедыч, был бы у меня крутяк на праздники: куранты, шампанское! А он тебе: «Дорогая, вот тебе кольцо с бриллиантом!» Уже с месяц мне талдычит, что подарит его — скупердьяй! А сам не доверяет, рычит, чуть мужской голос позвонит. Оооон! Мнеее! Не доверяет! Как будто я хоть одним словом кого-то! Когда-то! Идиот! Встреча с одноклассниками — приступ ревности. С работы заказ — дома скандал. Сосед зашёл — синдром бешенства. Хватит! Пусть встречается, с кем угодно. Я лучше двор пойду мести!.. — Марьяша немного согрелась от своей злости, и от того, что долго молчал её нечаянный знакомый, продолжала уже спокойнее, — На работу пытаюсь устроиться уже неделю. На новую. А он, гад, думает, что по любовникам шарюсь. Достал. Не могу. Доверие нужно, понимаешь? До-ве-ри-е!!! Так что оставила я ему все его шелка и брюлики и чао-какао. Мобилу в реку закинула. Паспорт вот в кармане и три карточки: на метро, на банк (мне туда «зряплату» перечисляют) и на скидки в «Эльдорадо». Думаешь, найдёт?

— По паспорту-то?

— Угу.

— Конечно найдёт, если не дурак.

Когда территория у входа-выхода была приведена в порядок, Мамед предложил:

— Спать хочешь?

— В смысле?

— У меня есть комнатёнка здесь рядом. Держи ключ. Найдёшь кефир в холодильнике. И полватрушки... колбаса там. Я к обеду приду. Принесу поесть.

— Да я могу неделю терпеть. Это профессиональное. С инетом как?

— С чем?

— Да ни с чем. Kleиться не будешь?

— Нужна ты мне сто лет была. У меня своя Фатима в Дербенте ждёт.

— Ну, вот и славненько. Давай ключ, спасибо за предложение.

Планета смертей

— Апрельские. — сказал Львович. Замешкался и добавил, — первые из теплицы. К Новому году будет, что продать.

Поставил в вазочку идеально красивые, точно пластмассовые крокусы. И вышел.

А Дарик живёхонько подскокил к их жёлтеньким венчикам и удивлённо понюхал. Живые!

Они действительно пахли апрелем. Мурашки пошли по спине от ощущения воспоминания весны в декабре, когда за окнами свирепствует ураган, сквозь стекла продувающий лёгкие. Но проникновение холода в скромное жилище было вызвано не столь ветром: Лена-Леночка умирала долго. После операции на сердце она часто морщилась, но старалась не показывать боли. Практически ничего не ела уже неделю.

Дарик знал давно, что она умрёт. И старался быть возле матери, глядя на неё, не понимая — хорошо ли, плохо ли то, что она умирает. Все соседи ждали, «когда же она отмучается...» И он будто бы тоже ждал, но и не представлял, а как это будет без неё потом.

Вокруг матери уютилось много снов. Они показывались ей по три раза на день. Она улыбалась им, просыпаясь, и улыбалась, когда собиралась спать. Она улыбалась им чаще, чем сыну, возможно, страна снов хотела забрать её навсегда, манила сладостью и счастьем. И комната была наполнена её снами, как невидимым цыганским табором. Сны поселились у огонька её уходящей жизни и хозяйничали, как у себя дома. Они дремали под тихое сопение матери и неслышное дыхание сторожащего её жизнь Дарика на пыльном абажуре старенькой люстры, на серой вате между оконными стёклами. На спинке кровати и телевизоре со сломанной лампочкой внутри.

— Пить, мама, хочешь?

— Нет, спасибо, сынок! Посиди лучше рядом. Я тебе сказку расскажу. Всё будет хорошо. Всё-всё хорошо. Не бойся. Знаешь? Ты вырастешь красивым и очень-очень богатым.

— А ты?

— А я всегда рядом с тобой... — вздохнула тихонько мать, глубоко дышать ей, видимо, приходилось больно. И она продолжала свою странную сказку, не похожую на те, что рассказывала раньше. Может быть, она увидела что-то в своих предсмертных снах среди глубинных пластов времени и пыталась утешить сына, — У тебя будет высокий дом на берегу моря. И сад с персиками. Большая собака по кличке Рекс станет играть с твоими детьми и охранять двор, и бассейн у тебя будет, свой и просторная машина, не как у соседа Львовича, а какие у самых богатых бывают. Ты веришь мне, сынок?

— Я верю тебе, мама. А почему папа так редко приходит?

— Он занят, Дарик. Но он тебя очень любит. И я его люблю. И тебя люблю.

В дверь постучали. Львович снова пришёл поглядеть — жива ли ещё Лена-Леночка, не испустила ли дух, освободив им с женою часть дома. Вдохнул с открытой неприязнью воздух поселившихся снов. Сморщился.

Лена-Леночка обернулась виновато на цветы, точно просила у них прощения за частые появления Львовича, что их подарил. Она всё-всё понимала. И, возможно, старалась освободить этот мир поскорее.

— Сегодня я прошу тебя, Львович, пожалуйста, пусть Дарик переночует у вас. Хорошо? И вернись ко мне. Мне что-то тебе сказать нужно. — голосом, сходящим на «нет», произнесла она. И, когда Дарик уходил, поцеловала сына так мягко и нежно, как будто в последний раз.

А это и было в последний раз. Дарик решил, что её забрали сны.

Львович вызвал скорую, позвонил Эльдару, которого все считали отцом Дарика, и сказал, что зайдёт по очень важному делу.

...Они шли недолго. Ледяной ветер Цеместской бухты сбивал мальчонку с ног. Зимний неприветливый Новороссийск, укрытый тучами к Новому году, готовил Дарика к новой жизни. Жизни без матери. Пятилетний ребёнок не плакал. Он был уверен — есть ещё отец, который будет с ним всегда. Дарик не думал о Лене-Леночке, а только о цветах, жёлтеньких крокусах, оставленных в вазе, когда окна открыли настежь, чтобы проветрить помещение от снов смерти... У него есть хотя бы куртка, а у цветов такой нет.

Тем временем Львович читал выведенный старательно на бумажке адрес:

— Улица О-со-а-виа-хима...

— О-со-авиа-хима — это что? — спросил Дарик.

— Общество содействия авиации, и, неверное, химии что ли, не знаю. Это как ДОСААФ.

— Что такое ДОСААФ?

— Добровольное содействие армии и флоту.

Что такое армия и флот, Дарик уже знал, поэтому не стал спрашивать.

Эльдар снимал у бабки Сергевны комнату в домике на этой самой улице с названием, перекачивавшим из глубокой совдепии.

Избёнка хлипкая, тоже продуваемая насквозь, без отопления и воды, вызвала прерывистый вздох у Львовича, когда впускала их в сени.

— Эльдар есть?

— Да шляется где-то.

— Мы подождём?

— Да ждите!

Львович уверенно устроился на лавке у выхода, Дарик рядом.

— Эльдар. Эльдар. Знаем мы, какой он Эльдар, — ворчала Сергевна, — в паспорте-то видела: не Эльдар он, а Николай. Сам себя величает каким-то дурацким именем. Говорит — это мой имиджевый псевдоним. Он что? Писатель что-ли? Какой у него может быть псевдоним?

Львович молчал, как воды в рот набрал. И Сергевна успокоилась. Тоже присела ждать квартиранта.

В сенях загремело ведро. Двери шумно распахнул высокий и очень красивый мужчина. Он совершенно не был похож на всех местных работяг. А скорее, на приезжего Денди из Лондона или Бремена.

— Принимай, Эльдар, наследство, — без вступлений заявил Львович, — сын тебе остался вот. А Лена-Леночка больше не с нами. Похороны готовить надо. Её пожиток и не хватит, чтобы провести ритуал. Сам знаешь. А вещи мальчика здесь все в этой сумке.

— Нет у меня денег, — отвернулся к окну, поджав губы, Эльдар, — говорили уже. И вроде решили всё.

А по взгляду, брошенному в сторону Львовича, Дарик угадал недосказанную фразу: «Чё припёрся-то?»

Львович замялся, но, прикинув, как и планировал заранее, что, если он возьмёт на себя трудную часть по погребению, комнатёнка Лены достанется полностью ему, и он сможет пускать туда к лету квартирантов, пробубнил:

— Ну, извиняй, если что не так. Недосуг мне. — И, оставив Дарика, вышел восвояси.

— Постой-постой! — вскинулся Эльдар, догнал пришельца у остановки и долго говорил с ним, размахивая руками и горячась.

— Молока-то будешь? — спросила Сергевна у Дарика.

— Буду, — ответил мальчик.

Планета загадок

От лета к лету баловала Николая Цеместская бухта женщинами, пока не понял он — зачем вкалывать на цементном заводе, если любая представительница прекрасного пола готова для тебя накрыть стол, постелить постель, да и денег дать в придачу.

Он родился красивым. Как рождается один сочный корень морковий из тысячи тощих на грядке — крупным, спелым, желанным. И крыска то тебя цапануть хочет, и медведочка, и мышка, и хомячок! Что-то застенчивое в глазах, в разрезе ноздрей, в линиях сладостных губ заставляло баб поворачивать за ним головы. Прекрасный, как Парис, лёгкий, как Купидон, Николай присвоил себе имя Эльдар, понравившееся ему, и отправлялся с утра «по бабам», как на работу. Вёл курсы танцев для отвода глаз. Возвращался измотанный, измочаленный, но с деньгами.

Проснулся. Зарядка. Надо обязательно быть в форме! Загар. Бег. Море в любую погоду. Обязательное чтение вслух для лучшего запоминания энциклопедии афоризмов великих классиков, и стихов Байрона, Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Шекспира...

Там на пляже — киоск, где работала Любка. Угощала кофе утренним, всегда с пенкой. Любка, вежливо выслушав и восхитившись новыми стихами, просила его тела не часто, может, раз в неделю, не то, что другие. Тело своё он отдавал нехотя. И не даром.

От киоска, если пройти пешком до поворота: жена начальника санатория ждёт — не дожждётся его новых анекдотов и афоризмов.

А за нею можно навестить либо жену мента, либо жену майора. Всегда свеж, юн и нов он ловил на чужие мысли глупых бабочек, которые и сами мечтали пойматься. Вечера же, как кривая вывезет: кабаков по побережью — тьма. Почти во всех он побывал.

Отдыхающие. Одинокие. Замужние. Какая разница. Красавец мужчина. Элегантный. Вежливый. Образованный. Молодой. Разговор поддерживает. Улыбнётся. Не торопит коней. Себе знает цену. Наклонится для поцелуя, а, прикоснувшись, райским чудом одарит. В море — первый пловец. В баре — лучший танцор.

Сказочку одну он помнил с детства. Кто рассказал? Да, какой-то бродяга приезжий, на богатых дамочек глядя, прожигающих деньги у моря. Якобы байка такая есть. Шёл Цыган. Видит — шикарная особа отдыхает под деревом. Поворачивает он к ней и спрашивает: «Можно ли мне вас поцеловать?» «Нет!» — отвечает дама. «А за пять рублей?» Дама подумала, что ей пять рублей не лишние и позволила. «А можно ли мне поцеловать вашу ножку за пять рублей?» И снова позволила дама. «А повыше?» Дама разрешила опять. Расцеловал Цыган даму. Разохогил. И пошёл. «Куда же ты уходишь?» — спросила она, — «Разве ты не хочешь меня снова поцеловать?» «Не хочу» — сказал Цыган. Но дама уже и не могла его так просто отпустить. «А за пять рублей?» «Нет!» — сказал Цыган. «А за десять?» «И за десять!» — ответил он. «А за сто?» «Дашь двести — доцелую. А нет, так и нет!» — ответил мошенник. Так и пришлось барышне раскошелиться. А Цыган повадился к ней каждый день ходить, пока все денежки у неё не кончились...

Очень хорошо Эльдару врезалась в память цыганская байка, и так по душе пришлась, что стала его «стратегемой».

Горячие, страждущие, желающие и хотящие женские тела дарили ему свои «величайшие» благосклонности в виде хрустящих бумажек от лета до лета. А лето то тянулось с мая аж до ноября. Намётанным глазом, как опытный психолог, он выбирал из толпы новую добычу. Иногда Эльдар попадал в полосу безденежья, когда поставив, всё на карту, — попадал на «искреннюю любовь». Нужна она была ему, как рыбе зонтик!

Лена-Леночка для него, как семечка в подсолнухе. Спросила однажды:

— Сколько у тебя было женщин? — наивная глупышка.

— Вот видишь, сколько кирпичей в этом доме? — не посмел он солгать. Да зачем-то дурочка не поверила. Забеременела. И сына в честь своего дружка назвала. Добрая душа. Последних крошек не жалела. Наверное, любила. С ума сходила от его красоты. Жаль, заболела. Ой, как жаль — умерла. Но Дарика-то зачем ему в обузу оставила? Кто докажет, что это его сын? Ни ему не доказать, потому что и угол не отсудить никоим образом, чтобы Сергеевну ненавистную больше не видеть. У Львовича все юристы схвачены,

оплачены. И куда его теперь, по прихоти судьбы свалившегося на шею сынишку?

Эльдар вернулся, хлопнув дверью, очень злой.

Глядя на Дарика, как на врага народа, обнаружив небрежность в одежде, не свойственную самому, как единственный недостаток, он чуть ли не прошипел:

— Шнурки кто за тебя завязывать будет?

Мальчик набычился, нагнул голову. Такую же прекрасную, как у отца. Прямо две капли воды. Только один маленький. А другой большой. И глаза огромные. И волосы пшеничные вьются. Ресницы длинные, чёрные. Щёки румяные. Носик точёный. Губы пухлые, точно Боги с вдохновением резали. Ничего от Лены-Леночки не взял — всё от отца. А взгляд-то какой! Взгляд!

— У меня не получается!

— А не получается, так и собирай обратно в сумку свои вещички! В интернат тебя отвезу! Пусть тебя там научат!...

Дарик съёжился. Замер весь. Руки к груди прижал, подумал: пусть ударит, пусть лучше ударит, лишь бы не выгнал! Некуда теперь идти. Ни дома у него нет. Никого нет. Слово страшное «интернат» звучит, как смерть!

— Ну что ты на ребёнка ополчился? — заступилась хозяйка.

— А то, что я в Москву билет взял. Мне ехать надо. А тут...

— Ну и возьми его с собой! Дарик Москву посмотрит. Посмотришь, Дарик?

Мальчик кивнул.

— У Лены-Леночки там какие-то родственники, кажется, на Павелецкой, она рассказывала, вот и помогут в воспитании, может, в московскую школу устроишь. Чем чёрт не шутит? Ты позвони Львовичу-то! Позвони. Узнай адресок! — заглядывала то Эльдару-то Дарику в глаза Сергеевна. Ей тоже не больно-то хотелось с ребёнком чужим оставаться. Обуза.

— Черти не шутят. Они вообще шутить не умеют! Нету у них чувства юмора! — проворчал Эльдар, но сына в Москву взял.

Планета женщин

О! Сколько женщин ходило по Москве! Прямо там. Прямо уже на вокзале! Красивые, как сбывшиеся сны. Москва оказалась целой планетой женщин. Одна другой лучше. Ухоженные! Самодостаточные! Гордые. Ну, прямо то, «что доктор прописал!» И все вот уже готовы к нему на шею броситься. Эльдар тянул Дарика со злобной силой за собою. Послушный, лёгкий, как пушинка, Дарик боялся потеряться в толчее людей. На Павелецкой действительно жили родственники Лены-Леночки. Но давно умерли. И квартиру отворила безумно толстая тётка, с вождением уставившись на Эльдара... Нет. Это уж слишком!

Они вернулись к метро. «Что же мне с ним делать?» — вконец расстроился Эльдар. Вечером его ждала в своей квартире хоть и бедненькая, но весьма миленькая учительница, которая обещала показать Москву, поводить по театрам и прочее, пока её муж в командировке. Не везти же к ней ребёнка в самом деле!

Тут его внимание привлёк сумасшедший сигнал Ландровера, слегка врезавшегося в железное ограждение. Водитель Мицубиси, по вине которого произошло столкновение, уже вылез из машины и обрушился руганью на девушку, водителя Ландровера. Уморительно морща мордашку, ослепительная блондинка с голым пузиком загорелым в соларики, и белоснежных джинсах, одетая и стриженная под Бритни Спирс, жеманно доказывала свою невиновность.

— Стой здесь. И жди меня, — Эльдар тут же подскочил и вступил в перебранку, защищая ангельское создание, которое, и в самом деле, не было виновато.

Блондинка тут же положила свой пустынный голубенький глазок на прекрасного защитника и пригласила его посетить её скромный уединённый уголок.

Такой шанс Эльдар упустить не мог. Чёрт с ней с учительницей. Но как же быть с сыном? Он сказал блондинке, что «нужно сделать только один звонок». И украдкой повлёк за собою Дарика в метро. В эти секунды Эльдар уже всё решил. И рассчитал. Зачем ему ребёнок? Кого он воспитает со своим складом жизни? Ещё одного альфонса? Нет. Здесь в Москве, говорят, очень хорошие детдома. Дарик наверняка не знает ни улицы. Ни города, где живёт. Маму зовут Лена. Папу (а он папа?) Эльдар. Вот и всё. Пусть Бог позаботится о нём. Это будет лучше. «Пообещаю ему горячий пирожок и оставлю охранять сумку, милиция найдёт быстро. Она всё очень быстро находит...»

— Я всё устроил. И совершенно свободен для тебя, малышка! — поцеловал Эльдар через пять минут заждавшуюся блондинку и они помчались на Рублёвку.

Планета метро

Дарик смотрел на люстру, задрав голову. Люстра качалась ветром электропоездов и не падала. Качалась прямо над ним. Огромная — большая. Больше, чем несколько Дариков, взявшихся за руки. Таких люстр он ещё не видел. Через некоторое время казалось, что всё качается, а люстра на месте. И, он, Дарик, на месте. А все люди, поезда, ветер, колготки, брюки, сапоги и сумки движутся вокруг него, как заколдованные бездушные куклы, планеты или мельницы.

— Осторожно, двери закрываются, следующая станция Добрынинская — вещал электрический голос в одной электричке. Но тут же, споря с нею, отвечал другой голос из противоположного поезда:

— Осторожно, двери закрываются, следующая станция Таганская...

Дарик ждал отца. Тот не приходил.

Такого столпотворения народу он тоже никогда не видел и поначалу очень растерялся. Люди шли потоком из вагонов, когда подъезжал новый шумный поезд. Пол такой ровный! Просторный! Как в замке. Стройные своды. Мрамор. Лестницы. Всё очень красивое и даже сказочное. В метро тепло от дыхания людей. Они, как волны, то набегут, то схлынут.

Дарик стал разглядывать обувь. Смешные эти москвичи. Как же им неудобно передвигаться на

такой глупой обуви! Женщины, с трудом удерживая равновесие и осанку, ковыляют на шпильках. У мужчин какие-то немыслимые туфли с длинными носами! Он посмотрел на свои ботинки и обнаружил, что шнурки снова развязаны.

И тут ему стало страшно — а вдруг отец решил исполнить своё обещание и бросить его, потому что Дарик их не завязал!

Страх перерос в обиду, поджались губки. И покраснели глаза. Да. Всё именно так. Дарик давно ждёт. А отца нет. И можно уже десять раз доехать до вокзала за завтраком и обратно. Но он не знает этого города. Нет. Ни за что не может быть, чтобы отец его так вот взял и бросил. Он обязательно принесёт горячий пирожок и накормит Дарика. А, может быть, отец потерялся? Просто потерялся? Как его тут найти?

— Папа? — позвал Дарик слабым голосом. Но и сам себя не смог услышать в рёве и шуме метро.

Дарик стоял в самом центре станции Павелецкая, охранял сумку со своими вещами и смотрел в ту сторону, где скрылся Эльдар. Люди толкали ребёнка.

Мама Лена-Леночка учила его не бояться лошадей. Лошади никогда не затопчут человека. Они инстинктивно обойдут тебя, когда движется табун. Нужно просто подождать. Но она не учила его не бояться людей. Она всегда говорила, что он вырастет очень красивым и богатым. И что будет рядом. Но она не говорила ему, как вырасти, чтобы люди тебя не затолкали!

Он присел, чтобы справиться с постоянно развязывающимися шнурками на своей обуви. Люди в метро задевали Дарика то сумками, то локтями. Закончив кое-как с этой работой, весь истолканный он, наконец, разозлился. И ярость заполнила крохотное сердечко, когда его сбили с ног какие-то подростки. С головы слетела шапка. Её тут же упинали далеко — не найти!

Дарик выпрямился. Гневно глянул на толпу, яростно-прекрасный, с алым румянцем на щеках маленького русоголового бога, сошедшего из древних легенд сюда в ад, забыв о сумке, он стал лупить ладошками всех подряд. Его некому было защитить. И он пытался защитить себя сам. Безликая толпа не обращала внимания на войну Дарика. Люди даже не оглядывались, пока он не врезался в чёрное женское пальто кулачками со всей последней своей силы.

— Ты чё творишь? — удивилась незнакомка, ухватив его за руку.

Дарик снова попытался её ударить. Но она не дала себя обидеть.

— Ты чей? — ещё больше удивилась девушка, — нет, вы посмотрите на него! Ты как себя ведёшь в метро?

— А чё они толкаются?

— Где твои родители? — спросила девушка, не отпуская руки Дарика, всё ещё держа его на расстоянии.

— Отец пошёл купить что-нибудь поесть.

— И оставил тебя одного в метро? — удивилась Марьяша.

— Да.

— Ты, наверное, меня обманываешь!

— Я никогда не обманываю, — вырвался Дарик.

Он совсем не был похож на брошенного домашнего котёнка, который ждёт, чтобы его приласкали. А кто обратил на него взор — тот и хозяин...

— Сколько тебе лет?

— Пять.

— Где ты живёшь?

Дарик не ответил. Подумал и сказал:

— В пятом доме.

— Отлично! Ему пять лет. И он живёт в пятом доме! Ну что ж, подождём твоего папашу. Уж я ему всё скажу, как надо детей воспитывать!

— Не надо ему говорить! Я больше не буду!

Дарик так перепугался, что отец снова рассердился, что пролетел:

— Папа сказал, если я не научусь завязывать шнурки, он меня отдаст в интернет! Я завязывал, а они — толкают!

Очень странная мысль заставила Марьяшу присесть на корточки рядом.

— Ты его давно ждёшь? — спросила она.

— Давно.

— Сколько поездов прошло? Считал? Ты считать умеешь?

— Много.

Марьяша резко поднялась. Ситуация ей совершенно не нравилась. Что-то необычное, неестественное было в ней. Девушка решила, что дождётся родителей во что бы то ни стало, чтобы развеять опасения, а потом уже поедет по своим делам.

ёНо родители мальчика не приходили ни через полчаса, ни через час. Ни через два. Она глядела на часы, не зная, что дальше делать.

— Похоже, что твой папа за тобою не придёт, — жёстко сказала Марьяша ребёнку и тут же пожалела об этом, потому что Дарик, который до сих пор держался забиякой, неожиданно заплакал. От голода или от усталости. Или от горя. Он вспомнил обещания Лены-Леночки, что будет богатым и счастливым и охранять его будет пёс по имени Рекс. Он до последней минуты не верил, что отец...

— Не плачь, не надо. Мы пойдём его искать. Только нам сначала нужно заехать кое-куда. Хорошо?

— Нет, — вцепился в её руку Дарик.

— Я не могу, понимаешь? Не могу тебя взять с собой. По закону тебя нужно сначала отдать в милицию. Они найдут твоих родителей. Я же не милиция.

— Не отдавай меня в милицию! Они отведут меня в детдом. И папа тогда меня никогда не найдёт... Я есть хочу! — заплакал ещё горше Дарик.

— Ну, хорошо, — сдалась Марьяша, — что-нибудь придумаем.

Они вышли на поверхность.

Мамед закончил свой трудовой день и обрадовался появлению Марьяши.

— Вот потерялся. Есть хочет, — сказала она просто, объясняя своё появление, — Ты его покорми. А мне действительно нужно в редакцию сгонять. Ноутбук заберу. Прозондирую насчёт денюжек. А вдруг гонорарные дают? Если нет — стрельну у зама. Куплю что-нибудь поесть. Вот. Ты подождёшь меня, малыш?

— Подожду.

— Как тебя зовут?

— Дарик.

— Замечательное имя. Прямо подарочек Новогодний!

Планета любви

Теория о том, что sny спят по утрам в виде тумана у метро Павелецкая, рождённая Мамедом, претерпела существенные изменения, когда он увидел в рабочем состоянии ноутбук Марьяши. Нет. Sny не спали вовсе. Познавательные, волшебные, сексуальные, смелые, игровые, информационные, разные — они концентрировались там, в сети интернет. Стоило нажать кнопку мышки, менялась многомерность этих снов. Очень хотелось затянуться туда и затеряться в бесконечностях параллельных миров интерактивных игр.

Дарик тоже никогда не видел столь скоростного компьютера. Наевшись досыта плова, он блесст глазёнками то на Мамеда, то на Марьяшу. Маленький. Тихий. Наученный уважать других людей, он старался не обременять лишними просьбами. Он не стучал ложкой о тарелку, аккуратно подбирая рисинки от плова до последней. И тарелочку облизал, испачкав носик рыжеватым морковным жиром. Уралет нашёл сам. В ванной острожно открыл кран, чтобы не сильно громко бежала вода и, не тревожа случайными, но вынужденными звуками, помыл руки. Сам вернулся и, как мышонок, сел на прежнее место. Он так делал и дома, чтобы позволить матери спокойно умереть, теперь же старался не мешать своим новым друзьям жить.

А там, на экране ноутбука творились чудеса.

Мамеда он очень быстро научился называть правильно с мягкой Д. А Марьяша вообще сильно напоминала ему Лену-Леночку по тактичному вниманию ко всему происходящему, и Дарик инстинктивно старался быть поближе к ней.

— Мамедь, принеси, пжалста, добавочки! Что-то меня на жор пробило. Кажется, удача наконец свалилась с небес!

Мамед, обвязавшись полотенцем, как фартуком, подавал с кухни плов. Открыл бутылочку купленного Марьяшей Шампанского-Мартини и пачку сока для Дарика. Комнатёнка оказалась крохотной, но на удивление чистенькой и уютной.

Правда, с одной кроватью. Но Дарика поселили на раздвижное кресло, а себе на полу Мамед быстро соорудил подобие постели из ватных фирменных штанов и куртки уборщика.

Он улыбался. Марьяша никогда не видела, чтобы кто-то ей вот так дарил бескорыстно и безропотно своё личное время, хоть и аскетично скромный, но гостеприимный свой дом, открыто улыбался и ничего не требовал взамен. А он заглядывал в экран через её воротничок, сложенный белой розочкой на шее, как бы из двух воротничков. И было не понятно, что Мамеда восхищало больше — белоснежная материя шёлковой блузки или всемирная паутина.

— Мамедь? Ты что-нибудь заканчивал? — бросила она через плечо, чувствуя его внимание.

— Гарвардский...

— То есть? — не поняла Марьяша, даже обернулась, чтобы лучше расслышать.

— Филиал у нас есть...

— А... Ясно, — она ухмыльнулась, снова обравившись к компьютеру, — В Дагестане вырубали виноградники. Заводы закрылись после перестройки. «Спасибо» Горбачу. Все потеряли работу, как мор прошёлся. Пока теперь лоза окрепнет? Земля отдана под «планы» для строительства саманных домов для местных жителей...

— Откуда ты знаешь?

— Да вот прочла. «Дагестан — страна гор». Тут всё есть, ну, или почти всё, — показала информацию. И тут же она сменилась другим файлом. И третьим. — Значит, ты с образованием вынужден приехать от безработицы сюда. А че чесноком маринованным не захотел торговать? Тоже довольно прикольный бизнес для дагестанцев... Персики. Черемша. Гранаты. Что там у вас ещё? Перец «болгарский»!

— Хурма ещё, — подыгрывал ей Мамед с нарочитым кавказским акцентом, — купите мандарины, красавица! А не купишь, так подарю! Холодно на рынке. На одном месте стоять. Да и не моё это.

— Вот обманщик! Не вызревает у вас такой фрукт, как мандарин! И всё-таки твоя зарплата, Мамед?

Тот немного смутился. Даже покраснел.

— Если бутылок много попадается, то и за двадцать тысяч выходит. Когда и за тридцать. Половину матери отправляю.

— Половину Фатиме?

— Да нет у меня Фатимы. Это я так, чтоб ты не сильно важничала. Половину за комнату и на питание.

— Вот и я говорю, обманщик! И много у тебя их?

— Кого?

— Недостатков?

— Больше нет ни одного.

— Опять обманываешь? А достоинства у тебя есть? Сколько тебе лет?

— Жених хоть куда. Двадцать восемь. Зубы все. Лезгинку танцевать могу. В вольной борьбе мне нет равных во всём Дербенте! Когда сватов посылать? — будто в шутку Мамед встал на цыпочки и прошёлся по комнате в своём кавказском танце.

Марьяша засмеялась. Она чувствовала себя в какой-то эйфории новой симпатии. Кавказцев она обычно обходила стороной, пренебрежительно называя «чурками». А тут. Что это? Пленница обстоятельств? Крах честолюбия москвички, или начало чего-то нового, серьёзного? Она журналист-международник, у которого за плечами множество престижных удачных проектов. Он — дворник, без средств, без прописки и квартиры, и намёка на малейшие перспективы! Она любовалась улыбкой Мамеда, ловя на себе восхищённые, но и исполненные достоинства взгляды. Скинув робу дворника, точно шкуру Чудовища, и причесав тёмно-русые кудри, парень уже не казался безликим серым человечком, которые тысячами едут обслуживать жиреющее стадо потребителей, то есть жителей Москвы. Мускулистый смуглый торс в белой майке. Тонкая гибкая талия. Атлет с зелёными глазами, похожий на стройного джинна, исполнял её просьбы, поднося и унося тарелки с едой. После патологической «гражданской верности» к брюзжащему седеющему «старому русскому», обладающему многочисленными целлюлитными отложениями

даже на заднице и «маленького» антикварного магазинчика в центре, устраивавшему ей каждый день скандалы и разборки, она и не предполагала увидеть такого красавца когда-либо в жизни, вот так вот рядом с собою в одной комнате, да на соседней кровати.

— А там в Дагестане у тебя?...

— Дом у матери. Сад. Персиковый. Море Каспийское. Поедем вместе на Новый год? Если, конечно, курить бросишь... Моих денег на два билета хватит.

— А на три? — спросила Марьяша серьёзно, показывая на Дарика.

— На три тоже хватит.

— А собака у тебя есть? — спросил Дарик.

— Был пёс. Пропал в этом году. Нового заведём.

— Давай назовём его Рексом? — несмело попросил Дарик, до этого момента не мешавший игре взрослых «в знакомства».

— Назовём-назовём! Ешь давай!

— Не могу больше. Живот лопнет! — улыбался Дарик.

— Так что? — ждал Мамед ответа от Марьяши.

— Обычай у вас страшные, Мамед! Женщин за стол не приглашают. Мусульманство там... людей крадут и всё такое. Свинину опять же не едят. А я баранину терпеть не могу, но и без мяса не наедаюсь.

— Глупости. Плов, кстати, из свинины был. Ты не заметила? Я атеист. Спрашиваю ещё раз, — Мамед всё-таки показал характер в голосе, — Курить бросишь?

— Вот пристал. Не курю я. Просто занервничала. Довёл мой сожитель. Купила пачку первую попавшуюся. Всю ночь проболталась. Грелась я так — сигаретами. Пока тебя у метро не встретила.

Но Мамед ждал другого ответа. И она ответила, продолжая глядеть в экран, только уже не видя, что в нём:

— Спасибо, что предложил. Я это оценила. Спасибо. Правда, спасибо. Но вот, видишь ли, Мамед, в чём дело, мне сегодня деньги перечислили на карту чужую, старый долг отдали за несколько репортажей, ещё летом сдала! Так что не ты за меня, а я за тебя заплатить могу.

— Так поедем? — обрадовался Мамед.

— Поедем. Только не сейчас. Стой! Стой! — она открыла почтовую программу. — Вот это уже другое дело! Нет. Это совсем другое дело!

Мужчинки, и маленький, и большой замерли, ничего не понимая в наборе строчек, буквочек и картинок, которые перебирала девушка на компьютере. Но, осознавая, что происходит что-то важное, уважительно молчали.

— Видишь ли, Мамедик, — наконец, заговорила она. И голос становился с каждой секундой взволнованнее и радостней. Марьяша еле сдерживала его, чтобы не сорваться на счастливый всплеск, — Мне ответ пришёл по запросу из Франции. Берут проект, — она всё-таки вскочила и захлопала Мамеда ладошками по плечам, — Я, понимаешь ли, придумала одну обалденную обалденность! Если всё прокатит — возьму тебя к себе в замы! Это проект миллионный. И мне понадобится верный человек! Пойдёшь на пять для начала?

Она глядела на него полными огней глазами, точно в них сконцентрировалась вся радость планеты.

— Ну, не. У меня двадцать выходит. А когда и... — выпустил воздух из ноздрей сбитый с толку кавказец.

— И больше, я понимаю, бутылки там, траливали. Я б тебе в рублях и предлагать не стала. Тут про евро разговор, — снова села Марьяша за ноутбук, немного успокоившись.

— Не шутишь? Красавица? — недоверчиво склонил голову Мамед.

— Красавицы не шутят. Как черти. У них нет чувства юмора, если речь идёт о деньгах.

Мамед развёл руками. Он седьмым чувством понимал, что в его жизни происходят коренные перемены. И теперь предоставлял женщине право управлять своей жизнью. Смешанное чувство зависимости от женщины, и от денег этой женщины с глубокой симпатией к Марьяше заставляло его смущаться:

— Ещё плова?

— Не. Четыре порции. Куда пятую? — девушка заметила тихо сидящего Дарика и вспомнила, что его судьбу тоже нужно устраивать, мгновенно переключив ноутбук на новую программу, она сказала, — Дарик! Смотри. Это навигатор. Мы сейчас очень быстро найдём твоего папу и маму.

— Моя мама осталась там, — не отрываясь от компьютера, спокойно ответил ребёнок.

— Где там?

— Ну, там. Её нет. Сны забрали и увели с собой.

— Какие сны? Дарик? — не понимала она.

— Она умерла. Болела и умерла, — перевёл свои понятия на речь взрослых ребёнок.

— То есть, как умерла? Подойди ближе. Я ничего не понимаю. Ты сказал: умерла?

Дарик кивнул, опустив голову, как он делал, когда ему не нравился разговор. Он подошёл так близко к Марьяше, что коснулся кудрями её щёк. И глаза оказались совсем рядом. Мамед замер. При слове «мама» ему стало больно в горле.

— Она давно хотела умереть. И давно болела. И все хотели, чтобы она поскорее отмучилась. И она умерла, — снова повторил Дарик свою мысль, только немножко по-другому, чтобы взрослые, наконец, поняли его.

— А ты? А папа?

— А меня отвели к папе. И он привёз меня сюда Москву показать.

— Откуда привёз? Из какого города?

— Из города.

Марьяша откинулась на стуле.

— Улицу помнишь?

— Улица Ленина.

— Картина Репина. Приплыли! Улица Ленина.

Дом номер пять! Мама умирает. Папа ребёнка увозит в Москву и оставляет в метро, чтобы потреться... Гражданское общество устойчивого развития... Бред современности. Глупость какая-то!

— А папа в каком доме живёт, не помнишь? — продолжал спрашивать Мамед.

— У моря! Он живёт у моря! — обрадовался мальчик, — А дом старенький такой. Он у хозяйки снимает. Её зовут Сергевна. Она мне молоко давала!

— Обалдеть! А номер? Номер дома хотя бы помнишь?

Ребёнок пожал плечами.

— Погоди, Марьяша! Он живёт у моря. Сколько у нас морей?

— Как вы добирались до Москвы? На поезде? На самолёте?

— На поезде.

— Как долго? День? Ночь?

— День и ночь.

— Слава Богу, это не Дальний Восток! И не Ледовитый океан, потому что, судя по светлым кудрям, твой папа не чукча...

— Ну, хотя бы название улицы, где живёт папа, ты помнишь? — вмешался Мамед.

— Помню! Осоавиахима!

— Это что за улица такая?

— Досаав! — попытался объяснить Дарик всё, что знал.

Марьяша набрала на ноутбуке «улица Осоавиахима» и попала в город Новороссийск.

Высветились картинки с фотографиями города.

— Мы с мамой сюда ездили! — обрадовался ребёнок, узнав простреленный вагон и монумент матросу.

— Мамед? Ты с нами? Мы едем в Новороссийск.

— Когда?

— Как возьмём билеты.

Планета мужчин

И совсем был не прав Мамед, что сны спят хоть минуту в Москве. Где уж им, бедным, пристроиться, если днём ни свет ни заря собирают маршрутные такси рабочих и служащих для перевозки из всех закоулков Подмосковья поближе к центру. Там, покупая их время, дороже платят. Жители и гости столицы спуют день-деньской в своих вечных бесконечных делах, напоминая движения броуновских частиц. В каждой квартире в телящихах не угасают веселёшенькие шоу, напоминающие пир во время чумы, надо же «зрелищами» взбудорить хлебодаров! И к ночи гудят грузовые товары фуры и грузовики, доставляющие пищу и товары народного потребления в огромный рынок сбыта с именем Москва и Московская область, а до утра крутятся в поиске новых жертв рекламные огни.

— Если звёзды зажигаются, это кому-нибудь нужно — повторила глупость поэта ведущая радиопрограммы, а Свингер рыкнул, отвечая ей:

— Это нужно только звёздам. Остальные вынуждены терпеть их дурацкий назойливый свет! Слишком много расплодилось! Пора отстреливать!

Эльдар заелозил на заднем сидении от этих слов.

— Лежать, ублюдок! — прорычал накачанный до предела здоровяк Эльдару. — Будешь дёргаться — мало не покажется.

— Куда вы меня везёте?

— На аэровокзал. Отправить туда, откуда приехал. И чтобы духу твоего в Москве 10 лет не было. Понял? — заявил седоватый мужчина в стриженном бобровом пальто, — Ты понял?

— Понял, — сдавленным голосом отозвался с заднего сидения Эльдар.

— Так ты Николай, что ли? — разглядывая паспорт, спросил седовласый, — А Натаха сказала, что Эльдар. У! Блондинка! Выкинуть бы её вслед за тобой, да свежа пока, чертовка.

Эльдари было очень неудобно со связанными руками. И он молчал.

— Камеры слежения у нас работают, Мыкола. То-то. Дураков нет в Москве. И шутить с тобой никто не собирается, — сказал седовласый, порвав билет Эльдара на поезд, — Ясно тебе?

— Ребят, не могу я сейчас уехать. Сын у меня в метро остался, Дарик. В честь меня назвали Эльдаром Эльдаровичем, — ещё надеялся вырваться пожить у учительницы Эльдар.

— Ещё раз говорю, Мыкола, ты Эльдорадовская твоя морда! Слышали мы тут такие сказки, что вам и в страшном сне не снились. В паспорте сына нет? Нет. Значит, ты нас снова надуть решил. Нехорошо! Свингер, тки ему там как следует, чтобы ерунду не порол. Надоел своею тупостью.

Планета детей

Несколько дней в Новороссийске лил дождь. А после ударил заморозок. Земля стала высыхать. Вода опустилась. Замёрзшие лужи ушли в грунт, оставив корочки льда, которые очаровали Дарика!

— Не наступи! — воскликнул он Мамеду, который хрустнул льдинкой возле кружевных узоров вокзальной лужи.

Марьяша искала такси, чтобы их отвезли на улицу Осоавиахима.

Дарик присел, разглядывая потрясающие узоры белесых луж. Он бы никогда не смог изобразить такое! Белым по белому! Как это нарисовать? Сможет ли так филигранно справиться белый карандаш? Или белая раскра?

Дарик поднял с земли осколок льдинки, порушенный Мамедом, погладил:

— Смотри! Как красиво!

— Красиво, — согласился Мамед.

— Я подарю его папе!

— Растает, пока доберёмся, ничего не останется, — не согласился Мамед.

— Но ведь что-то должно остаться!

— Поехали! Такси ждёт! — подошла, запыхавшись, Марьяша.

— Я хочу подарить это папе! — очень серьёзно сказал Дарик.

Марьяша и Мамед переглянулись. Она пошарила в карманах своего пальто, зашуршав, достала какой-то пакетик, протянула его Дарику:

— Хорошо, заверни, может, и довезём твой подарок.

В город опять вернулся ветер. И выдул все сны к чёртовой матери!

А спать хотелось. И Мамеду. И Марьяше. И Дарику. Не очень-то удобный выдался маршрут. Слишком раннее утро. Слишком лёгкая одежда. И неуютность всего происходящего заставила всю дорогу молчать. В душе каждого нарастала тревога.

— Ну вот и Осоавиахимовская улица, — сообщил таксист, показывая путешественникам на небольшие домики.

— Спасибо, остановите, — попросила Марьяша, рассчитываясь.

За нею вышли Дарик и Мамед.

Когда ребёнок показал взрослым тот самый дом, в котором должен был находиться его отец, она незаметно шепнула Мамеду:

— Мне будет больно его отдавать. Он такой славный!

— Мне тоже, — ответил Мамед.

Они решили, чтобы Дарик пришёл в дом сам, без них. Остались наблюдать невдалеке, чтобы порадоваться встрече сына с отцом.

Дарик позвонил. Поставил вещи рядом. Достал из кармана пакет с подарком. Но из полиэтилена на дорогу хлынула вода. Очень сильно выбитый этим обстоятельством из построенного своего плана встречи с отцом, Дарик неловко засунул остатки почти совсем растаявшей сказочной льдинки в карман, позвонил ещё раз и спрятался за тополь.

В доме что-то зашуршало, загремело ведро, точно обитатель никогда не мог пройти мимо него, не задев.

Дверь отворилась. Небритый непричесанный Эльдар в тапочках на босу ногу, и растянутых трениках выглянул во двор. На лице красовалось несколько синяков. Вид помятый и измученный. Увидел сумку рядом с дверью:

— Кто там?

Дарик вышел из-за тополя с пустым мокрым пакетом в кармане. Ему нечего было подарить, кроме самого себя. И он просто сказал:

— Это я.

Эльдар вздрогнул, точно увидел привидение:

— Иди! Слышишь? Иди отсюда!

Дарик хотел ухватить за его штаны, но Эльдар, оторвав от себя ребёнка и отшвырнув, затворил дверь. И уже из-за неё кричал, упёршись в крашенные доски обеими руками, как будто за ними ломилась тысяча чужих детей, а не один, его собственный:

— Я тебе не папа! Это недоразумение! Тебя не должно быть! Понимаешь? Ты не мой! Зачем ты вернулся? Как ты меня нашёл? Там бы тебя в детдом сдали или в интернат! Кормили! Поили! У меня ничего нет для тебя! Ничего! Оставь меня в покое!

— Я завязал шнурки, папа! — кричал ребёнок. Но отец не открывал ему дверь. — Не отдавай меня в детдом!

— Я не могу больше на это смотреть, — подбежала к мальчику Марьяша. Обняла неловко, не умеючи. Тот, продолжая стучать в дверь, отстранился, потом, наверное, видя бесполезность своих усилий, опустил кучерявую головку, не принимая незнакомой чужой нежности, и зарыдал:

— Он не любит меня! Никто не любит меня!

— Неправда, — горячо возразил выросший, точно из-под земли, Мамед. Слова любви ему трудно было говорить, как и каждому человеку, когда это в первый раз. И вместо них он произнёс: мы прямо сейчас поедим к морю. К другому морю, к тёплому морю. Там у меня есть дом. И персиковый сад.

— Дарик, мы заведём собаку и назовём её Рекс, — искала таких же слов Марьяша, заменяя единственные главные десятком ненужных, — Не бойся. Всё будет хорошо. Всё-всё хорошо. Знаешь? Ты вырастешь таким красивым и очень-очень богатым. А я всегда буду рядом с тобой. Мы купим

самую-самую красивую машину и будем ездить в путешествия по всему миру. С тобой и с Мамедом.

— Ты разве не бросишь меня? — ещё всхлипывал Дарик недоверчиво.

— Никогда не брошу, — Марьяша горячо поцеловала лёгкие, как пушок жёлтого цыплёнка, волосы ребёнка и, неожиданно для себя, спросила с новой надеждой, осторожно произнесла без запинки незнакомое для своей сущности, но знакомое слово, — ты веришь мне... сынок?

Это было как вселенский код. Заклинание. Ключ. В душе Марьяши точно рухнула невидимая стена, которую каждый из нас окружает себя с рождения, чтобы оградить от случайных нечаянных мук обрушившихся разочарований. Мамед был поражён от внезапного принятого ею правильного решения. А другого и быть не могло, по закону его гор. Именно сейчас он решил ясно и окончательно, что с лёгкостью отдаст за них двоих всё, даже жизнь. Но Марьяша никого не воспринимала в эти секунды, кроме Дарика. Мир исчез. Исчез пронизывающий новороссийский ветер.

Горы. Исчезли лужи с узорами на них. И улица Осоевяхима... Оставалась только стена в душе ребёнка. Она ждала, что малыш обхватит её цепко, она, Марьяша, была единственной спасительной веткой. Она бы, окажись на его месте, непременно так бы и поступила. А он? Этот мальчик? Даст ли он себе шанс ещё раз поверить?

Молчание ребёнка длилось секунды, но казалось бесконечным. С любопытством заглядывал через стёкла убогого жилища Эльдар на свою маленькую копию. За его спиной не то с одобрением, не то с укором качала голову Сергевна.

Дарик ещё раз взглянул на запёртую дверь отца, на Мамеда, замершего в ожидании, опустил глаза на завязанные свои шнурки. И тут что-то с ним произошло. Он протянул Марьяше единственное сокровище, которым обладал — пустой пакет, в котором оставались капельки кружевной льдинки, как пропуск в новый мир нового года, грязной ручонкой нежно вытер её слёзы, стараясь успокоить, и не по-детски мудро ответил:

— Я верю тебе... мама.

г. Москва

Полина Гольдфрейн Тихая осень — грусти величие

Усталость

Усталость птицей сонною войдёт на тонких цыпочках.

Рассядется, развалится, попросит прикурить.

Я разолдусь, как дурочка, в ужимках и улыбочках:

«Позвольте вас, голубушка, обедом накормить».

Зевок не сдержит, сморщится, всхрапнёт в немой истерике:

«Поспать бы мне, родимая, в тиши часок-другой».

Кивну, свернусь калачиком, замру в мирской эстетике.

Прижмусь к подушке радостно, отправлюсь на покой.

Никчёмная

Притулилась к стене — снова брошена.

Не плохая, и не хорошая.

Не красивая, и не страшная.

Так, простая российская барышня.

То мне чудится дом с темницею,

То острог с расписною светлицею.

Дни идут стороною серою.

Что случилось с прежнею верою?

Постарела вмиг — не расстроилась.

Распрямылась — и снова сгорбилась.

Разрумянилась, пригорюнилась,

Полетела вдаль, призадумалась.

Что мне жизнь? Тоска неизбежная.

Что любовь? Беда-девка грешная.

Не красивая, и не страшная.

Так, смешная птица уставшая.

Смерть рифмы

Взгляд без смысла,

Ода без конца.

Жизнь провисла,

Рифма умерла.

г. Москва

Денис Чирков Привет, Рембо



Одинокий, но ухоженный

одинокий, но ухоженный
щенок
сидит на снегу.
и плачет,
и часто дрожит,
и всё высматривает кого-то
на холодной остановке
своими добрыми,
преданными,
не верящими в обман,
глазами.

а люди
(я,
ты,
мы,
вы),

притворившись скульптурами
очередного серого дня,
лишь изредка
посматриваем на него,
замуровав свои чувства
в удушливый гипс морали,
да всё тщательней укутываемся
в свои шубы, дублёнки, куртки...

пусть щенку
(нам,
вам)

будет больно,
пусть будет стыдно,
да пускай хоть все ангелы
себе мозги повышибают из ружей...
всем —
всё равно.

ведь у каждого
свои
разновидности свободы.
и нам страшно обращать
своё внимание
на такие мелочи...

ведь они сразу ранят
нам,
(вам,
им)

душу / сердце
и прочие гипсовые гадости...

срабатывает страх
оказаться там же —

в помоях призрачной свободы.

Привет, Рембо

ребёнок бежит по лугу и не видит косы.
это — Рембо. кто его спасёт?

круг огня улыбается невинным дымом.
пушистость ситуации не спасает утопленников
от Холода.
улыбайтесь,
души ваших родных уже на небесах.

а тот, кто порвал Солнце, обмазывает губы солью,
чтобы, поцеловав море, инстинктом обнять
его возмущение. взъерошенные Рембо,
Тцара и Пикабия рвут глотки
раненым картинам счастья, завязывая
галстуки на трупах детей Дада.

всё просто: это мухи славы загадили
их искренние умы грязным безобразием
людской похоти денег.
личинки, яйца, гусеницы — ешьте их,
друзья, пожирайте жизнь в зародыше!
рассеивайте семена по асфальту.
смазывайте слюной кору дерева.
кладите траву в сумки ваших
воспитателей.

Тцара улыбается на фотографии:
улыбался ли он в жизни?

я знаю:

Пикабия рисовал свои картины
только после секса с Лунным Светом.

и
храбрость пьяного Рембо
вызывает восхищение даже несколько
веков спустя.

это заставляет меня пить из реки
и плакать.

зарывайте золото в пустыне —
я не буду искать.

потому что дождь — дороже золота,
а хороший скандал — лучше
притворно-милых улыбок.

помни об этом, когда будешь
у меня на могиле и —
удачи тебе в этой реальности,
дружище.

г. Зеленогорск



Полина Кондаурова

Время в пути и тоска по дому



Закутаться бы в бабушкин платок
И не вставать из кресла целый день,
Смотреть, как луч целует потолок,
И как его потом съедает тень,
Закрывать глаза, не думать ни о чём,
Но не дремать, а просто так, сидеть,
И руку тёплую вдруг ощутить плечом,
И от тепла её... похолодеть.



Бесконечно большое, говорят,
То же самое, что бесконечно малое...
Бесконечность переягивает на себя одеяло
С тех понятий, которые определяет.
И я упрощаю
Желания до горячего чая
И думаю: а, действительно,
Разница велика ли?
Вот если соотнести ощущение края,
Ну, просто с краем... стола, например,
Или дня, что некстати прожит.
Ведь край есть край?
Все вертикали — потенциальные горизонталы.
И линия жизни тоже.
— Да ну? — усмехается речь —
А зачем, говоря «О, Боже...»,
Ты просишь «верни», а не «дай»?

Зима

Лёгкими перетёртый,
Воздух слегка оттаял.
И, как всегда, не ясно,
Откуда пришла зима.
Словно бы зачехлили
Пёстрые натюрморты
Белыми простынями,
Чтоб не сойти с ума.

Словно дворовый мальчик,
Пущенный в дом господский,
Встревоженно замечаешь
Собственные следы...
Идёшь и пути не чаешь.
В метели плывёшь, как клёцка,
И встречных твоих глазницы
Заснежены и пусты.



Не все города одинаковы,
Нет, дружок.
Есть города обманчивые,
Как пирожок,
Который берёшь с тарелки
И чувствуешь кожей —
С повидлом! Кусаешь...
А он — с картошкой,
А ты их терпеть не можешь!

Есть города-государства,
Города-острова.
Вот идёшь по Москве
И видишь — это Москва.
Куда ни посмотришь,
Всюду — Москва, Москва!
А там, за Москвой, хоть не расти трава...

Есть ещё сказочные города, они
Существуют скорее в книгах,
Нежели искони.
В них не бывает будней,
А только Дни.
«Питер!» — в тебе откликнется,
Только лишь помани...

А ещё есть потерянные города,
Как рай.
Правда не столь прекрасные,
Но вполне
Вызывающие в нас сожаленье,
Что мы — вовне.
Севастополь, к примеру, —
Благословенный край!

Но этот Город особенный,
Он как лес...
В нём как будто и дышится легче...
Архитектурных шедевров
Исторических мест
В нём пока ещё нет.
Но уж что-то, поверь мне, есть!
И оно, когда ты идёшь,
Или просто стоишь и глядишь окрест,
Ненавязчиво так обнимает тебя за плечи...



Как сочетаются время в пути
и тоска
по дому.

Эти почти
с рожденья штампующие колёса:
«Отказать», «Отказать», «Отказать»,
«Переслать другому».
Абакан — «Отказать», Москва — «Отказать»,
«Снять вопрос»

О моём проживаньи у самого синего моря.
Сквозняк,
Как домашний котёнок, запутался в шторе.
И колёса бранятся размеренно и
знакомо,

Как соседи.
Какого ещё уюта
Мне искать,
если я люблюю

Плацкартную полку обживаю в одну минуту?
Если самую-самую вечную вечность людскую
Составляют всё те же два метра на семьдесят пять.



Вольно же вам, о поэты, хулить моего Одиссея!
Мол, побеждал он в боях всегда не мечом, а подвохом,
Хитростью ловкой всегда, а не силой могучею мускул.
Нечего вам возразить, и всё-таки вам возражу я:
В ком из ваших героев силы поэта достало
Женщину не обмануть? Кто из них, может быть, Гектор?
Честен он был, жену врагам оставляя и сына?
Или Эней, сбежавший к призрачным царствам,
Бросив Дидону, чью принял любовь, не колеблясь?
Или другие: Ясон, любивший Медею до срока,
Тесей, вот уж силач был — руками убил Минотавра!
Отдал он Вакху без боя свою Ариадну!
В чём же теперь, укажите, схитрил, где солгал Одиссей мой,
«Лгун и хитрец», когда он, обещав мне вернуться — вернулся...

г. Абакан



Дарья Мельник
**Умереть, не увидев
Камчатки**

**Одиннадцать строк
лёгкой ностальгии**

Всё мне кажется, кажется в сонном бреду:
Я по Марсову полю ночному бреду,
А на поле горят фонари.
Я прилёт бы на лавку в Летнем саду,
Не умея связать петли.
Я бы слушал, как ветер с Невы говорит
В чёрных лапах озябших лип.

Белый мрамор застывших фигур, огни
И во вздыбленном льду река —
Я хотел бы застыть насовсем, как они,
В петербургских этих снегах...

Кривая колея

Позабыв об изысканных винах,
Запивать снотворное водкой,
Потому что тюремное небо
Не раскрасишь изящной решёткой.

Позабыв об эпическом слоге,
Задремать у бутылки початой;
Умереть, не увидев Парижа,
Умереть, не увидев Камчатки.

Плач по пустому дому

А у дома-то ворота чугунные,
звёзды латунные да стены высокие.

А ворота-то у дома настезь распахнуты,
окна-то в стенах дубовых насквозь прорублены,
а крыши-то у дома вовсе нет,
и гуляет ветер в доме пустом.

Я по крови волк, мне по сердцу вой,
в стороне чужой чую лес густой;
за спиной моей стынет дом пустой:
пусть тот дом пустой — то мой дом родной.

Не шути со мной,
не лукавь со мной,
не зови с собой:
то мой дом родной!
Я при том дому
будто пёс цепной,
я при том дому
верный домовый,
я в пустом дому
пёс сторожевой.



От этих дорог неужели не спячу,
себя подгоняя, как старую клячу,
Себя понукая то лестью, то плетью,
Себе попуская то песню, то петлю?

На этом краю неужели не струшу?
На мелочь мою растрезвонили душу,
А веру и правду пустили на ветер,
А совесть сожгли и развеяли пепел.

И сердце моё тоже не без порока,
Хоть бей — не добьёшься ни толку, ни проку.
Я еду домой по железной дороге.
Я сплю. Мне Россия ложится под ноги.

Песня беглеца

И часто думал ты о том,
Как повернёшь, едва ударят грозы.
Стальным дорожным полотном
Потянутся на юг обозы.

Смотри, как буря за окном
Свободно разогнула спину.

Пойми же и прими без слёз,
Что жизнь твоя невозвратима,
Что смерть твоя необратима,
Как ветер, буря, стук колёс...

Пустое время

Пустым чаем
пустыми речами
пустыми мечтами
ночными кошмарами
пустыми местами
коротать своё время.

Сидеть по окопам,
пока не пришили
автоматической строчкой
к земле.

Сидеть по окопам
ждать снарядов
пороть подклады
в надежде на рублик,
вспарывать вены —
хоть бы капельку крови —
пусто.

г. Москва

Алёна Алексеева
Лунная волчица



Ложками черпало небо
Награды влюблённых — звёзды.
Яркие пятки света
Печатались на небосклоне.

Месяц просыпал горстку
Снежных морозных крошек.
Ты закурил от света
Звезды, похожей на грошик.

Волосы между пальцев
Ты пропустил как воду.
По небу двое скитальцев
Чертят на завтра погоду...

Руки легли на плечи,
Жадно коснувшись кожи.
А за окном Вечность
Бродит по горизонту.

Ей, как и нам не спится,
Пальцы и шёлк по коже...
А с высоты лица
Скитальцев смотрят, быть может...

Звонок
Прошу сна.
Выпишите срочно.
Сон до утра.
Длинный, с цветными картинками.

Да, ещё, пожалуйста,
Немного солнечного утра,
Запаха кофе на завтрак,
И пение птиц.

Убедительно прошу
Забрать эту серую даму.
Как вас? Ах, Бессонницу.
Она преследует меня всюду.

Вы выполните мою просьбу?
Что? Такое невозможно?
Как отдыхает? А как же я?
Опять бросили трубку...

**Одуванчиковый пух...
тому, кто будет рядом...**

*После долгих ночей страшных снов...
Тому, кто будет рядом...*

Прострелю запястье ручкой.
Со щелчком стальной пружины
Громко зарыдают тучи,
И прольётся чёрно-синий
Дождь чернильный.

Ты войдёшь в мой томный вечер,
В скрип полуприкрытой двери.
Одуванчики — как свечи —
Бросишь у моей постели —
В пух метели...

Скажешь: чёрной краской на утёсах
Краснокожие индейцы
Разрисуют наши судьбы,
Нам от этого не деться...
Будем греться

У костров индейцев майя
Под их страстно-злые песни.
И в дождливый вечер мая
Будет грусти твоей меньше.
Будет легче...

Скажешь: прыгнет Ягуаром
Ранним утром в небо Солнце,
И мы с первым же трамваем
В жизнь из племени вернёмся...
Улыбнёмся...

Я засну... в твоих ладонях
Мои волосы и плечи...
Одуванчиковый пух, непослуш-
ный — на постели...
Ты придёшь в мой страшный вечер
И излечишь...

Лунная волчица

Ночью сегодня не спится.
Лунная смотрит волчица
Звёздным овечкам в лица.
Закроет глаза и ночью ей снится
Нора. 24 волчонка
Таращат свои глазёнки.

Грустит и грустит волчица,
Намокли её ресницы
И капля росы искрится.
Закроет глаза, а ей снится
Нора. 24 волчонка
Таращат свои глазёнки.

Во сне грызёт волчица
Края чёрного ситца.
Трясётся и хочет забыться.
Уснёт, а ночью ей снится
Нора. 24 волчонка
Таращат свои глазёнки.

Ночью сегодня не спится.
Кровавая плещет зарница.
Люблю тебя. К исходу страница.
Спи. И пусть тебе снится
Нора. 24 волчонка
Таращат свои глазёнки.

Этюд осенней нежности

Электрической нежностью усталые пальцы
Пробегают по телу в поисках света.
Сегодня ты волен на веки остаться,
Чтобы продлить это тёплое лето.

Паутинки в глазах нитями страсти,
Жёлтые листья шуршат под ногами.
Мы погадаем на счастье — несчастье,
Мы сплетём паучков с волосами...

Рука, и в руке красной рябиной
Последняя капля алого солнца.
Хочешь? Захочешь? Я буду красивой
Шорохом-шёпотом рыжего клёнца.

Я растворюсь в сине-пепельном небе...
Будешь смотреть сквозь раздетые ветки
Как по мне катится жёлудь —
Осенью солнце стиснуто клетке.

Электрической нежностью усталые пальцы
Пробегают по телу в поисках света.
Сегодня ты волен навеки остаться...
Хочешь продлить это тёплое лето?

Липецкая область

Дмитрий Бобылёв По листьям сада

~
Продавали небеса
На брезентовой перчатке.
Там, на пальце, у заплатки,
Испаряется роса.
Оседают на глаза,
Разъедает мою душу.
Я опять тебя не слушал,
Что же мне ещё сказать?

Осень

Обиженный на листопад,
Кот умывается лениво,
А за окном неторопливо
Несут в ведре топить щенят.

Я дожевал свой бутерброд —
Немного чёрствый, вот досада!
Старуха шла по листьям сада
С пустым ведром и без забот.

~
Пока ещё можно ходить
По беспрозрачным улицам,
Где дедушка-ясень сидит,
Где окна горячие жмурятся.
Пока ещё липнут к лицу
Душистого тополя перья.
Тебе и усталость к лицу,
А мне так легко поверить.

~
Куда вы бежите? Пусть ливень идёт!
Он должен, — вы только поймите!
Дождь тоже способен растапливать лёд, —
Зачем вы его не хотите?
Милее крапива, да тлен, да бурьян? —
Ну что же, пусть будут, как данность.
Но отчего ж я настойчиво пьян
И небу несу благодарность?

г. Серов

Андрей Белозеров Наташин день



Квартира была на первом этаже — ближе к земле-матушке. Песок мело от вечных новостроек напротив — он ввинчивался в щели и ложился на подоконники ровным слоем. В окнах всегда недостаток света — решётки его скрадывали, и кусты на газоне, и нависший неподъёмной хмурой бровью балкон, что на втором. И вязкий полумрак, словно пыльные застиранные тряпки, развесился по комнатам. Всякая вещь здесь по-особенному быстро ветшала. Ветшала, и ежели рвалась, то рвалась не по шву, а где-то посередине, распадаясь на нити и выпуская клубочки пыли из разрушенных волокон ткани. Лихо, за сезон, выцветали и покрывались катышками футболки и топики — словно сворачивается в кипятке скисшее молоко — так они, эти катышки, скоро образовывались, лопались каблукы, запятники отходили от подошв, и стельки стирались до бумажного задубевшего дна, в которое въедалась пластилинообразная чернота от носков. А уж сами носки во мгновение ока бывали съедены такой обувью, пары их дюжинами регулярно и безвозвратно ухали куда-то в бездну, в параллельные миры, сокрытые в непреступных пыльных норах заживаний и закреслий.

И вот пришёл ты, допустим, вечером после работы и разулся, и ходил по полу в тех носках, а они непременно к полу липли, даже непонятно, от чего больше — ибо они и сами становились липкими от дневного пребывания во влажном измоленном обувном нутре, и липок был линолеум на полу — то сок прольётся, то ещё что, и кошки непременно повсюду это разнесут. Трое их было: две трёхцветные и рыжий кот. В народе говорят: трёхцветные приносят счастье, а рыжие — достаток. Но шёл ты, и не было подле ни счастья, ни достатка, а лишь носки твои липли, обрастали кошачьей шерстью, как паучий кокон, в котором влажно переваривается муха.

И хозяйка была в том доме. Говорила, что хозяйкой себя не чувствует, мол, дом её отвергает, то обратное говорила, что родным он ей стал. Придя в этот мир несколько неожиданно для родителей, а тем было уже за тридцать, она получила от них имя, которым нынче турки у себя в Турции зовут русских проституток. Неожиданно — что лишь это простенькое имя пришло родителям в голову. Неожиданно — что лишь мамы моральные устои не позволили вторгнуться в Наташину ещё дороговую жизнь руке с металлической петелькой куретки и всё в ней поправить.

И как-то сызмальства не заладилось у Наташи — астма тяжёлой формы. Но маленькая Наташа любила даже капельницы, потому что любила

жизнь в природе своей детской, растущей, жадно тянула её, и уж не до жиру, а как пришлось, хотя бы через эти прозрачные трубочки с растворами эуфиллина и преднизолона. Крепка астматическая хватка, дыхание, человеку простому и незаметное, превращается в тяжёлую напряжённую работу, каждую шестерёнку этого механизма ты начинаешь чувствовать отдельно, чувствовать, с каким скрипом и натужностью вращается всё это в твоём нутре, дышишь, свистишь сдавленной трахеей, сжимаешь и разжимаешь с усилием целлофановые пакеты лёгких и, как бы ни старался, ни рвал грудную клетку, воздух никогда не достаёт того заветного донца, и даже если роса утренняя, и ты по ней босиком, и птичья трель в пронзительном небе, не видать тебе счастья, не вдохнуть полной грудью, не хлебать полной ложкой, не плескать через край. И потом, когда засыпаешь, устав от постоянной перекачки воздуха, дыхание берёт и останавливается порой, как испорченные часы, ты выпучиваешь глаза, захлебнувшийся в одеялах, подушках и темноте ночной, и, вынырнув, наконец, снова берёшься за свою основную работу.

Медсёстры старались обходить Наташеньку стороной, бежали от лица её, наспех исполнив свои обязанности, потому что голодающий без кислорода мозг провоцировал приступы усиленной разговорчивости, попадись шестилетней Наташе на глаза, обмолвься при ней — и всё, она будет говорить с вами, говорить и говорить, о мишках и зайчиках и котятках, о куколках и кукольных домиках, о том, как они ездили с мамой на море и о том, кем она хочет стать, когда вырастет, потом она начнёт читать вам стихи и петь песенки, и вы уже, кивая и улыбаясь, бежите прочь, хотя надо бы и присмотреть, как положено, чтобы игла не выскочила из вены — ребёнок ведь... Правда, одна толстая неуклюжая вполне Наташеньку и любила, «зайкой» звала. Вот она, простерилизовала иглы, скovyрнула кружочки с оцинкованных пробок на бутылках, навесила капельницы на железную треногу с крюками, и — неуклюже вверх по лестнице, с одышкой. Капельницы бултыхаются, словно насаженные на гарпун медузы, машут длинной лапшой прозрачных щупалец, звякая стерилизованными иглами о ступеньки...

— Ну как наша зайка? — с выдохом в приотворённую дверь, — вот и капельница...

Двигаться нельзя — иголка в руке, по лапшине бегут пузырьки — Наташе видятся в них спешащие по улице машины — капают в просторный гараж овальной стекляшки. Потом взгляд переключается на неровный потолок, отыскивает в неровностях силуэты разных зверушек — всё это

любила даже капельницы, потому что любила

с пространными комментариями. Медсестра терпит, не терпит даже — умиляется.

— Эх, зайка...

Впрочем, астма отступила, и Наташа сей факт связывала с запоздалым её крещением и теперь покуривала даже безбоязненно. Бывает так — отступит в детстве астма и больше никогда не вернётся, а бывает, что и вернётся, и тогда до гроба душит она тебя — весело, в полную силу, и ты до гроба жрёшь гормоны, тучнеешь на них, делаешься вечно потрёпанным и одутловатым, выглядишь и чувствуешь себя на дюжину лет старше... И не жизнь это...

И был ещё при Зайке Сергей Викторович, во главах семьи числился. Здравый, рассудительный... но имелась в нём какая-то всё ж червоточина, вот он и на жену свою будущую в первый раз внимание обратил и взглядом заинтересованным одарил, когда увидел на руке у неё на левой — бинт из-под рукава на запястье предательски белеет. Правша, подумалось Сергею Викторовичу. А уж выпросив и узнав, что не из-за жалкой какой-нибудь первой любви это, а от чуждых ему непонятных томлений души, то и уважением проникся. На этом запястье-то и отношения у них завязались, хотя Сергей Викторович и раньше на красивое Наташино лицо заглядывался, но боялся он её — истеричка наверняка и стервова редкостная — думалось. И неприступной она ему сильно казалась. А вот эти пара-тройка цирков по ручке её милой и заделем для разговора первого стали, и как-то неприступность в глазах Сергея Викторовича вычеркнули, родством каким-то, червоточиной навроде его червоточкины показались. Хотя вот сам никогда вен не вскрывал, в петлю не лез и вообще не любил членовредительства никакого. Однажды лишь прижёг окурком руку, и то в пьяном виде, в бесстрашии и безболии пьяном, и из солидарности с друзьями тогдашними, у которых повелось это как дело чести и сакральной избранности. Хотя... хотя в последнее время, когда совсем уж плохо, привилась привычка у Сергея Викторовича шарить глазами поверху в поисках надёжного крюка, на какие вешают люстры, или крепкой двери, через которую можно бы перекинуть гипотетическую верёвку, вот так вот лежит он порой, а теперь всё чаще и чаще — плохо совсем — глаза по верху — и сюда бы можно верёвочку примостить и сюда, но это мечтам сродни, и даже ауто-тренингу некоему.

Но опять вот о наших трёх кошках. Васинька-Василиса. Самая старшая. Полтора года назад февральским вечером она переминалась на бес-снежном выхожденном ветром асфальте. Около остановки. И, широко разинув рот, кричала не по-кошачьи: а-а-а. Наташа обломилась ей ушко, пока везла домой в маршрутке, пахнувшей газом. Не специально, конечно, обломилась, Боже упаси, просто странным было на ощупь замёрзшее ухо, как бумажка. Из любопытства отогнула кончик — так и остался, а после по изгибу отвалился. Кошка была совершенно неловкой, отовсюду падала, потому что подушечки лап обмёрзли и потеряли чувствительность, и долго они ещё красные, будто лакированные, всё облазили и облазили, теряя слои омертвевшей плоти. Впрочем,

кошка и вообще была неказистой — мосластой, крупной, с приплюснутой, как у змеюки, головешей. Кошка Наташу преданно любила за спасение, в лицо ей всегда умно заглядывала.

У Сергея Викторовича Василиса связана с хорошим, романтическим — стала залогом любви как бы. Ведь кошка эта появилась до того даже, как они с Наташенькой зарегистрировали свой мастный брак. Эти двое появились в его доме практически одновременно. Пылание любви, первая неделя Наташиной жизни здесь. И приносит обмёрзшую, с погнутым ухом, шепчет слегка виновато кошкину историю. Щёки розовеют с мороза, иней бусинами влаги тает на шерстинках зелёного шарфа. И на шерстинках кошки. И славные такие речи...

— Извини. Можно, правда? Поживёт недельку, а потом я её к маме...

— Можно, конечно.

И кошка, хоть и неказистая, но вроде сбитая, ладная, и Наташа красивая, и Сергей Викторович — само великодушие и благородство. Всё прекрасно...

А потом, когда Наташа уже в силу в том доме вступила, был рыжий котёнок Венедикт с лицом трудного подростка. Наглый, как все рыжие, но туповатый и добрый. И даже не совсем рыжий — а как хлебушек подрумяненный из печи, и две медовые капли глаз, и нос бело-розовый, как незрелая земляничка. В привычку у него вошло залезть на кровать и обхватить передними лапами Наташину ногу, муркая громко. Её это очень умиляло.

После всех Кузька была, косматая и пискучая. Сама к двери пришла и попросилась жить. Кузька, потому что решили, что кот, за космами не разглядели.

— Это мой сыночка — сказала Наташа, прижимая котёнка, носом зарываясь в его шубейку, — сыночка пришёл ко мне, простил, теперь я его не отдам.

И не отдала. Но «сыночка» оказался кошкой, трёхцветной, пушистой и красивой, с вечно задранным, как знамя, хвостом. И когда Наташа в дебрях трёхцветных лохм сделала это открытие, стало ясно, почему Веня пытается на Кузьку вскакнуть. Кузька стала официально Кузиной, а Сергей Викторович, любя, звал её Кусенька, а злась: «Ах ты, шуба с ногами».

Но и на кошек со временем легла примета того сумрачного места, кошки тоже ветшали, Куся нет, Куся была ещё слишком молода, но Веня вот обрюзг, затучнел, запаршивела у него при этом морда какой-то чёрной не выводящейся паршой, и привычка грустная появилась — опереться спиной на стену и сидеть так, растележившись, как мужик в предбаннике, разморившийся, с пивным навывлупку животом и одышкой, ещё и парша чёрная, словно недельная небритость. И не было в картине этой ничего забавного, как забавно на фото-приколах с животными, коих тьма в интернете, а только грустное.

У Васи и того хуже — стала худой и нервной, шерсть поредела, почти голый крысиный хвост, горячий голый живот. Она истерично беспре-станно лизалась, слизывая последние пушинки с живота, а потом её вытащивало клубками свалявшейся шерсти.

Но однажды кончилось её безумное лизание, кошка начала молодеть на глазах, округляться телом и обрастать, как весенний газон; попрятались, занырнули под новую красивую шкурку её мослы. Викторovich снова взял её на руки без безгловности и жалости.

Позже открылась причина метаморфоз — кошка беспокойно искала среди тряпок, которых было повсюду в избытке, себе место, гнездилась и туда, и сюда...

— Нет, Наташа, надо топить. Мне не нужен уют. Тут и так кругом шерсть, шерсть... вся жизнь отравлена шерстью. Из-за неё у меня больше нет чёрных пиджаков. Утром в сортир — очередь. В ванную — там из крана пьют или тоже срут. Везде кошачий корм, кошачьи туалеты. А ты, кажется, на работу собралась устраиваться. Мы же кашками зарастём!

— Хорошо. Ты сам собираешься топить?

— Ну... а хоть бабку позову... у-у, моя бабка, киллерша со стажем.

— Что бы ты ни говорил, а одного надо оставить, она же болеть будет, мастит будет. И может, она никогда матерью не была, нельзя её этого лишать.

— Вижу, тебе очередную игрушку понадобилось. Котятки, мамы-кошки, получатся, как с Венькой, пообещаешь пристроить, а потом приживётся, своим станет.

— Нет, я сама понимаю, больше трёх у нас не будет, точно...

На том вроде и порешили...

Сергей Викторovich свою работу почти что и любил. Он ещё сизмальства рисовал на ватманах всякие газеты, доставляли ему удовольствие рубрики и колонки, писал он в них псевдонности на никаком языке, козябрами, схожими с латиницей. Горячие новости, колонка редактора, рисовал подобия эксклюзивных фотографий. Он и ныне мечтал быть редактором и верстальщиком какой-нибудь своей газеты, а лучше журнала... И самоучкой натаскавшись в верстальных программах, работал в жекедельнике с очень обстоятельной, подробной телепрограммой. нтв. твз. рен тв... Копируешь-вставляешь. Кегля и интерлиньяж — 8,5. Название фильмов красишь магентой, сериалов — цианом.

Верстать нравилось, отвлекало это даже и дарило покой, как игра, навроде тетриса — сложить друг с дружкой текстовые фреймы, притереть их без зазора, дырки замостить фотками. Нравилось, что за трафиком здесь никто особо не следил, можно было в свободное время играть в какую-нибудь сетевую игрушку. Выбрать себе ник. Копить опыт, добывать ресурсы на одежду и оружие, набивать уровни и ранги, качать навыки стрельбы и медицины. Всё это плечом к плечу с тысячами других игроков — таких же офисных бездельников. Воевать с ними, ругаться, дружить, быть милосердным или жестоким с теми, кто уровнем пониже. Вступать в кланы и гибнуть или убивать за какую-нибудь идею.

Не нравилось ему, правда, что начальство эконоило на приличном офисе, и в выкупленной и оборудованной однокомнатной квартирке сидело два верстальщика, редакторша, два бухгалтера, один дизайнер и пять менеджеров. Последние

были основным злом, ибо все остальные сидели спокойно, а эти суки с пустыми глазами кружили по офису, поднимая пыль, вечно висли на телефонах или в айсикью, вели переписку со своими рекламодателями и требовали Интернету, который постоянно иссякал. Но худшее, что они вообще были не приспособлены к офисной технике — ксерокс, факс и принтер приводили их в ступор, и они сразу кидались: «мальчики». И мальчики, по локоть в порошке из картриджа, сдавленно матерясь, выкарябывали из факсов и принтеров застрявшую бумагу.

Здесь, собственно говоря, Сергей Викторovich и превратился вдруг в Сергея Викторovichа. Не за почтенный возраст и не за солидность, а просто по случайности — оба верстальщика были Сергеем, и начальница не знала, как окликнуть того, кого надо. Сергейслева — Сергейсправа — как-то неважительно. Вот и сделали различие, и уважительность сделали, хоть и старше был Сергей Викторovich всего на полгода Серёги — второго верстальщика, а положили на него вместе с отчеством тяжесть прожитых лет и кризис среднего возраста. И стал он за собой замечать, что всё чаще и чаще покрывает, разгибая затёкшую спину и потирая слезящиеся от монитора глаза.

День подходил к завершению, завтра сдача полос с программой, сегодня надо выработать по максимуму, чтобы завтра не запариться, сдачу не задержать. Верстал он свою программу, вставлял анонсы на сериалы. Анонсы сливались в сценарий одного бесконечного дня... «К Марианне наконец-то возвращается память. Эстебан и Катя вместе едут в Буэнос-Айрес. Юрий признаётся Николаю, что удочерил Катю сразу после её рождения. Ольга говорит Виктору, что любит Мотылька, но не будет его удерживать. А Мотылёк признаётся Николаше, что больше не любит её сестру, а влюблён в другую. Сурков сообщает Люсии, что Катя её приёмная дочь. Люба собирается вернуться на работу в клинику. Пётр говорит Кириллу, что собирается сдать экзамен в руки правосудия. Гагарин рассказывает о предстоящей поездке в Англию. Иван хочет выйти на ринг, чтобы заработать деньги на выкуп. Ольга говорит Николаю, что он отец Кати, но категорически против того, чтобы Катя об этом узнала...».

И, вынырнув к вечеру из той бездны, он шёл в другую, вынимался из ботинок, чтобы липнуть к полу — голодный и злой.

Благо, на этот раз дома ждал ужин. И всё вроде ничего, только...

Едва он треть отъел от яичницы...

— Сергей! Серёжа, иди сюда!

— Господи, неужели надо именно сейчас... — промычал он сквозь яичницу в своём рту.

Василиса упрямо ползла на диван, на светлое покрывало в кучу скинутых после работы Сергеем Викторovichем вещей, в джинсы и выходную рубашку, пыталась туда зарыться.

— Держи её, не пускай! Что делать!

Он стащил на пол с черепашьим бездумным упорством загибающуюся в вещи кошку и с раздражением отметил, как когти кошачьи вытянули пару петель из покрывала. А Наташа вынула из угла коробку от телевизора. Она была напичкана

разным Наташиным тряпьем, так и не рассортированным после окончательного её переезда — тряпье, естественно, прочь, к той же куче.

— Что? Что постелить? Ну, помоги мне!

Вася всё пыталась вспрыгнуть на диван. Он прижимал её к полу, стоя в несколько неловкой позе, но поступить проще, взять кошку на руки, не хотелось — с неё уж лилось.

— Только, пожалуйста, не ночнушку, — опередил он Наташино метнувшееся к куче существо.

Почему-то ему так и подумалось, что жена выхватит из этой груды тряпья самое ценное. Ночнушка была мягкая, шуршащая по коже, фланелевая и с глупыми миккимаусами, домашней нежной девочкой была в ней Наташа.

— А почему нет?

Конечно, мяконько, приятно, В самый раз под кошкин бок. Он угадал, и это тоже раздражало... Слишком редко Наташа была домашней мурлыкой последнее время...

— Не смей. Простынь в шкафу возьми, поставь только.

Вот и простынь, почему-то именно белая, Наташа её укладывает в картонку.

— Пойду, вызову киллера, — с облегчением он передал Василису.

— Алё? — глухой бабушкин голос, она жила через двор в кооперативной квартире, всю жизнь на земле провела, меж грядок, привязывая помидоры к колышкам, поливая их коровяком, гоняя червяков из чеснока, мокрец из морковки, гоняя похожих на броши из морёного дерева двухвосток, которые любили стричь своим чёрным раздвоенным жалом нежные стебли рассады, а теперь, когда силы оставили, — квартира.

— Хм... Ну слушай, Галина Батьковна, начались уже роды, иди помогай как специалист...

Да, была, конечно, у них заблаговременная договорённость по этому поводу.

— Ой, Боже ты мой... не раньше, не позже. Тут «Татьянин день»...

— У нас нынче Наташин день, иди быстрее.

— Включи мне телевизор. Сейчас я... Сейчас подойду... — и уже вдалеке, затухая, пока трубка ложится, снова — ой, боже ты мой...

Кошка всё пыталась сорваться со скользких белых простыней — туда, в заманчивую кучу, тем более что после опорожнения коробки, та заняла полдивана.

Сергею Викторовичу подумалось, что ему бы тоже неплохо сейчас головой вперёд в ту кучу, чтобы занырнуть и по самые пятки чтоб, и прикрыло бы эти пятки какой-нибудь тряпицей, какими-нибудь миккимаусами, и не было бы Сергея Викторовича некоторое время вообще, а только куча.

Но вместо этого он набрал ведро воды с выражением абсолютного хладнокровия и зачем-то даже не просто холодной, но разбавленной до приятной прохлады. Поставил утвердительно с глухим стуком посреди комнаты. Наташа обернулась на него со своими глазами в поллица, что-то болезненное в них промелькнуло, словно ещё один чирк тупым ножом для бумаги у неё по запястью прямо сию секунду вот и случился, и потом обратно — успокаивать, гладить кошку. А та

лизала себе промежность и крутилась с боку на бок — совсем неловко ей было в коробке. По простыням ползли розовые акварели. А бабушка всё не шла, уже и котеночья рыжая лапка из чёрных чресл пару раз вынырнула и обратно втянулась.

Первое бабушкино было:

— Включай скорее телевизор, всё с вами прощущу.

Из-за пазухи она достала ядрёный овальный камушек и тряпичный мешочек, на живульку только что сшитый. Сергей с Наташей переглянулись, обменялись ухмылочкой болезненной.

— Как ты, однако, основательна... — сказал Сергей Викторович.

Камушек и мешочек, однако, внушали спокойствие, значит, человек дело знает, значит, всё будет легко и быстро. А уж как камушек в мешочек вложен был, то Сергей Викторович и совсем успокоился, словно это его грех от него отняли и в мешочек сложили. И даже руки мыть пошёл, две трети яичницы с намерением доесть.

И доел даже.

Бабушка сидела наизготовку, поставив между ног ведро и теребя мешочек с камнем заскоружлыми толстыми пальцами, привыкшими в земле рыться, картоху оттуда выкарябывать, не знали те пальцы страха перед огнём и холодом — они и без прихвата кипящую кастрюлю с печи снять, и в зашугованной тягучей воде из обледенелого колодца простыни сполоснуть. И вот эти пятерни, жизнью согнутые в два дачных скребка, которыми землю рыхлят... и взгляд её выцветших белесых глаз из-под кустистых седых бровей... и щурится она — в экран смотрит, а там у неё: «Состояние Сергея внушает врачам опасение. Миша хочет отдать письмо Разбежкиной Сергею, как только тот придёт в себя. Узнав об этом, Барина приходит в бешенство. Гена звонит Баринову и требует денег за кассету...»

А Наташа кошку гладила по лънущей к ладошке змеиной голове.

— Тужься, Васинька, тужься. Неудобно тебе здесь, да?

И бабушке:

— Надо быстро, как появится, и сразу туда, чтобы воздуха не успел глотнуть, а то как вдохнёт, лёгкие расправятся, потом мучиться долго будет. И кошка чтоб не успела его облизать, матерью себя почувствовать.

Опять кошка напряглась, появилась рыжая ножка, и назад. И так много раз, даже забеспокоились, что не разродится, слово чуял мелкий, что тут ему хорошего не светит.

— Давай, тужься, ну же, — умоляла Наташа.

И поглаживая живот Васин, потянула котеночью лапку.

И дело вроде сдвинулось.

Бабушка зашевелилась, расправила мешок.

Главное быстро — из одной воды, из материнской, и в другую сразу — и сам котёнок ничего не поймёт, и никто не поймёт, не заметит, словно и не было ничего, думалось Сергею Викторовичу.

— Тяни, тяни его, не отпускаяй, — сказала бабушка.

Кошка заблажила от боли. Наташа сморщилась от ужаса, потянула сильнее.

— Осторожней, — забеспокоился Сергей Викторович.

— Ой, мамочкии! — закричала, отвернувшись, Наташа, лапки, впрочем, не выпустила, и на пике истошного их с Васей вопля вытянулся рыжий с белым носом и пузиком, и за ним вытянулся на сизой с перламутровым блеском пуповине кусок мяса с жёлтым пузырьём — место бывшее котенкино.

— Что там? — наклонился Сергей Викторович.

— Ну и ладно... — хныкала Наташа, — он, по-моему, и так уже мёртвый.

Котёнок, и, правда, лежал, не шевелясь, был он, конечно, уже не в рубашке, лежал склизкий с этими вытянувшимися вслед потрохами, но не успел Сергей Викторович с облегчением вздохнуть, как вдруг зашевелился, раскрыл розовый на белом рот.

— Ой, мама! Давайте скорей его в ведро! — и, зажав кулачком рыдания, Наташа убежала прочь.

— Так, ну давай его сюда, Господи, грех с вами на душу опять...

Бабушка устремила свои скрюченные пятерни к котёнку, сгребла его и всё, что от него тянулось в одно, сложила в кулёк. Погрузила в ведро и сразу же уставилась в телевизор.

Мешочек она не завязала, а просто держала за края над водой.

— Бабка, ты что же делаешь-то? Специалистка! Он у тебя плавает, что за х...ня-то?!

Бабушка прикрыла голову котёнку тряпичей, как заботливая нянька, и приокунула, впрочем, так и не оторвав взгляда от телевизора.

Сергей Викторович решил перекурить — его всего трясло. Нашёл сигареты... И опять...

— Да ты посмотри на неё, он же выплыл из мешка, садистка!

Злость сделала движения Сергея Викторовича увереннее.

— Дай сюда.

Ухватив выплывшего из мешка котёнка, он опустил его на дно. Котёнок шевелился в руке, медленно загребал лапами, распахивал рот на белой мордочке, щёлки нераскрывшихся глаз устремляли взор невидящий из глубин на Сергея Викторовича... С чего он показался там, на суше, мелким и недоразвитым — напротив, крупный и сильный рыжий кот, ещё один Венька.

Продолжалось это очень долго, целую сцену отыграли сериальные модельки: Разбежкина успела прийти в палату к Сергею и рассказать ему о своих чувствах. Рука слабела, превратилась в оголённый нерв, ловила каждое шевеление бедного тельца. Шевеление это проходило рядом по руке и тупо ударяло куда-то в глубине груди, отнимая силы. Слабела и слабела рука... Но сильнее и сильнее делались чувства Разбежкиной.

И одна уверенность переплавилась в другую.

— Ну, раз ты такой сильный — живи!

Даже силу мужскую ощутил в себе Сергей Викторович — спасителя, совершившего бесповоротный выбор, совершившего поступок достойный. Так глава семьи говорит, выслушав аргументы жены и прочих членов семьи, — быть по сему, — говорит, — так-то и так-то быть.

И обретшей снова силу рукой, и с образовавшейся внутри лёгкостью, вынул он котёнка из воды и кошке на простынь положил.

— Давай, мамочка, займись сыном.

Кошка потянула морду, начала жевать пуповину. И, конечно, ожила бабушка, вынырнув из сериального омота.

— Ты что же делаешь? — и потянула злоеющие свои скребки к кошачьей идилии.

— Пусть живёт, не трожь.

Но бабушка сгребла уже — и обратно.

Он перехватил её руки и потянул котёнка к себе, меж всем этим болтался жёлтый омытый от крови пузырь на сизой пуповине.

— Сдурел ты, что ли?!

Сергей Викторович боялся котёнка повредить, а бабушка больно крепко вцепилась в жертву свою — и выпустил котёнка, и возмущённо воскликнул.

— Отдай! Пусть живёт!

И опять окунулся котёнок в ведро, опять всё по новой. Мученик, что сказать... Куда ни сунься — мученик. Материнское лоно и то удосужилось поизгаляться... Впрочем, жалкую сцену эту надо было доигрывать.

— Нет, иди давай, ты своё дело сделала.

И Сергей Викторович переправил котёнка из ведра обратно к кошке — а по полу ручьями вода.

— Да что ж такое! Да хрен с вами тогда! Зачем вы меня вызванивали-то? Спасает он. Спаситель. Мало кошек, что ли?

— Не мучь его, Серёж, — слабо сказала откуда-то справа жена — он не заметил, как она подседа рядом. — Смотри, у него животик от воды уже надулся, он не выживет...

— Чего это он не выживет?... С чего бы ему не выжить...

— Да я, кажется, ещё и ножку ему раздавила, когда тянула... знаешь, как чахохбили в консервах... там косточки, когда их кусаешь, рассыпаются... вот и у него косточка, по-моему, также...

— Да ну... тебе померещилось... — чахохбили он помнил, эти залитые сладким томатом косточки... и коренные зубы его помнили, как они рассыпаются при лёгком надавливании, но причём здесь котёнок...

Впрочем, пелена медленно спадала с глаз Сергея Викторовича. Он увидел, что котёнок уже едва шевелится и головы почти не поднимает, из-под белого слипшегося сосульками пушка синеет раздутое пузко. Там под водой выглядел он гораздо сильнее и живей...

И вся жизнь в Сергее Викторовиче как-то разом угасла. Он молча встал, подобрал недавно брошенные в порыве сигареты и пошёл на балкон.

А утопление продолжилось.

Сигарета курится минуты четыре, но и до шести можно в задумчивости растянуть... Картинки крутились в Сергее Викторовиче: белая морда тянется вверх сквозь колеблющуюся воду, загребает, не находя опоры, белорыжие лапчонки, и вот курится сигарета, а они там всё гребут и гребут, и вот лохматый материнский живот, вибрирующий от мурчания, сейчас бы туда, белой мордой в тепло и темень и мягкость...

— Шевелится ещё? — спросил он, вернувшись. До конца доводила дело его бедная Наташа... — Ага... — побелела, обескровилась, синяки зачернели вокруг глаз.

— Ужас. Как долго... — с состраданием посмотрел на неё.

Но вскоре всё закончилось. И сериал даже закончился.

— И правда, крупный какой, — взглянула на вытянувшийся трупик Наташа.

Мёртвое всегда почему-то крупнее да тяжелее кажется — всегда значительней смотрится, чем то, что осталось жить.

Бабушка сложила котёнка в мешочек, мешочек — в целлофановый пакет с жёлтым логотипом гипермаркета, в котором этот пакет когда-то набивала продуктами вспотевшая кассирша в синем форменном фартуке...

— Надо было оставить, что ли... а то родится теперь какой-нибудь недоносок, опять топить... Хоть бы не было больше никого... — пробормотал Сергей Викторович.

А больше никого и не было... Сергей Викторович выплеснул ведро в унитаз. Что ж так тошно, думалось ему, опрокинувшему воду в белую с жёлтым воронку, бывает и хуже, бывает их вообще в туалете смоят, а они застрянут в трубах и кричат, и сутки могут так кричать в кошмарной этой бесконечной трубе под постоянным водопадом из дерьма.

Кулёк снесён был бабушкой на помойку. Супруги остались наедине, ах, ну да — кошки ещё. Веня с Куськой, надо сказать, в комнату ни разу не зашли за время всей процедуры — выглядывали притихшие из коридора... Наташа всё сидела над Василисой, а у той были влажные, слезящиеся, как у старушки на холоде, глаза, и всё она мурчала утробно, словно кормящая мать — механизм-то был уже запущен, но в коробке рядом — одна белая простынка в разводах.

— Прости, милая... Убили мы твоего сыночку. Вот теперь вместо сыночки... — Наташа покачала в руке тот серый гладкий камень. Вид камня Сергея Викторовича совсем расстроил.

— Ф-фу... есть у нас корвалольчик, что ли? Что-то тяжело... Ну, бабка, ну, киллерша...

Сергей Викторович помассировал ладонь — в ней по-прежнему трепыхался котёнок. Это надолго теперь — подумал он.

— Жалко? Несчастный мой... Там, на кухне, в гарнитуре, где стеклянные двери...

Наташа сидела на полу перед коробкой, немного раскачиваясь, кошка тянула к ней голову, слушала разговор. Сергей Викторович за корвалольчиком не пошёл, присел на край дивана.

— Выпить надо, пожалуй... водочки...

— Выпей... спрячься от жизни, — тихо, бесцветно сказала жена.

— Почему спрячься-то сразу... это, типа, обезболивающее.

— Мы у Васиньки сына убили, а ты хочешь, чтоб без боли всё прошло.

Сергей Викторович заглянул в Наташино лицо: напряжённо поджатые губы, нехороший блеск в глазах. Приближалось. Сергей Викторович насто- рожился.

— Ох, полодиннадцатого уже, магазины закрылись, — говорил он, ища перемен на её лице, — без водочки, видно, придётся... да? полторушку крепкого возьму и нормально, пусть другие за котят болят, уж лучше так... пять минут попырхался, да только — не всю жизнь по помойкам на морозе... разве нет?

Молчала Наташа — перемен не было.

И вдруг обернулась, глаза оттаяли, словно вынырнула Наташа из холодных вод каких-то северных, где лежала она обмылком льда, вынырнула и ласково по мужу взглядом пробегалась.

— Ты и ребёнка нашего так... — сказала она, не обвиняя, робко, сама виновато улыбаясь оттаявшими и от того потёкшими в два ручейка глазами.

Сергей Викторович хотел было помрачнеть, но оказалось, что и так мрачен дальше некуда и просто холодно отвечал ей взглядом. Выговорил, наконец:

— Я ждал, что ты так скажешь... Только зачем это...

Приближалось... год Наташиной тьмы с пауками, вгрызающимися в пах, и кровавыми мальчишками. Тьмы, ставшей общей. И он огляделся. За беготней, топлением, странное место, в котором он жил, как-то размылось, оказалось не в фокусе, но теперь вернулась резкость очертаниям — особая такая резкость. И вот, допустим, кресло стоит, и само оно, как в дымке, а то, что подрано оно кошками, нитки висят и вытерты до бежевых плешей подлокотники — очень чётко видно. И столик журнальный, сам по себе — ничто, но вот покосилась он, и этот угол, насколько он покосился, видно, и очень видно, что из щелей, его перекошенных сочленений — шканти редкими зубами желтеют. А поверх столика: и с обшарпанными краями газетки, и книги — такие же, и бутылки с лекарствами и косметическими средствами, и даже пустая коробка от конфет. Все они отдельные и лезут в глаз.

Разруха. Разруха ползла из всех щелей и углов. Уж сколько они бились с ней, выметая, разгребая пятячки для жизни, но разруха забирала своё, раз за разом, как пустыня пожирает незащищённые дамбой оазисы. Наташа всё покупала отчаянно какие-то безделушки, чтобы сдобрить жизнью их дом, их гнёздышко, сделать его под себя. То куклу фарфоровую купи и поставит на полку — а у неё отломится нога, сама она скривится на бок, и всё — она уже оборотень, слуга разрухи, с которой боролась Наташа. Или принесёт красивых бутылочек, статуэток, ароматическую лампу из глины и рамочку под морёное дерево, вставит туда супружнюю фотку, и вперёд их, на передовую, как солдат в бой, а к вечеру они уже переметнутся на вражью сторону, став неприступной грудой хлама, пополнив полчища разрухи. Разрухи, однажды изошедшей из Наташиного чрева и основательно здесь осевшей.

Сергей Викторович сказал монотонно, но отчётливо:

— Тысячи людей сделали и сделают это. И проживут долгую счастливую жизнь. Это был не только мой, но и наш выбор. Зачем ты всё время возвращаешься...

А она слегка наклонила голову, прищурилась, только видно и ждала, чтобы выдать:

— Тысячи людей, говоришь. А в блокадном Ленинграде тысячи людей ели кошек и друг друга. А в Поволжье на базаре торговали человеческими головами, чтобы суп понаваристей... А ещё в Ленинграде была одна интеллигентная семья — мама и дочка. И любимый кот, которого холили и лелеяли. И однажды, когда совсем стало туго, мама сварила из него суп. Приходит девочка домой, вкусным пахнет, только кот почему-то не встречается. А девочка была учёная в университете, и библиотека у них, как у приличных интеллигентов была большая, она не стала есть кота, она нашла в книжке рецепт быстродействующего яда, сделала его в домашних условиях и убила себя. И через душу не переступила... А я... я — да. Сделала наш выбор.

Наташа горько усмехнулась.

Сергей Викторович посмотрел на жену всё тем же неотвязным зрением: на лице её словно прилепили маску из теста, маску не присущей ей чужеродной мимики, нашлёпки на скулы и надбровные дуги. Тесто мялось, хмурилось, горько усмехалось. А Наташи за тестом он не видел и не чувствовал. Горько было ему от этого осознания, потому что Наташа была, где-то была — живая прежняя, и иногда в душевном отчаянье, истосковавшись по Наташе, словно бы руки он из души своей прорасщивал и шарил ими словно бы в пустой тёмной комнате, хотел отыскать свою Наташу, но везде была пустота, и оставалось ему только вот это тесто...

В это мгновение лампочка в люстре ярко полыхнула и погасла.

Сергей Викторович закрыл ладонями лицо:

— Всё. Хватит. Я за пивом. Не хочу больше ничего. У меня завтра сложный день, сдача полос. Разговоры ничего не стоят, а конкретный день, за который я в среднем зарабатываю пятьсот рублей, — стоит. Стоит в среднем пятьсот рублей.

Но полторушка «девятка» не дала нужного результата. И вроде жена больше не дожимала — лежала лицом в подушку на диване в зале. Опьянения как такового не было — распухла только голова, и тупость в голове образовалась окончательная. Половину только и отпил. И думалось: зачем всё это? Зачем? Совсем некстати вся эта мелодрама. Завтра сдача телепрограммы. Поиграть даже некогда будет. Но вот где-то к трём дням сдадим, и тогда можно поиграть. 13-ый уровень у меня. А это непросто, полгода как минимум надо, чтобы с 12-го на 13-ый уровень переползти. И лычка старшего сержанта, а это надо 150 геймеров убить в пвп-боях. И ещё 100 надо будет побить до лычки младшего лейтенанта. А ведь люди есть — до полковников дожили — по две тыщи набили, и все ведь умные, у всех тактика, стратегия, хитрость, попробуй обойди. А сколько я набиваю? 3 в день... если где-то 4 раза в неделю играть, то 12 в неделю... Это значит 2 месяца мне до лычки младшего лейтенанта... И опыта где-то по 30 тыщ в день набиваю, а 4 раза в неделю — 120 получается в неделю. А с 13-го левела на 14-ый скакнуть это надо 4 миллиона. Это значит примерно 480 в месяц, эх, короче, месяцев 10 ещё,

чтоб на четырнадцатый, если серьёзной прокачкой не заниматься...

С такими мыслями и спать лёг — лейтенантом стану, броню куплю модифицированную в статьи... Вот он — замглавы клана, начальник боевого отдела, злостный фрагоруб со звёздочкой на погоне... Но снилось ему иное...

Ему снилась комната. Побелённая, но давно — в голубизну известки въелась чернота, и сами стены были неровными, да и побелка была никудышная — по всей плоскости выпуклые мазки и комочки. На стене висел осколок зеркала — весь в каплях известки. Сергей Викторович заглянул в него и увидел своё отражение, и что обильно течёт двумя ручейками у него кровь из носа. Плохой сон, подумал Сергей Викторович и резко, с усилием воли, проснулся. Сразу метнулся к Наташе — она ведь где-то там, наверное, в зале.

Щёлкнул выключателем да вспомнил, что лампочка сгорела. Но всё и так видно — фонари меж распахнутых штор. Она лежала на паркете возле двери, вытянувшись. Вдоль дивана лежала. Лицом в пол. Сергей Викторович даже не испугался — должна быть живая, не зря я проснулся.

Но что было с ней... Он склонился... И не сразу увидел, что тянется от её шеи к дверной ручке что-то... Это был её любимый домашний лифчик, когда-то розового, а теперь застиранный, грязно-сизого цвета, как та пуповина. Он довольно долго не мог понять, что с Наташей, ибо лифчик вонзился в кожу на шее, спрятался под скулами, а дальше — под волосами, как будто и не было ничего. А когда заметил из-под гривы волос тянущуюся эту зловещую пуповину, холод прострелил по позвоночнику Сергея Викторовича, и опять возгудела в нём утраченная сила, он схватился за дверную ручку, скрутил её и снял петлю, и потом уж стал расслаблять погрузившуюся в плоть ляжку.

— Наташенька, милая, как же ты посмела...

Он перевернул её лицом вверх. И замер на миг, задохнулся от её красоты, благородного её лежания, словно во хрустальном гробу. Потом шлепки по щекам. Она ожила, закашлялась, прямо как в фильмах это бывает с повешенными.

— Зачем ты проснулся... — проспела она, — не могу говорить...

А потом долго сглатывала громко хрустящей, словно испорченный механизм, гортанью и кашляла.

— Как ты могла... я ведь не смогу без тебя...

Слёзы безболезненно легко излились широкими струями из Сергея Викторовича. Наташа даже слабо улыбнулась, ибо на неё эти струи и пролились. Из мёртвой принцессы она медленно оживала в беззащитного, замученного болезнью ребёнка.

— Ты плачешь...

Впереди Сергея Викторовича, через пару-тройку часов уже, ждал полный вёрсткой и круговертью менеджеров рабочий день.

Меж содроганий своих и всхлипов он поймал себя на этой мысли, на том, что новый день уже переминается нетерпеливо за спиной и ждёт от Сергея Викторовича обыденного его претворения, словно ничего не произошло, а, в общем-то, в

итоге ничего и не произошло — жизнь не прервалась, и Сергей Викторович, конечно, перешагнёт через это «ничего» и войдёт в новый день доверстывать программу, ведь программа для телевидения существует и в будни, и в праздники, и в

горе, и в радости. И слёзы эти, котятка и лифчики в новом дне никакого продолжения не найдут и смысла не имеют. Он обречённо наблюдал, как иссыкли и высохли его слёзы. Глубоко вздохнул. Наташа попробовала приподняться — он помог ей.

г. Абакан

Сергей Нелюбин Качаясь на волнах

Филипповка

Безумие моё, из городского гама,
 Мышиной толкотни, машинной трескотни.
 Я падаю в тебя, и Тихим океаном
 Меня уносят сны...

Не слышу ничего, я ничего не слышу,
 Я, лёжа на спине, качаюсь на волнах
 И глубина одна, со дна мне в спину дышит
 И глубина, и тишина одна...

Безумие моё, ты знаешь, я не стану
 Винить весь белый свет или сходить с ума,
 Когда-то и в мою ладонь стекло стакана
 Вростало, но теперь — я сам себе вина.

От этого легко и совести, и телу
 Не должен никому, ни у кого — в долгу!
 Безумие моё, чего же ты хотело
 Вот я. Перед тобой. Я на спине плыву,

Как на кресте, вода мне лижет руки
 Я глух и нем, я слеп, в конце концов,
 Мне ровно всё — нет куража, нет скуки
 И только солнце греет мне лицо...



Если нервы — железо, то без проявлений вовне,
 Но рука только дрогнет, как лезвие выбьет из паза,
 Город выплюнет пулю наездника в синей броне
 Перепуганной «Мазды»

— В ночь! Когда всё пропало, и даже коньяк не берёт,
 Тормозов не хватает, и их отпускают так резко,
 Что сметают соседа по лестничной клетке, в спасательный плот
 Превращая машину, дремавшую у подъезда.

Э-эх, куда тебя, парень? Телега не может летать,
 Чтоб проветривать мозг дураку, пока визг телефона,
 Вдруг не сдавит удавкой бесцветной и тонкой — стоять!
 Там звонили, приятель. Пора заворачивать коней.

г. Владивосток



Новых стихов не пишем.
 Этой эпохой дышим.
 Слышишь, в подполье, мыши
 Вьют свои гнёзда впрок.

Скоро придёт на смену
 Серых и наглых племя,
 Это не наше время
 Пишет нам эпилог.

Мы им уступим место,
 Если признаться честно:
 Что там, конечно, лестно
 В лавровых быть венках,

Только на этом свете
 Мы не за всё в ответе,
 Пусть же приходят эти
 С лезвиями в зубах.

Вычислят нас по крапу,
 Выпасут нас по картам,
 Вломятся к нам, нахрапом
 Вскрыть тайники души,

Но мы уйдём, не проданы,
 Звёздными огородами,
 Строками и аккордами
 Стихнем в родной глуши.

Игорь Кудрявцев

Поклонник Терпсихоры



Проводы

— Какай давай, не балуйся... — сказал Вовка, худой длинноволосый малый, сидящей на горшке сестрѐнке. — Что же мне с тобой делать-то, Ленка? Совсем нас с тобой мамка забросила... вот сейчас возьму тебя с собой в армию...

Ленка — лысенькая, мордастая девчонка двух лет, — сидела, улыбаясь одними глазками-блюдцами, на горшке и что-то лепетала ему в ответ на своём тарабарском языке. На полу валялся пьяный вдрызг отец и вторил ей, только уже на каком-то другом наречии. Пузатый щенок, обхватив отцовскую голову лапами, тербил его мясистое, красное ухо. Вовка отпихнул щенка в сторону:

— Отгрызѐшь старому ухо... он и так ни фи́га не слышит...

Послышался стук в дверь, затем хриплый старушечий голос:

— Хозяева! Есть кто дома?!

Вовка выбежал в прихожую. На пороге стояла морщинистая, губастая старуха в ветхом пуховом платке и замызганном пальто.

— Здравствуй, милый сын! Мне бы Капитолину. А ты не старший ли её будешь?..

— Да, сын... — буркнул Вовка в ответ. — Она, вон, пьяная лежит...

— Я соседка ваша... чифирнуть захотелось, думала, Капа мне чайку немного в долг даст, а она — вон оно что...

— Сейчас я посмотрю... — сказал Вовка и пошёл на кухню искать чай.

Старуха поплелась за ним:

— Что-то я тебя, сынок, не видела раньше.

— Да я два года в институте учился... бросил... теперь в армию забирают.

— Когда берут-то?..

— Сегодня. Повестку уж получил. Мне через полтора часа уж в военкомате нужно быть.

— Ой, милый сын!.. жалко-то тебя как!.. и волосики-то твои, сердешный, состригут!.. — запричитала старуха, протягивая свою дребезжащую сухую ручонку к Вовкиным длинным, спутанным лохмам.

Вовка пошарил по всем полкам, — чая нигде не было:

— Нету! Бабк, может тогда выпьешь?.. водки — море, жалко, добро пропадает.

Старуха заулыбалась, выпятив свои негритянские гофрированные губы:

— Отчего ж не выпить... выпью.

— Пойдѐм в ту комнату, а то у меня там сеструха одна, на горшке сидит.

Они пошли в комнату.

— Как звать-то тебя? — проскрипела старуха.

— Вовка.

— А меня — тѐтка Маня... Ой, Иван-то хорош... гля-ко ты, как развалился, лысый х.! — она увидела лежащего на полу отца.

Ленка ездил под столом на горшке, который прилип к её попке от долгого сидения. Вовка вытащил её из-под стола, со звуком оторвал от попки горшок, надел на сестрѐнку колготки и пошёл выплѐскивать её добро на улицу.

— Леночка, какая большая стала! Иди к тѐтке Мане, красавица!.. — затрещала старуха, протягивая к ней руки.

Вовка быстро вернулся; бабка Маня сидела за столом, держа Ленку у себя на коленях, — та смеялась, показывая бабке свои маленькие зубки.

— Хорошо тебе, Ленка... — сказал Вовка, глядя сестру по голове. — Всѐ-то тебе весело, и ничего-то ты ещё не понимаешь...

Он налил стопку водки и придвинул её к старухе; та выпила и разговорилась:

— У меня тоже сын... один, да непутѐвый. Пятую ходку делает. Я его сама на зоне родила, четыре месяца ему было, когда вышла...

Вовка налил ей ещё стопку.

— А ты сам-то чего ж не пьѐшь? Пей, пока можно... — сказала старуха.

— Неохота! Хочу трезвый рассудок сохранить... — Вовка взял у неё Ленку и посадил к себе на колени. Тѐтка Маня выпила и совсем разомлела:

— А где ж друзья твои? Что один?..

— Друзья давно все в армии служат. Я один остался... — Вовка закурил.

— Милый сын, дай мне тоже сигаретку.

Вовка дал старухе сигарету, спички; та закурила, с шумом выпуская дым. Вовке показалось, что её лицо сразу сделалось таким же серым, как её замызганное пальто, а губы ещё больше сморщились.

— Ты не смотри, что я, бабка старая, курю... это меня Германия научила... меня в войну, девчонкой ещё, немцы в плен угнали. В Австрии была, у помещика одного. Там и научилась. Потом союзники, американцы, освободили. А я немецкий хорошо тогда уже знала... домой вернулась, и... в комендатуру попала. В комендатуре два года переводчицей работала...

Старуха заправила дрожащей рукой выбившиеся на виске седые волосы в платок, и Вовка снова заметил, что всё у неё какое-то серое: и замусоленное пальто, и платок, и седые волосы, и скрюченные руки, и лицо, и даже выцветшие радужки глаз.

— Слушай, бабк, может, ты посидишь с Ленкой, пока они немного очухаются? Мне уже идти надо... не оставлять же её одну. А ты ешь, пей тут, чего хочешь... — вдруг сказал ей Вовка.

— Ой, милый сын, конечно, посижу! Мне, старой, всё делать-то нечего одной, — всполошилась бабка Маня, и по лицу её было заметно, что она даже рада, что её оставляют за столом, полным водки и закуски, да ещё с Ленкой, с которой она не сводила влюблённых, липких глаз. Вовка, довольный неожиданным решением проблемы, пошёл собираться. Он скидал в вещмешок, сшитый намедни матерью, свои скромные пожитки: сигареты, тетрадку и пачку дешёвых конвертов, авторучку, полбуханки хлеба и две банки рыбных консервов, нитки с иглкой, бритвенный станок и зубную щётку. Подумал — положил в вещмешок две бутылки водки, надел отцовскую рабочую фуфайку и кирзовые сапоги. «Ну вот, кажется, и всё...» — подумал Вовка и ещё раз оглядел свою комнату. Взгляд его наткнулся на книжную полку; он подошёл к ней, взял подаренную ему друзьями по институту книгу рассказов Фёдора Сологуба, положил её сверху в вещмешок, потом туго его завязал и, не оглядываясь, вышел из комнаты.

Вовка подошёл к Ленке, взял её на руки, уткнулся лицом в её пахучую грудку и чуть не заревел, — комок подкатил к горлу и слёзы заволокли глаза; он с трудом выдавил из себя улыбку: — Всё, Ленка, ухажу!

Сестра поняла, что происходит что-то грустное и удивлённо уставилась на Вовку, готовая в любую секунду заплакать. Он чмокнул её в щёчку и поставил на пол.

Бабка Маня снова запричитала:

— Ой, милый сын, жалко-то тебя как. Славный такой... и волосики-то твои все состригу-ут!

Вовка вдруг вспомнил — мать просила вчера оставить ей волосы на шиньон. Он взял с комода ножницы и пошёл к матери в спальню. Мать лежала пьяная на постели. Вовка потормошил её, та не отреагировала. Он подошёл к зеркалу, в последний раз полюбовался на свои кудрявые патлы, которым позавидовала бы любая девчонка (он растил их четыре года), и стал отстригать их отдельными прядями у самых корней и складывать рядом с матерью, на изголовье кровати. Вовка обстриг все волосы, — в зеркале на него смотрел совершенно другой человек: сразу отпырились уши, на подбородке краснели пятнышки прыщей...

Вовка натянул до бровей шапку, чтобы не напугать Ленку и снова вошёл в комнату; но сестрёнка, увидев его, всё равно заплакала...

— Ой, сам, что ли, обстриг волосики-то? Жалко-то ка-ак!.. — заголосила тётка Маня. — Дай хоть я тебя благословлю на дорожку, милый сын. Я бабка-то богомольная. Есть у вас икона какая-нибудь?

Вовка снял со стены отцовскую икону Николы-угодника и протянул её старухе; та взяла иконку и стала крестить ей Вовку:

— Да хранит тебя Господь, милый сын! Целуй... иконку-то!

Вовка поцеловал иконку, потом обнял низенькую старуху, поцеловав её в макушку. Бабка Маня окончательно расчувствовалась:

— Ладно... теперь ступай, служи с богом...

Вовка взял вещмешок, положил на стол для тётки Мани пачку сигарет, ещё раз поцеловал хныкающую Ленку, повернулся и пошёл.

Утка

Рыбалка была никудышная, впрочем, как всегда. Фёдка поймал одного единственного ерша, правда, большого и сопливого, — тем не менее, этого ерша трудно было назвать уловом.

На берегу зазвонили колокола: значит, пора домой. Фёдка посмотрел в сторону берега, и таким маленьким и жалким он ему показался со всеми его домами, деревьями, людишками и этой назойливой, брякающей своими колокольчиками церквушкой... А сам он — великан, и лодка его — не лодка вовсе, а крейсер. Если бы были на Фёдкином крейсере бортовые орудия — ей богу, влупил бы изо всех разом по этому гавкающему и кукарекающему берегу и по этой тилилинькающей церквухе.

Погода была превосходная — на воде ни барашка. Дышалось хорошо, и сил было — хоть отбавляй; чего ещё мужику нужно: разве что рюмку водки. Водки не было — был термос с кофе.

«Другие мужики как мужики — на рыбалку с водкой ездят. Наш же Федя ездит с кофе...» — вспомнил Фёдка слова жены. В Фёдкином населённом пункте было принято, чтобы мужик или пил, или был рыбаком. Оптимальным вариантом был закладывающий рыбак.

Фёдка водку не пил: не вкусно; и чтоб уж совсем не упасть в глазах жены, ему приходилось ездить на рыбалку. Ездил и ничего не ловил, впрочем, и не за рыбой вовсе он отправлялся регулярно по выходным, в четыре часа утра: он просто отдыхал, отдыхал от жены и её стиральных машин и эстрадных телезвезд, отдыхал даже от самого себя. Здесь, в лодке, не было ничего: ни забот, ни тревог, даже мыслей никаких не было. Только река, чайки, вёсла, мышцы да червяки в банке из-под зубного порошка.

Домой всё-таки чертовски не хотелось. Фёдка плюнул на всё и погрёб к острову, что был неподалёку, вверх по реке; погрёб потому, что вокруг стали появляться запоздалые рыбаки, а этого он не любил, — здесь, на реке, его интимная зона расширялась до невероятных размеров. Фёдка с остервенением налегал на вёсла; ему нравилась эта весёлая бесполезная работа; пулей долетел до острова, кинул якорь у самой кромки зарослей торчащего из воды камыша, закинул свои рыболовные снасти и закурил...

Слава богу, не клевало: не нужно было мотать эти бесконечно длинные снасти и менять обглоданных червей, а просто можно было сидеть и курить, курить и слушать плеск волн о борт лодки; даже можно не смотреть, смотреть не нужно: если какая-нибудь падла сядет на крючок — колокольчик зазвенит, а смотреть вовсе и не нужно; можно просто сидеть, зажмурив глаза, и курить.

Так Фёдка сидел, жмурясь, как кот на лампочку; вдруг в зарослях камыша чего-то как зашуршит, как захлопает... «Небось какая-то большая рыбина, — подумал Фёдка, — а изловчусь-ка я да изловлю её. Будет уха сладка!..». Он спешно смотал

снасти и якорь и почти бесшумно стал подгребать к тому кочкарнику, от которого доносился шум. Метров с двух Федька увидел, что это была вовсе не рыба... а утка! Страшненькая такая, серенькая, носик длиненький, и всё: «Кря, кря», — да крылышками по воде: шмяк-шмяк. «Блин, щас улетит, пада!» — запереживал Федька, но утка и не думала улетать, а увидев Федьку в лодке, совсем умом крякнулась: стала орать пуще прежнего да тростник крылышками хлестать, а потом и вовсе под воду нырнула, как будто решила утопиться с горя. «Наверное, раненая, — подумал Федька, — хряпну веслом по башке и всё...» — решил он, останавливая лодку у той кочки, под которую нырнула утка.

Утка вскоре вынырнула, вернее, высунула из воды свою остролобую черепашку с плоским носиком и безумными глазками. Эти глазки в упор глядели на Федьку, и в них ничего нельзя было прочесть, кроме дикого, звериного ужаса. Федьку даже покоробило от этого взгляда; его заколотило, руки задрожали. Он не понимал, что это: страх или жалость, впервые в жизни столкнувшись с таким откровенным отчаянием. И Федька изо всех сил треснул веслом по этой несчастной головке, то ли чтобы не видеть этого безумного взгляда, то ли оттого, что в нём проснулся тот дремучий охотничий инстинкт, который поборол его жалость к этому незащитному существу.

Вконец остервенев от страха и ярости, Федька опускал весло ещё и ещё, как будто хотел убить не утку, а как минимум слона. Он убивал наверняка: вида раненой им самой птицы он бы, наверное, не вынес. Впрочем, мёртвая утка взволновала его не меньше. Федька поддел её обмякшее тельце веслом и вдруг увидел на её лапке какую-то железную хреновину с цепочкой... Капкан... Федька невольно огляделся по сторонам: «Блин! Щас накостыляют, как этой бедной утке... Надо линять отсюда поскорее!» Вокруг не было ни одной лодки: «Может, кто на острове есть!» Федька спешно наклонился, осторожно взял мёртвую утку за мягкую, тёплую ещё шею и потянул на себя; цепь капкана натянулась, но не оборвалась. Он дёрнул изо всех сил: оторвалась лапка, плюхнувшись вместе с капканом в воду.

Федька стоял в лодке, держа в руке свою добычу! Утка была невелика: серенькая такая, с голубенькими полосками на крыльях; с одной теперь рыжей лапкой-ластой; перья грязные и спутанные, даже больше на шерсть походят, и воняет... совсем как-то по-лесному (чем-то отдалённо напоминающим псину). А глазки так и остались открыты, навсегда запечатлев ужас смерти.

Федька бросил утку на дно лодки, схватился за весла и погрёб, погрёб, погрёб... Быстрее, быстрее домой, подальше от этого острова, кишашего злыми охотниками с их дробовиками и длинными финками, подальше от той кочки, у которой он, Федька, совершил страшный грех — смертоубийство. «А ведь убил, в самом деле убил... Гореть мне в геенне огненной!» Он старался не смотреть на дохлую утку, распластавшуюся на сланях его лодки. А ведь когда ловил своих сопlices ершишек, даже не задумывался над тем, что тоже убивает: ерши — они же такие маленькие. «Что бы со мной тогда было, если б я, к примеру,

слона замочил?... Видимо, степень осознания греха прямо пропорциональна содеянному, — думал он, — и прежние мои мелкие грехи вкупе, может, и в тысячу раз больше одного этого греха... Не-е, гореть мне в геенне огненной, как пить дать...»

Чем дальше уплывал Федька от острова, тем на душе его становилось спокойнее, правда, дрожь в коленях и руках всё не унималась, но становилась совсем другого качества: страх и смятение сменялись чувством горделивой радости за свою добычу; охотничий инстинкт постепенно побеждал слюнявую человечность. «Во жену посмешу, — думал Федька. — Ушёл на рыбалку, а приду с дичью...»

Жена встречала его на берегу с видом недвольным и раздражённым:

— Чего ты так долго, я тебя уже несколько часов жду! Уплыл, и с концами, что, дома дел, что ли, нет?!

Федька молча вылез из лодки на берег. Он напустил на себя видимое спокойствие, хотя глаза его горели, и всего его распирало от гордости:

— Хватит ругаться, посмотри лучше, какую я тебе рыбину привёз!.. — Федька кивнул в сторону лодки. Жена подошла к лодке, посмотрела на утку, лежащую на мокрых сланях, перевела на Федьку удивлённый испуганный взгляд и спросила:

— Это что? Утка, что ли?. Как ты её поймал-то?

Федька с нескрываемой гордостью ей ответил:

— Да... летала там... Я её веслом по башке — вот и долеталась, — он нагнулся и взял утку из лодки.

— Ты её сам убил?.. Фу, изверг! И чего ты с ней делать будешь? — она с брезгливым выражением лица отбежала в сторону.

— Чего делать... Пожарим и съедим!

— Я есть не буду!.. Ты эту гадость в дом лучше не носи, я тебя с ней в дом всё равно не пушу!.. — она повернулась и нервно зашагала прочь.

Федька стоял, как оплётанный, возле лодки, сжимая правой рукой тощее горло утки: такого поворота событий он совсем не ожидал.

Вдруг его прорвало: «О, б...ь, какими мы все чистенькими хотим остаться!.. Как мясо жрать, так давай поболее... а как утку убить, так Федька — гад, изверг!». Федька посмотрел на утку и вдруг как швырнёт её, что есть мочи; она, пролетев пару метров, звонко хлопнулась на пыльную дорогу. Из кустов выскочила мосластая рыжая псина, схватила Федькину добычу и, поджав хвост, убежала прочь...

Поклонник Терпсихоры

Сидим. Пьём. Компания нормальная: каждый второй — писатель, каждый третий — читатель.

Вдруг... появляется она, худенькая богиня. С ней спутник. Тоже худенький, но смертный.

Почему я решил, что она — богиня? Ну, во-первых, она не вошла, как её спутник, а натурально, явилась. А во-вторых, она была божественна. Спутник был красив, даже чересчур для мужика, а она — божественна.

В волнении спрашиваю у Б*:

— Б*, кто это?

— Это сын А*.

— Да нет, — говорю, — с ним кто? Кто это? Почему она с ним?

— Это его жена... — отвечает Б*.

— Б*, не говори ерунду, — перебиваю я его, — она не может быть женой сына А*!

Богини не могут быть жёнами сыновей А*!

— И, тем не менее, это так, — говорит Б*. — Они вместе учились в балетном училище. Красивая пара, не правда ли?

Я промолчал.

Тем временем, все разбились на красивые пары. Чтобы танцевать.

Пил с артистами: пьют шумно. Напившись, орут, поют громко и сольно, танцуют буйно и в одиночку. С писателями не так: пьют тихо. Напившись, идут танцевать парами.

Я один не снискал себе пары и не пошёл танцевать. Я артистично наблюдал за танцующими. Я не танцую. Никогда. Крутые парни не танцуют? Да нет, крутой я вряд ли. Просто не люблю? Пожалуй, больше: я не хочу любить танцевать. Ощущаете разницу?

Это у меня давно. Я тогда под стол пешком ходил. Был у меня друг, Андрюха. Вот, играем мы, как-то, у него дома: машинки катаем. Приходит с работы его худенькая мама, устало садится на диван, смотрит на нас. Потом, только на меня. Долго — на меня. Встаёт, отнимает у меня машинку и говорит: «А ну-ка, дружок, встань так... сделай эдак». Встал, сделал. Хватает меня за руку и тащит к моей маме. «Ваш сын, — говорит, — непременно должен танцевать... у него данные». У меня данные. Естественно, обе мамы вцепились в мои данные, с целью их эксплуатации: моя — неуверенно, худенькая — мёртвой хваткой. На следующий день я уже был в балетной школе. Андрюхина мама встретила нас в зале. Там я впервые увидел

маленьких худеньких богинь. Они мне понравились. Не понравились мне только мальчики в трусиках и маечках. У них был такой жалкий вид. Нет, я решительно не хотел быть одним из них, я не хотел быть жалким мальчиком в трусиках и маечке. А тут ещё худенькая мама: «Ну что, дружок, любишь ты танцевать? У нас — непременно полюбишь». Я посмотрел в глаза своей маме и в отчаянии воскликнул: «Мама, я не хочу любить танцевать!» Спасибо, мама!

Итак, все пошли танцевать. Пошёл даже Б*. Ну, с ним всё ясно: он поэт. Пошла богиня, и спутник с ней пошёл. Это был танец. Танцевали все, но танец был только у них. И все расступились, чтобы не мешать танцу. А потом все стали, потому что захотели видеть танец. И они закружились, пользуясь освободившимся пространством. Он, конечно, ведёт, как и подобает партнёру. Но, лучше бы не вёл, лучше б отпустил.

А я смотрю, во все глаза смотрю. Потому что это красиво. А затем... встаю и разбиваю эту красивую пару. Чтобы танцевать. С худенькой богиней. И она пошла со мной... и сказала, что я хорошо танцую. Я хорошо танцую. А я ничего не сказал, я не проронил ни слова. Я не дышал.

Хотел ли я её? Как можно хотеть богиню?! Я вообще, если честно, сомневаюсь, есть ли у богинь всё то, ради чего, собственно, хотят. Так что, моя жена могла быть спокойна.

И я вернул богиню её спутнику, поклонился и пошёл к жене, потому что мне больше нечего было там делать. Я шёл и думал: «Теперь я знаю об этой жизни почти всё: я видел море, я целовал в попку своего ребёнка, и я танцевал с богиней...» Хотя я вообще-то и не танцую. Никогда.

г. Кострома

Владимир Леонович Крик лебеда



Евгений Винокуров заметил:

Удивляться не низости надо,
А безмерным высотам души...

И рады бы не удивляться безмерной низости — не выходит. Всё же удивленье возникает ненадолго, и тогда на улице появляется человек с плакатом «Запретите себе что-нибудь!» или «Вовочка, вон из класса!».

Но я не собираюсь митинговать на странице. Низость нужна мне в качестве перспективы, обратно не в классическом смысле, но в смысле полярном.

Постараюсь в этих заметках обойтись моим личным опытом. Восклицание «не может быть!» выношу за скобки каждой маленькой истории. Они — о том, что на другом, добром, полюсе.

В 1963 году отмечалось 70-летие Маяковского. Я работал тогда в многотиражке Запсиба, отвечал за строительство коксовой батареи. Смешно звучит: будто что-то зависело от моих информашек. Но юбилейная статья «Живого, а не мумию» в газете «Металлургстрой» имела некоторые последствия. «Мудрый критик из многотиражки», я, то есть, осмелился не согласиться с генеральной линией партии, с идеологическим Пленумом. Так писал редактор городской газеты цк Новокузнецка. Статья была подлая, но с генеральной линией совпадала. Я вызвал Ю. Б. на дуэль и трусостью его удовлетворился. От мордобития он уклонился. Таковы нынче дуэли. Наша газетка была бы в створе, одобри она ругань Хрущёва в Манеже, заклеи ми Евтушенку с его «Автобиографией», изданной за рубежом, громыхни Вознесенского и т. п.

Если клеймят и громыхают сверху, то это набирает силу проклятия по всей вертикали. А тут «мудрая многотиражка» выступает против идеологического Пленума цк! И дело не в одной моей статье — дело в направлении, взятом газетой, чьим редактором был Гарий Немченко, выпускник мгу, где работали Владимир Плотов и Сергей Дрофенко. Серёжа меня и увёз на знаменитую стройку.

Редакция — университетская, посёлок строителей — 50 тысяч молодых и весёлых. Остров Свободы, где у меня образовалось литобъединение и, как выяснилось, своя аудитория.

В скобках: армия со всеми её прелестями, стройки, работа в деревне — пошли, полагаю, нашему поколению впрок. Я не променял бы всё это на ту школу,

где от армии папа откупит тебя, учиться пошлёт в Гарвард, и ты наберёшь ума на одно полушарие мозга, а другое, где твоя Родина, съёжится и тихо отомрёт.

Редакцию разогнали, мне светил волчий билет как журналисту. Анатолий Ябров, тихоокеанский матрос и начинающий прозаик, коммунист и ответсекретарь газеты, долго роется в столе, где моя трудовая книжка с таким приговором. Достаёт, молча, протягивает мне документ. Парень неплохой, но партийная дисциплина — что вид на жительство.

Открываю книжку и вижу печать и текст: «За активное участие в строительстве коксовой батареи редакция «Металлургстроя» объявляет благодарность Леоновичу В. Н. и награждает его значком «Ударник строительства Запсиба». С Толей мы обнялись и обменялись «тихоокеанским» рукопожатием — это когда пожимается не ладонь, а самое предплечье возле локтя.

Представляю себе... Впрочем, и вы можете представить, какой волчий билет получил бы коммунист Ябров. С таким — только в шахту. Сила Парадокса — сила долгодействующая.

В моём определителе или указателе она значится, как Парадокс Боратынского. Ожидающий наказания вдрут осыпан милостями...

В рай попал по ошибке за грехи и вины,
Были отпегые грешники жестоко потрясены.
Их сердца огрубелые, оторванные от земли,
Ангельского сострадания вынести не могли.
Их сердца, прокопчённые, как печные горшки,
От простого участия раскальвались в черепки.
Наш Создатель воистину справедлив и велик:
В милосердии, в гневе — и в ошибках своих.

Тысячу раз я пересказывал притчу Фазиля Искандера. Вот тысяча первый. Далеко от берега в осеннем холодном море рыбачат Мужчина и Мальчик. Мимо просится катер — волна опрокидывает лодочку. Двое амбалов ржут, уносясь от рыбаков, которым теперь выплывать по холодной воде, а до берега — далеко. Начинают неметь шейные мышцы, судорога сводит ногу. Сознание не то, чтобы мутится, но как-то пустеет. Кто тонул, это знает. Но изо всех сил ни Мужчина, ни Мальчик не подают виду, что тонут. И тут Мужчина берёт Мальчика на буксир — это его последнее сознательное усилие. У Фазиля этого нет, то есть нет Божьего вмешательства в картину, но как объяснить, что оба всё-таки оказались на берегу?

В Дневнике Игоря Дедкова есть такое место: два, дескать, инстинкта есть у человека — *спастись* и *спасти*. Второй, пишет Игорь, кажется, сильнее. Глухо об этом в Книге Пророка Исаяи. Перевожу:

Я загадал на тебя.
Вот что сказал нам Исаяя:
Или спасёшься — спасая,
Или погибнешь — губя.

Много чудесного знал
Сын прозорливый Амосов,
Но посторонних вопросов
Я ему не задавал.

В рассказе Фазиля есть эпилог: Мужчина находит в какой-то кофейне обоих амбалов и совершает над ними возмездие сам.

Я предлагаю ряд этих заметок как однослойный ряд «живулек» — брёвен распущенного плота. Не надо задерживаться на одном — надо ударным бегом одолеть живой настил, чтобы потом на берегу или на нитке запани, оценить пространство, которое ты перебежал. Быть может, это твоя жизнь? Это всё твои *не может быть* — одно к одному. То есть я предлагаю эти живульки как систему. Она годна на многие случаи жизни.

Маяковский в издательстве, где тормозят его книгу:

— Я не проситель в русской литературе, я её благотворитель.

К директору «Сов. писателя», недоброй памяти Лесючевскому, в его кабинет на 10 этаже, я, после нескольких лет приличествующего автору ожидания какого-то продвижения своей книги, пришёл не с первого этажа — пришёл «сверху». Писатель первичен, издатель вторичен. Зависимое лицо — издатель и т. д. Кажется, я внушил Николаю Васильевичу и это и ещё кое-что. Автор не просит — он *дарит*. Автор благотворит. *Спасает*, если угодно. Носи это в себе, и не будет лишней житейской путаницы. Одна добрая душа, зная моё тугое положение, выхлопотала в Литфонде какую-то помощь. Там сунулись в компьютер: Леонович не числится среди что-то получавших из кассы. И вот моя трудность: надо написать заявление со словом *прошу* и словами о моём бедственном положении. Не напишу — огорчу хлопотавшую за меня Галю Корнилову. Напишу — ...

Я написал, что принимаю с благодарностью мне предложенное чутким Литфондом... (А совсем незадолго до этого Литфонд у меня был наглым и разжиревшим от переизданий Корнея Чуковского, чью дачу в Переделкине посмел оттягивать у внучки и дочери К. И., создавших там музей. Неблагодарность учреждения, призванного благотворить, была чудовищна).

— Почему вы не в Союзе писателей? — спрашивает Лесючевский.

Я говорю: что это за Союз, который гробит лучших сплоткой нелучших?

Тогда я ещё не знал, что Л. превзошёл гэбистов в деле Заболоцкого, доказав, что автор

поэмы о земледелии — злейший враг народа. Лесючевский-то — *критик*, литератор. Публичный мужчина, по слову Герцена. Ожидая от меня просьбы — получает под дых. Выяснилось, что он знает мои сибирские и московские «подвиги», да ещё и с припиской какого-то стукача.

86 год. В доносе генерала гв Чебрикова Горбачёву, ещё Генсеку ЦК, я — антисоветчик, публично защищающий отщепенцев Войновича, Бродского, Галича. Галич — приписка, но стукач ведь тоже хочет жить. Теперь с удовольствием читаю телегу Чебрикова в книге В. Буковского «Московский процесс». Сегодня эти подвиги можно привинчивать к пиджаку, а приписки прикалывать. Много стирается в памяти, но вот студентка МГУ, копнув общественную жизнь университета, обнаруживает в стенгазете филфака мою апологию Наташи Горбаневской, не известную самой Наташе, героине 1968 года (протест против вторжения в Чехословакию). Скандал с моей публикацией относится к 58-му году... Дорого яичко...

В 57-м — фестивальное лето — возникла моя Первая Любовь к любимому всеми ведомству гв. Сослуживец мой по арtpолку был арестован, протоколы моих допросов выявляют мою глупость и змеиную мудрость двух следователей. Но они не могли ожидать от меня развёрнутого страниц на 20 *парадокса*: я тоже враг, если враг мой друг Брейслер. Сашу освободили. Был год 57-й. Не 37-й, не 47-й.

Бег по живулькам не может быть подробным. Много надо перескакивать, иначе выйдет диссертация, «достояние доцента».

До сих пор я числю себя сотрудником РЕПКОМА, хотя этой комиссии по литнаследству репрессированных писателей уже не существует. Не скажу, где — тут начинается виртуальность — Репком занимал комнатёнку «три на два» с бесценными рукописями уже покойных и ещё живых узников ГУЛАГА. Не говорю, кто, ибо этот *кто* перестал быть человеком, превратясь в орудие силы, которая сажала, убивала и в конце концов изуродовала народ. Два человека представляли Репком, который что-то значил при жизни Жигулина, Окуджавы, Приставкина, Разгона. Этот некто виртуально загнал ещё раз наших каторжников в их камеры и бараки, ещё раз поставил к стенке. Рукописи удалось спасти, но, страха ради, я обещал не писать об отъёме комнатки 3х2 тому, с кем работал. А до того всё та же сила лишила нас нашего рабочего ангела, получавшего скромный оклад за свою ангельскую работу связной, заботницы и утешительницы стариков и старух, разбросанных по СНГ... Оклад срезали, Оля ушла. Писательское свинство, утешая себя и её, компенсировал я своим способом: сложил Ольге трёхколенную печь с лежанкой в холодной половине её дачи на 42-м километре. Улыбнитесь. Улыбнитесь и ещё раз: добываясь восстановления Ольги в должности ангела, о чём хлопотали и Булат, и Юра Давыдов, и мемориальцы, мы терпеливо напоминали нашему куратору Ал. Яковлеву об этом свинстве. Терпение кончилось — я объявляю личную

голодовку Демократу №1. «Новая газета» (О. Хлебников, А. Чернов) сначала приняла к печати мою мотивацию, но на уровне редактора задумалась, не желая, видимо, неудовольствия Яковлева. Я пытался пройти к нему в офис, но мальчик с ружьём стоял на кпп. Мне стало грустно, даже как-то убито... Языка моих поступков не хотели понимать даже близкие мне люди, занимавшие какие-то должности.

Вот Тимур Пулатов, начальник писателей в то время, *понял*. У нас украли телефон, наш номер оказался в конторе «Израильского золота», арендовавшей помещение рядом с 3 × 2. Вооружившись афишей с именами Олега Волкова, Ивана Русинова, Анатолия Жигулина, Юрия Давыдова, я приступил к Тимур: отдай телефон! И писательский набоб — надо было его видеть в его должности — *понял*, как бывшая ташкентская шпана — бывшего костромского хулигана. От *имени* обозначенных в афише людей я покарал бы вора, не хотевшего делиться с писательскими авторитетами, на том и погоревшего.

— Поднимись к завхозу и скажи, чтобы телефон поставил, не то повешу его за яйца...

И вот их язык. И вот способ говорить с ними.

А теперь украли комнату. «По делом их узнаете их».

Инцидент не исчерпан, я связан словом, даным другу: не трогать вора, потому что демократы в масках способны на всё. Последняя книга друга моего «Преступление без наказания». Ему виднее, где мы живём. Для пущей виртуальности обозначу двумя П того, кто взял наши 3 × 2, чтобы сдавать их как 30 × 20. пп — постельничий президента. Поэтому тревога моего друга вполне понятна.

А как у нас с величием души? — спрашивает Слуцкий, как спрашивают о здоровье, но ответа не ждут. Слуцкий, однако, ждёт. И приходится собирать по крохам эту *материю*, чтобы воспринять чужое, совершенно из ряда вон выходящее *великодушие*.

У меня в руках был апокриф о неспящем Ученике. В Гефсиманскую ночь Иоанн не спал и был с Учителем, но виду не подавал.

Сим отмечен гений дивный:
Чувствую спиной
Взгляд горящий. Ты единый
Бодрствуешь со Мной.

Весьма знаменательное церковное гонение на апокрифическое творчество — книги «ложные» и «отречённые», вероисповедание индивидуальное и т. п. А то, что ереси часто идут впрок канону, гонителям невдомёк. С величием души здесь туга. Старик Пилат у Анатоля Франса не помнит, как распинали самозванца-царя иудейского и двух разбойников. Одного изо всех сил толпа могла спасти — спасла разбойника. Есть ли апокриф, отменяющий *единодушие* толпы чьим-то одиноким *великодушием*, я не знаю, и рассказ Анатоля Франса предельно печален: событие Голгофы — событие, ничем не примечательное, не оставившее следа в памяти прокуратора Иудеи!

Мне кажется, всем мы, господа и граждане, проспали один эпизод Голгофы 1958–59. А лучше сказать — *заспали*. С ударением на первом слоге. Так во сне давит свинья своего поросёнка...

Так лучшим подвигам людское развращенье
Придумать силится дурное побужденье,
Так исключительно посредственность люба,
Спешит высокое принизить до себя.

У Боратынского и Пушкина с величием души нет проблем. Все проблемы — у читателя.

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности холодной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно... Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.
Оставь герою сердце — что же
Он будет без него? Тиран?

Трудность читательская в том, что жизнь иногда совершенно переворачивает страстную пушкинскую мысль, и всё читается наоборот: благословен свет правды, он не угождает черни, истина, а не обман возвышает нас.

Ровно 50 лет назад покончил с собой, как утверждают словари, грузинский поэт Галактион Васильевич Табидзе. 17 марта 1959 года в ответ на предложение — читать: на предписание власти — заклеить позором уже исключённого из Союза писателей Бориса Пастернака — Галактион выбросился с балкона четвёртого этажа тбилисской больницы. Это был бурный день *гужи марты* — сумасшедшего марта, когда спутаны все времена года, и в течение дня снегопад сменяется дождём, вьюга — солнечным затишьем, затишье — грозой с ливнем. Притом зацветает миндаль уже как результат, как исход этого хаоса. Такой день Галактионом описан, и не один. И, кажется, в самой поэтике остались его невероятные приметы во всей их яркости. В тот день явились к одру Галактиона уже знакомые ему двое мальчиков — посланцы двух ведомств — гзбэшного и писательского. Склонный к розыгрышу поэт расхваливал стиль документа, обоюдоведомственный, так сказать, но отправлял мальчиков назад с какими-то мелочными придирами. Так было дважды. Свою подпись Галактион мог оставить только под шедевром — кратким, сильным, исполненным патриотического гнева и презрения к врагу. Именно подписи первого поэта Грузии не хватало под этим текстом.

И вот, комсомольские ребята В. Семичастного, должно быть, отцы нынешних распорядителей жизни, стоят со своей телегой перед 67-летним, насквозь изработанным циррозным стариком. «Чучело Галактиона»...

Сквозь слёзы — это у него всегда, говорил Булат — глядит он на мальчишек, поворачивается, открывает балконную дверь и переваливается грузным телом через перила.

Я умру как лебедь —
написано ещё в юности. Зарок исполнился.

Это могло быть и раньше. Например, в 39-м, когда увезли его жену, Ольгу Окуджава. Но в 59-м со всей полнотой сказался протест, глухо слышимый в стихах. И одним *молчаливым жестом* выражено и покрыто всё.

— И тут он нас опередил! — вырвалось у прибежавшего в больницу Ираклия Абашидзе. — Я никогда не думал, что у человека *столько крови!*

В пору политического кретинизма, под которым кроется дьявольский расчёт, в пору общекавказской явной и скрытой войны, в позорном обиходе всматриваться в лица кавказской национальности, отыскивая в них злые намерения, — я хочу напомнить, только не знаю, кому — о крови Галктиона на булыжниках больничного двора. Её стало ещё больше, она свежа и жива. Ею искуплено московское малодушие. Самоубийство грузинского поэта — на деле убийство, а помимо всего, — *творческий акт*, ответ кровавой эпохе.

На каком-то собрании писателей какой-то критик сетовал на оскудение грузинской поэзии после Акакия, Ильи, после Важи Пшавела. Галактион спустился из зала и стал молча прохаживаться перед трибуной невольно замолчавшего критика. Потом вышел в боковую дверь.

Всё вызнает и переверёт колпак учёный.
Горячкой белой тот помрёт, а этот — чёрной.
Зажарят одного в аду, другого — заморозят.
Я постою, я сам уйду. Тебя увозят.
Я — тень, далёко, на краю, — сторожевая.
Нельзя стоять, где я стою: земля кривая.
А правый небеса коптит — и нету сладу.
Галактиона тень летит — ввысь по фасаду!
Чей стыд ты искупил, старик, — и в небо?
Семь лет перевожу твой крик — *тависуйлеба!*

Свобода!

Это он кричал, падая, или не это? Быть может, кричал; Ольга?

В юности написал:

Я умру как лебедь.

Каждый волен толковать лебединый крик по-своему.

Прогулочная плоскодонка,
Помахивают два весла.
Родившемуся лебедёнку
Здесь отрубает полкрыла.
Живут под зноем и по снегом,
Утратив чудо естества,
Столь радикально человеком
Воспитанные существа.
Одни не могут — не летают.
Другие могут — не хотят.
Так высидят, так воспитают
Себе подобных лебедят.
Податлива природа птичья,
Испорченная под шумок.
Бесчеловечности постичь я,
Как бесконечности — не мог.
...стоят хрустальные погоды.
Пруд подмерзает в октябре.
А это — *гнев самой природы*:
И за полночь, и о заре —
Озёрный, скорбный и прекрасный,
Вопль одинокий и родной —
Летает в каменном пространстве,
Перекликается со мной.

г. Кострома

Александр Медведев А видений чураться не надо



Деньги вперёд (цыганская повесть)

Ай, у цыгана дочка больна.
Лекарь пощупал — точно, больна.
Ведьму позвал — испугалась она.
Шепчут ромалэ — сглаз, белена.
Ай, твоя старшая стала бледна!

Юная грудь каменеет, болит.
Катя себя обнимать не велит.
Катенька денег шибать не идёт,
русые косы свои не плетёт.

Волосом светлая — в бабку пошла:
воля цыганская чадо нашла
или украла — бабка была,
ой, на-на, ликом бела.

Да и отец не тёмен лицом,
век не ходил серьгой да кольцом,
шляпы, однако, снимать не привык.
Крепок рукой, ещё не старик.

Ребе в Одессах он деньги давал,
золота много монахам совал.
Свечи заказывал — в толщу руки.
Богу велел передать: «Помоги».

Екатерина тонкой свечой
тает и гаснет, укрыта парчой.
Пышных подушек жар истомил.
Милых подружек гомон немил.

Вот он пошёл в полуночный раздол,
В поле костёр искроглазый развёл,
бросив угрюмо: «Со мной не ходить.
Время пришло кое с кем говорить».

К небу, как волк, запрокинул кадык
и захрипел: «Ты могуч и велик.
Кто я? Я вор, и таков мой народ.
Но — я давал Тебе деньги вперёд!»

Падают звёзды с небес на холмы.
Оцепенели волы, как волхвы.
Плёткой хлестнул он землю в сердцах.
Брызнули к небу искры и прах.

— Только красивые деньги давал.
Мятых лавэ я не брал у менял.
Слуги Твои принимали бакшиш.
Где же Ты сам? Почему Ты молчишь?

Слышал — Ты благ к простоте, нищете.
С вором висел на римском гвозде!
Знаю — меня искупленье не ждёт.
Но я давал Тебе деньги вперёд».

Злыми слезами слова погасил.
В табор вернулся, горилки спросил.
Пил до рассвета, думу гадал.
Утром все деньги народу раздал.

В полдень коней и повозки раздал.
Сёдла парням безлошадным раздал.
Золото в ярости всё раскидал.
И в пыль-дороге ковры раскатал.

Третьего дня в домовину легла
Катенька, любая дочь, и была,
словно невеста, в гробу хороша,
так, что в куски разрывалась душа.

Вскорости табор ушёл и забыл.
Новую степь, как жену, раздобыл.
Стал близ могилы жить он один,
сам себе раб и господин.

Ходом светил возвратился когда
через три осени табор сюда,
весть разносили майдан и шинок —
странную быль среди здешних дорог:

где ни бахчи, ни отар, ни жилья,
видят ночами, подобьём копыя,
пламя костра — подойдешь: ни души.
Только два голоса слышно в тиши.

Спорят? Пожалуй. Но так, как прибой
горькой волной с побережной дугой.
Камень о камень — возглас, ответ.
Этому спору скончания нет.

А подойти разобрать хоть словцо —
только огонь опалает лицо.

Видение о разрухе

Светотени бессонницы вздор наплели,
взор опутали — вот и явилось,
проросло меж камней кремлёвской земли,
поднялось во весь рост, оветвилось;
толпы сорных берёз побежали оплеч
одичавших имперских палаццо.
Угро-финской тайги возрождённая речь
хвойным шумом пошла — и растительный смерч
стал по улицам мёртвым шататься.

Третий Рим! Твои кольца похожи на срез
исполинского дуба.
И теперь ты во власти хвощей и древес,
словно в джунглях покинутый Будда.
Как студенты, козлята со смехом бегут
вдоль гранитных твоих парапетов.
Плетья хмеля, как пальцы слепого, текут
По колоннам университета.

Ни великой чумы,
Ни вселенской войны —
лишь унынье разрухи народной,
чьи следы под бурьяном всё меньше видны,
покрываемы жизнью упорной.
Пусть зелёный огонь возвращенки-земли
согревает простор семихолмный!

Те, кто были здесь, жили, безумны и злы,
вдаль куда-то ушли и пропали вдали...
Город сей, по преданью, верховный,
как кострище, зарос милосердной травой;
и, подобно твердыне Ангкора,
груды серых домов над рекою Москвой
оглашаются ветром и волчьей тоской.
И с землёю сровняются скоро.

...Так на кухне, у газовой розы, поэт
пред виденьем распада пасует.
Дикий образ, кентавр из причуд и клевет,
орды хищных растений рисует.

Как радист, что на контур своей укв
принимает сигналы крушений,
он сидит до утра в одинокой Москве,
грозовой, беспокойной, весенней.

Это только «поэзия», вольность пера,
дегустация умственных ядов.
Но пора и о будущем думать, пора.
А видений чураться не надо.

Карлик

Не мальчик и не старичок.
Изморщен весь, как перчик,
как перца тощего стручок
или сверчок запечный.

Его как будто отсекли
остатком и довеском.
Провисли руки до земли
в бессилии недетском.

Я дверь помог открыть — и он
благодарил спокойно,
столь полно в мысли погружён,
своим несходством ограждён
и столь не слит с толпою,

что весь проспект, как высший свет
стоп-кадром на минуту
застыл; и ощутил я вслед
не сострадание, о нет,
а зависть почему-то.

Урал

Между дряхлых холмов перегоны.
Сдвиги, свихи суставов земных.
Малахитовые фараоны
спят, очей не смыкая своих.
Реки, словно широкие жесты
размыканья пространства — гляди.
И мосты, как трагедий сюжеты —
отгремят, и опять впереди.
Ты — хорош! Нелюдимый, дремучий —
плотовщик, солевар и грабарь.
И до самых бровей нахлобучен
облаков твоих серый кепарь.

Я сошёл, отряхнув от условной
пыли странствий шевро башмаков.
Тут знакомому я — незнакомый,
дальний свойственник полузаконный.
Кто таков? Много тут ездовых,
едоков без гроша, проходивших
ниоткуда из нигде, по статье;
песни певших, слова говоривших
о своём ли, чужом ли бытье.
Расставались мы, не печалась.
И теперь меня чёрт ли принёс?
Поезд, к зябнущей станции чалясь,
изогнулся с приязнью, как пёс.

Баллада о дикой пшенице

Здесь были деревни. От них ничего не осталось.

Осотом зарос понемногу погост.

Земля от людей накопила такую усталость,
что тут же забылась, не чуя метелей и гроз.

Не надо жалеть ни поля, ни поклонные поймы.

Об их одиночестве нам ли скорбеть?

Здесь были деревни. О них ещё кое-кто помнит.
Запомнят ли нас? Не спеши и по чести ответь!

Встревожит берёзы порыв ледяной с океана —
и град по заречью пройдёт, как варяг.

А в ясную полночь мерцающим зельем тумана
всклубится глубокий, глотающий эхо овраг.

И то, что звалось яровым ли, озимым ли клином,
не стало, как древле, названья иметь.

Я здесь как пришелец — в пространстве безмерно тоскливом.
А вечность спустя, тут хозяином хаживал кметь.

Я в лес углубился, где гул одиночества глуше.

К поляне, что светом, как линза, полна,
я вышел, блуждая, и в ярких цветах обнаружил
былинку одну — ту, что взгляду не сразу видна.

Средь жадных, и праздных, и тянущих млечную влагу,
и зевы разъявших, нарядных, хмельных,
стоял этот злак — серый стебель был твёрд, как отвага, —
не принял он ласки изнеженных пальцев моих.

И вот мне открылось: то колосом дикой пшеницы
в тайге нелюдимой и втайне от всех и всего
земля отдохнувшая стала в работу проситься,
как просится глина на круг гончара своего.

Да будет! — Пойдут облака волоокие цугом
над полем, где встанет грядущего хлеб.

И дали великие стронутся — медленным кругом —
и в поте замесится глина трудов и судеб.

Так будет опять. Ведь забота земли неизменна.

И колосу дикой пшеницы расти,
как будто ещё не повержена власть Карфагена
и тысячелетье ещё до Крещенья Руси.

г. Москва



Анна Верина

Как в первый день



Иду одна...

А тьма вокруг всё глуше...
Ни дружеской руки, ни огонька...
Под рёбрами дрожит комочек стужи —
Осколок мирового ледника.

А за спиной всё явственней, всё ближе
Незримый кто-то шаркает за мной,
Мои обиды, словно бусы, нижет,
И дышит непонятною виной...

Грешна, как все...

Но кто грехи измерит?..
И с добродетелями их соотнесёт?..
Ступаю наугад...
Но где же Берег?
И Лодка на зеркальной глади вод?..



Сплошные декабри.

Похолодало.
И сердце больше гимнов не поёт.
Я возвращаюсь к прошлому устало,
А прошлое меня не узнаёт.

А будущее взгляд отводит молча...
Я вижу тень оплавленной свечи
И жизни опадающие ключья...
Они ещё, как пепел, горячи...

О, дни мои!.. Густеющее время,
В котором тяжелеет каждый шаг...
Утихомирено ступаю вслед за теми,
Кто Вечности несёт свой белый флаг.



Выгуливаю дождь на огороде...
О, как он бесподобно шелестит.
Он чист и наг, желанный гость природе.
В моём наделе — целый день гостит.

Умыто дышат лёгким паром грядки.
Играет капля в пазухе листа.
У тучки солнце выиграло прятки.
И вся земля, как в Первый День, чиста.



А я научилась уже притворяться...
И маски носить...
И сквозь слёзы смеяться...
Ещё я умею, как гиря, молчать
И внутрь неслышно и тонко кричать...

Могу и счастливою быть научиться
И безрассудно банально влюбиться...
Только на выжженной чёрной крови
Вряд ли взойдёт одуванчик любви.

Летописное 2005 года

В тот год опоздавшего лета
Не сохла листва на берёзах,
В конвульсиях билась планета,
В потопах, цунами и грозах.

И грустно молчало на дачах
Морщинистое население.
В тот год отвернулась удача —
Напали дожди на селенья.

А где-то жара допекала...
Текли ледники на вершинах,
Крошились могучие скалы,
И суша рождалась в пучинах.

И не было в мире покоя
Для зверя и для человека...
И не было славного Ноя
Средь нас с чертежами Ковчега.



Ах, как душа покоя просит...
Давно обиды прощены.
Я словно поле, где колосья
Тугими зёрнами полны.

Крестьянкой в чёрном балахоне
Я буду скошена. Меня
Земля, как мать, возьмёт в ладони.
Стихов останется стерня.

г. Ижевск

Олег Хомяков
Из разных тетрадей



Гипотеза

Порой мне кажется, что есть у жизни — дубль.
Как пара рук и ног у человека,
Как пара глаз!..
Лишь в песне в поле дуб
Стоит один, если не век — полвека.
В театре у актёра есть дублёр:
Что «жизнь — театр, и все мы в нём актёры»,
Шекспир был прав.
Со сцены до сих пор
Мы внемлем этой правде век который.
К конструкторам прислушаться пора:
Они за подстраховочные схемы.
Великий риск — космический корабль
Слать в небо, не дублируя системы
Главнейшие: двукратно
И трёхкратно!..

А человек?
Ужели так превратно
Поймём мы Бога замысел о нас?
Мол, жизнь, как и любовь, даётся раз
Один, и всё изведай в ней сполна...
Любовь — особый разговор!
Она
Возможна в бесконечных продолженьях...
Но что до жизни, до судьбы?
На «раз»
Согласен, но с поправкой:
Не одна.

Вместо эпитафии

Бессонница — плаха старости.
Клади голову на подушку
И на рубль или на полушку
Проси у Морфея сна.
Он торгуется!
Тишина.
Не луна — половинка месяца
Вдруг секирой в окошке кажется:
Грех ли вспомнится — не отмажешься,
Страх ли, полночи хмурый друг,
Сердца частый озвучит стук...

Аргументы против фактов

«Ты живёшь богато:
Полон дом зверья!..»
Чепуха, ребята,
Полуниций я.

Печка — не пекарня,
И простые вещи:
У меня не псарня,
Я вам не помещик!

Запустил ли автор
Пусть и не бездарный,
Двор — печальный фактор:
Век безгонорарный...

Трубочку-жалейку
Мне б иметь не вредно:
Хлев ни за копейку
Сдал я псам в аренду.

И уж, коль бесплатна,
Значит, и бессрочна:
Не вернут обратно
Площадь — это точно!..

Выйду — не укусят.
Попрошайки — в меру.
Видят, что невкусен
Хлеб пенсионера.

В огороде, вроде,
Я могу, работник,
Только не помещик,
Только не охотник.

г. Шарья



Александр Кердан Подорожник

Во Владимире

Летят облака, будто конники,
Над Клязьмой — светлы и легки...
Маячат вдали колоколенки —
Для русской души маяки.

Стою у тебя на околице,
Святая и древняя Русь.
Вот-вот за небесною конницей
Вдогонку и я соберусь.

Туда, где по рангу построены,
Ряды подравняли свои
Монахи, поэты и воины —
Поборники отчей земли.

Прощаясь с отчизною милою,
Стою, озираясь окрест,
И, тайной наполненный силою,
Целую серебряный крест.

Чтоб так же в рассветном свечении
Мерцали церквей купола,
Чтоб Клязьма струила течение
И русской рекою была.

Молюсь, уповаю смиренно я,
Чтоб вовремя час мой настал,
И князь мой святой без сомнения
В дружину меня поверстал.

Чтоб мог я, как равный меж равными,
Пополнив небесную рать,
Лететь над землёй этой славною,
Незримо её охранять.

~ *Владимиру Крупину*

Лодкой без вёсел родная деревня
В дымке тумана плывёт в никуда.
Стаей вороньей чернеют деревья —
Чуть в стороне от гнилого пруда.

Целою улицей брошены избы,
Окна крест-накрест забиты у них...
Ветер разносит окрест укоризны —
Долгие скрипы калиток больных.

В бывшей церквушке ютится харчевня,
Чтобы случайных гостей принимать.
Ближе и ближе к погосту деревня —
Всеми детьми позабытая мать.

Две реки

Когда бы шёл с востока русский меч,
Являясь порождением ислама,
Могли бы Волгу Камою наречь,
Поскольку полноводней, шире Кама.

Но русский меч был породнён с крестом
И шёл встречь солнцу аж до океана...
И Волгу — Волгой мы с тех пор зовём,
И первой стать уже не может Кама.

Но в том и сила русского меча,
Что как бы вера с верой ни сплеталась,
Да только Кама, камушки меча,
Всё пережить смогла, собой осталась.

Не поддаваясь пришлому уму,
Амбициям своим не потакая,
Она впадает в Волгу, потому
Что сильная и добрая такая.

И ей не страшно всю себя отдать
Другой реке, навеки слившись с нею...
Она душе доверчивой под стать,
Что, лишь смирившись, выстоять сумеет.

~

Ты соберёшься на вокзал
С тем ощущеньем bestолковым,
Что всё ж единственное слово
Единственной ты не сказал.

Что изречённое есть ложь,
Поскольку искажает правду,
Когда её не будет рядом,
И ты свободу обретёшь

От всех невысказанных фраз,
От всех, в тебе живущих истин,
Прозрений, заблуждений, мистик,
Что слепо связывали вас.

И одиночество, как крест
Нательный на груди лелея,
Вдруг, как мальчишка, пожалеешь
О том, что есть...
г. Екатеринбург

Иван Денисенко И замолкают вдруг колокола



Безумно и яростно ветер свистал,
И молнии прятались в тучах стальных.
Присяду на камень — нет, я не устал,
А просто решил подождать остальных.

Я просто забыл выражение лиц
Идущих за мною, подобно орде,
Идущих со мною под своды зарниц
К неведомой цели, к далёкой звезде.

Я просто забыл вдохновение глаз,
Ладоней тепло и звучанье имён —
И бросил котомку, и сел — в первый раз
С начала пути, с сотворенья времён.

Сто раз перелески меняли свой цвет,
Сто раз облетали соцветья с куста.
Я ждал. Так растаяли тысячи лет —
Дорога была неизменно пуста.

Давно уж мои растворились следы
В дорожной пыли нескончаемых дней,
И свет путеводной далёкой звезды
С течением лет становился бледней.

Когда же пришли в этот край наконец
Остатки могучей, отважной орды, —
Их встретил бесчувственный, каменный жрец
В неделе пути от угасшей звезды.

Будь непокорен средь покорных,
среди ораторов — молчи.
Крепи свой дух, покуда в горнах
куются острые мечи.

И умудрись не ошибиться,
Судьбы невольный паладин,
не оступиться и не сбиться
с того пути, где ты один.

А коль допустишь в жизни промах, —
на плечи ляжет мощью всей
непонимание знакомых
и отчуждение друзей.

Пройдёшь спокойно между ними,
как царь средь оробевших свит, —
и ветер дружески обнимет,
и луч звезды благословит.

Великий город! Бьётся мерно
В гранит упругая волна.
Я вырос до твоих размеров;
Мы одномерки, старина!

Пред серой глыбой неживую
Затеplил я свою свечу;
За эту избранность с лихвою
Я одиночеством плачу.

Ты одного отвадил друга,
Другого сбил с его пути,
А третьему, что прибыл с юга,
Не дал и вовсе подойти.

Зато теперь ярмом на вые
Висят, подарены тобой,
И эти улочки кривые,
И эти тени неживые,
И коммуналок домовые,
И всадник с ищущей рукой...

Но у меня претензий нету,
Не злись, обиженно сопя:
Подозреваю, что по свету
Бегу я только от себя.

А коли так — расти продолжу,
Врастать и в камень, и в волну;
Пробью собой событий толщу
И этой жизни глубину.

Когда ж от силы занеймётся,
Вздохну светло и глубоко...
Гранитный берег всколыхнётся,
И ветер в небе задохнётся,
И загустеет, и свернётся
Июльской ночи молоко...

Будучи полностью выжат,
будучи брошен в печь, —
ты должен не просто выжить,
ты должен себя сберечь,

чтоб, к райским придя воротам
и гордости не тая,
ответить на грозное «Кто там?»:
— Господи, это я!



Не слушай страх, не слушай плоть,
Не запирай калитку,
Когда придёт к тебе Господь, —
Услышь Его молитву.

Не бойся свежести, мой друг,
Не бойся увяданья;
Когда-нибудь замкнётся Круг —
Храни его преданья!

Цени старинное вино
И вечные заветы,
И этот мир, и мир иной,
Иной звездой согретый.

Цени и жди. Нам выпал век,
Похожий на комету.
Не забывай: ты — человек.
И выше истин нету.

Кто слушал в страхе свою плоть, —
Вступить не сможет в битву...
Когда придёт к тебе Господь, —
Услышь Его молитву.



Проблем накопилось до чёрта,
а голос из трубки — как плеть:
«Задолженность Вашего счёта
составила двадцать пять лет».

Ну вот, удивляюсь, и дóжил
до взрослого мира, когда
кому-то отчаянно должен
уже не рубли, а года.

Себя отдавал интересам,
сравненьям коранов и тор...
Но, страшен глазами и вёсом,
из леса идёт кредитор.

Расклеилась шляпа из фетра.
Укрывшись средь мокрых ветвей,
выпрашиваю у ветра
лоскутья планиды своей...



Потоки слов в пространстве гулком,
Мерцающий закатный свет...
Идут на взлёт по переулкам
Обрывки утренних газет.

Они летят усталой тенью
В бескрайний космос забытья,
И среди них летит к забвенью,
Быть может, и моя статья.

И город, тающий во мраке,
Сквозь чёлку августовских крон
Глазами брошенной собаки
Глядит на звёздный небосклон.



Над Невоею — мачты кораблей
и закат — пленителен и розов...
Пляшет грифель липовых аллей
по страницам питерских морозов.

В полчаса сгустилась темнота,
и Луна нахохлилась по-птичьи...
Петербург, ты апокалиптичен,
город-призрак, город-маета!

Околдует ветер, как Петра,
и не сразу скажет о расплате —
прежде строчки выдавит в тетради
остриём гусяного пера.

Станет прочь отталкивать друзей
да швырять в окошко птичьи крики...
Лишь тетради (будущие книги)
да клетушка (будущий музей)...

Не смотри, приятель, на Луну —
не поймёшь, орёл там или решка.
Ночь темна. Верней, черна — как речка,
и у этой ночи ты в плену.



Спивались, вешались богемы,
Элиты чахли род от рода,
Но прошибали время гены
Неистребимого народа.

Подъемля Родину из праха
К вершинам веры, духа, воли,
Плечом к плечу вставали пахарь,
Кузнец, рыбак, охотник, воин.

По тёмным чашам, по трясине
Шагая долгими веками,
Они баюкали Россию
Своими грубыми руками.

Под волчий вой, под шорох веток,
Вдали от Терема и спеси
Они прислушивались к ветру
И у костра слагали песни...



Темны дороги, а песни долги,
Неясны знаки, опасны речи...
На Сером Волке, могучем Волке
Куда ты мчишься, Иван-Царевич?

Наветы, сплетни да кривотолки
Страшной Кощя да Чуды-Юды.
Иван-Царевич на Сером Волке,
Не жди пощады, не жажди чуда.

Бессилен меч, и стрела не к месту,
Пробьёшься словом, когда не сдрейфишь.
Исполни волю — добудь невесту.
Доверься Волку, Иван-Царевич!

~
...И замолкают вдруг колокола,
И ветер в поле, и в лесу деревья;
И тяжелеет небо, как скала,
И замирает шумная деревня.

Так замирает, словно умерла...
И люди в избы прячутся, как звери.
Во всех домах — платки на зеркала,
И крест углём рисуется на двери...

И все живые, кто ещё не слеп,
У окон стоя, силятся увидеть,
Как Синий Волк, неспешен и свиреп,
В звенящей тишине из леса выйдет.

...Пройдут года, затянутся рубцы,
И в кабаках, где хмель и кривотолки,
Кормиться станут ветхие слепцы,
Рассказывая быль о Синем Волке.

~
Судьба монетой неразмённой
сквозь вечный катится бедлам.
Пусть Память будет соразмерна
Словам, Поступкам и Дедам.

И сколько б Время ни стучало
огромной армией часов, —
пусть будет в Памяти начало
великих Дел, красивых Слов.

Течение дней переиначит
жизнь человечества слегка,
ведя спираль, — а это значит:
спустя недолгие века,

всё повторится. Будут вёсны,
и двое в тишине садов
увидят в небе те же звёзды,
и так же скажут про Любовь.

~
В начале легко, к середине — с трудом,
К финалу — без песен и снов,
Этап за этапом по жизни бредём,
Бренча кандалами годов.

И взгляды тускнеют, и близится ночь,
И тает отпущенный срок,
А мы всё слабее от принятых нош,
А ветер силён и жесток.

Ах, право, счастливый финал не найду
Для этих негладных строк...
Ребята, бредёте? Я тоже бреду
По тропочкам наших голгоф.

Ударило громом — Господь из ружья
Охоту ведёт на Тельца...
Посмотрим назад, дорогие друзья,
И — вместе, вперёд, до конца!..

~
Познаешь и проклятье, и прощенье,
Но в самый трудный час молись о том,
Чтобы хватило сил на возвращенье
В оставленный и выстуженный дом.

Когда ж вернёшься — прилагай старанья,
Обхаживая свой последний скит,
Чтоб не свели с ума воспоминанья,
Не разорвало сердце от тоски.

И берегись за шкафом иль кроватью
Найти давно потерянный дневник;
Найдёшь — раскроет прошлое объятья,
Прошли года, покажется, что — миг,

Но не вернуть его и не исправить.
Сядь на пороге и молись о том,
Чтоб сил хватило заново оставить
Твой безнадежно опустевший дом.

г. Омск — Санкт-Петербург



Юрий Марков Заплакать и запеть



Из деревни бабы дерзкие,
Закалённые в беде,
Как пингины королевские,
С коромыслами к воде
По тропе проходят рослые,
А в корзинах чистый снег.
Были и они берёзками,
Да настиг их бабий век.
Вот полощут вещи белые,
Словно машут счастьем вслед.
В прорубь руки загрузелые
Опускают много лет.
Руки грубые, да женские...
Не могу на мать смотреть —
Бабы, бабы деревенские,
Как ещё могли вы петь!



Одна душа немного спасёт.
Но то, немного, спасёт другое.
Вот почему, хоть тяжело, но живёт
В нас доброе и умирает злое.
Вот почему я понял, наконец,
Так безрассудны часто люди.
В горящий дом бросается подлец —
В нём плач ребёнка истинное будит



Мгновенной думой опечалюсь
И снова весело живу.
От лета зиму отличаю
И счастья в гости не зову.
А вот и женщина уходит
Не от меня и не ко мне,
И вслед за нею ветер гонит
Листву сентябрьскую в огне.
А дальше мне уже не видно,
Лишь звуки яркие слышны,
Как распечатанные вина
Моей последней тишины.

Два облака

Два облака летели надо мной,
Летели надо мной два белых тела,
Но эта лёгкость изнутри кипела
И отдавала грозовой водой.
И я подумал: назревает дождь,
Хотя и лист не предался дрожанию.
Вот так твоё глубокое желанье,
С которым ты ложишься и встаёшь,
В одну минуту выльется... И что ж!
И жизнь пойдёт спокойнее к пределу.
Две тучи надо мной пролили дождь.
Летели надо мной два чёрных тела.

Родительский день

Листва слетает. Если бы с дерев.
Она слетает с нервных окончаний
Моих.
Зачем, не умерев,
Мы требуем мистических свиданий?
Нам хочется пожить в сердцах других.
И там, за гранью лестных оправданий
Гасить земные тяжкие долги
Одним лишь тем, что вечны наши дали.
Всё переходит в качество времён.
И память человеческая тоже.
Пусть эта мысль нам станет всех дороже:
Что мир прекрасен, ибо смертен он!



Год за годом кромсает река
Берега. С них срываются ели.
Не смотреть им уже свысока
На глубины и жёлтые мели.
И не будут большие берёзы
На закате топорщиться грозно.
А река увлекает с собой
Бесконечные новые жертвы.
Над водой их прощальные жесты
Преисполнены скорби земной.

И вот восходит солнце над землёй,
Уходит ночь. Залито небо светом.
Как спящий динозавр, массив лесной
Топорщится горбом в середине лета.
В ногах туман. Над ним картина рая:
Идёт пастух, как ангел во плоти,
Пасущий козлиц, на дуде играет.
Мотив не разобрать. И всех нас Бог прости.
А выше в синеве повисли овцы пара.
В такое утро жить иль умереть
Настолько одинаково... Недаром
Мне хочется заплакать и запеть.

Ночные деревья тряхнут головами...
Так женщина, на ночь ложась,
Пред зеркалом гордо тряхнёт волосами,
Чтоб в мягкой постели пропасть.
Ночные деревья тряхнут головами...
И память оттуда плывёт,
Где было всё лучшее некогда с нами,
Чего нам никто не вернёт.
Ночные деревья — мольбы и тревога,
Высокие братья души.
Течёт рядом с вами сестрица-дорога.
Куда, вы, по этой глуши?

г. Березники Пермского края

ДиН память

Ольга Берггольц Родине. Осень. 1939 г.

1.
Всё, что пошлешь: неожиданную беду,
свирепый искуc, пламенное счастье,—
всё вынесу и через всё пройду.
Но не лишай доверья и участия.

Как будто вновь забьют тогда окно
щитом железным, сумрачным и ржавым...
Вдруг в этом отчуждении неправом
наступит смерть — вдруг станет всё равно.

2.
Не искушай доверья моего.
Я сквозь темницу пронесла его.

Сквозь жалкое предательство друзей.
Сквозь смерть моих возлюбленных детей.

Ни помыслом, ни делом не солгу.
Не искушай — я больше не могу...

3.
Изранила и душу опалила,
лишила сна, почти свела с ума...
Не отнимай хоть песенную силу, —
не отнимай, — расквасишься сама!

Не отнимай, чтоб горестный и славный
твой путь воспеть.

Чтоб хоть в немой строке
мне говорить с тобой, как равной
с равной,-
на вольном и жестоком языке!



Галина Тертова Полыни горше

Афродита

Из морской пены, из зелёной волны, из прозрачных сверкающих брызг, из жемчуга и перламутра родилась Афродита. Золотые кудри по плечам, прозрачно-зелёные глаза, трепетные крылья тонкого носика, просвечивающаяся розовым алабастровым кожей, стебелёк шеи, розовые бутоны сосков вздёрнутой маленькой грудки, длинные бёдра, тонкие длинные пальчики, перламутровые ногти. Назвали Лилией.

Когда бабушка была жива, часто в праздники, после рыбного пирога, перед чаем, играли в фанты. Если мама водила, всем лёгкое назначала — спеть, стихи читать, поцеловать бабушку или Семён Семёныча. («Коля, Вам судьба с Семён Семёнычем целоваться!») У папы — всем судьба смешное делать: под столом кукарекать, самовар изображать, на Коле, как на коне, прокатиться, в бабушкино платье нарядиться и в нём Офелию представлять. Лиличке всегда лёгкая судьба — стихок читать.

А когда случалось что-нибудь, бабушка говорила: «Ничего не поделаешь, такая у него судьба». «От судьбы не уйдёшь». «Судьбой назначено». «Тяжёлая судьба выпала».

И Лиличке представлялась огромная гора. Но внизу вроде гора, а чем выше, тем удивительнее: как-то постепенно гора становилась человеком, ну, не человеком, а только фигурой похоже — огромная женщина, как бабушка, или Сивилла из книжки — Судьба. Сидит эта Гора — Судьба, головой в небесах, за облаками, среди звёзд уже, и из книжечки с золотым обрезаем листочки вырывает и записочки на них пишет — кому какая судьба. Ангелы подлетают, записочки подхватывают и, осыпая золотую пыль с белых крылушек, несут их вниз, на землю, где сейчас, вот в эту минуту, ребёночек родился. И за пазуху ему в рубашонку или в медальончик, что ли, записочки суют. Вот и всё. Теперь, хочешь — не хочешь, надо выполнять по фанту, по записочке, по судьбе: дедушке в лагерь сгнута, Верочке в восемь лет утонуть, Николаю Львовичу на войне погибнуть, Коле профессором в Бостоне стать, Олечке под машину попасть и за этого шофёра замуж выйти, Антонине Львовне трёх мужей схоронить, а Зинаиде, наоборот, — при её-то красоте всю жизнь старой девой прожить в Боровичах. Маме судьба в сорок лет встретить папу и родить Лиличку. У Лилички самая лёгкая судьба (как стихок читать) — быть красавицей и всеобщей любимицей. Такая видно записочка была.

Уж, конечно, родители надыхаться не могли: поздняя да единственная, и любую бы любили, а

тут ещё и красавица. И Лиличке ни в чём отказу не было: не стоило так тяжело ребёнка рожать, чтоб он в чём-нибудь нуждался. Шить мама сама мастерица — закройщица в Доме моды. Такого, как мама сошьёт, нигде не купишь. А на Лиличкиной фигурке всё, как на куклке. Куклка наша любимая!

В солнечном ярком свете, аж глаза жмурятся, детство, кажется, так счастливо и застыло, как на фотографии: в шёлковом платье, в бантиках, в оборочках, в белых носочках, белокурые кудри, как у ангела, — Лиличка ножки поджимает и между родителями на их руках виснет — балуется. В «гур-саду» летом гуляют. Резедой сладко пахнет.

Учёба Лиличке не давалась — почти одни тройки. Но разве троечницей её можно было назвать? Наташа — отличница, Нинка — троечница, Лиличка — красавица. Учителя любили, и родители многого не требовали, лишь бы здорова была, на ночь тёплым молоком поили. По труду пятёрка (мама за неё шила). И по физкультуре (в секцию лёгкой атлетики ходила. Тренерша горевала — если бы не высокий рост, олимпийской чемпионкой могла бы быть — такая лёгкая, пластичная). На физкультуре все девочки в ужасных чёрных футболках с красными манжетами, «тянучки» на коленках пузыряются. А у Лилички синяя «олимпийка» со змеечкой, с белыми полосками. Балетной походкой — носочки врозь — подойдёт, пышные волосы в высокий хвост заколет, на цыпочках профессионально привстанет и легко, как бабочка, с короткого разбега «коня» перепорхнёт. Картина в стиле Боттичелли — загляденье!

Кстати, — о Боттичелли. Лет в десять Лиличка художественный альбомчик листала и вдруг себя увидела! К маме побежала. «Мама, посмотри, как на меня похоже! Это я в старости?» Мама улыбается: «Это, Лиличка, Афродита. Богиня любви. Или Венера по-другому». «Почему же она так на меня похожа?»

Мама Лиличку в лобик целует: «Потому, что ты у нас — красавица!»

Вот только подружек не было. Никто с ней ходить не решался — какая бы ни красавица, а рядом с Лиличкой — все серые мышки. Никто на них не смотрит, все на Лиличку оборачиваются.

В девятом классе мама Лиличку в Дом моды устроила. Манекенщицей; подростковую одежду представлять. Тогда такого слова — модель — не было, а называлось вульгарно — манекенщица. Как продащица. Но на Лиличку глядя, и это слово слышалось как — бабочка, звезда, орхидея.

Но кокетства в Лиличке не было ни на грош. Была она изящна и естественна, как кошка. Никогда она не думала о том, как выглядят её жесты со стороны, и оттого тем прекраснее они были. Лиличка не была дурочкой — она знала, что красива, но не знала тому применения. Ничего не нужно было делать специально, всё и так было хорошо и счастливо: все вокруг её обожали (ну, девочки, конечно, завидовали, но это было всегда, и Лиличка к этому привыкла и воспринимала как некую плату за безграничную любовь остальных). Чаще всего она и не думала о своей красоте; ведь ноги, — чтобы ходить, руки, — чтобы делать, глаза, — чтобы смотреть. А когда ходишь или смотришь, разве важно, какими ногами или глазами — красивыми или нет — ведь это всё равно. Лиличка не лукавила — она была невинна, как ангел. Счастливая жизнь не оставляет места ни сомнениям, ни размышлениям.

Для Афродиты, из пены вышедшей, самое чудесное место где? — ванна, конечно. Мама с «младых ногтей» приучила за кожей ухаживать, кремами пользоваться — девушка за собой следить должна. На лицо — творожную маску, на волосы — хлебную кашичу, в воду — шалфей, розовые лепестки, жасминовую пену. Душистые мыльные пузырьки, радушно переливаясь, взлетают, встречаясь, целуются и жемчужинками опадают. Розовый пар сладко ласкает; запахи счастья: духи «Торжество», розовое мыло, женьшеневый крем... Лиличка, улыбаясь, мурлычет, перламутровые ноготки подстригает. Так в тёплой душистой пене и жила бы! И такая ароматная, розово-прозрачная, в алмазных капельках на золотой прядке из ванны выйдет, коралловыми губками улыбнётся, и в зелёных глазах ласковые золотые искорки влажно плещутся — Афродита!

Школу Лиличка окончила, и папа в Политех устроил. С её-то тройками — всё равно куда. Что-то с химией связано. За всё время учёбы Лиличка так поняла и не смогла — в чём же будет заключаться её профессия. Все курсовые ей мальчики писали, а на зачётах Лиличка русалочки глазки к потолку поднимет, густыми ресницами похлопает и розовым пальчиком коралловую губку теревит. Преподаватель залобуется и, не спрашивая, троечку поставит — красавица-то какая! На что ей химия!

А тут вдруг в Москву привозят Мону Лизу. Поехали с группой на экскурсию. Там ограждение такое, и по одному в очередь пропускают. Стоять-любоваться нельзя, проходи, не задерживай, как в мавзолее. Затор, конечно, очередь волнует, но народ не столько на Мону Лизу тарасился, сколько на Лиличку. Может, и есть в этой даме тайна какая, но до Лилички ей — ой, как далеко! Лиличка стоит, смущается, глазки потупила, щёчки розовеют...

Но неправдой было бы сказать, что все кругом только восхищались, были и завистники. Однажды кто-то Лиличке записку на парту подбросил: «На женску красу не зри, ибо та краса сладит сперва, а потом бывает полюни горше. Не возводи на неё очей своих, да не погибнешь. Беги от красоты женской, как Ной от потопа, как Лот от Содомы. Ибо кто есть жена? Сеть, сотворённая бесом, сатанинский праздник, покоище змеинное,

болезнь безысцеленная, коза неистовая, ветер северный, день ненастный. Лучше лихорадкой болеть, нежели женой обладаему быть: лихорадка потрясёт да отпустит, а жена до смерти посушит. Всякого зла злее жена». И «коза» вреденько так подчёркнута была...

Лиличка обиделась, но ни выведывать, ни почерки сличать не стала — ясно, что девочки-завистницы, кто же ещё? Но запомнились эти слова надолго, в душу запали и занозой часто саднили...

Летом, после первого курса, Лиличка загрузила: у всех девочек в группе кавалеры; даже Лерка — маленькая, в очёчках, ножки тонкие — и то с парнем ходит. С Лиличкой-то каждый бы рад, да она-то никого не выделяет, никто ей не нравится. Но, наверное, это неправильно. Наверное, надо, как все. И Лиличка долго альбом с фотографиями разглядывала и, наконец, выбрала. Сашу Широкова — высокий тёмно-кудрявый красавец — Аполлон. Боксом занимается.

Лиля сама позвонила и свидание Саше назначила. Вечером в городском саду. Саша до небес счастлив — вот повезло! Он-то год целый по Лиличке сохнет, впрочем, как и все мальчики.

На скамейку за кустами сирени сели, Саша весь дрожит. Стал Лилю в шейку целовать, аж стонет... Лиля смеётся, губки приоткрыла, а он вдруг шершавым жёстким языком ей в рот воткнулся и солёных мерзких слюней напустил!.. Лиля вскочила, с отвращением сморщилась, Сашу по лицу ударила, слёзы брызнули и, задыхаясь, убежала. Ничего более отвратительного у неё в жизни не было! Зачем же говорят, что любовь — это так прекрасно?! Фу, мерзость какая!

А наутро у Лили на шейке три багровых синяка! Лиля целый день проплакала, четыре раза ванну с ромашкой принимала, пытаясь смыть с себя всю грязь, позор и мерзость... Зачем, зачем она это сделала? Какая была славная: чистая, прозрачная, весёлая и счастливая, а теперь... Всё кончилось, всё рухнуло; грязная дворовая девка, вымазанная, скомканная, несчастная. Уже гордо голову не поднять — как с этим на улицу выйти?... Мама с работы пришла, Лиля всё маме рассказала. А мама чему-то обрадовалась (!), по головке погладила и бодягой шейку намазала.

Через два дня синяки прошли. Снова Лиличка чистенькая, розовая и покойно-счастливая.

Вдруг Лерка прибегает.

— Сашка Широков повесился.

Лиличка козьи прозрачные глаза вытаращила: — Как?! Насмерть?!

— Нет. Он же здоровенный, верёвка оборвалась, но всё равно — еле откатили — верёвка сильно врезалась. Хорошо, Крылов случайно зашёл, а то бы всё...

— Да почему же? Ведь он и зачёты, и курсовую сдал...

Лерка усмехнулась, очки на нос сдвинула.

— А ты не знаешь?!

— Нет. А я-то откуда?

— Ну, ты, Лиличка, даёшь! Сашка ничего не говорит, но все и так знают, что из-за тебя. А ты, значит, ничего не знаешь?

— Лера, ну что ты говоришь! Я-то причём?!

Лерка повернулась уходить и через плечо зло бросила:

— Ну-ну, продолжай в том же духе. А то у нас и так ребят больше, чем девчонок. Сравняй счёт, Афродита!

В сентябре Саша институт бросил и на первой попавшейся женился.

Осенью весь институт в колхоз послали. Кого в стройотряд, кого на картошку. Лиличке — лён убирать. Из автобуса выгрузились — прямо в грязь поколенную, а Лиличка в красной итальянской курточке, в белых сапожках, белый кашемировый шарфик.

В первый день обустроивались, а наутро уже в поле — лён вязать. Лиличка к работе никакой приучена не была и такого никак не ожидала. Вечером у неё от усталости, от болей в мышцах истерика приключилась: девочкам грубила, плакала и домой просилась. Пришёл аспирант Паша, приставленный к ним нянкой-воспитателем, и Лиличку перевёл на транспортёр — картошку перебирать.

На транспортёре Лиличка гнилую картошку отбрасывать не успевала, бригадир ругался, и девочки с упрёками накидывались на Лиличку. Лиличка обижено бровки вскидывала, подбородок её белел, бриллиант слезы сверкал на ресницах, и сильно розовел трепетный носик, отчего Лиличка становилась ещё прекраснее, и присутствовавшие при этом мальчики столбами каменели, но молодые, сильные и раскалённые их кинжалы только что не вспарывали прорехи в грубых джинсовых ножнах...

Через два дня парни, поставленные к транспортёру мешки грузить, из-за Лилички передрались. Комиссар отряда Игорь следствие учинил, но следствие Лиличкиной вины не обнаружило. Но, от греха подальше, Лиличку перевели на строительство фермы, учётицей — наряды заполнять да материалы учитывать.

Там Лиличку и не видел никто: утром бумажки заполнит и почти целый день в вагончике сидит, в тепле книжечку читает.

Однако же на третий день совхозный бригадир, сорокалетний Николай, монтировкой студенту Гарику руку сломал. В драке. Из-за Лилички... Гарика в город отправили, в больницу. Директор совхоза, своего бригадира защищая, пригрозил договор с институтом разорвать и выгнать всех к чёртовой матери без аванса!.. Парни притихли. Лиличку сослали на кухню.

От картошки у Лилички трёхсантиметровый шарик оставался, задумавшись в суп пачку соли высыпала, оставив бригаду без первого. Девочки поорали и оставили овощи резать. Через полчаса Лиличка пальчик порезала и, увидев рубиновую капельку, в обморок хлопнулась...

Но в остальном целую неделю всё было спокойно и весело.

Вечером девочки спать ложились в футболках, кое-как умывшись и с ковшечком в туалет сбежав. Лиличка же надевала на ночь кружевную ночную рубашечку, перед этим, как могла, помывшись над тазиком. В небольшой комнатке, где поселили четырёх девочек из Лилиной группы, было только одно окно. И когда последнее солнышко на него заглядывало, девочки аж привставали на

своих лежачках, восхищённо-завистливо любуясь Лиличкиными омовениями. Прекрасное Лиличкино тело против жёлтенького окна розово светилось, в лёгких пушистых кудрях бродили золотые искорки, при повороте головы нефритами мягко вспыхивали глазки, розовыми агатами блестели сосочки, и на прозрачных кончиках длинных пальцев серебряные капельки перемигивались с перламутровыми ноготками...

В конце недели Лиллю отправили на ферму за сметаной. Девочки видели, как у последнего дома её татарин Мансур догнал, и они о чём-то долго беседовали. А вечером Мансур пьяный по деревне с ножом бегал, грозясь Лиличку резать... Его связали и в старой баньке заперли. Лиличка больше из дому не выходила — боялась.

Грязь, холод, серое небо с тяжёлыми непрерывными облаками, унылая чахлая природа, какой-нибудь зябкий бедный стебелёк на ветру — всё вокруг было пронизано тоской и рождало даже и в юных бесшабашных сердцах острое чувство одиночества, толкало друг к другу, плетя манящие сети, казалось, любви, как будто любви... Некоторые из союзов, впрочем, в дальнейшем упрочились и сохранились надолго и всерьёз, но сейчас, в этот дождливый сентябрьский вечер, пропитанный горькими запахами осени, прелого сена, влажной дороги, картофельной ботвы и дыма, никто вперёд не заглядывал, никто не думал о будущем, а если была рядом тёплая рука, мягкие губы, ласковые глаза — вот уже и счастье. И вечерние танцы-гулянки-посиделки вмиг, враз, быстро творили пары, смех, поцелуи и слёзы...

И Лиличке было грустно и одиноко. И она тосковала. Но тосковала Лиличка лишь по домашнему уюту, по маме-папе, по голубой ванной комнате и душистой пене. Сердечко её, наверное, так же, как и всё в ней, особенно, необычно красивое было заперто в прекрасный серебряный сундучок, и в нём ровно, колокольчиком позванивало, не зная ни горя, ни радости; надёжно, размеренно и покойно. Прозрачные зелёные глаза смотрели на всех одинаково ласково, для всех одинаково сияла улыбка, а если и приходилось Лиличке обидеться и заплакать, то и обида относилась ко всем в одинаковой мере, на всех поровну, на мир, на холод, на ветер, никогда никого не выделяя, не пробуждая ни любви, ни страсти, ни ненависти...

«Кухонным мужиком» — воды наносить, помой вылить — был к девочкам приставлен маленький тщедушный армянин Микаэл. Микаэл, принося вёдра с водой, подолгу возле лавки сопел, кружиковшики поправляя, сам же всё на Лиличку тарачилась. И однажды вечером, в окошко постучав, вызвал её на крылечко. Под огромными лучистыми звёздами, сиявшими, как и Лиличкины глазки, Микаэл смущённо сунул Лиличке в руки букетик полевых цветов и в любви признался... Лиля сверху вниз изумлённо на Микаэла смотрела, ничего не понимая, а когда тот полез обниматься, не сдержавшись, звонко засмеялась и в дом убежала.

Ночью Микаэл перерезал себе вены. Но сосед его Паша вовремя проснулся, и дураку этому руки перевязали. Микаэл плакал, по-армянски невнятно вскрикивал, и бил себя в грудь

маленьким девичьим кулачком... Побежали за Игорем. Тот Лиличку сонную растолкал, быстро её вещи собрали и вместе с Микаэлом на тракторе в город отправили. Лиля дрожала, забывшись в угол прицепа, и тихонько плакала, поглядывая в окошко кабины, где маленький несчастный Микаэл всё на неё оборачивался и тоже плакал, слёз не утирая, и по-армянски что-то шептал.

Больше за всё время учёбы в институте Лиличку в колхоз не брали.

После четвёртого курса летом девочка из группы Наташа пригласила Лиличку в деревню к бабушке — отдохнуть на неделю. Сначала на катере плыли, потом до деревни пять километров пешком. Солнце, жара, простор полей. Придорожный бурьян, густой репейник, птица из бурьяна внезапно вспорхнёт, змея на солнышке греется. От дикости природы Лиличке даже страшно становится. Наташа в футболке, в тянучках и кедах. Лиличка в лёгком сарафане, босоножки на каблуках. Все плечики обгорели, ножки по каменистому просёлку натёрла. У Наташи свой рюкзак за плечами и в руках Лиличкин чемодан с нарядами: Лиличке нести тяжело.

Вечером к Наташиной подружке пошли, к Вале. Валя у дома встречает: в замызганном спортивном костюме, щёки красные, нос картошкой, пегая расчёпанная коса. Лиля к разговору не прислушивается, босоножкой камешки катает. Пошли в дом. Лиля сырые гусиные кучки обходит, носик морщит. В доме не убрано, скотиной пахнет, потолок низкие, темно. За занавеской чуланчик. На железной кровати (подушка от грязи серая) Валин брат Виктор. Двадцать лет. В детстве в речку головой нырнул, позвоночник сломал. Вот уже десять лет парализованный, ноги совсем не шевелятся. В чулане душно, мочой пахнет. Лиличка Наташу за рукав тянет — пойдём скорей, отдохнуть с дороги...

Два дня «красоты» обозревали: речка грязная, со скотного двора запах невыносимый, с дороги пыль столбом. Наташа бабушкину козу гладит, обнимает, Лиличка отворачивается и носик зажимает. По малину пошли — все ручки ободрала, слепни ножки покусали. Наташа каждый день просит пойти с ней Виктора навестить — он же всё один лежит, ему скучно, а Лиличке это так тяжело — просто казнь какая-то. И Лиличка каждый день тайком плачет: везде мухи, в горенке спать холодно, матрас шишковатый сеном набит, из подушки колючие перья лезут, ночью комары, на завтрак картошка с салом, туалет во дворе, ванны вообще нет (!), и все вокруг матерятся...

Четыре дня Лиличка мучилась, на пятый Наташа чемодан до катера поднесла, и Лиличка одна уехала.

А через неделю от Виктора письмо пришло. Потом ещё. Виктор писал каждую неделю. Нескладные, жалкие письма, с ошибками, со сти-

Лиля дорогая!
Ты моя мечта!
Красивая такая,
Как с небес звезда.

Скоро я поправлюсь,
Буду я ходить
И к тебе приеду,
Чтоб с тобою быть.

Два письма Лиля прочла и плечиками пожала. Остальные, не распечатывая, двумя пальчиками брала и в мусорную корзину выбрасывала.

После института Лиличку распределили в какую-то Тмутаракань, на химический завод. Папа побегал, поколотился и устроил в свою лабораторию — пробирки мыть. Через месяц Лиля все пробирочки побила, пальчик розовый порезала и перевели в другой отдел — бумажки писать. Лиличкин стол у окошка. Она цветочки польёт, за стол сядет, ладошкой нежную щёчку подопрёт и на небо, на облака, на верхушки шелестящих лип любуется. Не то спит, не то — мечтает. Какой документ ни заполнит — всё с ошибками: то слово пропустит, то циферки перепутает. Начальник вызовет — ругаться; Лиличка оленью шею нагнёт, тонкими пальчиками золотую прядку плетёт, нежно и смущённо улыбается. Полюбуется начальник и рукой махнёт: «Идите, Лиличка, я сам сделаю...»

А в середине сентября Валя приехала. Всё в том же спортивном костюме, только косу остригла — под мальчика. Лиля испугалась — вдруг ночевать останется. Разговаривать-то особо не о чем. Но Валя и в квартиру заходить не стала.

— Ты не бойсь, я на три дня на соревнования приехала. Нас в гостинице поселили. Пойдём, на лавочке посидим, поболтаем.

В соседнем дворе в маленькой беседке сели, друг против друга. Валя Лиличку разглядывает: шёлковый светло-зелёный костюм, бежевая кружевная блузка, золотые тоненькие босоножки, ногти перламутровые, серёжки с жемчужинкой. Валя из спортивной сумки бутылку дешёвого портвейна достала. Умело зубами пробку сняла. Лиличке протягивает. Лиля испугалась:

— Нет, что ты, Валя, я не пью!

Валя сама отпила и сигарету закурила.

— Может, ты и не куришь?

— Нет, конечно. От курения кожа портится.

— А, ну да, конечно, — кожа, рожа — это ж у нас главное!

Валя ещё выпила. Встала. Лиле было неприятно, она не знала, что сказать. Валя пристально посмотрела ей в глаза.

— Виктор повесился. Ты знаешь?

Лиля замерла, ротик открыла, тихо прошептала: «Нет...»

— Не знаешь и знать не хочешь, — Валя хмыкнула.

— Как же он?... ведь...

— Как паралитики вешаются — на спинке кровати.

— Валя, ты...

— Ж...ой нюхаешь цветы!!! — закричала Валя, подавшись вперёд так, что Лиля подумала, что сейчас ударит. — Ты его письма получала?!

— Да, но...

— Говно!!! Ответить тебе трудно было? Хоть раз! Ему бы и этого на всю жизнь хватало! Он картинку на стене попросил повесить — «Рождение

Венеры» и на неё целый год молился. На тебя, дуру! «Лиличка моя, Венера, Афродита моя!»

Валя бутылку отшвырнула, с ненавистью и презрением взглянула на Лию.

— Сучка ты, а не Афродита.

Лиля молчала. Слезы навернулись на глаза и алмазами сверкали под тёмными ресницами. Валя долго на неё смотрела, что-то поняла и, успокоившись, спросила:

— А ты вообще-то хоть раз кого-нибудь любила?

Лиля ротик приоткрыла и растерянно ресницами похлопала.

— А как ты думаешь, зачем Бог тебе такую красоту дал?

— Валя, ну Бог-то тут причём?

Валя долго молчала, потом встала и повесила сумку на плечо.

— Бог, возможно, и ни при чём, а вот чёрт — это уж точно!..

Лиля домой вернулась, в халатик переоделась, по квартире ходила, ломала пальчики. В ушах всё Валины обидные слова звучали. В ванной воды напустила, халатик сбросила и долго перед зеркалом стояла, боками поворачивалась, пристально себя разглядывая. Нет, ну, нет же изьяна — красавица, Афродита! Только глаза больше испуганные слезами набухали, и кончик носа розовел. «А ведь Валя права: почему я ни разу не задумалась — для чего Бог такой красотой наградил? Зачем всё это было нужно: такие волосы, глаза, плечи... Для чего всё такое особенное, не как у всех, а лучше, совершеннее? В чём была моя задача? Что должна была я сделать с этим даром, как талант, редким? Что за записочка была? И ведь никакого особенного счастья мне самой красота не принесла. Жила, как все. Как страшенькая Лерка, так же. Нет, Лерка-то, пожалуй, счастливее меня оказалась: за хорошего парня замуж вышла, уже и ребёночек родился, и сама говорит, что очень счастлива. Не в красоте, значит, дело. А в чём? Ведь мне все девочки завидовали, всем красоты хотелось. Мне-то радости никакой, а другим-то и вовсе горе! Сашка, Микаэл, Виктор этот... Господи! Что же, выходит это не дар, а наказание?! За что?! За что?!»

Зеркало снизу вверх начало паром заволакивать. Лиля с подзеркальника баночку с кремом взяла, в руках повертела, слёзы брызнули, и со всей силы баночку в зеркало швырнула. Тоненькая голубая трещинка разделила наискосок, исказила прекрасное личико, и красота его, серебряно сверкнув, исчезла, раскололась и, симметрии лишившись, страшной раной разрезалась. Щека раздулась и кривому плечу свалилась. Левый глаз выпал, оставив чёрную треугольную дыру, как злую печать, пронзившую бровь, лоб... затягивавшую, уносившую красоту в холодный страшно гудящий мрак... А через минуту густой пар и вовсе Лиличку стёр, словно и не было, и осталась лишь слабенькая тень полупрозрачного призрака, но кто он — уже было не разобрать...

А ведь и у ангелов ошибки бывают. Ну, заигрался молоденький ангелочек, сверканьем золотых крылушек залюбовался и не ту записочку в розовые кружева сунул... Спихватился, да поди исправь теперь — полжизни уже прошло,

как во сне пролетело. Хотя время вроде и шло, а вроде и не двигалось с места — медленный, тягучий покой — ни горя, ни радости. Прежнее всё забылось, а нового ничего и не было. Вроде всё и хорошо, а скучно. Праздный сладкий сон и эти всё, знаете, алые паруса в голове... розовые такие мечты, щёчку подперев; ну и принц, конечно, на белом коне... Всё, как полагается...

И вот тут-то и появился Вадик. Высокий, красивый брюнет с ярко-синими глазами. Смелый, весёлый, на Сашу Широкова похож... Три месяца Вадик под окнами стоял, цветы носил, порой в кино уговаривал. Лерка все уши прожужжала: «Дура ты, Лилька, просто дурой будешь, если такого парня упустишь! Ну и что — не любишь, потом полюбишь. Да и не это главное: будет семья, дети, смысл. Ну, что ты так вот всю жизнь и будешь? Выходи и даже не думай! Дурой будешь, если Вадика упустишь!»

И Лиля послушалась. Без любви, без желания, а так, чтобы, как у всех, чтоб не хуже людей, да и пора, конечно, что же?... Родители не против: жить есть где — квартира большая, парень воспитанный, из хорошей семьи, чего же ещё?

В первую ночь Лиличка зубки стиснула, коралловую губку до крови закусала... ну, ничего, и всё же так... для семьи, для дальнейшего счастья... Ничего... ничего...

А через месяц выяснилось, что Вадик-то — алкоголик. И так зашло, что ничего уже не сделаешь. И родители бились, и Лиличка плакала — всё напрасно. Костик родился. Ну, это бабушке с дедушкой радость, их же и забота. А у Лилички послеродовая депрессия. Почти два года — как во сне. Костика на руки брать не могла — сразу плакала, и зубы болели. Лиличка много спала, в парке гуляла, в Кисловодск лечиться ездила. Вадим пил, из дома надолго куда-то пропадал, но Лиличка этого, кажется, и не замечала.

А потом мама умерла. А на сороковой день папа. И поминонок не справлял и... Жизнь окончательно поломалась. Не спасала и Костикова улыбка — Лиличка ощущала, что жизнь её просто кончилась, и ничего ни хорошего, ни тёплого, ни покойного больше не будет. Не будет радости обычного воскресного утра, когда просыпалась Лиличка не по будильнику, а от папиного ласкового прикосновения — просыпайся, милая, завтрак готов, и мама в кухне поцелует приветствовала и сразу птенчику в ротик сладкий кусочек — попробуй, Лиличка, не много сахара? твои любимые... И запах ванили, и солнце в окна, и весёлая, особенная воскресная музыка из приёмника, и белая скатерть с голубыми васильками, мамочкой вышитыми... Ничего, ничего этого никогда уже не будет... Никогда.

Костику уже лет шесть было. Вадим давно из семьи ушёл. Говорили, что к сорокалетней бабе... Пить как будто бросил, машину купил и, вроде, хорошо живут... Вадима Лиличка особо и не винила: себе она признавалась, что женой была неважной — без мамы в доме неубрано, обеда нет, да и по ночам... каждый день-то зубки стискивать не будешь... Обидно Лиличке было лишь то, что ушёл Вадим уже после того, как родителей не стало, что бросил в самое трудное время, оставил одну, не

пожалел... И сына ни разу не вспомнил. Обидно было Лиличке, и гордость болела, но правда и то, что Вадим был самой лёгкой из её потерь.

Без мамы Лиличка чуть с ума не сошла: делать ничего не умеет, денег не хватает, Костик голодный плачет... Спасибо, Лерка не бросила. Лерка, чувствуя свою вину за Вадика, два раза в неделю приходила — по дому помогала. Свои дети у Лерки уже большие: мальчику шестнадцать, девочке (Лиличке) четырнадцать. Муж обеспечивает, так Лерка и не работает. Находила время и для Лили. Другой раз и с Костиком гуляла, в театр водила. Часто на свои деньги (у Лилички нету, как-то всё кончилось...) дешёвых косточек купит и даже из них обалденный супчик сварит, чтоб на неделю хватило, картошки нажарит, оладьев. Лиличку учила, да всё без толку — у той никак не получалось: то убежит, то подгорит всё.

Что сближало этих двух, таких не похожих, женщин? Деловитую замухрышку Лерку и безрукую эту мечтательницу, инфантильную плаксу и неземную красавицу Лиличку? Зачем взвалила Лерка на свои неказистые крепкие плечи эту обузу, стремясь заменить Лиличке маму-папу? Что могла дать в этой дружбе Лили? Ах, Лерка, уж не честолюбие ли лелеяла? Не подтверждением ли значимости, замещением красоты были чудные супчики-то? Не зависть ли в себе давила, крепко сжимая на прогулке Костикову ручонку?.. Никому о том Лерка не расскажет, а Лиличка сроду не задумывалась...

Однажды Лерка пришла не вовремя, раньше, чем договаривались. И застала Лиличку пьяненькой — одна сидела и водочку без закуски потягивала... Лерка следствие учинила, и Лиличка призналась, что больше года уже... как мама с папой умерли... как Вадик ушёл... вот с тех пор... Да почти каждый день... (Вот куда деньги-то девались — догадалась Лерка).

Лерка поорала, клятвы от Лилички добила и ушла злая, даже суп не сварила. Но с этого дня Лиличка и не таилась больше: «Лера, мне на трезвую голову жить больно, пойми!» (Хотя от Костика всё же бутылёк за шкаф прятала...)

Денег никак не хватало, и Лиличка стала потихоньку родительские вещи продавать. Мамин любимый гдээрзовский сервиз, который когда-то с таким трудом доставали, отчего папа его не любил: кланяться-то Серафиме ему пришлось. Весёлый, пёстрый ковёр, висевший ещё над Лиличкиной детской кроваткой, бывший всегда, отчего происхождением его как-то не интересовались, и неожиданно оказавшийся настоящим турецким ручной работы раритетом. Папину библиотеку специальной технической литературы, тоже на удивление оказавшейся очень дорогой. Все эти дела делал знакомый с работы, шустрый такой Алик. Сам покупатель искал, сам отвозил и Лиличке деньги отдавал. Алик не хитрил и не обманывал, а сразу прямо запросил 50% комиссионных, на что Лиличка с радостью согласилась — без Алика вообще бы ничего не было.

Страшный процесс разрушения в случае с Лиличкой был на редкость стремительным. Нежное и прекрасное всегда хрупко, а хрупкое и ломается быстрее и легче. Память Лилички порой стала путаться, и время рваными кусками перемешалось.

Лили говорила: «Когда ты мне ночью звонила...» — на что Лерка недоуменно вперивалась (никогда она ночью не звонила...), и жалко ей было Лиличку, как больную собаку, но чем тут, кроме супа, можешь? Лиличке требовался лишь собутыльник, чтоб в жилетку выплакаться — наливай, Лерка, и пей... Лерка часто стала забирать Костика к себе, то на ночь, то на неделю.

Слёзы жалости в несколько не сентиментальной Лерке вызывали вещи, подаренные Лиличкой, которые Лерка сразу выбрасывала, чтобы не плакать при каждом взгляде на них. Лили дарила Лерке на праздники (не от жадности и не от бедности, а уже не сознавая неприличия этих подарков, для неё всё ещё дорогих) потрёпанный альбом Боттичелли, треснутую вазочку с жёлтеньким ободком засохшей воды, мамину шаль с незамеченной дырочкой... И сама Лили, раньше вдумчиво подбиравшая по цвету и стилю, теперь одевалась, как придётся, не замечая узковатого уже по размеру, не глаженного, оторванной пуговички, не отстиравшегося пятнышка... Одно лишь осталось неизменным — долгие ритуалы омовения, в давно не чищенной ванне, среди разбросанного грязного белья, волосатой бритвочки, засохших губок... не так часто и тщательно уже обрабатывала она перламутровые свои ноготки, но расплывшееся и обмягшее её тело всё ещё розово светилось и было последним, о чём Лиличка ещё заботилась.

Часто, идя домой с работы, планировала Лиличка вымыть полы или постирать, но потом, водочки выпив, весь вечер на диване просиживала, закинув голову, невидящим взглядом уставясь в потолок. Вспоминала родителей, Сашу Широкова, сожалел об ушедшем, упущенном, и слёзы неостановимо катились.

За окном, в чёрной ледяной мгле кружила метель, завывал северный ветер, где-то стучало по крыше железо, и в доме было холодно. Холодно было и в сердце Лилички, и, наплакавшись, она забывалась холодным тягостным сном...

Так ещё два года перебивались. На работе новым начальником папин старый друг, оттого только и не гонят. Он к Лиличке как к дочери: всё покрывает, что бы ни случилось; бывало, что и нашатырём в своём кабинете отхаживал... Сотрудницы шептаться стали да перемигиваться, радостно подсчитывая все Лиличкины промахи, покачивания и оговорки нечёткой речи. Прежние завистницы Лиличкиной красоты довольно ехидничали:

— Ой, Лиличка, а раньше от Вас всё жасмином пахло, а теперь всё во-о-одочкой, — и хитренько усмехнувшись, грозили пальчиком.

— Хорошо, что не говном! — рявкала на них сердобольная пожилая бухгалтерша Лидия Матвеевна, брала Лиличку под руку и уводила по коридору, от всего сердца жалея и успокаивая, всё ещё надеясь бедняжку вразумить.

— Брось, не обращай внимания. У них ни для кого доброго слова нетути, как только своим же ядом не захлебнутся! Ну, а по существу — они правы, конечно. Тебе, девушка, надо срочно за голову браться — все уже замечают, уже не скроешь. Сопьёшься ведь, Лилка! Под забором

помрёшь. Одумайся, очнись, ведь у тебя ребёнок. На кого Коську оставишь?

— Что Вы, Лидия Матвеевна! Разве я пьяница?! Это я так только — расслабиться, чтоб полегчало. Тяжело одной-то... А спиться я никогда не сопьюсь, не бойтесь — я же никогда не похмеляюсь! Кто не похмеляется, тот может пить, сколько хочешь и ничего. Химия организма так устроена. Это мне ещё Вадик говорил...

Однажды Лиличка увидела — из их подъезда Микаэл выходит, с маленькой дочкой и женой — толстой армянкой в пышных усах, лет на пятнадцать его старше. Оказывается, квартиру в этом доме купили, на Лиличкиной площадке. Но, это кто-то потом рассказал, Микаэл мимо прошёл, не признался...

Лиля домой пришла и долго перед зеркалом стояла. В ужасе. Словно впервые увидев эту толстую тётку с одутловатым серым лицом, короткой морщинистой шеей, покрасневшим расплывшимся носиком... Лиля расплелась, живот выпер, лицо квадратно обрюзгло, руки опухать стали. И Афродитой уж никто не звал... От былой красоты одни глаза остались, прежние — прекрасные, зелёные, с золотой искоркой...

А в восемь лет у Костика опухоль мозга обнаружили. Злокачественную. Костик почти год в больнице — химия, капельницы, облучение... Лысенский тощенький котёнок, глаза потемневшие большие и терпеливая ангельская улыбка... Даже привычные медсёстры другой раз плакали... С ним то Лерка, то дети её по очереди. С Леркиным мальчиком Серёжей Костик очень дружен был, и Серёжа его младшим братом считал, жалел очень. Лиля редко приходила, всё как-то сил не было — горе-то какое! Плачет, плачет целый день...

Седьмого марта Костик впал в кому. Вызвали Лиличку. День она возле Костика просидела, а вечером всё же тайком в магазинчик сбегала и всю ночь крепко спала.

Восьмого марта Лиличка снова плакала и за руки врача хватала: «Ведь он не умрёт сегодня?! Не может он так со мной поступить — на всю жизнь праздника лишит!»

Врач успокаивал, деликатно, но брезгливо Лиличку с себя стряхивал и в ординаторской записался.

Девятого утром Костик умер.

Прошёл год.

Спросили бы Лиличку — как был прожит этот год, она бы и сказать ничего не смогла: как камень, как во сне, как под наркозом, в мутной тягостной, обманчивой дымке водочных паров, ни дней, ни времён года не замечая... Лерка отступилась и больше не приходила, устав орать и уговаривать, жалеть и тащить на себе...

Седьмого марта в отделе отмечали праздник. Лиля всем настроение испортила: сразу напилась и всё плакала и бормотала — какой Костик хороший мальчик был... (Как же не вспомнить — ведь девятого годовщина). А уж как она его любила, как в больницу каждый день бегала, конфеты носила — Костик сладкое любил... А как он маму уважал: ведь дотянул — не восьмого, девятого

умер, праздника не испортил... Славный, славный мальчик!..

Лиля сидела остекленевшая, судорожно, до побелевших пальцев сжав в руке стаканчик водки. Еле ей пальцы разжали, стакан вынули, старенькое пальтишко помогли надеть и на голову кривенько папину пыжиковую шапку.

Женщины собрали со стола бутербродов, пирожных, в пакетик завернули и в сумочку Лиле сунули: бери, бери, небось, сгодится — дома поужинаешь. Лидия Матвеевна проводила шатающуюся Лиличку до выхода.

— Иди, иди, голубка, тебе поспать надо, отдохнуть.

Потом вернулась, за стол села, стала мандаринчик чистить. Все молчали. Лидия Матвеевна тяжело вздохнула:

— Жалко девку! А ведь какая красавица была! Прямо на редкость. Прежний начальник всё Афродитой звал... Бедная, бедная — горе-то какое!

Все покивали головами и снова застолье празднично загудело.

Весенний вечер был пронзительно синий, тёплый, с влажным запахом тающего снега. Лиля шла, пошатываясь, радуясь, то и дело проверяя пакетик в сумочке — будет чем Костика накормить сегодня. А пирожные Костик так любит, милый мой мальчик! Иду, иду! Лиличка торопилась. Немного было неловко: чуть-чуть выпивши, мамочка огорчится, она этого не любит, но ведь праздник! Праздник же!..

Потом вдруг сразу так плохо сделалось, замутило и сердце сжало. Лиличка упала на подвернувшуюся скамейку, в двух шагах от дома. Её рвало. И тут же всё улетело прочь, померкло, исчезло, в черноту кануло.

Две старушки из соседнего дома, прогуливавшиеся перед сном, охая, растормошили, довели до подъезда. Лиличка ничего не видела, руки-ноги были ледяные и ватные, а в груди горело безумной болью, как никогда. Она хотела сказать, попросить «скорую», но голова так сильно кружилась, и слова никак не получались. Старушки ушли. Лиличка схватилась за перила, споткнулась, её мотнуло в сторону и упала навзничь, разбросав руки.

В подъезд вошёл Микаэл, выгуливавший на ночь собаку. Овчарка, сразу что-то учуяв, поджала хвост и тонко завyla. Микаэл увидел лежавшую Лиличку, минуту постоял, приглядываясь, поднял свалившуюся с её головы пыжиковую шапку, повертел и, сунув за пазуху, перешагнул через Лиличкину руку, и быстро, вслед за собакой, скрылся в квартире.

Прекрасные зелёные, слепые и мёртвые Лиличкины глаза смотрели в грязную испсанную стену и уже видели ангелов... А ангелы всё подлетали, подхватывали записочки из рук Судьбы и всё несли и несли на землю, снова и снова...

Милиция обнаружила в пыльном Лиличкином шкафу, в старой синей маминой сумочке с документами, между паспортом и дипломом, странную пожелтевшую записку: «На женску красу не зри, ибо та краса сладит сперва, а потом бывает полыни горше...»

Лизино счастье

I.

Солнышко заглядывает в эту комнатку только ранним утром. И первые птички на окошко слетаются, зная, что здесь всегда для них угощеньице приготовлено: под картонным молочным пакетиком, что на гвоздик к раме привешен, на пластмассовой тарелочке зёрнышки не переводятся. И мелкие пташечки благодарные песенки поют, по железному сливу разгуливают, клювиками постукивая, и на открытую форточку смело садятся. А порой, головку наклоня, и в книжечку любопытно заглядывают, что на окошке всё на одной странице раскрыта: «Ей было тридцать лет, она жила в коттедже дачного типа».

На окошке розовые тюлевые занавесочки, на подоконнике аленький цветочек, так необдуманно людьми названный Ванькой-мокрым. Пышный кустик в семь весёлых цветков. Недолго уж ему гореть осталось: как только кустик тридцати сантиметров достигнет, тут же ему голову долой и за ножки в открытую форточку выбросят... Теперь крошечный его сыночек радоваться солнышку будет, пока таким же не станет. А потом и ему — та же участь. А не будь таким дылдой! Маленькое сердцу хозяйки милее. То-то у ней по стеночкам (в крошечной пятнадцатиметровой комнатке) малюсенькие фотокарточки в рамочках. Да и в тех — кое-где одна лишь голова аккуратно ножничками отрезанная и влезает. В кругленьких, овальных, квадратных рамочках на всех фотографиях всё одна хозяйка, да порой чьё-то таинственное плечо присоседилось. На книжной полочке малюсеньких мягких игрушечек больше, чем книг: котики, зайчики, медвежатки да деревянные расписные лошадки, и так — куколки всякие. На розовых обоях в мелкий цветочек три календаря за прошлые годы, всё с котятками. На маленьком, тоже круглом, столике, на кружевной салфеточке, в красном гранёном стаканчике, и малиновыми огоньками стаканчик приятной посверкивает, — пять искусственных цветочков: три розы и две веточки сирени. Узенькая девичья кровать под жёлтым плюшевым покрывалом, два венских стульчика да старое креслице с деревянными подлокотничками. Один подлокотничек всё время на пол падает, чуть тронешь. Маленький шкафчик пенальчиком да маленький телевизор на тумбочке под кружевной же опять салфеточкой. Вот и вся обстановка.

Да кто ж в такой чудной комнатке живёт?! Дюймовочка, что ли? Что за сказочная крошечная улыбающаяся старушечка салфеточки вяжет да птичек по утрам слушает? Нет, не Дюймовочка и не волшебная старушка, а вот она — Лиза. Уже позавтракала, и восхитительный кофейный аромат в комнатке стоит. В креслице сидит и уже что-то вяжет. А потом вязанье отложит и книжечку возьмёт: «Ей было тридцать лет, она жила в коттедже дачного типа...». В который раз Лиза эту первую страничку читает, никак сдвинуться не может. Тут сразу у ней мечтанья пойдут: «А ведь и мне тридцать лет, не про меня ли это? Нет, не про меня. В коттедже... Ах, слово-то и то необыкновенно прекрасное — в коттедже!»

Тут я вам секрет приоткрою: Лиза — одинокая девушка тридцати лет. Фигуркой на колокольчик похожа: на маленькой головке высоко-высоко, на самом темечке, трогательный белесый «кукиш» заколот, а дальше вниз плавно всё колокольчиком растекается и две толстые ножки близко ставит, как колокольный язычок. Лиза толстая, всё время худеет — диетами себя изнуряет. Лет в двенадцать ещё с подружкой гуляли, и запомнилось на всю жизнь, как подружка, смуглая красавица Катенька (Лизин кумир, идеал и пример для подражания) говорила: «Я люблю, чтоб платьице коротенькое и из-под него белые трусики немножко виднелись — так красиво загорелые ножки оттеняет. Жалко, что уже большие, такое коротенькое уж не наденешь...» Вот подружку-то вспоминая, всё стремится Лиза похудеть до катенькиной стройности, но где ж там теперь... А вот по ночам часто снится — как бежит по летним дорожкам, под ласковым солнышком, и стройная, как Катенька, и платьице лёгкое коротенькое, и белые трусики сверкают, и ножки тонкие, лёгкие, загорелые...

Живёт Лиза одна в своей сказочной розовой комнатке, как в игрушечной шкатулочке, и имеет девушка две горячие большие мечты: первая мечта — попасть когда-нибудь на телевиденье (чтоб её показали и соседи увидели), вторая — жить в своём домике с садом и со всем, что там в мечтах полагается. В коттедже. Вот оттого и книжечка не идёт — глазки к потолку закатывает и сладко вздыхает Лиза. Была, правда, и ещё одна — заветная — повстречать прекрасного принца на белом коне, ну и там дальше всё по сценарию... Но время шло, и постепенно стала Лиза понимать, что на телевиденье-то попасть — мечта намного реальнее... Ну, то есть — потеряла девушка надежду, а чтоб не так обидно было, стала себя утешать жуткими историями разбитых девичьих сердец и растоптанного семейного счастья — на что они, мол, принцы-то? что с них проку!

Маленькая, как и всё у ней, детская её душа, робкая и ленивая, никогда не знавшая ни большого горя, ни большой радости, не смеет помышлять о счастье, а, как полуснулая рыба, еле шевелит вялым плавником и, задыхаясь невысказанным, судорожно открывает рот, но что хочет она сказать, она и сама не знает.

Ходит Лиза по комнатке, песенки мурлычет, а потом на коечку ляжет и чего-то вдруг вспомнит, как несколько месяцев, сразу после школы работала она в пожарной части, диспетчером. Но там уж очень страшно было. С центрального поста позвонят — как из пулемёта (горит же!) адрес дежурная протараторит, а Лиза — то не расслышит, то записать не успеет... Переспрашивать стеснялась. Три выговора за это получила. Плакала. Да и начальник, полковник Онищенко, — такой страшный, всегда мрачный, сердитый; как Лиза-то его боялась! Солдатики с пожара палёных кур привозили — ужас! Да ночные дежурства — не поспишь. Звонок ночью как взвоят — страху-то! С тех пор телефона бояться стала. Часто и дома этот страшный звонок снился.

Узенькая её дежурка была смежная с гаражом — всё время в ней бензином пахло, аж голубой едкий

дым стоял. Только окошко и радовало: за окошком зелёный садик с сиренью, в нём соседские куры гуляют, петушок по утрам поёт. Да тогда ещё молоденькая была, так солдаты часто приставали, похабники. Один весёлый, нахальный — к стенке, бывало, прижмёт и давай тискать... Лиза чуть не плачет и Онищенко пожаловаться боится... А другой и того хуже. Ночью полагалось вдвоём с офицером дежурить, но офицерики часто спать уходили, а вместо себя солдата присылали. И всё ночью один и тот же татарин Азад попадался. Тихий, вкрадчивый, опасный, как змей. Лиза за столом сидит, книжку читает, и он в метре от неё, на стуле. И тихо-тихо, медленно так, по сантиметру как-то вдруг подползёт, и не заметишь как (чистый змей!), и вдруг уж совсем рядом окажется и Лизу за плечико обнимает. И молча всё. Этот-то ещё страшней Онищенко был. Недолго там Лиза промучилась, сбежала от страху-то.

Теперь-то хорошо, теперь работает Лиза на игрушечной фабрике. Деревянных лошадок, слоников да уточек нежными цветочками расписывает. Только глаза закроет — всё цветочки да листики перед глазами. Spина, правда, устаёт, а так ничего — покойно, девушки дружелюбные, буфет хороший.

Дома Лиза все вечера у телевизора вяжет, во всём вязаном ходит: и платья, и кофточки, шапочки и жилетики, даже тёплые трусики и осеннее пальто связала... А когда вязанье надоеет, садится Лиза крупу перебирать — самое любимое у ней занятие — рис, гречку перебирать. До большой спины, до онемения пальцев. Сидит, напеваёт, крошечные свои мысли думает.

Или в газету «Труд» письма пишет: «Как варить яйцо, чтоб не треснуло? Какое масло полезнее — сливочное или подсолнечное? Чем лучше чистить кожаные вещи?» И ведь никаких кожаных вещей-то нет, а очень приятно Лизе свою фамилию в газете увидеть... Вот ещё бы в телепередачу попасть... И вот уж ей незнакомые люди восхищённые письма пишут, и соседи уважительно вслед смотрят, немного и завидуют; и вдруг какой-то режиссёр... Лизину особенную самобытную красоту, незамутнённую, как предрассветная розовая гладь потаённой лесной речушки, с лёгким голубеньким туманом, средь влажных ландышевых полей... разглядит... ах, что за редкость! что за прелесть! И вот уж и фильм сняли... и... Ой, аж дух захватывает!..

Ужин Лиза перед телевизором накроет. Цветочки на столик поставит, салфеточки разложит, свечечку зажжёт; каждый вечер у неё — праздник. Кошечка подойдёт, об ноги молча потрётся. Лиза с кошечкой поговорит. Кошка жёлтенькая, персидской породы, толстая и глаза раскосые — на соседку по квартире Раису Ибрагимовну похожа. Так и завет её Лиза: «Раиса Ибрагимовна, иди-ка, молочка попей, голубушка».

А недавно ещё и черепаха завела. Да случайно — на работе женщина предложила: дети выросли, никто с ней заниматься не хочет, не на помойку ж нести, вот Лиза и взяла — пожалела. В обувной коробке такую же розовую комнатку ей сочинила. Имя у черепахи уже было — Дуся. Ну, Дуся и Дуся, черепаха — не кошка, всё равно на имя

не реагирует. Больше-то кошке от неё и радости — играет, лапкой переворачивает. Ну, пусть хоть кошка позабавится.

На более чем скромную свою зарплату жила Лиза небогато, но была и у неё одна очень ценная вещь, драгоценная даже — золотой перстень с тёмно-синим крупным сапфиром и брильянтики по краю в витиеватых золотых травках. Перстень этот был единственной реликвией в их семье. Лизе достался он от мамы, маме от бабушки, а той, в свою очередь, от прабабушки. И был он окутан голубым туманом семейной легенды: якобы в молоденькую тогда прабабушку Евдокию, в няньках у князей батрачившую, (фамилия князей со временем, конечно, стёрлась) будто бы страстно влюбился молодой князь Михаил. Чего уж там было на самом деле — никто теперь не знал и не помнил, но что было — это уж точно, потому как подарил Михаил юной прабабушке вот этот самый перстень. Берегли его, любовались и прабабкой гордились: не всякой же князья перстни-то дарят! Даже в голодные военные годы сохранили, уж на самый — самый чёрный день берегли. Но, слава Богу, как-то всё обходилось и со слезами с драгоценностью расставаться не пришлось. Уже после маминой смерти носила Лиза перстень в скупку. Оценить. По новому времени-то сколько ж теперь стоит? Продавать и не думала. Тоже на самый край берегла. Хорошая знакомая страшных историй понарасказывала, до смерти Лизу напугав, так что та и идти-то боялась, и посоветовала кольцо к пальцу на суровую нитку привязать — мало ли какие люди бывают — снимешь с пальца-то и тью-тью! Докажи потом! Тем более на толстый Лизин пальчик колечко только-только на самый кончик и лезло. У приёмщика тогда аж глаза на лоб выкатились — редкой красоты вещь-то! Большие тыщи сам предлагал. Лиза обрадовалась, но не соблазнилась, не продала. От воров (не дай Бог!) прятала Лиза кольцо в банку с вареньем. И только по праздникам доставала и посредине столика в бархатной коробочке ставила как редкостное украшение. Камень под свечечкой таинственно сверкал, и целый день Лиза на перстень любовалась, радовалась, мечтала...

Но два месяца назад безвозвратно лишилась, трагически утратила Лиза эту единственную свою драгоценность, так долго и трепетно семьёй хранимую. А дело было так. Как-то раз, прямо под Новый год зашла к Лизе девушка с работы Светлана. Зашла как-то неожиданно, без звонка — заказать Лизе кофточку связать. Лиза заказам радовалась — всё дополнительный заработок, а вязала уж очень хорошо: и узорами любимыми, и цветами, и кружевом. А со Светланой её знакомый, Арнольд Семёнович. А у Лизы уже праздничный стол накрыт, и перстень в коробочке в центре стола, как всегда у ней в праздники. Лиза от неожиданного визита растерялась и сразу убрать не успела, а потом чего-то ей и неловко стало. Арнольд Семёнович бутылку шампанского принёс, и пришлось Лизе гостей за стол пригласить. Арнольд, как коршун, драгоценность схватил и стал, ахая, восхищаться. Лизе приятно и, по простоте душевной, по дурости, прямо скажем, историю перстня рассказала. Недолго гости посидели и ушли. А на

другой день Арнольд позвонил и уговорил встретиться. Арнольду — лет пятьдесят. Чёрный весь, блестящий и суелливый, с белой лысинкой, как помеченный таракан. Но человек неженатый, приличный: в галстук и ботинки начищены, что для Лизы всегда в мужчинах важно было. И стали часто встречаться — то в кино, то в кафе Арнольд приглашает и комплиментами сыплет, и красиво ухаживает — цветы дарит. Лиза растаяла и стала всерьёз о нём подумывать: ну и что, что пятьдесят, не так уж и много, да и других-то ведь нет и вряд ли уж будут-то... Чего ж от своего счастья отказываться? И казалось ей, что вроде и влюблена она в Арнольда, и радовалась, и мечтала, планы строила и глаза блестели. На суровую диету снова села и аж летала, голубка. Предвесенними синими вечерами, с сумками, с булками, с яйцом диетическим (рубль пять копеек десяток), толстые ножки в кучку, и рукой самодельную шляпку придерживая, на тёплый пласт весеннего ветра опершись, летает Лиза с работы домой, и толстые щёчки от набухшего детскими хлопьями крупного снега и радостной ветреной слезы влажно розовеют. И два месяца так счастливо промелькнули.

А восьмого марта Арнольд в гости пришёл — Лиза сама пригласила. Тортик принёс, мимозу подарил и предложение сделал! Лиза, помня, как перстень ему понравился, из варенья достала, обмыла и на стол в коробочке поставила. Чего теперь бояться — почти муж Арнольд-то. В ответе своём Лиза не сомневалась, но так уж — из женского кокетства — сказала, что дня два подумает... А сама сияет, улыбается, прямо порхает вокруг него. За любовь выпили, закусили, и Лиза на кухню пошла — кофе варить. Арнольд по комнатке ходит, фотографии по стеночкам разглядывает. И вдруг дверь в прихожей хлопнула, и замок щёлкнул. Лиза из кухни выглянула посмотреть — нет никого. Соседка Раиса Ибрагимовна, видно, ушла. Лиза на подносике кофе в комнатку принесла — что такое? — нет Арнольда. В туалете, что ли, пошёл. Лиза пять минут подождала и не стерпела, пошла проверить — не случилось ли чего, мало ли, может плохо человеку стало... Нет никого ни в туалете, ни в ванной, ни в кухне... Вот тут Лиза аж похолодела, на стол глянула — ну, точно — нет перстня! Всё враз поняла Лиза и в голос зарыдала. Потом спохватилась, бросилась Светлане звонить. А та тоже ни фамилии, ни адреса не знает — так, шапочное знакомство — Арнольд и Арнольд. И Лиза за два месяца ничего не спросила: не документы ж у жениха проверять... А сам Арнольд особо о себе не распространялся и в гости не звал. Лиза и в милицию ходила, но без фамилии и без адреса и заявления не приняли. Долго Лиза после этого плакала, себя корила и на мужиков уж больше и смотреть не могла. А если какой вдруг с шуточками с ней заговаривал, то резко и грубо подальше посылала — знаю я, мол, вас всех, козлов!

Ну вот. «Ей было тридцать лет, она жила...» Да что ж — жила и жила. Так вот и жила Лиза, пока не встретила Юру. Ну, как сказать — встретила: Юра-то давно в их подъезде жил, но как-то раньше Лиза его не замечала. Ну, сосед и сосед. Такой же козёл, как все. А тут вдруг однажды в дверях при

входе в подъезд столкнулись. Лиза от неожиданности вздрогнула и сумку выронила. Из сумки яблоки раскатились. Юра собирать бросился, долго извинялся, мило так, застенчиво улыбаясь, и до квартиры сумку донёс, как Лиза не отнекивалась. И вдруг вот враз, в одну минуту, как гром среди ясного неба, — влюбилась Лиза в Юру. И откуда только эта любовь берётся?! Вот прямо ведь на пустом месте вмиг вырастает, а через день уже пышным цветом цветёт. Вот вчера ещё на этом месте клочкотала ненависть ко всем этим мужикам-уродам, а сегодня вместо этого — любовь! Снова любовь... Да нет, не вместо, мужики они, конечно, все сволочи, кроме Юры. Юра он не такой, он совсем другой, особенный, хороший, каких и нет больше, он один такой — Юра... И мечталось Лизе, как в золотом мареве, в тёплом медовом свете она — стройная, улыбающаяся рядом с Юрой идёт, и Юрины глаза голубые, как летнее небо, и губы ласковые земляничной пахнут, и вроде детская шёлковая головка рядом мелькает...

С этого дня стала Лиза ждать Юрино звонка. Почему-то казалось ей, что Юра теперь позвонить должен. Ведь, наверняка, и Лиза Юре понравилась... Ведь другой бы извинился (в лучшем случае) и мимо прошёл, а Юра-то и яблоки собрал, и до квартиры донёс. Нет, точно — и Юре Лиза понравилась. И всё вспоминался Лизе Юрин голос и милый, ласковый взгляд, и их разговор. Про каждое слово думала Лиза — что бы это слово значило? Да ведь Юрину любовь и значило каждое его слово! А потом стала дальше мечтать и новый разговор всё репетировала: что она скажет, что он ответит... И на каждый звонок в коридор бегала, трубку брала и молчала: Юрин голос ждала услышать. Молчит и дышит. А сердце аж из груди выпрыгивает. Но Юра всё не звонил и не звонил. И стала Лиза Юру в подъезде поджидать, караулить. Часами на площадке у окна стояла, но так и не встретила ни разу. И стало Юрины глаза серым туманом застилать, и мелкий скучный дождь в душе у Лизы накрапывал, смывая золотой свет и радость новизны, и земляничная прелесть Юриных губ гнила, прела и плесенью обиды покрывала душу.

А через месяц случайно в окно увидела Лиза, как въезжает во двор машина с шарами и лентами, и Юра из первой машины выходит и руку девушке в белом платье подаёт... А из второй машины вроде Арнольд вышел! Да нет, наверное, показалось... Откуда тут Арнольду быть... Из-под низко надетой шляпы лица мужика не видно, и воротник поднят. Да нет, вроде и не похож. Свадьба! Свадьба у Юры... Окаменела Лиза, даже и заплакать не могла...

Ну, тут, как говорится, — от любви до ненависти... Цели жизни у Лизы поменялись: отомстить Юре, жизнь ему испоганить, а может, и вовсе известить... Как он с ней поступил, так и она... Но ничего особо сильного в голову не приходило. Хорошо б его, гада, убить, конечно, но не с Лизиним характером... А так — чего придумаешь? — ну, дверь клеём намазала, ну, кошку дохлую с помойки принесла и под дверь Юре подбросила... Однажды, как подросток, таясь и хихикая, окатила Юру водой из окна и быстро без стука окно

закрыв, под подоконником спряталась... Записочки гнусные с матерными словами печатными буквами писала, и, как мышка, на верхнем пролёте затаясь, подглядывала, а когда Юра недоуменно записку прочитав, раздражённо комкал и, чертыхаясь, зло отбрасывал, Лиза гаденько в кулачок хихикала и шла новую писать. Добрый Юра жену и родителей огорчать не хотел, а вскоре и сам перестал записки читать и сразу выбрасывал.

Вот тут Лизе совсем плохо стало. Чёрный, вязко-тугой кокон уныния и горя охватил её, и сквозь него не видела она света и не видела отличия добра от зла. Такая чёрная депрессия началась, что делать ничего не хотела, вязанье бросила, все вечера лежала, в потолок глядя, и часто плакала, вроде без причины. А порой наоборот — такие безудержные порывы гнева подкатывали, что сама себя не узнавала: с соседкой по пустякам сцеплялась, на шкуры орала и ногами топала так, что та бедная целыми днями из-под кровати не высовывалась, даже поесть боялась. Вещь какую, под руку попавшуюся, в ключья всю изорвёт, истопчет и сама на пол сядет, клочки перебирает и горько, неостановимо плачет... А один раз о черепахе споткнулась, чуть не упала, и, схватив с полки тяжёлый чугунный подсвечник, с красной пеленой на глазах по черепахе лупила, пока панцирь в куски, в крошево не покололся... В коробку всё замела и в открытую форточку выкинула. И жалеть не стала: мне плохо, так пусть и всем так же будет!..

На работе одна сильно верующая женщина, Елена, Лизино состояние почуяла и стала её назойливо обхаживать и всё в церковь пойти уговаривала. «Молиться, молиться, голубка, надо. Всё и пройдёт. Бог-то поможет. Без Бога-то — никуда. Ни здоровья, ни счастья не будет. Всё от Бога. Как слепая ты жизнь-то проживаешь, прозреть, голубка, пора, к Богу обратиться». И всё же уболтала и добилась-таки: однажды Лиза согласилась и вместе с Еленой в церковь пошли. И не напрасно: ах, как Лизе в церкви-то понравилось! Робкая её душа словно с треском из злой паутины ошалело вырвалась и ввысь унеслась, и не знала, что теперь делать, растворяясь в лёгком воздушном просторе, удивлённая, растерянная, но как будто впервые обласканная, прорастающая, готовая к счастью. Домой вернулась Лиза благостная, как после бани, — лёгкость в душе и теле, чистота и покой. И стала по воскресеньям в церковь ходить. Иконку бумажную купила и две молитвы, в тетрадку переписав, выучила и три раза в день перед едой на коленках стояла и, правда, истово молилась... На душе полегало. Казалось ей, что простила она и Арнольда, и Юру... Уж больно хотелось простить, хотелось очиститься, по-новому светло жить, с лёгким сердцем, научиться смирению, терпению, любви. Не к Юре, и не к Арнольду, а светлой, тихой и покойной любви к людям... ко всем, никого не выделяя, смиряя гордыню, ничего не требуя для себя, а больше думая о других — бедных, несчастных, забытых, утешая и помогая, как Бог велел...

Но легко только в церкви и было. А каждый день-то ведь и на работе какие неурядицы, и в трамвае грубо толкнут, в магазине обсчитают и соседка Лизин веник схватит... От воскресенья до

воскресенья, на будни, на пустычные обиды и грубость жизни смирения и покорности не хватало. И в который раз проваливалась Лиза в раздражение и злобу, и чем дальше, тем сильнее затягивало в дрянное болотце обид и жалости к себе, а даже и выбравшись, оставалась и долго не сходила с души липкая, мутная, плёнка, ставшая невидимой, но непреодолимой преградой, отделявшей Лизу от возможности соединиться с собой внутренней, истинной, сокровенной... И с батюшкой поговорив, надумала Лиза в местный монастырь уйти... В ста километрах от города женский монастырь в тихом селе, возле леса стоял.

В монастыре Лизу хорошо приняли. Моложавая матушка лет пятидесяти, в золотых круглых очках, добрая и, по разговору видно, — очень образованная, с Лизой ласково поговорила, и Лиза ей первой свои печали поведала. А как рассказывать стала, так и сама поняла — ведь пустяковые печали-то... ведь какое горе у людей-то бывает и то ничего, но своя-то и царапина сильней болит... Матушка с пониманием к ней отнеслась, даже и на веру-то сильно не напирала, а только несколько раз всё повторяла, что девушка себя блюсти должна... К чему это здесь-то? Какие ж в монастыре-то соблазны?... Матушка сказала: «Ничего не обещаю, не решай сгоряча, поживи месяц, оглядись, подумай». Поселили Лизу в маленькой кельеке с пожилой монашкой Татьяной. Монастырь старинный, говорят, ещё с 18-го века. Ветхий, конечно, всюду ремонт требуется. В кельеке холодно, и по потолку чёрные разводы плесени, и даже немного плесенью и пахнет. Ходила Лиза пока в своём, только платочек чёрный дала. Работы, правда, много было. Особенно им двоим ещё с одной совсем молоденькой девятнадцатилетней Ольгой, тоже недавно пришедшей — и на ферме, и в огороде. Другой раз, даже когда все на молитву собирались, Лизе с Ольгой велено было на молитву не спешить, а работу доделать. Начиналась хмурая осень и Лиза с привычки, после тёплой своей комнатки, везде сильно мёрзла: и на улице и в монастыре.

Так прошло две недели. А однажды, в узком коридорчике перед кельями, столкнулась Лиза с сорокалетней, высокой, широкоплечей монашкой Валентиной. Валентина эта, где ни повстречает, всё долгим странным взглядом на Лизу смотрела и в конце усмехнётся так... не поймёшь, чего... А тут Валентина с Лизой ласково, тихо заговорила, за талию её как-то цепко обняла и на высокую Лизину грудь жадно уставилась... И чего говорит — не поймёт Лиза. А Валентина улыбается и на ушко ей вдруг такое страшное и стыдное шепчет и нехорошее предлагает!.. Лиза аж завизжала с испугу, от Валентины вырвалась, в свою келью вбежала, хотела на задвижку закрыться, но замков на дверях не было. На койку в угол забилась, одеяло до носа натянула и весь вечер тряслась, аж зубы стучали... Татьяна больной сказала, на вечернюю молитву не пошла. Всю ночь Лиза не спала — боялась, что Валентина придёт... а чуть рассвело, узелок свой тихо собрала, и как только из ворот первая телега с молоком выехала, никому не сказавшись, по углам таясь, незаметно из монастыря выбежала. И не останавливаясь, бегом, скорей-скорей до станции... На платформе

уже вспомнила, что забыла в келье вязаное пальто, но не вернулась, рукой махнула и скорей в электричку впрыгнула. И пока поезд не тронулся, всё в окно выглядывала — погони боялась.

II.

Арнольд тогда жениться на этой дурочке и не собирался и через день про Лизу и думать забыл. В тот день, восьмого марта, он домой приехал, за стол сел, коробочку достал и стал перстнем любоваться. И вдруг чувствует — за спиной Светка стоит и тоже жадно и пристально перстень разглядывает. Арнольд на дочку заорал и, когда та потянулась перстень вырвать, по морде ей со всего маху врезал. «У, гнида!» — зашипела Светка, в свою комнату ушла и дверь хлопнула. Арнольд перстень в столе на ключ запер и на кухню курить ушёл. Обиделся. И весь вечер, как таракан, по квартире мельтешил, суетно что-то искал, перекладывал, брал и бросал — никак остыть не мог.

Мать Светкина умерла, когда ей десять лет было. С тех пор жили они вдвоём. В последние годы, когда Светка выросла, Арнольд два раза уходил к бабам жить, но каждый раз месяца через два возвращался, не ужившись с чужими детьми. Дочку он не любил и она его. Вместе жили оттого, что деваться Светке было некуда. Арнольд кормил и не шибко роскошно, кое-как Светку одевал, считая это своим долгом, но это и всё. На этом его родительские обязанности заканчивались, так как, по его мнению, были полностью выполнены.

А что касается воспитания, то жила Светка, как крапива, сама по себе, и что за человек она была, что там у неё в душе росло — Арнольд не интересовался, и Светка своими проблемами и горестями с отцом не делилась, знала — бесполезно. Росла Светка хабалкой, девкой красивой, грубой и самостоятельной, с отцом огрызалась, и часто до хрипоты скандалили. Теперь было ей восемнадцать лет, училась в экономическом техникуме и вот уже год встречалась с Юрой (Юре было двадцать восемь), отец об этом ничего не знал. Не знал Арнольд и того, как часто по ночам, обняв затрёпанного плюшевого мишку, купленного ещё мамой, забыв о своей грубости и самостоятельности и став на час давней робкой маленькой девочкой, плачет Светка в подушку, желая только одного — вернуться в ту последнюю счастливую осень, в те солнечные сентябрьские дни, где смеющаяся мама ласковыми тёплыми руками заплетает ей жидкие косички и, провозжая в школу, долго машет рукой в плывущем среди белых облаков окне... Не остались в Светкиной памяти ни короткая страшная мамина болезнь, ни ужас похорон, ни чужие чёрные женщины, больно хватавшие её за тонкие плечи и одинаково равнодушно зудящие какие-то ненужные, лживые, назойливые слова утешения, а осталась только вот эта светлая мамина улыбка сквозь сверкающее голубым серебром промытое стекло в белой раме окна, как в прямоугольнике блестящей глянцевой фотографии.

Утром следующего дня Светка отвёрткой взломала ящик стола, забрала перстень (со спокойной совестью, ничуть себя не укоряя), денег нигде не нашла, и собрав в спортивную сумку свои тряпки

и паспорт, оделась, перебросила через руку плащ и коротенькую шубку и ушла к Юре. Через месяц они с Юрой расписались — Светка была беременна, уже на третьем месяце (от отца скрывала). Арнольд ни искать, ни горевать не стал. Матом выругался, пожалев только перстень, потраченного на Лизу времени и денег, но в миллион-то за ворованной вещью не пойдёшь. И облегчённо вздохнул — и, слава Богу, хватит, восемнадцать лет гадину кормил, спасибо, доченька, — отблагодарила отца.

Но и в ту минуту зла и раздражения (в чём никому не признался бы Арнольд) неотступно стояла перед внутренним его взором бесконечно давняя, неверно-дрожащая мимолётная картинка с каким-то клетчатым голубеньким байковым одеялом, из которого весело били крошечные розовые, тугие и гладкие Светкины пяточки, ещё ни разу не касавшиеся земли, беззастенчивые и требовательные, от вида и запаха которых всё в нём сладко таяло и пьяно стекало в ватные ноги...

Светка очень нервничала, когда родители Юры настояли, чтоб отец на свадьбе был, и Юра к нему поехал. Арнольд скандалить не стал и на удивление прилично себя вёл, сватам даже понравился. Но больше в гости к молодым ни разу не пришёл. Родители Юры первое время ему звонили, но поняв, что Светке не больно надо, отступились. Светка «с этим гадом» ничего общего иметь не хотела, из родительской квартиры выписалась и к мужу прописалась.

А через месяц после свадьбы Арнольд попал в ДТП. На маршрутке с работы ехал, и маршрутка в самосвал врезалась. Водитель и две женщины погибли на месте. Арнольд с сотрясением мозга и открытым переломом руки оказался в больнице. Рука не заживала, началась гангрена и пришлось руку ампутировать... Светке не звонил, и та ничего не знала. Через два месяца вернулся Арнольд домой. Без руки. Работал он завхозом в дорожной организации, а после больницы (без руки-то) перевёлся в вахтёры.

III.

А Лиза вернулась в свою розовую комнатку? и всё пошло по-прежнему, медленно и покойно: расписные лошадки да салфеточки, вязанье да телевизор, ужин со свечечкой да письма в газету. Вот только в церковь больше не ходила и иконку в дальний ящик убрала. И только изредка, в неосознанный ещё момент пробуждения, мелькнёт вдруг что-то смутное, словно воспоминание, а может, и не было этого, а только хотелось, или из книги, что ли... или из старого фильма, доброго и наивного, где только солнце, только зеркалом сверкающий промытый новенький асфальт; где хотелось жить всегда — в том городе, в тех городах, похожих, как близнецы, в той стране безмятежного детского счастья, с поголовно законопослушными, поголовно заботливыми и безопасными гражданами; где только радость, радость... И словно подарок у тебя есть, о котором на час забыл, а теперь вдруг вспомнил; то, что главное в тебе, твоя суть, потаённое, сокрытое, сокровенное... И необъяснимая радость, и надежда, сквозь ненастье и неудачи, сквозь одиночество и осенние

тёмные вечера — будет, будет! Ведь было! И ещё будет! Так оборачивается и печально издалека на нас смотрит ушедшая любовь...

Но ничего этого уже не будет, ты же знаешь, Лиза, а будет до конца жизни и вечно, и каждый день — всё тот же протекающий потолок и злые соседи, и сырая тьма за окном с блестящим зигзагом стремительных струек по чёрному стеклу, как слёзы, вместо слёз, потому что слёз уже нет... «А и правда, — подумалось Лизе — Слёзы — когда ещё есть надежда, да, да, всегда так, а как только окончательно поймёшь, поверишь, что — всё, не на что больше надеяться, так и слёз уже нет. Не нужны, что ли...»

И горит в чёрном ночном небе розовый Лизин абажур, мелькают серебряные спицы, шевелятся губы — считает Лиза петли, в креслице покачивается и ни о чём не думает, чтоб со счёта не сбиться. И только изредка взглянет сухими невидящими глазами в чёрное оконное зеркало, замрёт на миг, непонимающе глядя на розовую в оборках бахрому луну, и снова, голову наклонив, шепчет, и звенят, звенят серебряные спицы, до звона в голове, до крика, до истерики, до безумного волчьего воя исстрадавшегося одинокого сердца; и крик этот с железным грохотом оббившись о мёртвые, каменно-безучастные ночные дома, дребезжащим обручем закатывается самыми дальними переулками за город, за тёмные поля, и визгливо подсканув на последнем камне просёлка, наконец-то безнадежно замолкает, с раскалённым шипением утонув в тяжёлом тумане далёкого безмянного ручья...

В тот день на работе председатель профкома раздавала билеты в театр. Недорогие — за полцены. Лизе хорошее место досталось всего за шестьдесят копеек. Сидела Лиза в пятом ряду партера, разглядывала причудливую лепнину потрескавшегося потолка, мраморные полуколонны двух боковых лож, тяжёлый бархат вишнёвого занавеса, и вдруг сверкнуло через два от неё ряда — перстень! Её, Лизин перстень! Лиза глазами впилась, вперёд подавшись, и разглядела: перстень на тонкой девичьей руке, причёску на затылке поправляющей, а рука и плечо, и затылок с высоко заколотыми кудрями — Юриной жены, Светки! И Юра рядом, слева от неё! Сердце забилося, и уж не до спектакля было: неотрывно в темноте до радужных кругов глядывалась Лиза то в Светку, то в Юру. И еле антракта дождавшись, при свете ещё раз убедилась — её, её перстень, неловко меж креслами протиснулася и скорее из театра ушла.

Всё быстро для себя решила Лиза: Арнольдова любовница Светка, она ей перстень-то и подарил! И думать тут нечего. А этот дурачок, небось, и не догадывается, и знать не знает. Вмиг у Лизы в голове план созрел, даже обрадовалась — всем троим теперь отомстит: Арнольду за обман, за воровство, Светке за то, что Юру увела, за то, что молодая, стройная, красивая и счастливая, за серебристое шёлковое платье, какого никогда у Лизы не будет, Юре за то, что полюбила его Лиза...

Два дня восьмиклассника Игорька из соседнего дома уговаривала, наконец, сошлись на пятидесяти рублях. И ещё через день Игорёк принёс из школьной химической лаборатории сто

грамм соляной кислоты в тёмном толстостенном пузырьке. Неделю Лиза на верхнем пролёте по вечерам дежурила, вызывая — когда Светка домой возвращается. И в четверг вечером в тёмной арке затаилась, и сердце в горле бухало, но пузырёк, слегка крышечкой прикрытый, крепко наготове держала. Светки всё не было, и от первого тающего снега ноги у Лизы замёрзли. К обледелой красно-кирпичной стене прислонилась, и тёмная арка сомкнулась над ней страшным капканом, непреодолимым кругом, последней чертой отделявшей Лизу от прежней невинной лёгкой жизни, и ледяной ужас охватил её, ужас неправимого шага, от которого уже не уйти, который уже нельзя не сделать, который вот сейчас, через минуту, зачеркнёт всё, что было раньше, захлопнет последнюю щёлку надежды, толкнёт в непроглядный мрак завтрашнего другого, чёрного дня... Но поздно — вот уже и хлюпающие по мокрому снегу Светкины шаги... И только Светка в арку вошла, Лиза крышечку отбросила и пузырьком в лицо Светке резко плеснула. Но от сильного движения на скользком снегу пошатнулась и чуть совсем не промахнулась — немного лишь щёку задело. Светка вскрикнула, сумочку выронила и медленно, неуверенно, ноги подогнув, на снег упала и не за щёку, а почему-то за живот схватилась и надрывно застонала... Лиза с судорожно сведённых Светкиных пальцев перстень рывком сдернула и по теням в подъезд шмыгнула.

Ожог совсем небольшой оказался, но Светка была беременна, уже на пятом месяце, и через час ребёночка выкинула. В больнице уже поздно вечером она Юре сказала, что как будто узнала Лизу. Видела она один только рукав зелёного вязаного пальто с облезлым искусственным мехом, но такое пальто она уже видела на Лизе. «Ну, та, что над нами живёт. Помнишь, мы ещё смеялись: я говорила, что на грушу похожа, а ты — на матрёшку?..»

Юра домой вернулся, дождался, когда родители уснут, сунул в карман именной отцовский пистолет и пошёл Лизу убивать. Лиза не спала, но была как пьяная: её качало, тошнило, и тупая боль в висках не давала ни думать, ни чувствовать. Перстень она, не разглядывая, бросила на кровать и всё вышагивала из конца в конец по комнате, кутаясь в полосатый вязаный платок. Вспомнило Лизе, как маленькой пятилетней девочкой украла она у подружки крошечную фарфоровую куколку. И теперь охватил её тот же страх и стыд, оплативший тогда радость первой минуты, когда мать гнала её сердитым взглядом и злыми пинками куколку подружке вернуть... Она открыла Юре, увидела пистолет, Юрино белое лицо с безумными тёмными глазами, губы её затряслись, она как-то криво, с птичьим клёкотом, сползла у стены на коленки и, протягивая к нему руки, визгливо запричитала: «Юра! Юрочка! Я люблю тебя! Я же люблю тебя, Юрочка! Господи, я так тебя люблю... Юрочка...» Юра мёртвыми глазами упёрся в её толстенные протянутые руки, долго так стоял — не слыша, не видя, словно и не дыша... потом вздрогнул и медленно вышел, оставив дверь открытой. Через пропасть мёртвого времени, через вечность, тяжело опираясь о стену, Лиза поднялась и закрыла дверь, словно крышку гроба над

собой захлопнула, навсегда запершись от чувств, желаний, от жизни. И каждую ночь стал сниться ей мучительный кошмар, в котором страшный, безумный Юра целился в неё на лестничной площадке, а она, наваясь всем телом, всё закрывала и закрывала медленную, тяжёлую, тугую дверь и всё не могла закрыть, и беззвучно внутрь живота кричала, и руки больно таяли, и всё не могла, не могла закрыть... Через месяц Юра обменял квартиру, и вся семья переехала.

IV.

Арнольд после несчастного случая сильно изменился. Весёлый злой авантюризм слетел с него, как шляпа в ветер. Вдруг стал он много читать, и везде в книгах находил он себя, свой характер, судьбу. И часто, до ломоты натрудив за день одинокую руку, сидел у окна, думал о чём-то своём, вспоминая жену и Светку, и, что самому ему было странно, — всё чаще вспоминал Лизу; не то, чтобы каюсь или мучаясь совестью, а как-то светло, чуть не с нежной жалостью, чуть не с улыбкой... И в открытую сырому хлёткому снегу форточку голубым душным паром вылетали Арнольдовы мысли и, прозрачно густая на холоде, поднимались над городом, встречаясь, сталкиваясь и переплетаясь с такими же невесомыми призраками, уносящимися из Лизино окна, и Светкиными, и Юриными, и сотен тысяч других неизвестных жителей, из холодных и тёплых, уютных и запущенных каменных пещерок, исходящих одиноком воем и плачем, и горьким сожалением, и жалостью к себе, и неумением, невозможностью оборвать, остановить эти горестные песни и тяжкие мысли... Арнольд и сам не мог бы сказать — надеялся ли он на что, сожалел ли о чём, но всё чаще и упорнее думалось о Лизе, всё нежней вспоминалась нелепая доверчивая толстуха... И накануне Нового года Арнольд послал Лизе письмо: если сможешь когда-нибудь простить... и всё такое; но про руку честно приписал, чтоб особо ни на что не надеялась. Адрес и телефон.

Лиза письмо прочла и тоже совершенно неожиданно для себя так сильно обрадовалась! А про руку подумала, что всё справедливо — и месть свершилась, и цел остался, и осознал... И на следующий же день после работы к Арнольду полетела. Запущенная, небранная квартира, растерянный и смущённый Арнольд, в заношенной рубашке, виноватой собакой заглядывающий Лизе в глаза — всё вызвало в ней горькую, мучительную жалость. На жалости и сошлись. Три дня ездила Лиза готовить Арнольду обед, стирать и убираться, а на четвёртый осталась, и стали жить вместе. Узнала Лиза и про Светку, и про перстень, и даже обрадовалась запоздалому чувству вины и тому, что могла теперь объяснить, оправдать своё решение взвалить на плечи несчастного Арнольда. Арнольд настоял, и через два месяца они расписались. И шли дни за днями такой же покойной, размеренной жизни, но как сильно отличались они теперь от прежних пустых и одиноких Лизиних дней! И снова шумела над городом весна и удивлённо заглядывала в счастливые Лизины глаза, и плескала в них зеленью первых листочков и голубыми тёплыми дождями, и улыбочиво радовалась сине-зелёным

Лизиним глазам и целовала в висок золотыми горячими лучами — радуйся, Лиза, забудь мучительный тридцатилетний осенний сон; беги, беги по летним дорожкам навстречу новой жизни, навстречу счастью, удаче, ты выстрадала, дождалась, заслужила!

Но долго ли длится наше неверное счастье? Летом, на исходе бесконечно длинной недели душевной, вязкой пыли, ослепляющего звенящего белого света и выжженной до сухого шелеста, до ломкой трухи травы, в тридцатиградусную иссушающую, сводящую с ума жару, на работе у Арнольда случился инфаркт. Никогда он на сердце не заболит и сначала ничего не понял: думал — поболит и пройдёт, прилёт на вахтёрский диванчик под лестницей, а через час уже поздно было — до больницы не довезли.

Арнольд умер. Лиза одна (да ещё два мужика с Арнольдовой работы) Арнольда похоронила. Особо не плакала, но горевать горевала — хорошо же жили. Месяца через три после похорон сбылась Лизина мечта — поменяла она Арнольдову квартиру на небольшой, но крепкий кирпичный домик недалеко от города. На коттедж. Но ведь ничего не даётся нам даром, уж особенно таким, как Лиза. Выходит — Арнольдовой жизнью она за коттедж заплатила... Сбывшаяся мечта радости не принесла. А ведь такой горячей была, казалось, что ничего другого не надо, казалось, что вот только бы исполнилось, и жизнь будет другой... Там, в коттедже-то... Уйдут печаль и одиночество... А куда они уйдут-то?... Ушёл Арнольд, Бог весть, куда делся Юра, ушла из жизни радость и надежда. И потянулись снова пустые, одинокие дни и сколько их впереди — один Бог знает...

Теперь всё чаще не у телевизора, а у открытого в садик окошка сидит Лиза, праздно смотрит она на старую яблоню, на маленькую клумбу пёстрых цветочков, на далёкий лес и пустое небо. И ни о чём не думает Лиза, ничего не вспоминает, ни о чём не мечтает... И одиноких праздников уж больше не справляет, и заветным перстнем не украшает она больше маленького праздничного стола... Заведённым и забытым механизмом, без радости и огорчений, бесчувственно делает она каждодневную, необязательную, мелкую домашнюю работу — лишь бы чем себя занять; с утра уже устало семенит толстенькими ножками к автобусной остановке и, заняв своё обычное место у окошка, тупо смотрит на мелькающие домики, поля и перелески, с опозданием замечая разницу между летним зелёным и золотым осенним светом; а потом বেশ долгий день механически мажет по лаковым лошадам всё те же зелёные и золотые листики; и уже шумным городским вечером, суетно толкающимся, вспыхивающим и гудящим, с полупустыми вялыми сумками — тот же автобус и те же поля, и мельканье маленьких деревянных и кирпичных домиков, где уже тёплый свет и, конечно, уют и радость дружной семьи, и счастье молодых, и покой стариков; и ни в одном окошке, ни в одном домике нет одиночества, нет тоски и тягостно-бессонных ночей... и только радость, только счастье...

«Ей было тридцать лет, она жила в коттедже дачного типа...»

г. Тверь



Виктор Машнин

Это было в прошлом веке

106

Дни традиции

Я и моя дочь

Недрузгов у меня немного, но они настоящие ...
Пришёл Дед — мой отчим — бросил окуроч в кабинетную печь, на ворох разорванных черновиков — дым повалил в дом. Это так естественно! Когда от него — дым не в трубу, а в дом.

Он пришёл не один. Привёл трёхлетнюю Лёну из садика. Пока я на работе, она живёт у моих стариков.

Дочь суетливо сбрасывает пальтишко, хватая ложку, садится за йогурт; рву из старой пелёнки сатиновый передничек.

«Папа, я у тебя совсем останусь? Я у тебя всегда останусь?..»

Лена проверяет меня на ответ, внимательно смотрит в моё лицо.

Я молчу. Дел укоризненно курит в форточку. Циклон гремит на дворе железом.

— Останешься, Лена.

Забывтый Дед бесшумно утекает из дома.

— На дворик пойдёшь, Леночка?

— Не пойду. Я дома останусь. У тебя. — На детском личике опять паника

...Наконец, соглашается. Но возвращается быстро. Отыскала ржавую копейку, эпохи позднего Ельцина. Взрослые такие деньги не находят.

— Мы шоколадку покупать будем?

— Конечно, деньги теперь есть!

Садимся на велосипедик, по деревенской улице едем до магазина, издерживаем сотенную. За столом Лена отдельно, на табурете. В яркой упаковке фруктовый рулет. Ей ещё слово отыскать надо — как называется-то.

— Я тоже бананчика хочу!..

Слово случайное, она понимает. Но маленькая беда: сказала, не тыкая ложечкой.

— Давай-ка, папа себе отвалит немножко. Папа ведь у тебя как ребёнок.

— Нет, ты как папа... — важно поправляет дочь.

А потом водит пальчиком по шоколадным клеткам (сродные сестрички-школьницы научили за лето делить шоколад на всех).

— Папа, няня Света, Саша-большой, тётя Таня, папа, баба, папа...

Тихонько подсказываю, со скрипом душевным: «Дед». На шоколадной иконке — её святые.

Она повторяет дважды, сомнительно и утвердительно:

— Дед... Дед.

Вечером, засыпая, дочь задумчиво гладит мою небритую щёку. Святого человека по имени «мама» она не знает.

Воспоминания

Лена перебирает в коробке игрушки. Добывает со дна свою погремушку.

— А это чейетто?

Не может понять: зачем она здесь? Без ушей, без лапок, без колёсиков. Может, папины *вещи*?.. Синие шарики в яркой пластмассовой рамке.

Объясняю: когда Лена была ма-аленькой, вот такой, с линейку, этими шариками играла — вот так! Вот так!

Откидываю голову, как младенец, и машу рукой. Лена что-то вспомнила. Или я отыскал природную, заложенную в нас пружинку-движение. Теперь не отпускает погремушку. Играет в себя, маленькую, девятимесячную.

Утром, едва открыв глазёнки, она просит: «Папа, можно я с дядей Жуком поздороваюсь?» Долго не могу понять: что за новый житель?

Когда выходим, бежит к железной клетке и машет кролику ручкой. Потом идём в садик.

Вчера я совершил поступок, на который способен только ребёнок. Всех кроликов отпустил на волю.

Они обживают «графские развалины» — уложенный в кучу на дрова старый сруб. Во дворе я всякий раз растерянно останавливаюсь: население заячьего замка при появлении хозяина привычно беспокоится. В полутёмных щелях, как летучие мыши, мелькают ушастые головы.

Лена прыгает от радости. По крыше заячьего замка, кокетливо подбрасывая задом, носится перед ней теряющий ключьями летнюю шерсть вожак — Дядя Крёлик Жук!

В углу двора растёт кем-то посаженная волчья ягода. Она очень ядовита. Кролики всеядны, прошлой зимой они запросто съели пластиковый китайский мешок. Но выдрать эту напасть мне что-то мешает.

Что с этой ягодой делал бывший хозяин? Варенье для врагов варил? Подмешивал отраву в засахаренную малину?

Навьюченным верблюдом шагаю в темноте по октябрьской грязи. Чавкает под сапогами. В каждой лужице — по огоньку.

На шее мой маленький бедуин. На грудь свисает матерчатая сумка с бутылкой молока и игрушками.

Лена смотрит на небо. Отличает, где там лампочки горят, а где звёздочки. Навстречу бежит серый волк. Пусть бежит, ему в лес надо.

В сырой тишине Лена кричит «Пока!» ребятишкам и старухам в домах.

Ближе к дому. Уже знакомые звери — собаки, кошки. Замечаем прыгающую тень.

А на следующий вечер всё повторяется. Бедуин на том же месте толкает ножками в грудь: Крёлик! Дядя Жук!

Из рассказов про Мырчиху

Мы живём с маленькой дочерью. Вечерами с ней долго разговариваем. В моей памяти открываются какие-то потаённые шлюзы. Я впервые в жизни вспоминаю то, что было со мной в её возрасте.

Мама с зимней сессии привезла самолёт. Я проснулся случайно. Квадратную коробку распечатали. Достали холодную игрушку.

А он летает? — спросил я.

Летает!

Потом я уснул. И мне, наверное, что-то снилось. Утром самолёт не полетел. Сломался, наверное.

А в магазине летал, — сказала мама. Вот так — над прилавком.

И я помнил и помню до сих пор, как ночью под нашим низким потолком кружился железный, даже без пропеллера, самолёт!

Иногда меня приводили в избу к прабабке Мырчихе. Вместе с Мырчихой жила большая семья её младшей дочери тёти Августы.

Прабабка Мырчиха была набожным человеком. Подумала не то, вспомнила некстати, зевнула, нетактовское слово выскочило... Её рука с тремя сжатыми перстами не уставала накладывать на грудь крёстное знамение.

На божничке у прабабки стояли иконы. На тусклой доске я однажды увидел головку Артурика из нашего детского садика.

К Мырчихе приходили старухи. Важные, в длинных юбках, цветастых платках. Они садились за самовар, пили чай из блюдец, клали наколотый сахар, смотрели на блюдо с шаньгами и степенно разговаривали.

Одна старуха рассказывает. А пошла она в лес по ягоды. А попался навстречу нехороший мужик — Горев. Он церковь зорил, колокол стучивал. А осенила себя крестом старуха, и обратился мужик в кабана противного, и бросился с хрюканьем в чашу непроходимую.

Разволновались старухи. Руками машут, как крыльями — ветряные мельницы. Но едва успокоились, Мырчиха заговорила:

— Моя икона на Успенье... мух ловила!

Над столом опять появляется ветерок.

... в моём доме летает самолёт, в избе у Мырчихи Спаситель ловит мух.

Долго ли — коротко... Мамин брат, дядя Володя, привёз домой — в избу Мырчихи — два чуда из чудес: жену-москвичку и телевизор.

В галифе из чёртовой кожи и латаной телогрейке, пропитанный духами, пахнущий водкой дядя Володя взял ружьё, пошёл в сарай, раздался выстрел.

Матёрый прабабкин хряк полежал немножко с окровавленной мордой и заорал на дядю голосом нехорошего мужика:

— Ты ково делаешь?!

Началась паника.

Свирепеющий дядя кинулся к патронташу. Восьмилетний Витька выхватил из-под мышки длинный кухонный ножик, как саблю. А я и жена-москвичка, как при бандитском налёте, спрятались на сундук, за спину прабабки Мырчихи. Оказалось, что Витька из патрона навыволупывал дробь для поджига. И досталось в ухо хряку пыжами от валенка.

...Москвичка Мырчихе не понравилась: корову доить не умеет, чугунки чистить — не нравится! Её отправили обратно.

Дядя Володя после Москвы уехал покорять север. А телевизор остался. Это был первый телевизор в нашем посёлке.

На кухне меня поймали за руку. В открытой яме было шумно. Огурцы на Витькиной шабале шевелили попками и сваливались обратно в бочку. Редкой картелью летел из ямы огуречный рассол.

Дядя Яков на низеньком табурете у печки дёрнул рукой как ошпаренный. И Силой Небесной навис над дырой:

— Че там у тебя?

Витька, наверное, вывихнул шею от окрика.

— Опять сорвался! — испуганный, он показал отцу мокрую шабалу с дырками в форме пятиконечной звезды и лучей.

— Ты забыл, че там висит?! — прогремел дядя Яков Боженкой.

Солёный мокрый Витька затих. Вспоминал. До-олго. Как нечитанный параграф. Вытянул губы трубочкой. Взгляд затуманился, но голова отца не исчезала.

— А что висит? — спросил я дядю Якова свободно.

— А икона для неслухов. Только не молятся почему-то!

На голой стене суровым украшением висел изношенный офицерский ремень с железной пряжкой и заштопанном следом от немецкой пули.

Тётке Августе было четырнадцать, когда единственный сын Мырчихи, дядя Коля, поехал на Тракторный, на вечерку. В барачном посёлке дяде Коле воткнули нож в спину. Тюленью шубу с несоскобленной кровью убрали. Теперь тёте Клавдии за сорок. Тюленья шуба отыскалась. Её забросили на полати, к стареньким польтушкам. Однажды я просил:

— Дяденька Витенька, покажи... ну, покажи мне дырку от ножика...

Но восьмилетний мой дяденька куражился:

— И смотреть не-ко-го и вставать мне неохота... Мама запаниковала:

— Не показывай. Смотри не показывай!

Меня срочно эвакуировали с прабабкиных полатей.

В избе у Мырчихи, из разговоров я узнавал, как в свирепый голод — однажды! — слепой старик на дороге зарезал мальчика-поводыря, чтобы съесть его. Как у Мырчихи отбирали полторы избы, её на санях увозили на кулацкие выселки... Зимовали в сарае, рядом с коровой, без чая, без печки. Но сундучное имущество — и тюленью шубу, и тусклые доски икон ей тогда сберегли татары.

Спички древнего человека

— У бабки спичины лежат, от древних людей остались, они костры разжигали.

Ещё картинка была — люди мамонта встречают. Хотел показать ей картинки. Может, признает кого их наших — деверя там, свата какого... А она — «В книгах черти»... И на сундук уползла...

Светило солнце. Искрылся снег. С восьмилетним Витькой мы сидели на саночках посреди широкой дороги.

Ножку я вытянул, другую согнул, ручки положил на коленочки, как старичок, Никита Павлович. Я жалел сейчас, что нога у меня не деревянная, с круглым, чёрным галошиком на конце.

По-доброму так, с прищуром, посмотрел я на умного своего дядюшку, и спросил:

— А трамваи были?

— Да ты тёмный совсем, — подпрыгнул Витька. — Трамваев не было. На лошадях ездили, в бричках... Пошли, поп, мне скорее надо.

На дяденьке детская солдатская телогреечка. По снегу за ним волочились большие варежки — шубинки. А я — в пальто! В таком тяжёлом и толстом, что всегда хотелось взять ножницы и посмотреть — что там внутри?

У ворот мой дяденька сказал:

— Сей-час бе-ги! Тимошка догнать не успеет — и не укуси! У нас все гости до крыльца бегают.

Я стоял весь в снегу. Нос в испарине. Шапка с резинкой вокруг головы сидела боком. Обронённая варежка воткнула сади за воротник.

Витька пихнул саночки, и меня

— Смотри не падай!

Наступила ночь.

Отгоняя бесов молитвами, поднялась Мырчиха. Скрипнул сундук, потом половицы: одна-вторая, одна-вторая, зашаркала на кухню.

Из клубящейся темноты на мою подушку что-то прыгнуло. Черти лохматые, и пахнут ночным ведром... А пахло тройным одеколоном.

Двойняшка — Витькина сестрёнка через меня дотянулась до плеча матери.

— М! — коротко и громко сказала тётка Августа во сне.

— Бабка военные спички понесла! — отекала ябеда.

Тётка просыпалась — медлила, зевала. Двойняшка вздрагивала, будто кто её щипал.

Никола зимний... Молиться будет.

Она ещё вчера сундук открывала...

Девочка положила руку на руку, с вытянутыми ладошками, на высокую подушку и на моё лицо.

— Витька, стихотворение выучил? — наконец, вско спросила тётка Августа.

Локоток заездил по моему носику.

В полном разгаре страда деревенская,
Долюшка русская, долюшка жён...

— Нет, не выучил. Он за этим ходил.

Локтем ткнула в моё лицо.

— Целый день ходил?

— Весь день!

Я заморгал, касаясь ресницами её тёплой кожи. Двойняшка почесалась, и положила руки на место.

— А Серёжка Куприков сказал, что у кого Ленин... Владимир Ильич...на груди выколот — тех не расстреливают...

Молчание

— А наш Витька сказа-а-а-л... Витька сказал... Что октябрятскую звёздочку на ж..пе носить будет — на трусы прицепит, его ремнём бить не смогут.

Тётка сматерилась, заворочалась подо одеялом, как медведица в берлоге.

Бабкин внук!

На кухне затрещало. Под треск древней спички Двойняшка исчезла.

— Опять лучиной запахнет! Дымнуху свою вспомнила! — ворчала медведица.

С божнички разлилось мягкое отражение далёкого света.

Пёс прикидывается замерзающим кулаком — стонет протяжно в будке.

Натыкаясь на палки подсолнухов с сухими листьями и... головами, мимо чучела в её собственном истлевшем платке, по наметённому снегу, через весь огород, бредёт Мырчиха.

За баню, с кусочком болота. До ветру.

Выброшенный Цезарь

С мамой и маленьким братиком мы жили в пристанционном посёлке. За окнами — днём и ночью — поезд.

Несущийся поезд — это кочующее землетрясение, почти природное явление. Уборка в доме начиналась с замазки осыпавшейся печи белой татарской глиной.

Мама привела домой закутанную в платки Мырчиху, потом ушла на работу...

Старуха приманила конфетой двухлетнего братца и пояском перехватила ножку, другой конец верёвочки привязала к ножке кровати, аки телёнка на полянке, к колышку. И легла спать.

Возмущённый братец орал так, что мама должна была услышать его на заводе. Как я тогда хотел, чтобы папа поскорее возвращался из армии!

Но папа не ехал. А привезли старухин сундук (на кровати спать не умела).

Потом появились в доме иконы...

Он приехал, когда я ходил в первый класс.

Дети предвидят события чаще, чем взрослые.

В тот осенний серенький денёк меня не могли отогнать от будильника.

Взрослым сказал: жду папу! Они не ждали, а я — ждал!

Наконец, пришла обеденная электричка, и случилось чудо: на привокзальном бугре появился он.

Моя радость продолжалась сорок минут. Ещё оживлённая мама сидели за столом. Мырчиха подозрительно поглядывала на меня: всё не могла решить, кто я — ангел, или сатана!

А он молча встал... и пошёл. В сени, во двор, за ворота. Чтобы поспеть на обратную электричку.

Отчим женился. И приезжал в наш дом за какими-то бумажками.

В ранце — букварь, деревянная ручка, чернильница, завернутый в газету кусок с прослойкой из засахаренной смородины. Моё долгое путеше-

ствии до школы по длинной заснеженной улице Железнодорожной.

В тот год полетели в космос Николаев и Терешкова. Взрослые засматривались в небо. Кто-то спутник уже увидел. Кто-то боялся, что спутник свалится, и не куда-нибудь, а на его дом.

Смотрел ли я на небо? Не помню. Я только помню, как останавливался и смотрел в окна проходящих пассажирских поездов. Ждал, когда мелькнёт лицо отчима.

А Мырчиха всё так же в пояс кланялась прокопчённым в чёрных избах иконам, разговаривала с небесами. Она неожиданно подобрела ко мне. Я для неё был значительнее, чем космонавты.

До этого дня распаханного сундука я никогда не видел. С появлением сундука в нашем доме я узнал, что существуют нюхательный табак, не только колотый, но и пилёный сахар, индийский чай в желтых коробочках. Коробочки, как матрёшки, складываются друг в дружку и берегутся старухами как наследство.

Из раскрытого сундука пахло травами. Он был заполнен юбками, сарафанами, платками. Старуха выловила на дне, под бельём, узелок из платочка. Долго развязывала три узла, дала мне три грецких ореха.

Достала большой узел. Сжала коленями на полу, как ребёнка... Длинная рубаха, платье, свежий платок, иконка на белой верёвочке — её смертки.

Оторвала от рубахи нитку. В дешёвые тапочки положила свёрнутый поясик — принесла дочь Августа.

И вдруг — кротко, внимательно, наклонив голову — заглянула в мои детские глаза.

Иногда Мырчиха хворала. Она доставала из сундука маленькие графинчики. В графинчиках — водка, а в водке красные, жёлтые или чёрные корешки. Мырчиха принимала водку ложечкой.

Плита шоколада в прочной гремящей фольге дарила старухе власть над маленьким братиком.

...В тот день братика долго одевали. Хлопнула и отскочила дверь в доме. Братик помчался.

Прошло чуть-чуть, На дворе что-то утробно вздохнуло. Дом задрожал. Полетела расчёска с зеркала. Мама шагнула к порогу.

Крытого навеса на поддвора — не было! Он лежал на земле. Напоенная дождями перегонной шапка навеса сломала столбы. Проходящий поезд дрожью по земле обрушил дедову постройку.

Братика мы не увидели. Было тихо. Очень тихо. Зверь вползал в сознание.

Дом был нашим. А на дворе — всё не наше.

Я стоял рядом с мамой.

Я чувствовал, что мама про меня не помнит.

А потом звякнула щеколда. В воротах стоял живой наш маленький Санька!

Мы жили в доме умершего деда. Маме — внучке старухи — было едва за двадцать. Мырчиха без Кузьмы подняла пять девок, но ей было восемьдесят шесть.

В немагазинных платьях до пят, в глухом платке, старуха могла брать без тряпки сковородки с плиты, без варежки драла у ворот молодую крапиву.

Во дворе, кроме навеса, была старая банька. Её никогда не топили. Двери баньки заложили поленницей.

Куры расклевали в ветхом срубе дупло и залезли в баньку. Яйца в гнёздах исчезли.

В то утро я увидел Мырчиху у дупла на коленях. Куры ступали по подолу, ногам, пытались проскочить в дупло, как поселковые тётки в сельпо за свежими пряниками. Она отодвигала их за зобы и продолжала крошить рукой сгнившую древесину.

Наконец, перевернулась с колен, села и застучала палкой по срубам. Я вышел. Мырчиха показала на дыру: «Лезь, батюшко, за яичками».

Моя умершая бабушка Елена Никитична учила с прогулки возвращаться в чистой рубашке... Но я полез, стараясь не попадать коленками в куриные лепёшки.

Яиц в бане было множество. Я находил их в раскрытой печи, в прохуdivшемся тазу, под лавкой. Под моей тяжестью вставали трухлявые половицы, яйца проваливались, светились сквозь щели — в темноте — как белые фонарики.

Банька была куриной республикой. На свободе птица сорила яйцами, где приспело, забывая о гнезде, о цыплятах.

Дупло мы заткнули пеньком. Куры вернулись в гнёзда. Я о бане больше никогда не вспоминал.

Давно нет домика, в котором просыпался пульс от каждого проходящего поезда. Сохранились только воротца, сколоченные в войну вернувшимся хромым из госпиталей дедом. Дед не пожалел кедровой плахи на них.

Воротца широки для входящего человека, они делались под запряжённую в арбу корову или быка.

На нашем месте, в новом доме живёт дядя Володя по прозвищу Мырчик.

Однажды я копал траншею под сарай, звякнула лопата.

Я поднял предмет, который хорошо помнил. Глиняный шоколадного цвета пузырёк ёмкостью на чекушку.

На доньшке клеймо — слова без пробелов и со старинными «ятями»: «РИЖСКИЙБАЛЬЗАМНАСТОЯЩИЙЮЛИЦЕЗАРЬ».

Из хозяйства Мырчихи. Выброшенный цезарь.

Крещенские морозы 2006 года

Ранее утро. На улице минус тридцать семь.

Эмалированные станы. Яркое освещение. Чёрные окна большими зеркалами из древней бронзы. Пассажиры электрички — как на полках холодильника.

Женщина лет пятидесяти, с добрым ленинским прищуром, в шапке церковной маковкой, с нашими железками (в деревенской Шапке Мономаха), держит на коленях развёрнутую бумагу.

Её толстые соседки в шубах — родовитые чернавские казачки — сидят, нахохлившись: носы кверху, пар изо рта, лениво сплетничают.

На ближней лавке, их односельчане, спиной, в пальтишках попроще.

От пустынного вокзала до деревни степью. На гладкой дороге под ураганным ветром — образ

знаменитого полярника. Александр Васильевич Колчак — ... спиной к проруби... на Ангаре...

Когда пятишься на север, битый час, мысли — они, как бы, последние.

Ленка на бегу, в тёплой комнате, читает титры с экрана «тюмень!»

Останавливается, смотрит в телевизор.

— Не-ет! Это не тюмень, это медведь!

Дочь, она у меня в тепле.

А вот и я, совсем маленький. Дядя Яков — машинист паровоза — берёт за руку и подводит к платяному шкафу.

На дверце бантик. Оттопырив мизинец, дядя сначала снял мерку с хвостика. Потом ленточка красиво распускается, дверца со скрипучей музыкой раскрывается сама.

В узком деревянном пенале, на гвоздиках, фронтальная гимнастёрка, щегольские галифе, охотничье ружьё. На скамеечке хромовые сапоги, детское песочное ведёрко, заполненное развесным гуталином.

Рядом с порохом и дробью ружейное масло в бутылочке с соской.

Из этой бутылочки ещё тебя кормили, когда совсем маленьким был!

Я с изумлением уставился на ружьё — на своего молочного брата.

Громадное, суровое ружьё...

... — А цифры знает? — интересуется Таня моей Ленкой.

— До ста!

— А слагает?... Два плюс шесть — сколько будет, девочка?

Дочь молчит. Перебирает пальчики.

Бабушка: «Чё их перебирать? На руке пальчиков всегда одинаково».

Дед, потомок выпускника Ленинградской школы НКВД (медленно и обстоятельно):

— Не всегда-а-а!!! Я лежал в хирургическом в пятьдесят восьмом году — у мальчишки на одной руке было шесть пальце, на другой — семь! Лишние отрезали.

Я, кажется, не чувствую своих обмороженных рук.

...А дядя Яков продолжает хвастаться дальше. Из сапожного хромового голенища он выдёргивает лаковую туфлю:

— Ленинградской фабрики «Скорород» — какая кожа!!!

И сгибает туфлю надвое, так что носик её дотягивается до попки. У меня перехватило дыхание. Н-ну, такого от него не ожидал! Знаю что туфле сейчас неудобно.

Силы небесные... И ни одной машины.

Уже у школы, на островке безветрия, навстречу глубокая старуха Шура Семеркина в фуфайке, голый рукой поправляет платок. Я замечаю на руке старую, ещё сталинскую лагерную наколку.

— Дорога есть? — спрашивает Шура, опираясь на берёзовый бадок.

— Холодно, бабушка — шепчу я.

Шура коротко ответила, улыбаясь морщинистым, беззубым лицом; пошутила:

— Х... с ним, лишь бы не война!

Ночь. Крещенские морозы. За стеной дома храпит мужиком пёс Тимка в конуре.

А за другой стеной, в своей половине, соседка баба Люся на гармонии покойного мужа, на трёх кнопках, тихо пробует Гимн Советского Союза.

Крепость Измаил

Наконец, наступил день, когда он сказал:

— Я возьму тебя, как крепость Измаил!

— Как это? — напугалась Даша Кострова.

Он доложил — как — наизусть, из «Пособия по истории для семилетней школы» (Учпедгиз, 1956 год, стр. 146)

...Взятая крепость, как известно, на три дня — на три ночи оставалась грубой солдатне — для грабежей и бесчинств.

На четвёртое утро, в понедельник, Володенька принял ледяной душ, облил себя «Шипром», надел костюм, нацепил кобуру и ушёл.

Даша Кострова осталась одна. Она чувствовала себя разграбленной и осквернённой крепостью Измаил.

В руках у неё оказался фотоальбом — повесть о жизни полководца.

...Мальчик в армейской форме — первая увольнительная из части.

Москва. Кремль... Царь-Пушка.

На чёрно-белых фотокарточках Владимир — один у Царь-Пушки, с девушкой — у Царь-Пушки.

...С группой девушек в одинаковых платочках: двадцать семь ивановских ткачих и погибающий в море женского внимания...

Красавчик!!!

Советский солдат!

...У Царь-Пушки!

Акробатка под куполом, вцепившись зубами в какую-то губку, висела пойманной в Волге на крючок промысловой рыбиной.

Она отложила фотоальбом. У настенного зеркала подняла низ маечки до плеч. Поворачивалась вправо, поворачивалась влево — и восхищённо вздыхала:

— Вот это да! Вот это да!

Кот и Куракин по прозвищу Князь

В очередной приезд в родительский дом он по обычаю спросил:

— Кто родился, кто помер?

Соскачивая на шёпот, Лариска сообщила:

— Маринка Грачёва триппер поймала!

...Мальши стояли у забора, у дома Маринки, и смотрели в щель: когда появится знаменитость! Вся деревня с азартом мыла руки.

Он сказал:

— Триппер — эт-та кличка квартирной собачки... А нич-чо страшного! Я тоже, в общем-то... в год смерти Высоцкого... н-ну, посвящён... «куда!!!»... в матёрые мужики... аптекарша Света... сволочь!

— Шампанское будешь? — спросил он сестру-старшеклассницу.

На дворе Князь испуганно прижался к сеням — раздался шорох на сеновале.

Ну, кто там! Домовой или индеец — он щёлкнул предохранителем в кармане.

Вылез кот, одичавший за лето.

...Кот лежал на боку, в своём тигрином логове — в высокой траве, лакировал языком шоколадные

подушечки своей когтистой лапы и — в упор, сквозь щель в заборе, смотрел Князю в глаза.

— Мечтать не вредно, мой юный друг! — произнёс Князь, и присел у глыбы кустарного мыла из времён Перестройки, с пятнами мелких орнаментов от мышинных зубов и следами от топорика. — Да-а... дом... Лошадка, раскрашенная под «дымку»...

Он достал пистолет.

— Качалка! — деревянный конь с уздечкой...

И мысли опять — как пена шампанского:

— Такой же был у отца русского романтизма... Василь Андреича Жуковского в зрелые годы.

...Туда-сюда... «Увы! Светлана...». Средства от тучности!

На квартире в зимнем дворце.

— Шампанское будешь? — внезапно спросил он кота. В этой деревне шампанское не пили.

Тишина.

Грохнул выстрел.

Родина

Мысли

Внушительный прокопчённый Танкоград. Гигант первой промышленной Пятилетки.

...Ночью на дежурстве не спится: мелкие индустриальные скорпионы с крылышками — комары! В деревне таких не бывает.

И мысли в голове, почти ископаемые, чьи-то не мои:

Скорей бы коммунизм! Комаров не будет — выведут!!! Тут разве заснёшь?

Память

Осыпаются кленовые вертолётники на старый снег — февральский урожай.

Солнце выше, у каждого вертолётника появляется свой окопчик.

Их накрывают мокрые бураны.

И — я вспоминаю о них, пересекая пришкольную полянку, как иногда вспоминаю о зимующих ёжиках.

В гостях

Был в двух домах. Жёсткие рукопожатия горожан и горожанок. На столе чёрная икра, гантели в спальне.

Детсадишная история

В сончас Маргарита Алексеевна крадущейся кошкой на утреннике покинула спальню.

Я открыл глаза и вернулся к созерцанию собственной жизни. На Маргарите Алексеевне собрался жениться.

...Жила она вдвоём с дочкой, худенькой длинноногой девочкой, которая спала здесь же, через коечку, Иринкой.

Я с тяжёлым сердцем подумывал... Что — и на Ирке потом жениться придётся.

Но сначала — на Маргарите Алексеевне.

На малой Родине

Законопаченная снегом дорога до кладбища. Только один следок — от валенок. И ещё заячьих следы.

Как хорошо — все живы!

г. Челябинск



Тамара Гончарова

Эти глаза напротив

Роман и Юлия

По большой поселковой школе упорно ползли слухи. Героями этих слухов стали молодая учительница немецкого языка Юлия Петровна и ученик выпускного класса Роман Красин. Юлия Петровна, по убеждению девчонок-старшеклассниц, была уже пожилой — ей шёл аж двадцать восьмой год! А Ромке перед Новым годом исполнилось восемнадцать. Вот с новогоднего праздника всё и началось. В школе было традицией устраивать новогодний бал-маскарад в здании начальной школы, где находился просторный актёрский зал. После окончания второй четверти, в последних числах декабря, наряжали громадную разлапистую лесную красавицу ёлку — по очереди для младших, средних и старших классов. Украшали ёлку всей школой: к стеклянным игрушкам добавляли изготовленные учениками из цветной бумаги «китайские» фонарики, длинные цепи и гирлянды, «снежинки» из ваты, прикрепленные к потолку, и много чего ещё выдумывала детская фантазия. На празднике проводились разные конкурсы, работали «почта» и буфет. Приходить на бал нужно было обязательно в карнавальных костюмах и масках, на что ребята были очень изобретательны. Весь новогодний вечер играл школьный оркестр. А танцевали вокруг ёлки все: и директор школы, и учителя, и ученики!

И вот тридцатого декабря настал черёд бала для старшеклассников. Лютовавшие весь декабрь морозы, наконец-то спали, потеплело. Небо затянуло тучами, начинал понемногу падать снежок. Обрадованные переменой погоды и ученики, и учителя явились на праздник все до одного. Юлия Петровна пришла на ёлку со своим мужем, учителем биологии Юрием Юрьевичем. Рядом с высоким грузноватым мужем миниатюрная, с тоненькой талией Юлия Петровна выглядела ученицей. К тому же в качестве маскарадного костюма она надела школьную форму — коричневое платье и белый гипюровый фартук, а заплетённые в косу пушистые каштановые волосы её украшал огромный, тоже белый бант. И хотя лицо её закрывала маска, всем было понятно, что это Юлия Петровна, ведь ни у кого во всей школе не было таких больших, лучистых, словно с удивлением смотревших на мир глаз. Шла она под руку с Юрием Юрьевичем — его-то узнали все сразу, не смотря на маскарадный костюм. Внимание на неё обратили все старшеклассники — и девушки, и юноши. Девчонки зашептались, а когда начались танцы, к ним подлетел рослый, крепкого спортивного телосложения «Д'Артаньян» в маске, крагах, в огромной шляпе с пером и со

шпагой на боку: «Разрешите Вашу даму пригласить на вальс!» Все, кто не танцевал, только и смотрели на эту пару! А «школьница» и «мушкетёр», в котором она, конечно же, узнала Ромку Красина, весь танец о чём-то оживлённо разговаривали и весело смеялись. Роман держал руку Юлии Петровны в своей руке, второй обнимая за талию, смотрел близко в её глазницы, — и заходило его сердце! И пропал парень! Дед Мороз в подарок на Новый год принёс Ромке его первую, юношескую, пылкую любовь! После танца он отвёл даму к её кавалеру-мужу и галантно раскланялся. За вечер «Д'Артаньян» приглашал Юлию Петровну ещё несколько раз, а «почтальон» принёс ей записку, которую она, прочитав, смяла и спрятала в кармашек фартука. И тоже завьюжили-закружили её изящную головку этот вальс на новогоднем балу и юный красавец-«мушкетёр» со шпагой и в широкополой шляпе с пером. Как он отличался от её мужа — спокойного, деловитого, хозяйственного Юрия Юрьевича! А ей всегда хотелось чего-то возвышенного, нежного и романтического! Когда после праздника Юлия Петровна возвращалась с мужем домой, на улице уже каруселью кружились крупные хлопья снега, засыпая всё вокруг: дорогу, дома, прохожих. И под музыку, которую слышала только она одна, Юлия Петровна тоже закружилась: «Плавно Амур свои волны несёт...». На неё с улыбкой оглядывались прохожие, а Юрий Юрьевич смотрел на свою жену и не узнавал её! Они были женаты четыре года, но вот такой он не видел её никогда.

Так и начался этот необычный для того времени роман. Это сейчас женщины-знаменитости выходят замуж за молодых людей, по возрасту годящимся им в сыновья, а тогда... А тогда местным Ромео и Джульетте, как вскоре окрестили школьные остряки Романа и Юлию Петровну, пришлось несладко. Если Ромке приходился почти ровесником Ромео, то Юлия Петровна была ровно в два раза старше шекспировской героини — Джульетты. Да ещё у неё был ребёнок — трёхлетняя дочка. Но ни он, ни она об этом поначалу и не думали! Ромка назубок выучил расписание уроков немецкого языка, которые вела Юлия Петровна. После звонка с урока он всегда почему-то оказывался возле того класса, из которого она выходила (тогда ещё не было кабинетной системы, как сейчас). А Юлия Петровна вдруг стала вести дополнительные занятия по немецкому языку в Ромкином классе. Ромка, конечно же, ни одного из этих занятий не пропустил, хотя раньше особой любовью к языкам не отличался. И где же ещё,

кроме как в школе, могли встречаться влюблённые? По улицам посёлка, где все друг друга знали, как родственников, им вместе не пройти. В Дом культуры на кинофильм — тоже не пойдёшь, там всё те же знакомые лица. Оставалась школа. Но и здесь они стали чувствовать на себе то любопытные, то завистливые взгляды и шепоток за спиной. Особенно старалась Людка Сидорова, одноклассница Романа, в которого она влюбилась ещё в девятом классе. Уязвлённая, она просто преследовала его и тут же сообщала новости всему классу. А вскоре эти новости узнавала вся школа, потом и весь посёлок. И что на восьмое Марта купал Ромео кому-то (а кому — конечно же, своей Джульетте!) флакон самых известных тогда духов «Красная Москва». Об этом разболтала Люде её тётка-продавщица магазина. А на день рождения принёс он в школу Юлии Петровне закутанную в толстый слой газет цветущую герань в горшке, а в те времена зимой, да ещё в сибирской глубинке о живых цветах и мечтать не приходилось! Дошли известия с помощью «доброжелателей» и до родителей Ромки, которые сначала и не поверили этим невероятным слухам. Мать немедленно поступила с расспросами к сыну: «Ну-ка, дорогой сынок, расскажи матери, чем ты в школе вместо учёбы занимаешься?» Когда он в ответ нагрубил, она «отходила» его полотенцем. Здоровяк Ромка только расхохотался, а мать расплакалась: она, наконец, поняла, что сын её уже не ребёнок, и полотенцем тут теперь не поможешь. Он повзрослел, а ей всё ещё хотелось считать его мальчишкой, хотя он уже брил усы. Дипломатичный отец сказал Ромке: «Сын, я сам был молодым и понимаю тебя. Я прошу только об одном — чтобы ты всё-таки сначала окончил школу, а там уж как хочешь». И если Ромка относился ко всему этому довольно терпимо, то Юлия Петровна стала чувствовать себя под любопытными взглядами неуютно.

Как-то незаметно пролетела, хотя и самая большая, третья четверть, наступили весенние каникулы. На улице пригревало мартовское солнце, сугробы осели и набухли водой, пела песенки капель, к полудню начинали разговаривать ручейки, слышались крики играющих на улице детей. А Роману, хотя и наметил он за каникулы прочесть гору книг, что-то не читалось. Вечером приходили друзья, звали с собой: «Айда в дк на танцы!» Он собирался, шёл вместе с ними, но танцевать ему не хотелось, как ни крутилась около него Людка Сидорова. Старые друзья не узнавали своего атамана и заводилу с детских лет Ромку. Уроков в школе не было, и поводов встретиться ему с Юлией Петровной не стало. Но всё равно Ромка бродил по школьному двору в то время, когда она шла на работу. И когда она возвращалась домой, он поодаль шёл следом. Роман тосковал и не знал, что можно предпринять, чтобы видеть её чаще. На работу и с работы Юлия Петровна обычно шла с мужем, как под охраной. Ромку до бессонницы мучила ревность. Он возненавидел Юрия Юрьевича, про себя называя его милиционером. Влюблённому Ромке невыносимо было представлять свою Юлю, как он мысленно называл Юлию Петровну, вместе с её мужем. И он решил объяснить, причём, не только с Юлией Петровной,

но и с Юрием Юрьевичем. Подсторожив Юлию Петровну по дороге в магазин, Ромка, весь багровый от смущения и заикаясь, признался: «Юлия Петровна, Юля, я Вас, тебя люблю! Я тебя люблю и предлагаю выйти за меня замуж! И Вашему, твоему мужу я то же самое скажу!» В это время мимо них шли прохожие, и Юлия Петровна не смогла ничего ответить Роману, который, и не ожидая ответа, быстро ушёл. Подробностей выяснения отношений Романа с Юрием Юрьевичем не знал никто, даже всезнайка Сидорова. И как они играли свои двойные роли — учитель и ученик, обманутый муж и влюблённый в его жену юноша — осталось неизвестным, зрителей не было. Ни освистать, ни вызвать на «Бис!» было некому. Важна была развязка этой драмы — семья распалась. Юрий Юрьевич, не смотря на спокойный характер, не смог перенести такого унижения, чтобы какой-то сопляк отбил у него жену. Директор школы не очень-то хотел выносить, так сказать, сор из избы, потому что у него у самого учился в этой же школе внебрачный сын от бывшей секретарши. Но замолчать эту историю не удалось, потому что всё те же «доброжелатели» уже сообщили в РОНО о «форменном безобразии, творящемся в школе». Никто также не знал, что происходило между мужем и женой дома, но как «прорабатывали» Юлию Петровну сначала в кабинете директора школы, потом на педсовете, потом приехавшая дама из РОНО, знал весь учительский коллектив. И что учительница немецкого языка уронила честь педагога, и что подает дурной пример детям, и что разрушила свою семью, оставив ребёнка без отца, и что сломала судьбу Ромки. Такая же «работа» проводилась и с ним: что он не окончил ещё школу, что разрушает своё будущее, и что всё равно он с ней жить не будет, ведь она старше его на девять лет. Из райцентра, где он занимал высокий для района пост, даже приехал для уговоров дядя, чтобы повлиять на влюблённого племянника. И вся вместе «общественность» добилась-таки своего. Из посёлка вместе с маленькой дочкой неожиданно для всех (а может, и для самой себя!) уехала сначала Юлия Петровна, и никто не знал, куда — она никому не сообщила и ни кем не переписывалась. Прислала только короткое единственное письмо Роману, но оно, конечно же, попало в руки матери, а сын о нём даже и не узнал, а значит, и не ответил.

А следом родители увезли и Ромку, пристроив у дяди в райцентре оканчивать школу. Упрямый Ромка пытался, как мог в то время, искать Юлию Петровну: писал в областной адресный стол, в соседние области. Отовсюду ему отвечали: «Прописанной не значится». Видимо, уехала куда-то далеко, чтобы не встречать никого из знакомых, а может, чтобы всё забыть. Только она пока не знала, что для этого нужно не только расстояние, но ещё и время. Юрий Юрьевич, которому многие в посёлке сочувствовали, закончив учебный год, переехал в большой город. Говорят, работал преподавателем техникума и завёл другую семью. Роман после окончания школы уехал в областной город и поступил в институт иностранных языков на факультет немецкого языка. Окончив его, получил направление в тот самый райцентр, где

жил его дядя. Работал сначала учителем, а потом и директором школы, которая в районе была не на последнем месте. Долго оставался холостым, а когда нашёл себе жену, родственники увидели, что она чуть ли не копия Юлии Петровны. И родившуюся дочку он назвал Юлей. Но, хотя и любил он свою дочку, семейная жизнь у него так и не сложилась. Видно, оказался Роман однолюбом.

Известно, что первая любовь никогда не бывает счастливой. Но тогда почему все, кому повезло встретить в юности такую любовь, помнят о ней и в зрелом возрасте, и даже на склоне лет? И пишут письма в передачу «Жди меня», чтобы объявить на всю страну и её окрестности, что до сих не могут забыть и любят её — свою самую первую, самую прекрасную, самую светлую любовь. В одной из телепередач показали однажды и нашего Ромео — седовласого уже Романа Красилина. Отзовётся ли теперь, откликнется ли его Джульетта — Юлия Петровна?

Эти глаза напротив

Наталья Петровна поднялась по ступенькам тамбура и нашла в вагоне своё купе. Там высокий парень, достав с верхней полки и раскатав матрац, свёрнутый рулоном, говорил щупленькой старушке: «Телеграмму деду я дал, он тебя встретит, не беспокойся насчёт чемодана. На праздник я с ребятишками приеду, ждите. Ну, бабуля, всего тебе хорошего, не скучайте там, деда обними за меня!» Он поцеловал бабушку, вышел из купе и вскоре уже стоял под окном, прощально взмахивая рукой. Объявили отправление, и поезд «Москва — Лена» тронулся. Старушка тоже помачала парню из окна и вытерла слёзы: «Вот, выросли с дедом внука, мать-то его бросила, а у сына другая семья. А он сейчас нас с дедом всё в гости зовёт. Да часто ездить уж не можем — возраст». Потом постелила постель и вскоре, повздыхав, легла спать. Заканчивалась зима, но до отпускного времени было ещё далеко и пассажиров было немного. Вагон шёл полупустым, и они со старушкой так и остались пока в купе вдвоём. Наталья Петровна сидела за столиком и смотрела в окно. Отразившись напоследок в зеркале купе, угадали лучи солнца, спустились сумерки, на станциях засветились фонари. Женщина думала о завтрашней встрече со сводной сестрой, которую она не видела уже пять лет — со дня смерти матери. Жили они сейчас в соседних областях, но как-то так сложилась жизнь, что встречались редко. У них была не очень-то дружная семья, от которой и осталось, собственно, всего двое — она да сестра, которая жила в Посадске. Там же похоронили их мать, и вот сейчас Наталья Петровна ехала на пятую годовщину её смерти. Она легла и под мерный стук колёс тоже вскоре заснула.

Рано утром Наталья Петровна проснулась от голосов в коридоре вагона. Поезд стоял. Она выглянула в окно — это была узловая станция Троицк. Когда-то в молодости Наталья Петровна жила недалеко от этого городка, и с ним у неё были связаны хорошие воспоминания. Отодвинулась дверь купе, и вошёл ещё один пассажир — мужчина лет пятидесяти, среднего роста. Глянув на занятые нижние полки, он поставил чемодан на место для

багажа, затем снял дублёнку и взобрался на верхнюю полку. Когда попозже Наталья Петровна и старушка поднялись и умылись, мужчина тоже спустился вниз. Проводница принесла чай, и пассажиры сели завтракать. Наталья Петровна уже несколько раз незаметно взглядывала на соседа. Что-то ей в его лице показалось знакомым. Хотя у неё была хорошая зрительная память, она всё же не сразу смогла вспомнить, где его видела. Наверное, это было давно. После завтрака в купе снова вошла проводница, развернула свёрток с билетами: «Так, кто у нас куда едет?» Выяснилось, что все трое едут до Посадска. Наталья Петровна, услышав, куда едет мужчина, вспомнила, что сел он в вагон в Троицке и ещё раз взглянула на него. А сосед предложил, почему-то глядя на Наталью Петровну: «Милые женщины, я не знаю, как к вам обращаться. Давайте познакомимся, меня зовут Алексей Иванович, а вас?» И она вдруг почему-то безотчётно солгала, ответив, что её имя Анна, Анна Петровна. А старушка предложила называть её бабой Зиной: «Меня все так зовут!» Стучали колёса поезда, бежали за окном высокие заснеженные сосны и разлапистые ели. Наталья Петровна смотрела то в окно, то в журнал, взятый с собой в дорогу, но ничего ни там, ни там не видела. Она теперь знала, кто был её сосед по купе, и думала, как же ей теперь быть. Не хотелось ей, чтобы и он узнал её. Последняя их встреча была ещё в молодости, и прошедшее время, конечно, оставило на ней свои следы. И фигура была уже далеко не та, что в двадцать лет, и от уголков глаз разбежались веером морщинки. Правда, и Алексей не помолодел: со лба к макушке уходили большие залысины, а цвет волос на висках поменялся с тёмно-русого на седой. От крыльев носа к уголкам рта пролегли резкие морщины — годы оставили след и на нём. Наталья Петровна поинтересовалась: «Алексей Иванович, а Вы живёте в Посадске или в гости туда едете?» «Живу, и уже давно». «Тогда, наверное, Вы там многих знаете?» «Многих, конечно, но город-то всё же большой, со всеми не познакомишься. Вот и вас с бабой Зиной я там раньше не видел». Наталья Петровна улыбнулась: «Да я живу далеко от Посадска, а туда по делу еду». И неожиданно для самой себя всё-таки спросила: «А Вы с Галиной Ивановой Николаевой никогда не встречались?» Собеседник внимательно взглянул на Наталью Петровну: «Так звали до замужества мою младшую сестру, сейчас у неё другая фамилия. А вы откуда её знаете, вернее, знали, раз по девичьей фамилии называете?» «А мы в молодости вместе с ней в одном детском садике работали, потом она в Посадск уехала». Алексей Иванович, всё так же внимательно глядя на неё, сообщил, что его сестра давно сменила не только фамилию, но и профессию, что у неё двое уже взрослых детей и столько же внуков: «Но что-то я не помню, чтобы у неё была коллега с таким именем. А вот Наталья Петровна была!» — и улыбнулся. Правда, улыбка его была какой-то не очень весёлой. Наталья Петровна покраснела, опустила глаза и не знала, что ответить. Алексей Иванович протянул ей руку: «Ну что, здравствуй, Наташа!» Она в ответ подала ему свою руку, он сжал её, накрыл сверху другой и так сидел, глядя ей в глаза: «Как

ты живёшь? Счастлива? Не хотела мне открыться, имя другое назвала, да всё же не выдержала, выходит?». Баба Зина со старушечьим любопытством смотрела на них: «Так вы что, раньше знакомы были? В молодости? А теперь вот и повстречались? И узнали друг друга? Ну, надо же, как в жизни-то бывает!» Алексей Иванович предложил: «Давай, Наташа, по коридору прогуляемся!»

Они вышли из купе, встали у окна и долго молча смотрели на зимний пейзаж. Деревья в тайге были завалены сугробами снега, но солнце уже светило почти по-весеннему, пригревало через стекло, чувствовалось, что весна, даже и в этих северных местах, теперь не за горами. У Натальи Петровны то ли от солнечных лучей, то ли ещё от чего-то до сих пор горели щёки и, чтобы отвлечься, она спросила: «Галина-то так в Посадске и живёт?» «Так и живёт. Вот недавно встретила случайно твою сестру, тоже еле узнали друг друга. Тебя вспомнили. А вот адрес или хотя бы номер телефона сестры она и не взяла. Я уж рассердился на Галю. И фамилии твоей сестры не знаем. Она тебе не писала?» Наталья Петровна нехотя ответила: «А мы с ней не переписываемся. Вот только сейчас на пятую годовщину мамы созвонились, я и решила съездить». «Да, я знаю, Галя рассказывала, что ваша мать умерла. А у нас сначала отца не стало, потом и матери. Ушли старики... Отец-то поначалу часто тебя всё вспоминал, ему моя жена не нравилась почему-то. Потом уже притерпелся, когда внуки родились. Первая-то у меня дочка, я её Наташей назвал. Так из-за этого жена больше любила сына». Наталья Петровна повернула к нему лицо: «Почему любила?» «А скоро два года будет, как я овдовел. Машиной её на дороге сбilo, лихачей развелось — гаи настоящей на них нет!» Наталья Петровна легонько коснулась его плеча: «Извини!» «Ничего. Ты о себе-то расскажи! Где теперь живёшь, как семья — дети, внуки?» Разом побледневшая Наталья Петровна долго молчала, снова глядя в окно, и снова ничего там не видя. Потом, пересилив себя, всё же ответила: «Живу в Сибирске, семьи нет. Потеряла сына, потом и с мужем разошлись. Профессию тоже поменяла — уже давно. Вот, собственно, и всё». Алексей Иванович снова взял её за руку: «А я ничего этого и не знал». У Натальи Петровны вырвалось: «А если бы и знал, что бы изменилось?» И снова было долгое молчание. Она не хотела рассказывать, что с ней было, когда погиб единственный сын, как долго и мучительно приходила она в себя, да так до сих пор этого и не получилось; как начинал и продолжал свои бесконечные интрижки и загулы муж. И как, в конце концов, однажды не пришёл домой. Но это было, наверное, и к лучшему.

Они снова смотрели за окно, на вспыхивающий искрами под солнцем снег и, когда промелькнула мимо большая поляна, заросшая кустарником, наверное, одновременно вспомнили давний ноябрьский день из их молодости. И они в один голос воскликнули: «А помнишь?» Они оба до сих пор не забыли тот день! Она работала тогда с его младшей сестрой Галиной в детском садике соседнего посёлка. Девушки евушки тала с его младшей сестрой в детсаду, они были г и, наверное, дружили и перед седьмым ноябрём вместе приехали домой.

Утром седьмого Галина пришла к подруге и пригласила её к себе на праздник. Там оказался её брат Алексей, тоже приехавший к родителям. Наталья знала, конечно, старшего брата своей подруги, и они даже друг другу нравились. Как выяснилось потом, это он попросил сестру пригласить Наталью в гости. И вот эти праздничные дни, которые она провела в их семье, ещё больше подружили их и сблизили. Семья у родителей Алексея и Галины была большая, дружная. И в этот день все, кроме родителей, после праздничного обеда вместе с Натальей отправились в соседний лес. Зима в тот год началась рано, уже показала свой сибирский характер морозы, снега в лесу хватало, и все надели валенки. Наталья, которая была в сапогах с коротковатыми голенищами, тоже пришлось забраться в высокие — выше колен — серые валенки отца семейства. Ослепительно — так, что глазам было больно, сверкал под холодными лучами ноябрьского солнца выпавший накануне пушистый снег на поляне. На его белом полотне казались каплями крови ягоды рябины, поклевать которые прилетела стайка малиновогрудых снегирей. В лесу стояла торжественная тишина, но вдруг откуда-то издалека донеслась частая дробь дятла. Снегири вспорхнули, и с веток кисеёй посыпался снежок. Наталья подставила лицо под эти снежинки, а Алексей отломил несколько кистей рябины и угостил её и сестру. Ягоды были мёрзлые и совсем не горькие. Они лакомились этими ледяными ягодами, осыпали друг друга лёгким снегом и хохотали над неуклюжей в огромных мужских валенках Натальей. Алексей помогал ей перебираться через валежины, подавал руку, чтобы вытянуть на горку и не сразу отпускал. Вся компания ушла вперёд, оставив их одних позади. Румяные и весёлые ввалились они все в дом Николаевых, сели пить чай с запашистым смородиновым вареньем. Вечером Алексей пошёл провожать Наталью домой, она пригласила его послушать пластинки: «У меня и Ободзинский есть!» Мать с младшими детьми тоже ушла в гости, Наталья с Алексеем снова остались одни. Ставили одну за другой пластинки, танцевали под их музыку, вспоминали прошедший день. А когда Наталья поставила Валерия Ободзинского, и он спел «Эти глаза напротив», Алексей включил пластинку снова: «Эти глаза напротив, пусть пробегут года, Эти глаза напротив, сразу и навсегда, Эти глаза напротив, и больше нет разлук, Эти глаза напротив, мой молчаливый друг!» И снова звучали, как заклинание, слова певца: «Только не подведи, только не подведи, Только не отведи глаз!» На следующий день Галина снова пришла за подругой, и та опять весь день провела в гостях. Вечером они с Алексеем ходили в кино, он проводил её до дома, долго не отпускал, они снова целовались у калитки.

А потом праздник закончился, и они разъехались. Были письма, сначала много. Потом Наталья стала отвечать всё реже и, наконец, замолчала совсем. И Галина на вопросы брата, что же случилось, отвечала брату как-то уклончиво. Подошёл Новый год, и снова приехала к родителям Галина и к матери Наталья. Но она уже была не одна, с ней приехал знакомиться с новыми родственниками её муж. Они были дома уже утром, а к вечеру

к подруге пришла Галина и позвала к себе домой: «Пойдём, тебя мама звала, очень нужно». Наталья, хотя и удивилась, но всё же, сказав мужу: «Я скоро приду!» — отправилась с ней. Оказалось, позвала её не мать, а приехавший Алексей. Он ничего не знал о замужестве Натальи, и только за три дня до Нового года сестра сообщила ему об этом. С работы его не отпускали, он как-то договорился, билетов на поезд уже не было, он добирался на электричках, потом со станции на какой-то грузовой машине — автобус тоже уже ушёл. Приехал он после смены на заводе, не выпавшийся, уставший, и всё-таки не верящий до конца в то, что написала ему сестра. А дома родные всё подтвердили, но он решил сам поговорить с Натальей и отправил за ней Галину. Видимо, для решительности выпил водки, хотя и был непьющим. Пришедшую Наталью провёл в зал, выставив оттуда младшего брата, усадил на стул напротив себя и, глядя в глаза, спросил: «Это правда?» Она только кивнула головой. Он воскликнул: «Я не буду спрашивать, как да почему — сам виноват, уехал, оставил тебя. Ты ведь не жена мне была, мы просто дружили. Да и Галия хотя бы раньше мне написала, я бы приехал, успел! Но я тебя люблю и не хочу отдавать другому! Давай будем считать, что ничего не было, ты остаёшься сейчас у нас, а потом уедешь со мной! А, Наташа?» Он попытался её обнять, она встала и отошла в сторону: «Не надо, Алёша! Ты просто устал, тебе надо отдохнуть, завтра всё будет по-другому!» «Ты намекаешь на то, что я выпил? Так я немного и для храбрости! Не уходи, садись, послушай! Ты знаешь, я столько мечтал, такие планы строил о нашей с тобой будущей жизни, и вдруг — всё зря! И у нас с тобой ничего никогда не будет, мы будем чужими людьми — вот с чем я не хочу примириться!» «А я-то ничего не знала о твоих планах, мне-то ты о них ни слова не сказал, не написал!» «Эх, никогда теперь не забуду ту песню Ободзинского: «Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз!»

Разговор их был тяжёлым и долгим, но закончился ничем. Наталья ушла домой, через день они с мужем уехали к его родным, Алексей вернулся на свою работу. Когда Наталья приезжала к своей матери, иногда встречала отца Алексея. Он всегда останавливал её, расспрашивал о том, как у неё дела в семье, на работе, всё ли ладится. А вот дружба с Галиной у Натальи оборвалась. Та вскоре уехала в Посадск к брату и не прислала ей ни одного письма. Наталья восприняла это как должное и не обиделась. Поезд, между тем, уже подвозил их к Посадску, оставалась всего одна станция. Алексей Иванович спросил: ««А ты надолго к сестре?» «Да вот взяла отпуск без содержания на неделю, но думаю, что многовато — успею и за три дня. Сестра работает, мне там всё равно делать нечего, уеду домой раньше» — просто ответила Наталья Петровна. Он попросил у неё адрес и телефон её сестры, дал свой номер телефона и адрес, сказал, что позвонит: «Я думаю, что нам надо с тобой поговорить!» И они пошли в купе собираться. Поезд подошёл к их станции, Алексей Иванович помог бабе Зине вынести из вагона её тяжёлый чемодан и вручил его встретившему её деду. Наталью Петровну тоже встретила сестра,

подъехавшая с зятем на машине. Подав на прощание руку Алексею Ивановичу, Наталья Петровна отправилась к сестре. На следующий день они всей семьёй съездили на кладбище к матери, помянули её, сёстры наплакались на её могиле и вернулись домой. Племянница с мужем уехала домой, её мать занялась домашними делами, а Наталья Петровна, сидя перед телевизором, снова вспомнила о своей встрече в поезде. Собственно, она и не забывала о ней. О чём собирался говорить с ней Алексей?

Они прожили жизнь вдали друг от друга, и виновата в этом была она. Это она, когда Алексей уезжал из Троицка, как-то быстро вышла замуж за другого. Она не знала, как сложатся их отношения с Алексеем, а тот, другой, был рядом. Это она не согласилась потом, когда Алексей приехал за ней, бросить своего мужа и уйти к нему. Всё равно он, как она думала, не сможет ей простить, не поверил его словам. Она с мужем уехала, а Алексей долго не женился. И вот, оказывается, назвал свою дочь её именем. Понятно, что его жене это не понравилось, и потому она больше любила сына.

Её мысли прервал телефонный звонок. Подошедшая к телефону сестра удивлённо сказала: «Наташа, это тебя!» Наталья Петровна взяла у неё трубку и услышала: «Наташа, ты не хочешь приехать ко мне в гости? Это не очень далеко, собирайся, я на машине, буду ждать у подъезда!» И положил трубку. Она ничего не успела ему ответить и растерянно проговорила сестре: «Вот, в гости зовут!» Та удивилась: «Ну, ты даёшь! Кто зовёт?» «Алексей Николаев, мы же вчера вместе приехали, в одном купе». «Так это он был вчера на вокзале? А мне некогда было, я и не разглядывала никого, думала, что просто попутчик. Тогда что ты стоишь, собирайся быстрее!» Наталья Петровна развела руками: «Мне и надеть нечего, я ведь по гостям не собиралась ходить!» Сводная сестра была хоть и младше, но всегда более деятельная: «Не переживай, найдём тебе что-нибудь понаряднее!» Пока Наталья Петровна умывалась и наносила кое-какой макияж, та подобрала ей симпатичную сиреневую блузку из своего гардероба: «Помнится, ты этот цвет любила? Ну, и когда тебя домой ждать?» Уже надевая пальто, старшая ответила, что долго гостить не собирается: «Поговорим, молодость вспомним, да и приеду! Перед выездом позвоню». Со двора послышался гудок автомобиля, и Наталья Петровна, махнув сестре рукой и сказав: «Пока!» — закрыла за собой дверь.

Позвонила она часа через два, потом приехала. О чём-то задумавшись, рассеянно отвечала на вопросы сестры. Сказала, что у Алексея снова услышала сегодня песню Валерия Ободзинского: «Эти глаза напротив». А сестра и не помнила, кто это такой и что это за песня. Утром, когда та ушла на работу, Наталья Петровна тоже собралась и прошлась по магазинам. Купила недорогой костюмчик, сходила в парикмахерскую, дома примерила костюмчик перед зеркалом. Вечером за ней снова заехал Алексей Иванович. Так было ещё один вечер, а на третий она к сестре не вернулась. Позвонил он, сказал, что Наталья сегодня останется у него и приедет завтра. На следующий день она, вернувшись, собрала свою дорожную сумку и съездила на вокзал за билетом. Закончился её

недельный отпуск, на следующий день ей надо было уезжать домой. Вечером, когда она сказала, что завтра уезжает, сестра поинтересовалась, что же происходит, что они с Алексеем решили. «Да ничего пока не решили. Он предлагает переехать к нему». «А ты?» «А что я? Боюсь. Боюсь всё бросить — работу, квартиру. Больше у меня ничего и не осталось. А вдруг не сложится — куда я тогда? А дома уж как-нибудь потихоньку. «Дура ты, Наталья, дура! Человек тебе во второй раз предлагает руку и сердце, а ты в свои сорок семь лет ещё капризничаешь! Ну что ты за человек! Тебя муж бросил (лучше бы тебе никогда в жизни его и не встречать!), Алексей вдовец. А квартиру, в конце концов, и поменять можно! Ведь не к другой же он женщине пришёл, а к тебе! А, что с тобой, блаженной, разговаривать!» Сестра сердито махнула рукой и ушла на кухню. Наталья Петровна пришла следом и присела на табуретку: «Ты пойми, когда я замуж выходила, то сама себя не понимала, а муж мне просто мозги запудрил, пока Алексея не было. А когда он вернулся, решила, что уже поздно что-то менять, да и стыдно было перед Алексеем. Вот и плачу всю жизнь по счётам за свою глупость». «Вот-вот, ты всё решила тогда одна, за себя и за Алексея! И сейчас снова наступаешь на те же грабли! Неужели не больно было, когда они тебя по лбу с размаху стукнули?» Наталья Петровна удивилась: «Да вы с Алексеем как сговорились! Он тоже мне сказал вчера, что я думаю только о себе». Сестра только пожалала плечами.

Утром, отпросившись с работы, она поехала провожать Наталью Петровну на вокзал. Там она всё почему-то оглядывалась, словно кого-то высматривая. Они уже подошли к нужному вагону, когда их догнал Алексей Иванович: «Ну, слава Богу, успел! Еле отпустили с работы! Ты, всё-таки, собралась уезжать? Вот, Наташа, при сестре тебе говорю, что люблю тебя и уж на этот раз никуда не отпущу! Сколько можно испытывать судьбу?» Он отобрал сумку у Натальи Петровны, крепко взяв её за руку и повёл, как маленькую, от поезда к выходу в город. Она упиралась, пыталась, было, ему возражать, что у неё билет на поезд, который уже отходит, но Алексей Иванович, не слушая её, говорил: «Один раз тебя послушал, а во второй — уж нет! Дудки! Дети у меня взрослые, у них своя жизнь, сами мне сказали, чтобы я женился! Чего ещё ждешь? Обижайся, не обижайся, а времени в запасе у нас с тобой больше не осталось!»

Он продолжал что-то говорить ещё, Наталья Петровна ему отвечала, но сестра их не слушала. Она шла за ними следом и, если бы Наталья Петровна была ведуньей, то уловила бы её мысли: «А всё-таки, какая я молодчина! Правильно я сделала вечером, позвонив Алексею и сообщив, что Наталья собирается сегодня уезжать». И она победно улыбнулась сама себе, хотя ей было немного грустно и чуть-чуть по-женски завидно. Она вырастила дочь одна, без мужа, с которым тоже давно уже развелась из-за его измены.

Вредитель

Накануне колхозник из села Стрёмино Михаил Иванович Булычёв вывозил на телеге мешки с зерном с острова через протоку. После затяжных

осенних дождей вода в ней, обычно мелкой, как говорится, «воробью по колено», поднялась, и он набрал полные сапоги. Ледяную воду он из сапог вылил и портянки отжал, но пока нагрузил телегу, пока приехал в деревню к амбару с зерном, ноги застыли так, что он их не чувствовал. И хотя дома жена согрела в печке чугуны воды и заставила его ноги прогреть, к ночи у Михаила Ивановича начался жар. Он спал плохо и забылся только за полночь. Ему показалось, что почти сразу жена тронула его за плечо: «Отец, ты просил разбудить тебя, пора, вставай!» Голова у него болела, в горле першило, во всём теле была слабость, и вставать не хотелось. Но Михаил Иванович спустил ноги на пол, через силу поднялся и стал одеваться. Жена подала ему высушенные за ночь на печке одежду и сапоги и позвала завтракать. Он нехотя поковырял жареную картошку, запил её чаем, отодвинув в сторону кружку с молоком: «Дочке отдай!» (ей шёл только второй год, а своей коровой они на новом месте ещё не обзавелись) и стал одеваться. Жена приложила ладонь к его горячему лбу: «А может, не ходил бы? На улице-то снег сегодня опять выпал». Михаил Иванович покачал головой: «Маша, ты же знаешь нашего председателя!» Председателя колхоза хорошо знали все колхозники, и Мария Ивановна только тяжело вздохнула. Она сказала мужу: «Сегодня баню с ребятами истопим, может, пропарись, так легче станет?»

Михаил Иванович вышел во двор: хотя утро ещё только начиналось, от выпавшего за ночь снега было светло. С реки тянуло ледяным ветерком, и Михаила Ивановича зазнобило. Он шёл на конюшню по свежему октябрьскому снежку и думал о том, как бы сегодня справиться с работой пораньше да хорошенько прогреться с веником в баньке. На конюшне он, как и вчера, запряг спокойную кобылу Карюху, сел на телегу и снова отправился за зерном на остров. Почему-то председатель с бригадиром уже второй год снаряжали на эту работу именно его. То ли из-за того, что был он чужаком в деревне (два года назад несколько семей привезли в эту сибирскую глухомань — две вёрсты от железной дороги — из-под Сарова на Волге), то ли потому, что Михаил Иванович любое порученное ему дело исполнял на совесть. Подъехав к протоке, он увидел, что хотя воды в ней за ночь, слава Богу, немного убавилось, но по ней уже понесло ледяную шугу. Встав на телегу, он переехал протоку в мелком месте, не замочив на этот раз ноги. Пока Михаил Иванович переносил из-под навеса для зерна и укладывал на телегу мешки, ветер усилился. Резко похолодало, видно, к ночи ударит первый мороз. Вот, наконец, телега нагружена, и он направил лошадь к дому. Он вспотел, пока грузил мешки, а теперь на ветру его снова забил озноб. Подъехав к протоке, Михаил Иванович сел сверху на мешки, а послушная Карюха вошла в воду. Но вдруг, то ли испугавшись острых льдинок, плывущих по воде, то ли поскользнувшись, она резко дёрнулась в сторону. Телега накренилась, и верхние три мешка с неё свалились в воду, а с ними и Михаил Иванович. Ледяная вода обожгла его тело с ног до головы. Одежда сразу вся намочилась и стала тяжёлой. Вожжи у него были намотаны на руку, и

Карюхе пришлось остановиться. Лошадь стояла, вздрагивая кожей от холода, а Михаил Иванович, стоя по пояс в ледяной воде, выуживал со дна протоки упавшие мешки с зерном и снова укладывал их на телегу. Ему не сразу удалось достать их из воды, мешковина намокла и стала скользкой. Ну вот, наконец-то, и третий — последний. Уже и ноги, и руки, и всё тело начало сводить судорогой. Он взял лошадь под уздцы, вывел её на берег и начал нахлестывать вожжами. Карюха затрусила, насколько могла, быстро, а Михаил Иванович, уже второй раз за эти сутки, вылил из сапог воду со льдом и через силу заставил себя бежать за лошадью следом. Вся его одежда — и брюки, и телогрейка — вскоре стала твёрдой, покрывшись коркой льда, волосы тоже превратились в сосульки, пальцев рук и ног он не чувствовал. Как добрался до дома, он уже и не помнил — его привела Карюха, а он просто держался за вожжи. Михаила Ивановича увидел Федя, младший сын, позвавший мать из дома. Они под руки повели отца в только что натопленную баню, стянули с него коробом стоявшую одежду и затащили его на полком. Мария Ивановна отправила сына сначала за чистым сухим бельём для отца, а потом попросила отвезти зерно к амбару и сдать кладовщику. Сам она, тоже раздевшись, запарила новый берёзовый веник. Муж в тепле пришёл в себя и прохрипел: «Больше поддай пару, больше!» Его било крупной дрожью, и он никак не мог согреться. Мария Ивановна плеснула на камни сразу несколько ковшей воды и принялась парить мужа. Она давала ему немного передохнуть, окатывала тёплой водой, снова плескала на каменку и снова бралась за веник, пока были силы у самой. Потом, одев его и накинув одежку на себя, повела мужа домой и уложила в постель, укрыв двумя одеялами. Всю ночь Михаилу Ивановичу не давали спать резкий изматывающий кашель и жар.

Наутро Мария Ивановна позвала старенького сельского фельдшера. Тот долго слушал больного через ещё более древнюю деревянную трубку и, наконец, заявив: «Похоже, Иваныч, у тебя двухсторонняя пневмония — воспаление лёгких — и надо бы тебя, голубчик, везти в районную больницу. Да вот беда, через реку-то сейчас не перебраться — лёд пошёл. И когда он установится, кто его знает. А пока полечись здесь, я буду тебя навещать каждый день». Он дал указания Марии Ивановне, что нужно давать больному, оставил порошки и ушёл.

А вскоре в дверь постучал посыльный из конторы: «Булычёв, тебя председатель срочно вызывает!» Пришлось Марии Ивановне, бросив больного мужа, идти вместо него к председателю. Домой она вернулась сама не своя и заплаканная, хотя мужу ничего не сказала. А перед глазами у неё всё ещё стояло перекошенное от злости председательское лицо, и всё слышался его крик: «Где он, твой муженёк? Почему не пришёл сам? Утопил колхозное зерно и больному притворился? Вот погоди, пусть только река встанет, и кому надо разберутся в этом деле!» Мария Ивановна заплакала: «Да ведь не утопил он мешки, а все достал из воды и привёз, Федя их сдал кладовщику!» Председатель с издёвкой повторил:

«Все сдал! Зерно-то мокрое, что мне теперь с ним делать? Это же настоящее вредительство! А ты знаешь, что с вредителями делают?» Мария Ивановна, да и не только она одна, очень хорошо знала, что делают с «вредителями», ведь заканчивался тогда октябрь тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Уже человек десять из их села объявили врагами народа и увезли в район, откуда они так и не вернулись. Не было от них ни слуху и ни духу. Вот потому её Михаил и доставал из ледяной воды эти три мешка с зерном, что знал: не простят ему, если не достанет. А у них ведь шестеро детей, и самой младшей нет ещё и двух лет. И Мария Ивановна стала умолять председателя: «Не надо никому разбираться, мы с ребятишками сами всё зерно переушим! Вот прямо сейчас и начнём».

Как она с детьми сушила привезённое к ним в дом зерно, один Бог знает, но через день сдала Мария Ивановна эти три злуполучных мешка лично председателю. Он ещё покуражился, было, над ней, но, посмотрев на её совсем осунувшееся и почерневшее за эти дни лицо, отпустил её. А Михаилу Ивановичу становилось хуже. Помощи от фельдшера, не смотря на его опыт, было мало — пенициллин-то изобрели только через несколько лет. И когда, наконец-то, в ноябре установилась дорога через реку, увезли больного на лошади в районную больницу уже совсем слабого. Зимой Мария Ивановна отпросила у председателя и отправила с оказией старшего сына Николая навещать отца, а больше они уже не смогли побывать у него. Крепкий организм ещё позволил прожить ему до апреля, а там он и скончался. Связи тогда с райцентром никакой не было, и о смерти мужа Мария Ивановна узнала не сразу. Снова не было дороги через реку, вот-вот должен был начаться ледоход, до райцентра было не добраться. Да и председатель не отпустил Николая по причине начинавшейся посевной. И когда уже летом приехал сын в районную больницу, ему даже не смогли показать на кладбище место, где был похоронен его отец. Больничного сторожа, который его хоронил, самого вскоре не стало, а больше никто не знал, где могила Михаила Ивановича Булычёва. Побродил Николай по сплошь заросшему травой большому кладбищу, сел у чьей-то безымянной могилы и заплакал. Может быть, это и была могила его отца...

Прошла четверть века, родилась и подросла уже внучка Михаила Ивановича — Женька. Жила она с матерью в том самом райцентре, где лежал когда-то в больнице её дед. И вот на следующий день после окончания восьми классов (тогда было восемь, а не девять) собралась она с подружками на танцы. Настроение у неё было отличное, ведь окончила она восьмилетку с одной только четвёркой, остальные были пятёрки — и на экзаменах, и годовые. Женька прихорoshiлась, как умела: накрутила кудряшки, надела новые капроновые чулки, тайком от матери подмазала губы её помадой и вышла к девчонкам, которые ждали её у дома. Танцы начинались уже в сумерках. Из центра посёлка, от танцплощадки, доносились звуки вальса, танцевать который Женька с подружками научились совсем недавно. Они заплатили за вход и прошли на площадку. Молодёжи, как всегда,

собралось много, баянист из Дома культуры играл вальсы, танго и твист, танцы были в самом разгаре. И вдруг в центре площадки что-то упало и покатило на танцующие пары. Все шархнулись в разные стороны, отчаянно завизжали девчонки, замолчал баян. Из тёмного угла раздался нарочито громкий дурашливый хохот подвыпивших подростков. Под не очень ярким светом фонарей со столбов вокруг площадки стало видно предмет, который они бросили на пол. Это был самый настоящий человеческий череп: белели два ряда зубов и чернели пустые провалы его глазниц. Испуганные девчонки собрались и пошли домой, настроение у них было испорчено. Шедшая вместе с подружками знакомая девушка сказала им, откуда у парней появился череп. На окраине разросшегося посёлка, на месте старого кладбища строили целую улицу домов. Из разрытых могил выбрасывали кости, черепа, остатки гробов. Никто не позаботился, чтобы перезахоронили потревоженных покойников, наоборот, их останки стали игрушками для пьяных парней. Бросание черепов в танцующих стало теперь для них постоянным развлечением.

Когда Женька, вернувшись, рассказала матери о черепе на танцплощадке, та вдруг разрыдалась: «Господи, прости им их грехи, они не ведают, что творят! А ведь это мог быть череп твоего деда, а моего тяти, его же похоронили на том кладбище. Вот только мы так и не узнали, где его могила».

Больше на танцплощадку Женьке ходить уже не хотелось. И когда подружки звали её на танцы, она сразу вспоминала череп и слова матери: «Это мог быть череп твоего деда».

Настя

Настя Булычёва ехала к старшему брату Николаю. Он жил с семьёй на одной из маленьких станций тогда ещё только строившейся железной дороги Тайшет — Лена. Строили дорогу военнопленные японцы, лагерь которых находился на этой же станции. А вольнонаёмные местные жители заготавливали лес. Вот на заготовке леса и работал после фронта и госпиталя технорук её брат. Ещё в сентябре он прислал письмо, в котором настойчиво приглашал сестру приехать в гости на ноябрьские праздники. Настя пошла отпрашиваться у заведующей колхозным маслобойным пунктом, где сама работала мастером. Та отпустила её, насколько надо, всё равно работы в это время было меньше, чем летом, да и нашлось, кем заменить.

И в начале ноября Настя отправилась в дорогу. Зима уже начинала показывать свой характер: дул пронизывающий ветер, то и дело налетал снег. Из села на станцию она добиралась на попутных подводах. И хотя по дороге возчики останавливались погреться в деревнях, Настя в своём пальтишке на рыбьем меху основательно промёрзла. И потому на станции, которую отапливали печами, сразу как подошла к печке, так и не отходила от неё до самого прихода поезда. Он ходил один раз в сутки, и народу собралось много. Все скамейки были заняты, и люди сидели на своих баулах и чемоданах. Чуть не половину маленького деревянного вокзала занимал цыганский табор с

огромными узлами и мешками. Посреди помещения под звуки скрипки, на которой играл старый цыган с пегой бородой, маленькие цыганята выделяли невообразимые коленца, обходя потом зрителей с шапкой по кругу: «Дай денег, дай!» Настю ухватила за рукав старая толстая цыганка в длинной пёстрой юбке и пуховой шали: «Не пожалей, серебряная, полтинника, всю правду тебе расскажу. Много с тебя не возьму!» Настя не очень-то верила цыганским гаданиям. Мать её, Мария Ивановна, как-то ответила пришедшей к ним в дом цыганке, предложившей погадать: «Что было, я и сама знаю лучше тебя, а что будет — знает один только Бог». Так и Настя ответила гадалке, но та настаивала: «Послушай меня, золотая, правду тебе скажу! Встретишь ты совсем скоро червонного короля, выйдешь замуж, да встанут у тебя на пути-дороге две пиковые дамы». Настя рассмеялась: «Сразу две?» «А ты не смейся, не смейся, потом плакать будешь!» И многое ещё рассказала про Настину судьбу старая смуглая цыганка с угольными пронзительными, многое видевшими в жизни глазами. «Дай, бриллиантовая, полтинник, не жалей!» И хотя денег у «бриллиантовой» Насти было только на дорогу, она всё же достала из узелка за пазухой и отдала гадалке новенький полтинник (заканчивался 1947 год, и только что прошла денежная реформа).

Но вот раздался свисток паровоза, зашипел выпущенный пар и перрон окутался белыми клубами. Это подошёл поезд, и толпа хлынула к вагонам. Пробившись со своим баулом, в котором везла деревенские продукты, в вагон, Настя смогла пристроиться на боковом месте, и поезд тронулся. Под свистки паровоза на полустанках, под вагонный шум, разговоры, плач детей она вспоминала слова цыганки: «Ты скоро выйдешь замуж» — и всё удивлялась: «Да за кого же это я замуж-то выйду? В село вернулось после войны всего пять фронтовиков, трое из них семейные. Из моих ровесников — всего двое, да и те поторопились жениться на молодых девчонках, успешших подрасти за войну». А Настя и её подружки, которым в начале войны было по шестнадцать-восемнадцать лет, все четыре года надрывались вместо ушедших на фронт мужчин на старых, рассыпающихся на ходу тракторах — колёсных ХТЗ. Одна из них даже попала под свой же трактор. Пахали они и на быках, которых сами же и вырастили из маленьких телят. Отпраздновали 9 мая день Победы, отплясали под Настину старенькую гитару, оставшуюся от погибшего брата, наплакались, что не пришли с фронта, остались где-то в чужой земле, как Настин брат Иван, их женихи. И теперь девушки горько шутили: «Если до войны, когда ребят было больше, они бегали за нами, а мы от них носы воротили, то сейчас всё наоборот — на одного парня заглядывается сразу дюжина девчат». И Настя вскоре забыла предсказание цыганки. Но когда через какое-то время вспомнила о нём, оказалось, что всё, что говорила гадалка, сбылось.

Поезд прибыл на станцию уже в темноте, но Настю к дому брата проводила попутчица. Брат был уже дома. Он обнял сестру: «Ну, вот, приехала, наконец! Как добралась? Как там мама и Нюрка?».

Настя поздоровалась с женой брата — Тоней, которая была из одного села с ней и Николаем. Та готовила ужин и только кивнула ей: «Здравствуй, золовка!» Настя ещё не видела двоих своих племянников. Присев, она протянула руку мальчику: «Ну, давай знакомиться, меня зовут тётя Настя!» Тот дал ей свою ручонку: «А я — Миша Бульгачёв!» Настя улыбнулась: «Вот молодец, тебя прямо как дедушку твоего зовут!» Миша разговаривал охотно, а вот годовалая его сестрёнка ещё дичилась незнакомой тётки, да и хотела уже спать. Тоня покормила детей, уложила их в постели, и взрослые тоже сели за стол. Брат расспрашивал о матери, о младшей сестре, о сельских новостях. Мать в последнее время всё болела. Особенно её подкосило извещение о гибели сына Ивана, полученное уже после дня Победы, в июне 1945 года. Она со слезами выговаривала самому Богу перед иконой: «Я тебе четыре года молилась, чтобы ты спас нашего Ивана, а ты что же? Всю войну сынок мой провоевал да перед самой Победой и сложил голову где-то в Чехословакии. И даже на могиле его мне не побывать. Как же мне теперь в тебя верить?»

«А что ты, Настя, сама-то намерена делать дальше?» — перевёл на неё разговор брат. «А что делать?» — невесело ответила сестра: «То же самое, что и сейчас — работать. Уехать-то никак нельзя — сам знаешь. Кто мне паспорт выдаст? А куда же без него поедешь? Так и придётся, видно, в этом колхозе пропадать!» — безнадежно махнула она рукой. «Тебе-то повезло, тебя Николай сумел увезти!» — обратилась она к невестке. А брат начал её успокаивать: «Ладно, ладно, жизнь ещё не кончилась, не пускай слёзы, там видно будет!»

Утром брат рано, ещё в темноте, ушёл на работу, а Настя, не привыкшая сидеть без дела, стала помогать Тоне по дому. Когда рассвело, она напала воды из колодца для стирки, после развесила чистое бельё на верёвках во дворе, вывела Мишу на улицу погулять. Так и прошёл день. Вечером, когда брат был уже дома, и семья собиралась ужинать, в дверь кто-то постучал. Николай, как-то странно взглянув на сестру, ответил: «Входите, не закрыто!» Дверь открылась, вошёл какой-то военный, поздоровался и, увидев Настю, смутился: «О, да у вас уже есть гости!» «А это не гости, это свои люди!» — засмеялся хозяин и предложил военному снять шинель и пройти к столу. «Знакомься, Настя, это мой друг — капитан Симбирцев! А это моя сестра младшая — Настя!» — представил он их друг другу. Настя протянула гостю руку. Его рукопожатие было крепким, а взгляд больших серых глаз — дружелюбным. Он улыбнулся: «Николай совсем уж официально. Меня зовут Александр!» И спросил: «Ну, как Вам у нас понравилось?» Настя тоже смутилась: «Да я только вчера вечером приехала, ещё ничего не видела, не успела!»

Ужин затянулся. По поводу приезда сестры Николай выставил припасённую бутылку водки. Раскрасневшиеся мужчины говорили о каких-то своих делах, спорили о чём-то. Александр время от времени поглядывал в сторону Насти. Ей, не привыкшей к вниманию мужчин, которых в селе можно было перечесть по пальцам, было немного

не по себе. Но и сама Настя тоже украдкой бросала на него любопытные взгляды. Ей понравился этот широкоплечий, чуть выше среднего роста молодой мужчина с военной выправкой. Ему очень шла военная форма. Но вот Александр, глянув на настенные часы-ходики, засобирался уходить: «Хорошо тут у вас, да засиделся я, пора бы уже и домой, ведь тебе, Николай, завтра рано на работу надо, да и мне тоже!» Одевшись, он подал на прощание руку Насте: «Приятно было познакомиться! Надеюсь, ещё увидимся?» Николай засмеялся: «А вот приходи завтра к нам снова, и увидитесь!» Попрощавшись с Тоней и Николаем, капитан ушёл.

А на завтра вечером он пришёл снова. Тоня возилась с детьми, Николай тоже что-то делал по дому, и Александр пригласил Настю: «Погода сегодня очень хорошая, ни мороза, ни ветра нет, пойдёмте на улицу, подышим свежим воздухом!» Николай поддержал друга: «Идите, идите, что дома-то сидеть! На улице и вправду тепло сегодня!» Настя и Александр вышли на улицу, постояли у калитки, привыкая к темноте. Свет шёл только из окон домов, да горели фонари на столбах вдоль ограждения лагеря, где содержались японские военнопленные. Александр махнул рукой в ту сторону: «Вот там я и работаю — в медсанчасти!» «Так Вы же военный?» — спросила Настя. «Я военный врач» — ответил он. Они пошли рядом по деревянному тротуару. Настя в темноте оступилась, и Александр поддержал её за руку, да так и не отпустил. Он рассказывал ей о себе, о фронтовых годах, о службе здесь, расспрашивал о её жизни. Оказалось, у них много общего: они земляки — и он, и она родились на Волге, даже «окали» одинаково. Оба перед войной потеряли отцов, а ещё раньше у Александра умерла мать. Из родных осталась у него одна только младшая сестра, потому и привязался он душой к семье своего друга. Проводив Настю до дома, он сказал: «Хотя мы с Вами лично знакомы только со вчерашнего дня, я о вас много знаю. Николай мне о вашей семье рассказывал, и о Вас тоже. Так что давайте мы с Вами на «ты» перейдём, согласны?»

Капитан приходил теперь каждый вечер, и они с Настей отправлялись бродить по улицам посёлка. Однажды, когда погода стояла ветреная и холодная, он пригласил Настю к себе в гости. В квартире было чисто, как в казарме, но и по — казарменному же неуютно. Пришла морозная пора, и теперь Настя и Александр вечера проводили чаще всего здесь. И Настя из подаренного ей братом на платье весёленького ситца сшила занавески на окна. На полку для книг и в шкафик для посуды постелила белую бумагу, вырезав её края зубчиками и узорами. И комната преобразилась! Но время бежало удивительно быстро, Насте пора было возвращаться домой, в деревню. Продукты, которые Настя брала с собой из дома, что-то быстро закончились, и получалось, что она как бы сидит на шее у брата. Мать прислала письмо, в котором сообщала, что её уже ждут на работе. Да и жена брата то молчала, то вдруг начинала разговаривать сквозь зубы. А потом прямо сказала, что у неё здесь не гостиница, ну, погостила, пора и честь знать! И что к ней должна приехать её сестра, а

квартира не резиновая. И что если она надеется выйти за Симбирцева замуж, то зря надеется, он найдёт жену и лучше неё! Разговор этот она затеяла днём, когда Николай был на работе. Настя сама ещё неделю назад говорила брату, что ей пора собираться домой, но он не пустил: «Погоди, не торопись, когда ещё ты выберешься из деревни?» Она осталась, но баул теперь опустел, можно было хоть сию минуту отправляться в дорогу. Настя дождалась прихода брата с работы и, не глядя на невестку, сообщила, что завтра уезжает: «Мама пишет, что председатель колхоза уже спрашивал у неё про меня». И тут старший брат спросил: «А Саша знает об этом?» Его жена при этих словах вдруг почему-то вздёрнула голову и ответила вместо Насти: «А ему какая разница? Он-то здесь причём?» Ни муж, ни золовка ничего ей не ответили. Вскоре пришёл Симбирцев, увидел расстроенное лицо Насти, но ничего не стал говорить. Они вышли на улицу и только тогда, взяв её за руки, он спросил: «Что случилось?» Она повторила и ему, что завтра уезжает. «Это невестка не хочет, чтобы ты осталась ещё?» Настя промолчала. «Ну, да это и не имеет никакого значения, хочет она или нет. Главное, чтобы мы с тобой так решили, правда?» Александр притянул её к себе: «Я тебя люблю и предлагаю выйти за меня замуж! И никого мы не будем спрашивать, оставаться тебе здесь или нет! Ты согласна?» И Настя прижалась щекой к сукну его жёсткой шинели: «Да, согласна! Я никуда не хочу уезжать от тебя!» И потому, что всё решилось, как в сказке, вот так быстро, так хорошо, что Саша рядом, а ей никуда не надо уезжать от него, она расплакалась. Он обнял её за плечи и повёл домой. Теперь это был и её дом, а она стала в нём хозяйкой. Шумной свадьбы у них не было, они устроили просто вечер, позвали на него Николая с Тоней да троих сослуживцев Александра. У Симбирцева был патефон и целая стопка пластинок, лейтенант-сослуживец играл на гитаре, пели знаменитые в годы войны и на фронте, и в тылу «Синий платочек» и «Землянку», любимую Настей «Самара-городок», потанцевали, а потом гости разошлись по домам. Так началась Настина семейная жизнь. Раз-другой Симбирцевы приходили в гости к Булычёвым, но Тоня встречала Настю неприветливо, хотя при муже старалась этого и не показывать. Настя сделала всё, чтобы в их с Сашей квартире стало уютно, получала полагавшийся мужу офицерский паёк, готовила обеды и ужины. Обедать он стал теперь приходиться домой. К приходу Александра стол всегда уже был накрыт. А вечером их навещали его сослуживцы или сами Симбирцевы ходили к ним в гости. Но чаще всего молодожёны оставались вдвоём. Им было интересно узнавать что-то новое о жизни друг друга. У Александра было два толстых альбома с фотографиями — и довоенными, и фронтовыми. Нескольким раз Настя вечерами вместе с мужем рассматривала их. Один из снимков очень заинтересовал и смутил Настю. На нём стояли двое — сам Симбирцев и какая-то женщина. На вопрос Насти он, слегка покраснев, сказал: «Это я снимался в августе сорок пятого, в Берлине. Там стояла тогда наша часть. А женщину эту зовут Шарлотта, она была у нас переводчицей.

Я с ней познакомился незадолго до того, как началась война с Японией, и нашу часть перебросили в Маньчжурию. Фотограф знакомый нас перед моим отъездом и снял. Всем почему-то интересно узнать, кто это — и Тоня расспрашивала, и сослуживцы. Но я с ней так мало был знаком! А эта фотография просто как память о том, что я был в Берлине». Эту фотографию видели его сослуживцы, видела неоднократно и Тоня. Ах, лучше бы капитан Симбирцев никому не показывал этот снимок, не рассказывал о нём, лучше бы его сжёг! Ведь опасно было «иметь порочащие связи с немками советским офицерам, служившим в Германии». Но снимок так и остался в его альбоме, как мина замедленного действия. И когда-то она должна была взорваться.

Как-то вечером, когда Александр был уже дома, к ним неожиданно пришла гостья — Тоня. Да не одна, а со своей сестрой Дарьей, которая жила в том же селе, что и Настя. В войну её призывали в армию, служила она на Дальнем Востоке, да недолго — вернулась домой беременная. От кого родила сына, знала только она сама, да, может быть, её мать. И вот вдруг она стоит на пороге их квартиры! Настя протодушно удивилась: «А ты как здесь оказалась?» Та только хмыкнула: «А так же, как и ты! Вот в гости приехала! Ты уже вон сколько времени гостишь!» Александр искоса глянул на неё, но ничего не сказал. «Что ж, раз в гости, проходите, раздевайтесь. Сейчас ужинать будем!» — пригласила Настя. Невестка и её сестра сняли пальто, сели за стол. Настя нарезала хлеба, разлила по тарелкам суп. Видно было, что гости не голодны, но раз уж запросились, пришлось есть. Настя из вежливости поинтересовалась, какие новости дома, хотя знала их из писем матери. «А какие новости? Председатель вот велел спросить, когда ты на работу явишься? Ты же член колхоза, отпросилась на время, да и пропала». Дарья постоянно старалась вызвать Настю на ответную грубость, а та словно не замечала этого. Александр молча слушал, пока не вмешивалась в разговор. Посидев ещё немного, Тоня засобиралась домой — там ждали дети. С ней нехотя ушла и её сестра. Но она заявила на следующий день днём и сидела до самого вечера, тоже рассматривала фотографии из альбома, пока не пришёл домой Симбирцев. Настя снова пригласила её ужинать, та охотно уселась, так же охотно ела, заводя разговор с Александром на самые разные темы и как-то по-особенному похотывая. Было уже поздно, время было ложиться спать, а она всё сидела. Когда же Настя прямо сказала ей, что Саше утром на работу, и гостье пора отправляться домой, Дарья заявила, что она одна боится идти в темноте, что вдруг на неё кто-нибудь нападёт: «Пусть меня Саша до дома проводит!» Вот тут он и не выдержал: «Сюда идти не боялась, а отсюда вдруг испугалась! У нас ни на кого ещё не нападали! Дойдешь, ничего с тобой не случится!» И встал у двери, чтобы закрыть её на замок после Дарьи. Злобно глядя на Симбирцева, она стала надевать своё пальто, не попадая в рукава. Наконец, надела, тоже подошла к двери и прошипела: «Ну, голубчики, поплачете вы ещё кровавыми следами оба, попомните вы ещё меня, попомните!»

Она изо всех сил хлопнула дверью, так что в окнах зазвенели стёкла, и посыпалась штукатурка со стен, и ушла. Настя встала и прижалась к мужу: «Саша, я боюсь! Она на всё пойти может. А у нас ведь ребёнок будет». «Что же ты молчала? Сколько уже?» «Третий месяц идёт». Он обнял её и погладил её по щеке: «Не бойся, всё будет хорошо. Я подам рапорт, чтобы отпустили съездить в твоё село. Там в сельсовете зарегистрируемся, тогда и паспорт тебе можно будет получить. И ребёнок мою фамилию получит. Я всё время об этом думаю, просто тебя не хотел расстраивать. Всё будет хорошо». Но и Настя, и Александр долго ещё в эту ночь не могли уснуть. На следующий день капитан Симбирцев подал начальству рапорт о краткосрочном отпуске «для устройства личных дел». Рапорт ему подписали, и ещё через день Настя с Александром сели в поезд.

Когда он пришёл на станцию, Настя с мужем отправились на заезжий двор, чтобы узнать, есть ли попутная подвода в сторону Стрёмино. Перейдя по мосту через пути, они вскоре оказались рядом с деревянным домом, в котором находился военкомат. На крыльце стоял и смотрел в их сторону какой-то военный. Он окликнул Александра: «Капитан Симбирцев, зайдите на минуточку!» Александр удивился: «Странно, как будто он меня ждал!», но передал жене чемодан и улыбнулся: «Постой здесь, я быстро!» — и взбежал по ступенькам. Дверь за ним захлопнулась. Настя стояла, смотрела на эту закрытую дверь и ещё не знала, что больше она своего Сашу не увидит никогда.

Часов у неё не было, но ждала она уже долго, и у неё замёрзли ноги. Наконец, совсем продрогнув, она решила зайти в здание военкомата. Там дорогу ей преградили военные: «Куда, гражданка, посторонним нельзя!» «Да я только на минуточку мужа узнать. Его сюда вызвали, да вот что-то долго нет!» Военный был непреклонен: «Ничего не знаю, освободите помещение!» На шум из кабинета с табличкой «Военный комиссар» вышел другой военный: «В чём дело? Вы кто такая?» Настя повторила, кто она и зачем. Военком, отведя глаза в сторону, ответил: «Вашего мужа здесь нет, его увезли в тюрьму!» «Как? Когда? За что? Почему?» — сдавленным голосом выкрикнула Настя. «А это Вы уже сами узнаете, если обратитесь в прокуратуру». И он захлопнул дверь кабинета.

Настя как во сне вышла из военкомата и медленно побрела по улице, держа в руке чемодан. Она вспомнила, что пока ожидала Сашу, к самому крыльцу военкомата подъезжала крытая машина — «чёрный ворон». Открылась дверь машины и кого-то — ей не было видно, кого — туда завели, а «воронок» сразу уехал. Так вот кого он увёз! В растерянности она не знала, как ей теперь быть, что делать и куда идти. Потом вспомнила, что они с Сашей собирались идти на заезжий двор, а там работает её бывшая односельчанка, тётка Ариша. Совсем замёрзшая, Настя пришла к ней, сказала, что ей надо переночевать. Та спросила: «А ты что одна-то? Я слышала, ты замуж за военного вышла, наши сельчане заезжали, рассказывали». Потом, внимательно посмотрев в её расстроенное лицо, сказала: «Ох, голубушка, да на тебе лица ведь нет, что-то неладно с тобой, я гляжу!

Говори, что стряслось!» Настя, разрыдавшись, рассказала, что произошло. «И что мне теперь делать, не знаю», — всхлипывая, говорила она. «Что ж, милая, теперь тебе к следователю в прокуратуру идти надо, узнавать, что да как. И передачи готовить носить — если они ещё пригодятся — такая, видно, твоя судьба. А пока ложись-ка спать, утро вечера мудренее!» Тётка Ариша напоила Настю горячим чаем и отвела ей место на ночь.

И начались Настины хождения по мукам. Следователь в прокуратуре ей сказал, что обвиняется Симбирцев по статье 58 пункт 10 (Антисоветская агитация и пропаганда), а это грозит ему десятью годами концлагеря. И ещё. Когда он потребовал у Насти документы, она могла предъявить ему только свидетельство о рождении и справку из сельсовета, что такая-то проживает там-то и является членом колхоза такого-то. И в справке фамилия у неё была, конечно же, не Симбирцева, а Булычёва. Не успели они с Сашей доехать до Стрёмино, чтобы зарегистрироваться, а Насте получить паспорт. Следователь рассмотрел её справки и заявил: «Скажи спасибо, что вы с ним не успели расписаться, а то я вынужден был бы выслать и тебя!» — и дал ей совет, видимо, думая, что делает доброе дело: «Симбирцева теперь долго ждать придётся, зачем тебе это? А ты ещё молодая, найдёшь себе другого!»

Здесь её приютила у себя тётка Ариша, которой Настя помогала в её работе. Сообщать матери о том, что произошло, она не решалась. Но, видимо, в деревню написала уже обо всём Тоня или её сестра, потому что приехавшие на подводах в райцентр за зерном односельчане, глядя на Настю, шептались, выспрашивали, почему она здесь. Настя несколько раз относилась для Александра передачи, выстаивая длинные очереди у ворот тюрьмы. Но деньги, которые у неё были, закончились, и ей пришлось продать воротник из чернобурки от зимнего пальто, которое ей купил Саша. Когда подошли к концу и эти деньги, она решила съездить на станцию, в их с Сашей дом, чтобы забрать вещи, которые тоже можно продать и выручить денег.

Поезд, как обычно, пришёл на станцию вечером. Настя шла домой и думала, что там никого теперь нет, и Саша с работы не придёт ни сегодня, ни завтра. Подойдя к дому, она достала ключ и хотела отомкнуть дверь, но та была почему-то открытой. Замок оказался взломан. Включив свет, Настя ахнула. Оставленная чисто прибранной квартира выглядела, как после погрома. На окнах не было тех самых ситцевых шторок, которые сшила Настя, не было ни стола, ни стульев, на железной кровати не осталось даже матраца. У кухонного шкафчика были настезь распахнуты дверцы, а внутри не осталось ни одной тарелки, ни одного стакана, ни ложки, ни вилки! «Господи, да что же это такое? Да кто же это сделал?» В доме стоял такой же холод, как и на улице, а жильём и не пахло. Настя вышла на улицу и постучалась к соседям. Соседка встретила её насторожённо: «А все решили, что ты совсем уехала!» «Да вот вернулась за вещами, а их и не осталось совсем. Кто же у нас так похозяйничал?» Соседка, так и не пропуская её дальше порога, тихо ответила: «Так

ведь родня твоя — невестка со своей сестрой. Они прямо днём всё унесли, не постеснялись».

И Настя отправилась к брату. Войдя в его дом, она сразу увидела и узнала свой стол, одеяло на кровати, подушки, посуду на столе. Поздоровавшись, она сказала брату: «Спасибо, что присмотрели за моими вещами! Я приехала их забрать». Николай сидел молча, даже не поинтересовавшись, как дела у его сестры и как там его друг Александр. А Дарья, развалившись за столом, с насмешкой в упор разглядывала Настю. Ответила Тоня: «Какие ещё твои вещи? Они такие же твои, как и мои! Сколько ты с Симбирцевым прожила? Я его и то больше знаю! И вообще, что ты сюда пришла? Кто у тебя муж — враг народа? Из-за тебя и нам плохо может быть, а у нас дети! Так что иди отсюда и не приходи больше!» Её сестра ухмыльнулась: «Ну что, нажилась замужем? А я тебе говорила, что попомните вы меня! А то фотографии с разными немками хранят, про Германию рассказывают, как там немцы живут!» Тоня глянула на сестру, и та замолчала. По-прежнему молчал и брат Насти — Николай. Известно ведь, что ночная кукушка перекукует дневную. Настя тоже молча повернулась и вышла. Вслед ей захотела Дарья: «Иди-иди, вражина! Тебя тоже туда, где твой Симбирцев, отправить надо!»

Настя кое-как растопила печку несколькими оставшимися неукраденными поленьями. Не было ни ведра, чтобы принести воды из колодца, ни чайника, чтобы её вскипятить. Сев на пустую кровать, уставшая, голодная, она провела время до утра, до поезда. Что вспоминала Настя — своего ли милого дорогого Сашу, счастье с которым было таким коротким? Цыганку ли с вокзала и её гадание о том, что встанут на пути-дороге Насти две пиковые дамы-ведьмы, а она этому не поверила? Думала ли она о том, кто у неё родится — Сашин сын или дочка, и как бы хотел их назвать Саша?

Она уже знала, что хорошего ждать ей от жизни не приходится. Но у неё теперь будет ребёнок — всё, что осталось ей от её любимого Саши. И ради этого, только ещё зародившегося в ней человечка она должна теперь жить. И выжить, во что бы то ни стало. Это был её долг перед Сашей.

Петя-Петя-Петя

Жаркий солнечный июньский день подходил к концу. Женька полила все грядки в огороде и, ополоснув босые ноги, пошла домой. На ступеньках крыльца, ещё не просохших от мытья, лежала свежесрезанная осока с речки Орючихи, текущей за огородами. Дома под косыми лучами вечернего солнца блестели крашенные доски пола, тоже недавно вымытого. Женька остановилась на пороге, зажмурилась и втянула в себя воздух — сильно пахло лугом и лесом.

Завтра будет Троица, и потому Женька с утра сегодня перемыла дома всё до блеска, а потом с подружками принесла из леса охапки огоньков (жарков) и наломанных берёзовых веток с ещё молодыми клейкими листочками. Цветы Женька поставила в стеклянных банках на подоконники тоже промытых и сверкающих стёклами окон, а ветками украсила рамки с фотографиями, зеркало и абжур. В доме стояла тишина, младшие братья и

сёстры играли где-то на улице. Женька тоже отправилась к подруге, Полинке Ершовой, которая жила наискосок через дорогу. Подружка тоже украсила комнаты цветами и берёзками, и у неё уже сидела третья их подруга — Люба. Мать Полинки, которая работала сторожихой в больнице, собиралась на ночное дежурство. Она спросила подружек: «А вы вечером гадать-то собираетесь?» «Но ведь ворожат зимой, а не летом» — удивились девчонки. Тётя Галя ответила, что они в молодости с подружками ворожили и перед Троицей. Она ушла на работу, а подружки начали готовиться к гаданию. Они налили три ведра воды, поставили их в огороде, чтобы в полночь положить в них по отрезанному кусочку хлеба. Если к утру они не перевернутся, то год будет счастливым. Полинка распределила ведра: «Слева — моё, посредине твоё, Женя, справа — Любино!» Потом они написали имена мальчишек на полосках бумаги, каждая для себя, чтобы положить их перед сном под подушки, а утром вытянуть одну с заветным именем.

Но самое главное гадание у них началось ближе к полуночи. В летней кухне они поставили на стол три тарелки: с водой, с землёй и с пшеном. Полинка принесла из курятника сонного петуха, чтобы поставить его перед этими тарелками. Это сейчас он был сонным, а днём этот красавец с разноцветным хвостом и большим, налитым кровью гребнем был отчаянным драчуном, который не давал спуска ни одному из соседских петухов. Его боялись даже собаки. Надо было внимательно следить за Петькой — что он сначала будет делать. Если начнёт клевать зерно — мужья попадутся богатые, если клюнет землю — будут работящими, а если уж он начнёт пить воду — всё, быть мужьям горькими пьяницами!

И Женька, и Полинка, и Люба очень хотели, чтобы Петька начал клевать зерно или ковыряться в земле. Но бедная птица закрыла глаза и хотела только одного — спать! Наступила уже полночь, Петькин гарем видел, наверное, десятый сон на насесте, туда же хотел и он. И не нужна была ему ни еда, ни питьё, ни тем более ковыряние в земле. Что же делать, как подбодрить петуха? И Полинка догадалась. Вчера к ним в гости приезжал родственник, и в шкафчике у прижимистой тёти Гали оставалось в бутылке вино. Вот ложки две вина и налил Полинка в клюв петуха, чтобы у него прошёл сон. Сон-то у Петьки, действительно, прошёл, но он начал вытворять то же самое, что и все пьяные мужики. Его водило то налево, то направо, он наступил большими когтистыми ногами на тарелку с водой и опрокинул её, потом взмахнул крыльями и смёл на пол тарелки с землёй и пшеном. Обе они разбились вдребезги, осколки разлетелись по всей кухне! На столе и на полу творилось уже чёрт знает что! Девчонки пытались поймать петуха и теперь уже, наоборот, утихомирить его. Но тот вдруг упал сам, закатил глаза и зачих. Испуганная Полинка пыталась отпить его водой, но не смогла открыть клюв. Девчонки звали в три голоса: «Петя-Петя-Петя! Цып-цып-цып!», но бедный Петька не подавал признаков жизни. Полинка захныкала: «Ой, что делать, меня мама завтра убьёт за него!» Девчонки подумали-подумали и решили отнести безжизненную птицу

в курятник, а утром притвориться ничего не знающими и не ведающими. Они положили петуха под насест, навели порядок в кухне и уже чуть не под утро легли спать.

Проснулись, когда тётя Галя пришла с работы. Уже забыв, что втравила девчонок в ворожбу, она начала управляться по хозяйству и ушла во двор. Вернулась оттуда встревоженной: «Странно, что-то сегодня наш петух не такой, как всегда, а какой-то совсем квёлый, как пришибленный. Заболел, что ли?» Девчонки затаили дыхание, но и обрадовались: «Значит, петух-то живой, не пропал!» Полинка невинным голоском высказала догадку: «Мама, может, у него голова болит?» Тётя Галя подозрительно посмотрела на дочь: «А с чего это у него голове-то болеть? Был бы он не птица, а человек, тогда другое дело. А может, ударил кто вчера?» Но ни Полинка, ни Женька, ни Люба не

отвечали. Полинка залезла под подушку, а её подружки позакрывали рты ладонями, чтобы не расхохотаться. Смеяться было нельзя, им бы влегло по первое число за бедного Петьку, который, наверное, мучился сейчас от головной боли, хотя и был он только птицей, а не человеком.

Хлеб в вёдрах с водой, пока девчонки спали, склевали вороны. Зато записок с именами женихов они вытянули из-под подушек почему-то сразу по три-четыре штуки. Так и не узнали ворожеи точные имена своих суженых-ряженых и какими они будут: богатыми, работащими или пьяницами. «Ну, ничего, узнаем через полгода, на святках» — решили они. И Женька с Любой отправились по домам.

А на следующий день Петька снова, как ни в чём не бывало, на радость тётя Гале, так ничего и не узнавшей, воевал на улице с соседскими петухами.

г. Красноярск

ДиН память

Александр Твардовский На дне моей жизни



Ты дура, смерть: грозишься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твою жить чертой.

И за твою мглой безгласной
Мы — здесь, с живыми заодно.
Мы только врозь тебе подвластны —
Иного смерти не дано.

И, нашей связаны порукой,
Мы вместе знаем чудеса:
Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса.

И нам, живущим ныне людям,
Не оставаться без родни:
Все с нами те, кого мы любим,
Мы не одни, как и они.

И как бы ни был провод тонок,
Между своими связь жива.

Ты это слышишь, друг-потомок?
Ты подтвердишь мои слова?..



На дне моей жизни,
на самом доньшке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На тёплом пенушке.

И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалёкого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.

Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, всё-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.

Елена Крюкова

Смерть Джа-ламы

фрагмент из романа «Царские Врата»



О Луна. Твоя голова — отрубленная голова. И её насадил на пику злобный, огнедышащий Жамсаран, и несёт впереди войска, сидя на коне, как великий Нойон, показывая всем смерть Бессмертного. Смерть правнука Амарсаны, перерожденца Махакала, владельца коня Марал-баши, того, кого вся степь называла — богатырь Джамбей-джанцан, непобедимый Джа-лама. Он был убит в год Чёрной Собаки по лунному календарю. Он вселял ужас в Степь. Голову его, насаженную на пику, возили по всей Степи, чтобы все убедились: умер Бессмертный Джа-лама, Джа-ламы больше нет.

Тебя тоже больше нет, Георг. Высокий, худой, костлявый, длинноволосый, бородатый, раскосый. Ты был одним из воплощений Джа-ламы после того, как ему отрубили голову. Ты вошёл в состояние бардо. Ты знал великолепно, как входить в состояние бардо и выходить из него. И ты вошёл в бардо, и вышел в ином времени. Переступил через порог — и не вытер грязные ноги.

«Если ты будешь цепляться мыслью своею за картины сущего мира, ты никогда не войдёшь в состояние бардо. Если ты не станешь повторять одну-единственную мантру, выводящую тебя из круга сансары, Драгоценную Мантру великого Будды, данную нам предвечно, ты не покинешь круга и воплотись в низшее существо. Ты будешь лаять псом или корчиться на земле червяком; твоя свободная душа не поднимется над данным тебе мученьем, и ты не освободишься. Главное — освобожденье.

Поэтому, входя в состояние бардо, повторяй про себя Великую Мантру, и освобожденье будет близко.

Если ты не будешь повторять Мантру, то злобные псы ужасных видений вцепятся тебе в пятки и в шею; и прокусится псами твоя шея; и будет литься из неё кровь, и в ужасе ты станешь хвататься за свои раны, пытаясь оторвать от себя чудовищ. Но виденья необоримы, и ты ничего не сможешь с ними сделать, если не будешь...»

Целые связи наставлений. Делай так, и так, и эдак.

А может быть, вся наша жизнь есть цепь непрерывных видений, и весь ужас, что мы переживаем, — не более чем страшное виденье, ночной кошмар?!

Всё на свете — кошмар. Всё на свете — смерть. Джа-лама был ужасен в битве. Своим врагам он выкалывал глаза, отрезал уши и носы, вспарывал ножом грудь, голыми руками вырывал ещё трепещущее сердце из груди. Человек — не баран.

Джа-лама сказал монголам: убийство — великая жертва Будде и Белой Таре. Принесём жертву.

Он штурмовал крепость Кобдо, где урылись китайцы; и, если верить степному сказанью, после штурма Джа-лама, наклонившись в седле, не слезая с коня, высыпал из-за ворота своего дэли пригоршню пуль, а на его дэли зияли двадцать восемь дыр. Пули не брали его, он был бессмертен, это правда. На Востоке всё возможно. Он молился Будде, и его спасала молитва. Он был неуязвим, но весь его путь по Степи был пропитан кровью и освещён мертвенным синим светом ужаса.

А твой путь, Георг?! Зачем я столкнулась с тобой — с лунным, колдовским ужасом?!

Я никогда не хотела умереть под светом бурятской Луны.

Нас столкнул наш ли Христос, бурятский ли раскосый Бог, когда меня убивали.

Град-Пряник, священный град Иркутск, на гербе которого изображён серебрящийся инеем на шкуре неведомый зверь бабр, был в ночи освещён белыми, как бельма, фонарями, и в мёртвом свете я, жива, шла по лютому морозу, как по водам — босиком, домой, и в подворотне на меня напали. Человека всегда убивает человек. Зверь бабр редко его убивает. Медведь, идущий на водопой, не тронет тебя. А в подворотне на тебя с ножом выпрыгнет человекозверь.

Снег чуть отблескивал зелёным. Лёд зелено блестел под сапогом. Когда он прыгнул на меня из тьмы, из тени ворот, этот человек, я вдруг вспомнила — на Ангаре тоже застыл в эту зиму зелёный лёд. А Байкал, верно, ещё не встал. Стоял декабрь, месяц смерти отца, и число было такое — день его памяти, двадцатое декабря; нынче ночью он умер. Я жила одна, в актёрском общежитии; я аккомпанировала певцам в Оперном театре, и у нас сегодня был спектакль, и поздно кончился, и ещё после спектакля мы выпили, собрались за кулисами и распили на всех, по кругу, сначала сладкого кагора, потом мужики сбегали за водкой, она была смертельно холодная, ломило зубы, мы закусывали солёным, с душиком, омулем, хохотали, поздравляли друг друга с премьерой. Мы сделали «Кармен»; ещё немного, и мы дорастём до Вагнера, до «Тристана». «Ты что как неуклюже Кармен заколол!.. — кричали мы, смеясь, уже пьяненькие, триумфатору-Хозе. — Надо ударять кинжалом снизу вверх, дурачила, по-бандитски, а не сверху вниз!». Хозе мялся, извинялся, раскидывал руки, снова голосил: «Кармен, тебя я обожа-а-аю, Кармен, тебе я всё проща-а-аю!».»

125

Елена Крюкова ■ Смерть Джа-ламы

Уже поздно, закричал сердитый помреж, вы очуритесь, транспорт не ходит, Иркутск весь вымер, мне не на чем вас по домам развезить, я безлошадный, а ну, выметайсь!.. И мы вымелись снежной, метельной метлой. И мы выбежали под звёзды, под ледяные зелёные звёзды прибайкальской ночи.

Этот, прыгнувший на меня из тьмы, схватил меня за руку мёртвой хваткой. Я поглядела вниз, на его ноги. В другой руке он держал огромный финский нож. С такими ножами в Сибири ходят на медведя. Да я не медведь, и он не медвежатник. Он правильно держал нож — остриём ко мне, чуть направив его снизу вверх. Кармен, тебя не обожают и ничего тебе не просят. Всё враки, сладкие сопли. Тебя убьют просто и бешено — одним жестоким верным ударом, хакнув, всадив нож по рюкзак, как бьют зверя в тайге.

Я хотела вырвать руку. Человек меня не пускал. Я не видела его лица. Оно, как назло, было в тени ворот. Ах, проклятый проходной двор, как ты всегда коварен. Всегда так охота тебя перебежать быстро, по снегу, чуть ступая лёгкими, невесомыми стопами, стремительно. Так бы перейти жизнь, как по канату — нежно, стремительно и осторожно. Вот она и перейдена, твоя жизнь, дура.

Перейдена?! Неужели?!

Я выбросила ногу вперёд и ударила убийцу ногой в живот. Он покачнулся, но руки моей не выпустил. Я закричала, но крик мой тут же оборвался — убийца дал мне подножку, и я свалилась в колкий обжигающий снег, лицом вниз, и задохнулась в снегу, в его игольной алмазной лютости. Я почувствовала колено на спине, между лопаток. Как это страшно, когда тебя топчут. Да, по мне прошлись ногами! Боль между рёбер пронзила. Не хватало, чтоб он сломал мне ребро! Кому нужно будет там твоё сломанное ребро. Там тебе уже ничего не нужно будет.

Он перевернул меня ногой на спину. Я попыталась вскочить. Он снова уронил меня в снег. Встал надо мной на колени, расставив ноги, и я оказалась между его раздвинутых ног. Мне показалось — он сейчас расстегнёт ширинку. Он заочет, чтоб я ублажила его напоследок.

Его рука скользнула вниз, к ремню, высовывающемуся из-под распахнутой куртки. Да, так и есть. Он изнасилует тебя, прежде чем убьёт тебя.

Я забилась под ним. Он присел, придавливая меня ко льду задом.

— Ты!.. — Он ощерился. — Ещё дёрнись только!..

И я застыла. Это мороз сковал меня. Ведь я лежала спиной на снегу, на зелёном льду.

Он, держа руку с ножом на отлёте, другой рукой расстегнул штаны.

— Бери, — сказал он. — Живо! Если только укусишь — кишки выпущу и намотаю тебе на шею, поняла?!

Я лежала и смотрела на него снизу вверх. Он ударит меня ножом сверху вниз. Значит, не как Кармен. Как просто — на бойне — корову или собаку или барана. Жаль только, шерсть с меня не сдерёшь.

— Ну! — заорал человек, сидящий на мне. — Развай пасть! Не хочешь?! Я тебе сейчас в пузе дырку ножом сделаю!

Я услышала, как нож вспарывает мне твёрдую замшевую кожу дублёнки. Рука в кожаной перчатке легла на мои снова заоравшие губы. Зубами я не могла уцепить кожаную руку, зато прокусила себе губу, и кровь из прокушенной губы потекла у меня по щеке, сразу застывая на морозе.

Темнота встала перед глазами стеной. И алмазы снега рассыпались, как стёкла из разбитого калейдоскопа.

— А-м-м-м... м-м!..

Кому нужны твои стоны. Погибаешь с музыкой. С ней, родимой.

И внезапно сидящий на мне оказался отшвырнутым вбок, на снег; он странно скovyрнулся, свалился с меня, как мешок с картошкой, грузно осев, нелепо взбросив руки; серебряно, остро сверкнувший нож отлетел из его разжатого кулака далеко, мог бы утонуть в сугробе, да стукнулся об лёд, прокатился по льду, застыл. Чёрная тень метнулась над мной. Будто огромный коршун вспорхнул. В руке человека, пнувшего в грудь моего убийцу, чёрной масляной сталью высверкнул маленький револьвер. Позже, когда мы стали любовниками, он объяснил мне, как называется его оружие. Смит-вессон тридцать восьмого калибра. Дамский вариант. Облегчённый. Нержавеющая сталь, stainless steel.

— Давай быстро, чеши отсюда к едрене-фене, — глухо и весело сказал человек с револьвером. — Не заставляй меня ждать. А то я разозлюсь и выстрелю. Тогда в тебе появится маленькая красивенькая дырочка.

Насильник попятился. Отходя к сугробу, попытался схватить отлетевший в сторону нож. Тот, кто держал револьвер, поднял его повышел, прикрикнул:

— Но, но! Руки прочь! Это теперь моё.

Сквозь зубы неудавшийся убийца пробормотал витиеватый матюг; тот, кто спас меня, мой чёрный ворон, подошёл ко мне, худой и крылатый, ковыляя на лапах — он никогда не умел ходить, как все люди, то летел стремительно над землёю и льдом, то переваливался с боку на бок, как на протезах. Я всё ещё лежала на снегу. Он поглядел на меня сверху вниз, и я увидела, как из чёрной бороды мне улыбаются дикие, хищные зубы. Глаз не было. Вместо глаз в мохнатом заросшем лице светились две хитрые длинные щели, прорезанные вот этим, валявшимся на снегу, бандитским ножом.

Он наклонился и поднял нож. Повертел в руке. Сунул в карман.

— Жаль, без чехла, — посетовал он. — Ну ничего, чехол я сам сделаю. Или нет. Ты мне лучше сошьёшь. Разве я неправ?.. А?..

Он протянул мне, лежащей на снегу, руку.

Я схватила эту руку.

Господи, зачем только я схватила её!

Он поднял меня легко, как если б я была пушинка, снежинка.

— А ты девочка ничего себе, — процедил он сквозь прокуренные жёлтые зубы — они зловеще поблёскивали под его чёрными усами. Я отводила взгляд от блеска его зрячих прорезей в черепае — и не могла отвести. Мои глаза сами приклеились к его лицу — так мошки приклеиваются к

липучке. Он играл револьвером в руке. Играл глазами. Играл носком сапога, выставленного передо мной на снегу. Военный сапог, подумала я, скользнув взглядом вниз; весь в заклёпках, в железных скобах, с плотной шнуровкой. — Идём со мной?.. Всё-таки, как-никак, а я тебя спас. И ты меня должна отблагодарить.

— Чем? — дрожа под распаханной на груди ножом дублёнкой, спросила я. — Самой собой?.. Чем же ты лучше того...

Я кивнула на тень от ворот. Смешливый хищник, чёрная борода, не сводил с меня хохочущих глаз. Револьвер в его руке тускло поблёскивал чёрной запёкшейся дьявольской кровью.

— Нисколько не лучше, ты права, — смеясь всем — зубами, щёлками глаз, торчащими жёсткими волосёнками бороды, ямками на подбородке, морщинами на лбу, подтвердил он. — Я, быть может, даже хуже. Я тебя у него отбил. Я победитель. Я тебя добыл в схватке. Это моё право. Ты принадлежишь мне. Женщина — не человек. Женщина должна всегда принадлежать владыке. Я же не просто человек, ты знаешь. Я Джа-лама. Мою голову отрубили когда-то и возили на пике, устрашая бурятский и ойратский народ. У меня была тёмная голова, её просолили и подкоптели, чтоб не испортилась. А на затылке у меня росла короткая седая щетина, а ещё зияла дыра от пики. Видишь, какой я был тогда красавец. Ты бы в меня тогда сразу влюбилась. А теперь вот глядишь на меня, оцениваешь. А?.. Чем я тебе нехорош?.. Всё при мне. А какой я мужик, м-м. Тебе и не снилось.

Он крепко взял меня за руку. Я представила себе свою одинокую койку в грязном актёрском общежитии, где все ложились спать в четыре утра под вопли, слёзы и смех и пили дешёвую водку и дешёвое ягодное вино.

Час спустя, в широкой и приземистой сибирской чёрнобрусенной избе, с окнами, плотно закрытыми покосившимися тяжёлыми ставнями, узкоглазый дьявол, сумасшедший мужик с револьвером, назвавшийся Джа-ламой, терзал меня на узкой, как лодка-долблёнка, деревянной скрипучей кровати, и я вздрагивала и кричала под ним от боли и наслаждения. Он подчинил меня себе, как нойон подчиняет пленную рабыню.

Джа-лама назвался принцем Амарсаной; бродяга и бандит Георг назвался Джа-ламой. «Джа-лама восставал против китайцев — я восстаю против этой власти, что замучила нас, затравила». Значит, ты политический бандит, спрашивала я его, значит, ты хочешь собирать вокруг себя людей и вести их в бой с властью?.. Да, кивал он, вроде того. Меня ведь уже заграбастывали, хотели упечь в тюрьму. И суд был. «Ты... убил кого-нибудь?!..» — в ужасе кричала я, трогая пальцем его чёрную жёсткую бороду. Он брал мою руку, больно сжимал, отводил от своего лица. «Ты судишь об этом по моей пушке?.. Изволь так думать, пожалуйста. На мне в зале суда, конечно, не было кандалов. Меня спас друг. Он консул в другой стране. Большой жук, богач. Он откупил меня у суда. Дал немислимые бабки судьям, прокурору. Я бы мог загреметь надолго. Соскучился бы я в застенке, ты знаешь. Там довольно тоскливо».

Иногда он пристально, долго глядел на меня. Я переселилась из актёрского вертепа к нему — верней, он сам переселил меня, пришёл, покидал мои вещички в сумку, понёс в свою чёрную избу, а я бежала за ним, скользя и падая на иркутском зелёном льду. «Вышей мне, дорогая, Юссун-сульде». Это ещё что такое?!.. — вскидывалась я. «Белое знамя. Одно из главных девяти знамён Чингисхана». Я покупала кусок белого атласа, красные шёлковые нитки, вышивала на знамени... кого?.. дракона?.. восходящее Солнце?.. полную Луну?.. прищуренную наглуемую смуглую рожу Чингиса?.. Я не знала. И дракон, и Солнце походили на раскосое бандитское лицо. Я клала печать Джа-ламы на всё, что видели мои глаза, что подворачивалось под руку. Я метила его красными кровавыми невидимыми нитями, тянущимися, прядущимися из чёрного дула его смит-вессона, из которого он никогда при мне не стрелял, заматывала куделью его пристального взгляда весь широкий мир, сузившийся для меня, пока я была с ним, в одну жемчужину ангарской раковины, в один золотой глаз байкальской рыбки-голомянки.

Мы везде в Иркутске бывали вместе. Нас боялись. При виде Георга народ вздрагивал, отводил от нас глаза. О нём шла дурная слава. Похоже, он гордился ею.

Он сказал мне: я родом из Улан-Удэ, я был объявлен последним Джебдзундамбой-хутухтой; я узнал вещи, принадлежавшие мне в прошлой жизни, вещи умершего седьмого Правителя, великого Богдо-гэгэна. Я воплощение Амарсаны и Занабадзара. Ты не смотри на меня так, будто я из больницы сбежал. Да, я нюхал и лазарет, и тюрьму, и вытрезвиловку, и Бог знает что только я не нюхал; но это моя здешняя, дурацкая, идиотская, мелкая, ничтожная, человеческая мусорная жизнешка, а на самом деле я великий, неужели ты не видишь?.. Он вставал перед мной, длинный, огромный, как китайская башня, пагода, и смеялся: видишь, какой я великий, когда иду, даже страшно мне с моей высоты поглядеть на землю. Вы, люди, такие мелкие, маленькие. Бегаете у меня под ногами, как маленькие чёрные жучки... или собачки. До сих пор не пойму, зачем я тебя спас. Выдернул из лап того справедливого человека. Ведь он вполне справедливо поступал. Он тебя добыл и хотел насладиться добычей. А я ему помешал. Но я не жалео. Ты оказалась достойной подружкой перерожденца Махакала. Я и не думал, что ты такая воинственная. Я всегда тосковал по дикой женщине. Я никогда не жил с женщинами. Я был всегда один и царь. Ты первая женщина, с которой я живу.

Он называл Луну странно: царица Ай-Каган. В лунную ночь он внезапно, посреди нашего общего сна, поднимал голову от подушки, вставал с постели, голый и босой, худой и страшный, подходил к окну, что не было захлопнуто ставнями, куда сочился белый, чуть синеватый зимний свет. Глаза его были закрыты. Он протягивал руки к Луне. Я вскакивала, тоже босиком, подбегала к нему. Не открывая глаз, он шёл за лунным светом по избе, ощупывал пальцами призрачные струящиеся лучи. Мне становилось страшно, я хотела кричать, но я молчала. Я понимала: стоит

мне крикнуть, и он, с закрытыми глазами, как лесной кот, вцепится мне в горло. Его лицо, бородастое, широкое, как тарелка, было всё залито молоком лунного света. Губы его шевелились. Я вставала на цыпочки, слушала. «Царица ночи Ай-Каган, — тихо, невнятно говорил он, — дай своему Джа-ламе новое воплощение. Подари ему, царица, иное время. Время, в котором я живу теперь, съест меня. Оно уже гложет мои кости, царица. Я чувствую — должна пролиться кровь. Если ты не поможешь мне воплотиться вновь, я убью себя». Я обливалась холодным потом. «Или кто-нибудь убьёт меня». Я вспоминала, как он, на кухне, когда я готовила ему, по его приказу, всякие бурятские и монгольские блюда, что он любил — поозы из бараньего мяса и теста, люй-ча с жиром и сливками, — смеясь белозубо, вкладывал мне в руку тесак, поучал: если хочешь убить кого-нибудь, заноси руку так, вот так. И брал моё запястье в свой горячий кулак, и взмахивал ножом в моей руке. Я делала вид, что смеюсь. Вырывала руку. «Ты мне стряпню испртишь. Уйди». Уж не меня ли, кухонную жрицу, он хочет избрать для своего кровавого перехода в иное воплощение?!

Да, Георг был настоящий бандит, я очень скоро это поняла. Я не мечтала связаться в жизни с бандитом, но это произошло, и поздно было переходить разлившуюся реку вброд, как говорили монголы. К нему в избу приходили люди с грубыми и хитрыми, со смуглыми и бледными лицами, говорливые и угрюмые, но их всех, пришельцев, объединяло одно: кровь. На их лицах, изнутри, на скулах и веках, в морщинах и радужках, в прикусах ртов и на крыльях носа, проступала невидимая кровь. Я чувствовала её солёный запах. Люди Георга занимались кровавыми тайными делами, и деньги, что они добывали себе и своим близким на жизнь, пахли кровью. Я понимала это — и молчала. Я задумала ударить от Георга, но от Джа-ламы ударить было невозможно. Он приковал меня к себе незримыми цепями. И самой крепкой была цепь, соединяющая в лунной ночи мужчину и женщину, безумствующих на узком лодочном ложе.

Это не была любовь. Я представляла себе любовь другой. Мне было страшно от близости Георга. Но, когда он сдирает с меня одежды и обхватывает меня костлявыми жгучими руками, когда его рот, скалящийся из мохнатой дикой бороды, находил мой испуганный рот и вбирал его, я понимала — я ветка, брошенная в погребальный костёр вождя, и я сгораю, и пепел остаётся от меня.

«Если ты не будешь отвергать, один за другим, все соблазны упокоения и вознесения на вершины власти и довольства, ты никогда не войдёшь в состоянье бардо.

Если ты, ослабев духом, будешь оглядываться назад, на прожитую жизнь, сожалея о том, что ты оставил в прошлой жизни, и будешь стремиться вернуться к тому, что бросил ты без жалости, — ты никогда не войдёшь в состоянье бардо.

Войдя в состоянье бардо, утишись, послушай себя. Ты уже готов к новому воплощению, но ты не готов к его высоте. Ты можешь низринуться с высоты. Хочешь ты стать собакой, после того, как ты был человеком? Ты станешь собакой, обещаю

тебе это. Возможно, ты станешь хищным волком и будешь терзать нежную плоть животных, предназначенных волку в пищу; и если ты, не повторяя священной мантры, как должно, станешь не волком, а козлёнком, утаскиваемым волком в логово своё, ты обречёшь себя на новое страдание и на новый переход из бытия в бытие; но козлёнок не может произнести священную мантру, и, значит, его ждёт воплощение низшее, ибо у Будды продуман и взвешен каждый оборот Колеса».

Белый шерстяной хадак, подарок тибетского Ламы, обматывал его горло. С небес сыпал колючий острый снег. «Кланяйся в землю жанжину, кланяйся в землю», — зашипели на него чиновники, но он, держа коня за повод, лишь с достоинством поклонился в пояс генерал-губернатору Улясуата.

«Про тебя ходят слухи, что ты собираешь народ, возмущаешь людей, производишь волнения, обещаешь людям неведомое счастье, морочишь им головы?.. Откуда ты можешь знать будущее?..» — спросил его узкоглазый китайский наместник.

«Вся жизнь, жанжин, состоит из перемен, — снова чуть поклонившись, насмешливо обжёг глазами Джа-лама китайца. — Ты же сам, жанжин, гадаешь по Книге Перемен, по великой И-Цзин. Я учён. Я долго жил в Индии, Тибете, Китае, лишь в Ямато, в Японии, не довелось мне пожить. Я мудр, может быть, мудрей, чем ты. Ты — власть, и ты — глупая власть. Как я могу подчиняться тому, кто глупей меня?..»

Разъярённый китайский наместник соскочил с трона.

«Взять его!..»

«Попробуй, возьми меня, — оскалился бородач и, мгновенно обнажив меч, вскочил на коня. Конь заиграл под ним, заржал, взвился на дыбы. — Ещё мальчишкой, в монастыре Долоннор, я умел зарезать ножом горного чёрно-белого медведя и выстрелить из арбалета во врага, подкрадывающегося ночью к стенам монастыря. А потом я убил много людей, ещё очень много людей. Пули не берут меня — я знаю священную мантру, хранящую воина в бою. Если даже все твои чиновники возьмут палки и ружья и нападут на меня, я убью их всех. Прощай.»

Он пронул поводья коня, оскалился, повернул, поскакал прочь. Снег всё падал с небес на дощатый помост, где торчало резное кресло наместника, на островерхие шапки чиновников, на голые зимние деревья вдоль дороги, по которой скакал улыбающийся всадник.

Георг рассказывал мне всё, что якобы помнил. Это происходило всегда ночью, и лунной ночью. Я ждала полнолуния со страхом и любопытством. Подавляя в себе приступы лунной болезни — он часто порывался взобраться на крышу избы, ходить там, задрвав бородастое лицо к Луне, он хотел босиком, голяком, ходит по ночным зимним дорогам; я еле отговаривала его от этого — «тебя же заберут, пойми, тебя укутат снова в больцу, в тюрьму, ты опять туда хочешь?!..» — и тогда, чтобы успокоиться, чтоб развлечься и утешиться, он нашёл выход. Садясь на пол перед постелью в пазу лотоса, не открывая глаз, раскачиваясь, он

говорил мне свои дикие небылицы, а я слушала, трясаясь, обнимая себя голыми, в пупырышках холода, руками под ночной рубахой.

— Я глядел в зеркало, Елена, — тихо, гундосо, мерно ронял он, и у меня было чувство — в комнате бьют медным звоном часы, и круглый лунный маятник ходит, ходит взад-вперёд, — и я видел себя. Знаешь, я был совсем неплох, я бы тебе тоже тогда понравился. Лицо моё было кругло, как сейчас, скулы торчали, глаза сверкали, и нос у меня был перебит, в той жизни мне тоже его перебила одна сволочь; жаль, кривой, сломан хрящ. Халат мой был шит из русского тёмно-красного драпа. Знаешь, такой драп цвета запёкшейся крови. Мрачно-красный, почти чёрный. Красиво. Я собой любовался. Рукава широкие, без обшлагов, так всегда носили дэли тибетские ламы. И я носил; и ещё на мне были хорошие, крепкие русские дорожные сапоги, а из-под халата, я видел это в зеркале и смеялся, смешно торчал ворот военного мундира — я снял его с убитого китайца, да, так я ненавидел китайцев... Но и плохих русских — тоже ненавидел... Хотя, может, я и сам был плохой; Будда этому судья, не я. Что там ещё было, в юрте?... — Он раскачивался с закрытыми глазами туда-сюда, я, сидя на кровати, вдавливала озябшие пальцы себе в голые плечи. — Я помню... на решётке юрты висел браунинг... на кошме, на полу, валялись две раскрытых кожаных сумы... Я видел в зеркале нашивку красного цвета на воротнике мундира... Ещё лежали на кошме две пары стремян с деревянными плашками — для того, чтоб на верблюда садиться... Ты каталась когда-нибудь на верблюде, девчонка?!

Он крепко сжимал мою руку. Я неотрывно глядела в дикое прекрасное лицо. Когда он так бредил, он был прекрасен ночной, степной красотой. Я понимала: я погибла. А завтра утром снова придут люди, пахнущие кровью. Запоминай, запоминай его бред; может быть, всё это святая правда, как правдив лик сине-белой Луны над уснувшим холодным миром.

— Я знал все дороги Монголии и Китая. Я знал все пути, ведущие к священной Иволге. Я разоружил близ Урги китайские войска. Там, в юрте, я говорил с русским Царской крови, с Великим Князем. Он сказал мне: ты имеешь право убивать и владычествовать. Люди будут у ног твоих, и я тебе помогу. Я подарил ему верблюжьи стремяна и бурятскую мандалу, расшитую золотыми нитями. Он был так доволен. Да, он помог мне, девчонка. Ты не знаешь, как я жил тогда в моей юрте. Над ней развешалось новое белое знамя. Оно было парчовое, всё вышитое сплошь, блестящее. На празднике освящения знамени в жертву хотели принести китайца, но неловкий солдат не мог отрубить ему головы, бросил меч и убежал, заливаясь слезами, и я подошёл, поднял меч, взмахнул им и отрубил голову жертве. Я всегда всё делал хорошо, девчонка. Запомни это.

Он внезапно открывал глаза и резко, слепяще, взглядывал на меня своими раскосыми щелями. Он так сжимал мне руку, что, казалось, ломал мне пальцы.

— У меня была роскошная юрта! — кричал он, и лицо его наливалось багровой краской. — Я заказал

себе генеральское обмундированье! Всё, и эполеты, и погоны! У меня были золотые эполеты, золотые нити вились на них, золотые щётки свисали с моих крепких богатырских плеч! Я был герой!

— Ты и сейчас герой, — шептала я ему, — ты и сейчас...

Господи, он переломит мне руку. Я буду ходить в гипсе.

— Я был такой герой, что я проехал на коне всю Азию, весь великий Сибирский Путь на Запад, — сквозь прокуренные жёлтые зубы выплёвывал он мне в лицо, — и я достиг Астраханского ханства, и я хотел остаться там жить, так мне там приглянулось! А потом в проклятой России началась революция и война, заварилась эта каша из железа и крови, и я, я тоже варил её! Я к ней руку приложил!.. Казаки астраханские восстали, но красные солдаты их перестреляли, всех до одного... А я уже скакал, скакал и ехал в поездах, и мой конь трясся в вагоне вместе со мной, обратно на Селенгу, на Байкал, в Бурятию, сюда... И пули свистели вокруг меня, и гранаты взрывались у меня под ногами, но я же знал, знал священную мантру!..

Луна пристально глядела в единственное окно; все остальные были чёрно, слепо задвинуты досками ставень. Багровость утекала с напрягшегося лица Джа-ламы. Он перевёл дух, разжал руку, выпустив мою руку, затёкшую, ноющую от боли, снова закрыл глаза.

— Я выбрал место для новой ставки в пустыне Гоби... у горной цепи Ма-Цзун-Шань... Всюду, куда ни глянь, — пустота, тишина... Там скрещивались пути из Юм-бейсе на Тибет, Китай, Цайдам, великие караванные пути... И стала моя жизнь — сон, Елена... В моей крепости было пятьсот юрт. В отряде — триста сабель... Я охотился на диких баранов и коз, грабил караваны... О, грабить караваны — какой наслаждение, девчонка!.. Это лучше, чем обнимать женщину... Однажды я ограбил караван, идущий из монастыря. Одной рухляди, парчи, драгоценных камней, золота там было столько, что не стыдно было бы выдать с таким приданым замуж Царскую дочь... И я всё присвоил! Всё стало моё! Моё — это тоже наслаждение. Моё — это такое опьянение, такое... Я всегда любил владеть. Я всегда любил жить богато и вольно. А для этого, девчонка, надо лить кровь. Без крови ничего не выйдет в жизни. Ничего.

Я опустила ноги с кровати на пол.

— Ты куда?.. — Он цапнул меня за руку. Снова усадил. — Никуда ты не пойдёшь!.. Слушай... Убивать — всё равно, кого. Я долго думал: кого лучше, выгодней убивать — красных или белых?.. И я так и не понял, кто против кого воюет. Я, Джа-лама, убил белого командира Вандалова, взрезал ему грудь и вырвал у него из груди дымящееся сердце, и вместе с моим другом Максаржавом, верным воином, сварил и съел его, чтобы умножить силу и храбрость. Если убьёшь тигра на охоте — съешь его сердце!

— А моё сердце... ты тоже съешь?!

Я спросила это так тихо, что сама себя не услышала. Но он услышал.

И захохотал — так раскатисто, так хищно и обидно, что все волоски у меня на теле поднялись дыбом.

— Тебя?!.. — еле оборвав хохот, выдавил он. — А ты-то сама кто?!.. А-ха-ха-ха-ха!.. Ты-то, ты-то...

Он повторял это так долго, что я услышала: «Ты дрянь, ты дрянь». Кровь бросилась мне в голову. Рука моя размахнулась сама. Когда он возобновил свой обидный хохот — до слёз, — рука моя сама размахнулась и сама дала ему звонкую пощёчину. Я не хотела этого — рука захотела сама.

— Ах ты, — изумлённо выдохнул он. Его лицо-тарелка обернулось, встало широкой Луной против моего. — Меня к себе звал сражаться барон Унгерн, да я не пошёл. Я мог совершать переход на конях без воды и пищи в степи много дней и ночей, если надо было настигнуть врага. Ты... ударила меня!.. На колени!..

Он так и не разогнул ног, не встал из позы лотоса. Он просто схватил меня за руку и так сжал её, что я вскрикнула, и из глаз моих показались слёзы.

— На колени! Передо мной!

— Ты можешь мне выжать кровь из руки, как сок из мандарина, о великий Джа-лама, — сказала я, морщась от боли, плача, — ты можешь избить меня, убить... но я не встану перед тобой на колени! Где твой смит-вессон! Я пошла с тобой тогда, ночью, не оттого, что испугалась твоей пушки! А от одиночества! Оттого, что мне тоже, как и тебе, дурак, захотелось человеческого тепла, участия, ласки! Дыханья рядом! Ты можешь съесть моё сердце! Но оно никогда не станет твоим! Никогда! И храбрости оно тебе не прибавит! И любви! Ты останешься таким, как ты есть, навсегда! Злым! Жестоким! Ужасным! Чёрным!..

Я плакала уже навзрыд. Я выкрикивала это всё взахлёб, не помня, что кричу, зачем. И я увидела превращенье.

Злобно хохочущий, возбуждённый пощёчиной Джа-лама вдруг скорчился, съёжился, вжал голову в плечи, стал внезапно маленьким и тощим — он, долговязый и худой, костяная каланча. Он стал странно, просяще жалким, он всем телом своим просил у меня прощенья. Он не произнёс ни слова. Он только глядел на меня чёрными щелями. И лицо его бледнело всё больше, и он закусил губу, и я увидела, как по его подбородку, по задранной шее, по кадыку ползёт струйка чёрной крови, чёрной в белом свете Луны.

И я испугалась по-настоящему. Мне показалось — он умирает.

— Ну что ты, что ты, — залопотала я, всхлипывая, утирая мокрое лицо ладонями, — ну не надо так, я же не хотела тебя обидеть...

Он как-то странно сломался в спине, ссутулился, наклонился вперёд и уткнулся горячим, обжогшим меня лбом в мои голые колени под рубахой.

— Это ты, царица ночи Ай-Каган, прости, прости меня...

Он распластался на холодном полу у моих дрожащих замёрзших ног. Голый человек на голом полу. Полуголая девушка на жёсткой деревянной узкой кровати. Лодка жизни несёт их по бурной Селенге. Впереди бездонье Байкала. Синева вечности. Луна смеётся над ними, подсматривая их в окно. На Востоке всегда должен быть у любовников Подсматривающий либо Подслушивающий.

Так надо, чтобы всегда был третий. Без третьего любовь потеряет вкус и остроту, не будет дразнящего, терпкого аромата.

Они пришли рано утром. Мы ещё спали. В уши вонзился звонок, выворачивающий наизнанку нутро. Я всё просила Георга: смени звонок, смени. Так можно оглохнуть. И буду я, музыкантша, что твой Бетховен.

Он равнодушно, нагло встал с постели голый — он никогда не стеснялся своей наготы — и пошёл к двери. Отпираться.

— Георг!.. — крикнула я из постели сонно, сердито. — Ну хоть халат накинь, имей совесть!..

Он обернулся. Из его сузившихся лезвий-глаз вылетел чёрный огонь.

— Не Георг, а Джа-лама, пора бы запомнить, — выцедил он. — И не халат, а дэли. Дэли, повтори. И совести я имею безмерно больше, чем ты, ибо у меня было во времени больше воплощений.

Я молчала. Рухнула в подушки. Я ничего не собиралась повторять. Он качнулся в белесом утреннем свете, нагой, и спокойно пошёл к двери.

Он, жестокий, самонадеянный, открыл дверь, даже не спросив: кто?.. кого несёт в такую рань?..

И стук и грохот я услышала в сенцах. Будто падали, врезаясь в стену, лопаты, валились на дощатый пол гири.

И я услышала крик:

— Су-у-уки!

Они давно готовили его убийство. Они продували его убийство, готовили его долго, как хорошая хозяйка загодя начинает готовиться к празднику, скупая провизию, запасая сушёные овощи и вяленое мясо, рубя капусту тяпкой и придиричиво выбирая на базаре телячьи ножки.

В Улан-Удэ были расстреляны заговорщики. В Урге — верные люди Джа-ламы. В народе читали указ: «По степи бродит бандит, беглый нойон Дамбижанцан, называющий себя присвоенным им святым именем Джа-ламы, на самом деле это не Джа-лама, а коварный и подлый враг, военный суд приговорил его к смертной казни». Но Джа-лама был невидим. Он был неуловим. Он был бесстрашен и жесток, он Божественным чутьём знал, когда к нему приближались те, кто хотел убить его, и стрелял в них, и убивал наповал, а оружие всегда было при нём.

Его несчастный, крошечный дамский смит-вессон тридцать восьмого калибра.

И палачи затаились. Они поняли — надо действовать иначе. Надо не выслеживать его, бесстрашно бродящего по улицам Иркутска, по старым закуткам Иволги, по холмам снежного Удэ, по тайге Листвянки, по угрюмому байкальскому берегу в Голоустном, когда култук выдувает из человека все внутренности, — его, курящего «Мальборо» и «Кент» у пивных ларьков, нагло ощупывающего глазами лица и груди встречаемых девушек, — а прямо прийти к нему в дом, в его крепость. Туда, где он затаился с тремястами саблями. Где у него из всех сабель осталась только одна жалкая девица, любовница, что он подобрал на улице, ночью, в подворотне, — ну, это голубиное перо, его можно и отдуть ото рта.

Они были матёрые убийцы. Они участвовали в ликвидации белогвардейских банд барона Унгерна. Они под Маймаченом расстреляли царского генерала Баиргуна, а на подступах к Урге — китайского офицера Сяо. Они кричали шёпотом, сведя над столом, как сводят в пиру чаши, палаческие головы: мы обманем его. Мы сделаем вид, что мы его друзья. Мы впряжёмся с ним в одну упряжку. Мы поделим с ним деньги, что вместе с ним мы отнимем у жалких, слабых. Мы, сильные, склонимся перед ним, заставив его думать: он — сильнее. Мы сочиним ему письмо, где предложим ему взять царствующее место в том тайном разбном союзе, который помог ему взять большое богатство и уцелеть. Мы скажем ему: приходи, владей. Ты — наш владыка. Тебя — хотим видеть над нами. Он, конечно, сначала не поверит. Но такова природа лести, что любой, и даже осторожный Джа-лама, умный, хитрый, жестокий, неуязвимый, поверит тоже. Как можно убить убийцу? Убийце надо предложить стать из холопа — князем. И посулить ему княжескую, хошунную печать. И тогда, имея печать своего хошуна, он станет владыкой над всею бескрайней Степью. Он станет перерождением Чингис-хана, и это будет его великое торжество в подлунном мире. И воины Дугар-бейсэ и Нанзад-батор принесут ему это письмо, и подсунут под чёрную дощатую дверь. И он найдёт его. Или его девочку.

И не уйдут воины. Всю ночь будут ждать под дверь, не смыкая глаз. А утром позвонят в оглушительный звонок. Какая роскошь, однако — звонок в юрте.

Он, голый, подошёл и открыл дверь. За дверью стояли Дугар-бейсэ и Нанзад-батор, в меховых грубых тулупах, синие от мороза. Шатались, будто пьяные. Он насмешливо окинул их взглядом. Проследил за их глазами: они молча пялились на висевшие на стенах сеней ружья, малокалиберные винтовки, кинжалы в чехлах и без чехлов, разнообразные ножи, старые пистолеты и револьверы — Джа-лама собирал коллекцию оружия, гордился ею. Я шарахалась от стены, увешанной орудьями смерти. Мне казалось — вот сейчас кинжал прыгнет со стены, вопьётся в меня. Нож, отнятый у того насильника из подворотни, он тоже повесил здесь.

— Любуется? — весело спросил Джа-лама. — Неслабое у меня собрание. Хотите что-нибудь на память, отморозки?.. Что стали, как вкопанные?.. На, держи ты. И ты.

Он сорвал со стены степной аратский кинжал, подумал — и сдёрнул ещё тот нож, которым хотели убить меня. Протянул воинам. Они молча взяли.

— Вот, возьмите мой подарок! Это наточенная сталь, осторожней, — он криво усмехнулся, и жёлтые прокуренные зубы обнажились. Нанзад-батор глядел на его голый впалый живот. — Вы можете кого-нибудь, ребятки, запросто убить этими ножами.

Он смеялся над ними, вызывал их. Он смеялся над смертью. Он не мог допустить, чтобы они, эти

вши, ползающие по земле, по другим мёртвым телам, посягнут на него, Перевоплощённого.

— Давайте я вас, трусы, благословлю. На смелость. — Он уже смеялся, хохотал в открытую. Они глядели на него округлившимися глазами, если только узкие щёлки бурятских глаз могут округлиться, расшириться. — Встаньте на колени! Не хотите?.. Не надо. Мысленно вы все стоите передо мной на коленях. Потому что я один в целой Степи умею убивать, как никто. Умею взять деньги там, где они упрятаны за семью замками. Умею ограбить того, кто хочет ограбить меня. И я отличаюсь от вас тем, что мне на это всё, непотребное у других людей, Буддой разрешение дано. Дано! — Он простёр руки над круглыми бритыми головами бандитов. — Благословляю вас! Попытайтесь быть, как я! Не сможете! Моё святое благословенье да будет с вами!

— Кончай ломать комедию, Георг, — сквозь зубы процедил Дугар-бейсэ, — не смешно. Кончена твоя степная песня, царёк сдвинутый. Ты и продержался-то благодаря своему сумасшествию. Только никто не верил в твою игру. Не верил, что ты сумасшедший. Все тебя давно разгадали. Кончен бал, погасли свечи...

Он стоял над ними с руками, простёртыми для благословенья, как будто застыл на морозе, не опускал их. Дугар-бейсэ схватил его за запястья. Нанзад-батор, выхватив из кармана увесистый кольт, выстрелил. Он выстрелил Джа-ламе не в голову, не в лицо — в голую грудь. И Джа-лама не сразу упал. Он, задрвав голову, видел, как поражённый тем, что они подняли руку на Царя Степи, Дугар-бейсэ попятился, зацепил плечом охотничье ружьё, и оно с шумом свалилось со стены; ружьё зацепило грузный автомат Калашникова первых выпусков, и он тоже упал, грохоча; автомат зацепился ремнём за старый, времён гражданской войны, маузер, и он брякнулся, ударив металлом о металл; и так, цепляясь друг за друга, начали валиться со срубовой стены, как заколдованные, все убийственные железяки, когда-либо собранные на земле, у доверчивых людей, купленные или выманенные, великим Джа-ламой, грозой байкальских бандитов.

И Джа-лама крикнул:

— Суки!

И у него горлом пошла кровь.

И, когда он упал на пол, рядом со своими гремющими, валяющимися со стен железками, Нанзад-батор поднял руку в кольт и выстрелил в него ещё раз, сверху, сзади — в шею.

И пробил Нанзад-батор сильную жилистую шею Джа-ламе; и дёрнулся Джа-лама, и ещё выплеснулась кровь из его горла, как старая монгольская змеиная тёмная водка; и крикнул Нанзад-батор, цепenea от страха:

— А девка!.. Девка-то твоя где!.. Может, тут она!.. Тебя-то мы пришили, а ну как если она здесь?!.. её-то, её-то тоже ведь придётся пришивать!.. как пить дать!..

И Дугар-бейсэ, кусая губы, бросил:

— А может, кроме шары, тут ещё и собака какая есть, кошка?!..

Я не слышала этих слов, голоса, каким они говорились. Но я слышала гул, гомон речи. Так слышно — по весне бегут ручьи вниз с Хамардабанских гор, втекают в Байкал, спрятанный, как под шубу, под толстый мёртвый слой льда.

Я стояла перед толстой дверью, как перед слоем льда. Я должна была открыть дверь в сенцы. Прорубить ломом прорубь. И нырнуть — головой в ледяную чёрную воду.

Я ударила дверь ногой.

Он лежал на дощатом полу сеней голый, лицом вниз, и между лопаток его сочилась кровью рана, и в круто вывернутой, как у мёртвого быка, шее тоже темнела красная рана.

Я прямо смотрела в лица воинам.

— Здесь нет собаки Джа-ламы, — сказала я, не опуская глаз. — Здесь нет кошки Джа-ламы. Здесь нет прислужников Джа-ламы, и домочадцев Джа-ламы, и поваров Джа-ламы, что готовили для него в юрте вкусные мясные обеды. Здесь есть только женщина Джа-ламы. Единственная его женщина, бывшая с ним в радости и в горе. Он никого не терпел рядом с собой, кроме меня. Ламы не могут жениться. Ламы дают святой обет. Я знала это. Но я была с ним, ибо он так захотел. А сейчас вы оба уберётесь вон, суки, потому что, я знаю, он бы так захотел тоже. Я всегда читала его желанья. Вон. Убирайтесь. Иначе я всажу вам все пули, что в барабане, в ваши тупые стриженные лбы.

И я вынула из-за спины руку с крепко зажатым, чуть кровь не брызгала из-под пальцев, смит-вессоном моего Джа-ламы, тридцать восьмого калибра, бодигард-эрвейт, стэнлесс стил, и наставила дуло прямо в лица палачам, бритым солдатам, мародёрам, приبلудным псам, заблудившимся в степи малым детям. Разве стреляют в детей?!.. В глухих детей не стреляют. Глупые дети убили Джа-ламу. Будда их за это накажет.

— Вон! — крикнула я оглушительно, громче Георгова звонка. От моего крика свалился на пол последний, висящий на стене, острый маленький японский кинжалчик — из тех, что японские кургизанки засовывают себе в высокие причёски, чтобы, когда придёт минута, защититься от насильника, от убийцы, от того, кто будет слишком мучить бедную нежную женщину, восточную розочку с жемчужиной внутри.

Бандиты попятиться. Они не ожидали такого поворота событий. Это был закрытый поворот. Нанзад-батюр прикусил губу.

— Тише, не стреляй, девочка, мы сейчас уйдём, — примирительно, успокаивающе проронил Дугарбейсэ, пятясь, разглаживая пальцем усы, — тише, тише... не надо баловаться такой опасной игрушкой, не надо, тише, видишь, мы уходим, мы...

Он бормотал медленно и сонно, будто гипнотизируя меня. Я держала револьвер крепко. Будто весь век только и делала, что стреляла.

Да, они уходили, а я оставалась. Вот проскрипела забухшая на морозе дверь. Вот скрылись бритые, будто лысые, жестокие и гладкие, как чугунные шары, головы за ней. Вот закрылась она, дверь, плотно, намертво. Будто крышка гроба — навсегда.

Я никогда не выйду из этой чёрной срубовой избы. Никогда.

Я упала на колени рядом с Джа-ламой. Вспомнила, как он кричал мне: «На колени!». И как я кричала ему в ответ: «Никогда!». Вот я и встала на колени перед тобой, мой Джа-лама. Мой истинный сумасшедший. Истинно, истинно говорю вам: тот, кто... Ему не нужен был мой медный крестильный крест. Он был безумьем Востока. Он говорил мне, смеясь, взяв моё лицо в руку, как берут очищенный плод, чтобы съесть его: твой Христос тоже Восток, он восточный человек, он бродил по нашим пыльным дорогам, он учился у Будды. Не зазнавайся.

Нет, я не зазнаюсь. Я взяла его за плечи. Я перевернула его на спину, хоть это и было очень тяжело. Я утомилась, будто тащила бревно. Какой мёртвый человек тяжёлый, даже такой худой, как Джа-лама. Смит-вессон лежал рядом с ним на полу. Кровь, вытекавшая из тела, медленно подбиралась к револьверу, и я испуганно отодвинула его голый ногой подальше. Подол моей ночной сорочки выпачкался в крови. Так пачкаются рубахи девственниц в брачную ночь.

Сегодня наше брачное утро, Джа-лама. Ты хотел бы брачной жизни со мной?!

И теперь это я взяла его лицо в руки. На шее виднелось кровавое отверстие. Выход пули. Пуля здесь вышла и ушла в доски, в пол, под землю. Куда ушла твоя душа, Джа-лама?!

И будто смеющийся, жестокий, хриплый голос услышала я над собой:

«Я вошёл в состояние бардо, дура, и ушёл в другое своё перерождение. Я знал, что меня пришли убить, и я успел подготовиться к входу в бардо. Теперь надо бы сделать так, чтобы ты прочитала священную мантру. Ты её знаешь. Я тебе её говорил. Шептал, ночью, под Луну. Вспомни! Повтори! Помоги мне! Тогда я смогу родиться в обличье Царя, не собаки... и они больше никогда не убьют меня, как собаку... пулей в затылок... что ж ты молчишь?!..»

Тщетно. Я всё забыла. Я забыла слова священной буддийской мантры. Да, он ведь читал мне мантры из этой древней тибетской Книги Мёртвых, называемой бурятами «Бардо Тодол». Он втямывал их в меня, а в моей набитой опилками головёнке, слышавшей только Моцарта и Чайковского, звучало родное, русское: «Богородица Дева, радуйся...» Забыла. Не скажу. Не спасу. У каждого своё спасенье. Ты уж сам там, в бардо, Джа-лама, ладно. Ты сам. Сам.

Я взяла его лицо в ладони. Слёзы закапали с моего склонённого лица на его окровавленное лицо. Я впервые видела чужую смерть так близко, в лицо. Я знала — я так близко больше никогда её не увижу. Только свою.

Я встала с колен. Подняла револьвер, не видя, не глядя. Шатаясь от рыданий, вошла в избу. Рубаха была вся в крови. Будто это меня ранили. У Георга никогда не было телефона. Никакую милицию не вызовешь. Он жил в Степи. Он умер в Степи.

Я, плача, поднесла смит-вессон к лицу. Какой же маленький. Ну просто игрушечный. А настоящий. Я ковырнула ногтем стальной выступ. Защёлка отбехала. Из корпуса выпростался

барабан. Я глянула на просвет. Дырки смешливо зияли в чёрном барабане. Я слепо, потрясённо крутанула его пальцем. Барабан был пустой. Ни одного патрона.

В то утро его смерти я не увидела Луны, хотя она стояла высоко над домом, над заметенной избой, маленькая, вся словно завалившаяся за синюю подкладку небесной заиндевелой шубы, как кислое сибирское яблоко.

Я смотрела только на землю.

А на земле было полно дел после смерти Джа-ламы. Когда прибыли жители и соседи, милиционеры и солдаты, старые бурятские бабки и курильщики-дворники, пацаны-зеваки и плачущие ярко раскрашенные подозрительные девицы, пожиравшие мёртвое тело глазами, мне дохнуть было некогда. Людей охватила паника. Все кричали: «Бандиты!.. Бандиты!.. Всех надо бояться!.. Наше время такое ужасное!.. Нас всех в любой момент... перестреляют!». В вещах Джа-ламы рылись, копошились. Его избу беззастенчиво грабили. У него оказалось много богатого добра — не только коллекция музейного оружия, вся свалившаяся на пол в миг его смерти. Приехал и хамбо-лама — буряты пригласили его, прочитать Священные Мантры над телом, возжечь куренья. В шкафах отыскивали связки драгоценных камней, золотой песок в кожаных мешках — «пшеничку», как его часто презрительно-ласково именовал Джа-лама, взвешивая мешочки на ладони, — золотые слитки, маленькие золотые статуэтки Будды, сидящего в позе лотоса, Белой Тары, Авалокитешвары. У кого он украл всё это?.. Кто всё это ему пожертвовал?.. Неизвестно. Это были магические вещи. Вещи, дававшие ему силы жить. Я одна знала это. А все, поджав губы, думали: вот бандюга, сколько нагрбил, а...

Скота — коров, коз, овец, кошек и собак — у Джа-ламы не было, и некого было, сложив погребальный поминальный костёр, жечь на Крестовоздвиженской площади Иркутска. Нанзад-батор, правда, умолял: дайте мне его сердце! Я вырву его сердце, съем и стану таким же неуязвимым, как он!.. Все вокруг смеялись. Станешь, как он, сумасшедшим?!.. Иркутский дурдом по тебе, солдат, плачет!.. И никто не знал, как поступить с телом Джа-ламы, худым, жалким, голым, неуязвимым и бессмертным. Его останки тоже надлежало, по святым законам Степи, предать огню. Но ни у кого рука не поднималась на это.

И тогда вперёд выступила я. Я сказала: вы на Востоке живёте или не на Востоке. «На Востоке!.. — кричали все сначала робко, потом оготело. — Мы живём на Востоке!». Тогда сожжём то,

что надлежит сжечь, сказала я жёстко. И услышала в своём голосе звуки, склёпывавшие железную речь Джа-ламы.

И бурятские старухи пихали друг дружку в суглобые скрюченные бока локтями и шипели друг дружке на ухо: гляди, гляди, это его вдова. «А зачем же она властям, солдатам отдала все драгоценности?.. щедрая!..» — «Да нет, дура, сумасшедшая, как он...»

И подняли тело Джа-ламы на руки, и вынесли во двор, весь заметённый снегом, заметенный весь. И высокое, прозрачное, как Байкал, голубое небо стояло над нами великой перевёрнутой прорубью. И головы наши, и глаза наши тонули в ней. И мгновенно мальчишки нанесли сухих веток, кедрового и елового лапника. И сложили большой костёр. И подошёл Нанзад-батор, и взмахнул ножом, которым хотели меня убить, и, по старому монгольскому обычаю, отрезал Джа-ламе голову — так отрезают от тела голову поверженного врага. И положили в костёр тело Джа-ламы, и зажгли костёр, подожгли с четырёх сторон. И огонь обнял его тело, и сторел он, и вместе с кедровыми ветками, с еловыми иглами обратился в пепел. Сгорела его кровь, его мясо и кости.

А его голову Нанзад-батор насадил на пику, на старую аратскую пику из его же коллекции, уже наполовину растащенной милиционерами, соседями, пацанвой, и высоко поднял пику, и люди склоняли головы и шептали мантры, люди задирали головы, люди всё прибывали во двор, люди валом валили со всего Иркутска, люди приезжали из Аги, из Иволги, из самого Улан-Удэ, из всех Дацанов, чтобы увидеть своими глазами торчащую высоко на пике голову Джа-ламы, того, кто ещё в ранней юности съел в Тибете листья от Древа Жизни, одиноко в горах растущего, дающего бессмертие.

И я стояла, подняв простоволосую голову, в окровавленной ночной сорочке, глядела на голову, воздетую на пику, и плакала тихо, чтобы никто не заметил слёз, но слёзы, как голомянки, плыли в ледяной проруби лица.

И лицо моё было как белый лик Луны, и я шептала сама себе белыми от мороза губами: держись, царица ночи Ай-Каган, придёт ночь, и ты будешь владычить опять. Утро — не твоё время. День — не твоё царство. Лишь в черноте ты посылаешь золотой, царственный свет свой. Лишь во тьме ты произносишь молитву, и белым молоком уйгурских кобылиц она льётся вниз, на затылки и плечи усталых, ничему и ни во что не верящих людей.

И снег падал вниз с прозрачного голубого неба — так падают сверху вниз печальные старомонгольские письма.

г. Нижний Новгород



Роман Солнцев Из неопубликованного

Рукопись любезно предоставлена Г. Н. Романовой

Памяти Виктора Петровича

И родные не узнают

Этого щенка мне привезли месячным — белый пушистый шарик попискивал, завернутый, как пирожок в бумагу, в подгузник для человеческих детей.

Когда мы с женой, размотав тряпку, опустили его на пол, он, моргая, постоял, косолапо побрёл по кругу и обмочился — пугала чужая обстановка.

В деревне он спал на воздухе, как мне рассказывали, в вольере из проволочной сетки, — рядом с мамой, огромной сукой, и братиком, таким же, как он сам, крохотным.

Здесь же со всех сторон сверкает линолеумный пол, светит сверху лампа, наклоняются чужие люди и что-то гулко говорят. Почему-то им сразу понадобилось кличку маленькой собаке придумать.

- Снежок. Не годится?
- Надо, чтобы с «эр». Рекс?
- Ну, какой это Рекс? Тихий он...
- Так давай и назовём — Тихон.
- Тишка?... Нет, да, надо с «эр».
- Щенок тоненько завыл.
- Да ещё и поёт.
- А глаза трагические. Как у Паваротти.
- Вот и назовём — Тишка Павар-ротти.

Так в нашу жизнь вошёл этот щенок-лайка. Месяца через полтора он уже откликнулся на кличку, бежал на голос. Хвост его постепенно вскинулся бубликом, только вот уши, тёмные на белом, широкие, как крылья у летучей мыши, как лежали, так и оставались лежачими.

Пришёл знакомый милиционер, весёлый Костя Зеленков.

— Э, — говорит. — Это не лайка, дядя Рома. Это дворняга. Уши-то прилипли. И пасть, наверно, розовая. Ну-ка? — деловито раскрыл, как книжку, пасть у щенка. — Чёрная. Вообще-то, хорошо. Может, и вправду лайка... северная. Посмотрим...

Мы с Тишкой бегали по окрестностям в берёзовой роще, он заметно вырос, окреп. Стал тявкать, когда за дверью гудел и останавливался лифт, или громко разговаривали, встретившись с этажей, пьяницы. А если вдруг ему надо на улицу, просительно покусывал нас за ноги. Одно, правое ухо, уже торчало, пушистое и остренькое сверху.

Первое время я выводил пса без поводка — это позже он начнёт, вдруг забывшись, будто лунатик, уходить от меня невесть куда, совершенно не слыша моего голоса. И знающие люди посоветуют никогда не спускать его с ремня — убежит, лайка есть лайка. Да если и вернётся, так весь в грязи, а то и власть покатавшись почему-то на человеческом дерьме (став похожим на тряпичную почтовую

посылку с сургучной печатью сбоку!), — как нам рассказали, инстинкт заставляет прикрываться чужим запахом, чтобы медведь или иной зверь не учуял собачьего духа... Надо же, такие сложности запрограммированы в кудлатой головёнке! А нам, ругаясь, мыть да отмывать его.

Иногда в гости заглядывал мой друг Владимир Николаевич, подаривший Тихона. Посмотрев, как тот, прыгая вокруг, пронзительно облаивает его, человек из деревни усмехался в усы:

— Уже не узнаёшь? Привет от братца. Анчар-то на холоде, во дворе, а ты, значит, барчонком тут зимуешь?... — и привычно-бесстрашно совал щенку в пасть руку, и тот замолкал, мягко зажав пальцы, как перчатку.

И вот месяца через три новой жизни щенка мы собрались в гости, туда, в таёжную деревню Имени Двенадцати Борцов, где наш безымянный некогда пёсик прожил первые дни своей жизни.

Мороз раскалился под тридцать. Огород был в высоких сугробах, заползавших в бок друг дружке, вроде сивых медведей. Вдоль двора высились берёзовые поленницы, от забора к забору бегала розлая и одновременно юркая, голенастая, как танцорка, Джуна — мать Тишки. И болтался у наших ног брательник Тишки — нервный, маленький (ростом пониже, и шерстка гладкая, не то что у нашего — винтами, как дым), чёрный Анчар.

На гостя в красивом ошейнике они смотрели без особого интереса. Но когда Владимир Николаевич вынес в двух судках горячую похлёбку — маме и двум братишкам вместе — местный братик так тявкнул, что мой Тишка отлетел в сторону. Ему тут ничего не светило. И мать, конечно, не позвала бедного сыночка.

Ночью Джуна и братик привычно сунулись спать за сетку, в свои конуры... А куда же делся мой щенок? Ах, вон он где! Потерянно стоит на снегу возле мусорной кучи и досок и трясётся. Он же отвык от холода. Раньше знать не знал никакого холода — спал-то, прижимаясь к матери. А теперь один как перст.

— Иди ко мне! — позвал я его. Тишка меня словно не слышал.

Съжившись, он сел на выброшенный ветхий валенок. Мы, новые его хозяева, сладостно проводили время у горящего камина, пили кедровую настойку вместе с прежним его хозяином, который говорил громко и весело, и пёсик издалека, со двора, его слышал и, наверно, смутно вспоминал...

Я заметил: вдруг он стал слушаться только его. Когда я в чужой фуфайке и Владимир Николаевич

в лихо расстёгнутой рубашке выходили во двор за поленьями или по какой иной надобности, Тишка подбегал и жалостно смотрел снизу вверх только на него. Но хозяину было не до щенка — ну, разве что пригнётся и снова сунет ему руку в пасть.

Я нарочно один выглянул на крыльцо и кликнул:

— Тишка! — Нет, не слышит. Протрусил по двору мимо меня, как будто я был столб, пытающийся заговорить с ним. Я обиделся и рассердился. — Тишка же!

Догнал его и подхватил. Он был весь как комок снега с прилипшей шерстью. Он дрожал, сердчишко колотилось стремительно. Ещё заболит и помрёт.

— Пойдём-ка в баню, — пробормотал я и попытался затолкать за дверь, за которой было очень тепло — баня ещё не выстыла. Но пёсик упирался, как барашек, и, вырвавшись, убежал во тьму огорода. Вот дурачок!

Утром, проснувшись, я увидел — Тишка сидит под поленницей и трясётся, закрыв глаза. Я погладил его, безучастного, и попросил хозяина дать ему отдельно еду. Но маленький Анчар, углядев новую миску и даже не прикоснувшись к своему судку, метнулся, рыча, на братца, и они сцепились в схватке. Они завертелись, как двойная пышная юла. Наконец, мой Тихон ловко ухватил Анчара за хвост — оказался победителем, братишка взвизгнул и отскочил, и наш стал, оглядываясь, выгрызать из алюминиевой миски, вертящейся на снегу, уже подмёрзшую кашу.

Стоя над ним, я снова позвал его — он не слышит меня. Он следил своими карими глазками теперь только за Владимиром Николаевичем. Я сказал хозяину дома:

— Может, его у тебя оставить?

Владимир Николаевич улыбнулся моей обиде, вынес из сеней говяжью шаровую кость с ленточками красного мяса, подал мне, и я протянул её щенку.

И тут впервые щенок заметил меня. Впрочем, лишь мельком глянул. Благодарно шевельнув хвостом, ухватил кость и, присев, начал облизывать и грызть её. Мигом подлетел братик, но я отогнал его ударом сапога. А потом взял под живот Тишку, так и не выпустившего из пасти кость, и занёс в предбанник, где и поставил его перед зевом печки. И он, ткнувшись пару раз зубами в кость, лёг боком и, скуля, забылся.

Через час я заглянул — он спал.

Он проспал весь день — видно, бессонная одинокая ночь измучила его. На следующее утро он вышел из предбанника и казался уже более уверенным. И когда я его окликнул, нехотя, но всё же подошёл ко мне.

— У него сбит стереотип привязанности, — заметила моя умная жена. — Он теперь нас может и не полюбить. Он Володую вспомнил. Надо было нам позже сюда приехать.

Мы вернулись в город и только месяца через два он, кажется, снова стал полностью моим. По первому тихому свисту или оклику вскакивал и преданно смотрел в глаза. Но это дома. А на улице — он у меня отныне только на поводке, правда, длинном — я купил на базаре трёхметровый. Встречные

дамы ахают: «Какой красивый! Прямо белый шар!» Белый шар, от которого, когда мы гуляем в лесу в сумерках, на снегу рождается белое кольцо света...

Тихон подрост. И когда на 8-е марта к нам заехал Владимир Николаевич с цветами поздравить мою жену, пёс исправно залился звонким лаем на весь дом, а когда гость привычно сунул ему палец в пасть, тот подержал палец, выпустил и лёг, довольно равнодушно глядя на своего прежнего хозяина.

— Как братик? — спросил я.

— Растёт.

— Привет ему, — сказал я. Сказать правду, когда мы были в гостях, тот нам понравился больше. Такой подвижный, ловкий, словно дирижёр Спиваков... на пуантах... Но судьба есть судьба — Тишка наш, и он лучше всех.

За зиму и весну он изгрыз все старые тапки в прихожей, мы обувь стали подвешивать. Ударом лапы отворяя дверь, он входил в мой кабинет в любую минуту, когда пожелает. Он становился полноправным членом нашей семьи. И стремительно мужал. Мы старели, но не замечали этого. А он, по собачьему возрасту, обгонял нас...

И вот недавно к нам в гости снова заехал наш друг Владимир Николаевич, запыхавшийся, толстый, сивый, волосы как из алюминия. Тихон матёрым волком выскочил из нашей большой комнаты, где тоскливо лежал на коврик (отшвырнул его когтями к балкону!), и с хриплым лаем вскинулся на гостя.

— Ты что?.. — закричал я на собаку.

— Ты что?.. — смущённо буркнул и Владимир Николаевич. Привычно хотел предложить Тихону ладонь в пасть, но тот, отпрянув, так сверкнул глазами, что гость быстро убрал руку. — Ещё укусит.

Хотя Владимир Николаевич лучше меня знает, что лайка никогда не укусит человека. Но почему же так сердится Тихон? Напрочь забыл прежнего хозяина? Или вдруг вспомнил и теперь в нём проснулась обида за то, что тот отдал его в город? Конечно, в деревне вольнее, бегай, где хочешь... могут на охоту взять... а из меня какой охотник? Подаренное друзьями к 50-летию ружьё недавно, придя ко мне домой, забрали милиционеры — оказывается, истёк срок разрешения.

Кто-то рассказывал: некоторые лайки, живя в городе, сходят с ума, начинают кидаться даже на своих хозяев. В соседнем доме будто бы один такой же белый красавец искушал некоего полковника и чуть не загрыз его внучку — спасло ватное одеяло.

Но я-то понимаю — лайке нужен воздух, воля, и каждое утро, каждый вечер трачу на пса час или даже два своего времени, иду с ним хоть в снежную бурю, хоть в ледяной дождь... Мне дорого обходится эта живая игрушка, но ведь уже и другому не отдашь — привыкли...

А однажды Тихон и от воров нас уберёт — мы ходили в гости, вернулись — дверь отперта неизвестно кем, но на пороге сидит наш пёс, шерсть дыбом. Видно, дремал, а когда неизвестные тихо открыли дверь — метнулся с рёвом, и те покатились вниз по лестнице... на площадке я нашёл фомку — плоский ломик...

Нет, хорошая, хорошая собака! Но почему она сейчас так прыгает вокруг нас с Владимиром

Николаевичем, лает на весь дом? Она же видит: мы поздоровались, даже обнялись... Я вынул из холодильника палку колбасы, отрезал кусок, и Владимир Николаевич с ладони осторожно подал его Тихону. Пёс замолчал, аккуратно снял еду и, проглотив, отступил на шаг и снова стал лаять, сурово глядя на гостя. Я прикрикнул:

— Не стыдно?! — и даже шлёпнул его по задку тапочкой. Белый зверь поворчал и отошёл в стон.

Мы на кухне сели пить чай. Пока заваривали, пока обменивались новостями, пробовали недавно купленный мёд (кстати, Тихон очень любит мёд), наш пёс как-то неожиданно успокоился и, побыв возле меня, обошёл стол, вытянулся в ногах у гостя и теперь лежал там, время от времени обнюхивая его цветастые носки и даже пару раз лизнув — как если бы вспомнил его и простил...

Владимир Николаевич поведал, что летал в командировку, а мать в деревне болела и недоглядела — старшая собака Джуна погибла. В самые морозы она ошенилась и простудила себе соски... и щеночки замёрзли тоже... А братик Тишкин, Анчар, пропал в тайге — сосед Коля брал его на охоту, и то ли они там долго пили, охотнички из деревни, то ли в бутылки стреляли да напугали собак... короче, Анчар убежал в тайгу, облаивая белок и бурундуков, и не вернулся.

— Так что ты у нас теперь сирота... — сказал бывший хозяин, осторожно погладив мощную белую холку пса. Тот не откликнулся. Он безучастно лежал на полу под столом, распластавшись, как крокодил, положив морду на лапы и не открывая глаз. Может быть, что-то до него и дошло?

Мы выпили вина и запели старинную горестную песню, в которой такие слова:

— Вот умру я, умру я... похоронят меня... и родные не узнают, где могилка моя...

Надо сказать, и у меня, и у Галины, и у Владимира Николаевича давно уже отцов нет на свете. А матери, слава Богу, ещё живы. Пусть, пусть они подольше поживут! Так страшно, наверно, быть полным сиротой. Даже если ты собака. Хотя она-то этого не понимает, даже если увидит свой прежний двор пустым... Но мы-то понимаем, за неё горюем!

А она, может быть, — за нас?... Кому это известно?!

Маленькое восстание

Так уж устроено непутёвое наше государство, что время, когда принимаются важнейшие решения, чаще всего совпадает с коварным и прекрасным праздником — Новым годом. Если кто-нибудь из вас летал в конце декабря в Белокаменную, тот, несомненно, сиживал в аэропорту, обмирая от безвыходности и тоски. Утверждают: на взлётке туман, а то и пурга по трассе, но чаще всего выясняется голая правда — нет керосина, конец года, всё, что было в цистернах, сожгли... И вот тысячи и тысячи людей с чемоданами и рюкзаками, с детьми на руках и портфелями лежат вповалку на скамейках и креслах, если посчастливилось занять места, а если нет — на расстеленных газетах, на бетоне, попивая водку, растерянно злобась, или уже без копейки денег, голодные, вскакивают, ходят взад-вперёд, потирая грязными

руками щетину и вглядываясь в сотый раз красными от недосыпа глазами в огромное электронное табло, где между разумными словами и цифрами выскочили и загадочные куски слов и отдельных букв: КРЯ... ЖЖ... Э... ^!)/...

Я в Москву ездил обычно один, но в случаях, когда моему начальнику Ивану Ивановичу (назовём его так) хотелось навестить своих коллег на заводных совместно этажах власти, он, естественно, брал с собой и меня — кто-то ж должен попутно делать само дело (эпоха капитализма, время — деньги)... Мы предствляли в Москве акционерное общество, держащее под колпаком несколько заводиков и шахт... Нынешний наш прилёт в столицу был особенно важен — по слухам, что-то опять менялось в Москве, и не дай Бог, если снова всех будут национализировать... В недавнем прошлом мой шеф был членом горкома КПСС, но теперь он ходил в беспартийных (так, видимо, нужно). Я, естественно, тоже не состоял ни в какой партии, тем более, что и раньше сторонился «железных рядов». Нас объединяли, помимо работы, баня и боксиг (я, к удивлению И. И., неплохо держал удар, хотя видел плохо, а сам И. И. был почти профессиональный боксёр при грозном весе 82 килограмма). Во время совместных заходов к сильным мира сего (которые посильнее нас не только кулаками, и прежде всего не кулаками!), у нас были заранее распределены роли: Иван соглашался с любым мнением вышестоящего (или вышележащего — в бане — чиновника), а я (интересы-то сибиряков надо отстаивать!) перечил.

— Да... знаете, вы где-то правы, — кивал с видимым огорчением мой шеф, утирая шею платком (или полотенцем). А я сразу рубил:

— Не, не-е!.. не согласен!.. Потому-то и потому-то...

Высшее начальство обычно выслушивало меня, хотя бы и с кислой улыбкой, но до конца, ибо без основания полагало, что я высказываю мысли Ивана Ивановича, которому субординация не позволяет возражать. И, как малому дитю, небрежно, но чётко, в трёх словах, разъясняло глупость и вредность моих (его) слов. Однако ради справедливости отмечу: в последние год-два количество руководителей, интересующихся, почему я не согласен, резко возросло. Общество, наконец, умнеет. Высшее руководство боится проморгать опасность. И не столько ради истины внимательно всматривается в наивное пухлое моё лицо (да ещё в очках!), а чтобы точно оценить, не стоит ли за моими (моими ли только?) словами новейшая тенденция, которая раз, да и отколет Сибирь от Москвы??? И если уж мы там задумали что-то грандиозное (присоединение к Аляске, особые отношения с Китаем...), чтобы он-то, наш московский благодетель, не остался на боках, в стороне...

Но про политические интриги новейшего времени попозже. Я сейчас о происшествии, которое ожидало нас в аэропорту Домодедово. Когда, отстояв очередь, легкомысленно поулыбавшись полужнакомым попутчикам и попутчицам (домой, домой!..), мы зарегистрировали свои авиабилеты, как гром с ясного неба прозвучало по радио

объявление: рейс в Златоярск откладывается на два часа «поздним прибытием самолёта».

— Чёрт!.. — пробурчал И. И., и только сейчас мы обратили внимание — здание аэропорта было запружено народом, как подсолнух семечками... И душно, и темновато — над Россией потеплело, катятся тучи, который несут снег с дождём. О, это двадцать седьмое декабря! Мы-то думали, если до тридцатого, то обойдётся. Ах, почему начальство любит вытаскивать провинциалов на ковёр именно перед Новым годом? Наверное, для того, чтобы в ночь возле сияющей ёлки, поднимая мутный от холода бокал с шампанским, оно могло быть уверенным: ещё один наступающий год будет ласков к нему, толстомясому и красногубому... Я, конечно, человек новый в чуланах власти, но Иван-то Иваныч всех этих московских министров и завов знает ещё по эпохе КПСС — они всего лишь переместились... и переместились только вверх, вытеснив кое-кого, кто слишком долго «светился» на плакатах. И для них мы с И. И. — трон, их опора, их мать сыра земля. И в этот наш приезд мы особо ощутили их благорасположение к нам, и торопились домой, чтобы с порога рассказать удивлённым жёнам, а завтра и товарищам на работе: что-то меняется, меняется в угрюмой, позолоченной Москве. И вот надо же, неожиданная запинка!

— Чёрт!.. Чёрт!.. Так испортить поездку!..

— Ну, нет, — возразил я на «чёрта», — аггелы, аггелы подарили нам эти два-три часа. Сейчас пивка тяпнем... отойдём от напряжённых разговоров... А то ведь и в самолёте опять: ты за красных или за белых?

И. И. потрепал меня, как сына, по голове (хотя ровесник, или даже моложе на год), и я (Андрей Николаевич — назовём меня так), купив ему и себе баночного австрийского пива, побрёл искать место, где И. И. мог бы сесть. Увы! Как в фильме «Чапаев», передо мною было сонное царство, только молодецкой песни не тянул тихо опереточный казак с саблей.

Я развёл перед шефом руками (нету!), и мы вышли на улицу. Хлестал чёрный мокрый вегер. Машины подъезжали к аэропорту, разбрызгивая грязь. И слышались разговоры.

— Уже третьи сутки, б.., в этой Москве...

— Где ночевали?

— Ельцина бы сюда, на бетонный пол...

— Денег ни х... не осталось. На почту не пробиться...

И впервые меня пронзило жутковатое чувство — а не встретим ли мы в аэропорту Новый год? Говорят, норильчане пятый день сидят, уже на взлетку выбегали с транспарантами и детьми на руках... Нету горячего! По слухам, весь бензин вывезли на Кубу и на Украину. До сих пор — дружба! О, Фидель, о, Кучма!.. братья наши. Братаны. Братики.

— Андрюха!.. — вдруг окликнул меня знакомый голос. — Андрюха, морковь тебе в ухо!.. — Я обернулся — передо мной радостно топтался толстячок в пухлой кожаной куртке с «молниями» вкривь и вкось, в молодёжной с козырьком кепчонке, но весь уже сивый, почти нежно-голубой, в кудрях, в щетине, с губами, как у негра, едва узнанный мною Лёва Махаев из Кемерово — мы когда-то

вместе учились в московской аспирантуре, жили в одной комнате. Вечный балагур Лёва, хохмач, наглец, правдоискатель, искренний человек.

Я ахнул от неожиданности, и мы обнялись. Возле него стоял, пьяно отшатнувшись и едва не падая, болезненно кривясь с сигаретой в вывернутой манерно руке, высоченный, с острым кадыком мужчина в очках, в распахнутой старой дублёнке, в пышной, как атомный взрыв, песцовой шапке.

— Бизнесмен, — представился высокий. — Александр Васильич Злобин. Русский. Убеждённый антисемит.

Еврей Лёва счастливо засмеялся, давая понять, что товарищ шутит, и ткнул меня ладошкой в живот:

— Тоже вдвоём кукуете? Твой друг? Да, брат, да!.. — он привычно оглядывался, как бы призывая в свидетели всех женщин, которые должны его знать (наверно, в Кемерове и знают!), улыбаясь своей трагической улыбкой — оттягивая уголки рта вниз, как паяц Канию в знаменитой опере. — Мы, например, вторые сутки... увяли, как незабудки... На всякий случай держим номер в гостинице. Если бы Гоголь дожил, он бы кроме Держиморды придумал фамилию: Держиномер. Правда, отдаёт Израилем... — И подмигнул. — Походим-походим, идём туда и снова что-нибудь употребляя... извините, ем.

Слушая Лёву, склоняясь к нему, как Горький к Сталину, громко стонал от восторга перед остроумием земляка Злобин, он выпрямился и снова пригнулся, едва не сунув мне сигарету в лицо.

— Только башли кончились, — буркнул он, шмыгая носом и утирая лицо рукавом дублёнки. — Ну, ещё на день хватит... и надо брать ларёк.

— Он шутит, — пояснил печально Лёва. Постоял секунду с гримасой беззвучного смеха и, нарочито картавя, добавил. — Он же ж из либегально-демократической пагтии!

Злобин сломался от смеху и чуть носом в асфальт не клюнул. Уловив напряжённо-тоскующий взгляд Ивана Ивановича, я обнял его за плечи и представил Махаеву и Злобину:

— Хороший человек. Хоть и мой руководитель.

— Ценит тебя? — сделав стальные глаза и вывернув губы, как Брежнев в последние годы, его же гундосым голосом спросил Лёва. — Как ценит? На стакан, на литр?

Иван Иванович умел улыбаться простовато, как пахарь, застигнутый за работой царём. Заморгал, закивал, зачёл («Чё уж там, усе мы люди, усе мы человеки!») и только успел вынуть из кармана портмоне размером с седло и заглянул туда, как к нашей компании подбежал и обнял Злобина молодой, с красным лицом парень в пятнистой «афганке», с рюкзаком за спиной. На нём из зимнего был всего лишь меховой жилет, а непокрытая голова стрижена под бобрник.

— Сибирь, привет!..

— Кирия!.. — закатился от смеху Злобин. — А ты что тут делаешь? — И представил нам размашистыми жестами Кирилла, снова чуть не ткнув сигаретой в глаз, на этот раз Лёве. — Охранник одного нашего... банкира. Или ты ушёл?

— Отошёл на метр, — туманно ответил Кирия. Лицо у него было мокрое, в пятнах — облупилось

от южного солнца или где-то на ветру обморозил?.. Он и минуты не стоял на месте — постоит и шагнёт в сторону, постоит — и перейдёт на другое место. Как пьяный маятник. Я решил, что парень взвинчен задержкой рейса и не находит себе места. — Соображаете на выпивон?

— Кстаа, слово банкир можно расшифровать так... — хмыкнул Лёва. — На блажном жаргоне «бан»... это аэропорт, вокзал». Кир» — пьянка. Предлагаю помянуть банкира. Добрым словом.

— Давайте, — кивнул Кирилл, плохо, впрочем, слушая болтовню Лёвы. Судя по всему, тот ему не очень нравился. — Я — пас. Мне нельзя.

— Что так? — удивился Злобин. — Закодировался?

— Можете считать, что я уже в стране теней... — И Кирилл, словно танцуя, переместился на другое место.

И вдруг я ощутил: от этого человека исходит запах опасности. Может быть, смерти...

— Идёмте внутрь, — пожившись, сказал я.

— Сэр, вы таки хотите вовнутрь? И леди согласилась, — продолжил фразу балабол Лёва. Ступив в тёмное душное здание аэровокзала, мы поднялись на второй этаж, где располагался ресторан.

Зал был пуст. За стеклом непривычно застыли на бетоне молчащие тёмные фигуры самолётов. Кирилл быстро, оценивающе очертил пространство острым исподлобным взглядом и кивнул на угловой столик, у дальней стены.

Мы сели. Помолчали, ожидая официанта.

— А этот не наш!.. — вдруг кивнул «афганец» на Ивана Ивановича. — Одет не так. При шляпе. И моргает... Адвокат? Безопасность?

— Да ну брось!.. — защитил Лёва моего директора. — Просто одежда такая. — И пропел. — «Одежда... мой компас земной...»

— Одежда? Ну, смотри, — как-то странно отвечал Киря и буркнул Злобину. — Мне борщ, хлеб. Дома рассчитаюсь.

— Он хороший мужик, — почему-то принялся я говорить про своего начальника, но получилось неловко, через силу. Всегда неловко защищать власть. Словно раболепствуешь. — Неплохой. Есть хуже.

«Афганец» молчал. Лёва открыл рот, чтобы снова начать острить, но слов ещё не было, и Злобин успел спросить у Кирилла:

— А ты чё в Москве?

— Здесь не простреливается, — пробормотал краснолицый парень и, оглянувшись, переспросил. — Что я в Москве?.. — Налил из графина себе воды, отпил. — Сына ищу.

— Сына?!

— Плохо слышишь? Да, сына приезжал искать.

— У тебя есть сын?

— А от Верки. Хоть и не дождалась, дура... Теперь дылда восемнадцатилетний... в ментовке поработал, взрывпакетом чуть не разорвало, контузия... два ножевых ранения... Подарил врачушке коробку конфет — та ему начирикала: годен!

— В Чечню поехал?

— А куда же? На папу хочет походить, на папу... Но вроде там не хоронили. Все канавы обошёл. А в московском госпитале Минобороны нет. Неужто в плен залетел?..

Нам принесли водки, закуски, и Лёва предложил тост:

— Чтоб всё у всех обошлось.

— А не обойдётся, — глухо отозвался Кирилл, опустив голову над тарелкой и быстро хлебая чёрный, холодный, судя по всему, борщ. — Ни у кого не обойдётся. Ни у кого. Покатились колёса по лугам и весям. — И закончив трапезу, вскинул ясные, почти белые глаза. — А вот скажите, господа хорошие, где ваши-то детки? Ваши, ваши!

Злобин, поперхнувшись водкой, держа стакан у щеки, медленно процедил:

— Ну, у меня ты знаешь — в бегах...

— В бегах. Ясно. У тебя? — «афганец», как прокурор, уставился на Лёву. — У тебя, конечно, дочь?

— Да, дочь. А что? Я же не виноват.

— Как посмотреть. Если бы любил отечество... У тебя? — Кирилл не повернул головы, но вопрос отосылался, видимо, ко мне — я сидел по кругу следующим.

— У меня сын. Ему пятнадцать.

— Да?.. — «Афганец» скрежетнул зубами. — А у него? Тоже пятнадцать?

Теперь вопрос явно касался Ивана Ивановича. Иван Иванович, человек с брюшком, с золотыми запонками, которому ничего не стоит под честное слово взять в любом банке Сибири полумиллиардный кредит, потупился перед незнакомым, бедно и холодно одетым человеком. Дело в том, что его сын Даниил, увалень весом в центнер, вняв слезам матери (да и по своей трусости, конечно) «свалил» от армии и ныне гонял по городу на красном «вольво» — развозил бумаги отца, а чаще катал полуголых жующих девиц. Ивану, конечно, и самому не хотелось отпускать сына в Чечню, и он бы пристроил его где-нибудь в другом краю России, но вот такое откровенное бегство от воинского долга угнетало известного в городе человека. Я хотел было выручить его, сказать, что у него вправду дочь, или сказать, что сын, но болен... Однако, Иван Иванович наморщил толстую кожу на лбу, посушил ногами под столом и честно признался:

— Не пошёл мой Даня. Но весной пойдёт...

— Когда?! — прошептал, радостно накаляясь, «афганец». — Когда все горы там сравняют ваккумными булками? Я так и знал! — И обратил прокурорские глаза на Лёву. — А ты всю жизнь живёшь, как бы потише... как мышь под брезентом... почему у тебя и девки рождаются...

— Я еврей, — печально объяснил Лёва Махаев и выпятил губы. — Ты бы пожил моей жизнью. — Он налил себе полстакана водки и один выпил. Это было на него не похоже. Видимо, пятнистый Кирилл крепко задел его своими небрежными словами.

— А ты, — Кирилл обратился к Злобину, который осоловело глядел в белую скатерть, как гусь в корыто, — то ли всерьёз задумался, а то ли притворился пьяным, чтобы не трогали. — Видишь ли, у него сын в бегах. Захотел бы найти, сказал бы мне... за пару «лимонов» мы бы тебе его доставили. Что, бедный?! Не-ет. Хитрый. Это не он еврей, а ты еврей!..

Злобин сопел и молчал. Лёв заступился за земляка:

— Васька сбежал из дому ещё весной... когда никакой Чечни не было... одна дедовщина, пьянь и наркота. И не трогай его — Саша страдает. Верно, Саша?

Злобин через секунды три кивнул. И кивнул ещё раз, то ли подтверждая предыдущий кивок, а то ли забыв, кивал ли.

— А когда найдётся парень, Саша держать его дома не будет. Потому что патриот. — И трудно было понять, насмешничает Лёва Махаев или говорит серьёзно. — Верно, Саня?

— А вот это зря. Я же не для того, чтобы гнать наших сыновей в огонь. Я о том, открыта наша душа или на гладкой заслонке, как у БТР. Я бы на твоём месте, Александр Васильевич, разыскал его, выпорол, женил и на цепь посадил, как щенка! Пусть внуков производит! Хватит!.. — Кирилл оскалится и перешёл на шёпот, хотя в зале никого, кроме нас, по-прежнему не было. — Хватит наших позоров!.. Моего парня, я думаю, на куски изрезали, шакалам скормили. Там бегают по холмам дикие собаки, я видел. Сейчас вот прилечу в Сибирь, найду эту врачиху, спрошу в упор: ты, с-сука, понимала же, что у него контузия и два ножевых следа?.. Почему за конфеты справку дала?! Чтобы дети русских там сгинули?.. — Зыркнув белыми глазами исподлобья на Лёву, он замолчал. Взял с тарелки засохший кусок хлеба и стал с хрустом жевать. — Всё. Мне идти надо. Тут много раненых летит, надо со всеми... Но если застрянем, я с вами! И ещё о многом побеседуем! — Афганец усмехнулся и, вскочив, сутуло выскользнул вон из ресторана.

Помолчали. Лёва поморщился, как от язвенной боли (раньше она, помню, мучила его), хотел что-то сказать (может быть, оправдаться после обвинений Кирилла), но под потолком включилось радио, и женский невнятный голос начал перечислять авиарейсы, которые «отложены до полуночи, до нуля часов московского времени, поздним прибытием самолётов». И мы не удивились, услышав в этом перечне свои рейсы. Почему-то восприняли обречённо и тихо.

— Вот те раз, — только и сказал Злобин. — В комнату пойдём?

— Там воняет, — вспомнил Лёва. — Попозже. Никто ж не гонит.

— Я заплачу, — тихо напомнил Иван Иванович. — Может, ещё выпьем?

— Давай!.. — махнул пухлой рукой в веснушках Лёва. — Русские мы или таки нет?.. — И когда официант принёс нам вторую бутылочку, Махаев продолжал, моргая, уставясь в стеклянную стену ресторана, за которой шёл снег с дождём. — А вообще Киря прав. Двое детей у меня, и обе — девочки. И я сам всю жизнь ждал, как девица на выданье... разрешат мне туда пойти, разрешат сюда пойти... А я ведь очень талантливый! Вот хотите, сейчас в аэропорт приедет танк?.. ну, не танк, бронированный генеральский «мерседес»?.. и увезёт нас в баню?

Злобин скорбно процедил:

— Ты бредишь... ночью ко мне приставал с танком... — И пояснил мне. — У нас был из Омска парень в комнате, так он поездом укатил, не выдержал. «Танки, танки...» Мне тоже надо было. А я

малодушный. Души не мало, души много, но — жидкая.

Махаев, кивая и оттягивая концы рта вниз, как бы рыдая или смеясь трагической улыбкой паяца, забормotal, не слушая земляка:

— В Москве замминистра мвд — Женька, мой друг... А замминистром его сделал кто?.. Я, Лёвка Махаев. Чёс-слово. Он ещё был юный офицер... у нас, в Кемерове... Как-то выступаю в день милиции перед нашим ровд, хохмы травлю, стишки всякие... ну, Хармса, Олейникова, свои... а он всё переспрашивает, записывает... Я, естество-нно, забыл о встрече, а он однажды является с бутылочкой коньяка в редакцию... — И Лёва сделал отступление для меня, как для старого знакомого, знавшего Лёву ещё научным работником. — Из института я ушёл, кому нужны биофизики, экологи?... сидел на письмах, выслушивал целыми днями сумасшедших старух... И вот-с — приходит. Выпили. Он и говорит: «Выручьте, Лев Моисеевич. У моего капитана послезавтра день рождения... какой-нибудь стишок бы зарифмовать... я попробовал — не получается... Не поможете? Я вам нож хороший принесу, у хулиганов отобрали... спиртом лично промою...» — «Сделаю», — сказал я. — «Вам суток хватит?» — «А я прямо вот сейчас!.. Ему для охвициального вечера или для узкого дружеского круга?». Мой офицерик зарделся: «Ох, если бы и для официального, и для неофициального!» Я взял лист бумаги и — через пару минут вручаю. Два куплета. Естество-нно, я сейчас не помню, что я там сочинил, но приблизительно... — Лёва возвёл коровьи свои сизые очи горе и, сглотнув пару раз горловую слизь, ощерился и произнёс:

— Что пожелать мне в день рождения капитану?

Я ничего ему желать не стану,

Поскольку сам господь, я знаю, пожелал,

Чтобы он стал через три года генерал!

Это охвициальное. А неохициальное:

— Капитан-капитан,

ты отрежь себе карман,

чтоб совали ручки девушки

и нащупывали денежки...

Ну, и так далее. Конечно, белиберда. Но мой знакомый из милиции аж побелел от восторга. Убеджал, а через три дня принёс мне грандиозный кинжал с ножнами... И говорит: капитан обещает его подвинуть по службе... Но тому капитану в субботу в гости идти к майору... И очень нужны стихи! Пишу. Майор, естественно, в восторге, но просит Женьку (все же думают, что это он сочиняет!) сочинить пару куплетов для полковника... А тому нужны стихи для генерала... Да и самому Женьке по мере «творческого» роста срочно нужны стихи, обращённые то к майору, то к полковнику... Он к этому времени стал уже начальник ровд, потом замначальника увд области, потом в Москву взяли, начотдела, а там и в министерство мвд... Во как я его! Короче, лет десять я писал для этого Женьки вирши... причём, Андрюха, я думаю, твоему любимому поэту-тёзке Вознесенскому не снилась бумага, на которой

печатали куплеты Лёвы Махаева! Мои послания ко дням рождения и к именинам вытравливали на стекле, покрывая затем серебром... их вырезали на золотых пластинах... Я сейчас ни строки не вспомню, но поверь, это было неплохо, очень неплохо. Ну, что-то в этом роде:

- Что пожелать товарищу майору?
Чтобы он шёл не под гору, а в гору.
И не смотря на холод, вражий вой,
стоял бы член КПСС, как часовой!
- Что пожелать мы можем подполковнику?
Чтоб дом был и цветущая сирень,
и девки лезли в дом по подоконнику
не только ночью, но и целый день...
- Что пожелать могу я генералу?
Стать золотом желают минералу.
И стать вином желаем мы воде.
Но генерал давно уж при звезде.
И золотишко есть и есть винишко.
Вот пусть родится у него сынишка!

Ну и так далее. И так далее. И так далее. Женька нёсет мне бегом коньяки, ножи, а попозже и пистолет притащил, отобрани у бандита... Нам с женой посчастливилось пару раз отдыхать в санаториях мвд... Я теперь мог по пьянке храбро выскочить на проезжую часть, воспользоваться патрульной машиной — Женька документик с печатью выдал... — Лёва Махаев замолчал и медленно закрыл рот. И с минуту молчал, выстраивая значительную паузу. — И что вы таки думаете? Он переехал в Москву, обещал и меня сюда перетащить — я ведь и для нового его начальства кропал стишки... даже в честь генерала армии Грачёва сочинил — кто-то из женькиных корешей собирался в гости...

Но вот где я сижу?... не в данный момент, а вообще? А сижу я в Сибири. И не видать мне никакой Москвы. А почему? А потому что Женька испугался: вдруг вскроется, что это я — автор. Но я же порядочный человек, Андрюха! Я бы молчал, как тайга. А он боится... И что сейчас выясняется? Я для самого себя ничего не добился своими талантами. А ведь мог бы, как дополнительный вариант, рифмовать разным партийным, а потом и беспартийным начальникам... И кто знает, может, был бы уже руководителем какого-нибудь журнала в Москве? Или института? Но я верил Женьке... старался для него...

Я даже поэму в «самиздат» от его имени запустил, «Дунька с наганом» называется... радиостанция «Свобода» передавала... Я же очень талантливый, ты знаешь! В итоге Махаев — у разбитого корыта. Всю жизнь второй... Мы — вторые люди!.. — И Лёва нервно оглянулся и возвысил голос. — Вот, опять кому-то мешаю. Но я не хочу идти в комнату, там грязно, а тут салфетки!

Только к этой минуте я заметил, что в ресторанном зале появились люди в ватных фуфайках, открыли обе створки входной двери и стали протаскивать, заносить длинную ёлку. Запахло хвоей и бензином. Сейчас поставят зелёную красавицу на крест и начнут украшать игрушками и лампочками. Официант подошёл и, нагло улыбаясь, достал карманный калькулятор:

— Санитарный час. — Если бы мы взяли ещё одну бутылку, он бы, возможно, нас не погнал.

Иван Иванович, угрюмо и непреклонно отодвинув наши жалкие купюры, в одиночку расплатился за обед, и мы вышли на ледяной ветер сумрачной привокзальной площади. Здесь растерянно кружили пассажиры с чемоданами и авоськами, набитыми апельсинами, топтались у переполненных автобусов, садились, обезумев, в такси, чтобы вернуться в Москву, а из подкативших огромных «икарусов» тем временем выходили ещё и ещё люди, которым только предстояло узнать, что самолёты мёртво сидят на земле...

— Спать, — промычал Злобин. — В гостиницу!..

В толпе мелькнул «афганец», он всё бегал танцующей походкой, останавливаясь то здесь, то там, и немедленно переходя на новое место. Что он искал, кого хотел увидеть в толчее? Нас, конечно, он мигом узрел светлыми зоркими глазами, но небрежно кивнул и отвернулся — идите своей дорогой.

Но легко сказать — идите... В гостинице нас ждал от ворот поворот — номер, в котором ночевали Злобин с Махаевым и заплатили на сутки вперёд, был занят — в узкой угрюмой комнатке с четырьмя провисшими кроватями сидели в синем табачном дыму человек семь-восемь военных, пили и, хлопая друг друга по спине, горланили:

- Артиллеристы, Сталин дал приказ...
- Артиллеристы, зовёт Отчизна нас...
- Из тысяч наших батарей
- за слёзы наших матерей...

— Что такое?! — Злобин, как «журавль» над колодцем, навис над дежурной, румяной плотной женщиной в шубейке, кофе и валенках. — Мы же как договорились?!

Дежурная зашептала, вскидывая голову, улыбаясь, отталкивая мужчину ладонями:

— Тихо-тихо-тихо!.. Вы же, мой золотой, не сказали, что точно вернётесь...

— Но мы же заплатили!

— Вы сказали: если не улетим...

— Но вы же слышите — все рейсы отменили?!.. — распаялся Злобин.

— У нас радио не работает, — весело врала дежурная. — Да и скоро уйдут они!.. Вот попокут и... Сказали, к полуночи на вокзал уедут. Вы ж спать-то ещё не собираетесь? Молодые! Ну, погуляйте пока... А деньги я могу и вернуть...

Было ясно, что военные ей тоже заплатили, и, наверное, побольше, чем кемеровчане. Перспектива же получить обратно свои деньги, а стало быть, и утратить права на комнату, напугала моих друзей, и Лёва Махаев осклабился улыбкой шута, заговорив как иностранец, плохо знающий русский язык:

— Зайчем ми ругаться?.. Йес? Мир-трушба, йес?..

— Йес, йес... — закивала дежурная, стучая друг о дружку валенками. В гостинице плохо топили. — В полночь ваша комната будет вас ждать. Я даже подмету!

И, несолоно хлебавши, мы выбрались на улицу. Постояли среди мокрого снежного бурана, что

делать?... и снова поплелись в духоту и гомон аэровокзала. До полуночи было ещё далеко, часов шесть, и мы, чтобы оглушить мозги и ускорить время, купили баночного пива. Сесть негде. Стоя, посмотрели на экране подвешенного телевизора кусок бессмысленного фильма с убийствами и откровенно скабрёжными рекламными вставками про «палочки хрустящего шоколада «твикс». Решили спуститься в туалет — уткнулись в очередь. Входной билет, как выяснилось, ныне стоил непостижимые деньги. Инвалид в расстёгнутом пальто, с орденами-медалями на ветхом пиджаке, опершись на костыль, ругался сквозь стальные зубы:

— Я бы вас, сволота подземная, в наши окопы спустил пос... за стакан крови для наших ранетых!

Вялая белолицая женщина, сидевшая на входе в подземное вонючее царство, негромко оправдывалась, но бесплатно старика не пускала — за её спиной высилась, как газетная тумба, тяжело дыша, толстая золотозубая тётка, возможно, хозяйка. Стальнозубый сплюнул под ноги золотозубой и ушёл на ветер, на улицу, чтобы облегчиться где-нибудь за углом, во мраке...

Лёва Махаев продолжал ещё сыпать остротами по привычке, но вдруг, опустив голову подбородком на грудь, обмяк. Мы всё же стояли в счастливом месте — прислонившись к мраморной колонне, в то время как многие пассажиры переминались на ногах, где попало. Злобин купил мороженое, чтобы немного протрезветь, коли спать не получилось, и грыз его, оскалив от холода зубы. Иван Иванович тоскливо разглядывал часики на руке: прошло всего полтора часа... До двенадцати ночи ещё терпеть и терпеть. Про самолёты больше не говорили — на табло, как на библейском камне, светились огненные буквы: все рейсы отложены до утра... в Златоярск — до восьми двадцати, у кемеровчан — до семи тридцати... Наше с И. И. подавленное состояние обострялось ещё и тем, что прошлой ночью мы с Иваном Ивановичем толком не спали — были допоздна в гостях у клерков минцветмета и много пили. А ночь позавчерашняя оказалась и вовсе бессонной — московский дружок Ивана (из аппарата Думы) водил нас в хаммеровский центр, где всё за доллары... Кутили с какими-то девчонками на коленях. Бросались розами. Нам пели цыгане. И если сегодня, собравшись лететь домой, мы были с утра бодрры, как гусары, то это была предотъездная бодрость — так вспыхивает лампочка, перед тем, как перегореть. Ведь нас, как мы надеялись, всего через несколько часов ждала домашняя чистая постель, здоровая еда, ждали наши ласковые жёны... И мы, услышав в аэропорту о задержке рейса, ещё не осознали в полной мере, какую тяжёлую полосу времени предстоит пережить. Ночь. А может, и две, и три. Только теперь до нас доходил ужас положения...

Понятно, и кемеровчанам было не сладко — со вчерашнего полдня они мыкались по аэровокзалу, лишь под утро пьяной ночи получили тот самый номер в гостинице. И скажите: кто обвинит усталого человека в том, что он раздражается по любому поводу? А если таких людей собралось много, очень много, то вирус раздражения усиливается стократ, и горе тому, на чью голову выльется эта усталость. Мы слышали рыдания

перед дверями начальника аэропорта и дежурного по смене, толпа клокотала в комнате почты, возле междугородних автоматов, половина из которых, конечно, не работала... Люди кричали на ни в чём не повинных таможенников в стеклянных галереях... Кто-то, говорят, взрезал себе отчаяния вену бритвой — увезли в больницу... Но нас, трудно сказать почему, не увлекла эта типично русская стихия митинга, ненависти к вечно-бедному «Аэрофлоту», с сочинением телеграмм Президенту, в ООН и т.д. С лёгкой руки Лёвы Махаева нас вдруг поразила мысль о «вторых людях», и каждый в его смешной истории со стишками для друга неожиданно узнал себя. Впрочем, сам Лёвка, как задремал, так и продолжал, стоя, дремать, сопя мясистым носом, выпятив толстые губы, а вот мы с Александром Васильевичем Злобиным воспалились давними обидами. Говорил мрачный Злобин, производя руками размашистые жесты:

— Ну, ладно, у него, скажем прямо, — случайный человек... А я всю жизнь на кого пахал? Можно сказать, как брата любил... Сколько ему денег передал займы... Спросишь: зачем??? А посмотри — кто я? Только очки нацепить... и вот она — очковая змея, над которой все смеются. А он — обаяшка... плечи... зубы... голубые глаза... прямо с комсомольских плакатов... И я, конечно, «второй»! Он запивает — я бегу к его жене врать, что Юра в командировке. А чтобы в гастрономе с ней не встретился, опять же я за водкой. Ну, это раньше... А как начался капитализм, говорит: давай деньги, скупи на севере чеки... ну, по которым государство в своё время обязалось «Жигули» продать... когда они были в дефиците... у многих северян чеки, но не все надумали на материк возвращаться... а за полярным кругом куда на машине?... да и самолетом завезёшь — в пять раз больше заплатишь... И вот летит мой дружок в Норильск, потом в Якутск... Приехал — целая пачка в кармане... Хвастается, по дешёвке скупил, за полцены, если иметь в виду нынешнюю коммерческую цену на «Жигули». Едем в магазин Автоваза, а там говорят: за коммерческую цену — пожалуйста, без всяких чеков, а по чекам — когда государство специальное постановление примет... Ждём. Проходит полгода, год... Цены выросли в десять раз, и никакого постановления. И недавно узнаём, что эти бумажки говна не стоят! Выходит, государство и северян обмануло... Я говорю: ну что?! Жадность фраера сгубила?! Лучше бы на эти деньги долларов накупили... сейчас бы ходили — кум королю. Юрка опустил глаза... а потом они опять у него засияли: слышь, у меня другая идея! На этот раз верняк!.. Мы купим золотой рудник... в газете прочёл — семь месторождений продают на аукционе... а где аукцион, там можно договориться... сунем в лапу и... — Да где мы денег возьмём? — Займём! У брата своего попрошу... уговорю жену кольца продать... и ты тоже — поищи... Года через три мы — миллионеры! Вы, Андрей, вижу, улыбается... Конечно! Естественнo, как говорит вот этот носатый тип. Мы собираем в семье всё, что у нас было, продаём пустой гараж... ещё троих знакомых посвятил Юрка в свои планы... несём деньги. Он их с таинственной улыбкой — в портфель и — к какому-то чиновнику, к юристам...

И что думаете, мы получили рудник? На аукционе заломили такие цены — мы вылетели через минуту... Причём, взятки, которые Юрка парням из биржи сунул, которые нам вернуть обещали, когда мы, так сказать, победим... чтобы потом им отстёгивать по полпроцента с добычи... нам хрен вернули! Хотя мы проиграли с их сучьей помощью!.. Дураки! Стоим на улице. Стоит он, синеглазый, весь в синих джинсах, рыдает... И вдруг: я вот что придумал!.. Срочно соберём миллиона полтора-два... я знаю, какие акции купить... и клянусь: я верну тебе все твои пропавшие деньги!.. Ха, ха, ха. И я снова ему верю! Чтобы вернуть потерянное, приходится давать ещё... Жена выпросила у матери в деревне... та как раз тёлку продала... Юра и сам занял у дружков по комсомолу, организовал фирму... я — заместителем по хозяйственным... И что-то вроде начало, наконец, у нас получается... и вдруг... ха, ха, ха! Он исчезает! — Злобин жалобно шмыгнув носом и утёр лицо блестящим рукавом дублёнки. — Нету человека! Нету!..

В эту секунду к нам подлетел, зло сверкая белыми глазами, «афганец», встал сначала с одной стороны, потом с другой. Злобин покосился и продолжал, вскинув правую руку, словно выводя в небесах донос Богу:

— Пропал! Растворился, шмакодавка! Я про моего шефа Юрку. Милиция — розыск... выясняется — вместе с ним исчезло что-то вроде семисот миллионов рублями... И нас всех — на допросы. А что мы знаем?! Его жена в истерике бьётся... дети рыдают... А может, договорились? Кто знает?.. А тут слух пошёл — его видели в Москве — будто бы развезжает на «мерседесе», весёленький, в зеркальных очках... Будто бы раза три уже видели... Думаю, поеду — найду... может, случайно выведет кривая... В гостиницах — нет... нигде не прописан... Да он, сучара, наверняка уж и фамилию сменил... А может, и пластическую операцию сделал — встретишь вот так и не узнаешь? А может, уже в Париже?.. в собственном доме?..

— Если заплатишь — отыщу и пристрелю, падлу, — шепнул, оглядываясь и почти не разжимая зубов, «афганец».

— Да нет, мне бы долг вернуть... если он разбогател, как же так может? Али вылез только на обмане?.. Обирая других?.. А может, и в прежние разы присвоил — только говорил, что проиграл? А если и проиграл?.. Сейчас вот вспоминаю его аферы... с акциями там, рудниками... я ведь поумнее буду... у меня бы получилось... Но верил ему... привик, что я — «второй»... что он знает что-то такое, чего я не знаю... — Злобин достал дрожащими пальцами сигарету из портсигара, смял. — Вот опять с одним парнем решил скооперироваться — возить тряпки из Турции... но решает по ценам он, а не я... Хотя и сам уже достаточно хорошо изучил законы, у меня знакомые и в налоговой, и в банках... Почему??? Да вот, наверное, потому, что человек «второго сорта»... — И Злобин закивал в сторону дремлющего Лёвы. — Прав иудей, прав. И не знаю, сможем ли когда мы стать другими. Уже возраст... Так и будут ездить на нас, доить, как коров!.. — И Зло-

бин угрюмо ухмыльнулся Ивану Ивановичу. — Вас, конечно, йето не касается...

Смущённый недобрым вниманием, Иван Иванович не знал, что и ответить. И подошедший «афганец» его пугал. Сейчас определённо тоже что-то скажет в адрес И. И.. Мой краснощёкий начальник втянул голову в плечи, ссутулился и, неловко повернувшись ко мне всем корпусом, пробормотал:

— Схожу-ка через лёгкое поле... в комнату официальных делегаций... Может, пустят за деньги? Если что, вернусь за вами... — (Он обратился ко мне на «вы» или имел в виду всю компанию?). И пояснил: — В прошлом году как-то я неплохо там просидел сутки. — И ушёл.

Наверное, теперь мы его до утра не увидим. «Афганец» перескочил на место, где только что стоял Иван Иванович:

— Как ты с ним дружишь? Он же... резиновый шар!.. ни морщинки! За него думаешь? Вокруг него на цырлах бегаешь?

Кирилл, с рюкзаком за спиной, в пятнистой «афганке», был весь как бы пятнами мокрый, а может, так казалось?.. дрожал, словно где-то всё же хватил водки или накурился травки. А может, у него температура? Не дожидаясь моего ответа, он лихорадочно продолжал:

— Я вам, ребята, тоже мог бы порассказать про первых-вторых... и не тут, на кислых щах, на «гражданке», а там... Но к чему?! Только одно скажу: везде!.. Есть трудяги, и есть, которые на халяву... Я в Афгане воевал, потом в Сербии... Чтобы замолить грехи... Думал, хоть война за славян — благородная война... Но это отдельный разговор... Надо в горы к душманам — лез пластом по камню, на горбу миномёт... Надо головой в огонь — пёр головой в огонь. И ведь что интересно? Мне медаль — моему командиру орден. Как у нас говорят: «Мне орден — ему звезду, мне бублик, ему п...» «И опять же сам себя спросишь: почему не взбунтовался? А они умеют так повернуть, что ты всегда замаран. Вот под Кабулом... мне командир говорит: после твоих гранат три девочки маленькие погибли... он в бинокль углядел... И этими девочками меня за горло держал пару лет, пока в Москву не улетел... Но и тот, кто на его место встал, нашёл, нашёл гнилинку в Кирилле Сереброве... Я — Серебров. Серебров моя фамилия. А как твоя?

— Игнатъев, — ответил я.

— Вроде наш. — «Афганец» оглянулся, перешагнул на новое место и улыбнулся мне быстрой улыбкой. — А про гнилинку что рассказывать?.. Нет безгрешных на земле. Я и про наших генералов много чего знаю. Пуцай живут. И чем дольше жить будут, тем больше будут мучиться. Ибо их грехи в сравнении с нашими — как гиря в сравнении с яйцом попугая! — Кирилл Серебров уже не улыбался, он дёргался перед нами, как будто стоял на электрических проводах, и я впервые подумал: не падучая ли у него? Парень мне нравился, но страшновато было глядеть в его беледые глаза. — Никогда им не прощу! Ничего им не прощу!.. Выпьем, братья-славяне, я чтой-то мёрзну...

Злобин ласково погладил Кирилла по непокрытой шишкастой голове:

— Простудился, наверно... Сейчас, куплю... У меня есть заначка... Это я от Юрки научился... заначивать... В прежние годы трояка хватало на опохмелку, а нынче... — Он вытащил из внутреннего кармана дублёнки пачку денег и медленно, как каланча, побрёл к киоскам.

И вдруг Кирилл повалился на меня — я еле успел подхватить человека. Думал — шутит, но нет — он был без сознания.

— Саша!.. Злобин!.. — испуганно окликнул я кимеровчанина. От моего голоса очнулся Лёва Махаев. Мы с ним подняли под руки «афганца» и поволокли на улицу. Злобин догнал и напялил ему на голову свою мохнатую шапку.

Средь мокрого бурана Кирилл Серебров пришёл в себя, зарыдал, вырываясь из наших рук:

— Предали!.. Нас предали!..

— Тихо, тихо... — дудел ему в лицо, склонившись, Злобин.

— Продали!.. Сначала державу... восточным баям раздали... сейчас Россию — акулам Запада... Ты... принёс водки?!

— Не успел.

— Что стоишь?! Дубина! Мы все умрём! Где ваша хаза?.. Петля между залепленными снегом машинами, продолжая поддерживать подмышки «афганца», мы пересекли площадь. Во всех окнах аэропортовской гостиницы горел свет. В крохотном холле на первом этаже, бросив на пол возле батареи отопления вещи, сидели цыганки — видно, их не пустили наверх.

— Ну, если комната опять занята, — бормотал Злобин, — я им!..

Улыбчивая дежурная в валенках, увидев нас, выскочила из-за настольной лампы в коридоре, затанцевала вокруг:

— Не ругайтесь, красавцы!.. Ну, спят они. «Соловьи, соловьи...» Ну, пусть поспят. — От женщины пахло вином. Наверно, с военными и пила. — Я вас пока в служебку пущу... А в двенадцать за ними машина придёт. Как я и обещала. А чё это с ним?!..

Кирилл Серебров молча вырывался из наших рук, на губах у него белела пена.

— Ничего, ничего, — прошипел я. — Чаю дайте!..

— Сию минуту... включу... Ах, родненькие, устали...

В маленькой клетушке с чернобелым телевизором на тумбочке имелось всего два стула — на один мы усадили Кирилла и придавили за плечи. Злобин, огорчённо крутя головой, побежал за водкой. Кирилл всхлипывал и что-то шептал. И вдруг обмяк — снова как бы отключился. Мы с Лёвой замерли рядом, а когда поняли, что Серебров спит, принялись, как истинные интеллигенты, каждый едва держась на ногах, предлагать другому свободный стул. Наконец, сели кое-как оба, спиной к спине.

— Я всё слышал, — прогудел, не оборачиваясь, Махаев. — Я про первых-вторых... в колонне эпохи... Судьба собрала очень похожих людей. Но вам легче — вы русские.

— Нет, нам труднее, Лёва. Может, как раз потому, что русские, — ответил я.

Махаев пожал плечами, но возражать не стал. Мы услышали — по лестничному пролёту снизу вверх топаят ботинки — это на редкость быстро вернулся Злобин с бутылкой водки. Дежурная (её звали Люся) принесла стаканы, мы, толкнув Махаева, тихо налили себе и дежурной и выпили, опасливо поглядывая на смолкшего «афганца».

— Ему сначала чаю, — напомнил я шёпотом. И протянул женщине тысячную бумажку.

Когда через несколько минут Люся поставила на стол стакан с чаем, тихонько звякнув стаканом о тарелочку, Кирилл Серебров вскочил, как бешеный:

— Что?! Где?! — Он задел боком стол и повалился, рухнул на пол, едва не разбив телевизор — тот отъехал вместе с тумбочкой к стене. — Полундра!.. Ни х... не вижу!.. Почему?! — Привычно вскочив, он уже стоял на полусогнутых, как боксёр на изготовке, и орал:

— Чего?! Кто такие?!

— Киря, — испуганно бормотал Злобин, пытаясь улыбаться. — Это же я, Саша Злобин!.. И это всё наши, сибиряки!..

— А!.. — «Афганец» несколько секунд пребывал как бы в забытьи, потом, увидев в дверях перепуганную Люсю, ослабилась, как волк, всеми зубами: — Хочу в постель. Отдам нательный крест. С-серебрянный!.. Хочешь?

Дежурная закрыла за собой дверь.

Помолчав ещё с минуту, Кирилл поёжился и жалобно оглядел нас:

— Ещё не приносили?

Я кивнул на чай.

Он, моргая, толком не видя, ухватил стакан, хотел махом выпить и — отшвырнул в угол, облившись кипятком. Стакан разбился вдребезги.

— Вы что?! Я водки, водки просил!..

Может, не надо ему?..», — вертелось, наверно, не у меня одного на уме, но, уступая перед круглыми глазами Сереброва, Злобин налил полстакана. «Афганец» вылил водку в рот, как воду.

— Простудился, — с укором повторил Злобин. — Пижонишься... Что, у тебя полущубка нет?

Серебров протянул стакан, показывая взглядом: ещё.

Злобин слил ему остатки из бутылки.

Серебров, допив, глубоко вздохнул. И медленно, как сомнамбула, шаря руками, поставил свалившийся на бок стул на место и едва не сел мимо.

— Спать.

Мы глянули на часы — до двенадцати оставался час.

— Потерпи ещё немного, — сказал Злобин больному человеку, нахлобучивая на его голову упавшую шапку. — Потерпи. — И поскольку Серебров ничего не ответил, Александр Васильевич, немного успокоенный, обратился к вислоносому Махаеву, видимо, желая перевести разговор на что-нибудь безобидное, смешное. — Рассказал бы анекдот!..

— Анекдот, — машинально повторил Лёва. — Анькин дот. Дот — долговременная огневая точка. В голове каша. Могу ещё один стишок вспомнить, написанный для какого-то майора.

— Как у нашего майора
есть особенный домкрат —

поднимает три забора
и четырнадцать девчат...

Помолчали.

— Завёл ты мне душу своим дурацким рассказом. А что же кореш твой молчит? Он-то кто?

— Хороший человек, — великодушно похвалил меня Махаев. — Директор института на его материалах докторскую сделал... Не колбасу, конечно. — Махаев судорожно, как бегемот, зевнул. — Простяга!.. Последнюю рубашку отдаст... Даже смирительную... — Лёва уже пытался острить, хотя глаза у него были розовыми от усталости. Он сел на свободный стул и, оттянув углы рта вниз, как паяц в опере, захрипел песенку:

— Всё будет хорошо...
И в дамки выйдут пешки...
И будет шум и гам...
И будут сны к деньгам...
И до-ожидки пойдут по четвергам... —

И замолчал. Мы со Злобиным стояли друг против друга. Злобин как-то по-мальчишески, требовательно устоялся на меня сверху, ожидая если не исповеди, то хотя бы забавного разговорца (надо же время укоротить):

— Ну?... Твой Иван Иваныч по-братски с тобой делится или тоже... крохи с барского стола?... Сейчас, небось, в депутатском зале... — Угадал Злобин, хоть и не слышал прощальных слов Ивана Ивановича! — Спит без задних ног... Завтра вскочит, как огурчик... с их-то деньгами... а главное, с наглou мордой!

Я не знал, что ответить. Никогда я не любил рассказывать о себе. Даже своей жене — разве что про детство, про рыбалку... это — пожалуй ста... всю жизнь с восторгом помню, как удил на озёрах. Как стоишь на зыбких корнях камыша, будто на корзинке... тишина... туман... Вот он над зеркально-серой водой медленно отгибается, словно уголок страницы, и под страницей нет-нет да блеснёт золотая денежка — на секунду всплывшая краснопёрка... а то и более крупная рыбёха... Но что моему случайному собеседнику в аэропорту Домодедово воспоминания о рыбалке? Мы все ныне — больные люди. Мы только о политике можем говорить. Только о России. Только о погуленной жизни. Только о виновниках...

— Ну?..

— Что ну?... У нас нормальные отношения. Работаем. Он директор, я — зам. Формально — да, он первый, я второй... Но я привык. Может сутками мотаться по шахтам, заводам, конторам. Бывало, за рулём засыпал, чуть насмерть не разбился. («Правда, это было лишь первый год... — подумал я. — Сейчас сидит на телефонах и рации, раздался, как помидор.»)

— Вот так и весь народ наш привык к ярму, — сразу же заключил Злобин. — Уже не замечаем хомута. А ведь наверняка обманывает? Пьёт из тебя кровь? На тебе счастье своё строит?

Конечно, случались за эти годы между Иваном Ивановичем и мной непр иятные размолвки. Он, будучи пьяным, мог оскорбить. Однажды, придя ко мне домой (мы собирались в командировку), с

легкомысленной улыбкой наставил на меня палец, как пистолет, и с громким звуком испортил воздух. Я, сплюнув, открыл все форточки и, хотя давно не курил, закурил. И. И., покраснев от неловкости, хохотал: «Ну, извини. Искуплю поездкой в Грецию».

Да, мы съездили в Грецию на десять дней, с жёнами, неплохо отдохнули. Только Иван, конечно, жил со своей Светой в белом дворце, который весь в цветах, а нам с Таней, согласно более дешёвой путёвке, досталась комната в халупе, со ржавым душем. Руководитель, так сказать, сэкономил на компаньоне. Но обедали за одним столом... Впрочем, меня не очень задевали неизбежные мелкие шероховатости бытия. Душу терзал более грозный вопрос: зачем живу?

А тем временем я услышал свой голос — оказывается, всё же что-то рассказывал Злобину:

— Наш институт распался... академики улетели жить в Канаду, в США... Некоторые мои коллеги, кто хлореллами был занят, замкнутым циклом BIOS, получили госдоговора... что ни говори, для космоса... А я с моими железобактериями и прочими бяками, кому нужен? Он меня и подобрал. Купил для жены недостроенный корпус, я ей наладил производство дрожжей... Это была его ещё первая жена... кстати, не дура.

— Развёлся? Откупился этим самым заводом? Фиг бы она от него ушла! Наверно, сейчас миллионерша. А ты с гулькин нос от них получил?..

— Нет, заплатили. Тысячи две или три.

— До гайдаровского обвала? — Я молчал. — По нынешним меркам... если даже три «лимона» — облапошили, как эвенка! Дальше?..

Но в эту минуту дверь с треском отворилась — на пороге стояла остролицая, в расстёгнутой «обливной» блестящей дублёнке молодая женщина в белых высоких сапожках, в пальцах — дымящаяся сигаретка.

— Это ещё что такое?! Кто такие, кто пустил?

— Люся пустила, — отвечал доброжелательно Злобин, обоняя запах духов.

— А ну пошли отсюда!.. А вы что расселись!

Махаев молча первым встал — он привык к унижениям. Я боялся за «афганца» — что тот, грубо разбуженный, сейчас начнёт метаться по комнате и орать. Но Кирилл Серебров также весьма смиренно приподнялся и, толком не разогнувшись, моргая сослепу, вышел за нами в коридор.

— Но послушайте, мы платили за номер, — обиделся Злобин, наконец, найдя квитанцию.

— Так и идите туда! — огрызнулась новая дежурная.

В нашей комнате стоял дым коромыслом, на стульях и на кро ватях вповалку храпели военные. У меня в глазах поплыло от тоски и гнева. Ноги уже не держат. Что делать? Злобин и я принялись будить румяных, потных, чугунных по тяжести мужчин:

— Позвольте... Вы же обещали к двенадцати уехать? А сейчас половина первого. А за номер мы заплатили.

Бесполезно. Все они были пьяны и лениво, как львы, огрызались. Я ожидал, что Серебров хотя бы здесь наконец-то разъярится и выгонит незваных гостей пинками, но он стоял, покачиваясь, тупо

глядя на происходящее, почти спал. Махаев нерешительно изобразил отважную улыбку массовиказатейника:

— А ну-ка, раз-два-три!.. под говорок барабана!.. Умойся, глаза протри... Строиться возле фонтана! — Помедлил. — Не слышат. Может, пугнуть? — Нашёл в одном из многочисленных карманов куртки миллицейский свисток, напыжился — и в гостинице раздался пугающий дробный свист!

Рядом за стеной кто-то ойкнул, что-то упало. Не дай Бог, прибежит дежурная. Но военные, не реагируя никак, молодецки пели носами и глотками, как соловьи-басы в райском саду мироздания. Только один, постарше, открыл глаза и, болезненно морщась, смотрел на нас, явно не понимая, чего мы хотим.

Когда Злобин раза три повторил, оснащая речь витиеватой матерщиной, что это наша, что платили, капитан (это был капитан, на погоне четыре маленьких звёздочки, гуцульские усы) медленно сел на кровати:

— Сколько времени? — И посмотрев на свои часы, выругался и запрыгал меж кроватями, торпоша друзей. — Парни, песец!.. Бензин зря жжём!.. Парни!.. — И зарычал на нас. — Помогайте, что варежку разинули!?

Когда мы, наконец, вытолкали в коридор всех семерых, и они, зевая, щёлкая челюстями, поцокали подковами сапог вниз, на улицу, где их должен был ждать транспорт, часы уже показывали два ночи.

— Падаем!.. Вдруг вернутся?.. — сообразил Злобин.

Он запер дверь, выключил свет, и мы легли, не раздеваясь, бросив на стулья куртки и шубейки. Я с трудом дышал — у меня аллергия. Медленно втягивал сквозь зубы воздух, привыкая к нему: до омерзения пахло погашенными окурками, открытыми рыбными консервами, недопитым вином. Встать бы, проветрить комнату, но я видел — окно намертво оклеено бумажными лентами. Выдавить форточку — от холода очоуримся, топят плохо. Дверь оставить открытой — явятся вроде нас... Я только начал задрёмывать, как затряслась сама стена — к нам из коридора колотились ногами так и не уехавшие вояки:

— Отр-ройте!.. Они не дождались!

Мы лежали молча.

— Откройте, парни!.. Выломаем на хрен!..

Не было сил пререкаться.

На наше счастье за дверью послышался женский голос, он увещевал. В ответ сорванный баритон старшего грозил танковой атакой. Женщина насмешливо захихикала, потом осердилась и пошла звонить, как мы сообразили, в комендатуру. Военные парни быстро скатились вниз, и если честно, я их искренне пожалел... Но они всё-таки поспали на наших местах. Дайте отдохнуть и нам.

Но только я полетел в сладкую бездну сна, как в дверь снова постучали. На этот раз тихо, деликатно. И я почему-то сразу догадался: Иван Иванович.

— Андрей?.. — позвал он гнусаво из коридора (когда он обижался, всегда говорил гнусавым голосом) — Пустите... я просто посижу где-нибудь...

Не откликаясь, чтобы не разбудить кемеровчан, я поднялся, но Злобин — он тоже не спал, слышал — ядовито шепнул возле самого уха:

— На своё место положишь? Шестёрка!..

Я нерешительно замер.

— Андрей... — буркнул ещё раз из-за двери Иван. И замолчал. То ли ушёл, то ли остался стоять, прислонясь к двери.

— Ну, иди, зови! Но я тебя уважать не буду, если так пресмыкаешься перед ним...

Я сидел в темноте вонючей комнаты и вдруг вспомнил, как мы выпивали однажды в ресторане: Иван, я, некая девица и белобрысый парень. Иван знакомил нас: крашенная Алёна с белыми, как у березы, губами — будто бы журналистка, белобрысый Эдвард — тоже, как и я, учёный, из Москвы, судя по внешности — прибалт. Они расспрашивали меня о бедных рудах в наших краях (я кандидатскую защитил по бактериям, с помощью которых государство будет когда-нибудь обогащать руды), о заброшенных месторождениях золота и серебра, которые можно сегодня ещё вполне недорого купить... На следующий день Иван передал мне почтовый конверт с двумя розовыми бумажками — сто тысяч рублей — и пояснил:

— От Эдварда... за консультацию... Парень из Вильнюса в восторге. Но тут одна неприятность, выяснилось — подружка-то его из гб... Так что Эдварду не звони... хоть он и откроет у нас предствительство...

— Да на что он мне нужен?.. — хмурился я. Не нравилась мне эта история. — И деньги заberi!..

— А вот это ни к чему! — сказал Иван. — Бизнес есть бизнес... Зря ты им целый час лекцию читал?..

Надо было вернуть проклятую сотенку — не вернул. За квартиру, что ли, срочно требовалось заплатить? А их я позже не раз видел вместе — Ивана и Эдварда. И сейчас, в дрянной аэрофлотовской гостинице, подумал: а не пугнул ли он меня тогда «гэбухой», чтобы я с этим Эдвардом больше не встречался... Наверняка, не сто тысяч стоила моя «лекция»... директор элементарно поживился за счёт своего заместителя с учёной степенью... Он мог это запросто сделать, как делал не единожды нечто подобное с другими нашими компаньонами, подмигивая мне... И застарелые обиды заглялись во мне, как камни в печёнке.

Тем временем за дверью снова кто-то задвигался, задышал, заскребёся:

— Андрей?.. Андрей Николаич?..

Он не ушёл! А спросить прямо сейчас, не открывая: «Это правда, что ты, как мне передавали, имеешь личный — вне нашей общей фирмы — счёт, куда тебе переводят таинственные огромные суммы?». И ещё вспомнилось, как он пригласил меня с Таней в театр (И. И. купил костюм от «Ле Монти» и стал выезжать с молодой женой-переводчицей — знает английский и немецкий — на концерты, на спектакли). Так он умудрился и здесь заказать билеты «разного уровня уважения» — сам сел в нулевом ряду партера, а нам с Таней выдал билеты на балконе. Он не мог не знать, где партер, где балкон. Сверху ничего толком не видно и не слышно. Может, боялся, что я, посмеиваясь над актёрами,

что-нибудь рассказывая из их жизни (я когда-то сам играл в самодеятельности), понравлюсь его Светлане?.. А так — на меня сразу ложилась тень оскорбительной насмешки. Согласитесь, если даже гений попал в дерьмо, вы обойдёте его — не захотите мараться...

Мы сидели под потолком, кивая Ивану со Светой, натянуто улыбаясь, а они, глядя вверх, тоже, конечно, кивали, а потом, отвернувшись, хихикали... Груб Иван, но психолог отменный.

— Андрей!.. я устал! Я только посижу.

— Да пусть ляжет на полу... я ему одеяло дам, — прохрипел я гневно Злобину (и самому себе) и открыл дверь.

На меня дохнуло водочным перегаром. Иван, тяжело опьяневший, топтался в темноте коридора — здесь свет был тоже погашен.

— На полу ляжешь? — в лоб спросил я.

Он молча сопел. То ли раздумывал, то ли не слышал. Нет, видимо, раздумывал, потому что вдруг пробормотал:

— Пойдём, где-нибудь поговорим?..

— Что?.. — я удивился. — Я устал. Я тебе одеяло постелю... ляжешь.

— В этом пальто?

— Ну, снимешь!.. — зазвенел из комнаты голос Злобина. — Не растаешь, не сахар... Где-то же ты ходил... чего вернулся?

— Я там в толпе стоял. И специально не шёл сюда, чтобы вы хорошо поспали. А сейчас не выдержал.

Я не знал, что и сказать. Злобин с грохотом перевернулся на койке.

— Иван, разговоривать нет сил. Не хочешь — не надо.

Может быть, он действительно ждал, что я уступлю ему кровать? По пьяной фанаберии испытывал? Этого не будет.

В конце концов, он даже на год моложе меня. А скорее всего, он понимал, что я не уступлю. Тем более при этих свидетелях.

Но ложиться на заплёванный пол — ниже его достоинства. Вот он и тянул резину.

— Ну, немного... — нудел он, щекастый, с утиным носом — при свете уличного фонаря я уже различал его лицо. — Я как раз о нашем общем деле думал...

— А он уходит от тебя! — радостно засмеялся из глубины комнаты Злобин, пытаясь, видимо, хоть как-то задеть толстую кожу Ивана Ивановича.

— Что?.. — пробормотал мой директор. Кажется, испугался.

— То.

— Как это, Андрей Николаевич?..

По отчеству! Уже дважды. Нет, зря тут мешается Злобин...

— Добавишь ему полмиллиона в месяц?.. — снова резанул тишину неугомонный Александр Васильевич, ноги которого, упираясь из короткой кровати в стену, ползли, как ноги паука.

— Я ему миллион добавлю, — тихо отвечал Иван Иванович. — Зачем вы меня так ненавидите? Два миллиона добавлю.

— Через год, когда инфляция съест деньги, как моль, — тихо пробурчал, чмокая губами, Махаев. — Ну, я сплю, сплю.

Серебров храпел в дальнем углу комнату, содрогаясь всем телом, словно стрелял из тяжёлого пулемёта.

— Хорошо, — вздохнул я. — Хорошо. — И вышел в коридор. В голове словно пламя крутилось. Я, наверно, сейчас упаду. Я прикрыл за собой дверь. Иван обнял меня и захныкал.

— Ты... ты что?! Зачем напился?.. — я с трудом оттолкнул его.

— Хочешь?.. У меня полбутылки виски.

— Больше не могу.

— А я пью!.. — вдруг с какой-то горькой торжественностью объявил Иван Иванович. — Пил и буду пить, пока не вернёмся. Тебе надо денег? Любую сумму. Ах, Андрей, я же понимаю, о чём вы?.. Но я тоже, тоже...

— Что?

— Я тоже... тоже — второй. Не ржи, как свинья во ржи. Никакой не хозяин. Мои хозяева — здесь, в Москве. Ты многого не знаешь, Андрюха. При всём твоём уме...

— Так ты же не говоришь!

— А где говорить? Когда? — Он перешёл на шёпот. — Везде уши...

Мы стояли возле чёрного ящика, висевшего на стене, — наверное, здесь свёрнутый шланг или ведро на случай пожара. В конце коридора, в торцовом окне сиял аэропорт. Было невероятно тихо. Такого никогда раньше в аэропортах я не наблюдал. И на душе вдруг сделалось тревожно...

А тут ещё Иван с лицом, мокрым от слёз, смотрел на меня и бормотал путанные, страшные фразы:

— Они наши истинные хозяева... я тебе не могу назвать фамилий... но это большие, большие люди... ты их по газетам знаешь... я в сравнении с ними так, муха... Они во все советы директоров вошли... им принадлежит промышленность, нефть, уран... все месторождения... местные власти для них — камуфляж... захотят — завтра подчинят нас всех напрямую — Москве... Ну, найдут какую-нибудь народность, подскажут объявить республику — и вместе с республикой — как субъект федерации — в прямое подчинение... А это большие, большие деньги, Андрей!.. — Он взрыднул и снова хотел обнять меня, но откачнулся и стукнул себе в лоб кулаком. — Извини. Извини. Я знаю, ты знаешь... я тебя обижал, обманывал...

— Идём, ложись.

— Но ты не знаешь, за какие крючки меня самого держали!.. — Он жарко задышал мне в щёку. — Открыли счёт!.. В Цю... Цюрихе. Веришь? А потом показывают плёнку — всё там записано камерой... ну, как передали мне номер счёта, ключик... То-есть, пока не рыпаюсь, деньги вроде у меня есть... а если что — всё это как лопнувший гандон... — Он коснулся мокрыми губами моего уха. — Хочешь, я и тебе сделаю валютный?.. Тут мало ли что... Начнут опять эксп... экспроприировать... Только не оставляй меня одного, Андрюха. Я глуп, как баран. Они помыкают мной. Я Светкой своей уже жертвовал, веришь?.. Ну, надо было узнать кое-что... и показать, что я их с потрохами... А Светка нам на Западе пригодится... все языки знает... Бл-ляха!.. — Он вынул из внутреннего кармана пальто бутылку. — Выпьешь из горла

на брудершафт?! Я тоже — второй. Мы оба — вторые. Мы братья. Я хочу жить. Один я погибну. Хочешь — ты команду!.. Идём, я лягу в твоих ногах!..

— Дело же не в этом!.. — застонал я. Умеет он простягой притвориться и до дна достать. — Я к тому, что неизвестно — полетим завтра или нет... нам обоим надо выпастись!

— Нет, ещё постоим!.. — Он медлил. — Мне плохо, Андрей. — Он отхлебнул из горлышка и покачнулся. Может быть, изобразил сильное опьянение, чтобы, наконец, пойти и упасть на пол — как бы уже без сознания...

Злобин, конечно, не спал. Я ввёл под руку Ивана в наш номер, временно усадил на кровать. Постелил на пол одеяло, сложив его пополам.

— Ложись.

Без слов Иван Иванович опустился на колени и, не снимая пальто, лёг лицом вниз.

— Молоток, — шепнул мне в темноте Злобин и, зевнув (интересное для него кино кончилось), тут же уснул.

А я не мог заснуть. Я вдруг услышал, как булькает, выливается на пол из пальто Ивана, из незаткнутой бутылки иностранная жидкость. Что делать? И.И. к утру провоняет, как пивной ларёк. Попытаться вытащить гранёный сосуд? А если разбужу?..

Мне приснилась моя дипломная работа — как мы воздействовали музыкой на рост цветов. Моцарт, Бах, Вивальди ускорили рост цветов. Дисгармоничная, с быстрым ритмом-лязгом музыка губила цветы.

Со мной работала моя однокурсница Инка Петрова. Белозубая, светлая, тоненькая, она вслух удивлялась: «Надо же!.. Правда?» Я отвечал: «Правда», имея в виду свои смятенные чувства. Но наше поколение было робким... во всяком случае, я был и остался вторым. Сейчас Инночка вместе с мужем, академиком А., живёт в Лондоне.

Нас разбудил визгливый голос включённого во всей гостинице радио, громкий топот по лестничным пролётам, дальний, но различимый, содрогаящий полы гром самолётных двигателей. Ивана в комнате уже не оказалось — я его увидел, только когда пошёл на посадку. Он был в новой зелёной куртке с капюшоном. Пальто, видимо, выбросил или сдал в багаж. С пасмурным лицом, но, как всегда, спокойный, важный, он кивнул мне.

В самолёте мы снова оказались в разных салонах — Иван в первом, я во втором. Да, не смотря на все ночные слёзы и разговоры, каждый из нас возвращался в свою жизнь, на то место, которое он заработал, к которому привык.

Впрочем, когда мы с Лёвкой Махаевым прощались (Злобин, хмуро кивнув, повёл неменяемого Сереброва в самолёт — тот, видимо, всерьёз разболелся, его корёжила неведомая мне болезнь), Лёвка, ощерив большой рот, оттянув углы его книзу, как папц из оперы, сказал мне:

— А вообще, Андрюха, есть выход из замкнутого круга. Только надо убедить себя, что ты веришь в себя.

— Что?!.. — я уже не хотел более этих разговоров. — Как можно убедить, если все уже привыкли, что ты такой, какой ты есть?

— Ты меня не понял. Пусть привыкли. Даже хорошо. И однажды ты говоришь: а я нарочно!.. А на самом деле я вас всех насквозь вижу... поскольку я — ясновидец! Только нагло, нагло! От отчаяния нагло должно получиться.

— Ну и что? — хмыкнул я.

— Как что?!.. — голос Лёвы стал железным. Еврей заговорил, чеканя слова, как ефрейтор-украинец. — А вот що. «Я знаю, що буде з вами через полхода!.. — это ты им говоришь. — Я знаю, что тебя, тебя ждёт. Я знаю, чем ты болен». И так далее. Люди боятся, когда им вот так говорят. Даже если подумают: а не шарлатан ли?.. всё равно пугает мысль: а вдруг??? Сейчас как раз время ясновидцев. Ибо грядёт конец века. И ты, наряду со всеми этими самозванцами, которые в золоте купаются, ж...й его едят, сразу же переходишь в разряд людей... даже нет!.. не первого сорта... Выше! Эти, которые первые, они же понимают, что ты всегда превосходил их умом... они тут же смиряются.

Мне надо было идти на посадку.

— Погоди!.. Когда ещё увидимся?.. — горестно опустил воловьё глаза Лёвка. — А может, брат, и первых-то нет, которых первыми мы считаем? Ибо они тоже чьи-то вторые. А те — вторые для ещё более могущественных... и даже... и даже... — Он шаловливо ухмыльнулся, не договорив. — Подумай в самолёте.

Но я в самолёте спал... Я видел озеро и туман, который отгибается, как уголок странички... и под ним блеснуло красное золото огромной рыбины, которую я уже никогда не поймаю, но я знаю, где она есть... И ещё я знал, что в эти годы чёрной вольницы меня уравнивает с хозяевами жизни только смерть... Правда, как я недавно подсчитал на компьютере — их шанс умереть раньше меня равен десяти-двенадцати процентам. Так стоит ли жрать черную икру чашками и спать на красных девицах, хватая за большие деньги любую из них с улицы, чтобы раньше сгореть в коттедже или рухнуть среди бела дня на улице с пулей в голове? Но, с другой стороны, что есть яркая жизнь? Долгая умная жизнь или жизнь, полная риска? Это я так, в порядке сонного бреда, пока самолёт, проваливаясь, идёт, кажется, на посадку. А может быть, и падает?..

И скажу напоследок, исчезая, как звёздочка, из ваших глаз, — американцу этого рассказа не понять...

Апрель–май 1995 г.

Старика

Фазилю Искандеру

1.

Вчера звонила из Урмана, с моей малой родины, моя мама.

— Здравствуй, сынок.

— Исанме, эни. — говорю по-татарски, как умею. «Здравствуй, мама».

— Как живёшь? Как здоровье, мой маленький, мой золотой?.. — на этом запас русских слов у неё почти исчерпан. И она переходит на родной язык. Говорит, что хворает, тяжело ходить — голова кружится. Но ведь и годы, тут же успокаивает меня,

я уже как Брежнев-бабай, стара, давно все сроки вышли...

— Да что же ты такое говоришь?! — начинаю страстно возражать. — Вон в Америке, старухи до девяносто... — я спохватываюсь, потому что маме восемьдесят пять... — до ста живут, по всему миру ездят, на вулканы всходят...

Она тихо слушает.

— Ты мне, дорогой, напиши об этом, — говорит она. Конечно, говорит по-татарски. И, кажется, чуть иронизирует. У неё всю жизнь печальные глаза, но она умеет иногда и с такими глазами что-то насмешливое сказать.

— Хорошо-хорошо, — обещаю я ей.

Я, конечно, напишу ей — и конечно, по-русски. Она вполне хорошо понимает русскую речь, если речь не сложная. А я понимаю по-татарски, если говорят о вещах обыденных и не быстро. А вот сказать сам на языке мамы не умею, и она не умеет выразить мысль на языке сына. Так разделила нас жизнь: тому виной служба отца-офицера, скитания по русским городам и военным лагерям, а затем русская школа.

Хотя в недавние ещё годы мать довольно бегло говорила на русском, а я — на татарском. Но из-за того, что я уехал по распределению в Сибирь, а мать осталась с младшей дочерью в татарском Урмане, язык детства у меня осыпался, как красные листья с казанских клёнов, а у мамы русский язык скукожился до уровня передовиц советских газет и слов о погоде.

— У вас холодно? — спрашивает она вновь по-русски.

— Юк, — по-татарски отвечаю я. Хочу сострить, сказать, что у нас не юг (слово «юк», означающее «нет», звучит похоже на «юг»), но не получается сказать, и я что-то мычу.

— Как здоровье, сынок? — снова по-русски.

— Рахмат, барсыда айбат, — спасибо, всё у меня хорошо.

Молчим. Мама вдруг начинает плакать, я это слышу.

— Мама, говори по-татарски, я пойму... — кричу я в трубку.

И она, успокоясь, вновь начинает рассказывать мне, что она плохо спит, на улице боится выходить, потому что голова кружится. А Шурочка — это дочь, моя младшая сестрёнка — на работе с утра до ночи, в своей больнице, замуж так и не вышла, я виновата...

— Господи, чем ты виновата!..

— Он мне не понравился, её парень, от него всё время одеколоном пахло, сапожной ваксой...

— Мама, так ведь это когда было! — кричу я. — Тридцать лет назад! Она уж, наверное, десяток других парней рассмотрела... и если не вышла замуж, ну, не понравились!

— Нет, я, я виновата, — глухо повторяла мать в трубку. И что-то сказала такое, что я не понял. Прощестели несколько слов, совершенно забытых.

Я начал объяснять маме, что нынче это не грех, не быть замужем, и даже не грех бы иметь ребёнка без мужа, потому что...

— Нерсе? Нерсе? (Что? Что?) — переспрашивает мать, не понимая, видимо, моих слов.

— Я напишу! Или давай — я перезвоню, мне жалко твоих денег.

— Нет-нет, — сказала мать. — Мне всё равно не на что тратить пенсию. Много ли мне надо? Хлеб есть, чай есть...

— Перестань! — теперь уже я сам едва не плачу. — Не говори так. Давай, я тебе подробно напишу. Моя дорогая, не бойся, мы тебя все любим, живи.

— Зачем? — тихо спрашивает она по-русски. — Зачем?

— Как зачем?! Ты нам нужна.

— Кушаю и сплю, всё. Зачем жить? — вновь по-русски жалуется она. И добавляет по-татарски, что, если бы не Шура, которая насильно делает ей уколы, она бы давно уже спокойно умерла. А Шура ставит и ставит уколы.

— Но это же хорошо!

— Что в этом хорошего, сынок?

— Мама, давай так. Я тебе пишу, ты мне. Напиши, как наше село... Его совсем уже нет? — Я не был там два года, никак не получилось приехать. Помню, начинали строиться красные коттеджи чужих и богатых. — Как наша речка, наша старица, куда я бегал рыбачить?.. Мне это поможет жить. А я тебе — про Сибирь... здесь хороший народ... тебе станет веселей...

— Хорошо, — еле слышно отвечает моя старуха и кладёт, наконец, трубку.

2.

И она прислала мне письмо, целиком посвящённое старице. Написала, понятно, по-татарски, написала, понятно, от руки, почерком старательным, с наклоном, всё-таки бывшая учительница. Подбирала слова очень простые, чтобы сын понял. И всё-таки смысл половины слов мне неведом.

Но о чём письмо, я, конечно, понял.

Сынок, писала она, ты спросил про нашу старицу, которая когда-то не была старицей. А была она речкой, ты разве забыл? Здесь проходило русло. Однажды в половодье прямо перед селом случился ледовый затор, вода хлынула прочь и промыла новое русло через луга. Когда ты ходил в школу, в старице росли купавки, гуляла рыба, по дну ползали раки и пиявки — здоровая была вода. Она была чистая, потому что одним концом по-прежнему соединялась с речкой. Но в последние годы ты редко приезжал, поэтому не обратил внимания: новыми вешними водами и на устье намыло песку, образовался перешеек, даже выше самого берега. Наверное, потому, что тут кружило течение и сюда с усилием торкались льдины. И вот уже три или четыре года, как старица умерла. Она летом цветёт. Вода в ней не обновляется. Рыбу всю вычерпали с бреднем подростки, раков — шофера с КАМАЗа, пиявок — врачи из больницы. Говорят, пиявки снова, как и раньше, полезны... *риабль-тированы*, так, сынок? А в прошлом году и совсем ужас, ужас случился! Один шофёр мыл бензовоз, был пьяный, что-то не так повернул — и бензин потёк в старицу. А на берегу мальчишки жгли костёр. Полыхнуло над водой — словно молния прошла... мальчиков обожгло, бензовоз взорвался, а вот самому шофёру ничего не сделалось — он в это время в стороне закусывал... только глаза стали красные, и пуговицы расплавились на

рубашке, так говорят. Теперь в старице никто не живёт, даже лягушки ускакали через кусты в речку. Шура говорит: должно пройти лет десять, пока перестанет пахнуть бензином из старицы.

Далее мать писала, что ей нравится новый президент, молодой, выступает без бумажки.

Но что плохо — лекарства нынче сделались дорогие. Хотя Шура утверждает: лекарства старые, только названия у них новые, и коробочки теперь красивые.

А вот хлеб в Татарстане подешевел. И куры, и молоко дешевле, чем в Сибири, мама в газете прочитала. Бедный сынок, я бы послала тебе посылкой, но ведь всё испортится, пока дойдёт...

3.

Я ответил матери, стараясь писать буквы чётко, делать их похожими на печатные. Подбирал слова тоже, в свою очередь, попроще, чтобы она поняла русский текст. Я просил ничего не присылать, не так уж всё дорого в Сибири.

А живут здесь подолгу, потому что кедр, воздух ионизирован, как после молнии... да и зарабатываю я неплохо в своей геологической экспедиции...

И мама немедленно мне позвонила, как только, видимо, получила письмо. Хотя я просил её, что не надо звонить, я сам ей буду звонить.

— Здравствуй, сынок.

— Исенме, эни.

— Как жизнь? Как погода, сынок?

— Барсыда айбат. Всё хорошо, мама.

— Как Люба? — Это она про мою жену. — Люба хорошая.

— Спасибо, мама, всё хорошо.

— Как Надежда Ивановна? — Это она про тещу. — Привет ей.

— Спасибо. Она тебе тоже кланяется.

— Надежда Ивановна очень, очень хорошая...

— А как твои-то дела?

— У меня всё хорошо...

Но я чувствовал, что она звонит неспроста. И вот, наконец, моя дорогая старушка тихим голосом, сдерживая рыдания (господи, что случилось? Не с Шурой ли?) начинает говорить по-татарски, что видела по телевизору наш город, возле которого много-много атомных бомб...

— Мама, это не бомбы! Это твелы... урановые сборки...

— Урановые, урановые! — подтвердила мама по-русски. И продолжала по-татарски. — Я слышала, если на этот склад упадёт метеор или ударит молния, от вашего города останется одна большая яма... — и по-русски. — Диаметр сто километров. — И в голос запрочитала.

— Мама! Эни!.. Откуда здесь бомбы, откуда молнии???

— Ты же сам написал: молнии. Надо большой громоотвод поставить, скажи начальникам. Или уезжай отсюда.

— Мама, я имел в виду свежий воздух! Ионизация, ионизация! А по телевидению глупости говорят! — я уже сердился. — Зачем ты телевизор смотришь?

— А что же мне смотреть, сынок? Я в эти три окна всё уже увидела и запомнила. Читать не

могу — глаза болят. Радио слушать — голова кружится, да и новости... то убили, то подожгли... А в телевизоре люди ходят, не всегда одетые, но красивые.

Кажется, она уже иронизирует, не смотря на плачущий тон.

— Куда же мне смотреть, сынок? Я с помощью Шуры вчера сходила на старицу, посмотрела на неё, тебе письмо отправила. А сегодня твоё получила. Ты моё ещё не получил?

— Нет, мама. Спасибо, мама. Я внимательно прочту.

— Позвони мне, если сможешь.

— Сразу же позвоню.

— Спасибо, сынок, сынок.

— Тебе спасибо, мама. Я тебе сам позвоню. Меня не было неделю — летал на север.

— На самолёте?

— Нет, на вертолёте... Что, мама?

Голос её снова еле слышен.

— Не летай на вертолёте. Они падают.

— Да брось, мама! Наши не падают.

— Все падают. Я в газете читала в прошлом году. Поклянись, что будешь летать только на самолёте. Который с пропеллером.

— Мама, там самолёты не садятся. Лес, горы.

— Хорошо, перед каждым полётом ты мне будешь звонить, а я буду просить.

— Что ты будешь просить?

— Я буду просить аллаха, чтобы он не разрешил упасть вашему вертолёту. — Слово вертолёт она произносила по-русски, но искажённо: виртулит.

— Рахмат, эни. — Спасибо, мама.

Попросив её не болеть, слушаться Шуру, я положил трубку.

4.

В следующем письме она вновь писала про нашу старицу, бывшую речку. Когда речка была ещё речкой, в ней во время половодья утонул отец мамы, мой дед. Он ехал на санях, льдины разошлись — и вместе с лошастью сани ушли в воду. И дед мой в тулупчике тоже утонул.

Бывают такие промоины, писала мама. Дальше я строк пять не понял. Я купил на днях татарско-русский словарь, порылся в нём, смысл отдельных слов мне был ясен (хэсрет — несчастье, муен — шея...), но что мама хотела сказать этими словами? Может быть, какое-то время дед плыл по шею в воде?

Далее она писала, что и я, когда мне было пять лет, едва не утонул в полынье. Вы, мальчишки, прыгали через проруби. Ты быстрый был мальчик, прыгал хорошо и далеко, но однажды, визжа, как девочка, прыгнул, перепрыгнул — и заскользил по гладкому льду прямо к полынье... все ахнули: думали, улетишь под лёд... Но тут один взрослый парень снял с ноги валенок да с силой бросил в тебя... получилось сбоку... ты ехал к воде на спине, раскинув руки... И когда валенок тебе попал в бок, ты очнулся, подскокил и, царапая ногтями лёд, отпрыгнул в сторону... пролетел мимо воды... а потом и сам валенок палкой вытащил. Помнишь ли ты этого парня? Его звали Ислам.

Нет, я не помнил такого дядю. Наверно, от пережитого страха всё забыл, да и этот Ислам, конечно,

был слишком взрослым для меня. Нет, помню какого-то дядьку, который иногда со мной здоровался — высокий, с папироской в смеющемся рту.

Так вот, сыночек, он умер на днях. Он механиком работал в МТС, потом в совхозе. Говорят, когда работал, иногда во рту держал болтики или гайки... наверное, в лёгкие попал болтик. Так говорят. Шёл по улице, схватился за грудь и упал...

А ещё в нашей речке утонула моя подруга Рабига... красавица была, пела, как соловей...

А зачем я тебе пишу, сыночек? А сейчас, сыночек, старицы уже нет.

Я разглядела вчера — она вся засыпана песком, сором, какими-то колёсами. Здесь растёт тальник, камыш... даже не скажешь, что вода была. Что тут люди тонули.

Вот и моя жизнь, сынок, как эта старица. Живого места не осталось. Копай не копай. Помирать пора.

5.

Дочитав письмо, я тут же позвонил маме. Было воскресенье.

Сестра Шура сняла трубку. От её быстрого весёлого говорка мне стало легче:

— У нас всё хорошо, всё хорошо.

Хотя она всегда так говорит. Даже когда беда. Я помню, лет семь назад мама на улице в гололёд ногу подвернула... и Шура уговорила маму не говорить мне, чтобы не расстраивать...

— А что с мамой?

— Мама немного болела, но сейчас уже ей лучше. Я ей делаю уколы... кокарбоксилазу... бе один, бе шесть...

— А что случилось? Что-то же случилось?

— Слабость, больше ничего. Она немного упала... — Сестра, прекрасно говорящая по-русски, иногда вот так, слегка по-татарски ломает речь. — Совсем немного! Хорошо упала — виском никуда не попала... У нас всё хорошо. Как ты там? Не болеешь?

— Подожди. Она дома? К телефону не подойдёт?

— Она недавно уснула...

— Тогда не надо...

— Нерсе, эни? (Что, мама?) Услышала... сейчас я помогу ей встать... немножко поспала...

В трубке наступает тишина, слышен какой-то шорох, треск. Лезут чужие голоса. Боже, когда в России будет хорошая телефония? У мамы с Шурой телефонная линия включена в электросеть. Да и то хорошо для села.

— Здравствуй, сынок, — слышу, наконец, слабый голос мамы. Она пытается говорить по-русски. — Как твои дела? Как погода?

— Да при чём тут погода! Мамочка, тебе лучше? Ты слушайся Шуру.

— Я слушаюсь. — Мама переходит на родной язык. — Она меня опять колет, как сено вилами, я уже лежать не могу.

— Но так надо...

— Ой, сынок... Надо ли? Зачем? Недавно моя старая подруга умерла... а она была на год моложе. Румяная была, красивая... и вдруг упала. Говорят, гриб.

— Грипп?!.

— Шура подсказывает: не гриб, а тромб. Оторвался и куда-то ударил. — И она заплакала. — Сынок, если я ходить не могу, если всё забываю... зачем жить?

И я снова говорю те же слова, искренне, с великой болью в душе:

— Ты нам нужна!.. Эни! Багемем! (Родная) — пытаюсь вернуть татарские слова. — Мы тебя любим. Мы тебя очень любим. Живи, как родной наш урман, сосновый бор. Помнишь, я тебе рассказывал? Шишкин в нашем районе своих мишек рисовал. Всю жизнь, куда ни приезжал в России, в любой столовой висело «Утро в сосновом бору»... и так на сердце становилось радостно, словно к тебе приехал.

— Ты редко приезжал.

— Мама!..

— Понимаю. У нас тут нефть открыли, всё открыли. А в Сибири ещё не всё открыли, я понимаю.

— Да, мама.

— А наш урман рубят вовсю. Скоро будет степь.

— Ты нам, как солнце, нужна, — я бормочу. Я знаю, мама всю жизнь любила высокие слова. — А солнце никто не погасит.

На мою старуху эти слова, кажется, произвели впечатление. Плачет, но молчит, не возражает.

— Мама, я тебе напишу письмо... а потом позвоню... Дай Шуру трубку.

Вновь слышу весёлый говорок Шуры. Так и вижу её, быстрюю, со шприцем или с чашкой в руке, скуластенькую, с улыбкой до ушей, которую она никогда не снимает с лица. Кажется, даже во сне улыбается. И вовек не поймёшь, что у неё на душе.

— У нас всё хорошо, — говорит Шура. Она одинаково быстро говорит и на русском, и на татарском. — Я за ней слежу, ты не беспокойся. А если беспокоишься, я тебя прошу: купи глицин и под язык... У нас даже врачи его сосут.

— Погоди! Может быть, что-то надо для мамы? Какие-то лекарства? Я достану.

— Всё есть.

— Денег пришло.

— Ни в коем случае! — возмущается Шура. — У тебя семья, ты мужчина, нет! Я получаю достаточно, у мамы пенсия. Не надо.

— Тогда я буду звонить.

— Конечно, звони. Мы всегда рады. — И уже перед щелчком аппарата тихая её просьба. — Мама, не плачь...

7.

Я получил ещё одно горестное послание от мамы, почти повторяющее по смыслу её прежнее письмо — про старицу. То ли забыла, что уже писала мне, то ли решила какие-то мысли уточнить.

Она писала, что иногда летом можно увидеть ночью — из этой тины и песка, из гнилого камыша пламя синее вьётся... наверное, души погибших людей и рыб...

А ещё вспомнила — шофёр, который налил бензин в старицу, спился и умер прямо на берегу этой старицы, так говорит народ. Аллах милосерден, но и гневлив.

Нет уж, не вернуть юности, не вернуть чистых вод... они текут далеко... Говорят, в Москве можно прямо из-под крана пить. У нас воду провели — в ней даже стирать нельзя. Надо бы нам своему президенту пожаловаться...

А в старице такие кувшинки росли! И стрекозы над водой сверкали! И луна отражалась так, что по золотой воде хотелось пойти босиком...

И я, ответив маме большим письмом, позвонил в Урманский совхоз. Я назвал себя, к счастью меня вспомнили — мой однокашник, Коля Курбатов, работает там инженером, хотя уже на пенсию вышел. Я спросил у него:

— Сколько нужно денег, чтобы старицу очистить?

— Какую старицу?

— Да нашу. Которая перед селом.

— Нашу старицу? — и, сообразив, наконец, о чём я говорю, он звонко захохотал в трубку, как хохотал в детстве, когда мы с ним, сопливые хулиганы, приносили в школу лягушку и запускали под парту девочкам, а те начинали визжать и вскакивать на парты. — С чего это ты вдруг? Богатым стал? Да там экскаваторами копать не перекопать!

— И всё-таки. Прикинь.

— Да хоть сейчас. И так, длина два... нет, даже три километра... глубина... ну, скажем, метра полтора... ширина... сколько тебе надо?

— Сколько была.

— Была метров сто. Ну, если даже пятьдесят. Сейчас, возьму калькулятор... Выемка одного куба... так... Да надо миллиона три, братишка.

— Всего-то! — обрадовался я. Если скинуться по кругу, может получиться. Один землячок у нас — генерал, живёт в Москве, очень богат. Другой там же, депутат в Думе.

— Да не рублей! — долетело до меня из трубки. — Ты что, думал — рублей?..

Так много?..

— Что, по родным местам затосковал?.. А возвращайся, лопатами, может, лет за полсотни раскопаем... — И Коля снова засмеялся, кому-то рядом там, в совхозе, поясяняя прерывающимся голосом, кто звонит и зачем.

Нет, таких денег я не соберу. И нашу старицу воскресить не сумею.

Господи, но как же я люблю мою малую родину! Она мне иногда снится, как мучительно работающее сердце внутри другого, огромного сердца. И если это маленькое остановится, то замрёт и закаменеет большое...

8.

Мне спать не дают письма матери. Читаю дома, беру на работу. И всё эта старица лезет в глаза, на склоне возле которой стояла наша кривобокая избёнка, огородом до камышей.

На огороде мало что росло. Правда, плетень, хоть и вечно повален метелями и мальчишками, люто зеленел каждой весной. Конечно, картошка нарождалась, но рыхлая, морковь строчила мелкая, разве что лук со звездчатыми шариками радовал глаз, да на горке навоза множились кривые, но сладкие огурчики...

Мне приходилось копать мокрую липкую землю под грядки, сбивая наросший грунт с лопаты о

колышки плетня или о нижние венцы предбанника. Баня находилась здесь же, в дальнем углу огорода, в десятке метров от воды. Когда вечером меня гнали помыться в только что натопленную, раскалённую баню (отец и мать шли последними, после моих сестёр), я, не выдержав зноя, порой стоял нагишом в дверях предбанника и слушал захлёбывающийся, сладостный, какой-то безумный стрекот лягушек по берегам да посвист вечерних птиц... И мне почему-то казалось, что именно эти минуты я не забуду никогда — может быть, потому что сейчас я здесь, один, при звёздах или луне, весь открытый, как скульптура из учебника... и стыдно, и жутковато чего-то... Но кто увидит с воды? Да ещё плетень между нами, он мне до пояса... да и темно...

Думал, не забуду, а ведь забыл, только сейчас, после писем матери, вспомнил эти банные свои стояния... и как мох курил, вырывая из пазов бани... и огурцы ел в темноте, когда пить хочется... А воздух уже к осени, зябкий...

И ещё, и ещё вспомнилось! Ну, конечно же, это самое главное! Всё хожу вокруг да около, но это было — мы стояли на самом берегу под вечер, ещё среди тёплого лета, с одноклассницей Настей Горяевой с верхней улицы... Я обещал ей стихи свои почитать, но от волнения все позабыл, а что придумывал на ходу, было неуклюже, сбивчиво... И при этом нас всё время жалили комары. Звенят, зудят, ноют и соснями, если не тысячами атакуют нас. Хлопая с усилием — для смеху — себя по лицу, я показывал ей красные от крови ладони и говорил: ерунда... я сейчас вспомню... Она терпеливо ждала, помахивая веточкой вокруг своей головы, и звала: идём к нам, на Верхнюю улицу, у нас там ветер с поля, комаров нет. Как вы тут живёте? А я отвечал: у нас интересней, вот постоим ещё! Я клялся, что каждую ночь, когда большая луна, из воды выныривает вот там, за кувшинками, русалка с большими глазами и поёт. На каком языке, спрашивала умная девочка, отличница Настя Горяева. А я не знал, как ответить, сказать «на русском» или «татарском» мне почему-то представлялось невозможным... мы в школе проходили немецкий, но он такой грубый... все эти плюсквамперфекты... и я сказал: на итальянском. Потому что, дескать, там несколько раз слышалось слово «амур». Она засмеялась — это на французском «ля мур», а на итальянском «аморе». Значит, на французском, согласился я. А Настя снисходительно, даже с сожалением смотрела на меня, как взрослая девушка на маленького мальчика, хотя мы были ровесники. Я тогда ещё не знал, что в каком-то смысле девочки взрослеют раньше нас. К тому же, если они отличницы. А я учился средне, любил физику и рисование, стихи, конечно, любил, но ненавидел писать диктанты и сочинения на тему...

И чего я удерживал её в комарином царстве, в сумерках возле нашей Старицы, чего хотел? Напроситься на поцелуй деревенский мальчишка, да ещё сочиняющий стихи, никогда бы не решился. Может быть, я как раз надеялся на её раннюю взрослость, что Настя посмотрит-посмотрит на меня с кровавыми следами на лице да пожалеет, сама одарит меня девичьим чмоканием хотя бы в щёку... при этом надо учесть: если соскочит глаза

вправо, то целует только от жалости, так говорят взрослые парни... если смотрит влево — то ласково шутит, это уже лучше... а вот если целует, опустив глаза, то замуж за тебя хочет, тут же, на этом месте... Настя всё не уходила, но и не целовала.

А лилово-розовая на вечерней заре старица звенела от лягушачьих оркестров, причём все лягушки, как по команде, вдруг замолкали и вновь начинали стрекотать... Собаки бесились по деревне — катался на мотоцикле сын милиционера Вахита... овцы, опоздавшие домой, торкались по воротам и уморительно смешно блеяли... громко щёлкал кнут пастуха дяди Васи... и хрипло рассказывало радио на столбе среди села о достижениях народного хозяйства...

Настя тогда ушла домой уже в синих сумерках, оплеснув меня на прощание загадочным, влажным взглядом. И больше я её на берег вечером не видел. А сам подолгу стоял здесь, бывало, и называл себя дураком, потому что русалок нет в нашей Старице, как нет их нигде в СССР. Ну, может быть, возле древней Греции, в Средиземном море... где плавал Одиссей... и то, наверное, пожилые, безголодые... потому что откуда взяться юным — они же не могут размножаться, у них нет мужей...

И вот теперь только камыш да песчаные холмы на месте нашей Старицы, там горит мусор, старые резиновые колёса, и между ними на мотоциклах скачут современные мальчишки, преодолевая подъёмы и спуски...

И не очистить более Старицу, не вернуть сюда чистую воду с лодками и гусями, не порадовать старые глаза моей мамы...

Ничего не вернуть...

9.

Прошёл ещё один год. Мать всё хуже говорит по-русски. А невнятный её голос мне всё труднее понять. А писать письма старухе даётся уже тяжело.

А недавно до меня дошла страшная мысль: я ведь взрослым человеком так с мамой своей и не поговорил, чтобы при этом абсолютно понимал её. Во всю жизнь так и не поговорил.

Хоть и часто навещал её прежде. Но сейчас билеты хоть на самолёт, хоть на поезд такие дорогие... страну словно топором разрубили.

Правда же, со своим знанием татарского языка я вряд ли смог рассказать ей подробно и ясно, как жил, как работал...

И она мне многого не поведала, потому что есть чувства, понятия, которые невозможно выразить на примитивном языке про погоду и здоровье...

Когда же мы услышим друг друга и поймём?

Невыносимая беда произошла с нами. Бывший комсомолец, романтик, подчинявшийся всю жизнь воле великого государства, седой болван, не плакавший, когда в тайге рысь, прыгнув с дерева, ободрала мне голову, сажу над письмами матери и плачу...

Мне уже по-настоящему не изучить татарский язык, а ей — русский.

Даже если куплю ещё десять словарей...

Чем дальше, тем мучительнее нарастает непонимание между матерью и сыном.

Нет, живи подольше, мама!

Живи подольше, багерем!

Живи подольше, родная!

Может быть, нам повезёт с тобой уйти в один день...

И кто знает, может быть, где-то среди звёзд... говорят, там другой, единый язык... Я расскажу тебе, как любил тебя и помнил каждую минуту в своей жизни твои тёмные печальные глаза... а ты простишь меня...

Горе

— Здравсьте... — этот милый интеллигентный человек, слегка картавящий, по фамилии — Ивашкин, всегда здоровался первым, как-то искоса, может быть, лукаво заглядывая в глаза. Он узкоплеч, в любое время дня в узком строгом костюме, при галстукe, в начищенных до блеска ботинках, даже когда вышел в огород, и мы с ним переговариваемся через невысокий забор.

Впрочем, у него на огороде такой порядок, что можно и в зеркальных ботинках ходить — вдоль грядки уложены тротуары из ровных досок, да и сами грядки с луком и морковью, петрушкой и прочей зеленью, в дощатых рамках, как в воротниках.

Вода для полива у Ивашкиных в высоком баке, ярко окрашенном зелёной — под стать миру растений — краской. А трубы, которые идут к нему и от него, красные и жёлтые. Всё тут исполнено аккуратно и красиво.

— Здравсь-сте... смотрите, облака перистые... неужто испортится погода?

— Да не должна... — успокаиваю я его. — Вон паутина блестит.

— Да, да. Паутина — это примета. Это верно.

Я знал, что Виталий Викторович работает каким-то чиновником в областной администрации. Да и правду сказать, трудно было бы ему на одну зарплату построить такой хороший небольшой дворец, какой у него стоит на участке: из белых и красных блоков, как шахматная доска, с башенкой наверху, со стрельчатými окнами второго этажа и с овальными — на первом. Да и ворота из железа, и асфальт двора говорили о том, что, конечно, ему на службе помогли с обустройством...

Этот милый, повторяю, очень милый в общении человек жил-бытовал рядом со мной. Бытовал, разумеется, как и я, только летом-осенью, так как зимой даже у него, я думаю, в коттедже холодно, не говорю уж о своей деревянной даче с кривой печуркой...

Иногда мы беседовали с ним на философские темы, стоя каждый на своей «платформе» (его выражение), а проще сказать, каждый в своём огороде. Для меня лично наступила свобода, дремучая и наивная, я, мгновенно забыв марксизм-ленинизм, которому нас учили, по-своему что-то вообразил и сообразал о причинах и следствиях, о психологии толпы, о расцвете и крушении государств, о жизни и смерти. Он же, Виталий Викторович, осторожно меня порицал и поправлял, цитируя багровые книги прошлого века.

— Уверяю вас, там были очень, очень умные мысли... Вот Владимир Ильич, например...

— Не надо, — умоляя, останавливал я его.

— Хо-ошо, хо-ошо, — тихо смеясь, отступал сосед и переводил разговор на более общие, метафизические темы, которые, несомненно, были всегда ближе мне. — Я с вами совершенно согласен, что в космосе мы не одиноки, кто-то или что-то присутствует, несомненно. Но ведь и Ленин говорил... ну, не буду, не буду. — он снова смеялся.

Смеялся и я. Очень мило мы с ним беседовали. Наши жёны, выходя на огород, так же раскланивались друг с дружкой и обсуждали, какой сорт помидор выбрать на будущий год — может быть, устойчивые «фонарики»? — так как ночные заморозки повалили нынче половину рассады, хоть она и была укрыта плёнкой...

Иногда наши соседи — худенький супруг с толстенькой супругой — картинно замерев на своём участке, едва ли не взявшись за руки, слушали музыку, которую я крутил у себя на огороде — чаще всего певцов-итальянцев: Джильи, Марио Ланца, Бергонци, Тито Гобби...

А бывало, его жена, напялив кокетливую шляпку с пером, садилась у них там на прозрачную розовую скамейку из кедра и, тренькая на гитаре, исполняла нежный романс:

Я поцелуями покрою
Тебе и очи, и чело.

И всё было так прелестно, так славно. Ни нам от них, ни, тем более, им от нас ничего не было нужно. А если что нам и было нужно, ведь не будешь выпрашивать. Например, им привозили конский навоз, вываливали две машины подряд на дальний край огорода. От него шёл пар, он был чист и великолепен. Или появлялся КАМАЗ и, пятясь задом, опрокидывал чёрный, бархатный перегной... и откуда такой?

Я тоже пару раз заказывал — мне за мои деньги везли обычную серую землю, со щепками, осколками зелёного стекла, с прочим мусором. А уж навоз, который наполовину состоял из гнилой соломы, через два года прострочил весь мой огород такими хищными красноглазыми сорняками, каких я с детства не видел...

— Спроси, по какому телефону он заказывает, — говорила моя жена.

— Думаю, он заказывает по особому телефону, — беззлобно отвечал я. — Ладно, как-нибудь.

— И то верно, — соглашалась жена, глядя, как соседям через сосновые посадки ведут телефонную линию. — Может, разрешат запараллелить? Я за маму беспокоюсь... а так в любой момент можно бы позвонить.

Но кто же с чистой душой разрешит кому-либо подсоединиться к своей телефонной линии? Даже если вы пришли с купленным блокиратором и обещаете оплачивать все счета.

Я и спрашивать не пытался, чтобы не портить отношения с соседями.

Да к тому же Ивашкин стал знаменитостью — готовилась книга «Кто есть кто?» о видных людях в наших краях, и, видимо, его попросили подготовить о себе лаконичный, но достаточно хвalebный текст, а также передать в издательство свою фотографию.

Я слышал, как счастливый Виталий Викторович кричал в трубку, стоя среди огорода (она у него с антенной):

— Как называется? «Кто есть кто?» Замечательно! — он явно повторял уже известную ему информацию для того, чтобы соседи услышали. — Но я поскромнее, поскромнее текст... Чёрно-белую или цветную фотографию? Можно цветную? Очень хо-ошо! Я завезу!

Когда к нему в непогоду в дачный дом залезли «бомжи» (правда, ничего особо дорогого не сумели украть, наверное, не успели — завывала сирена и замигали лампы по углам... разве что, убегая, унесли из сада белую пластмассовую скамейку...), приезжала милиция, искала по оврагам эту скамейку, извинялась... в общем, всё сделала, что могла. И мы понимали: так надо. Он человек государственный.

Выезжая со своего участка на белой чиновничьей «Волге» с номером, где буквы сплошь ААА, Ивашкин выглядывал в дверцу с опущенным стеклом и здоровался буквально со всеми:

— Зд-асьте, зд-асте!.. — и участливо спрашивал, как дела, как здоровье, и даже, остановив жестом машину, минуту-две выслушивал людей. Все знали, что он небольшой начальник, есть повыше его, но всё же ведь начальник, а не чинится, простой, можно сказать, любезный в общении, как Ленин из кино или американский президент.

Иногда — в субботу-воскресенье он приезжал на дачу на личной машине, тёмно-вишнёвого цвета «пятёрке» — за рулём сидел долговязый сын лет 15–16, а сам Виталий Викторович — справа, влюблённо глядя на отпрыска, и горделиво — на всех встречных. Пару раз случалось, что глох двигатель этих «жигулей», особенно во время летнего зноя, и тогда к нему шли мужики с соседних участков, хорошо разбирающиеся в моторах, в хитростях карбюратора, и бесплатно помогали оживить механизм.

Ивашкин, кажется, сам не пил, но специально для того, что отдариться, покупал нежную «Шушенскую-медовую». Но, надо сказать, водку у него никто не брал — все за рулём, да и гордость мы имеем, да и захочешь взять — жёны стоят за спиной, к чаю торопят. Однако, повторяю, к картавому чиновнику ласково, с улыбкой относились. Он такой чистюля, такой уважительный, и огород содержит в красоте...

Так мы и жили, как вдруг с соседями что-то произошло. Нет их! Нету! Как будто исчезли из наших мест...

Наконец, уже под осень приехал на дачу в одиночестве Ивашкин, вылез из своей, словно бы вдруг постаревшей машины, и сам будто постарел — в тесной старой куртке, не сына ли куртка?... небритый, взошёл на крыльцо. Боже, как переменялся! Скулы вылезли, руки дрожат.

Постоял на крыльце, глядя на заросший молочаем огород и — уехал прочь... А где же его близкие? Что такое?! Развелись? Беда какая? Жена умерла? Сын погиб?

Дня через три Виталий Викторович вновь появился на участке. Прошёл к своим грядкам, постоял, исподлобья озираясь. Вид у него был столь убитый, что и спрашивать о чём-либо мне

показалось страшновато. Я ему кивнул пару раз через забор — он, как от удара, отвернулся.

Что? Что такое произошло?!

Когда мимо открытых ворот проходили другие соседи, привычно заглядывая в гости к доброжелательному человеку, окликали его:

— Привет, Витальчик!.. — или: — Здоровы будем!.. — он, не здороваясь, резко поворачивался прочь, топя подбородок в куртке.

Да что же такое случилось с человеком? Я не понимал. Музыка в своём дворе я более не крутил. И не курил возле общего забора — его жена, помнится, как-то попеняла, что пахучий дым пролетает в их владения ...

Наконец, другой мой сосед, депутат Никитенко, однажды в дождливый вечер заглянув ко мне на огонёк (я печку топил), присел рядом, огромный, добродушный, и на вопрос, что происходит с Ивашкиным, стукнул меня по хребту, словно овода пришиб, и, похохатывая, объяснил:

— Гриша, ты чё, на Марсе живёшь? Новый-то губернатор весь старый аппарат на х... погнал... разве не слышал? Только баб внизу оставил... И этот тоже попал под сокращение.

— Вон оно что.

— Ну и что! И чего кукуется?! Ему ещё полгода будут бабло платить. За это время с его-то связями...

Из весёлого рассказа соседа я понял, что до того, как стать главным специалистом, а затем и председателем комитета по строительству, а затем и заместителем губернатора, Ивашкин работал именно в сфере градостроительства, хорошо показал себя, как грамотный руководитель, и, стало быть, запросто найдёт себе хлебную работу — вон сколько нынче строят, в XXI-то веке.

Согласившись с Никитенко, я забыл об Ивашкине. Но вскоре снова задумался о его судьбе — люди рассказывали странные вещи.

Оказывается, вот уже всю ненастную осень Виталий Викторович, с отросшей щетиной, в старомодном расстёгнутом плаще, в потёртом костюме, ходит по ночным улицам и собирает пластмассовые бутылки в мусорные баки. Срыывает афиши, которые висят не на месте, замазывает подходящей по цвету краской хулиганские надписи на стенах — выполняет роль добровольного городского дворника. И его уже не раз показывали по телевидению...

К середины октября город привык к этому странному бродяге в стоптанных ботинках, над ним, конечно, все кому не лень посмеивались, потешались — ага, уволенный начальничек-чайничек, теперь, небось, ближе воспринимается заботы простого народа? Причём иной раз он попадался на глаза телеоператорам в весьма пристойном виде — в белой рубашке, в зеркальной обуви. Это, очевидно, для того, чтобы народ не забыл, узнавал в лицо прежнего заместителя губернатора, не спугал с обычным бродягой. На Ивашкина в газетах рисовали шаржи — и он, в облике Чарли Чаплина с метлой в руках, постепенно стал печальной городской знаменитостью.

Впрочем, был слух, что его приглашали на должность в строительную фирму, где он прежде работал, и зарплату пообещали хорошую — он

отказался. По-прежнему шатался по городу с пластмассовым мусорным ведёрком жёлтого цвета, в стоптанных, с загнутыми носками ботинках, с кривым галстуком на шее, собирая мусор и заискивая, мокрыми глазами заглядывая в телекамеры. И глядя на странного дяденьку, городские школьники тоже стали устраивать рейды по сбору бутылок и бумажек. И он гладил их по голове и, мечтательно, картаво, читал стихи Маяковского:

— Я знаю, город будет... я знаю, саду цвеств... когда такие люди в стране российской есть.

Но когда Ивашкин встречал вдруг старых знакомых — по-прежнему грубо отворачивался и ни на какие вопросы не отвечал. Я и сам столкнулся с ним на центральной улице поздним вечером, он стоял, прикуривая от спички, под мокрым, сломанным зонтом с торчащей спицей.

— Виталий Викторович!.. — искренне воскликнул я. — Не хотите ли со мной?..

Но он сделал вид, что споткнулся и, пригнувшись, как бы перешнуровывая ботинки, отвернулся от меня.

Что ж, вольному воля. Да и, правда, мог бы на свою зарплату, которая раза в три больше моей, спокойно пожить эти полгода, новый зонт себе купить, а не изображать несчастного бомжа...

Никитенко, зайдя ко мне вечером после спектакля (жена надоела за три часа щебетанием о нарядах актрис, изображавших на сцене французенок), рассказал, что видел Ивашкина в дым пьяного возле павильона «Одна рюмка».

— Не может быть! Он же не пьёт.

— А вот в дым. Стоит, плачет. Я спрашиваю: чё ревьешь, а он... Составители «Кто есть кто?» позволили: оставим в книге, если заплатишь. — Как, вы же раньше не просили? — Раньше ты был персона, а теперь... Все платят, кроме знаменитостей... — А я теперь уже не знаменитость... Нет, заплачу, но могу ли я надеяться?.. — Обещаем — никто не узнает... но только как теперь написать? Ты теперь безработный... — Хохочут. — Хочешь — напишем: известный общественный и политический деятель? — Нет. Лучше просто... известный общественный деятель... Можно? — Пятсот долларов. — А где я возьму пятсот... стоит, ревьёт.

Я приехал домой, из дождя в тёплую городскую квартиру — жена говорит, что ей звонила Элина Васильевна, супруга Ивашкина. И что она тоже плачет.

— Я, говорит, его утешаю... ведь и так можно жить... ты же умный, руки-ноги на месте, а он как ребёнок: нет, нет! Теперь чем хуже, тем лучше!.. И как побирушка по дворам. А ведь для чистоты дворники есть, они за это деньги получают... А он как с ума сошёл. Я его дома почти не вижу. Срам какой!

Шли дни. Бедный Виталий Викторович, по слухам, и среди наступившей зимы продолжал бродить по городу, стирая тряпкой меловые надписи в подъездах, сдирая гнусные листовки, тем более, что их развелось великое множество: на середину декабря были назначены выборы в областное Законодательное собрание. В городе мела метель бесплатных газет, больших и маленьких... Работы у Ивашкина прибавилось, поэтому он не переставал возникать на экранах ТВ — грязный, в

кепке, жалкий, при оттянувшемся к животу галстук — жестикулируя и картавя, убеждал народ любить свой город, ценить экологию...

Ему в народе дали кличку «Чистильщик». И мало кто удивился, узнав, что он взял да зарегистрировался кандидатом в депутаты. Наверное, какие-нибудь юмористы убедили, а то и политики в свой список внесли. Вряд ли Ивашкин пройдёт, подумал я, он же говорить разучился, а тут вон какие вулканы в пиджаках бегают на митинги...

Но закон есть закон, и Виталия Викторовича стали теперь буквально каждый день показывать горожанам на синих экранах, его фотографии замелькали в газетах. Я подумал, что, наконец, он воспрянет духом, побреется и приоденется, но нет же, он по-прежнему предстал перед людьми убогим странником, всё в том же ужасном виде, с недельной щетиной, к слову сказать, как у спикера Совета Федерации, со сломанным зонтиком с торчащей спицей. И всё улицы мёл, и мусор собирал в урны...

И вы можете смеяться сколько угодно, но наступил день, — подсчитали голоса в Заводском районе, и выяснилось: Ивашкин Виталий Викторович избран депутатом от упомянутого района, обогнав на двенадцать процентов громогласного и огромного Никитенку, проработавшего в Законодательном собрании области два срока.

— За что, мля?! — клокотал в гостях у меня Коля Никитенко. — Я хоть магазин для бедных старушек открыл, а он нюни распустил, на жалость взял наш русский народишко. Нет, мля, погибла Россия!.. Мы потерянное поколение!..

Да, да, наш Ивашкин снова попал в начальники, он теперь депутат Законодательного собрания края. Что ж, я рад, рад...

Но, Господи, что же с ним было, думаю я порой, вот — недавно, что же с ним такое происходило?! Ведь и здоров, кажется, во всяком случае «Скорая помощь» его не подбирала, и деньги человек получал... Может быть, он всё же болел какой-то особой болезнью?

И я увидел его в прошлое воскресенье.

Виталий Викторович въехал на территорию нашего садового товарищества в серой, сверкающей, как вымытый жеребец, казённой «Волге» с номером, где сплошь ААА. Лицо у Ивашкина торжествующе-закаменелое, с каменной широкой улыбкой. Но это было лишь мгновение. Он тут же, опустив стекло дверцы, замигал, залучился уже как бы стеснительной улыбкой, увидев прежде знакомых соседей (и меня в том числе на углу):

— Зд-асьте... здра-сьте... — Всё так же мягко грассирует. — Как вы, господа?... всё хорошо?.. На нём вновь гладкий великолепный костюм из английской шерсти, бордовый новый галстук, он вновь ласков к людям и внимателен. — Говорят, свет на дачах гас? Разбе-ёмся.

Я стоял, как мешком ударенный, глядя на счастливого человека. А что же с ним было-то эти три или четыре месяца?

А было, видимо, вот что. Когда его уволил новый губернатор, он почувствовал себя совершенно голым. Он испытывал огромное, мучительное, невыносимое горе, оказавшись вне тёплых стен власти. Он готов был умереть со стыда, что

снова среди всех, как обычный муравей или коза, и над ним могут посмеяться, могут запросто ударить, обидеть. Он не знал, где спрятаться, в какую нору залезть... Люди жалеют пьяниц, но пить много — вредно... и он решил демонстративно унизиться... наслаждайтесь! Я собираю ваше дерьмо! Но, пряча лицо, в душе, конечно, лелеял надежду, что придут, поклонятся, прощения попросят, цветами забросают и под руки снова возведут на холм, устеленный красными коврами, где белые телефоны звонят, и секретарши златокудрые бегают, где свой, такой тёплый, такой важный мир...

И ведь колесо повернулось обратно!

И теперь Виктор Витальевич мог уже улыбаться людям и быть снова добрым и внимательным. Ему это ничего не стоило. Тем более что другие существа он, видимо, всё-таки любил.

Раскалённые облака тянутся вечером над муравейником нашим... Куда спешим? Чего обижаем, а порой и убиваем друг друга? Во имя чего? Во имя любви? Во имя лишнего рубля? Во имя эфемерной славы? Есть, есть, помимо нас, вечная, огромная жизнь в космосе, и нам не перебороть этой звёздной славы, мы — лишь малая часть, еле видимые в микроскоп, живые, глупые, редко — умные.

Но рождаются порой на земле особые люди, у этих людей — своё, особенное счастье, грандиознее любви и любой гениальности. Это — власть. Оно для них — вино высочайшей пробы. Радость божественного, как им кажется, отбора. И лишиться её — лишиться жизни.

Несгораемый дом

В нашем городе решили выпрямить и расширить улицу Лопатина — она соединяет бестолковый район железнодорожного вокзала с новым районом города, и уже давно здесь в часы пик выстраивается очередь разномастных машин — гудят, толкаются...

Здесь прежде царил деревянная окраина с названием Николаевка, на огородах за полусгнившими заплатами, да ещё кое-где с колючей проволокой, желтели подсолнухи и безгрешно разрасталась конопля, во дворах кричали и бегали петухи, сипло лаяли собаки. В пригороде время от времени вспыхивали пожары, ночами слышалась перестрелка, жил не сказать хулиганистый, но отчаянный народ. Да и в самом деле — ни город, ни деревня.

Со временем от Николаевки остался маленький дощатый базарчик с коричневым от крови пнём, старая церковь с новым, деревянным крестом да пара кривых улиц. И вот, на том самом месте, где остановились бульдозеры, чтобы освободить пространство для широкой асфальтовой полосы, на самом локте переуллка оказалась избушка одной старухи, Галины Михайловны Никоновой.

Галина Михайловна — грузная больная женщина, лечит ноги в тазу с муравьями, которых носит из недалёкого, за оврагом, бора. На старом жакете у неё криво пришили верхняя половинка медали «За труд» (сама латунная кругляшка давно слетела), на шее два крестика перепутались на цепочках, один — собственный, а другой — сына, который попал в тюрьму ещё при советской власти за разбой, крестик его был сорван и брошен

в кусты милиционером с соседней улочки, когда обритого Саню увозили.

Галина Михайловна всю жизнь говорит негромким, но гулким голосом дородной женщины, живёт бедно, питается картошкой и свёклой со своего огородика, пенсия у неё крохотная, нет и тысячи рублей, хотя в молодые годы она и на железной дороге шпалы таскала, и уборщицей в николаевской школе работала, пока та не стореда...

И приходит к ней молодой паренёк, завитой, как барашек, одеколоном пахнет.

— Баба Галя, — кричит с порога, — день твой счастливый грянул. Хочешь в новую квартиру?

Старуха оглядела его без очков, жмурясь, словно против света:

— Что-то я тебя не помню.

— Да наш я, наш! Но разве в этом дело?! В одном городе живём. Вот и о тебе решили позаботиться. Хочешь переехать в новую городскую квартиру?

— Нет, — ответила старуха.

— Ты, наверно, меня не поняла, — моргает рыжими ресницами парень. — Тебе в полную твою собственность новую квартиру дадут на улице Щорса, там многим дали с нашей Николаевки. — и, надо сказать, в эту минуту Галина Михайловна вспомнила, признала паренька — он возле рынка крутился, велосипеда воровал. Его ещё сын дупил. Видимо, потому и подослали такого — своего, авось легко договорится.

— Да всё я поняла, Толя. Иди своей дорогой.

У Толи глаза моргают, как две бабочки над сладким цветочком.

— Подожди, баба Галя! Ты тут в гнилой избе... а там отопление, свет, лифт. Антенну проведут общую, в грозу нечего бояться.

— Да не желаю я, — таков был ответ сумрачной большой старухи.

Сплюнул парень в раздражении с её крылечка и ушёл. И явился в тот же день мужчина, этот повыше ростом, одет получше, при галстукке, и волосы на пробор.

— Уважаемая Галина Михайловна, — громко начал он ещё с улицы, отворяя калитку, которая едва держится на проволочных восьмёрках, — Уважаемая госпожа Никонова. Позвольте войти к вам?

— Входите, — тихо отвечала старуха. Она стояла перед ним в валенках среди лета, кофта цвета горчицы на локтях продрана, на плечах обвисла старая шаль с выцветшими петухами и подсолнухами.

— Уважаемая Галина Михайловна. Я инженер, дорожный работник, вы сами когда-то на железной работали? А я вот — на каменной. Но тоже надо, Галина Михайловна! Здесь будет широкая улица, жить станет веселей, машины не будут собираться в кучу и душить своим дымом народ. Можно, конечно, пройти стороной с заворотом, но, согласитесь, это большая трата народных денег. Если же вы согласитесь переехать в новую квартиру, мы спрямим шоссе и сэкономим народные деньги.

Старуха молчала.

— Вы согласны?

— Я никуда отсюда не уеду, — ответила еле слышно Галина Михайловна. — Я сына дождусь.

— Я знаю, знаю, — закивал головой начальник. — Такое горе... Сколько ещё ему сидеть?

— Семь лет. Обещали раньше, да он гордый... ни за что, говорит, посадили, прошение писать не буду.

— Напрасно. Хотите, мы посодеествуем? — Инженер достал записную книжку и ручку, что-то черкнул. — Обратимся в надлежащие структуры...

— Обращайтесь, — без особой веры ответила хозяйка избы. — Но покуда он не вернётся, никуда я не съеду.

Через пару дней инженер вновь явился, лицо весёлое.

— Галина Михайловна, у нас маленькая радость для вас. Нам пообещали. Мы объяснили генералу, женщина, говорим, одинокая... страдает... просим срочно рассмотреть вопрос.

Старуха молчала.

— Так что давайте переезжать. — Инженер кивнул за окно. — У нас техника стоит. Люди стоят. Войдите в положение, Галина Михайловна!

— Вот сына дождусь, там, как он решит.

— Что значит, он решит?

— Может, и согласится. Дело молодое.

Инженер нахмурился, поправил бордовый галстук.

— Сколько ему сейчас лет?

— Тридцать три.

— Конечно, он согласится! — Важный гость нетерпеливо посмотрел на часы на своей руке. — Давайте прямо сейчас письмо ему напишем. И если он ответит «да», вы переедете. Хорошо?

Старуха молчала, ухватившись от слабости за узкую спинку обветшалого стула.

— Галина Михайловна, тут сыро... гул стоит от соседства с дорогой... электропроводка, вижу, старая. Не дай бог искра — и сторите...

Никонова, молча, смотрела на него.

— Так мы напишем ему?

— Напишите, — отвечала старуха.

И тот ушёл.

Наверное, приходивший человек очень где-то хлопотал, попросил своё ли, чужое ли начальство, но явился через три дня с ответом из колонии. Старуха надела очки в толстой роговой оправе, с одной дужкой, и внимательно прочитала письмо, написанное на бумаге в клеточку.

«Мама, — писал сын. — Конечно, переезжай, чего уж там. Только собери по углам все мои вещи. Поняла? Фотографию Татьяны найди, хоть ты её не любила. Обнимаю. Твой Саня».

Прочитав и перечитав ещё раз, Галина Михайловна отвернулась от гостя и долго стояла у окошечка с подоконником не выше её колен, с горшком расцветшей красной герани.

— Ну? — спросил участливо начальник.

— Нет, — ответила старуха. — Как он меня потом найдёт? Где я буду?

Инженер раздражённо сжал и разжал кулаки.

— Да мы можем прямо сейчас сказать ваш будущий адрес! И ему написать!

Старуха сложила письмо и вздохнула.

— Я должна посмотреть сама.

— Да ради бога!.. идёте, садитесь в машину! Вот же, «Чероки» стоит, бьёт копытом!

И дорожный начальник повёз хмуро молчащую старуху на другую окраину города, и привёз

под заводские трубы. Вот и улица Щорса, вполне хорошие бетонные дома. Даже тоненькие деревца у подъездов посажены.

— Это ваш дом, видите? Совсем новенький! Ну как? — спросил инженер, ослабив узел галстука. Ему было душно, ему было некогда.

— Я сюда не поеду, — ответила Галина Михайловна.

— Почему?

— Тут заводы всякие. У сына моего лёгкие больные... он с детства кашлял...

— Кашлял!.. А сам человека убил!.. — уже злясь, пробормотал инженер. — Здесь вполне чистый воздух! Люди же живут! Видите вон, идут, смеются! У вас будет двухкомнатная! Две комнаты с балконом... да ещё кухня!

— Нет, — отвечала Галина Михайловна. — Ответите меня домой, я дорогу не найду.

И начальник, резко газуя и тормозя на перекрёстках, отвёз упрямую старуху в её избу, а на следующий день вновь явился к ней.

Но явился уже не один — с ним приехал толстый, важный руководитель с масляными губами, чернобровый.

Он был в украинской расшитой рубашке в синий крестик, в распахнутом пиджаке, в штанах, висевших на помочах.

Он, топоча, как медведь, вошёл и расхохотался:

— Люблю я русский наш народ! Упрямый! Смелый! Галина Михайловна, меня зовут Николай Васильевич. Я сам из простого народа. Давайте честно — в какой район вы бы хотели переехать?

— На кладбище, — отвечала старуха, — вот как только сын вернётся.

— Да ну уж, на кладбище! — ещё пуще заржал начальник, оглядываясь и подмигивая инженеру.

— Кроме шуток. Хотите, в Октябрьский район, там возле леса новый дом сдают... куда уж лучше!

Хозяйка избы медленно покачала головой.

— Что?! — удивился, даже попятился толстяк.

— Не поеду. Сон видела — сын говорит: дождись на старом месте.

— Что значит сон? Вы же письмо читали? Читали.

— А может, это и не он написал.

— Как же не он? — Толстяк начал сердиться. — Что это вы такое говорите? Почерк видели? Там и про фотографию Татьяны...

Старуха пристально на него посмотрела.

— А ты, что ли, тоже читал? Откуда знаешь?

Начальник смутился, утёр лицо просторным платочком.

— Вы уж извините, в тюрьме без конвертов... мы уж сами в конверт вложили... ну, глянули. Чтобы только узнать, согласен ли он.

— Вот он мне и говорит — не съезжай.

Толстяк скрипнул зубами. Но улыбнулся.

— Так это во сне! А в письме-то...

— Какая разница, — тихо отвечала старуха, хватаясь жилистой рукой за косяк двери. — Вы уж извините меня, никуда я не поеду. Тут мой огород... смородина... картошка...

— Да мы дадим вам огород... за городом... на хорошей земле!

— Нет, милый человек. Тут всё моё.

Начальник побледнел от злости.

— Слушайте, гражданка Никанорова... то есть, Никонова! Вы понимаете, что ваше упрямство обойдётся Облдорстрою в семь миллионов рублей?! — И, не дождавшись ответа, он продолжал. — Ну, что, что вы хотите? Сына мы освободить сами не можем... обращались к начальству, но они говорят, что он ведёт себя там вызывающе, прошение о помиловании на имя президента отказался подписать... и выйдет ещё не скоро. Что же, нам тут так и держать технику, людей, лишив половину города удобной развязки?

Старуха угнетённо молчала, глядя вниз. Начальник сопел, не находя больше слов, за его спиной ходил в сенях, треща пальцами, инженер.

— Ну, ладно, — буркнул начальник. — Сколько вы хотите?

— Чё? — спросила старуха.

— Денег. Мы вам заплатим полмиллиона... это стоимость трёхкомнатной квартиры... Сами выберете, где захотите... И участок вам выделим за городом.

— Я уже сказала, никуда отсюда не поеду. Моё последнее слово. — И старуха Никонова закрыла дверь перед носом начальника строительства дороги.

— Она сумасшедшая... — только и услышала через дверь.

— Н-да. — гости вышли на крыльцо. — Но вы знаете, Николай Васильевич, тут что-то не то. Сын её был большой разбойник. И письмо странное. «Собери мои вещи по углам». И добавляет: «Ты меня поняла?» Может, он какой-нибудь клад закопал... чего она за эту избу держится?

— Брось. Какие нынче клады.

— Ну, мало ли... золотишко... Я Толю попрошу, он местный, по-свойски поговорит... стены вместе обстучают...

— Перестань.

Но мысль о кладе, видимо, запала в голову инженеру в галстуке.

Однажды Галина Михайловна, придя из церкви, где ставила свечку во здравие и благополучное возвращение сына своего, обнаружила, что в доме кто-то побывал.

Она, наклонясь, обошла избу — вот, половицу в углу фомкой или топором поднимали... сор земляной не смели... Вот, комод её ветхий не так закрыт — дверца сползает вместе с медными петлями, и надо её приподнять, чтобы встала на место. Вот, и за настенным зеркалом письма потревожены — ближним выглядывало письмо от покойного брата, с портретом Гагарина на конверте...

Что-то искали.

Усмехнулась старуха, огорчилась старуха, голова у неё сильно заболела, и левая рука будто отниматься собралась. И пошла Галина Михайловна, еле волоча ноги, в поликлинику. Но там длинная очередь к невропатологу... да и плакать, говорят, надо.

Вернулась она в сумрачную свою избу с занавесками и легла на кровать одетая, чего себе редко позволяла.

Миновали сутки.

Утром в дверь постучали. Вошли двое мужчин в белых халатах.

— Галина Михайловна... вы нездоровы?

— Да маленько, — не подумав о подвохе, простонала старуха. — Голова кружится.

— Давайте мы вас в больницу отвезём.

— У меня денег нету... — отвечала она.

— А мы бесплатно. Вы же пенсионерка... — И на длинные носилки её, и в машину с красным крестом.

И оказалась она в больнице, где рядом кто-то хохочет-заливается, а кто-то усердно молится на водопроводную трубу с утра до ночи со словами: «Вода живительная, тебе поклоны бьём!..»

Наконец, дошло до старухи, куда её привезли, и поднялась она, идёт-шатается.

— Мне к доктору.

— Он сам к вам придёт, — отвечают санитары и, больно ухватив за локотки её, кладут назад на кровать.

И старуха закричала:

— Изверги! Отпустите меня домой! Отпустите!..

Явился пухлый врач в белом халате, что-то жуёт, на лбу очки.

— Тихо-тихо-тихо. Отпустим мы вас, отпустим. Голова уже не болит?

— Нет. Только жужжит что-то.

— Вот ещё укольчик сделаем... и завтра отпустим.

— Нет, отпустите сегодня.

Врач вздохнул и, ласково улыбаясь, спросил:

— А куда отпустить? Вы куда хотите отсюда пойти?

— К себе домой.

— Ах, Галина Михайловна! Придётся сказать правду... будьте мужественны. Ваш дом сгорел... у вас была старая проводка...

Старуха стала метаться, рычать, кусать зубами хваткие руки санитаров, которые её мигом какими-то ремнями обвязали...

И когда она очнулась, было утро следующего дня.

Перед ней стоял с сокрушённым видом молодой начальник строителей, с прилизанными волосами и при бордовом галстуке.

— Галина Михайловна... не подумайте на нас... правда же, изба сгорела сама по себе. Поедем на улицу Щорса.

— Чтоб тебя на том свете на примус посадили, — только и сказала старуха. — Вези меня туда, где я жила.

— Зачем? — Но, переглянувшись с врачом, инженер подумал, видимо, — хочет проститься со своей землёй.

Когда машина подкатила к улочке, где до недавней поры стояла изба старухи и сына, там уже стрекотал бульдозер, окутываясь сизым дымом, пыжась и толкая ножом гравий и засыпая те шесть или семь метров, где ещё валялись чёрные угольки — всё, что осталось от человеческого жилья.

— Выпустите, — хрипло простонала старуха.

Ей открыли дверцу, помогли выйти из машины. Она медленно двинулась туда, где прожила жизнь... бульдозер остановился... Вот одно бревёшко в створе сохранилось, не убрали... чёрное, с ракушками, словно всё из чёрных цветов...

Галина Михайловна опустила возле него на колени и легла набок.

— Верните мне мою избу. Я никуда отсюда не поеду.

— Перестаньте хулиганить, гражданка Никонова! — завизжал, возникнув над нею, низенький руководитель Облдорстроя в расшитой украинской рубахе. — У кого сотовый?! Надо милицию вызвать.

Приехал на чёрном воронке наряд милиции, во главе группы — лейтенант Володя с соседней улицы, тот самый, что арестовывал сына.

— Володенька... — запричитала старуха. — Ну, скажи им... они чужие!.. я тут хочу Саню дождаться.

Володя хмуро постоял, глядя на неё и на дорожников, и отказался старуху забирать в отделение.

— Мы проведём расследование... — только и сказал Володя толстяку. — Если ваши подожгли, смотрите, Николай Васильевич!

— Пошёл на х..! — заорал на него начальник. — Хочешь своих копеечных звёзд лишиться?!

Старая женщина лежала на куче гравия, закрыв глаза. Журналисты сбежались. И депутаты всякие.

— Господа! Что происходит в нашем государстве?! У человека отнимают дом, родину, землю, которую он потом поливал!

— Да, да, товарищи! Вот до чего довёл людей антинародный режим!

— Эй, вы, молчите! Кто до шестьдесят первого года нас за холопов держал!..

— Нужно немедленно обратиться в Гаагский суд!.. Или в Страсбург!..

И вдруг все замолчали. Галина Михайловна услышала — подошёл кто-то явно уважаемый, может быть, мэр, а может быть, даже губерна-тор области.

— Друзья... земляки... — негромкий голос человека дрогнул. — Что мы творим? Нельзя, нельзя. Тут из каких газет? Есть тут кто с телестудии? Я хочу сделать краткое заявление. Земляки. Нельзя силой принуждать человека... надо уважать его... Сколько можно?! Мы для этой несчастной женщины, ждущей сына, для труженицы с медалью, здесь, на старом месте, согласны построить избу, какая была... даже чуть пошире и светлее... и огород оставим за ней...

Галина Михайловна не верила своим ушам и глаза боялась открыть. «Наверное, я брежу... — думала она. — Может быть, уже померла, не дождавшись Саню.»

Но нет, ей помогли подняться. С ней фотографировались какие-то политики, мигали вспышки. Её повёз к себе домой, это на соседней, тоже пока деревянной улице, милиционер Володя. Пока строя ей новую избу, она поживёт у него в гостях.

Вечером по телевидению повторили речь большого начальника области, а потом толстяк из Облдорстроя, заикаясь и улыбаясь, объявил, что сам хотел предложить такое, что он сегодня дал приказ своим подчинённым обойти по кривой место, где стояла изба старухи, задев её огород ну разве что на метр... Наверное, уж Галина Михайловна Никонова простит его за такое самоуправство. Что происходит в мире? Откуда такая благодать? Кто объяснит старой женщине, ждущей сына, как счастья, перед тем как умереть? То ли очередные выборы на дворе, то ли, правда, большой

начальник пожалел её (а почему? может, своей не жалел), а может быть, просто потому что есть Бог на свете и порою, пусть не часто, пусть даже редко, но вмешивается в наши недобрые побуждения, и мы к своей собственной радости вдруг видим: а право же, если не обидеть человека, как потом-то сладостно на сердце!..

Скоро сказка сказывается, да не скоро кончается. Жизнь вносит коррективы, и не всегда корректные. Распахнулась со скрипом новая дверь новой избы — сын вернулся. Да не один — с угрюмым дружкой вернулся, все кулаки у того в синих и красных наколках. А сын хохочет.

— Ты спятила, мать! От городской хазы откалалась?!

— Так я тебя тут ждала... — у матери не было сил подняться. Она сидела на койке, опустив ноги в шерстяных носках на жёлтый, недавно покрашенный пол, и глазам не верила. — Тебя отпустили?

— Отпустили, отпустили! — веселился сын. Подошёл, обнял, в окно посмотрел. — Какая х...ня! Проси городскую.

— Теперь уж не дадут... — Мать измученно улынулась. — Тут такое было.

— Да видел я по телуку. Танька не заглядывала?

— Н-нет. Я уж её позабыла.

— Могла бы и навестить, красотка-чесотка.

Говорит, ждёт, верна.

Мать промолчала.

— Ну, ладно. Где этот начальник сидит?

— Не помню я. Ну, рабочие-то знают. Дорстрой, что ли.

— Ясно, как под лупой! — снова заржал сынок и, подмигнув товарищу, первым выбежал вон.

Старуха перекрестилась и снова легла. Вот и вернулся сынок, слава тебе Господи. Видать, амнистия.

Тем временем Саня и его приятель по кличке Шуруп стояли уже перед толстым чернобровым начальником Облдорстроя в украинской расшитой сорочке и по очереди подмигивали ему.

— А ты постарайся, Николаша, — хмыкал Саня. — Ты ж обещал... слово надо держать...

— Так она ж отказалась, — потея, бормотал Николай Васильевич.

— Она говорила: дождусь сына на старом месте. Я вернулся. Вот я. Давай теперь хату с балконом.

— С двумя, — угрюмо проскрежетал из-за спины друга Шуруп. — Шас такие делают.

— Но позвольте, братцы, — заволновался начальник, робко протягивая руку к телефону и отдёргивая. — Мы ж потратились... дом ей заново из листвяка...

Саня шагнул вперёд и схватил начальника Облдорстроя за грудки — только белые пуговицы брызнули.

— Я тебе что сказал?! А эту... забирай себе... можешь баню сделать. Дарю!

— Но у меня... сейчас... нету средств... мы ведём кольцевую... — пытался шептать чернобровый Николай Васильевич, не понимая, почему он не завопит, не вызовет секретаршу, а через неё — милицию.

— Ишь ты!.. — проскрипел мрачный Шуруп и, обойдя друга, приблизившись к начальнику, вдруг воткнул ему в бок остро наточенную отвёртку.

— Зря... — только и сказал Саня. — Рвём когти!..

Но было поздно, в кабинет уже вбежали милиционеры. И среди них Вова, друг детства.

— Вован!.. — завопил, как пьяный, Саня, раскидывая руки, пытаясь обнять земляка, а вернее — спрятаться за ним, за его телом, но тот саданул ему ручкой пистолета по лбу, и Саня свалился. На синих кистях Шурупа уже сверкали браслеты.

Прошло недели две. Бандитов снова отвезли в тюрьму.

Начальник дорожных строителей не умер, его спасли от заражения крови.

И однажды утром он пришёл в новую избу к гражданке Никоновой.

Старуха стояла на коленях перед иконой и плакала.

— Галина Михайловна... можно к вам?

Она обернулась и ничего не сказала. Только руками замахала... гость понял, что она пытается встать. Он подскочил, помог ей подняться и сел на койку.

— Простите нас, — тихо и гулко, как из какой ямы, сказала старуха.

— Да что уж теперь... вот, живой.

Он молча оглядел её свежеструганное жильё, устало улыбнулся.

— Ну, что, Галина Михайловна? Может, правда, вам перебраться... нашли мы один вариант... А тут стоянку соорудим. Согласны? Мы и переехать поможем.

Она тускло смотрела на него, а может быть, и мимо него. Седые жиденькие волосы свиты в девичью косу. Рубашка белая, словно в церковь или помирать собралась.

И наконец, старуха покачала головой.

— Спасибо... нет... — прошептала она. — Теперь уж я никуда. Буду сына ждать.

Начальник изумлённо уставился на неё.

— Галина Михайловна... так он же и просил... он же вернётся. Нет, я не боюсь, что опять убивать придёт... ведь мы тогда его и вытащили... письмо писали начальнику ГУИН... мол, вот, старая мать ждёт не дожждётся...

— Нет уж... — повторила старуха. — Буду ждать на месте. Где он меня потом найдёт?

Начальник махнул рукой, вышел из сеней и сплунул.

— Погибнет Россия... — бормотал он, садясь в «Волгу». — Сами не знаем, чего нам надо. А чего мне-то надо, старому дурню?

Николай Васильевич попросил шофёра остановиться у супермаркета, сам зашёл и купил литровую бутылку водки «Парламент» и, позвонив по сотовому главному инженеру, сказавшись больным, поехал на дачу, где у него подсолнухи, пчёлы, благодать...

Все мы из деревни.

Сибирский размах

После работы Николай не стал заходить домой — сразу пошёл на главную улицу города. Часы показывали семь вечера, а солнце по-прежнему висело над головой. Лето за полярным кругом светлое, но ледяное. Правда, и здесь, на площади, на склоне искусственного холма в горшках цвели жёлто-фиолетовые цветы, обозначив цифры: 20 мая.

Завтра — день его рождения. Неля — в больнице, врачи просили не приходить, не беспокоить. Но жена вчера умоляла: купи что-нибудь себе, иначе грех. Вот и зашёл Николай в универмаг.

Давно он не бывал здесь. И даже не сразу признал старый привычный магазин в два этажа, с унылыми выщербленными ступенями. Цум теперь был весь как будто облит золотым тёмным стеклом, внутри его и товары, и люди казались красивыми, какими-то не нашими. Да товары и в самом деле были наверняка все иностранные — в ярких пакетах, узелочках из прозрачной бумаги или в коробочках с прозрачными окошечками. Раньше в кино показывали про заграничную жизнь — так вот, теперь и здесь, в северном городе, стало похоже на далёкую жизнь «проклятых буржуев».

«Что же купить?..» — прикидывал про себя Николай, обходя под тихую прелестную музыку прилавки. Лишь бы продавицы, красотки в синем, с тонкими руками и нерусским выражением на тонких лицах (и откуда такие взялись за 69 параллелью?) не обсмеяли. Надо было зайти домой, переодеться. Не то чтобы Николай Пырьев робок, как раз нет. Северянин не может быть робким. Но в дни, когда больна жена, когда в третий уж раз не получилось у них иметь ребёнка, он как-то ослаб, хоть и, видит Бог, почти не пил в отсутствии Нели. Ослаб, обижался на всё и вся... Не успел подбежать утром на автобус — расстроился до слёз. Позавчера на шахте обещанного аванса не дали — аж в глазах почернело, хотя зачем он сейчас, аванс? Неля пролежит в больнице ещё с неделю, только целее будут деньги. Если, конечно, первого июня зарплату за март и апрель точно выдадут, не обманут... Могут и обмануть...

Николай стоял перед отделом рубашек и нарочито сурово смотрел перед собой, чтобы не вздумали оскорбить. «Что ли, взять? Наверно, хватит?..»

— Сколько стоит? — Николай небрежно показал на серенькую сорочку с чёрным воротником.

— Сто пятьдесят, — был вежливый ответ.

«Тысяч?.. — сохраняя каменное лицо, уже про себя удивился Николай. — Ни хрена себе.»

— А она что?.. из чего?

— Х/б.

— Х/б? — переспросил Николай. И натужно засмеялся. — Б/у знаю. КПСС помню. А!.. хлопчатобумажная... — Он иногда пытался острить. Отошёл, достал старый портмоне, пересчитал денежки. На рубашку-то хватало, а вот как до зарплаты дотянет? И Нелечке надо яблок, соков... может, и особых лекарств — медсестра намекала...

А если первого опять надуют рабочих? С другой стороны, она просила. Горячей ручкой ухватила руку Николая, говорит: грех. Если бы сама была здорова, непременно купила бы. Тут уж суеверие какое-то. Николай стоял минут тридцать, сомневаясь... Его толкали, он всем мешал. Наконец, сунул кошель в карман: «Нет, деньги ещё пригодятся... обойдусь...»

Махнув кулаком, побрёл домой. В полуторакмнатной квартирке Пырьевых на первом этаже застоялась жара, дурно пахло из коридора, из подвала. Николай отворил обе форточки — они выхледили прямо на улицу — и через минуту зелёный

серный дым вполз внутрь жилья. Это работает комбинат, а ветра сегодня нет. «Как же быть? — подумал Николай всё ещё про не купленный себе подарок. — Обману, скажу — купил. А потом... что-нибудь придумаю».

Но обида стянула его сердце, как суровой ниткой обматывают и стягивают охотники копчёное мясо... Закурил, лёг на пол, на коврик — отсюда временами видно синее небо... Эх, взять бы жену да на юг. Была у Николая машина «Жигули»-«четвёрка», мечта любого северянина, купил на «материке», когда был в отпуску, оставил у матери в гараже до лучших времён — украли на следующий же день, как улетел. Железную дверь гаража (сам её варил и ставил) выломали, как фанерку. И хоть посёлок небольшой, считай деревня, — не нашли... Николай с Нелей начали собирать деньги на покупку дома в тёплых краях, поближе к югу, где-нибудь возле Минусинска... мать бы тоже из Лесного (это недалеко от Ярцева) туда забрали — да вот надо же, реформы... все деньги в сберкассе обратились в копейки.

Николай никогда не был жадным. Просили в долг — давал. И ему давали — знали, что отдаст. Это для него свято. Но ему не всегда возвращали... Есть мужики, с которыми Николай вот уж лет двенадцать в одной шахте колуается, тот полсотни должен... этот — червонец... Да какие это нынче деньги? Смешно. Но ведь когда-то они много значили! Государство обмануло — пёс с ним. Но когда обманывает родня!.. Василий Васильич, брат Нели, как говорится, шурин, занял в восемьдесят девятом или девяностом году полторы тысячи... это сколько же могло быть сегодня? Миллиона два... даже больше... Как бы сейчас эти деньги пригодились. И ладно бы Василий этой весной хоть о сестре вспомнил, спросил, как она, что-то принёс. Толстая у него кожа, и как будто всё время в масле.

Николай обиделся, вскочил, надел клетчатый пиджак и поехал в гости к дорогому шурину. Старый облупленный автобус номер 1 будто поджидал Николая возле гастронома.

Василий Васильевич жил в Кимеркане, в посёлке шахтёров, в трёх километрах от города. Дома там длинные, неказистые, как бараки, но зато квартира у шурина — в четыре комнаты, летом прохладная, зимой тёплая, с непрестанно идущей горячей водой (а у Николая — перебои, текут трубы).

Василий открыл дверь с радостным лицом и тут же увял:

— А, ты. — он раздобыл ещё больше, пузо лезло из тренировочных штанов с красными лампасами. — Извини, — пасмурно буркнул Николай. — Надо бы поговорить.

— Понятно. — это его вечное «понятно». Василий обернулся к своей жене, тоже толстой, с застывшей — чтобы не морщить лицо — улыбкой. — Мы минут на десять закроемся. Идём, Колян.

Мужчины прошли в маленькую комнатку, где на полу валялись детские игрушки, стояли доска для глажки и пылесос.

— Садись, — кивнул Василий. — Выпьешь?

И Николай вдруг кивнул: «Легче будет говорить...»

— Понятно, — Василий принёс полбутылки водки и хлеба с луком, налил в два стакана и чокнулся. — Слышал, Нелка в больнице... я звонил — говорят, ещё неделя.

«Всё-таки интересуется, узнавал...», — растрогался Николай и вылил в себя горькую мерзкую жидкость. — Значит, должен понять, что нам сейчас деньги очень будут нужны».

Василий пить не стал, только пригубил.

— У меня печень, — объяснил он. — Я выпью, но не сразу. Но ради встречи выпью. — И замолчал.

Как же начать?.. Николаю вдруг стало стыдно. Наверное, если были бы деньги, Василий вернул бы без напоминания. Но у него дети, две девочки растут... Если смотреть со стороны, Николаю куда легче — они с Нелкой бездетные... Но, с другой стороны, Василий, говорят, уже купил на далёкой русской реке Клязьме дом... здесь нынче приобрёл «Таврию», на шахту ездит — он бригадир в другой смене... Значит, деньги есть... а вернее — были... правильно делает — вкладывает в недвижимость... и сейчас Николай рубля от него не получит. Встать бы, уйти? Шурин изобразит страшную обиду. Придётся всё же напомнить.

Два родственника долго молчали.

Глядя на Василия, жующего с хрустом лук, Николай отчего-то задумался вовсе о стороннем... на него иной раз находила такая блажь... Вот сидит брат Нели, человек очень, очень на неё похожий... и Николай, вспоминая, как он целовал Нелю, сейчас подумал: «А ведь я как бы целовал и Василия... эти немного кривые губы... и до чего же это мне сейчас неприятно!». Никакой братской или даже дружеской близости между ними никогда не было. Василий внешне простодушен, как все толстяки, но zelo хитёр... Ещё слова не скажешь, а он мысли твои отгадал. Вот и сейчас, подождал, поёрзал толстой задницей на стуле и сам заговорил:

— Тяжело стало жить, брат, — и этак доверительно моргнул. И показал головой на дверь. — У неё аллергия. Ты думаешь, здоровый румянец? Это кожа воспалена. Старшей дочке делали пробу манту — красная. Младшая, Танька... почками страдает, а ведь ещё одиннадцати нет. А я помню, помню... должен тебе. Я отдам. Полторы, да?

И обида ещё глубже сотрясла Николая.

— Ну, какие сейчас полторы?.. — пробормотал он. — В тысячи раз поднялись цены... Ну, это я так, — Николай смутился сам от своих слов. — Но уж никак не полторы, согласись.

Василий сидел, округлив глаза.

— Но я брал-то — полторы. Как сейчас помню, отложил тебе... на книжке на предьявителя лежали... а тут бах — не выдают... а потом, пожалуйста, — когда уже превратились в труху. А и отдал бы тебе — вместе с другими твоими превратились бы в труху. Ты же

свои-то не спас. А у тебе куда больше было.

— Дело не в этом, — растерянно забыл Николай. — Дело не в том, сколько я потерял по своей глупости... Я тебе дал полторы... тогда это были деньги... по нынешним ценам ты уж верни, шурин. Быть не может, чтобы ты их не использовал.

— Я использовал?! — засопел, обиделся Василий. — Это нас Гайдар использовал! Я тебе даже

могу сейчас эту сберкнижку принести... там как раз полторы... где-то лежит. А почему не успел отдать?.. Вы тогда с Нелкой к матери в Ярцево уплыли... я тебе и не отдал. Мог прямо книжкой отдать, она ж на предьявителя. Тут не я — тут ты сам виноват... а главное, конечно, этот Аркадий... или как его, Гайдар. — Умел, умел говорить Василий, и под напором его слов Николай вовсе замолчал. Он только, морщась, прикидывал цены... Если раньше хлеб стоил двадцать копеек, то сейчас, допустим, две тысячи... Стало быть, цены не в тысячу раз взлетели — в десятки тысяч... И Василий должен ему не полтора миллиона, а пятнадцать. Но эти соображения Николай высказать не решился, да и не успел.

Отворилась дверь, вошла — словно тесто влилось — розовая в розовом, пышная жена Василия. Она держала в одной руке раскрашенный цветами поднос, на подносе — сияющее морозное сало из погреба (тут же вечная мерзлота), красные помидоры, а в другой — кувшин с квасом.

— Чем ты его угощаешь? Не стыдно? Как Неля, Коля, скоро?

И Николаю стало совсем неловко. Стыдно. Он поднялся.

— Пойду я... — буркнул он. И посмотрел на Василия. — Ну, извини.

Но Василий просто так его не мог отпустить. Он умел добивать.

— Откуда у меня миллионы?! — Василий поясил жене. — Просит миллионы за ту тысячу.

— Миллионы?.. — Жена Василия как бы покачнулась и села на пуфик. — Батюшки! Придётся всё продавать... — И она оглядела квартиру. — Сколько миллионов?

— Понимаете... — вынужден был как-то объясниться Николай. — Я бы не напомнил... но опять авансу не дали... и мартовскую зарплату только сейчас обещают...

— А мне? — подал голос Василий. — Я что, в Москве живу? Николай хотел напомнить, что Василий, как бригадир, с его горлом и кулаками получает в месяц всё-таки около двух с половиной миллионов, в два раза больше, нежели Николай. Уж мог бы и отложить, и поделиться... Но Николай только смог выдать:

— Нам сейчас тяжело...

— Понятно. Им тяжело, — поддакнул шурином невинным видом, но прозвучало это как самая ядовитая фраза. Дескать, мало ли, что Василию тяжело, всем другим на шахте тяжело, а вот Николаю особенно тяжело.

— Ладно, — вдруг озлился Николай. Он редко злился. — С тобой говорить... — он покосился на женщину, поменял предполагавшиеся слова, — всё равно, что против ветра из газового пистолета... — И пошёл к выходу.

— Да постой ты!.. — Жена Василия шустро догнала его, не смотря на свою внушительную комплекцию. — Возьми, жене помидор передашь?.. вот, брала дочери больной...

— Нет. — Николай обул ботинки, оставленные на коврик, кивнул и взялся за ручку двери.

— Ну, хочешь предметами отдадим? У нас пылесос новый... часы золотые, подарок со

службы. — Она говорила все эти слова, прекрасно зная, что Николай ни за что не возьмёт.

Николай хлопнул стальной дверью и выбежал на улицу. Лиственницы распустили нежные свои метёлки. Невесть откуда взявшая пчела опустилась на левое плечо Николая, что-то пропела и понёслась дальше.

«А я сам?.. — вдруг подумал Николай. — Я сам никому не должён?.. — Он шёл пешком в город, всё быстрее и быстрее. — По мелочи тоже кое-кому остался должен. Мы все друг другу должны. И государству. Потому что жили в долг. Разве не бахвалились, сколько кто получает, даже если смена простояла полдня? Бригадир свой парень, напишет... А эти бесплатные санатории? Государство, чтобы мы не хрюкали, спаивало нас и кормило за наши небольшие труды... А сейчас забрало деньги обратно.»

И Николаю стало всё ясно. Холодно и ясно.

«Так что же теперь в России-матушке, всё с нуля?.. Выходит, так. Но недра-то, по слухам, уже пусты... угля осталось на пять-шесть лет... Куда город денут? Говорят, нефть ищут... а если её нету? Куда народу идти? Опять же о нас теперь никто и думать не будет, кончилась сказка... должны сами, своим ходом... «самогоном», как говорят охотники на юге края?»

И пришёл Николай домой, и упал, дожидаясь полуночи. И приснилось ему — идёт по тундре с севера на юг колонна... нет, по всему миру движется толпа в сто миллионов русских... в руках — ружья, дубины... И где-то здесь Горбачёв, Ельцин... Николай и

Василий.

Проснулся — от грохота в дверь. Неужто с Нелей плохо? Послала сказать?..

— Кто?! — подбежал, отворил.

— Кто-кто?.. Х.. в пальто!.. — Это был Василий. Весёлый, румяный, в костюме, как шкаф, при галстукке. Неужто совесть проняла, долг принёс? Когда человек решается на доброе дело, у нас поднимается настроение. — Да-да. Собрал копейку, решил вернуть.

И заодно отметить возврат старого долга с сибирским размахом. Не веришь?

— Да ладно... — смущённо замигал Николай. Всё-таки шурин у него хороший человек. Но — и верил, и не верил.

— Вот, — Василий вынул из внутреннего кармана пиджака опоясанную крест-накрест пачку. — «Лимон». Была у меня заначка... Ладно, что нового Гайдара не нашлось на неё в этом году... Но вручу в кабаке, торжественно... после того, как выпьем, чтобы ты на меня не сердился...

...В ресторане «Золотые рога» им достался столик под помостом эстрады, ревела музыка, возле самых голов Николая и Василия переминались голые ножки певички у микрофона.

— Дор-рё-гой длинную... — «Они что, певички нынче все иностранные теперь?..» — только и успел подумать Николай, как Василий заставил его выпить целый фужер коричневого коньяку (и сам выпил!), и в голове зазвенело, завертелось... Николай вспомнил, что сегодня не завтракал, не обедал... Но ему стало хорошо, на всё наплевать... И долг принесли, и музыка вокруг... и все

радостно смеются... Не так уж и плохо в стране. Жить можно.

Дальше он помнит плохо. Пили. Кажется, с какими-то тётками танцевали. Что-то кричал. Николай, когда шибко пьян, кричит, как в детстве, подражая то петуху, то жеребцу... Потом его, вроде бы, вырвало... но это было уже в туалете, среди белого кафеля...

Очнулся дома, один. Видно, Василий приволок ослабевшего родственника до кровати и уехал. Николай поймал левую руку правой и глянул на часы: шесть. Утро или вечер? На улице в небе сияло бессмертное северное солнце. Но народу нет. Утро. Да и не мог проспать Николай до следующего вечера.

Еле поднялся, умылся. Поискал по карманам деньги — Василий вроде приносил долг. Но денег не было нигде — ни в пиджаке, ни на столе, ни в столе. Поехал на работу. Во всём теле стучало, словно к рукам и ногам были примотаны будильники. Надо бы хоть пива выпить. Но если он опохмелится, то свалится. Перетерпеть.

Работать было тяжко, руки не держали перфоратора, словно это был не аппарат труда, а баран, увидевший нож. Впрочем, парни в бригаде понимающе кивали, им уже было известно, что вчера Николай с шуриным погужевали в ресторане.

— По сколько дёрнули-то? — спросил кто-то.

Николай не помнил.

Когда поднялся на поверхность, ничего не видя перед собой, услышал зычный хохочущий окрик:

— Живой?! — к нему подходил, широко осклабившись, Василий. Видно, специально подкатил за Николаем на «гаврии». Всё-таки заботится. Хорошо, когда есть родные люди. Наверное, сейчас и деньги отдаст.

— Чё молчишь?

Николай мокрый от пота, запалённо дыша, смотрел на шурина. Пробовал улыбнуться, но не получилось.

— Здорово мы!.. Цыган помнишь?

«Каких цыган?!» Николай помотал головой. Он никаких цыган не помнил.

— Ну, садись, садись!.. — Василий отворил дверку машины, подождал, пока Николай, постанывая, не залезет внутрь. — Забыл, как тебе пели: «Коля, Коля, Коля... Коля, пей до дна?»

Что-то вроде вспоминалось. Василий уселся за руль и, газуя, завопил:

— Н-но, милая!.. А ты ещё им деньги бросал в подол!..

— Да?.. — Николай потёр небритое серое лицо. Машина рванула вперёд. «Ёлки зелёные. Но миллион-то мы не тронули? А если и тронули, что-то же осталось?»

Василий глянул на него через зеркальце и, как бы понимая, о чём хочет спросить Николай, повернулся к нему и жарко прошептал в самое ухо:

— Всё спустили... это кроме моих трёхсот... Ты кричишь: давай и на мои!.. Ну, считай полтора «лимона» убухали!

«Вот это да! — словно молотом стукнуло Николая по голове. — Вот это да!»

Теперь дружки-шахтёры, увидев Николая, будут говорить: «Полтора миллиона спустили... Есть что вспомнить!» А вспомнить-то ничего не

получалось. «А не врёт ли Василий? — не глядя на шурина, стыдясь сам перед собой, подумал Николай. — Он-то как огурчик. Может, на сотню-полторы быстро спойл и оттащил домой? А теперь не узнать... Ну, и чёрт с ним. Всё равно бы не отдал. Сделаю вид, что поверил.

И парни пусть думают, что так мы погуляли. Пусть удивляются. Опять же, если так, совесть Васю будет меньше мучить. И мне как-то меньше стыдно, нежели правду знать...»

Когда подкатили к дому Николая, Василий вынул из бардачка две толстенные бутылки иностранного пива и подал.

— Иди, выпей и ложись. И мы с тобой завязали, хорэ? Я, конечно, со временем могу часть отдать... Твоих денег больше получилось... ну, завелись мужики... сибирский размах...

— Да ладно уж... — пробормотал Николай, обхватив горлышки для верности, как ручки гранат.

Дома сбросил с ног ботинки, бережно откупорил благословенные сосуды, лёг на неразобранную кровать и медленно, глядя на синее небо, из горлышка выпил. Сначала одну бутылку, потом другую. Какое же это крепкое, горькое, прекрасное пиво! Блаженство стремительно, выстрелом, пронеслось по жилистому худому телу Николая, и он уснул...

Очнулся — часы показывали половину четвёртого. Как всегда, первая страшная мысль: день или ночь? Бессмертное северное солнце висит в небе, но улица пуста. Ночь.

Не мог, не мог Николай проспать до следующего вечера. А если и проспал до вечера — сёгодня, кажется, суббота. Должна быть непременно суббота. А если вдруг и пятница, парни отметят, просят. Только надо будет их потом как-нибудь угостить.

Стены слепили. Задёрнуть гардины не было сил. В незакрытую форточку лился и лился сероводородный дух от работающего медеплавильного завода. Дышать нечем. Спичкой чиркнуть — не взорвётся?

С трудом достал из брючного кармана спички, чиркнул — не взорвалось. Прикурил, лёжа, и подумал: как жить? Как жить?

Включил телевизор. Оказывается, теперь и заполночь показывает. Выступали политики. Один, толстомордый, щерясь, говорил:

— Мы вернём деньги, которые потеряли русские люди, поверив всяким коммерческим структурам типа ммм... Голосуйте за нас!

— А если я в карты проиграл — тоже вернёте? — спросил другой политик, тонкий, как жердь. И засмеялся.

— Ну, нельзя же путать божий дар с яичницей!

— А какая разница? И тут людям захотелось дёшево заработать... Давайте всем картёжные проигрыши вернём... и кто в казино продулся... Это же тоже народ!

— Надо будет — всё вернём! — чуть побагровев, отвечал толстяк. — Главное — голосуйте за нас.

— Во блин!.. — восхищённо прошептал Николай. — Вот это мужики.

Уснул и снова проснулся. Было шесть. Почему-то вспомнил про мать... Ах, давно не заглядывал в

почтовый ящик. Нет ли от неё весточки... Надел тапки, выглянул за дверь — в дырочках жестяного ящичка что-то белело. Отпер — записка. Написана карандашом:

«Уважаемый Николай Иванович. Нелю Васильевну завтра в 13 ч. дня выпишут, просила встретить. Бывшая соседка по палате Нина.»

— Господи!.. Уж не вчера ли выписали?.. — Николай читал и перечитывал записку.

— Нет, если бы вчера, она бы сама добралась... Значит, сегодня. Сегодня выпишут. Наверное, нехватка коек, решили выписать... Главное, отпускают.

Он вбежал в квартиру. Днём Нелечка будет здесь. А у него здесь такой разор, такая грязь. Трясущимися руками Николай принялся мыть пол, поскольку упал на линолеуме, упал, встал на колени...

Вытер пыль под кроватью, поранив руку свешившейся ржавой пружиной...

Потом полез сам под душ, вода шла холодная, надо бы подождать, пока стечёт и подойдёт горячая, но ничего...

Кашляя, домылся и снова лёг — сердце ухало, как ухаёт, забивая бетонный столб, молот.

Что-то он забыл... Да, купить пару килограмм яблок и цветы.

Где-то должны быть его деньги. Николай вспомнил, что позавчера, идя с Василием в ресторан, по привычке молодых ещё лет спрятал нз — оставшиеся полторы сотни — в брючный задний карман. И сейчас он их достанет. Он тоже хитрый. В конце концов, глава семейства, думает не только о себе. Но сунув руку под себя, в задний кармашек, он ничего там не обнаружил. Пустота! Вскочил и стоя проверил — нету! Значит, бахвалюсь, выбросил на стол в «Золотых рогах»! Дескать, и я плачу! Не привык, видите ли, чтобы за него платили. Ах, дур-рак, какой дурак!.. И Василий не остановил. Какая гнида, какая толстая гнида! А ещё шури...

Николай упал на кровать и расплакался, как пацан. Слава Богу, никого не было рядом. Что же делать?! Плянул на часы: семь. Может, соседи дадут взаймы. Николай как-то занимал — вернул.

Надев ботинки, свежую рубашку, вышел на лестничную площадку — и вспомнил, что небрит. Вернулся.

Стараясь не смотреть на себя в зеркало, с полчаса электробритвой сдирал наугад щетину с лица. Потом позвонил в дверь к соседям.

Открыл инженер Петров, сухой дядька в очках, в вечном свитере, не смотря на лето:

— Простите... А, Николай Иванович?

— Извините, не дадите до зарплаты на цветы... рублей... ну, пятьдесят-шестьдесят тысяч.

— На цветы?.. — Попов пронизательным, цепким взглядом оглядел Николая и вдруг улыбнулся. — Жена возвращается? Дело святое.

И вынес розовую купюру.

Растроганный Николай вернулся к себе и, сняв чистую рубашку, снова лёг поспать. Он спал и не спал... Вот, говорил он сам себе, есть ещё, есть на свете хорошие люди. Даже никакие не родственники. И он сегодня с цветами, как человек, встретит у ворот больницы свою бледную, милую жену и привезёт домой сквозь эти ядовитые зелёные

облака. И может быть, их с Нелей пощадит судьба, и всё у них ещё будет в жизни.

Счастливый Александр

Из цикла «Демонические рассказы»

Не спалось. Было тепло, и луна светила в опущенные жалюзи каюты, словно прожектор.

Стараясь не разбудить жену, он поднялся, надел шорты, пронизывая руками узкие полосы света, и вышел на палубу. Его удивила столь яркая ночь. Он увидел белые перила, светящиеся при луне, белую проволочную сетку, толсто покрашенную при многих ремонтах масляной краской, так что и ромбическую дырку затянуло, отвёл глаза от белых вёдер и белых спасательных кругов. Поодаль трепало на слабом ветру светлую мальчишескую шевелюру. Спать ребёнку пора, это чей он тут?.. В сумраке, внизу, стояли бесшумные плоские валы воды. А далее, в зелёном свете ночи, проплывали песчаные отмели и кусты, громоздился чёрно-зелёный лес. И где-то там моргал красный костёр...

Он закурил и побрёл вдоль ограды теплохода. Все спали. Только наверху, в рубке, где свет был тоже выключен, он заметил силуэт рулевого.

«И чего я поднялся?! Ветра нет. Мне всегда в ветер не спится. Тихо и покойно...»

Он стоял на носу теплохода, вцепившись бледными руками в перила. Он был худ и очень высок, острое лицо казалось замкнутым. Но вот потаённые мысли вдруг зажигали его дальнорзорские глаза, сухие губы приоткрывались — и блестели в чёрном рту на уцелевших зубах две коронки из золота.

Перед стариком на мачте горел невидимый ему свет — он был направлен вперёд, по ходу движения, и около него роились бабочки и мошки, их-то и было видно с палубы, смутно-белый шар.

Эта ночь неожиданно взволновала Александра Гавриловича. Сердце учащённо колотилось. Жена спала, пусть спит. Она болеет в последнее время... А он? Чем займётся? Читать будет? Александр Гаврилович ухмыльнулся. Он же с самого начала знал, почему проснулся, что хотел проверить...

Крадущейся походкой он вернулся в коридор, на жёлтый линолеум. Вот его каюта — номер двенадцать. Он вошёл и постоял, привыкая к темноте. Он помнил — портфель где-то под столиком, старик протянул туда руку и стал шарить. Он открыл в полусумраке портфель и достал листы бумаги. Посмотрел на просвет — чистые ли, без записей? А где взять ручку и чернила? Шариковая не годится — там паста. Он знал — у жены в ридикюле старинная, с золотым пером, жена очень ею дорожит. Теперь надо найти ридикюль. Только бы жена не испугалась, подумает ещё — вор. Он пошарил над нею, в болтающейся сетке, потом увидел белую сумочку на стуле возле зеркала. Открыл — нащупал толстую короткую авторучку. И вышел, тихо затворив за собою дверь.

Он сел на лунной стороне за столик, плетёное кресло даже не скрипнуло — старик был лёгок.

Он разложил бумаги, авторучку и улыбнулся, защемив кончик языка губами. Теперь нужно было достать сахару.

Александр Гаврилович оставил всё на столе и пошёл вниз, где третье и четвёртое отделение — там,

видимо, работает буфет и можно выпросить. Внизу вибрация чувствовалась сильнее, было жарко и душно. Вдоль проходов белели мешки с мукой, высились ящики, валялись арбузы. Людей — никого. Рейс специальный, и все при местах.

Возле буфета смеялись три человека, он узнал одного из них — это был физик Бараев, лысый, толстый, лицо в рябинах. Бараев удивлённо закричал: — Саша, к нам?!

— Не, — хитро и ласково ответил тот и наклонился, чтобы всунуть седую стриженую голову в окошко двери. Разомлевшая буфетчица сидела возле бочки и курила. Со всех сторон блестели бутылки и валялись отрезанные ножом половинки конфет. Народ ехал учёный — сто грамм так сто грамм. — Девушка, мне сахару не найдётся?

— Найдётся, юноша, — хриплым голосом ответила буфетчица и протянула ему половинку. — Вместо пароя. Встретимся, где потемнее, — сложим половинки, вдруг сорт подойдёт.

Физики ещё громче заржали. Они, должно быть, с буфетчицей выпили, и старик прервал замечательные разговоры. Старик беззлобно улыбался, открыв чёрный рот. Он вернул конфету:

— Мне сахару, сахару.

— Цукору нема.

Старик задумался.

— Как получить из шоколада сахар? — спросил он совершенно всерьёз Бараева. — А-а, ты не знаешь. Химики, химики нет у нас.

Стоявший рядом черноволосый, весьма расторопный молодой человек покраснел и быстро заговорил:

— Одну минуту... одну минуту... — он убежал и через минуту вернулся. Протянул расфасованный, в бумажных облатках сахар. — Вы разве чай не пьёте?

Старик безмятежно улыбнулся.

— Ах, да. Старческий сарказм. То есть, старческий склероз. Спасибо.

И пошёл, не обращая внимания на понимающие улыбки коллег.

— Наклюкался старик... — услышал он сочувственный смешок. — Такая ночь... а сахар — для валидола.

Старик с таинственным выражением на лице поднялся на верхнюю палубу и сел за столик. Он выложил кусочек сахара, белый, в белом свете луны, на белый лист бумаги. Затем достал зажигалку и надавил. Сахар хрустнул и рассыпался. Так.

Затем старик открыл авторучку жены. Отвернул задний колпачок, задумался — как же насыпать сахар внутрь авторучки? Нужно выпустить чернила, в них растворить сахар и потом уже втянуть обратно.

Он сходил в каюту, принёс стакан. Жена спала. Старик беззвучно хихикал. Мальчик с белесыми разлохмленными волосами бродил неподалёку, ведя рукой по белым лакированным трубам. Он смотрел во тьму, на зелёные плёсы. Наверное, мечтает стать капитаном. Хорошо.

Старик выпустил чернила, их оказалось совсем немного. Добавить воды?.. Он заглянул в мужской туалет, хотел капнуть из крана воды, но вылилось больше. Старик посмотрел на свет — ничего, синий не синий, но вполне сносный голубой цвет.

Теперь сахару. Он высыпал белый порошок и стал размешивать...

Теплоход даже не вздрагивал из-за встречных ленивых волн, двигаясь по реке. На нём плыли учёные-кибернетики и те, кто был заинтересован в развитии кибернетики. Это был плавучий симпозиум. Многие прилетели сюда с жёнами и детьми. Старик хотел сначала поехать один — жена болела, но в последнюю минуту дал телеграмму, и ему тоже отвели просторную каюту-люкс. Хотя, конечно, ночные бдения, курево, споры, неизбежное вино... — всё это как-то лучше без жён. Тем более, что симпозиум предстоял чрезвычайно серьёзный — стало возможным, наконец, признать, что мы отстаём от японцев и американцев, и надо подумать, как быть дальше. Об этом сказал в первый же день член правительства Кононов, молчаливый угрюмый человек... Наши ЭВМ громоздки, хотя и работают довольно быстро. А громоздкость аппаратуры в XX веке — страшный минус. Но кто виноват?..

Старик помнил, как в своё время именно кибернетику объявили буржуазной наукой. Почему?! Совершенно непонятно. Учёных высмеивали, фантасты наводнили рынок бездарными романами, в коих роботы размножались и сжигали книги, совращали комсомолок... А потом вдруг все поняли — без кибернетики нельзя! Ни в системе управления, ни в экономике. Ни в физике элементарных частиц, ни в биофизике... Немногие из начинавших странную науку выстояли до конца. Старик выстоял. Счастливый Александр. И как он смог?.. Сейчас это был увенчанный лаврами учёный, правда, не из тех, кто на самом виду, но не о себе он думал. Сейчас он размышлял над тем, как убедить руководителей симпозиума, не тратя десятки лет, пойти на соглашение с теми же японцами и американцами, а уж потом обойти их — была такая возможность. Взять готовое, что ж — заплатить, не важно чем — золотом, соболями, но потом на этой основе создать новое поколение машин — старик знал, каких.

Симпозиум проходил сложно. Хоть все и улыбались друг другу и вместе поднимали вечером тосты за науку, угощали друг друга вишней, которую покупали в бумажных кульках на берегу, и купались в воде в спускавшейся с теплохода специальной большой сети, — тем не менее, шла борьба разных школ, и старик с улыбкой наблюдал, кто из тщеславия упирается, а кто убеждён в своей идее. А идей оказалось множество — может быть, даже гениальных, и хорошо, что на борту не было иностранных журналистов. Кстати, что ещё хорошо — теплоход нигде к берегу не приставал — желающих купить вишни или ранние яблоки перевозили на лодке.

Ходили всевозможные слухи о причине такой уединенности. Говорили о холере... Старик знал, в чём дело — на борту, среди семи иностранных гостей, лояльных и вызывавших доверие, плыл учёный из страны, где царил хунта. Он сюда выбрался нелегально, и если бы о его поездке в коммунистическую Россию стало известно, учёного бы ожидала дома тюрьма, а может, смерть. Покинуть же свою родину навсегда он не желал — надеялся на лучшие времена, да и, пользуясь

положением видного физика, помогал своему народу. Его все звали, улыбаясь, товарищ Иванов, он был крепкий, белозубый, очень смуглый. Говорил, запинаясь, на эсперанто... Так или иначе, работа на теплоходе шла напряжённая. Ничто не отвлекало, кроме, может быть, красных, разбитых арбузов, пливших по течению, — где-то покололи при загрузке или выгрузке...

Компьютеры нужны везде. Но на многих заводах и в совхозах, куда их привозят, они стоят мёртвым грузом. Как те же телевизоры или приёмники в кабинетах начальства, ЭВМ стали модой. Их не включают — зачем? Есть счёты. Есть пальцы. Есть бабушкины методы. Есть наш родной, русский, махровый мат. А тут надо ещё программы составлять... а что это такое, знает один из тысячи. На перфокартах морковь не натрёшь. На релешках яичницу не поджаришь. А обходятся ЭВМ очень дорого. Брать же их для красоты, для интерьера — стоит ли? Старик всё это прекрасно понимал. Он видел, что многие руководители предприятий отстали от века, и тут не помогут курсы повышения квалификации, которые зачастую придуманы их же друзьями, чтобы сохранить их в мягких креслах... и самим остаться как бы при деле прогресса! И никак ты не стонишь и тех, и этих. А время... когда оно пройдёт, время? Сейчас каждые пять лет — это как раньше двадцать пять. И нужно, нужно внедрять компьютеры! Даже старые руководители, купив их для моды, для показухи, будут вынуждены привыкать к новому ритму, новым методам. То есть учёные, составляя программы, могут внести новый, неожиданный ритм в экономику, в мышление: Это же не секрет — фирма, изготовившая ЭВМ, может в будущем знать все секреты той организации, которая купит ЭВМ. Не говоря о том, что может исподволь влиять на жизнь дочерней организации. Секреты нам узнавать ни к чему — страна одна, своя. А вот заскорузлый бюрократизм станет первым врагом ЭВМ. Старик понимал. Времена, слава богу, другие, есть постановления ЦК, и теперь-то никто уж не назовёт смелых и думающих своих сыновей буржуазными прихвостнями. А они через свои программы, не каждому краснобаю ясные, через свои ЭВМ, через огромную, переплетённую общую систему компьютеров страны будут вносить энергию мысли, энергию наступающего времени. И никого машины не поработят, если не давать им застаиваться, покрываться пылью толщиной в палец...

Старик, усмехаясь, размешивал авторучкой сахар в стакане, и боль из души уходила, и лунный свет, казалось, впитывался всем телом, и он, старик, становился лёгким, как юноша. ЭВМ — ладно. Он сейчас о старушке думает. Всё-таки это дни их торжества. И ей будет приятно.

Старик посмотрел стакан на свет и воровато оглянулся: ещё увидит кто-нибудь — подумает, одинокий алкоголик. Сунул авторучку пером в чернила и стал вращать головку. Чернил в стакане уменьшилось. Всё в порядке. Аккуратный старик пошёл, вымыл стакан, поставил на место в каюте. Жена спала. Он вернулся на палубу, взял ручку — кисть совершила привычный волнообразный жест, прежде чем взять предмет — промокнул

бумажкой лишние чернила с пера и вздохнул. Всё было готово.

Сухой узкой рукой на белом листе он вывел: Люся... — и прищурился. Что-то не блестит. Должно заблестеть. Он это точно помнил. Надо подождать, чтобы высохло.

Лунная ночь мерцала над необъятной рекой с тёмно-зелеными островами, белыми отмелями, чёрными лодками на берегах, и то ли ночные птицы летали над теплоходом, то ли летучие мыши. Миллиарды белых и розовых бабочек облепили фонарь в крупной сетке. Толстоголовые серые бабочки сели на белую рубашку старика, он чувствовал их неприятную тяжесть. Одна опустилась на лист бумаги — старик согнал её, и на бумаге остался тёмно-зелёный след...

Круглая, ясная луна словно ворожбу ворожила, сердце разрывалось при таком свете. А чернила ещё не просохли.

Он когда-то в детстве, в двадцатые годы, писал стихи. Стихи были плохие. Влюбился в девочку из женской группы, её звали, кажется, Люся Богомолова, толстая была девочка, румяная, с пышными косами. Старик улыбнулся. Он, помнится, сочинил ей стихи:

— Я тебя люблю! Я себя гублю! Я тебя гублю! Я тебя люблю!..

«Сколько рифм!» — радовался мальчик. Он бормотал без конца своё стихотворение и путался уже в «тебя», «себя». Надо бы о революции, о смерти Ленина, а он — позорно — о любви! Он записал строчки на бумаге и ходил неделю, обмирая от стыда и страха, никак не мог отдать. Когда же измял и замызгал листок до крайности, решил стихи красиво переписать. Была ночь. Конечно же, светил месяц. Мальчик опустился на сырую землю сбоку от крыльца — получалось, как за письменным столом. Дома все спали. В хлеву жевала сено и вздыхала корова. В темноте крапивы мелькнула, вытянувшись чуть не на метр, белая кошка. Он сидел и смотрел на лист бумаги. Днём ему сказал Костя-старшеклассник, под великим секретом, что, если в чернила добавить сахару, то буквы блестят, как золотые. Может быть, образуется золото. Косте об этом написал из города брат Володя, он там учится. Только нельзя, говорит, путать — сахар, а не соль. Ну, как спутаешь — все школьники знают, что если соли насыпать в чернильницу, получится грязная вода...

Мальчик развёл в чашке с чернилами сахар, обмакнул перо № 86 и стал писать:

— Я тебя люблю!!!!!! Я себя гублю!!!!!!!!!!..

Месяц висел над самым забором. К ногам на траву, на аптечную ромашку падала чёрная зубчатая тень. На белой бумаге сохли, сохли чернила и — вдруг загорелись, как чистое золото! На странице, если смотреть сбоку, сверкали буквы! У Сашки от восхищения потемнело в глазах. Он вскочил. Он держал листок в вытянутых руках, как сумасшедший. Он избежал на крыльцо, но вспомнил — все спят. А может, разбудить, сестрёнке Ленке показать. И тут же испугался — во-первых, он бы разгласил секрет чернил, а, во-вторых, Ленка бы о любви узнала. Как ей докажешь, что это — просто стихи? А она ещё их запомнит, будет всю жизнь издеваться... Вот корова, наверно, ничего

не запомнит, но оценит. Он метнулся в хлев — Зорька шумно дыкнула и посмотрела на него чёрными блестящими глазами. Он, утопая в соломе, подошёл к ней и с гордостью показал своё произведение. И сам заглянул сбоку. Здесь хуже было видно — но всё равно, что-то там сверкало золотом. Корова печально вздохнула и отвернулась, стала лизать бок.

«Эх ты, корова-корова... — с сожалением подумал мальчик. — Ну, ладно. Ты же неграмотная».

Наутро, на большой перемене, он передал письмо любимой девочке. Толстая Люся взяла его, лениво осматрела выпуклыми глазами и хотела было развернуть.

— Не сейчас!... — пискнул он. — Дома...

— Что?! — громко спросила Люся. Может быть, нарочно громко.

— Дома... — краснея и сутулясь, сказал очень тихо долговязый мальчик в самодельном красном галстуке — он чувствовал насмешливые взгляды товарищей.

Люся сжалась, спрятала листок в портфель. Через день подошла, взяла Сашку за руку, подвела к окну и стала серьёзно объяснять:

— Мои родители не согласятся... такие отсталые. Я прямо в рабстве каком. Луч света в тёмном царстве. Страдаю. Никто меня не понимает.

Он слушал и не слышал, что она говорит. Он видел перед собой солнце. Оно объясняло, что им нужно вырасти, доказать свою любовь, и тогда, может быть, родители смилуются... У него горели уши, ему было стыдно непонятно чего, он чесал ногою об ногу, и тут, к счастью, прозвенел звонок...

Тогда проходили Пушкина. Мальчик взял у соседа под партой тяжёлый том в золотисто-коричневом переплёте и принялся листать. И увидел — оду «Вольность». Стихи были напечатаны красивыми буквами, а рядом, на сером листке написаны рукой самого Пушкина! Мальчик догадался — это не настоящая бумага Пушкина, а фотография. Но всё равно он не мог этого так оставить. Он выпросил книгу почитать домой и осторожно, бритвой, под самый загиб, срезал грубый лист с прыгающим пушкинским почерком — вокруг каждого слова завитушка, как росток вокруг зерна...

Мальчик страдал — у него с Люсей ничего не выходило. Поэтому он читал стихи Пушкина по ночам на сеновале, завывая от усердия и света керосиновым фонарём под одеяло. На страницах вместе с дымом плясало комарьё. Из-за плетня на мальчика лаяла без конца соседская Пушка — у неё после каждого «гав» в горле клоколато, как в вулкане... Но мальчик не обращал внимания ни на комаров, ни на собаку. Фонарь моргал, гас и вонял. Мальчик обжёт спичками ногти. Как сеновал не подпалит?... Глаза чесались и болели. Мальчик, скорчившись, разбирал статьи в конце тяжёлого тома, все примечания, набранные шрифтом мельче макового зерна... Он с удивлением узнал, что Пушкин начал писать стихи лет с тринадцати. И все о любви. Вот молодец! Его душил царизм — и он сочинил оду «Вольность». Эти стихи тут же разошлись по всей России. Царь на него страшно рассердился: «Салага! Как смел?!». А Пушкина звали Саша. И это особенно задевало мальчика.

«Нужно переписать «Вольность» для Люси, пусть выучит наизусть. А я проверю. Стихи помогут ей в тяжёлые минуты жизни».

Тем временем в школе шли последние уроки — надвигалось лето: земляника и молния, окунь и морковка... Мальчик воспроизвёл золотыми чернилами стихи Пушкина для Люси и для себя самого. Потом насыпал в чернильницу соли и перекатал «Вольность» грязными чернилами специально для Андрея Викторовича, красноносого и злого учителя, который заставлял зубрить даты по истории, а сам ничего интересного не рассказывал. Наверное, скрытый эсер. Мальчик сунул ему листок в портфель на перемене. Но учитель и на следующий день сделал вид, что ничего не произошло — только глаза у него были воспалены и моргали медленно, как у попугая. Ага! Наверное, ночь не спал, трясся! «Тираны мира, трепещите!..»

И чем взяла мальчика именно ода «Вольность»? Он её запомнил наизусть. Он знал теперь, что стоит за каждой строфой, — прочитал биографию и учебник истории сам осилил — попросил у старшеклассников. Каждый вечер, как только он освобождался от работы — загонял ли овец домой, косил ли сено в лугу, — дождавшись, когда все уйдут спать, он садился заново «сочинять» «Вольность», словно это он и был — Пушкин.

Он выдрал у гуся белое перо и смастерил старинную ручку. Он разлохматил русые волосы. Он хмурился. Над горизонтом шли слоистые тучи XIX века. В тучах мелькала луна — и во дворе перед мальчиком белели пёрышки кур и гусей и прутья ивняка, обрызганные овцами. На столе в чашке густо блестели чернила из чистого золота.

Стоило мальчику вывести первые строки; «Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица! Где ты, где ты, гроза царей, свободы гордая певица!..» — к сердцу подмывал жуткий восторг, горло пересыхало. И раз от разу становилось интереснее. Мальчик уже мог полностью, не заглядывая в книгу, повторить в точности почерк Пушкина — со всеми закорючками и ятями, прочерками и виньетками... Эта игра стала привычкой, обволакивала дурманом душу и необычайно волновала, как сладкий, запретный плод... И был, наконец, вечер, когда он пережил эти стихи так сильно, что перепугался. Никогда более это с мальчиком не повторилось, да и зачем такое повторять? В небе стояла белая, сильная луна. Где-то далеко, не в соседней ли деревне, пели песню и заливались лягушки. Сладостный звон ночи томил.

Саша сидел на земле, примостившись к крыльцу, торопливо окунал гусиное перо в чернила и, наклонив голову, быстро-быстро писал, разбрызгивая золотые кляксы:

Вольность.

Ода...

А царь в это время спал в кровати с государственным гербом на спинках — двуглавым орлом. Ножки кровати, наверное, стояли в серебряных ведрах с водой — чтобы не залезали тараканы. Царь спал некрасивый, маленький, злой, у него слюна текла по усу. Луна светила и ему в окно, на его голую ногу, торчавшую из-под шёлкового простроченного одеяла, и на пятке можно было увидеть чернильный штемпель — тоже двуглавы

орёл, это на случай, если царь пойдёт в баню, и одежду украдут, или на речку купаться пойдёт... По всей стране ползли его сыщики с ножами... Кнотом били при кострах крестьян... Колокола не утихали... Горели помещичьи усадьбы... Дети плакали... От каждого столба во все стороны падали чёрные тени... Душно было, страшно... Ещё Ленина не было, и даже Плеханова... А Саша, усмехнувшись, твёрдо выводил:

— Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица!

Цитера — это был остров Афродиты, богини любви. Саша теперь всё это знал. Ведь он писал эти стихи!

— Где ты, где ты, гроза царей, Свободы (вот!) гордая (вот!!!) певица?

Он взмок от восторга и сладкого страха. Он оглянулся — ему показалось, что вдоль плетня кто-то крадётся. Ничего, дальше!

— Приди, сорви с меня веноч, Разбей изнеженную лиру... Хочу воспеть Свободу миру, На тронах поразить порок!

Вот тебе, царь! Вот вам, мракобесы-попы! Вот вам, обжоры в парчовых кафтанах и в туфлях с алмазами! Тряситесь!

— Питомцы ветреной Судьбы, Тираны мира! трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы!

Словно ветер шёл по лицу Саши. Перед его глазами во тьме вставали падшие рабы, разрывающая цепи, блестя глазами и кандалами на тёмных руках. Их были тысячи, ряды за рядами, как на уроке физкультуры в школе... До самого горизонта вставали рабы. Царь ещё спал, подрыгивая пяткой с двуглавым орликом.

— Увы! — писал Саша, — куда ни брошу взор — Везде бичи, везде железы. Законов гибельный позор, неволи немощные слезы;

(Тут немножко было непонятно — если железы, в смысле много железа — шипцов, цепей, игл, то должно быть для рифмы слезы, а не слёзы. А если слёзы, то тогда железы?! А это совсем другое. Наверное, всё-таки слёзы, без двух точек — Пушкин торопился и просто забыл, что нужно «ё», а потом исправлять не хотелось).

— Везде неправедная Власть, В сгущённой мгле предрассуждений Воссела — Рабства грозный Гений И славы роковая страсть. ...Владыки! Вам венец и трон Даёт Закон — а не природа; Стоите выше вы народа. Но вечный выше вас закон!

Это как башня, в которой спит царь и лежат в сундуках тома чёрной конституции, но выше башни — тучи, набитые молниями, и радуга освобождения. Саша писал, чувствуя, как смеется у него сердце, у него, маленького, бледного, как возносит его волна народного горя над страной; глаза сухо и страшно горели, словно Александр неожиданно повзрослел; скрюченные, измазанные чернилами пальцы дрожали от ненависти:

— Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, Твою погибель, смерть детей С жестокой радостью вижу. Читают на твоём челе печать проклятия народы. Ты ужас мира, стыд природы, Упрёк ты богу на земле!

Вот как судит Саша Наполеона! Низенького и мрачного человека, оставившего в крови поля

России, погубившего миллионы своих и чужих солдат, толкнувшего Францию на край катастрофы! А что Саше казнённый Людовик?! Он ненавидит всех тиранов, всех! И именем жестокого Калигулы он отмечает своего царя Павла I, задушенного ночью приятелями Александра I. Вот такие папеньки и сыночки! Разврат, золотая молодёжь!..

— Он видит — в лентах и звёздах, вином и злобой упоенны... (Конечно-конечно, они напились, чтобы руки от ужаса не дрожали! Шли в спальню царя, скаля зубы, закрыв глаза масками):

— Идут убийцы потаённые, на лицах дерзость, в сердце страх... О стыд! О ужас наших дней! Как звери, вторглись янычары!.. Падут бесславные удары... Погиб увенчанный злодей.

(И между «погиб» и «увенчанный» Саша рисует курносый профиль Павла. Точно так, как нарицал его сто с лишним лет назад сам Пушкин).

Саша изнемогал от мрачных видений, его обуревавших, от картины ночной Руси, от духа царизма; он вскакивал, садился, кусал губы — и смелость гения, пророка, боролась в нём со страхом за себя самого...

Но вот он сел к столу, и на бумагу легла чёрная лохматая тень от его головы. И родились заключительные строки:

— И днесь учитесь, о цари: Ни наказанья, ни награды, Ни кров, темниц, ни алтари Не верные для вас огады. Склонитесь первые главой Под сень надёжную Закона, И станут вечность стражей трона Народов вольность и покой.

Тут что-то смутно получилось... Саша, кажется, хитрил, а может, заблуждался. Но не это главное. Главное он уже сказал в начале и середине оды. Мокрый, с быстро стучащим сердцем, мальчик оттолкнулся от стола. Всё! Он сочинил «Вольность»! Завтра прочтёт её друзьям! И эти стихи разойдутся по всей России. И царь потеряет аппетит. Будут уговаривать: «Ну, откушайте манной кашки...», а он: «Не жалаю!» — «Ну, карася в сметане!» — «Не хочу!» — «Может, пирога с малиной? Али фазана с грибами в шампанском?.. А?» Но царь бегает по дворцу, кричит на французском: «Проклятый Пушкин! Он дождётся!». Побледневший Саша закрывает глаза от наслаждения пережитым и сидит, с холодком ужаса перед будущим, жвав в кулаке гусиное перо. И на бумаге блестят золотом стихи Пушкина.

Никогда, никогда больше он так не пережил этих стихов. И уж тем более — других. А сам и вовсе бросил рифмовать.

Наверное, все силы души, предназначенные поэзии, ушли в ту ночь на «Вольность» — единственное стихотворение Пушкина! Но, видимо, то, что он ощутил тогда, диктат гения, праздник дерзости и вольнолюбия, помогло ему потом в самые тяжёлые времена...

Что только он не видел?! Воевал, был ранен — вырвало мягко ноги, ничего — под штаниной незаметно. Прошёл по заснеженным бесконечным русским полям, по крохотным, с указателями — чужим, помнит реки крови и горы дыма, держал в пригоршне чернозём, полный осколков, гильз, который можно было по тяжести внести в таблицу Менделеева, как особый элемент!

Он видел, как встречали цветами наши советские танки в городах Европы и как в букетах цветов взрывались позже гранаты — было и такое... Он сам освобождал Берлин, и только вот на парад в Москве не попал. Был позже — постоял возле памятника поэту: жаль не видит Пушкин — какое прекрасное время теперь на Руси! Царя нет. Свобода. Его стихи знают все. Он бы написал новые... А «Вольность» читал бы сам по радио для народов тех стран, где ещё фашизм и мрак.

...Старик усмехнулся. Поскрёб пальцем впалую щёку. «Ну-ну, хватит».

Теперь надо посмотреть на результат.

Он сделал привычный волнообразный жест рукой в воздухе и поднял лист, подошёл к ограде палубы и глянул сбоку на написанные буквы. Они тускло светились. Не очень, конечно, похоже на золото, но всё-таки. Может, сахару добавить?..

В это время сзади приблизился мальчик. Это был всё тот же мальчик. Он оказался пухлощёким, маленьким, в костюмчике-матроске и галстукке. У него глаза горели любопытством. Он старался сохранить невозмутимый вид.

— Такой вечер. Здрасьте, дяденька.

— Здравствуй.

— Дяденька... А вы откуда? Из ЭсЭсЭсЭра?

— Да, — буркнул старик, сконфуженно пряча бумагу в карман. Она хрустела.

— А вы знаете ещё какой-нибудь язык? Английский знаете? Скажите что-нибудь, я пойму. Мы учим. Я учу английский... — мальчик говорил очень быстро, вода глазами вправо-влево, словно чего-то ждал или боялся.

Старик наклонился к нему, чтобы всмотреться в лицо. На палубу вышли те трое, кого он встретил возле буфета. Они сосредоточенно курили, молчали.

— А-а-а!.. — прошептал Бараев, сверкая круглой лысой головой. — Саша здесь! Он, что ли?.. — сердито спросил Бараев у мальчика.

Тот кивнул, исподлобья глядя на старика. Бараев, приседая, рассмеялся и закрыл себе рот ладошкой. Кибернетик Соловейкин поправил блеснувшие очки. Молодой биофизик кашлянул.

— Саша, что ты тут делаешь?! — удивился Бараев. — Тебя, брат, за шпиена приняли! Прибегает малый, говорит: там дяденька симпатичными чернилами донесение пишет... один на палубе... всё оглядывается... Ты что тут пишешь?

— Да так, — нехотя ответил старик. Он стоял, высокий, седой, волосы ёжиком. Улыбнулся чёрным ртом. — Письмо писал.

— Я и говорю пацану — отку-уда?.. Мальчик медленно краснея. Он опустил голову всё ниже и ниже и отвернулся — хотел убежать.

— Иди-ка сюда... — ласково позвал его старик и обнял за плечи. — Иди! Тебя как зовут? Костя? Эдя? Вот видишь, я угадал! Ты чего же не спишь? Ну, я старик — понятно. А ты?

— А чего они?.. — вдруг обиженно засопел мальчик. — Смотрят друг на друга та-ки-ими глазами... а на меня внимания не обращают! — Стало понятно, что он говорит о родителях. — Они, конечно, любят друг друга, я понимаю. Но я — я всю жизнь один, как перст! Вот и ушёл на палубу.

Все понимающе молчали. Бедный малыш. Старик потрепал его белесые мягкие волосы и сел в кресло. Закурил свой любимый «Беломор».

— Ты бдительный. Это хорошо. А вот не знаешь, почему наш теплоход все дни к берегу не приставал? Хочешь послушать? — Старик стал рассказывать. Мальчик во все глаза смотрел на него, и верил, и не верил. — И вот, чтобы не увидели этого учёного, не сфотографировали буржуазные журналисты, мы не причаливали. Теперь говорить можно — он вчера улетел вертолётom и, наверное, уже домой добрался. Да ты его помнишь! В тёмном костюме, с ромашкой в кармане, белозубый!

— Товарищ Иванов?! Я знаю! — воскликнул радостно мальчик. — Мой папа Бабахин. Я всех знаю!

— Очень приятно, что у Бабахина такой сын.

— Это был испанец? Чилиец? Китаец?.. Скажите!.. А он так по-русски смешно говорит. «Красно-пёрка... Ок-куннь». Как я сразу не понял!.. Эх, дуб!

— Ну-ну, — пробормотал старик. Он похлопал узкой ладонью по плечу Эди. — Кем будешь-то? Разведчиком? Космонавтом?..

Мальчик угрюмо молчал.

— Кибернетиком, — выдавил он наконец, очевидно, боясь насмешки.

Но никто не смеялся. Над огромной рекой плыла луна, по воде змеилась золотая дорожка, красный огонёк бакена, попадая в жидкое золото, становился блеклым, а потом загорался ещё сильнее, окутанный тёмным ложным облачком... На белых стенах теплохода шевелились бабочки и комары. Пахло спелыми грушами из окна ближайшей каюты. Было тихо-тихо, только в глубине корпуса работали мощные двигатели, помогающая судну раздвигать зелёную прозрачную толщу, в которой стояли метровые щуки и тускнели на дне якоря и пушки...

— Кибернетиком — это очень хорошо, — сказал, нарочито волнуясь (наверное, ещё со студенческой скамьи привычка), черноволосый молодой биофизик. — Ты, мальчик, учишь, и будешь, как эти дяди.

Мальчик поморщился (он не терпел прописных истин) и озабоченно спросил у старика:

— А что такое интегральная схема?

Старик беззвучно засмеялся.

— Интегральная схема, малыш, — Бараев зевнул, — это если по тебе проедет асфальтовый каток и сплющит в блин, чтобы ты меньше места занимал, но — чтобы ты жил и дышал, как раньше. Вот, впрочем, смотри, — он вытащил из нагрудного кармана и бережно протянул мальчику тонкую пластину. Она была прозрачна, внутри её темнели ромбики и квадраты, на поверхности блеснули проволочки. Мальчик поскрёб пальцем — не отковырнуть. — Можно штук сто поставить в гнёзда, рядом, и хватит спичечного коробка, а получится машина, какая раньше две-три комнаты занимала. Ясно? Идёмте, братцы, спать... Знобит. Скоро светать начнет. — Бараев взял у мальчика пластину и, треща костями, потянулся. — Саша, вы так и не сказали, что тут писали-то? Донос на Бориса Годунова? Ах, счастливый Александр!

Старик улыбался. Он-то доносы никогда не писал. На него писали. Сразу из Берлина 45-го года

угодил в Сибирь. Он вытащил скомканный лист — развернул, и все увидели — на бумаге что-то сверкало. Старик старательно разгладил на колене лист и сложил вчетверо.

— Если писать чернилами с проводящим элементом и пропускать по строчкам ток... О-о! Тут есть, над чем подумать! Во-первых, графологам новый метод обеспечен. Чем больше рвётся почерк, тем более непостоянный характер у человека. Да-а... — круглые выцветшие глаза старика смотрели на белые в ночи песчаные острова, на взмывавших к луне летучих мышей. — Кроме этого, мне кажется, можно будет просто рисовать схемы на пластической основе. Вот я и рисовал. Здесь у меня сложнейшая схема супермультивибротрона... Я считаю, у этой идеи — большое будущее. — Старик был невозмутим, и его почтительно и с недоумением слушали. Чёрт знает нынче, где шутка, а где гениальная мысль. Тем более, учёные плохо понимают друг друга — в каждой отрасли свои термины, своя математика. — Вот так, Эдя!

Старик кивнул и пошёл. Спина приятно мёрзла. Небо уже светлело, звёзды срывались и летели в дальние синие леса. Он вернулся в каюту.

— Ты чего всё ходишь? — не открывая глаз, спросила жена.

— Да так... — пробормотал с ухмылкой старик. — Писал золотом на бумаге.

— Методом электролиза, да? — серьёзно спросила старуха.

Он беззвучно засмеялся. В щели жалюзи сочился розовый свет утра, и продолжала светить бледная луна. И от этого смешения зелёного и розового было не до сна. Он протянул жене лист бумаги. Она взяла в руку, отвела от глаз подальше — тоже была дальнозоркая, но со сна, в сумраке, ничего не увидела.

— А ты сбоку... — посоветовал старик обиженным тоном.

— Что ты там написал?

— Ладно, — буркнул старик. — Извини, что разбудил.

Они уснули, убаюканные движением огромного теплохода. Мимо плыло утро, с первыми горластыми, безумными от счастья птицами, с нежно-зелёным блеском на воде, с красными дольками отражённого солнца — словно арбузными ломтями... Летели тонкие слои тумана. Намочнув в росе, падали с белых стен на палубу бабочки... На корме, возле пахучих грубых канатов, мяукала, выскользнув из рук какого-то безногого дядьки, красномехая кошка... Все спали, кроме рулевого, и старик с женой спали. Они спали и снились друг другу молодыми и здоровыми. Вокруг них мигали лампочками электронные машины. Между чёрными умными ящиками зрела в жидком голубом зное земляника, ползли по проводочкам божьи коровки, а над головами кружились белые бумажные кораблики... День нажимал на ночь, — и она ушла в воду, в её омуты и камыши. И когда первые оранжевые палочки света снова легли сквозь жалюзи на дверь и опустились на стол, там, на белой бумаге, вспыхнули буквы, словно из чистого плоского золота:

— Я тебя люблю!!!

И рядом спала она, та самая девочка Люся.



Лев Роднов Настоятель литературного храма

Заметки с оглядкой, посвящённые памяти Р. Х. Солнцева

170
Солнцевский круг

Наблюдая самих себя в зрелости, мы неизбежно находим в глубине своего внутреннего мира чей-то «определяющий след». Один, два, десяток совершенно особенных «следов», от которых что-то вдруг разрушилось в мыслях и чувствах, а что-то, наоборот, начинало бурно расти. Это — счастливые встречи. Сегодня я понимаю: редко кто ценит настоящее, будучи его прямым участником. Мол, что же такого ценного есть в репликах, в бытовых разговорах, в уроках социального и творческого поведения? Так, вроде бы, шум один... Так, да не так. Проходит какое-то время, и мы начинаем бережно «ценить прошлое». Зачастую, даже в ущерб настоящему. Становимся едва ли не патриотами былого. Потому что именно прошлое позволяет себя удобно и неограниченно романтизировать, к тому же оно совершенно безопасно для вольного «интерпретатора» сбывшейся уже жизни. М-да... Интонационная бдительность нужна в настоящем для всякого рассказчика. Над воспоминаниями почти всегда витает демон лукавства и пагеттики. Упаси! Однако мне бы хотелось рассказать историю памятных встреч не широко, а лишь о том неоднократном «посаде» идей и устремлений внутри моего ума и сердца, что непосредственно принадлежат ведущей силе этих строк — Роману Харисовичу Солнцеву. Или Ренату, как я привык его называть в домашнем мире, без псевдонимов.

И ещё один важный банальный базис этого текста: со смертью физической не исчезает метафизика порождённого лидером творчества. Жизнь дела переживает своего первооткрывателя, если в деле этом последовательно живут другие. Именно так случилось, как мне кажется, с журналом «День и Ночь» — самым трудным и самым многолюдным детищем писателя. Он, вопреки обстоятельствам и потребительским модам, выдумал и технологически построил мир высоких человеческих принципов — плоть тиража и круга друзей, в котором действительно можно жить. Но это — последняя вершина, до которой много было шагов и лет...

Пожалуй, не стоит изобретать нечто оригинальное в своих оглядках и воспоминаниях. Они должны быть удобны. Буду придерживаться простого стиля: хронологии и осмысляющих комментариев к тем или иным упомянутым событиям и эпизодам.

Воочию мы познакомились с Романом Солнцевым ещё в 1969-м году, в Казани, куда они с женой приехали ненадолго погостить. Жена, Галина Николаевна Романова, и есть та «ниточка», через которую я случайно, собственно, познакомился с Солнцевым поближе. Конечно, я и до этого момента слышал о том, что старшая моя кузина по

отцу «вышла за писателя». Это целая история — их совместное путешествие по жизни — трогательная и удивительная паутина тактичной взаимности слов и поступков. Ренат учился с моей двоюродной сестрой в КГУ на физико-математическом факультете. Он уже писал лирические стихи и их публиковали. В Казани он опубликовал свой первый сборничек стихов под собственной фамилией и собственным именем — Ренат Суфеев. Смясь, рассказывал: «Представляешь, мне, зелёному студенту, выдали солидный гонорар «трёшками»! Я напихал их за пазуху рубахи и пошёл к себе в общежитие. Представляешь? Денег же всегда нет ни у кого, а выпить-кушать хочется. Захожу в комнату, рубаху настежь, трёшки — на стол!» Потом была первая проза. Потом, потом... Как лесенки в небо и юный бег по ним — вверх! вверх! через две-три ступеньки! Силищи — море! В коммунальном деревянном старом доме на Федосеевской, куда приходил к своей будущей жене Ренат, его, всегда открытого и немедленно-отзывчивого, любили. Хозяин этого дома, Николай Романов, работал на «Татполиграфе», часто приносил вечерами кое-что из только что напечатанной продукции — все немедленно бросались листать и... нюхать свежеспечённую книгу. Ах, как волшебной пахла свежая типографская краска! Кружилась голова... Семья была большой и очень дружной. Так случилось, что из-за болезни Галина, невеста, пропустила годовой курс обучения, дипломный, кажется. Ренат из солидарности тоже ушёл в академический отпуск — вместе так вместе! Потом они оба весьма успешно получили свои дипломы и уехали по распределению в Красноярск. В Академгородке их обоих ждала карьера учёных людей. Но по преподавательской стезе пошла только Галина. К тому времени Роман Солнцев уже много печатался и дружил с ведущими культурными людьми страны. Начал активно писать прозу и драматургию. Физико-математическим лектором в Академгородке он пробил не долго. У государства — одно распределение, у судьбы — другое. Судьба — дорога с развилками. Впрочем, и выбирать-то не пришлось. Путь писателя уже вполне состоялся, и «бумажная» его судьба стремительно набирала свою скорость и высоту.

Во время своих зимних студенческих каникул, в 1970-м году, я, девятнадцатилетний оболтус, оказался в Красноярске. Хотелось богатырствовать в алкоголе и сотрясать воздух. В общем-то, не возбранялось. Но в двухкомнатной квартирке Романа и Галины, с проходными помещениями и тихой атмосферой, «богатырский» настрой как-то сам по себе увядал. Здесь работал самый бессловесный



из учителей — возможность сравнивать собственный образ жизни с тем, в котором оказался. Несомненно, образ жизни Солнцева «поглотил» моё юношеское трепыхание, как Солнечная система залётную комету. От внимания и тепла самовлюблённая «комета» изрядно подтаяла и распустила лишь свой «хвост» — слова, слова... Которыми молодой (и тоже пишущий) человек защищался от невыгодности сравнений: Солнцев не пил и не курил, почти всегда был учтив и спокоен, когда он вызывал такси по телефону, то диспетчер узнавала его по голосу, он был лишён якающего тщеславия и никогда не размахивал, как мечом, остриём своего самолюбия. Соучастливо слушал и слышал людей. Слушал, как работал! Буквально — вмещал в себя всё, с чем соприкасался. Он только что получил свой первый, действительно большой гонорар, за публикацию солидного романа, в нескольких номерах «Нового мира» — это было знаковое, статусное признание в главном литературном журнале Советского Союза. Непьющий Солнцев щедро и очень как-то светло, карнавально «пропивал» с друзьями и коллегами свалившееся денежное изобилие. Почти машину, если перевести в вещественный эквивалент. В эту-то бурлящую струю я и угодил тогда. Вот кое-какие эпизоды (которые я рассказываю исключительно как штрихи к портрету Романа). Однажды утром со страшного похмелья в двухкомнатную квартиру пришёл друг Солнцева, поэт: «Дай что-нибудь!» Дома из спиртного была только бутылка «Наполеона», коньяка стоимостью в месячную зарплату, который Солнцев привёз из Москвы для какого-нибудь особенного торжества. Не дрогнув, хозяин сбил сургучную печать с диковинной бутылки, вытянул тугую пробку и налил в стакан. Утренний

гость с дрожащими руками замешкался и зачем-то спросил: «Сколько стоит такая?» Хозяин ответил. Пить гость не стал. Повернулся, ушёл, обиженный. И смешно, и ярко: хорошо видно каждого изнутри.

Другой эпизод. Несколько лет жил отдельно от жены — поступил на Высшие литературные курсы в Москве. Каждый день присылал телеграммы с очень обыденным, совершенно «домашним» содержанием. Например: «Зубы чищу зпт носки стираю тчк». Шутил, нарочито «приземлялся» — сокращал, как мог, расстояние между двумя любящими сердцами.

Дом наполняла библиотека. Очень многие книги имели дарственные надписи. Мне запомнилось прижизненное издание Игоря Северянина, лёгонькая книжица 1918-го года рождения, на обложке которой был изображён гордый автор. И подпись: «Король поэтов». Избранные поэмы для сценального чтения». — Эту книгу мне подарил Константин Симонов из своей личной коллекции, — пояснил у стеллажа Роман Солнцев и пристально посмотрел. Понял, или не понял гость? Это же физическая нить! Над бездной мига! А из мига в миг, как плясун на канате, по нити той идут поэты... Или это один и тот же поэт? Только имена у него и лица, и слова разные... А нить — одна! Понял, или не понял? Нет, не понял пока... — А эту Андрей Вознесенский прислал, — и тоже размашистая надпись на форзаце: «Роману Солнцеву, которого я дико люблю! XX век».

В семидесятых компьютеров ещё не было. В доме стояла выдавшая виды старенькая печатающая машинка «Москва». Тук! Тук-тук-тук! Голова думает, пальцы барабанят по клавишам. Треск и стук, как в забое.

— Что ты читаешь?

Я назвал. Даже приврал для солидности. Думал, похвалят за вкус и усердие.

— Не то, не то!

Хрущёвская «оттепель» в идеологии и в литературе заканчивалась. Уже опять сажали за анекдоты и антисоветчину. С непокорными талантами система яростно воевала, травила и давила непокорных грубостью, потому что не могла противопоставить ничего их здравому смыслу и непобедимой гражданственности. Слово, идеи, чистота и пример личной жизни в такой обстановке приобретали колоссальную силу. Но и навлекали на себя немало.

— Сволочи! Посадили редактора «Байкала» за то, что он напечатал изумительную вещь — «Улитку на склоне». Не читал у Стругацких? Держи, читай, только из дома журнал никуда не уноси. А у Мандельштама что-нибудь читал? Это великий человек! У меня есть только фотокопии стихотворений. Разберёшь, вот тебе увеличительное стекло...

Я по обыкновению спал на раскладушке. Ложился поздно. На ночь глядя, вся компания ухаживалась, читая вслух только что вышедшую книжку «Винни Пух и все-все-все». В одну из ночей Роман вообще не лёг — стучал и стучал на машинке. Постучит — задумается. Опять постучит. От этого стука я и проснулся часа в три утра; он всё ещё сидел за работой — сквозь неплотно прикрытую дверь из соседней комнаты наискось падал клинышек жёлтого света. Тук. Тук-тук. Утром меня ждал сюрприз.

— Держи. Обязательно прочитай это всё. И в той последовательности, в какой я напечатал. В руках у меня оказался длинный список того, что следовало читать в обязательном порядке. Под первым номером значилась странная для советского времени книга — Библия. Список этот я храню до сих пор. Кое-что из «обязательного по-Солнцеву» перечитываю. Первый раз прочитаешь — одно впечатление, а двадцать лет пройдёт, вернёшься к умной книжке — впечатление другое: вроде как в первый раз ты сам текст читал, а во второй — он тебя... Я-то думал, зачем он список этот целую ночь сочиняет? Оказалось, он, как демиург, атмосферу над голой моей суетой «надышивал», зёрна ронял. Так сегодня кажется, по крайней мере. В любом случае, спасибо.

— А это — тебе. На память.

Книга стихов Романа Солнцева называлась «Малиновая рубаха». Деликатные, талантливые строки, без апломба и эпатажа. Высшая математика чувств. Изящные формулы образов. То ли учебник вкуса и стиля, то ли задачник для успешных самлюбцев из мира тщеславия. Ах, Солнцев! Одинаковый и на бумаге, и в мыслях, и в жизни. Такая цельность. Поэтому он совершенно свободно и наивно мог переходить из мира в мир, не очень отличая идеальное от реального.

По Солнцеву получалось, что идеальное — это и есть единственная наша высшая реальность. Причём даже в повседневности. Не святой, конечно. Чего уж! Ведь и сомневался он. И отступал. И руки опускались. Но миссии своей не изменял. Продолжал вырабатывать, как завод, главное условие некой высокой реальности, её главную невидимую «твердь» — идеалы.

Он до конца был практикующим идеалистом.

Запомнился молодой Дивногорск. Плотина, ещё не совсем достроенная, уже стояла, уже упёрлась бетонными своими боками в скалы, а возмущённый Енисей, познавший небывалое падение с высоты, дымил и парил на морозе у её основания. Поднимались (благодаря тесному знакомству с начальством объекта) на самый верх. Солнцев вдохновенно рассказывал о том, что сотворил с природой технический гений человека. Восхищался гением и жалел природу.

Его знали всюду. И в театральных кругах, и в редакциях, и в ресторане. Так было и в 1970-ом, и в 1973-ем, когда я прикатил, тоже зимой, на недельку. Было очень холодно, дул, как в аэротрубе, ветер, снег не покрывал даже траву. Но мы всё равно ходили на лыжах. На стареньких, обшарпанных деревянных лыжах с чёрными ботинками на железных креплениях. С гор не гоняли. Просто шлёпали по припорошённому грунту. Дышали. Многие люди при встрече радушно здоровались с «уважаемой личностью». Думаю, таким образом, сказывались его писательские выступления перед публикой, в коих он участвовал много и охотно.

Роман Солнцев очень многим помогал. Это — свойство его открытой души. Потребность. Помогал деньгами, словом, авторитетом. Собственно, этим и отличается внутренне богатый человек от бедного. Бедный просит за себя, богатый — за другого. Бедный тянет к себе, богатый отдаёт от себя. И так далее. Иногда Солнцев отчаянно ворчал, видя, как даже самая искренняя помощь может плодить чужую зависть и прилепившихся паразитов. Он, вероятно, очень страдал от этой «изнанки» своей неохраняемой доброты.

Его книги выходили, пьесы ставились в лучших театрах страны, началось сотрудничество с кинематографом и телевидением. Дома, сидя у телевизора, я невольно узнавал, с кого именно написана героиня... Ответственность и смелость — писать «по живому». Участвовать в чём-то частном и уметь видеть в нём общее. Сверхделикатность на земле и сверхбесстрашие в мире идей и принципов. Языком искусства и простой сердечностью он пытался снять с затёртых понятий кавычки-клеймо. Чтобы не кисло-саркастически произносили люди «страна-а-а», а гордо — Страна! Чтобы не «хорошо бы...», а — Хорошо! Сгущающийся идеологический маразм вокруг и ожесточение во имя феодальных выгод делали его литературное донкихотство ещё более одиноким, но таким нужным примером!

Прошло двадцать лет. Жили-были. Были-жили. Иногда случались звонки. Иногда ненадолго вспыхивала переписка. В общем-то, все в курсе всего. Жизнь каждого разогалась, как состав. У каждого своя колея. Вот уж и я главный редактор чего-то там в своём Ижевске... И список обязательных тех книг давно одолел. И не пью, и не курю, и с норовистыми, своими уже, авторами не первый год «бодаюсь»... Тук! Тук-тук-тук. Двадцать лет прошло! Двадцать «каких-никаких!» И вот — девяностые. Переворот. Перестройка. Переименования. Переосмысления. Пере-пере-пере... Всему — «пере!» Солнцев пошёл в депутаты. Но быстро понял, что обман в России тотален, потому

что доверчивые и разозлённые люди склонны к какой-нибудь единственной «всеобщей правде». К очередной и недолгой закавыченной «правде», которую ловкие манипуляторы испускают из уст своих, как веселящий газ... Я читал его огромную полосовую статью в «Литературке» — «Свадебные солдаты». Хотя и названием всё сказано. На то и поэт. Снайпер, убивающий ложь точно посланным образным взглядом.

Солнцец успел подружиться с Аркадием Исааковичем Райкиным. Очень дорожил этой дружбой и гордился ею.

Детей в семье не случилось. Его дети — книги. Журнал «День и Ночь». Детки в Литературном лицее. Люди, влюблённые в Слово, в Дружбу. Пишу эти слова с прописной буквы, как имена собственные. А благодарные или нет получились плоды? Бог рассудит, время — покажет. Будут ли ухаживать в бестелесной старости, или обрекут на забвение и одиночество? Никто не знает. Дети не обязаны тащить нашу кончившуюся жизнь на своих плечах, подменяя чужими сбывшимися достижениями свои — будущие. Но дети не предадут нас, если просто обопрут на достигнутое, чтобы шагнуть дальше. Вверх! Вверх! Через ступеньку, через три сразу... Тук! Тук-тук!!!

Для меня в эти «новые» годы началось замечательное время — плодотворное и бескорыстное сотрудничество с журналом. Благо, вот они: и знакомый «а/я», и «электронка». Знаете, наверное, есть «ген» высшего текстового удовольствия — найти хорошего автора, профессионально приготовить и отредактировать рукопись. И ухмыляться хитро, дождавшись печатного результата и авторского «спасибо». Полагаю, что этим «геном» я обязан и Солнцецу.

В 2004-ом году я вновь нажал кнопку дверного звонка квартиры Романа и Галины. Академгородок тот же, квартира — уже трёхкомнатная. Из прихожей раздался лай собаки. Было забавно, когда после стольких лет разлуки хозяева распахнули дверь и стали перво-наперво толкать в руки гостю сырое липкое мясо.

— Дай собачке лакомство! Дай скорее! Предполагалось, что таким образом добродушнейший домашний охранник (на всякий случай) поймёт: свои! По-человечески обнимались и жали руки мы уже после входного ритуала. Пожалуй, это тоже очень характерный жизненный эпизод. По-Солнцецу все должны осмысленно и наперёд, безусловным авансом любить друг друга. Агрессия немислима в принципе. Каждое живое существо при встрече должно отдавать другому «лакомый кусочек». О! Пёс просто взбесился от прилива положительных эмоций. Ещё бы! Логика жизни: чем больше в дверь войдёт своих, тем больше получится чудесного и полезного лакомства.

— Знаешь, каждый номер журнала делаем, как последний... Хотя не закрывайся совсем! Устал. — А что, если журнал — это главный твой «тираж»? Высшая фаза всего творчества? Живой огонёк, обучающее пространство, творческая крепость. Или скит. Островок настоящего в океане пиара? Оба, уже седые, мы не торопясь шли по тропинке к его осквернённому гаражу, из которого совсем недавно воры угнали машину. Роман говорил об этом без раздражения, скорее, с брезгливостью: «Повсюду знаки разрушения». Плохое наступало и наглядно сжимало своё смертельное кольцо.

Ещё, ещё несколько лет сотрудничества. Он много пишет. Присылает в Ижевск острые, угрюмые пьесы. Я в ответ звоню из Ижевска в Красноярск, задаю дежурные вопросы — почему-то не могу поймать нужный тон. Обрабатываю и присылаю рукописи. Голос у него по телефону, как всегда, тихий, разговор лаконичен. Письма тоже, чаще всего, короткие. Жили-были. Никогда не жаловался на плохое самочувствие. Не позволял себе такого. А потом — всё: жил-был. Осталось только готовое, заглаженное течением дней, как камушек с берегов Енисея, округлое «был»...

Ладно, оглянемся, раз такое дело... Смотри, друг! Да не в землю смотри, не в землю! Вон какую тучу дел завернул и оставил нам человек! Не бедным ведь ушёл в небеса. И не бедных оставил после себя. Память — это дорога с двухсторонним движением. Но не пресловутый путь между прошлым и будущим с транзитной пересадкой в точке реальности. Иначе. Дорога вне времени. По которой один поток памяти стремится из личного превратиться в общий, а другой — наоборот. Дорога идей и поступков! Бывают и впрямь на ней и свои скорости, и свои заторы, и герои, и жертвы. Но дорога создана не для этого. Она существует, чтобы жизнь продолжалась. Не память ради памяти. Но память — ради продолжения дел. Не мы создаём эту трудную практику. Скорее, трудная практика создаёт нас, помнящих.

Не врать при жизни сложно. Не наврать об умерших ещё сложнее. Все живые, произнося слова по поводу минувшего, испытывают нормальный стыд. Что ж, иные миры недосягаемы для слов. Зачем же ушедших-то мы украшаем? Хотя и не грешно, наверное, такое враньё. Жизнь продолжается просто — в участии.

Сегодня я говорил о том Романи, который существует внутри меня с 1969-го года и благополучно продолжает существовать сейчас в виде интонаций, принципов, дел и соосных, сотрудничающих друг с другом идей. Этого вполне достаточно, чтобы моя внутренняя жизнь не говорила о «потере» слишком уж безутешно. Дело сделано — обмен временами и жизнями состоялся — и путь продолжается.

г. Ижевск



Николай Беляев

Долг памяти

Тоненькая книжечка, изданная Татарским книжным издательством в тысяча-девятьсот-забытом году. «Я иду по земле». Автор — Ренат Суфеев. Какой она была радостью для студента физико-математического факультета нашего КГУ и всех его друзей! Ещё бы — первая книга стихов! Своего рода удостоверение, экзамен на литературную зрелость... Хотя до зрелости было ещё далеко, всё только начиналось. Были литобъединения, обсуждения творчества таких же, как мы, никому не известных поэтов, жаркие споры на одну тему — что же такое Поэзия? Меня всегда поражала скорость, с которой он читал, жадно набрасываясь на новую книгу. Казалось, он не читает, а только просматривает купленный на студенческие копейки сборник стихов, а через несколько минут может уже в разговоре процитировать понравившиеся строки...

Были у нас и выступления перед набитыми студенчеством залами, когда порой «действия» выплывали на улицу, и мы продолжали чтение стихов «на сковородке» перед университетом, замечая, что иной раз остановившиеся случайные прохожие «обалдевают» от услышанного, не понимая — что это за несанкционированное зрелище? — студенты, мальчишки — прямо на улице! — читают стихи... В том числе — и очень странные, нигде не опубликованные, никем не одобренные, звучащие сомнительно и непривычно... Это заставляло думать. Позднее всё это назовут эпохой XX съезда. Но стихи были не о партии, не о Сталине (хотя и о нём тоже). Стихи были — о народе, о его горестной жизни...

Звёзды, им зажжённые, с Кремля не свалились.
Он и сам в нём часто стоит за окном.
Говорят, у Сталина был однофамилец,
Гордый и жестокий. Я не о нём...

Однажды утром я развернул «Литгазету» и, увидев в ней статью Андрея Вознесенского «Мы — май!», проглотил её, с радостью обнаружив, что «наш Андрей» привёл в ней стихотворение Романа Солнцева, «физика из Казани», тем самым поставив его рядом со «звёздными именами» Пабло Пикассо, Ренато Гуттузо. Я взял газету и отправился к Ренату, к нашему «Ренатине», который жил тогда недалеко, под кремлём, на Подлужной, вместе с молодой женой Галей в «доме Романовых», в маленькой клетушке. Застал его ещё спящим. Разбудил криком «Подъём!» и шлепком газеты. Он недоволено морщился, жаловался на произвол, кряхтел, потом умылся и прочёл статью. Вознесенский процитировал его стихотворение «Звериную

шкуру я сбросил к чертям...», которое кончалось на молодой звонкой ноте и, конечно, было близко Вознесенскому по смелости и манере выражения: «Я молнии, как собак, привязал ■ К земле железною проволокой!... ■...Я, Человек — аккумулятор Солнца!».

Говорили мы тогда об Андрее, о горизонтах, которые перед нами открываются, но в глазах его заметно проступала не только буйная радость, но и задумчивость, тревога...

Мы уже достаточно были «избалованы» местной прессой, и у него, и у меня имелись публикации в главных казанских газетах. Но в Москве — ни в газетах, ни журналах — мы ещё не печатались. Это пришло позднее. А тут — сам Вознесенский! Будущее рисовалось яркими красками. Будут, будут новые стихи и публикации!

Да ещё какие! — одна ромкина подборка в журнале «Юность» с предисловием Константина Симонова чего стоила! Хотя знаменитая в те времена «Юность», это, вроде бы, чуть позднее, после окончания КГУ... Были там, в «Юности», и белые стихи, посвящённые мне — «Баллада о последней спичке», стихи, которые кончались удивительно совестливыми строчками: «Я хочу быть последней спичкой. Я боюсь быть последней спичкой». Только посвящение редакция почему-то сняла, поскольку лишние имена вообще в те времена не одобрялись, считались вещью подозрительной (кто знает, что таится за той или иной фамилией!). А о спичке — это были стихи, написанные в тайге Кузнецкого Алатау, в геологии, в отряде нашего общего друга-геолога Геннадия Купсика, у которого оба мы — жаль, что не в один сезон! — работали маршрутными рабочими или радиометристами... После одной из таких поездок «в геологию» Ромка и стал Ромкой, а не Ренатом — его геологически-поэтическое русское имя впервые появилось с подборкой стихов в журнале «Сибирские огни».

После окончания КГУ он вместе с женой Галей Романовой уехал работать в Сибирь, преподавать физику в Красноярском Политехническом институте. И начал издавать книгу за книгой то в Москве, то в Красноярске. Писал много, иногда казалось — излишне торопливо, но в каждой из новых книг были стихи пронзительные и настоящие. Позднее я запомнил высказывание одного из московских издательских редакторов: «Если в книге есть хоть одно настоящее стихотворение — книга уже имеет право на жизнь!»

Иногда, как всегда скупое, его книги издавали и в Казани. Роман Солнцев стал известен, но мало изменился внутренне — был всё тем же

талантливым, обаятельным, весёлым, умным, лёгким в общении парнем... Поэтом. Честным и совестливым.

Немногие в литературном общении обладают этими качествами. «Он был талантливой меня...» — строчка из его стихов, посвящённых Вампилову. Как редки такие признания в русской поэзии! Сегодня я, помня эти строки, твержу их в его адрес...

Но цену себе он, конечно, знал. Помню, меня развеселили его обезоруживающие строки: «Вот я пишу стихи. А вы — умеете?»

Умели — вроде бы — многие. Но он неповторим даже в тех стихах, где встречаются труднообъяснимые обороты и языковые шероховатости. Он был настоящим лириком — со своим голосом, своим видением мира. И при всём том оставался добрым, щедрым, улыбчивым человеком.

Летом Роман, обычно с Галей, нередко появлялся в Казани, навещал Мензелинск, где жили его мама и сестра, мы виделись, бродили по городу. Встречались иногда и на съездах Союза писателей в Москве, где он нередко знакомил меня со своими друзьями-сибиряками — с тогда ещё живым классиком Виктором Астафьевым, поэтами Марком Сергеевым, Вильямом Озолиным, Зорием Яхниным... Увы, сегодня все они уже там...

В те, уже далёкие от нас, шумные времена «перестройки» Роман Солнцев считался очень известным поэтом, прозаиком, драматургом, автором нескольких постановочных фильмов, прошедших по Центральному телевидению, членом знаменитой «межрегиональной группы» Верховного Совета, доживающего свои последние дни Союза ССР, а в 1994 году вместе с Виктором Астафьевым создал и возглавил красноярский журнал «День и Ночь», вобравший в себя не только всё талантливое в Сибири, но и за её пределами — от Сахалина до Риги.

Не забывал он и своих земляков — многие из казанских литераторов, особенно молодых, считали за честь печатать свои стихи и прозу в его сибирском журнале, который стал популярней многих московских литературных изданий.

Казань относилась к Роману Солнцеву довольно сдержанно. Крайние «националы» считали его чуть ли не предателем своего народа, поскольку он пишет не на родном, татарском, а на русском языке (тем самым он попадал в список, где присутствовали и Гавриил Державин, и Анна Ахматова!); другие не понимали, как можно касаться слишком острых тем, не одобряемых многими партийными чиновниками от литературы.

Помню один из ромкиных рассказов: его пьеса обсуждалась для постановки в довольно известном московском театре. С самого начала шла ремарка: «Правление колхоза. На стенах — портреты Маркса, Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнев, Андропова, Черненко...». Зачитав этот список, режиссёр понимающе усмехнулся: «Ну, это мы уберём, снимем...». Автор с невинной улыбкой вроде бы согласного человека, громко спросил: «Кого?». И в комнате, где проходила читка, возникла, как у Гоголя, — немая сцена, недоуменная, растерянная тишина: верно, действительно, — «Кого?... Театр, да и только...

Когда началась перестройка, Союз писателей СССР забурлил, и Роман Солнцев развил активную деятельность, приняв участие в создании сначала движения «Апрель», затем — Союза российских писателей. От Казани принял в этом участие и я, грешный. На учредительном съезде СРП меня даже избрали в Координационный совет, я попал в число таких имён, как любимые нами Булат Окуджава, Александр Кушнер, Николай Панченко, Григорий Поженян и целый ряд других. Мой старый друг Ромка Солнцев вместе с другим выпускником нашего университета, Игорем Золотуским, были избраны сопредседателями нового творческого союза. На одном из первых, весьма шумных заседаний Совета, произошёл инцидент — Золотуский совершил демарш — в знак протеста против чьей-то слишком «совковой» речи встал и покинул комнату, в которой все мы сидели. Роман вышел вслед за ним.

Меня поразило, с какой поспешностью их места во главе стола тут же заняли два других товарища, поднаторевших в писательских баталиях. Мне не оставалось ничего другого, я встал и пошёл искать ушедших. Найдя их в небольшой соседней комнате, стал уговаривать вернуться, ибо «переворот», устроенный в их отсутствие, ставил под удар само существование только что созданного нового писательского Союза. Вернулись... И два ловких товарища, самозванно воссевшие на председательских стульях, вынуждены были освободить «завоёванные» места. Заседание продолжилось. Снова возобновились шумные и смелые речи, принимались какие-то решения, но вскоре я перестал ездить на координационный совет — подступала зима, надо было топить углём печку и налаживать жизнь, поскольку я в то время обменял казанскую квартиру на сельский кирпичный дом, в котором живу и работаю до сих пор.

С Романом Солнцевым повидаться больше не удалось, хотя оба мы надеялись не раз ещё встретиться и обняться в Москве, куда он время от времени наведывался. Однако я регулярно получал от него журнал «ДиН», и, конечно, книги, выходившие в Красноярске. Последними были солидный том прозы Романа «Дважды по одному следу» и великолепно изданный двухтомник стихов «Избранное».

Не знаю, успел ли он получить мой слабый подарок за всё, свою последнюю книгу, изданную в Казани, — «Помню. Слышу. Люблю.» — книгу, посланную ему незадолго до трагической операции.

И вдруг — электронное сообщение:

«Я сам болен, 6 февраля у меня вырезали... о чём и говорить всегда жутковато, учусь с тем, что осталось, двигаться... питаться... Не знаю, вытану ли. 68 лет.

Ладно. Алла бирса, как говорят татары...

Обнимаю. Твой Рома.

9 марта. Прости, что не поздравил твоих женщин... большей частью пока лежу, отсыпаясь...

Последними в нашей переписке навсегда остались его два слова в ответ на моё электронное письмо с пожеланием выздоровления. Они напоминают

трудный вздох: «Спасибо, милый...». А через неделю его не стало. Навсегда. Неотвратимо и горько. Он ушёл, закончив свой нелёгкий земной путь, в котором было всё — и надежды, и свершения, и любовь, и промахи, и успехи. Ушёл, оставив

нам свои книги, — главное, ради чего живут поэты и писатели. В них — его мысли и образы, его душа... То, что в нас, хочется верить, — бессмертно! И мы не шепчем: «Прощай, дружище!». Уместней тихое и горестное: «До скорой Встречи!».

Веруем в своё призванье

Поэт, живущий где-то в Уругвае, со мной связался через Интернет, хоть я его, естественно, не знаю, да и компьютера у нас в деревне нет. А он мне пишет: «Дерево квебрахо шумит листвою вечнозелёной поутру. И как в России — вдалеке собака о чём-то лает — слов не разбираю...»

Я другу отвечаю: «Незнакомец! Собаку просто надо накормить. Хуан Диего Педро де-ла-Гомес советовал ворону подстрелить в подобном случае. Хотя бы... Но однако, Россию все мы любим одинако...»

На это отвечает нам поэт, живой, хотя ему — две сотни лет: «Я вас любил... Любовь ещё быть может... Но пусть она вас больше не тревожит».

Нас кормит жизнь,
а не искусство...
Павел Мелехин

Кого-то кормит ловкость рук,
кого-то — знания и званья.
Мы — веруем в своё призванье,
в свою науку из наук.
И что нас кормит — неизвестно.
Улыбка? Вера в торжество,
в победу Слова?
Если честно —
не знаю...
Серым — вещество
не зря назвали в черепушке...

Но — Александр Сергеевич Пушкин
нам показал пример. И мы —
живём! И не приемлем Тьмы.

И помним выдох-стон немецкого поэта
в момент его ухода: «Больше света!»

Я слышу — говорят они со мной —
леса несозданных ещё стихотворений,
зовут грядущей хвоей и листвою,
живой, шумящею для новых поколений.
Мне не войти под сводчатую сень,
тропинок будущих не разгадать затею,
но я приветствую тебя, мой новый день,
и постараюсь сделать — что успею...

Роману Солнцеву
Только в мире поэзии —
можно жить и дышать.
По-над градами-весьями
свой полёт продолжать.
Ослеплённо и горестно
быть счастливым, что есть
служба чести и совести,
сердца зрячего весть.
Что под звёздами-лунами
чист, студён, как родник,
жив родной, непридуманный
звучный русский язык!
В нём — случайно, напрасно ли? —
с самой древней поры —
если девушки — красные,
если парни — добры...
А земля обещальная —
нам дарует покой
тихой песней прощальнойю,
неподдельной тоской...
Над родимыми гнёздами —
уходя, воспарим
в небо тёмное, звёздное
к праотцам неземным.

Памяти Осипа Мандельштама
Гвозди делать или шестерёнки —
из живых людей...
В наши глинозёмные потёмки
столько белых втоптанно костей!
Нам ли всех пересчитать, потомки...
Что для вас мы — прошлого обломки,
пыль и прах без права новостей,
пьедестал для молодых властей
волостей, краёв и областей...

— Пенсия — не песня: жалкий прах...
— Получил?
— Да ну её в болото!
Если Пушкин умер весь в долгах,
где уж нам надеяться на что-то...

На последней прямой
не щадят ни коней, ни моторов.
На последней прямой —
гонят, всё выжимая из них.
На последней прямой —
не до праздных глухих разговоров.
Бормочи, не стесняйся,
из глубин твоих рвущийся стих!

~ Валерию Трофимову

Корзина — говорил один чудак —
спасла литературу от засилья
желающих прославиться за так,
без всякого таланта и усилья.
Я с этой дерзкой публикой знаком,
она ко мне ходила косяками.

Не каждый был, конечно, дураком...
Но вместе — все мы — были дураками.
Надеялись: вот поумнеет мир,
система охранительная рухнет,
и — возрокочут струны наших лир,
и ахнет публика, и возликует, ухнет,
и на руках нас в новый век внесёт,
торжествовать, вкушать нектар и мёд.
Наивные — не зная языка,
надеялись — расставит запятые
бездарного редактора рука,
а мы — взлетим под облака иные —
к Свободе, Братству, Разуму, мечтам...
Страна счастливая — и аз тебе воздам!
Я встану — поддержать тебя — атлантом,
скульптурной силой, мужеством, талантом!
Ты расцветёшь, забыв мороку пут,
преобразит просторы вольный труд,
без принудиловки колхозной и совхозной,
где не стихами говорят, а прозой —
о допустимости запашки скоростной,
и пользе ядохимикатов в летний зной...

...Мы тоже были глупы и речисты.
Но — народились на земле экономисты,
и доказали нам, как дважды два —
что всё, чем заняты поэты — лишь слова,
что мы — шпана, эсеры и эсдеки,
что суть не в лозунгах, понятно,
в человеке
разумном...
В цифрах, выгодах, делах!
И потому — все наши вирши — прах...
И нас одно спасти способно — рынок,
где будет всё — от песен до ботинок,
где каждый купит то, что углядит,
что нужно каждому... И рынок — победит!

...Переворот произошёл, почти бескровен...

— Почём Чайковский, Бах, почём Бетховен?
— Почём заморская футбольная команда?
— А вот — рассвет над Костромью!

— Не... Не надо...
Я в регионе скважину купил,
она — и кормит, и поит шампанским,
я избран мэром областным тьмутараканским,
и эту землю — честно! — полюбил...
Вот эту девушку — с раскосыми глазами —
купил бы ненадолго... Как глядит!
Зачем ей ждать кого-то под часами?
Обидно, жаль, со мною — не хочет...

— Вы правы, хороша она, нежна.
Вам с ней не справиться.
Она — моя жена!

~
Время сносит хрущёвские пятиэтажки,
забывает — как жили-ютились до них
в коммуналках, в бараках,
в клоповниках страшных,
в насыпушках, в избушках почти лубяных...
Экскаватор крушит и свергает бетонные плиты,
отслужившие людям... И мусор — на свалку везут.
Как последний привет от эпохи уже подзабытой,
над которой, как будто, последний свершается суд...

~
Дикий мёд, вино из одуванчиков,
древний привкус горечи в крови —
гонят по стране мятежных мальчиков,
не богатства ищущих — любви.

Настоящей, честной, понимающей,
видящей, и мудрой, как змея,
за собою все мосты сжигающей,
ради вечной ценности — семья!

Чтобы улыбались — год за годом,
и в достатке жили и в труде,
чтоб народ — великим был народом,
а не кое-как и кое-где...
Чтобы оставляли след в Истории,
(не кровавый и жестокий след!),
чтобы внуки — им, великим, вторили,
дальше шли, туда, на чистый свет
Истины, Добра и не обманчивых
луговин,
цветущих по весне
солнышками жёлтых одуванчиков,
воссиявших миру, как во сне.

~
Я оставлю дочери в наследство
россыпь самых непохожих строк,
от бессонниц слабенькое средство,
всех дорог и поисков итог.
Пусть «мой дар — убог...»,
как не однажды
сказано бывало до меня,
истомлён и я духовной жаждой,
и в руках у Бога — жизнь моя...

~
В душу запавшие с детской поры,
(век не найти живописней и краше!) —
волжские кручи, холмы и бугры,
это былинное зрелище наше.
Этот — до Каспия — дивный простор,
рощи и пажити, и деревеньки,
эхо Урала, предчувствие гор,
память Орды, Пугачёва и Стеньки.
Нам не уйти от тебя никуда,
вечно звучит твоя музыка в сердце —
золото, синь-голубая вода,
небо, в которое не наглядеться!

Снег — ляжет, растает, уйдёт в облака,
и снова — в поля, родники и истоки
вернётся, пока мы считаем века,
свои пятидневки, минуты и сроки.
И всё же — кружится, витает, поёт,
нежданный, спасительный, розово-синий,
и всё-таки — белый! И ты, очумелый,
стоишь, улыбаешься, как идиот!

Станиславу Говорухину
И ступки времени, и пузыри пространства,
и переходы в виде чёрных дыр
так умозрительны... Но нет киносеанса,
где ты бы, сидя, вдруг не ощутил,
что время движется толчками и рывками,
как говорил — давно! — один поэт.
Искусство монтажа живёт веками.
«Кино Платона» — есть ты или нет —
рисует на стене чреду событий,
понятных только с помощью наитий.

Жизнь своевольная растений,
срекоз резвящихся балет,
и в яркой зелени весенней —
фиалки нежный фиолет...
Всё трогает — и свет, и тени,
и звук, и запахи, и цвет,
и формы, в коих каждый гений
даёт единственный ответ
на все вопросы поколений...

Е. А. Е.
Поэт в столице — больше, чем поэт.
Поэт в провинции — талантлив или нет —
он что-то вроде местного придурка,
не выше пешки шахматной фигурка.
И сколько к небу взор не возноси —
так было, есть и будет на Руси.
Но — живы, свищут в роще соловьи:
«Пой, не скрывайся, милый, не тай!».

Не сразу — музыку расслышать удаётся,
не пробуй взять её с разбега, с кондачка...
Как в зажигалке — и в тебе огонь зажжётся
не с третьего, так с пятого щелчка.

Не вам, политики, поэзию корить!
И как судить её вам не наскучит...
Поэзия — хотя бы говорить
и слышать перлы, вами сказанные, учит!

*Перед картиной
Верещагина
«Апофеоз войны»*
Всех найти и сложить
покаянной горой —
содрогнётся отчаянный самый герой —
до небес встал бы памятник павшим:
50 миллионов Второй мировой...
27 — из оплаканных — наши...

с. Ворша

Эдуард Русаков

Из глаз — в глаза



С днём рождения, Рома!
Ещё долгие месяцы после твоего ухода машинально звонил в редакцию журнала — и слышал твой живой голос, записанный на автоответчике. Вот и сегодня, в канун твоего юбилея, обращаюсь к тебе, как к живому...

Перечитываю одно из твоих грустных четверостиший, которое называется «Автобиография»:

Романтик был, простого норова...
Родня мне: русичи, татаре...
Сторел, как верный пёс, которого
Не отцепили при пожаре.

А ведь когда-то не было такой грусти в твоих стихах, мажорных и красочных, полных безоглядной веры и безудержного напора. С ними ты ворвался в русскую поэзию шестидесятых. И был сразу замечен.

Помнишь, как сияло холодное солнце над Красноярском в тот сентябрьский день 1963 года, когда мы впервые встретились на каком-то молодёжном вечере в «техноложке»? Ты только приехал из Казани после окончания университета (физик и лирик в одном лице!) — и сразу отправился покорять центр Сибири. И, конечно же, покорил. Я был студентом-медиком, Женя Попов (наш общий вечный друг) ещё учился в десятом классе, мы знали о тебе по статье Андрея Вознесенского «Мы — май», посвящённой молодым поэтам. Лучшие слова этой статьи были посвящены тебе, Роману Солнцеву.

В тот первый вечер мы долго шатались по городу, засыпанному золотой осенней листвой, пили дешёвое вино, декламировали стихи в Суриковском сквере. Помню, как ты — смуглый, кареглазый, порывистый — звонко читал свою «Оду скорости»:

Мы памятник скорости
Поставим вскорости.
У постамента — чёрная черта,
На постаменте — ни черта!

А разве можно забыть поэтические вечера в молодёжных кафе («Мана», «Бирюса»), переполненные залы библиотек, восторженные глаза девушек, влюблённых в тебя (о! сколько их было, — не счесть...), всевозможные семинары, поездки по краю — от Норильска до Абакана (тогда он был «наш», если кто не помнит), и после каждой из этих поездок рождались стихи, стихи... «Белые ночи под Енисейском», «В посёлок Сурикова ночь сошла», «От физиков уходят жены», «Нету любви, нету!» Кстати, даже это трагическое стихотворение ты читал с таким темпераментом и азартом,

что каждый, кто слушал тебя, невольно утверждался в обратном: «Есть любовь, есть!».

Ты был по-хорошему честолюбив, рвался к успеху и добивался его. В первые годы явно тяготился нашим провинциальным городом, нередко в сердцах приговаривал: «Эх, старичок... надо драть отсюда, драть!».

Но постепенно прирос душой к Красноярску, породнился с ним, и даже когда позднее появилась возможность переехать в столицу, ты этой возможностью не воспользовался. Жадно осваивал новые жанры — и был так же, как и в поэзии, успешен и в прозе (помню первую твою повесть «Ню-ню-ню», а потом был скандал с повестью «Имя твоё единственное»), и в драматургии (особенно — в годы перестройки).

В те хмельные эйфоричные времена вся страна смотрела фильмы по твоим сценариям — «Торможение в небесах» (с Георгием Жженовым в главной роли), «Запомните её такой» (с великой Ангелиной Степановой). Помню, герой одной из твоих пьес (прототипом его был известный многим красноярцам нестареющий бунтарь Николай Клепачев... он и сегодня бунтует!) пробивал головой кирпичную стену — и эта метафора с восторгом воспринималась столычными зрителями. Ты и сам тогда часто ломился в глухие стены и в запертые двери — и в годы перестройки эти подгнившие стены рушились и двери срывались с петель, а вот позднее, когда желанная демократия, казалось бы, победила, ты вдруг с изумлением обнаружил, что новые стены пробить куда труднее, потому что они из ваты...

Ты разделял тогда всеобщие либеральные иллюзии, был избран на съезд народных депутатов СССР, выступал там, отстаивая интересы сибиряков, а позднее, после краха путчистов и развала Союза, откликнулся на призыв первого губернатора края Аркадия Вепрева — и на несколько лет превратился в высокопоставленного чиновника «с человеческим лицом» в обновлённой (как тогда казалось) администрации. В ту пору мне тоже довелось поработать (вернее — послужить) рядом с тобой — и я был свидетелем того, как быстро ты разочаровался во многих иллюзиях. Не раз вспоминались тогда мандельштамовские строчки «Власть отвратительна, как руки брадобрея...». Любая власть! Ведь на плечах у каждого чиновника — незримые погоны, и надо постоянно помнить об этом и соблюдать строжайшую иерархию, а мы с тобой «гнилые интеллигенты» — разве могли мы этому научиться?

Уже на излёте своей недолгой административной карьеры ты «сочинил» одно из лучших своих творений — журнал «День и Ночь». Помнишь, как



полушутя, в порядке бреда, «как бы резвяся и играя», мы взахлёб придумывали этот журнал — и мне, Фоме неверующему, тогда казалось, что всё это, конечно, пустые фантазии, и ничего-то из наших маниловских прожектов не получится... А ведь получилось! Именно тем ты и отличался всегда от меня, что не ограничивался фантазиями, мечтами, а упрямо, упорно, настойчиво добивался их осуществления.

И пятнадцатилетнее существование журнала «День и Ночь» — без постоянного финансирования, без штатов и без гарантий — это, без преувеличения, можно считать литературным чудом, прекрасной художественной самодеятельностью, светлым праздником, который всегда был с нами... пока ты был с нами.

Многолетнее хождение по кабинетам, выколачивание спонсорских денег на журнал и другие издательские проекты (одна книжная серия «Поэты свинцового века» чего стоит!) — всё это изнурительное, мучительное подвижничество, конечно же, сильно укоротило твой век. «Так бы

галстуком и удавил!» — прорвалось в одном из твоих стихотворений, посвящённом тем же самым спонсорам. И не надо ждать добрых слов за всё, что ты сделал, от чиновников с незримыми погонами (тем более — эполетами) на сановных плечах — они стихов не читают. А спасибо тебе скажут верные читатели, братья-поэты и все те, кого ты любил и кто тебя любит.

Пройдут годы, Рома, и я забуду дату твоей смерти, но никогда не забуду день твоего рождения — 21 мая... И всегда буду слышать твой голос, твои стихи:

Нет, я ещё скажу, нет, я ещё поведаю,
как нам далось легко, светло, как сон во ржи,
то, что на свете называется победою, —
А почему? А мы не знали лжи.

Нет, ложь была, несласть над нами тучею,
и огненной реки шипела полоса!
Но шли дорогой мы, дорогой самой лучшею —
из глаз в глаза.

г. Красноярск

Михаил Стрельцов Держусь



181

Михаил Стрельцов ■ Держусь

Странно вспоминать: с начальных классов я занимался в городском народном театре, а когда школа и попытка штурма режиссёрского отделения Кемеровского института культуры остались позади, уступив место библиотечному обучению, некая тоска по сцене толкала меня к чтению пьес и сценариев. От Лермонтова, Гоголя, Островского и Чехова до Леонова, Вампилова и Рощина. Однажды в библиотеке предложили серенькую, но весомую книгу. Так я познакомился с драматургом Романом Солнцевым. И думал, что, видимо, это классик, наверняка давно состарившийся. Потому что имя уже было на слуху, нет-нет да упомянет о нём Сергей Донбай, руководитель областной литературной студии «Притомье», куда я повадился захаживать.

Затем я увидел журнал «День и Ночь». Два экземпляра каждого номера, присылаемых из Красноярска, Сергей Лаврентьевич бережно передавал для чтения избранным «притомцам», и сколько ни желай, ни тяни руку, ни звони, ни спрашивай — журнал до меня не доходил. Так, дадут полистать минут на десять. Успеешь ухватить кусочек текста, и сразу — какой журнал хороший, вот бы опубликоваться! Что вряд ли. Как я понял, Роман Солнцев что попало не печатает.

Бежало время, в котором эпизодами — снова уплыл из-под носа заветный номер «ДиН»... я снова перечитал пьесы Солнцева... открыл для себя его прозу и поэзию... Не специально, попутно — сообразно с интересами молодого человека, позиционирующего себя в качестве поэта. А году так в 2000-м стал, наконец, избранным «притомцем» и прочитал номер «ДиН» от корки до корки, смакуя свою «избранность», но торопясь — номер ждут другие. Так, в юности, мы читали «Детей Арбата» и «Мастера и Маргариту» — наслаждались, но с наслаждением. За это чувство я полюбил Романа Солнцева заочно.

И не предполагал даже, что судьба сделает такой поворот, и ровно через год мы пойдём с ним за водкой для писательского застолья, а он, узнав, что я из Кемерово, с тонкой иронией будет рассказывать, как на том самом семинаре (мне не надо было говорить, на каком, пусть и на свете меня не было, когда в Кемерово приезжал Смеляков, но легенды живут, пока повторяются) — словом, на том самом семинаре Буравлёв забыл пиджак с командировочными на 200 человек в парке, на берёзке, а утром нашли, за ночь никто не взял. Эта новая байка от Романа Солнцева пополнила мой багаж знаний о кемеровском семинаре 72-го. И вот так сложилось первое впечатление о самом Романе Харисовиче, у которого, кажется, были в

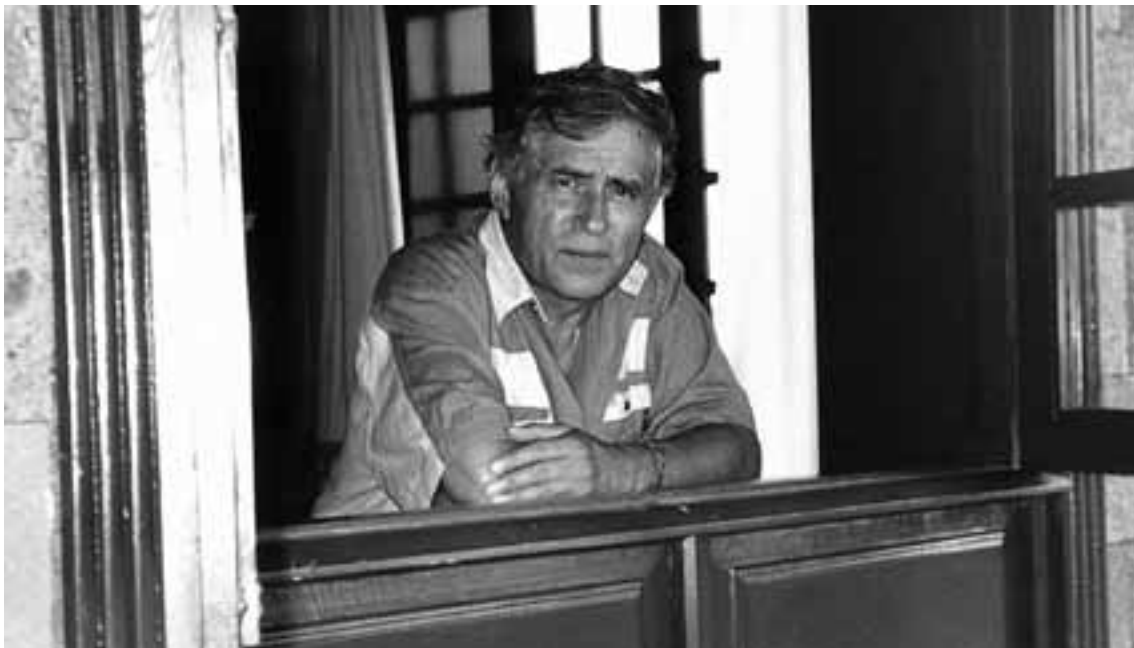
запасе истории про пьющих поэтов на каждый город и каждый год.

При таком спонтанном и динамичном знакомстве как-то язык не повернулся сказать о перечитанных мною пьесах, о журнале. Поблагодарить. Не люблю подхалимажа. А в тот момент похвалы слушателя Всесибирского семинара в адрес руководителя мастер-класса именно так и выглядели бы. Наверное. Теперь я жалею, что так и не рассказал ему о своих впечатлениях. А потом... Потом пошла другая жизнь, в которой возникали ситуации и истории, за которые мы могли говорить друг другу «спасибо». Он чаще. Не потому что я много чего ему хорошего делал (как-то даже перевозил подарки для родственников в Кемерово), а просто он умел, в отличие от меня, говорить «спасибо».

Он не был «старым классиком», каковых я уже, к сожалению, успел навидаться по провинциям. Бодрый, энергичный, юркий, в лад матерящийся, Солнцев, тем не менее, был для многих личностью, которой «спасибо» можно не говорить, и так придёт, всё сделает, всё решит. От него исходило ощущение надёжности, и не зря. Роман Солнцев запомнился, как человек, неохотно допускающий в свой круг, но если уж допустил — уверен, за каждого готов был порвать глотку или отдать последнюю рубаху. Однако, и он уже понимал, что рубах и сил на всех не хватит. При этом — какая-то непостижимая детская доверчивость. Может, поэтому, нет-нет, да и проскальзывал вблизи него проходимец, которому и рубаху отдай, и глотку его врагам перегрызи, а после — и самого Солнцева можно грязью облить. Открытие подлости в человеке Роман переживал сильно и сложно, и вновь круг становился более тесным. Ненадолго.

Эти пульсации обид и прощений касались меня тем боком, что вдруг мы становились близки, переписывались по электронной почте чуть ли не каждый день, обсуждали писательские дела (не секрет, что длительное время на писательских собраниях я «сидел на протоколах»), а потом — резко попал в «зону отчуждения». Проходило три-четыре месяца — и внезапное письмо: «Михаил! Нет ли среди твоих ребят чего-либо для журнала? То, что тебе резко понравилось, запомнилось? Мы делаем новый номер...».

Он насторожённо принял предложение посидеть в жюри первого в Красноярске поэтического состязания «Король поэтов». Был недолго. Но вечером позвонил: «Того ли выбрали? Вдруг не того!». На второй фестиваль напросился сам, но за 20 минут до начала перезвонил, извинился, «жена заболела» — сказал, ещё раз извинился. Книжные каскеты по итогам конкурса — требовал. «Михаил!



Тут все с книжками ходят по «Королю поэтов». Почему мне не завёз?».

Осенью 2004 года мне пришлось пережить развод и сложную финансовую ситуацию в связи с этим. Пошатнулись устои: моя вера в семью, мечта о ней (по Фрейду — без отца же рос) — всё пошло прахом. И не с кем было отвести душу, некому — путано объяснить, что «я дерево, и меня спилили». Само собой написалось письмо Роману. Ответ был для меня странен. «Держись, Михаил! Ты вступаешь во взрослую жизнь...». Вот как? Человек в полном разгаре четвёртого десятка, член правления, руководитель там всякий, а оказалось — это ещё не взрослое, это было так, ничего серьёзного. Вначале расстроился, обдумал. И мысль понравилась! Действительно: чего переживать, началась новая жизнь. Взрослая даже...

Почему-то это сочетание «Держись, Михаил!» в последние годы нашей переписки стало встречаться чаще. И сейчас порой очень хочется получить письмо от него с этими словами. И ответить: «Держусь! Держусь, Роман Харисович!».

Общаться мне с ним было сложно. И не потому, что время от времени «выпадал из круга». Здесь моё. Странное. Природа шутит, создавая двойников. Роман Харисович до боли, до жеста, до манеры рассуждать был похож на моего родственника Юрия Тотыша, журналиста и издателя. Поражённый сходством при первом знакомстве, я долго не мог отделаться от ощущения, что общаюсь не с писателем Романом Солнцевым, а со своим родственником. Иногда мог и ляпнуть что-то невольно, по-семейному. Чувствовал, что Романа это настораживало. Наконец, не выдержал и рассказал тому и другому — при случае. Оба хмыкнули. Каждый в своём городе. Наваждение прошло.

Роман Солнцев был первым увиденным мною писателем с сотовым телефоном. Тогда «мобильник» был, скорее, предметом роскоши, нежели повседневным средством связи. Он ассоциировался с «новыми русскими», а никак не с

писателями, удалёнными от денег, как Луна от Земли. За Романом подъезжала машина, в самолёте прикупал «мизирчик» с коньяком. Этот маленький шик, как мы, молодёжь, это видели — вписывался в программу «умеет жить» тех лет. Как он добивался этого? Бог весть. Но всегда выглядел первым, успешным, красивым.

И как-то не связывался такой имидж с усталым, вынужденным «Алло», после которого не хотелось ничего говорить, хотелось извиниться, что побеспокоил, оторвал от дел.

Господи, в этом «Алло», которое звучало скрипко и обречённо, проносились бремена забот и неудач. А через пару часов, при встрече, уже другой, «успешный», человек с какой-нибудь при сказкой, безобидной подковырочкой, с историей про какого-то пьяного поэта, подвижный, энергичный...

Домодедово. Услуга авиакомпании — автобус для пассажиров до первой станции метро. Пассажиры получают багаж, автобус ждёт. Стоим. Минут через десять ожидания первый вскрик, почти всхлип: «Миша! Может, на такси поедем! Не могу столько ждать!». Не более десяти минут на одном месте. Это было выше его. Ему было нужно постоянно стремиться куда-то, спешить, торопиться. Успеть. И ушёл стремительно, быстро и неожиданно. Успел многое. Чего не успел — не сказал...

Конец октября 2008 года. Переставляем на работе, в библиотеке, книжный фонд. Стою на стремянке, захватил книг больше, чем надо было. Одна книжка выпала. Поднял с пола. Роман Солнцев. Отряхнул, поставил в тесный ряд других. Отхожу на пару шагов. Другая книжка выпадает из ровного стройного ряда. Без видимых причин. Поднимаю. Старенькая, с надорванным переплётом. Роман Солнцев. Через несколько дней случились неприятности по писательской части. С чиновниками. Не любил их Роман. Предупреждал, что ли?

Гамлет Арутюнян Я стану дождём



С тех далёких времён,
Когда мама жила в захолустье,
Утекла не одна
Енисейская буйно — вода.
Если глянешь на север.
Ещё так далеко до устья.
И суровую воду
Процедят не раз невода.

В неводах этих ночь
И небесные звёзды врассыпку.
В неводах этих плен,
Крик мятежного сына в ночи.
И — кричи, не кричи —
Не отменят сибирскую ссылку.
И — моли, не моли —
Далеко от деревни врачи.

Слёзы высохнут сами собой,
Но останется боль и усталость.
Вновь забрезжит рассвет
В этом Богом забытом краю.
И к подушке, намокшей от слёз,
Ты тихонько прижалась,
Осознав, что и вправду —
У обрыва на самом краю.

Ты засни хоть немного,
Хоть чуточку веки сомкни.
За тобой сыновья —
Три сердечка вблизи бьются ровно.
За тобой твоя дочь —
Кареглазая, нити ресниц...
За тобой твоя рана,
Зашитая нитью суровой.

Время вылечит боль,
Лишь останется горький осадок.
И не станет его...
Ты забудешь совсем про беду.
Вот кончается век.
Мама что-то ворожит у грядок.
И с седой головой
К этим грядкам я тоже приду.

Если глянешь на север,
Ещё так далеко до устья.
А холодную воду
Всё цедят и цедят года.
С тех далёких времён,
Когда мама жила в захолустье,
Всё прошло, унеслось,
Не оставило даже следа.



Я стану дождём,
Любящим свою землю.
Не тем летним,
Сиюминутным шалунишкой,
А дождём — тружеником,
Дождём, которым нагружены
Тяжёлые баркасы туч.
Я выпадут там,
Где от жажды
Сгорают посевы,
Где высохли реки
И рыбы ждут разлива,
Где среди многих
Притулился твой огородик, мама.

Старец

Усни. Усни. Спи.
Время, как беремья.
Намаешься.
Веки что гири
В долах Сибири.
Супостат далеко,
А недруги рядом.
Родная сестра им зависть.
Вот через них я и маюсь.
Глотну в бору кислорода
И вспомню, откуда я родом.
В красные, чёрные дни,
Боже, меня сохрани.
Когда солнце вползает
В дней околесицу,
Даже комар замирает
И вмиг перебесится.
Не хочется больше ему
Крови людской.
Но всё же найдётся,
Кто скажет:
— Постой!
Зависть торопит месть,
Надобно всё учесть.
Чтобы не сплеховать,
Слухов погонит рать.
Бром от тоски глотни,
Близятся чёрные дни.
Близятся чёрные ночи,
Путь на земле короче.
Близятся ясные ночи...
Что же я плачу, отче?

183

Гамлет Арутюнян ■ Я стану дождём

Чубчик

1.
Нас в детстве стригли налысо
И было столько слёз:
— Ну, папа,
ну, пожалуйста,
Ведь я уже подросток!
Хоть чубчик,
Ну, хоть маленький,
Хоть несколько волос...
Машинка больно жалила
Не в шутку, а всерьёз.
И солнцем прокопчённые,
Как пёрышки, легки,
Слетали на пол чёрные
Кудряшки — завитки.
Отец шутил,
Как водится:
— До свадьбы отрастут.
Икона Богородицы
Глядела в темноту.
2.
Вот так постригли наголо
Когда-то и отца,
И путь пролёг до лагеря
В сибирские места.
Там были все подстрижены,
Как водится, под ноль —
И русые, и рыжие,
И чёрные, как смоль.
Шутил конвойный мрачно:
— До срока отрастут...
И времена барачные
Глядели в темноту.
Ты был задирист слишком,
Похож на главаря.
Ты стал врагом, парнишка,
И Бог тебе судья.
3.
Но вместо Бога — «тройки»
Решают на паях.
И шлют людишек бойко
В далёкие края.
Страна! Куда ты катишься,
Любимая моя?
Встают в твоей сумятице —
Ночные лагеря.
Краслаги и Карлаги,
Алдан и Колыма...
В них люди — доходяги,
Для них страна — тюрьма.
Пакгаузы, пакгаузы.
Этап. Этап. Этап.
И хаос, хаос, хаос —
Имён, названий, дат.
Зимой сгинешь с холода,
А летом — от мошки.
И голодом расколота
Твоя земная жизнь.

4.
Рукой отца подстрижены
С братишкой под ноль.
Идём под солнце рыжее,
Идём под летний зной.
Давно нас поджидают
На улице дружки,
Их лысины сияют,
Как будто утюжки.
Терять давно им нечего,
Им даже невдомёк —
Они судьбою мечены
И тоже тянут срок.

5.
Конец пятидесятых,
Начало перемен.
И галстуки крылатые
Звёздочек взамен.
И разрешают чубчик,
Как взрослому, носить.
И учат, учат, учат
Родину любить.

Тунгусское небо

Когда мы, рыбаки и удачники,
Медленно движемся к речке,
Совсем незнакомой,
В наплывающий сумрак,
Вдруг откуда-то из облаков —
Разговорчивый голубь.
Зачем из небесной стремнины,
Где боги и царства,
Стремглав, стерженя,
К воде так до одури мчатся?
Зачем ты, такой несмышлёныш,
Враз перепутал и небо, и землю.
И как же тебя мне спасти,
Чтоб ты смог обрести
Уверенность в завтрашнем дне?!
Ведь нежных твоих два крыла
Не спасут при полёте.
А та, что тебя всё ждала,
Да не дождалась,
Ведь она уже свила гнездо
Дорогой мой, с другим...
Зачем же ты мечешься?
Грустишь, бороздишь,
Всё пытаешься понять, проглядеть
Это тёмно-тунгусское небо.
И сумрак плывущий,
И голубь зовущий,
И друг мой похмельный,
И я, незатейный.

Звезда падучая

1.
Что изменилось
С юных, давних пор?
На тот вопрос
Ответишь лишь по случаю...
Лежит в снях
Неприбранных, топор,
Мечтая встать
За жизнь, за лучшую.

В кладовке, смазано,
Лежит ружьё.
Лежат патроны,
Ладно упакованы.
Блестит штыка
Стальное остриё,
Готовое восстать
За жизнь, за новую.

Ещё лежит, заржавела,
Коса.
И серп висит,
Покрытый ржой дремучею.
Ещё глядят
Испуганно — глаза,
Иконы в горнице
На жизнь, на лучшую.

Темно в пригоне.
В яслях пустота.
Скотины нет.
Сдана — на всякий случай.
Гудят в ночи
Тревожно провода,
И катится слеза
Звездой падучей.

~ С. К.
Как беспризорницы — поля.
Гуляет ветер.
И комьями лежит земля.
Весенний вечер.

И дождь неслышно моросит.
Ледок на лужах.
И возглас в воздухе висит:
— Кому ты нужен?

2.
Так трудно разобраться
Что к чему.
Кому отдать
Свой голос ослабевший?
Как превозмочь
Всю эту кутерьму?
Лицо увидеть...
Вспомнить голос певший...
О чём он пел?
О близком и былом.
О том, что есть сарынь?!
Сарынь на кичку!
И всё у нас опять
Пойдёт на слом.
А, в общем-то,
И это нам привычно.

Так редко встретишь
Доброе лицо,
От этого и сам
Душой добреешь.
И думаешь —
Душа, в конце концов,
Не всем дана.
А, может быть, тебе лишь?

Прости, душа,
Что слово затаскали,
И бросили гулять
По пустырям.
Прости, душа!
Она простит, едва ли,
И всё же превратится
В светлый храм.

И мы придём туда,
Согбенные и старые, —
Свечу поставить,
Внука окрестить.
А после ждать весну,
В окошко талое
Глядеть, глядеть...
Прощения просить.

г. Красноярск



Сергей Мамзин

Слышу голос на том берегу

Всё не так

Всё не так, как хотелось.
Пальцы сжаты в кулак.
И смеялось, и пелось,
И страдалось не так.

Всё не так, как мне снилось.
Люди. Страны. Моря.
Всё изъелось, испилось
И истратилось зря.

Измельчало. Иссякло.
Испарилось. Сошло.
Потускнело. Размякло.
Полиняло крыло.

Упорхнула пугливо
От меня птица-Жар.
Отцвела моя слива.
Отшумел мой базар.



Методом проб и ошибок
Мы расставались с тобой!
Дождь затекал нам за шиворот,
Мелкий и затяжной.

Дождь затекал, обжигая
Спины холодным огнём.
Методом проб, дорогая,
Мы далеко не уйдём!

Мы никого не отыщем,
Кто бы сумел нам помочь
В этом знобящем жилище
С видом на позднюю ночь!

Цыган

Цыган лето проспал.
Цыган косу достал.
И на речку — косить камыш!
Размахнулся — упал!
Поскользнулся — упал!
А над речкою гладь да тишь!
Огляделся вокруг.
Может, есть кто — то вдруг?
— только ветер в степи поёт!
Ну, а где же народ?
Бедный народ!
Весь побился об лёд!..

Брату Александру

Слышу голос на том берегу
То ли озера, то ли реки,
Но никак различить не могу
В темноте ни лица, ни реки.

Может это заоблачный гость
Подаёт мне неведомый знак?
Или чья-то берцовая кость
Тускло светит во мгле, как маяк?

Или псов одичавших отряд
Пробирается в зарослях ив?
Или просто сквозь годы летят
Звуки детства, сливаясь в мотив?

Так зачем же и в дождь, и в туман
В непроглядную гулкую тьму,
Понимая, что это обман,
Я бросаюсь навстречу ему?



Осень. Хочется спать до обеда.
Журавли протрубили «отбой».
Всё труднее даются победы
Тем, кто стадом нас вёл за собой.

Да и мы уже даже не стадо,
А какой-то хмельной балаган!
Журавли разрыдались, как табор
Загулявших под вечер цыган.

Эх, Россия моя испитая,
Не страна, а раздор и разлад.
Журавли вон — и те улетают!
И навряд ли вернуться назад...



Такая осень на душе!
Что слышан шелест листьев палых
Невероятно, но уже
И мир окрасился под Палех.
Вернулись реки в берега.
Вернулись птица на зимовья.
И в торжествующем безмолвье
Стоит притихшая тайга
Вернулись старые слова.
Из тьмы небес вернулось Солнце,
И только палая листва
Назад на ветки не вернётся!



Ни любви не осталось, ни денег.
 Ни верёвки, ни, даже, ружья.
 Приходили ко мне на неделе,
 Попроведать былые друзья.

Сокрушались за чашкою чая.
 Призывали беду пережить.
 За окошко смотрели, скучая,
 И ушли, обещая звонить.

Пережил и обиды, и склоки.
 Никого и ни в чём не винил.
 И освоил чужие уроки,
 И ошибки свои не забыл.

И теперь, передумав о многом,
 (не крещёным дожив до седин).
 Выхожу я один на дорогу
 И назад возвращаюсь один!..



Зима или осень. Смешалось.
 Неделю подряд дождит!
 Не жизнь, а сплошная жалость
 И накопленье обид!

Земля в чёрно-белых красках.
 И зябко из-за плаща,
 Ты говоришь мне: «Здравствуй!».
 Похожее на «прощай»...

Гадала цыганка

Мне гадала цыганка на жёлтом кольце,
 Но кольцо ничего не сказало,,
 Я увидел смятенье на смуглом лице
 И в глазах отраженье вокзала.
 — Ничего не изменится. Будет, как есть.
 Вижу деньги. И деньги большие.
 Вижу славу и зависть. Измену и лесть.
 Рядом люди. Но люди чужие.
 Вижу дерево в поле. А выше луна.
 Дом казённый. Трефовая дама.
 Вижу линию жизни — она не ясна.-
 Размывается вместе с годами.
 Мне гадала цыганка на мой интерес,
 Пряча деньги куда-то за пояс.
 Уходила дорога за кромку небес.
 И по ней уносился мой поезд!,,



Отгудели метели.
 Отшумела тайга.
 Мне на прошлой неделе
 Вдруг приснились снега.

И к чему непонятно,
 (За окном зеленыя)
 Жизнь куда-то попятно
 Всё уводит меня.

То к далёкой утрате,
 То к забытой любви,
 Раскрывая в тетради
 Все секреты мои.

Кем я был и что случилось,
 По исчезновению лет.
 Навалилась усталость
 И спасения нет!

Вышки

*Арменаку Арутюняну,
 отцу друга*

И как же такое вышло?
 И как всё произошло?
 Но только на зоне вышки
 Встали вдруг на крыло!

Падали вертухаи
 Мордами в грязь и в лёд!
 И, матерясь, стреляли
 По вышкам вдогон и влёт!
 А те развернулись клином,
 Над лагерем дали круг,
 И с деревянным скрипом
 Тихо пошли на юг!

И зэки на них глядели
 Под оторопь на спине:
 Гляди — ко ты, полетели
 Не иначе, как к весне!

И многие улыбались
 Молча крестясь вдогон,
 А вышки всё удалялись
 Под деревянный стон!..

г. Красноярск



Айдар Хусаинов

Солнце НЛО

188

Солнцевский круг

Памяти Льва Озерова

Он был простой аристократ,
Он подавал пальто в передней,
И ты бывал при встрече рад,
Хотя встречались вы намерднн.

Несильно крепкая рука
Сжимала жизненно, по-плотски.
И не сходили с языка
Ни Пастернак, ни Заболоцкий.

Он был со многими знаком,
Дружил спокойно, без оглядки.
Ему Ахматова легко
Простила две ли, три догадки.

И на прощанье у дверей
Он говорил умно и метко.
А вообще он был еврей,
Но вспоминалось это редко.



Проходит день, который нами прожит,
И я закрыл усталые глаза.
Жизнь — только день, он
лучше быть не может, —
Один поэт когда-то мне сказал.

Я против истины печально возражаю,
Немного выпью, буду во хмелю.
Но вижу я, что дни не приближают
Тебя, тебя, которую люблю.

Вот будет день, я думал, будет пища,
Весь белый свет, работа по плечу.
И был мне день, и яства, и жилище,
Но где же ты, которую хочу...

Жизнь коротка, с любовью не играют.
Который день сгорел уже дотла,
И я глаза покрепче закрываю
Затем, чтоб ты из мыслей не ушла.

Не уходи, побудь ещё немного,
Я не хочу сказать тебе прости.
Твоя спина, как длинная дорога
С изгибами и тайнами пути.



Время судорогой сводит,
Словно ты сошёл с холма,
И заглясь на небосводе
Все далёкие дома.

Там живут другие люди,
Нам, должно быть, не чета,
Разделяет, как в сосуде,
Нас незримая черта.

Все они в далёком прошлом,
Там у них другой расклад,
И о чём-то о хорошем
Эти люди говорят.

— Мы себе не потокаем,
В побуждениях иных
Мы играем, мы мелькаем...
За спиною у живых...



Станиславу Шалухину
Я скажу два русских слова
На башкирском языке.
Поплыву я снова, снова
Вдоль по Ленина-реке.

И, вдыхая дым шашлычный,
Выдыхая тёплый дым,
Буду я таким столичным,
Безупречно городским.

Все вокруг проходит скоро,
Все грохочет, словно медь.
Я приехал в этот город
Откровенно умереть.

Потому, что на просторах
Золотой моей страны
Это самый лучший город,
Чтобы жить и видеть сны.

И, покуда сердце бьётся
Посреди житейской лжи,
Ничего нам не даётся
Тяжелей, чем наша жизнь.

И. З. К.

Не то достоинство, чтоб с яростным лицом
На площади сразиться с подлецом
И пригвоздить его осмысленным позором
К безжалостным досужим разговорам.

Все это дело трёх, пяти минуток...
Но жить! Но выжить! Сохранить рассудок!..

Из башкирской поэзии

Стоит берёза бледно-голубая,
Течёт ручей от неба до земли,
Но свет его неверный выпивают
Все небеса, лежащие вдали.

Видны в воде закрытые ресницы
Всех лилий, обомлевших от луны.
Сорвать бы лилию и с нею насладиться
Тем, что сулят мучительные сны.

Но страшно, страшно ночью голубую
Близ озера, лежащего нигде,
Что из воды появляются толпою
Все девушки, живущие в воде.

Новое солнце

Когда молчит печально дева,
Когда на сердце тяжело,
Опять на сумрачное небо
Восходит солнце нЛО.

И вот уже тяжёлым светом
Планета вся озарена,
И всем изведанным предметам
Даны другие имена.

От света тёмного с вершины
Растут быстрее города,
И люди стонут, как машины,
От непосильного труда.

Что происходит? Что за чудо?
Какое странное кино
Мы наблюдаем ниоткуда
Сквозь замутнённое окно,

Как будто тоже над землёю
Летим, не чувствуя вины,
За жизнью тяжкой, за собою,
Глядим, глядим со стороны.

А шар на небе полуденном
Застыл в задумчивой тоске,
На полувскилке, полустоне,
На тонком — навьем — волоске.

~

Когда я трезв, или когда я пьян,
Когда не сплю, когда бешусь от скуки,
Я помню — есть на свете Себастьян.
Он знает эти муки.

Солнце нЛО

1.
Храни себя, как девочку свою,
Как пристань на реке от ледохода.
Судьба жива любое время года,
И вот она. И для неё пою.

2.
Любую женщину я встречу, как свою,
И дам ей кров под небом лучезарным.
Мы встретились, как будто день базарный
Окончился. Мы на его краю.

Готовь ночлег, хозяйюшка, родная,
Раз делать нечего, остались мы с тобой.
И если мы живём, не умирая,
То мы полны живучею судьбой.

Любую женщину я встречу, как свою.
Уходит век короче дуновенья,
Горит костёр, трещат его поленья.
Мы засыпаем. Встретимся в раю.

Мы встретимся, бесценная жена.
Когда душа к душе мы встанем оба,
Ты скажешь мне, что и до крышки гроба
Ты не была ничем обделена.

~

Опять июнь и дивный звон черешен,
Опять дрожит твоя волшебная рука.
Прости меня, я пред тобою грешен,
Но лишь в одном — что я люблю издалека.

Как ты волнуешь в своём весёлом платье,
Что я сдержать не в силах ярких слёз.
Тебя, как яблоню, я принял бы в объятья,
В далёкий край таинственно унёс.

И в том краю, пред ясным ликом Бога,
Ты расцветёшь, не ведая утрат.
О погоди, ещё совсем немного,
И я сгорю, как много лет назад.

В такой же день, рукой такой же милой
Мою любовь разбили на куски.
И я тогда какой-то странной силой
Остался жив, не умер от тоски.

Но я молчать не стану криводушно,
Она оправдана причиною земной.
Моя любовь была ей безделушкой,
Она так искренне смеялась надо мной.

Опять июнь, и дивный звон черешен,
Опять дрожит твоя волшебная рука.
Прости меня, я пред тобою грешен,
Но лишь в одном — что я люблю издалека.



В необъятной, бездонной, безбрежной
Высоте, где живёт только бог,
Сотворил он великую нежность
И открыл для неё каждый вздох.

Этой нежности только частица,
Что угодно жестокой судьбе,
Может тяжким трудом воплотиться
В человеке — во мне и в тебе.

Отчего ж мы живём лицемерно?
И какая случилась напасть,
Что любовь, и надежда, и вера
Нам не бог, не опора, не власть?

Отчего мы уверены оба —
Стоит лишь отпустить тормоза,
Как звериная красная злоба
Затуманит любые глаза?

Я поспорю с жестокой судьбою,
Я прерву её злой карнавал.
Так позволь мне быть нежным с тобою,
Я ведь нежным ещё не бывал.

Этот труд не оспорит могила.
Он очистит и душу, и кровь,
Если ты не совсем позабыла,
Что на свете бывает...

Озюлин

В конце сентября 1987 года я приехал в Барнаул из деревни, в которой работал по распределению, и зашёл в местный Союз писателей. Секретарша, милая женщина неопределённого возраста за тридцать, спросила, кто бы мне больше подошёл. Я ответил — если можно, кого-нибудь с нежной душой. Она ушла, и минут через пять или шесть в красный уголок, где я сидел, зашёл большой плотный мужчина лет около пятидесяти. Это был Вильям Янович Озюлин. Я показал ему свои стихи, он что-то похвалил, что-то поругал, оставил свой адрес (Барнаул, главпочтамт, ящик 99), и мы расстались. Душа у него и вправду оказалась нежная.

Я писал ему письма, он на них отвечал, он же посоветовал мне ходить в литературное объединение при местном Союзе, и мне удалось несколько раз побывать на его заседаниях, вырываясь из своей Речкуновки, как называл мою деревню Вильям Янович.

Вместе с ним мы как-то пошли в гости к какому-то местному литератору. Это был Борис Капустин. У него недавно вышла первая книга, а лет ему было что-то около сорока. Втроём мы сидели за столом, разговаривали на всякие литературные и не очень темы, они оказались рыбками, говорили и о рыбалке, кстати, ели какую-то сушёную рыбу. Я не знал, как её едят, и поэтому попросил Вильяма Яновича мне показать, как это делается. Он удивлённо посмотрел на меня, взял большими пальцами рыбку, оторвал ей башку, очистил кожу и подал мне. Дальше я ел эту

Памяти Александра Касимова

Ребёнок, ты играешь на пригорке.
Как хорошо бросать слова на ветер!
Они летят, качаясь в синем небе,
И как прекрасно их преображенье!

Вот это стало городом волшебным,
А в нём живут невиданные люди.
Их сердце — нежность, их глаза — усмешка.
Не плачь, не надо — кончилось виденье.

А вот другое — словно окна в небе,
Где ангелы, выглядывая кротко,
Все смотрят на тебя с недоуменьем.
Не бойся их, ты лучше. Ты — ребёнок.

А это что — как зеркало кривое,
А в нём — чужие... Мама, мама, страшно!
И с диким криком ты домой вбегаешь,
Но мамы нет. И папы нету тоже.

А только кто-то сильною рукою
Тебя бросает прямо на кроватьку
И укрывает грубо одеялом,
И в ужасе ты быстро засыпаешь.

А что случилось — ты ведь не узнаешь...

рыбу сам, пил водку, но авторитет мой в глазах Вильяма Яновича уже упал.

Он пошёл покурить, а Капустин, почему-то придвинувшись ко мне вплотную, вдруг зашептал, что Вильям Янович смертельно болен (рак) и месяца через два умрёт. Я был потрясён и не знал, как реагировать на такие, как оказалось, шутки, потому что он прожил ещё лет десять после этого разговора. Наконец мы ушли в изрядном подпитии и поехали в какую-то местную галерею, где должен был состояться вечер поэзии. На месте почему-то не оказалось никого из местных поэтов, и Вильям Янович предложил мне почитать стихи. Я читал уже совершенно пьяным, потому что по дороге в галерею мы выпили ещё одну бутылку, кажется, я не контролировал силу своего голоса, и время от времени пола моего пиджачка отворачивалась, и показывалось головка бутылки. Все вместе производило, видимо, довольно сильный комический эффект. Чем все это кончилось — я не помню, где я ночевал — тоже не помню, помню только, что на Советской площади, когда я ждал троллейбуса, чтобы ехать на речной вокзал, откуда я уезжал в свою деревню, мимо прошла какая-то девица, которая, увидев меня, заулыбалась во все горло. Смутно я припомнил, что она была на вчерашнем вечере. Жизнь моя в Алтайском крае складывалась не очень весело. Меня угнетало общество полупьяных лесорубов и лесников, мне просто было скучно, казалось, что жизнь проходит зря, и все это, естественно, сказывалось на моём настроении. В одну такую минуту я написал

Вильяму Яновичу довольно злое письмо, на которое он не ответил. Это было просто негативное письмо, без претензий личных, но с претензиями к жизни как таковой. С тех пор переписка наша прервалась, а его письма я в минуту довольно мрачную просто-напросто бросил в печку (случай для меня нетипичный). Через месяцев шесть или семь, когда наступила весна, когда я понял, что, скорее всего, уеду из Алтайского края в Башкирию, я решил не уезжать не извинившись и написал письмо Вильяму Яновичу. Как ни странно, он ответил. Я приехал к нему, мы общались, хотя я не помню наших разговоров, ничего особенного. Видимо, ему не нравились мои стихи, он не предлагал их ни в местные газеты, ни в местный журнал, а я его об этом и не просил. Наконец, я уехал из Алтайского края. Как ясно по его фамилии, он был прибалт, кажется, латыш. Его отец, кажется, работал в северном морском пароходстве, возможно, был репрессирован, мне об этом ничего не известно. Вильям Янович жил в Красноярске, потом переехал в Барнаул — почему — осталось для меня загадкой. Специально я его не спрашивал, а сам он не рассказывал. Мы все же так мало знаем о людях, которых любим, и объяснить это невозможно. Он жаловался, что живётся ему в Барнауле трудно. У него были проблемы, кажется, со всеми — с женой, которая, как мне показалось, не очень его любила, с мамой, которая доставала его по пустякам. Он как-то сказал: «Вот так бывает — люди любят друг друга, а жить вместе не могут». Были проблемы с деньгами — издавался он мало, писал мало, в конце жизни пошёл работать к какому-то скульптору помощником. Да и местным литераторам, сплошь жутким почвенникам, он был не ко двору. Я написал об этом стихи:

Барнаул

Милый город, дух зелёный.
Коридоры светлых улиц.
Хорошо быть заключённым
Или мёртвым в Барнауле.

Мало жизни, мало света,
Мало хлеба, много боли.
— Нет, не любят здесь поэтов, —
Как сказал Вильям Озолин.

В 1991 году, а может быть, в 1992 году я приехал в Барнаул из Москвы, где учился в Литературном институте. Вильям Янович, как я уже говорил, работал помощником скульптора, и я пришёл к нему в мастерскую. Мы пили водку, говорили о Москве, о том, о сём. Когда веселье несколько пошло на убыль, я услышал, как он сказал своему соседу, кивая на меня:

— Вот, привязался чего-то ко мне, а с чего, не могу понять.

Я, в общем-то, понимал, почему. Мы простились, и я его больше не видел.

Он умер в августе 1997-го года, я уже не помню, почему, кажется, от разрыва сердца, так же, как мой отец, которого я видел два или четыре раза в жизни. Я не видел его в гробу, и поэтому я знаю, что он где-то есть. Просто есть.

Как писатель, он мне не сильно нравился. Такие романтические стихи про Север, про настоящих мужчин, романтика возвращения домой. Все это было так себе, типичное советское стихотворчество. Но в жизни он был настоящий мужчина — уверенный в себе, очень спокойный, от него веяло силой покорителя земли, воды и прочих оставшихся стихий.

Когда приходит время умирать, говорят, в несколько секунд перед тобой проходит вся твоя жизнь — детство, юность, институты, первый поцелуй, первая затяжка сигареты, первая рюмка водки, первая женщина, первая книга, что-то ещё, и может быть тогда, перед тем, как твою жизнь разорвут на мелкие фразы — он был такой, он был такой и сякой, может быть, тогда ты поймёшь, зачем ты жил.

6 августа 99 года

Прошло много лет, и вот в Переделкино, в библиотеке дома отдыха писателей, мне попала книга его стихов, изданная после смерти. Оказалось, что он писал очень хорошие стихи. Стихи трагические, и вместе с тем — героические. И я теперь лучше понимаю его — он не был создан для счастья, удачи, творчества, карьеры, семейной жизни, и чем ещё мы тешим своё воображение? Он создан был как знак, как символ, краугольный камень, если хотите. С ним было надёжно, спокойно и уверенно, если вы понимаете, о чём это я.

г. Уфа



Михаил Тарковский Перед охотой

Я снова в этой старой мастерской,
Где помнит твои длинные ресницы
Гладь зеркала. Где светятся страницы,
К которым прикасалась ты рукой.
Здесь холодно. Меня уже давно
Не греют по ночам ни эти стены,
Ни времени пустые перемены
Ни древности священное вино.
Открою дверь и выйду налегке.
Мелькает каменистая дорога
И посох трётся в жилистой руке...
Я нищий, и моё последнее добро —
Шершавый камень твоего порога,
Я об него точку своё перо.

Весна — недомогание погоды,
Сырое перемигиванье звёзд,
Дороги, повернувшие в объезд
И непривычно ранние восходы.

Весна — каприз беременной природы,
Озноб земли, бессмысленный протест
Морозов и тяжёлые, как крест,
Но неизменно радостные роды.

А человек вне времени и места
Стоит, чужой природе и себе,
Кусая лихорадку на губе,

И вдруг бежит сквозь сумерки туда,
Где в полутьме лилового разъезда
Трубят о невозможном поезде.

На светлом небе ни полосы,
В морозной дымке поворот.
Здесь новый день, и ложе «тозки»,
И скалы серые Ворот.
Бахта! Когда он станет давним,
И этот снег, и этот кров,
Я буду бредить каждым камнем
Твоих далёких берегов.
Где, приглушённая снегами,
Велась война без баловства
С моими вечными врагами,
Где были в ярости добыты
Неотомщенные обиды
И плоти жалкие права.

Я всё отдам за это вдовье
Лицо земли, где дождь, как штрих,
Где жизнь — сплошное предисловье,
А смерть загадка для живых.

Где всё, что есть, — и грех, и слава —
Лишь голос предков в нас самих,
Где мы не заслужили права
И в мыслях быть счастливей их.

Я не уйду из камеры сонета,
Из плена неподатливой строки,
Пока его холодного скелета
Не переплавлю в золото реки

Далёкого приснившегося лета,
Доспехов не разрушу в черепки
Прикосновеньем ласкового света
И бабушкиной сдержанной руки,

Не изотру в мельчайшие пылинки
О дядин уходящий силуэт
И слюдяные окна керосинки.

О пеночку, в струящейся берёзе
Поющую устало... Как поэт,
Уже давно тоскующий по прозе.

Из Горация

Милая моя, чьей мы ждём помощи?
За моим окном застывшая вишня
И в погожий день так и не решится
Шевельнуть веткой.

Много ли, скажи, радости в гордыне?
Я ли не смогу быть тебе опорой?
Сколько не молчи, врозь не пережить нам
Долгую зиму.

Только прикажи — на полу у двери
Лягу, покорный. Для себя возьму лишь
Мелочей пустяк и стихов любимых
Ветхую книгу.

Мне и одному в заброшенном доме
Знать, что ты живёшь, было бы радостью,
Если бы я мог на твои морщины
Смотреть без боли.

Туман

1.
Хотя бы раз уехать вдаль, где нету
Не знаю кем придуманных забот
И где тебя никто не узнает
По кашлю, пиджаку и силуэту.

Мне снится ночь, готовая к рассвету,
Чужого неба странный разворот,
Неяркий свет, оконный переплёт
И тишина, похожая на эту.

Мне снится лист бумаги на столе,
Набоковская бабочка в стекле,
Альпийское спокойствие отеля...

О, Господи... И как бы я берег
Бессмысленную песню коростела
И тучи золотистый козырёк.

2.
Не мучь меня своею красотой,
Не просирай доверчивого крова —
Я слишком много принесу чужого
В твой дом, ещё никем не обжитой.

И говорить о будущем постой:
Я осень понимаю с полуслова.
Пора, мой друг... Холодный и густой,
Плывёт туман вдоль берега седого.

Чем я украшу молодость твою?
Поверь, я сам себя не узнаю,
С тех пор, как лишь в тумане оживаю

Среди родных и милых мне теней,
И вместе с ними молча допиваю
Тоску и славу их далёких дней.

3.
Который день сосульки на весле
Поднятой шлюпки. Океан без края.
Каюта. Ночь. Постель, слегка сырая,
И «Тёмные аллеи» на столе.

Мы рождены в пути на корабле,
Идущим в неизвестность, невзирая
На слёзы стариков, что умирая,
Не прекращали думать о земле.

Когда во сне кончаются скитанья,
И милые в тумане очертанья
Я узнаю, тоскуя и любя,

Я просыпаюсь. И во тьме беззвёздной
Стою, как тень, у поручня над бездной.
О, Муза! Что б я делал без тебя?!

4.
Я в эти дни волнуясь неспроста,
А ты одна в таинственной печали
Стоишь на просыхающем увале
И озираешь милые места.

Была и мне по силам красота,
И в свой меня черёд не миновали
Дымы отодвигающейся дали
И взора напряжённого тщета.

Теперь иные ближе мне картины,
Там берег белый, колотые льдины
И лодки занесённая корма.

И на душе яснейшая погода,
И вся её мятежная природа
Давно в ладу с заботами ума.

5.
Там на заре бубнят тетерева,
В тумане сосны высятся, безноги,
И тень ветлы маячит у дороги
Как чья-то прорастает булава.

Там у костра, горящего едва,
Три брата спят, не ведая тревоги.
Им холодок поеживает ноги,
Им пепел осыпает рукава.

В то утро не над их ли головами
Шептались птицы вещими словами:
— Кого зовёт любимая с крыльца,

Кого земля сырая, а кого-то
Рубаха, пожелтевшая от пота
И нищая дорога мудреца.



Тревожная и тихая погода,
Высокие, как небо, дерева,
И штукагуркой сыпется листва
С немного протекающего свода.

Есть в жизни предков древняя свобода
Платить судьбой за лучшие слова.
Их Муза в смертный час ещё жива
Величьем исчезающего рода.

Так жив и я. И Лира не забыла,
Как падал снег на чёрные стропила
Нагих ветвей. Как осень, сжав уста,

Ушла одна с пустынного бульвара,
И новый день не поднял с тротуара
Перчатку пятипалого листа.

Перед охотой

1.

Дай адрес. Уезжай... Мой Енисей
В огнях судов и неподвижных створах,
С утра туман, шаги по гальке, шорох
Заклёпок и пески в следах гусей.

Уже без шапки холодно, уже
На рыжий лес пикирует кедровка,
И бродит вдоль по острову верховка,
Как скипер по оставленной барже.

Каюта. Блик воды на потолке.
Стук лодки под бортом у теплохода.
Рывок шнура и давняя свобода
До берега домчаться налегке.

2.

Седое утро. Груз на берегу.
Отставшая кричит в тумане ржанка
И в красной куртке смотрит горожанка
С высокой палубы на серую тайгу.

На избы серые, на серый берег, где
Мотор в следах дождя и холод рукояти,
И лодка длинная, как «Песнь и Гайавате»,
Уже стоит, качаясь на воде.

Широкий плёс. Предчувствием шуги
Речную сводит кожу. Холодаёт.
И небо осторожно покидает
Косое облако с краями из фольги.

3.

Дрожат борта. Мотор гудит струной,
Настроенной на ровное движенье
Без спешки, и деревьев отраженье
Коверкается масляной волной.

Напарник, запакованный в сукно,
Сидит поверх мешков спиной по ходу,
Уставившись сквозь выпуклую воду
В узорчатое галечное дно.

И, отвалсь на рог бензопилы,
Болтает спирт в полупустой бутылке,
А ветер треплет пену на обмылке
Водой и временем изъеденной скалы.

За мысом снежный чудится заряд,
И с лиственниц дождём слетает хвоя,
И ощущение воли и покоя
По телу растекается, как яд.



Сольвейг прибегает на лыжах...

Ибсен

Мне оставлено наследство
От гомеровою тени
До опасного соседства
Замечательной родни.

Я не трогал ваши перья,
Не вертелся у стола
И не рвался в подмастерья.
Но она меня нашла.

Я узнал Ее по звуку
Крыл, рождающих беду.
Я бы рад отдернуть руку,
Да не я ее веду.

...Прибежавшая на лыжах,
Все решившая сама,
Когда я еще не выжег
На столе ее клейма.



Охота...

Я люблю, придя, шатаюсь,
С горячими сосульками на лбу,
Сняв тозовку, ввалиться спотыкаясь,
В холодную и тесную избу.
Там печки неохотная работа,
И в полутьме тяжёлый куль с крупой
Сбивает шапку, мокрую от пота.
Под тонкой и прозрачной скорлупой
Люблю фитиль в пылающей короне,
Капканов беспорядок на полу,
Стук льдышки в чайнике и
шорох в микрофоне
Холодной рации, вокруг трубы в углу
Распятые таёжные доспехи.

Далёкий, побежающий помехи,
Переговор товарищей ночной
И русской Музы строгий позывной.
..С утра собаки скачут н ветру,
Кусают снег и лают друг на друга,
Патронташа тяжёлая подпруга
Подтянута на новую дыру.
Морозный воздух свеж, как нашатырь,
Горят верхушки лиственниц крестами
И благовестит звонкими клёстами
Тайги великолепный монастырь.

п. Бахта

Лана Райберг Лестница в небо или записки провинциалки



Глава 1

Полёт в неизвестность

Я в аэропорту Шереметьево. Улетаю в Америку. Уже прошла таможенный контроль и по узкому коридору продвигаюсь к стеклянной будке — там в последний раз проверяют документы перед выходом на посадочную полосу. Оглянувшись, приостановилась. И чуть не была сбита с ног идущим сзади мужчиной с девочкой на руках, который также смотрел назад, туда, где за ограждением бушевала толпа провожающих. Вскинутые руки посылают последний привет уходящим. Из ровного гула голосов прорываются отдельные выкрики:

— Не забывай! Пиши!

Слёзы закипели, остыли и застряли в горле.

Протягиваю пограничнику документы и ещё раз пытаюсь увидеть в толпе дорогие лица, хотя меня никто не провожает. Пограничник дежурно произносит:

— Проходите!- и стеклянная труба засасывает в своё прозрачное чрево, чтобы выплюнуть через несколько метров в ослепительном, роскошном зале. Кругом зеркала, стекло, в витринах выставлена бижутерия. Золотые колечки и кулоны пугают трёхзначными цифрами, перед которыми раздувается толстый значок, похожий на букву эс. Отвозжу загнипнотизированный взгляд от завораживающего блеска витрин и незаметно оглядываю себя.

Ещё три минуты назад я была в совсем другом мире — грязном, опасном, голодном и полном забот. В мире, где я себя чувствовала, как рыба в воде. Почему же сейчас, среди всего этого вожделенного блеска и роскоши я так растерялась? Стекланный зал отгородил меня от прошлого, а о будущем не имею ни малейшего представления. Усаживаюсь в кресло и сосредоточенно смотрю на горящее кровавыми цифрами табло моего рейса — это уже вторая попытка улететь в новую жизнь. На этот раз, кажется, удачная.

Лежу, уткнувшись носом в стенку. Стена светло-зелёная, масляная краска облупилась, обнажая штукатурку. Хочется отковырнуть кусочек, но нету сил. Железная сетка кровати прогибается под тяжестью тела и скрипит. Я в больнице со вчерашнего вечера. Вчера Маринка вошла в мою квартиру и здорово испугалась, обнаружив завёрнутую в плед и лежащую на тахте хозяйку. Ведь только два дня назад она провожала меня в аэропорт, и ей я оставила ключи от своей квартиры. Маринка не охала и не донимала расспросами, почему я вернулась. Она посмотрела на мои потрескавшиеся губы, воспалённые глаза и сразу вызвала «Скорую». В больнице купать в ванне, нарушая инструкцию, меня не стали, спросили только:

— Вшей нет?

Я ответила:

— Нет, — и потеряла сознание.

Ровный гул моторов убаюкивает, и меня начинает клонить в сон. Впервые лечу самолётом и потому страшно боюсь. В животе холодок от ужаса. Смотрю в иллюминатор на облака и мысленно прощаюсь с жизнью. Иллюминатор затягивает белёсая полоса, и создаётся иллюзия того, что еду в автобусе, а за окном туман. Страх немного отпускает. Вежливая стюардесса дотошно расспрашивает, чего я хочу выпить. Мне абсолютно всё равно. Какая разница — пепси или кока-кола? Стюардесса заученно улыбается.

А могла бы вот так лететь ровно две недели тому назад. Какой это был шок, когда я прошла таможеню, а к самолёту меня не пропустили. Повернули назад у той самой стеклянной трубы, что делит мир на две половинки. Оказалось, что в паспорте не было разрешения на выезд из моего родного города. Я долго и тупо смотрела на штамп американского консульства, возвещавший, что выезд в Америку мне разрешён, и ничего не понимала. Очевидно, консул решил таким образом пошутить. У него не было оснований не выпустить меня из страны — приглашение от американского господина было в полном порядке, но жизненный опыт подсказывал ему, что я кандидат в так называемые невыезденцы, и он виртуозно подложил мне свинью, попросту не сказав о том, что нужен ещё один штамп.

По совету чиновника из аэропорта Шереметьево я отправилась в какие-то глухие московские переулки и разыскала белорусское консульство. В здании шел ремонт, пахло карболкой, со стен была содрана штукатурка, а полы застелены газетами. Я долго шла гулким пустым коридором и пугалась собственных шагов — эхо множило скрип досок, шелест и шуршание засыпанных штукатуркой газетных листов.

В конце коридора обнаружили живые существа — рабочие, сидя на полу, смачно закусывали. Пахло пивом, салом и луком.

К поздней посетительнице рабочие отнесли по-доброму, предложили относительно чистый стул и уверили, что консул обязательно вернётся.

Уже смеркалось, когда в коридоре слышались уверенные быстрые шаги. Консул внимательно выслушал меня, пригласив в просторный пустой кабинет, залитый ярким электрическим светом. На фоне белой стены синели провалы незашторенных окон. К сожалению, он ничем не мог помочь — я должна была вернуться за этим штампом домой, в Задорск...

В Белоруссии уже всю свирепствовала ранняя зима, чёрные фигурки прохожих сутились на белом снегу, а я тащила к трамваю свою сумку, поднимая повыше воротник шубки, а в бесцветном промёрзшем небе вспыхивали и исчезали знойные миражи Майами.

Как хорошо, что в тот раз не удалось улететь! Судьба посылает тяжёлые испытания, но она же в последний момент подставляет свою мягкую спасительную ладонь...

Я молча разглядывала стенку, а палата жила своей обычной жизнью: сплетни, анекдоты, доверительные разговоры, игра в карты в подкидного... Запахло горелым, и женщины, надев шлёпанцы и тщательно подкрасив глаза и губы, торжественно отправились за обедом.

Они принесли тарелку с чем-то мерзко пахнущим и поставили на мою тумбочку. Я уже не ела три дня и абсолютно не испытывала чувства голода. Соседки испытующе смотрят на меня и ждут откровений. Не могу ничего о себе рассказывать — слишком слаба, морально и физически. Несостоявшееся бегство и внезапная болезнь выбили меня из колеи. Ощущение такое, словно повисла между небом и землёй. Здесь — обрубил все концы, распрощалась с городом и подругами, и туда — не попала. Эта больница — словно некое чистилище между прошлым и будущим. От прошлого я уже открестилась, к будущему не готова, но отчаянно лезу в образовавшуюся щель, не зная, что ждёт меня по ту сторону.

Монотонно стучат ложки. В серую палату белым квадратом окна врывается ранняя зима. Сидя на постели, я вижу, как во двор больницы лошадь втащила телегу с бидонами. Зычно что-то кричит сестра-хозяйка, выскочившая во двор в халате и в тапочках на босу ногу. На белом снегу — россыпи кровавых пятен. Это рябина разбросала созревшие плоды — подспорье для замерзающих воробьёв.

Нахальная ворона топчется по подоконнику и клюет в стекло, выпрашивая подачку. Поплотнее закутываюсь в тощее одеяло, поворачиваюсь к стене и замираю. Позавчера у меня был выкидыш.

В самолёте соседствую с молодой американской парой. Ну и хорошо, что не нужно ни с кем разговаривать. Краешком глаза подглядываю, как они разделяются с принесённым обедом — сама ни за что бы не разобралась с назначением всех этих баночек и коробочек. Под крылом самолёта смеяют друг друга зелёные квадратики полей, расчерченные ровными стрелками дорог. Это миниатюрная Ирландия. Здесь у нас пересадка. Я опять растерялась от невероятных размеров здания аэропорта, где нужно было поскучать три часа в ожидании рейса до Майами, а также от непривычной роскоши, чистоты и блеска. К тому же оказалось, что совершенно не понимаю разговорный английский, изучению которого посвятила столько времени, и с трудом в баре заказала для себя чашечку кофе у надменного бармена.

Я боялась, что не разберусь, куда нужно идти, боялась, что самолёт улетит с моими вещами, а я останусь здесь, потерюсь среди рядов красных

пластиковых стульев и стеклянных витрин. Похоже, что не одну меня одолела временная паранойя. Вскоре пассажиры нашего рейса сбились в кучку посреди зала, напоминая испуганное стадо — никто не отходил даже поглядеть на заманчивый заграничный товар, более похожий на музейные экспонаты. Женщины, посовещавшись, толпой отправились в туалет, где их ожидали новые чудеса. Опять невероятная для непрехотливого россиянина чистота и устройства, откликающиеся на совершенно другие, чем в привычно грязных, лаконично оформленных в стиле «злая аскеза» советских сортиров, манипуляции.

Вспотевшие, раскрасневшиеся и злые от напряжения, чувствуя себя законченными идиотками, мы отчаянно сражались с кранами, не дающими воду, пока кто-то не догадался поднять вверх ручку, с дверьми, которые открывались не в ту сторону, защёлкивались и не выпускали, с унитазами, которые оглушительно ревели и низвергали водопады воды. Потом нестерпимо хотелось украсть кусочек мыла в яркой обёртке, тюбик шампуня или рулон цветной туалетной бумаги.

Наконец вежливая чиновница на ломаном русском объявила номер нашего рейса, и мы гуськом потянулись за ней в самолёт. На ходу знакомлюсь с какой-то девушкой — зовут её Людмила, и она летит в Майами, как и я, к жениху, которого никогда не видела. Я не хотела никому о себе рассказывать, но девушка оказалась мастырной, она буквально клещами вырвала из меня информацию, и я даже даю ей номер телефона майямского жениха.

Итак, лечу в Америку. Начинаю своё путешествие по ней с солнечной Флориды. Полёт в неизвестность, полёт в беспредельность, полёт в пустоту. Лечу в новую жизнь с ободранными внутренностями и душой. Не люблю размазывать несчастья и упиваться ими. Из любой ситуации, даже самой безнадежной, есть выход. Любая рана заживает. Нужно только очень захотеть. У меня до смешного банальная ситуация, обычная житейская история. Мы встречались пять лет. Практически были мужем и женой, и нас все друзья, знакомые и соседи воспринимали как мужа и жену. Все, кроме него. Месяца два назад, ещё держа меня в объятиях, он радостно похвастался, что женится. Не на мне, конечно. Я для него — потрясающая подружка, и он надеется, что наши встречи не прекратятся с его женитьбой, только из явных перейдут в тайные.

Тогда я просто молча ушла. Недели две в беспомощности валялась на своей тахте, не отвечала на телефонные звонки и никому не открывала дверь. Мне казалось, что жизнь закончилась. Умом я, конечно, понимала, что вселенской катастрофы не произошло, что нужно сгруппироваться и — жить. Пройдёт время, и будет у меня другой возлюбленный, может быть, даже лучше прежнего. Но... Всё вдруг разом потеряло смысл. Исчезли цвета, звуки и запахи. Я очутилась в безвоздушном пространстве, в липкой гнетущей тишине и одиночестве.

Потом в один прекрасный день заставила себя подняться, привести в порядок и пойти на работу. Сотрудники, недавние друзья, отводя глаза, сказали, что меня вызывает главный. Тот как-то до

обидного спокойно сообщил, что уволил меня за прогулы. Я собрала свои нехитрые принадлежности — чашку, баночку с сахаром, записную книжку и, пустая и свободная, вышла на улицу. Под сердцем я уже носила дитя.

В тот же вечер я заполнила анкету на предмет замужества с иностранным господином и послала её в Сан-Франциско брачное агентство. Анкета эта случайно обнаружилась в каком-то ненужном журнале, купленном по дороге домой. Начиная с того дня, со мной стали приключаться необычные и неожиданные вещи. Как будто происходящее не было простой цепью случайностей. Я как механический робот лишь выполняла кем-то заложенную во мне программу.

Уже через две недели журавлиным клином потянулись первые письма. Отвечая всем этим старым, обеспеченным господам, потихоньку, чтобы прокормиться, продавала свою бесценную библиотечку и кое-что из мебели. Я уеду в Америку, рожу там ребёнка от когда-то любимого человека.

У ребёнка будет другой папа, и малыш никогда не узнает правды, как не узнает её и настоящий отец. Меня пригласили к себе три господина из разных штатов. Наличие будущего сына или дочки их только радовало — я решила не начинать новую жизнь со лжи. Первым прислал приглашение и билет джентельмен из Майами, и я полетела к нему. Мне было всё равно, куда ехать и к кому. Остальным женихам я послала открытки с извинениями...

Он знал, что я улетаю, возможно, навсегда, но проститься не пришёл — накануне была его свадьба. Подруги пытались меня удержать и говорили, что я сумасшедшая...

Самолёт приземляется на Майамскую землю. Я ещё не оправилась от болезни — удрала из больницы, как только узнала, что наконец-то в мой паспорт поставили тот самый злополучный штамп. По приезде из Москвы успела отнести документы в ОВИР и, как только пришла в себя, постоянно звонила туда из больницы. Пятнадцатикопеечные монеты были на вес золота. Я выменивала свой ужин на драгоценные медяшки у соседок по палате. Телефон-автомат для публичного пользования висел на лестничной клетке, и, поджигая поочередно ноги от холода, я умоляла, увещевала чиновницу в ОВИРЕ поставить побыстрее этот несчастный штамп, была на её жалость — рассказала о своей болезни, о том, что скоро билет на самолёт станет недействительным, а другой купить не на что, и что жить здесь я уже не могу, и если она не даст мне шанса начать сначала...

Мне удалось растопить железную душу лейтенанта милиции, и вне очереди, без моего присутствия, синими чернилами она поставила на потрёпанной странице краснокожей книжицы пропуск в рай.

Получив радостную весть, я буквально прижала к стенке добрую врачиху и потребовала на вечер отпустить меня домой. Не знаю, как сейчас, а тогда вещи больного держали в подвале, в закрытой комнате, и выдавали только по записке врача. Врачиха сопротивлялась, говорила, что я слаба, потеряла много крови, что меня еле спасли от сепсиса, и что мне необходимо быть под наблюдением. Безумная

решительность больной её сломала. Я даже пригрозила, что всё равно убегу — в тапочках и халате, и она выписала нужную бумажку, для очистки совести спросив:

— Вы обещаете, что вернётесь к утреннему обходу?

Я обещала. Мы обе знали, что это ложь.

На дрожащих ногах тогда я вывалилась в белый снег, поймала такси, вихрем ворвалась в кабинет овира, игнорируя очередь, забрала бумаги, приехала домой, схватила нераспакованную сумку и помчалась на вокзал — до отправления поезда на Москву оставался один час.

Добравшись утром до Шереметьево, я зарезервировала место на ближайший рейс- билет был действителен в течение месяца, и тогда только позвонила предполагаемому жениху, напрасно две недели назад встречавшему пропавшую невесту.

Удивляюсь мудрости судьбы. Она задержала меня на Родине и отправила за океан для новой жизни, не обременённую прошлым.

Американский чиновник тщательно проверяет документы. Украдкой ещё раз смотрю на фотографию Дэвида. Он мне не нравится. Но бежать — некуда. Выхожу за барьер и оказываюсь оглушённой лавиной новых впечатлений, ярких красок, запахов и знойной суеты — вокруг весёлые, загорелые и легко одетые люди. Я — в зимних сапогах и в плотном шерстяном костюме. Чувствую себя так, как, наверное, чувствовал бы нанаяец, перенесённый мгновенно из зимней тундры на пляж в Сочи. Растерянно перекидываю из руки на руку ненужную шубку, враз потускневшую и прибавившую в весе, и попадаю в объятия шумного господина.

Господин радостно тормозит меня, выкрикивая приветствия и комплименты. Мне неловко за свою холодность, но никакой радости не чувствую — только растерянность и усталость. Дэвид выглядит гораздо старше, чем на фотографии, к тому же он оказался высоким и толстым. Одет кандидат в мужья эффектно — эlegantный серый костюм, в петлицу пиджака кокетливо засунута красная гвоздика. Между делом замечаю, что мою новую знакомую, Люду, встречает высокий сутулый старик со скорбно поджатыми губами. Вздрагиваю и вымученно улыбаюсь Дэвиду.

Открытая красная машина мчит нас по пустынным улицам, мимо особняков за высокими стенами оград. Как во сне вхожу вслед за Дэвидом в абсолютно стеклянный дом, приземистый и длинный, спрятавшийся среди цветущих деревьев и пышных неопознанных цветов. В полумраке холла натываюсь на какую-то скульптуру. Хозяин дома хлопает в ладоши и, под потолком загораются многочисленные лампочки. Мы стоим возле огромной кровати, застеленной зелёным шелковым покрывалом. Кровать настолько роскошна, что мне становится дурно. Дэвид, хитро покосившись на меня, произносит:

— Здесь ты будешь спать.

— А вы? — жалко пискнула я.

— Тоже здесь, — последовал ответ.

Неожиданно для себя я заорала: «Нет!» — и разрыдалась.

Я рыдала и не могла остановиться. Наконец-то всё позади — пустой холодный город, предательство, зарплата, на которую трудно прокормиться. Позади безумное напряжение последних двух недель. Я вырвалась в рай — только смогу ли быть счастливой? Я не могла ни радоваться, ни удивляться, ни строить планы, ни очаровывать — мною овладело вселенское равнодушие и усталость.

Дэвид засмеялся, и, снисходительно потрепав меня по плечу, уверил, что не обидит гостью. Всё будет по моему желанию. Я могу гостить в его доме, сколько сочту нужным. Мы присмотримся друг к другу и поймём, стоит ли нам жить вместе. А пока я просто гостя. Всклипываящую, он долго вёл меня нескончаемо длинным коридором и оставил в маленьком помещении за кухней. Он пояснил, что это — пустующая комната прислуги. Он отказался от постоянной горничной, а убирать и стирать к нему приходят два раза в неделю. Он показал, как выключать свет и вентилятор, где туалет, пожелал спокойной ночи и ушёл.

Комната была унизительно мала. Она напоминала кладовку — в ней умещалась только кровать и бюро со стоявшим на нём малюсеньким телевизором. Позже выяснилось, что в доме были пустовавшие спальни для гостей.

В ту свою первую ночь за океаном я не сомкнула глаз. Деревья стучали в маленькое незашторенное окно. Прямо за хлипкой фанерной стеной ворчали и возились какие-то звери, кто-то рычал, ухал и всклипывал.

Привыкшая к жизни в панельной клетке, поднятой на девятиэтажную высоту, к неисчислимому количеству соседей, звуки жизнедеятельности которых доносились сверху, снизу, слева и справа, тут я ощущала себя беспомощной. Через стенки дома, казавшимися хрупкими и ненадёжными, сочилась чужая ночь на чужой земле. Постепенно тьма рассеялась, шумы и вздохи за стеной прекратились, зачирикали отдельные птичьи голоса, и даже липкая влага усочилась куда-то в щели. Дохнуло утренней свежестью.

Стало светло и тихо. По длинному коридору, минуя многочисленные кладовки и чуланы, я вышла в великолепную сверкающую белую кухню, стеклянная стена которой выходила в сад. Кухня вся была уставлена какими-то аппаратами совершенно непонятого назначения. На плите не было привычного чайника, да и то, что это плита, мне пришлось догадаться. Зажечь я её не смогла, так как не нашла спичек. В огромном, сверкающем никелем и стеклом холодильнике ничего съестного не обнаружила. В образцовом порядке там были разложены пакетики и баночки с неопознанным содержимым. Ни тебе сосисок, ни сыра, ни колбасы. Даже хлеба не нашла! Вот тебе и богач! Холодной стерильностью, белизной и жёсткой рациональностью кухня напоминала секретную лабораторию, и в ней было неуютно.

Усевшись на высокую табуретку у белой стойки, я стала ждать, когда здесь появится какая-нибудь живая душа. Душа вскоре появилась в образе молоденькой негритянки. Она вошла, по-деловому завязывая белый фартучек и, увидев незнакомку, растерялась. Я, как могла, представилась и попросила кофе. С ослепительной улыбкой горничная

захлопотала у металлического цилиндра и вскоре подала мне чашку горячего напитка, разительно отличавшегося по вкусу от того, к которому я привыкла дома.

Дома... Сердце сжалось от страха. Что я надеялась? Смогу ли жить здесь? Станет ли это место моим домом? Пока я ощущала себя потерянной и чужой.

Глава 2

Буржуйская жизнь

Так началась моя буржуйская жизнь. Более за мной никто не ухаживал и кофе не варил, в обязанности Марии это не входило. Буржуйская жизнь оказалась наполненной до отказа обязанностями и необходимостью соблюдать железный режим. Вставать приходилось в шесть утра, так как в это время начинался рабочий день хозяина дома и он очень сердился, не застав на кухне гостью, на которую возложил обязанность подавать завтрак. Итак, в лучших традициях советской жизни, я заводила будильник и по первому его звонку мчалась на кухню. Подать скудный завтрак оказалось делом сложным, требующим быстроты, сноровки и аккуратности. На мой взгляд, есть было совершенно нечего — хлеб с маслом и джемом, апельсиновый сок и кофе. Но всё это должно быть приготовлено и подано в полном соответствии со строгим английским этикетом.

Сока я всегда наливала в стакан чуть больше, чем следовало, хлеб, вынутый из морозильной камеры, то недожаривала, то пережаривала, забывала, сколькими салфетками нужно накрывать корзинку с хлебом. Один раз я слишком далеко от тарелки поставила стакан с соком, в другой раз не той стороной положила ножи. В глазах Дэвида эти мелкие промашки выглядели страшными преступлениями.

Я нервничала, от страха не могла запомнить массу незначительных, на мой взгляд, тонкостей, постоянно что-нибудь делала не так, и кусок застревал у меня в горле. В доме никогда не было свежего хлеба, а вытасченный из морозильной камеры, разогретый и прожаренный, он приобретал, на мой взгляд, мерзкий вкус, крошился и рассыпался. Масло было кислым, а джем чересчур сладким.

Ланч в середине дня состоял из чашки кофе и банана, иногда бутерброда, всё из того же мороженого хлеба. Дэвид приговаривал:

— Кушай, деточка, ты така худенька, я хочу, чтобы ты поправилась немножко...

(Он разговаривал по-русски, смешно, с акцентом)

Для меня, хронически голодной, грезившей о куске мягкого чёрного хлеба, как о высшем блаженстве, его слова звучали злой насмешкой.

Поесть удавалось лишь поздно вечером, в ресторане. Заказывал еду Дэвид и, странно, будучи постоянно голодной, я вяло ковыряла вилкой в полусырой рыбе, напрасно пытаюсь насытиться безвкусными, безмянными для меня травами, какими-то стручками и зелёными палочками. Дэвид пожирал лобстеров и улиток, есть которые я категорически отказалась, глупая провинциалка

с неразвитым вкусом. А заказывать для меня мясо категорически отказывался Дэвид — он своеобразно заботился о здоровье гостыи.

Иногда, если мы перед ужином заглядывали в частный клуб, пытка голодом затягивалась допоздна. В клубах этих шлялись с бокалами и стаканами в руках разнообразного возраста гости, вычурно одетые, ухоженные и пышные достатком. Я ловила на себе оценивающие, ощупывающие взгляды и не проходила фейс-контроль — во мне сразу распознавали чужака. Я была добычей молодящихся одиноких старух, которых не принимали в молодёжную компанию, и они с яростью стервятников набрасывались на жертву коммуникации, расспрашивая о политической жизни России. Почти не понимая иностранную речь, я не могла внятно ответить на стандартные вопросы — на какой срок приехала, кем мне является Дэвид, и вскоре меня оставляли в покое, а я, как ворона на кусочек сыра, поглядывала на вождьденный стол.

Увы, поживиться в роскошных клубах, заставленных уютными креслами и современной мебелью, было нечем — на изящно сервированных столиках, на огромных блюдах скушали непривлекательные для меня продукты — морковь, веточки брокколи, невкусные чипсы и иногда сыр. Хрупая морковкой и запивая её вином, я старалась отсидеться в каком-нибудь углу, в то время как Дэвид энергично общался с приятелями, обсуждая бизнес, сплетничая и волоочась за дамами.

В доме поочередно гостили его приятели с жёнами, приехавшие то из Англии, то из Италии. Удивительно — как эти господа умудряются целый день ничего не есть, ничего не делать и выглядеть при этом здоровыми и счастливыми? Гости с упоением отдавались ничегонеделанию — они с удовольствием жарились на солнце, мокли в бассейне, надирались виски, а вечерами развлекались в клубах, где страдала одна только я — безъязыкая, скованная одиночеством и отчуждением. Не веселилась и Сюзан, жена приятеля Дэвида. Сюзан и Арнольд приехали из Лондона — Арнольд и Дэвид были партнёрами по таинственному, неиндифицированному мною бизнесу, охватившему, как спрут щупальцами, множество стран, и им было о чём поговорить.

Нигде не работавшая Сюзан, вышколенная, невозмутимая и безэмоциональная, никогда не выказывала ни радости, ни неудовольствия — она была бледной тенью своего мужа. Всегда тщательно причёсанная, целыми днями она читала дамские журналы, неподвижно распластавшись на лежанке в саду и постоянно переодеваясь. Беседу она практически не поддерживала ни с кем, оставаясь безучастной во время наших походов в клубы и рестораны. Мне почему-то было её жалко, и я попробовала была подружиться с ней, но натолкнулась на холодный и вежливый отпор — от неё повеяло неприступностью королевской особы, к которой по недосмотру охранников приблизилась чернь, и пришлось оставить жалкие попытки войти в контакт.

Дэвид иногда наклонялся к моему уху и шептал: — Ты увидишь, учишь, дурачка. Как она держится — королева!

Неужели никто не видел очевидного, что за королевскими повадками скрывается несчастная и смертельно одинокая женщина, посвятившая жизнь служению мужу и соблюдению этикета?

Дэвид советовал обратить внимание, как в каком случае одевается Сюзан. Я обращала, но ничего не понимала — мне казалось, что одета она скучно и невыразительно. К завтраку, например, она выходила в розовом спортивном костюме, возле бассейна появлялась в махровом халате, а вечером была облачена во что-то серое или коричневое, брючный костюм или юбку с жакетом и лодочки на невысоком каблучке. В тон костюму был подобран обязательный шёлковый шарфик, который она повязывала на голову в машине, чтобы от ветра не портилась причёска. Дэвид шептал мне:

— Смотри, какой шик! Кака элегантна женщина!

Как-то в ванной я поэкспериментировала — тоже повязала на голову платочек, но из зеркала выглянула такая рязанская физиономия, что я оставила попытку облагородиться и в машине собирала волосы в немудрёный конский хвостик. Когда я выходила из своей комнаты, переодевшись для прогулки или похода в ресторан, Дэвид морщился, как от зубной боли. Я недоумевала — и что ему не нравится? Несмотря на болезненное перед бегством за океан состояние и личную драму, я прибарахлилась, купив на последние деньги лучшие вещи в нашем универмаге.

Гвоздём коллекции были — турецкого производства кожаная короткая юбка, белая пуховая кофточка с вышивкой белым же бисером и лодочки цвета новорожденного цыплёнка. Ради приобретения этих сногшибательных вещей я продала старинный, попавший в категорию антикварного, буфет и впервые в жизни вступила в коммерческую сделку с известным фарцовщиком Лычей, задействовав при этом все возможные деловые связи — я работала ответственной за сектор культуры в газете «Задорские вести».

Лыча прославился как известный в городе сердцеед, а местом его дислокации был ресторан при гостинице «Советская». Я попала в поле его зрения, когда наша редакция отмечала в ресторане трёхлетний юбилей газеты. Но, к счастью, я была слишком стара — Лыча интересовался исключительно нимфетками. Выяснив мой возраст и место работы, кавалер отвалил. Небритый Дон Жуан, обладатель лучших в городе шмоток, ухаживал страстно и напористо, сваливая к ногам юной дамы наборы дефицитной и дорогой косметики, букеты цветов в корзинах, поражая юных провинциалок купеческим размахом. Глупышка, не принимавшая его поклонения, получала в бубен, то есть, говоря цивилизным языком, могла быть избита за оскорбление лучших чувств поклонника.

По слухам, он с большим трудом избежал тюрьмы за совращение несовершеннолетней и потому стал осторожнее, интересуясь, исполнилось ли барышне 19 лет, прежде чем включать напор и обаяние не ведающего сомнений конкистадора. В письме Маринка сообщила, что город потрясла внезапная смерть Лычи. Оказывается, в своей нескончаемой гонке за наслаждениями он умудрился заразиться СПИДОМ, который почти мгновенно сожрал жизнелюбивого фарцовщика.

Мне было жаль Лычу и думалось, что Город осиротел, потеряв никчемного человечка, недалёкого нестрашного полубандита, вечно спящего по избитому маршруту — от универмага до гостиницы, с незажжённой сигаретой в утлу ухмыляющегося рта.

После завтрака, убрав со стола, я обычно пыталась укрыться в своей комнате. Иногда это удавалось, но ненадолго. Громогласный голос хозяйина извлекал глупую провинциалку из ненадёжного убежища.

— Ты странна девушка! — гремел Дэвид, — Люди мечтают побить в Майами, а ты в комнате сидишь! Как тебе не нравится у нас, можешь ехать обратно!

Обратно ехать не хотелось, и потому приходилось безропотно облачаться в купальник и выходить «на эшафот» — так я прозвала небольшую бетонную площадку возле дома, выйти на которую можно было через стеклянную раздвижную стену. Этот открытый пятачок весь прожаривался жгучим солнцем, а в буйных зарослях копошилась шустрая тропическая живность. Я старательно вылёживала пару часов на кушетке, изображая негу и беспечность. В одной руке приходилось держать наготове прутик, чтобы смахивать с себя всю эту прущую из кустов и пикирующую из воздушных высот хвостато-крылатую прыткую рать.

На площадке умещалось два небольших водоёма, один с горячей, второй — с ледяной водой. Дэвид с гостями часами сидели в горячей воде и непрерывно употребляли виски — бутылки с противным прототипом самогона заблаговременно выставлялись на мраморном бордюре бассейна.

Мне такого удовольствия и без виски хватало на несколько минут, и тошнота, и головная боль были обеспечены на целый день. К удивлению гостей, я всё чаще посещала бассейн с ледяной водой, маленький, похожий, скорее, на ванну, где разогнаться и поплавать было невозможно. Там я старательно ныряла, пытаюсь хоть как-то справиться с постоянной головной болью. Однажды меня, умирающую от жары, сфотографировали, и я постаралась улыбнуться, зная, что фотография обойдёт всех знакомых Задорска, и наверняка её увидит он. Я счастлива, и он мне не нужен.

Так я изнывала от безделья, умирая от жары и голода. Привыкшая к бесконечным заботам, беготне по городу, хлопотам и общению с друзьями, я воспринимала своё положение сродни тюремному заключению. Убегая от себя, я добровольно заключила себя в клетку, в которой не было ни телевидения, ни книг, ни необходимости что-то делать. Высвобожденное время, лишённое смысла, камнем лежало на плечах. Как в недавнем прошлом мне невыносима была мысль об одиночестве, так сейчас невыносима была зависимость от другого человека. Особенно унижительно это проявлялось в мелочах — когда и что есть, куда пойти и что надеть.

Очень хотелось поехать на океан, но Дэвид отвечал категорическим отказом, мол, в океане грязная вода, и в бассейне купаться лучше. Часа в четыре дня попытка бездельем перетекала в попытку развлечениями. Понятия о развлечениях у кандидата в мужья было своеобразное, в них

входили скоростная езда по магистралям и посещение магазинов бытовой техники. Мы загрузились в шикарный красный автомобиль, придивевшийся мне однажды в вещем сне, и носились по городу. Материализовавшееся из мечты в явь средство передвижения от долгого стояния на солнце (машина находилась во дворе, а гараж был завален всякой дрянью) дышало жаром, как огнедышащий дракон. Дэвид со страшной скоростью летел по навесным мостам, круто разворачивался, резко тормозил и неожиданно бил по газам, визжа от удовольствия. Я же уговаривала колотящийся у горла желудок:

— Ну, потерпи, миленький, ну, не сейчас...

Открывающаяся панорама сказочного Майами не радовала. Город удручающе походил на большую деревню, куда ни глянь — на мили расстилаются приземистые домики и крытые ангары. Я пыталась увидеть океан, но не довелось.

Накануне по Флориде пролетел ежегодный объязательный ураган, и с высоты моста видно было то, что осталось от бедного района — фанерно-картонные стены и крыши, рассыпанные по земле, точно колоды карт.

Несмотря на трепетное отношение к финансам и моё отчаянное сопротивление, (не хотелось быть ему ничем обязанной), Дэвид купил для дурно одетой гостьи кучу новой одежды — ему решительно не нравились ни короткие юбки, ни блузочки с воланами — последний писк моды в Белоруссии.

Он загалкивал меня в примерочную кабинку в каком-нибудь огромном магазине и охапками приносил юбки, джинсы, блузки и пуловеры, заставляя всё перемерить.

По правде сказать, мне почему-то ничего не нравилось. Погружённая в странный ступор, я терялась от обилия фасонов, стилей и цветов. Дэвид сердился на такую безучастность и покупал то, что считал нужным. Из магазина я вышла во всём новом, а свою старую одежду несла в выданном продавщицами бумажном пакете и выбрасывала его в ближайшую урну.

Роскошь нарядов отвлекала внимание от постоянно прищуренного из-за непрекращающейся мигрени глаза. Дэвид не скупился на наряды, но ни разу не купил для меня ни фруктов, ни печенья, ни свежего хлеба.

Раз в супермаркете я, наплевав на гордость, умоляла его взять пару сосисок и свежий батон. Дразнила клубника, выставленная в кокетливых корзинках, свешивались с полок подёрнутые дымкой гроздья винограда. Дэвид невозмутимо отвечал, что сосиски вредны для здоровья, хлеб есть дома в морозилке, а фрукты зимой он не покупает — дорого.

И это значило, что для него я кукла, кукла Барби, которую можно держать в коробке и доставать лишь по мере необходимости. Кукла не может мечтать, хотеть, желать, обижаться или уставать. Её не нужно кормить, ей можно оторвать ногу, забросить на шкаф и забыть о ней. А иногда вытаскивать и показать гостям:

— Вот какая у меня красивая кукла, ни у кого такой нет!

И безучастная ко всему Барби лишь улыбается наклеенной раз и навсегда улыбкой.

Смутно созревало решение. Решение, от которого кружилась голова. Я уеду от него! Не зная языка, без единого доллара в кармане — уеду! В своей маленькой душной комнатке я доставала открытку с видом Нью-Йорка, подолгу рассматривала голубые небоскрёбы, утешала и пододвигала саму себя:

— Уеду!

Не лучше дела были и у Люды, с которой мы познакомились в самолёте. Она мне позвонила. Трубку было снял Дэвид, и пока он выспрашивал у абонента анкетные данные, Люда не растерялась и напросилась в гости. Оказалось, что жила она по соседству, в том же районе «Кокосовая роща» и могла дойти к нам пешком. У Люды были такие же, как и у меня, проблемы — она отчаянно голодала. В доме её жениха до позднего ужина предлагались только фрукты и йогурты. Когда она пришла в первый раз, то выглядела не лучшим образом. Спокойная и рассудительная в самолёте, сейчас она была растеряна и подавлена. Дэвид с насмешкой поглядывал на нас, самозабвенно сплетничающих, через стеклянную стену своего кабинета.

Люда родом была из маленького украинского городка, по образованию химик. В Москве она закончила университет. В Америку её, в отличие от меня, привёл трезвый расчёт. Она хотела жить хорошо и построить карьеру. Матримониальные планы у неё стояли не на первом месте. Кросса она использовала как средство перемещения из одной страны в другую. Но если для того, чтобы выжить и добиться своих целей нужно будет выйти замуж, она выйдет, хоть за старого, лысого и толстого. А ещё она хотела много зарабатывать сама. Жёсткие суждения этой милой, чернявой и невысокой украинки не вязались с напевной речью, которой место на кухне, среди кастрюль с кипящим борщом и варениками.

Потом мы втроём бултыхались в тесном джакузи, ведя светские беседы. Дэвид пригласил Люду и Росса, к которому та приехала в гости, к нам на ужин. Ужинали во дворе. Возле водоёмов на зацементированной площадке под тентом стояли круглый пластиковый стол и стулья, а на незалитой бетоном земле свирепствовали такие заросли, что я не рисковала туда соваться, как бы мне ни хотелось полежать на травке. Росс оказался самым настоящим стариком, хотя он был безукоризненно одет, выбрит, и осанка его сохраняла выправку и властность. Как и у Дэвида, у него на шее был повязан шёлковый платочек, а из кармашка летнего льняного пиджака выглядывал уголок шёлка того же цвета.

Мария подала купленную накануне в супермаркете курицу гриль и салат из овощей. Это была вся еда. Утром я умоляла Дэвида дать мне возможность приготовить для него и гостя русские блюда, салат «Оливье» и селёдку «под шубой», но он не захотел и не стал покупать продукты.

Вечер удался. Мы с Людой, объединённые общим языком, культурой, прошлым и одинаковыми проблемами, трещали не переставая, шутили и смеялись. Иногда пытались для Росса пересказать смысл шутки по-английски, но у нас это плохо получалось. Дэвид поначалу переводил, но потом

они с Россом отвлеклись от нас и тихонько беседовали, заговорщически понижая голоса до еле слышного шопота. Мы понимали, что они тоже обсуждают нас и те неудобства, которые принесли им гости из дикой России.

Наконец мы тепло попрощались с новыми друзьями, и Дэвид меня огоршил.

— Я не хочу, чтобы ты встречалась с этой Людой и разговаривала по телефону.

Я была в шоке:

— Дэвид, что случилось, почему?

— Таму, что она, как это, шука...

— Сука, — машинально поправила я, — Почему сука, что случилось? Она милая, образованная девушка. Я была рада, что мы подружмся.

— Это ты милая дурачка, а твоя дружка (я тут же поправила — подружка) ни перед чем не остановится. Бедный Росс!

Я настаивала на объяснениях.

Дэвид, с тонкой улыбкой на самодовольной, холёной физиономии, торжествуя меня просветил.

— Это ты не хочешь ко мне в кровать, а она в пул (в бассейне) меня ногами трогала и язычком вот так делала...

Он далеко высунул язык и облизал губы.

— Она за столом меня ногами трогала! Ты дурачка, ты любить хочаш, а она замуж. Такая закрутит, а потом всё отберёт!

Я пыталась защитить Люду, говорила, что ему показалось, это были случайные прикосновения, что он не прав, но Дэвид был неумолим. Мне было запрещено подходить к телефону.

Дэвид ожидал приезда из Москвы своего друга и делового партнёра. Я заразилась его нетерпением и тоже ждала, чтобы иметь возможность отправить с okazji письма в Россию. Наконец, таинственный незнакомец прибыл. Им оказался молодой, лет тридцати, парень, одетый в превосходно сшитый деловой костюм и белую рубашку с галстуком. В руках гость держал лёгкий плащ и дипломат крокодиловой кожи. Держался он отстранённо и холодно, с некоторым оттенком высокомерия. Хохоча и похлопывая его по плечу, Дэвид отвёл Дмитрия в освободившуюся накануне комнату для гостей, откуда тот вскоре вышел, переодетый в лёгкие брюки и рубашку с коротким рукавом. Я даже успела заметить, что закрытые туфли он сменил на плетёные из светлой кожи сандалии, одетые на босую ногу. Выражение надменности смягчилось — по лицу гостя скакали солнечные зайчики, щедро проникавшие в дом через стеклянную стену...

Тут же они куда-то и уехали, весёлые и оживлённые, к моему огромному удовольствию.

Я радовалась, когда оставалась одна в доме. Напряжение, постоянно державшее меня в тисках, куда-то отступало, и даже процесс добровольного обжаривания в саду не казался таким уж мерзким делом.

При Дэвиде я себя чувствовала, как чувствует, наверное, прыщавый стеснительный подросток, оставленный у строгого родственника на неопределённый срок — нельзя играть, нельзя доставать книги из застеклённых шкафов, нельзя пользоваться видеоманитофоном, нельзя шарить в

холодильнике, нельзя есть любимое варенье, нельзя позвать в гости друзей, нельзя поваляться в постели.

Когда же удавалось остаться одной, то я, как кошка, пыталась прочувствовать дом, вжиться в него, представить его своим, ощутить себя в нём комфортно, хотя, наверное, лучше было бы пытаться понять Дэвида, подружиться и найти с ним точки соприкосновения.

Я же, скованная непрекращающейся мигренью, замкнулась в неприятии и скрытом раздражении. Возможно, организм просто взял тайм-аут и пытался восстановиться от перенесённых переживаний. Возможно, нужно было побыть в одиночестве, выспаться, зализать раны, но жизнь не давала тайм-аута.

Мне нравилось бывать в доме одного приятеля Дэвида, Ника. Возраст Ника не поддавался определению, как, по-видимому, и его доходы. Я так и не поняла, чем занимался Ник в прошлом, знала только, что он объездил весь мир, и каким-то образом умудрился натащить в свой дом-дворец всяких экзотических чудес. Только переступив порог его резиденции, попадаешь в совершенно фантастический мир — над головой качаются лианы, из кустов доносятся противные крики павлинов, старинные колонны обрамляют ведущую к дому тропинку. И неожиданно из тропических зарослей вырастает огромный дворец, на ступенях которого застыли скульптуры слонов, выполненных в натуральный рост. Создавалось впечатление, что это не жилой дом, а музей восточноазиатской культуры. Лестница вела в огромный холл, в котором расположилось множество слонов, змей, львов и грифов, изваянных из камня и дерева и богато инкрустированных драгоценными камнями.

Среди всех этих подавляющих роскошью отделки и размерами скульптур, прямо в центре зала, на помосте, находился длинный стол под парчовой, расшитой золотом малиновой скатертью. Хозяин, маленький сухенький старичок, совершенно терялся среди всего этого великолепия. И если бы не его апломб, равнозначный размеру слонов, его можно было бы принять за случайно затесавшегося в компанию вальяжных богачей садовника...

Ник, одетый в коротенькие жёлтые шорты, украшенные на задку малиновым сердцем, обнажающие кривые ножки, густо покрытые седой растительностью, бурно приветствовал меня. Он тряс мне сразу обе руки, попеременно слюнявил их и восторженно вопил:

— О, русска баба! Привет!

На этом его знание русского языка ограничилось, и дальше он тархтел на английском. Дэвид, улучив момент, шепнул,

— Сейчас он тебя поведёт хвастаться своей спальней. Не бойся, приставать не будет, ты для него слишком старая.

И он хихикнул. Я, невольно задетая этим замечанием, посмотрела на хозяина дома, — да ему лет семьдесят, если не больше! Кто на него посмотрит!

Оказалось, я была не права — находилось немало желающих привадить богатенького буратинку вместе с его дворцом, слонами и

инкрустированными змеями. Двадцатилетние красавицы сменяли друг друга, но дальше постели их влияние на эпатажного жениха не распространилось.

Я, как гостя из России, удостоилась чести посетить знаменитую спальню в качестве экскурсанта. Спальня и вправду оказалась шикарной. В углу, на постаменте, необъятное ложе крепко утёрло слоновьи ножки в персидский ковёр, скрывая под малиновым балдахинном с золотыми кистями множество тайн. Ванна, не отделённая никакой перегородкой, была вделана прямо в пол и зияла малахитовой глубиной черева. Золотые львиные головы с рубиновыми глазами притворились разными краниками и ручками. Со стен загадочно щурились, выплывая из глубины холстов, лица, и нежились в альковах крутозадые красавицы с молочно белой кожей.

— Похоже на Рембрандта и Рубенса! Хорошие копии, — подумала я. Словно прочитав эти мысли, хозяин возмущённо завопил:

— Это подлинники!

Затем он подпрыгнул, совершил в воздухе пируэт и на одной ноге посккал к гостям, алея в полумраке малиновым сердцем на задку.

Увы, в этом доме подавали такие экзотические блюда, что я, даже будучи вечно голодной, не могла их есть! Сидящие поголовно на диетах, господа употребляли одну траву, представленную во всём её разнообразии и политую для вкуса соусами. Помню что-то горькое, солёное, кислое или водянисто-безвкусное, какую-то мешанину из водорослей и неизвестных растений. Мяса не наблюдалось, подавали сделанную на пару рыбу, хлеба тоже не было. Привыкшая к сытной простой еде — картошке, жареному мясу, хлебу, колбасе, ну и к салату оливье по праздникам, я не могла насытиться этой пищей, в желудке всегда противенько и обиженно что-то подвывало, ворочалось и жаловалось, постоянно кружилась голова.

Почему-то я зашла на кухню и увидела на столе, среди груды овощей, сиротливо лежащей белый батон, длинный, с загорелой хрустящей шкуркой. Забыв о приличиях, я отломил кусок и стала торопливо запихивать его в рот, боясь, чтобы меня не застучали за этим преступным занятием. Но меня застучали. К счастью, Барбара, жена одного из гостей, военного с большим чином, с пониманием отнеслась к преступной страсти к свежему хлебу. Они с мужем отвечали за стол, и всегда принимали гостей в доме Ника, будучи сами гостями. Так вот, она отдала приказ, чтобы для меня впредь готовили спагетти и покупали хлеб. Одетая Барбара всегда была лишь в чулки на подвязках, маленькие чёрные стринги и кружевной белый передничек. В роскошных её чёрных кудрях крепилась кокетливая кружевная повязка, какие часто носят официантки. Красавица заявила, что возмёт надо мной шефство, научит, как себя вести и одеваться. Я даже опешила — мне всегда казалось, что я красиво одеваюсь, и манеры мои не самые плохие, во всяком случае, вульгарной или распущенной меня никак назвать было нельзя...

Задумавшись, я спросила Дэвида об этом. Он ответил так: «Ты хороша, красива девушка. Но видно, что жила в маленьком городе. А Дмитрий

сказал, что и хорошо, что ты провинциалка и потому не испорчена, не похожа на московских девушек, которые все стервы».

Несмотря на сомнительный комплимент в свой адрес, я обиделась. Обиделась за провинциалку и за всех москвичек.

В один из таких визитов кто-то сделал чудесную фотографию, где мы с Барбарой стояли, обнявшись, на фоне слона. Я — в белых брюках и белом блейзере, с золотым ремешком на талии и в золотых туфельках, и почти двухметровая Барбара, дочь француженки и чёрного островитянина, с голый оливковой дынеобразной грудью, кокетливо выставившая стройную ногу в ажурном чулочке. Жалею, что однажды, празднуя очередное начало новой жизни, я порвала все снимки этого периода. В приступе ярости было изорвано изображения невинной в моих злоключениях Барбары, о чём сейчас горько сожалею.

В мусорное ведро полетели изображения Дэвида, богатого старикашки Ника и его гостей, меня самой, давящейся на кухне украдкой батоном, и много, много других.

Только парочка снимков, не помню, по какой причине, избежала печальной участи и трепетно хранится в альбоме.

На одном из них запечатлено, как я, разгоряченная жарой, скучаю на лежанке у бассейна, а на заднем фоне вздымается каскад экзотических цветов.

На другой — в доме посла из Канады, с пластиковой тарелкой в руках я с вожделением взираю на блюдо с макаронами, стоя в очереди к столу.

Иногда в гости прибегала Люда. Я очень радовалась её визитам. Дэвид, запретивший нам общаться, удивлялся такой наглости — как так можно прийти в гости без предварительного звонка? Вопреки моему ожиданию, он её не выгнал, но продолжительность визитов контролировал. Он давал нам с полчаса посплетничать, потом громко извещал о том, что нам с ним пора куда-то ехать, и Люда торопливо уходила. Дэвида, казалось, забавляла ситуация — наш страх, двойная жизнь, которую мы вели, — жизнь людей, приспособившихся к новой чуждой среде с надеждой извлечь выгоду. Очевидно, ему было любопытно следить за развитием отношений между Людой и Россом, но беспокоился о том, чтобы Люда не оказалась на меня влияния и потому строго дозировал время нашего общения.

Дмитрий долгое время держался со мной напряжённо, и я не лезла к нему с разговорами. Несомненным было его высокое социальное положение и достаток, и всем своим поведением он старался поддерживать имидж богатого и уважаемого господина.

С Дэвидом мои отношения в более близкие не перетекали — я упрямо отказывалась переселиться в его спальню, и он перестал петушиться и обхаживать капризную невесту. Он уже был трижды женат и разведён, и имел пунктик — жениться только на европейке, так как ненавидел американок, испорченных свободой и эмансипацией. Я была также четвёртой по счёту русской, которую он приглашал к себе. И вот парадокс... Он был, по его же словам, в восторге от моего благородства,

не жадности, не наглости — всех других кандидатов в жёны он через неделю их пребывания в гостях отвозил в аэропорт и отправлял, плачущих, обратно в Россию. Его возмущала их наглость, они не отказывались, как я, от покупок, а просили — драгоценности, духи, обувь... И в то же время его стала раздражать я — своей холодностью, замкнутостью и тем, что явно не наслаждалась пребыванием в райском уголке.

Я, в свою очередь, тяготилась неопределённостью статуса — не то возможной невесты, не то гостыи, не то служанки. Если бы я приехала просто в гости на оговоренный срок, то, не сомневаюсь, пыталась бы извлечь из такого подарка судьбы максимальные для себя приятности и отношение к ситуации было бы совершенно другим. Но — назад дороги не было, а здесь я не находила места для себя. Дэвид был чужим. Обмануть его, то есть притвориться восторженной и влюблённой, лишь бы только выйти замуж, закрепиться в чужой стране я и не пыталась — тогда мне это и в голову не приходило. Приехав в Майами, я бежала. Бежала от города, ставшего вдруг враждебным. Бежала от себя — опустошённой и равнодушной. Я совершенно была не готова к тому, с чем придётся столкнуться.

Вот интересно получается — оттуда, из нашего полунищего существования, мы все с завистью смотрим на запад, наивно проводя знак равенства между богатством и счастьем. Видели бы меня сейчас покинутые подружки из забытого Богом города — в белоснежном, великолепно шитом пиджаке из тончайшей шерсти, в обтягивающих ноги лайкровых слаксах, в умопомрачительной блузке натурального шёлка, в дорогущих туфлях ручной работы, в золотых браслетах и клипсах! Я разгуливаю по роскошному дворцу, а мне нестерпимо скучно, тошно и хочется домой!

Лежала бы на своей тахте, слушала бы Аббу «Я верю в ангелов», или «Жёлтые ботинки» Агузаровой, пила бы себе чай, грызла баранки, или смотрела в окно на двор, покрытый белым снегом, и какая-нибудь нахальная синица прыгала бы по подоконнику, кося на меня через стекло оранжевым круглым глазом.

Домой! Сладко замирает сердце, и тут же колет ледяная игла рассудка — куда домой? У меня нет больше дома! Вернуться с позором, сказав, что меня не устроил миллионер и жизнь в Майами? Смешно, да и никто не поверит. И что я буду делать, как выживу? В Газете работать не смогу, чтобы не видеться с Ним. Искать работу, когда одна половина города уволена, а вторая получает зарплату носками на чулочном комбинате и лампочками на электроламповом заводе? Вернуться в город, где в тёмном подъезде можно напороться на нож грабителя, где не топят зимой квартиры, и можно уснуть, лишь устроившись под одеялом в куртке, тёплых штанах и вязаной шапке, где стираешь в ледяной воде единственные джинсы и не можешь выйти из дому, пока они не высохнут?

Что делать? Терпеть выходки этого капризного барина, угождать ему, полностью раствориться в его режиме и доме, быть лишь для него — лишь сопровождающей куклой, рачительной хозяйкой (я слышала, как он считал с Дмитрием, что если

женится на мне, то отстранит от работы Марию и сэкономит в месяц четыреста долларов, так как я буду стирать и убирать).

Меня не пугала работа по дому, я и рада была хоть чем заняться — меня оскорбляла рациональность подхода, как будто он выбирал не подругу, не живого человека для любви и счастья, а механизм, способный лишь улучшить его удобства и комфорт.

Поздним вечером Дэвид и его гость куда-то уехали, уже в который раз не пожелав взять меня с собой. Я не очень-то расстроилась и чудесно провела время, описывая подругам в письмах сегодняшней ночью. Глубокой ночью меня разбудил шум. Из гостиной, приглушённые расстоянием, доносились музыка, мужские голоса и женский смех.

Я не могла привыкнуть к этому дому, в котором царил идеальный порядок, в котором не было книг и где нельзя было переложить диванную подушку или безнаказанно пошарить в холодильнике.

Сидя чинно на диване в гостиной и бессмысленно таращась в словарь, я поглядывала сквозь стеклянную стену в кабинет, где Дэвид увлечённо сутился у компьютера и телефона, постоянно требуя у Нэнси какие-то бумажки, и своё безделье воспринимала особенно остро. Убирать мне было категорически запрещено — этим занималась приходящая два раза в неделю Мария, сварившая мне кофе в первый день Майянской жизни. Развлекаться приготовлением пищи я тоже не могла — кроме бананов, супов в пакетиках и джемов, в доме ничего съестного не водилось. Пыталась читать газеты — скучно, да и не понимаю ничего. Часами я тупо смотрела в словарь, пытаюсь вбить хоть ещё одно слово в ставшую вдруг непослушной и тяжёлой голову. Сидеть у бассейна удовольствия не доставляло — адская жара, шныряют устрашающего вида ящерицы.

Раздеваюсь. Залезаю в джакузи. Дэвид радостно машет рукой из кабинета — он думает, что я отдыхаю. Горячая вода, влажный гнилой воздух, в голову жарит немилосердное солнце. В желудке тут же что-то противно начинает сжиматься и поднимается к самому горлу, грозясь вырваться наружу. Перебираюсь в другой водоём и словно попадаю в Ледовитый океан посреди зимы. Выскакиваю из ледяной воды, торопливо вытираюсь, запахиваюсь в белый махровый халат и иду в дом. Хозяин всего этого великолепия работает и шуметь, то есть смотреть телевизор или слушать музыку, запрещается даже в гостиной — огромном зале, заставленном белыми кожаными диванами, стеклянными столиками, деревянными и металлическими скульптурами, вазами с цветами.

Короче, места для меня нигде нет. Чёрной мышкой по дому снуёт Мария, вооружённая тряпкой и пылесосом. Мне неудобно перед ней за свою праздность. Мария, вышколенно обнажив в улыбке розовые дёсны, молча протягивает стопку моей выстиранной и отутюженной одежды. Я благодарю её и скрываюсь в душевой каморке, где можно лежать на кровати и слушать гудение вентилятора.

О том, чтобы выйти погулять за пределы дома и сада, не может быть и речи. На многие километры

тянутся резиденции за высокими оградами, разделённые проезжей частью. Привычного и родного тротуара, по которому могут слоняться беззаботные пешеходы, попросту нет. Как-то я попыталась освоить окружающий мир, и пришлось пробираться, как партизану, почти прижимаясь плечом к бетонным стенам, чтобы не угодить под резво проносящиеся машины. На ноги сыпалась с верхушек деревьев всякая живность, цеплялись за одежду колючки, и ничего не было видно впереди, кроме бесконечных заборов и дороги. Пришлось повернуть назад.

За благополучным районом Кокосовой роши начиналась территория малоимущего чернокожего населения. Даже на машине никто не чувствует себя там в безопасности. Дэвид всегда врубал высшую скорость и побыстрее пытался проскочить эти грязные и опасные пустыри, заставленные картонными лачугами, где за просто так можно было напороться на пулю — известная классовая ненависть бедного к богатому.

Я безумно скучала по своему городу, маленькому и провинциальному, в котором тоска душила меня и который я так отчаянно мечтала покинуть. Я вспоминала свою подругу Леру, которая всегда была для меня символом покоя, уюта и устойчивости. Мы учились в одной группе, и по приятному совпадению она жила с мамой в доме прямо напротив общежития. Лера спасала всегда, с тех сумасшедших студенческих лет. Сейчас ей тридцать лет, но она та же девчонка, и также, как и двенадцать лет назад, теплом бьёт из гостеприимно открытой двери. И не меняющаяся с годами Лерка в дверном проёме. А я, как всегда, голодна и, как всегда, у меня куча проблем. И Лера, как всегда, кормит чем-нибудь вкусеньким и внимательно выслушивает. Двенадцать лет прошло со студенческой поры, а мы всё те же... И всё та же погоня за недостижимым счастьем, и всё то же ожидание. Нам казалось с Леркой, что мы знаем, какое оно, счастье, а когда оно обозначивалось в наших руках, то оно было не совсем таким, как ожидалось, или оказывалось, что нам нужно было совсем другое.

И сказав наболевшее, и съев всё предложенное, я убегала, забыв спросить у Лерки, как она... Ведь у неё так тепло, и она всегда такая спокойная.

Я выбегала, надевая на ходу варежки и пряча нос в шарф. Бежали улицы, грустные такие улицы, воспетые Шагалом и поющие в моей душе. Задорск странный, ранее не любимый. Тебе теперь моя песня. Я удивляюсь Шагалу — ну, что тебе в этих улочках? Ну, что в тебе бьётся эта вечная тоска, в тебе, жителя Франции, весёлой и нарядной? Очевидно, тоска более притораживает, чем веселье. Неужели и в другом городе может быть такое тягучее жёлтое небо, в котором заблудились стаи птиц. Неужели и в другом городе могут быть такие странные обрывы в никуда. И такие горбатые улочки, по которым прогуливались барышни и пролетала в карете молодая весёлая губернаторша.

Всё забыто, растоптано и утрачено...

Игрушечные человечки спешат по своим неведомым делам, и часы на древней каланче отбивают — там, там, там, — посылая свою песню то ли людям, то ли Богу... А я бегу по Задунавской, потом по Соборной площади. Холодно, снег

скрипит, а я вспоминаю чьи-то тёплые губы на своих.

Как давно это было, в той жизни, не со мной! Почему я вспоминаю? Вспоминаю губы, тронутые морозом. Прозвенел трамвай...

Ах, да! Он здесь уже давно не ходит! Когда-то трамвай пробегал здесь по искристым путям, увозя в своём теле сплюснутых замёрзших первокурсниц. А мы всё те же первокурсницы, и не видно впереди ничего, и только город обволакивает, окружая со всех сторон, забирая мою тоску, переплетая её со своей и окутывая ею редких прохожих.

И какой-то мальчик в чёрном пальто оглянулся на меня, узнавая, но мне было некогда, некогда! Я бежала в свою пустую холодную кухню, чтобы в тоске метаться по ней, писать грустные стихи и снова хотеть к Лерке! Вздрагиваю от неожиданного скрипа двери. Занятая своими воспоминаниями, даже не заметила, как в комнату вошёл Дэвид. Бросив неодобрительный взгляд на разбросанные на кровати листки, он буркнул:

— Наряжайся и выходи, у меня сейчас будут гости.

Через полчаса, нарядная, как рождественная ёлка, с наклеенной, дрожащей от напряжения улыбкой, я, как швейцар, торчала у входных дверей. К дому один за другим подъезжают шикарные автомобили, из которых господа с тросточками извлекают на свет подруг — все в узких юбках и в туфлях на высоких каблуках. Дамы буквально душат меня в приветственных объятиях. Вначале они широко распахивают руки, мелко семеня на каблуках, потом, отключивая зад, аккуратно, чтобы не повредить маникюр, смыкают руки на моей спине, прижимаясь напудренной щекой к моей и смачно целуя воздух. Пару дамочек промахнулись и оставили на моем лице полоски жирной помады. Писк, визг...

Мужчины, почти все, как правило, раза в два, три старше своих спутниц, старательно слюнявили мою руку, склоняясь в почтительном поклоне. Я мужественно, как Маргарита на балу, расправлялась с потоком гостей. Во всей этой их неестественной радости и подчёркнутой уважительности мне виделась насмешка — я всё равно была чужой.

До меня здесь уже гостило несколько девиц, и майамское общество относилось к частой смене невест с олимпийским спокойствием, привыкнув к сумасбродствам одного из членов своей стаи. Ещё Дэвид любил эпатировать общество костюмами — он появлялся на людях то в форме морского ротмистра, то в рваной солдатской гимнастёрке. Всё это он привозил из Москвы, и как-то признался, что заплатил за рваную гимнастёрку четыреста долларов, в то время я, как ни просила, так и не дождалась от него батона свежего хлеба за семьдесят пять центов.

В тот вечер Дэвид был босиком, в накиннутой прямо на голое тело холщовой хламиде и поразительно напоминал вылезшего из бочки Диогена — ткань вздыбилась на выступающем животе, открывая ниже колен худые волосатые ноги. Общество даже не моргнуло и глазом. Меня же более всего беспокоило то, что не приходилось рассчитывать на скорый приём пищи. (Я, как всегда, была

голодна). На кухне в огромной кастрюле варилась какая-то похлёбка из овощей и неочищенных креветок, которую периодически помешивал длиннющим черпаком Дэвид, держа в другой руке стакан с виски. Изысканная публика с нетерпением ждала прихода какой-то парочки, которая должна была принести макароны. Мне было стыдно, что в доме нет макарон и что гостям не предложены никакие закуски. Потом я резонно рассудила — почему это стыдно мне, а не хозяину? Наверняка тут у них свои правила, и мне нужно забыть о русском гостеприимстве, тем более что я здесь такая же гостья.

Пока готовилось блюдо, гости, как неприкаянные, бесцельно слонялись по белой гостиной, кучкуясь в различных вариациях. Каждый таскал с собой бокал с вином или коктейлем, многие были уже явно пьяны. Я держалась за свой бокал, как утпающий за соломинку, создавая видимость занятости. Мой упрямый не желающий совершенствоваться английский позволял поддерживать беседу на уровне чукчи, попавшего на симпозиум. Но это незнание языка обострило другие органы восприятия, и, как в немом кино, я легко угадывала истинные настроения и отношения друг к другу. Да, обществу было решительно не о чем говорить, и все откровенно скучали!

Прошёл томительный час. Макароны ещё не принесли. Наконец появившихся спасателей встретили радостным воем. Я укрылась на кухне, радуясь тому, что нашла себе занятие. Дэвид давно уже приготовил варево, и хохот его доносился из сада — стеклянная дверь была отодвинута, и часть гостей переместилась на воздух. Я вскрыла все четыре картонные коробки, наполненные разноцветными макаронами в виде крючков, ракушек и шестерёнок, и очень долго ждала, когда же закипит вода. Наконец всё было готово. Взявшая на себя роль хозяйки, я, как когда-то в пионерском лагере, накладывала в тарелки стоящим в очереди оживившимся леди и джентльменам макароны и поливала их соусом с креветками, издающим острый, пряный запах. Проголодавшиеся дамы и господа удивительно быстро расправились со своими порциями. Десерта в доме, как обычно, не было. Но кто-то, очевидно, хорошо знакомый со скупостью хозяина, предусмотрительно захватил с собой коробку с пирожными. Я подала кофе.

Дэвид в этой суете не принимал никакого участия. Он был смертельно пьян. Шатаясь, он слонялся между столиками и креслами, проливая на пузо из наклонённого бокала кроваво-красный коктейль. За пять минут гости разделились с десертом и с видимым облегчением стали прощаться.

Толпа схлынула, и дом показался неестественно большим и тихим. Дэвид стоял, прислонившись к стене, и непрерывно икал. Его наряд был щедро расцвечен пятнами от пролитого соуса и напитков, к животу прилипла макаронная шестерёнка. Я собралась уже ускользнуть в свою светёлку, но не успела. Всегда корректный и джентльменистый, Дэвид танком пёр на меня. Он расставил руки и, ежесекундно громко рыгая, пытался заключить меня в свои пьяные объятия. Я молча пятлилась задом, выставив впереди себя подвернувшийся под руку стул. Мы оба хрипло дышали.

Дэвид — от выпитого и от ярости, я — от страха и напряжения. Это была не погоня, а поединок. Маски приличия сорваны и выплеснулись долго скрываемые эмоции. Дэвиду нужно было накачать тихую своевольную упрямыцу, не принимавшую правил игры. Я же ошалела от страха, понимая, что хозяин дома совершенно бесконтролен и взывать к его разуму или порядочности бесполезно. Всегда одетый с иголки, элегантный и не лишённый обаяния, сейчас он был отвратителен в этой измазанной хламиде, с пьяными бессмысленными глазами. Передо мной уже проносились уродливые сцены насилия с борьбой не на жизнь, а на смерть, с возможным кровавым финалом. Я была готова защищаться до последнего — эта гора мяса со злобным взором, с прилипшими к пузу кровавыми макаронинами вызывала безумный страх и отвращение. Отступая, я резко выставляла впереди себя стул, Дэвид наткнулся на него и со страшным грохотом обрушился на пол.

Глядя на неподвижно распростёртое тело, я заскулила от тошного страха, но в ту же минуту в мозгу пронеслось ироничное:

— Ну вот, всё, как в детективе — кровь, труп, полиция, тюрьма...

Но судьба написала для меня иной сценарий, в котором трагедия сменяется фарсом. Когда я, опустившись на колени и замирая от ужаса, исследовала бездыханную тушу, то не обнаружила ни крови, ни закатавшихся глаз. Дэвид глубоко и тяжело спал.

Глава 3

Привет, таракан!

Всё, хватит, нагостилась. На меня напало странное лихорадочное возбуждение. Помчавшись в свою комнату, я стала швырять вещи в сумку, не думая ни о том, куда пойду, как выживу в чужой стране, без денег и языка, ни о том, что лучше бы не глупить. Дэвид проспится, и мне надо постараться привыкнуть, приспособиться, выйти за него замуж и узаконить своё пребывание в этом стеклянном доме-аквариуме. Нет! Хватит. Вон отсюда!

Бешеная радость овладела мною — впереди маячил призрак свободы. Принятое решение придало силы и энергии. Я затолкала в сумку те вещи, с которыми приехала, оставив в шкафу на плечиках все новые роскошные наряды. Немного поколебавшись, взяла лишь купленный Дэвидом купальник, рассудив, что ношенный купальник он вряд ли будет дарить другой невесте, хотя кто их знает, этих миллионеров...

В аэропорт меня привёз русский парень. Когда я, ошалев от ударов собственного сердца и от лая Наташки, вывалилась прямо на проезжую часть, в кромешную темноту, то чуть не была сбита машиной. Завизжали тормоза, и уже лёжа на тёплой земле под огромным придорожным баобабом, я услышала отборный русский мат и потом этот же голос на чудовищном английском произнёс:

— Хау ар ю?

Это было невероятно — впервые на чужбине услышать родную речь. Завизжав от восторга, я буквально повисла на шее своего спасителя —

ведь в Америке не принято подвозить случайных попутчиков, а как вызывать такси, я не знала.

Игорь отвёз меня в аэропорт. Он только крутил головой, выслушивая мой сбивчивый рассказ и приговаривая:

— Ну, ты даёшь, девка! Ну, ты и влипла, девка! Билет-то хоть есть обратный?

Взахлёб спеша поделиться своими приключениями с первым же земляком, встреченным на чужбине, я беззаботно махнула рукой:

— Какое домой! Там уже ни денег, ни работы, сплошная безнадёга! В Нью-Йорк и только в Нью-Йорк!

Открытка с очаровательным голубым видом снова возникла перед глазами. Игорь пытался образумить сумасшедшую попутчицу, спрашивал, есть ли у кого остановиться в Нью-Йорке, есть ли у меня деньги? Я только махала рукой:

— Деньги заработаю, поеду няней в любую семью. У меня есть один телефон, позвоню с аэропорта. Заберут, куда денутся, не оставят же на вокзале жить.

Нечаянный спаситель только вздыхал. Он пошёл со мной в здание аэропорта, купил для меня телефонную карточку, рассказал, как ею пользоваться и на всякий случай дал телефон своего нью-йоркского друга. Пожелав удачи, он пошёл к выходу. Я проводила взглядом его квадратную фигуру и, только когда он скрылся за стеклянными дверями, достала блокнот с телефонами.

Прошло всего несколько часов после побега из Майами, а казалось, что я там никогда и не была. Остался позади стеклянный дом, взбалмошный Дэвид, липкая жара, и чудесным образом куда-то исчезла измучившая меня вечная мигрень.

В аэропорту Кеннеди было серо, скучно и грязно, совсем как в Шереметьево. Повеяло чем-то родным и знакомым от луж талого снега на полу, от вида людей, одетых в куртки и пальто. Меня должен был забрать Николай, которому, как могла, описала свою внешность, стараясь быть объективной. До своих знакомых я не дозвонилась, и пришлось воспользоваться номером, который дал добрый Майамский спаситель. Оказывается, Игорь успел ввести в курс дела своего друга, и мне не пришлось долго объясняться и бляеть, умоляя о помощи. Николай сразу деловито приказал:

— Я закажу для тебя билет до Нью-Йорка, а ты через полчаса подойди в кассы, покажешь паспорт, а из Кеннеди позвонишь мне, и я за тобой приеду.

Предупредив горячую благодарность, хохотнул:

— Не тушуйся, сестрёнка, за билет деньги отдашь, и долго не загостишься — устроим тебя на работу.

Я не имела представления ни о компьютерах, ни о кредитных карточках и не понимала, как через полчаса билет, купленный в Нью-Йорке, окажется в Майами, и как об этом будет знать строгая служащая в голубой униформе.

В аэропорт Кеннеди я прибыла налегке, с одной сумкой, из которой вытащила хлопковый джемпер и накинула поверх майки. В Майами была такая зверская жара, что, забыв о том, что на дворе, тем не менее, месяц январь, я оставила свою выдавшую виды шубку висеть в шкафу среди

новеньких шёлковых блузок, белого пиджака и слаксов — подарков Дэвида.

В туалете я остудила пылающее лицо холодной водой, расчесала вставшие дыбом от нервных перегрузок последних часов волосы и вышла в холодный уютный зал, боясь, что никто за мной не придет или что мы с Николаем не узнаем друг друга.

Страхи были напрасны — Николай сразу же вычислил меня, не по сезону одетую, загорелую и взвинченную. Ах, как же я была счастлива, несясь в неказистой машине навстречу новой судьбе, которую буду строить сама, не полагаясь на милости чужих и ненужных дядек! Прости, Дэвид, что невольно тебя использовала как средство передвижения!

Вскормленная прекрасными сказками о принцах, одним махом вытаскивающих трудолюбивых золушек и терпеливых асолей из нищеты и страданий в яркий мир больших возможностей, больших денег и большой любви, я бездумно, как мотылёк, полетела на зов мечты...

У нас любви с Дэвидом, из провинциальной убогости казавшимся мне принцем, не получилось, а без неё стеклянный дом-дворец оказался клеткой, возможность не работать — тяжёлым испытанием, а материальная зависимость — отчуждением и постоянным унижением. Тут уж больше подходит сказка про Дюймовочку, та её часть, как пыталась бедная крошка вырваться из норки отвратительного крота.

Я больше не попадусь в такую ловушку, зная теперь, что между богатством и счастьем нельзя ставить знак равенства, и что есть такие вещи, которые невозможно терпеть даже из-за явной их выгоды.

Жена Николая, Тамара, не разделяла моих восторгов по поводу новой жизни. Она скептически хмыкала и задавала вопросы, чем же так был плох Дэвид. Полученные ответы её не удовлетворяли, они на самом деле выглядели неубедительными и расплывчатыми. Судя по Тамариному мечтательному лицу, уж она смогла бы терпеть прибабасы Дэвида.

По её просьбе я вновь и вновь описывала дома, где успела побывать, туалеты и образ жизни богачей. Мне уже самой стало казаться, что я совершила глупость, не сумев воспользоваться возможностями жизни с Дэвидом. Неожиданно меня поддержал Николай:

— Молодец, что не стала угождать этому старому хрычу! Думают, что если у них есть деньги, то им можно издеваться над людьми!

Я с упоением уплетала картофельное пюре с сосисками, запихивала в рот куски чёрного хлеба. После двух рюмок водки было тепло в животе и на душе. Всё было безумно родным, привлекательным и вызывало восторг — и вид привычных сердцу многоэтажек со светящимися окнами, и кружащие за окном снежинки, и сама эта квартира, обыкновенная, но нестерпимо милая, и даже проползший по столу таракан вызвал у меня приступ счастливого смеха. Проваливаясь с головой в омут глубокого сна, я услышала тихий шёпот:

— Провинциальная дурочка, — но обидеться не успела.

С тех пор, по-видимому, психика моя поставила перед сознанием мощную блокировку, и я никогда не сомневалась в правильности выбора, что касалось эмиграции как таковой, а жизнь в Майами постоянно пыталась осмыслить и оценить. Очевидно, чтобы не испугаться разрушений, оставляемых позади, и не дать ностальгии задвинуть себя, я сознательно не участвовала в разговорах, в которых критиковалась Америка и любые аспекты американской жизни.

Тамара жалела меня. Уж она-то знала, через что мне, нелегалке, предстоит пройти. Статус легального жителя может принести только замужество за гражданином страны. После преодоления первой вершины открываются новые горизонты — поиска своего места под солнцем и приличной работы. То есть впереди — годы учёбы и штудирования языка. Об этом я не думала и не пыталась осмыслить ширины океана, который предстояло переплыть. Назад дороги не было.

И ещё — поддерживала мысль о том, что когда-нибудь я приеду в Задорск навестить подругу, и новость эта, конечно, докатится и до *него*. Он узнает, что я живу в Америке, да не на какой-нибудь завалящей ферме в глуши, а в Нью-Йорке, что я богата и счастлива. Это будет моей маленькой женской мстью. Только глупое тщеславие и ярость оскорблённого самолюбия давали мне силы жить, работать и терпеть.

Дня через три наступило отрезвление от щенячьей эйфории. Вид ползущего таракана уже не вызывал приступа буйного веселья. Стало очевидно, что семья моих спасителей, имея видимый материальный достаток — две машины, хорошую одежду и забитый деликатесами холодильник, всё же испытывает финансовые затруднения и живёт в постоянном страхе — потерять работу и опуститься на низшую социальную ступень. Николай, закончивший в МГУ исторический факультет, подрабатывал извозом в так называемом кар-сервисе, процветающем только в Бруклине, а Тамара, филолог по образованию, до глубокого вечера просиживала в ожидании клиентов в салоне парикмахерской, где она арендовала маникюрный столик. Вечерами до поздней ночи крутилась обычная семейная карусель — сделать уроки с Джулией, уложить спать маленького Томаса.

Горю желанием перейти на собственные хлеба. С одной стороны, своим благодетелям помогаю экономить на няне, с другой, становится уже невыносимой зависимость, да и хозяев утомляет затянувшееся гостеприимство. Николай, как ни тяжело ему со временем, возит меня в агенство, где набирают женщин по уходу за стариками. Он кокетничает с русскоязычной чиновницей. Навалившись грудью на стойку, жарким шёпотом обещает не остаться в долгу. Сотрудница, добрая украинская тётка, с жалостью смотрит на «русску дивчину», которая, по выданной Николаем версии, сбежала от нещадно её колотившего американского мужа. Тоже шёпотом она подсказывает, как оформить бумаги. Парадокс — чтобы устроиться на любую работу, нужно доказать, что у тебя имеется опыт.

А как быть, если ты ещё не работала, совсем, или только приступаешь к новой трудовой деятельности?

Вечером на кухне сочиняем рекомендательные письма, числом три. Вернее, все три письма пишу я, изменяя почерк от лица Николая, Тамары и их соседки, якобы я ухаживала за их больными мамами. В письмах расхваливаю сама себя, какая я дисциплинированная, заботливая и аккуратная. Работодатели расписываются и указывают номера своих телефонов — из агентства могут позвонить, чтобы проверить достоверность. Приглашаем соседку Нину за стол. Николай, радостно потирая руки, разливает по стаканчикам водку из запотевшей бутылки

Боже мой, как же я люблю этих людей, о существовании которых не имела никакого понятия ещё неделю назад. Они мне стали роднее всех родных.

Веселье постепенно идёт на спад. Подперев голову рукой, Тамара рассказывает, как таскала с собой маленькой Джульку — вначале на курсы английского, затем — на занятия по освоиванию маникюрной профессии. Николай сразу сел за руль. Вначале ездил на машине хозяина кар-сервиса, выплачивая в конце дня сто долларов за прокат машины. Бензин за свой счёт, и в итоге оставались копейки. Приходилось работать по восемнадцать часов в сутки. Поднапряглись, купили машину, сразу стало легче. Тамаре тоже пришлось приобрести транспортное средство — курсы находились в труднодоступных для общественного транспорта районах Бруклина, в так называемых Чернушниках, где белой женщине на улице лучше не появляться.

Нина, соседка и приятельница Тамары, — бакинская еврейка. Евреям легче — их берёт под защиту ХИАС.

Итак, мы пили на кухне. На повестке дня стоял вопрос о моём трудоустройстве и необходимости замужества. Без замужества было не обойтись. В первую очередь — легальность. Без которой — ни счёт в банке открыть, ни учиться пойти, ни ссуду взять. Вроде есть человек, а вроде и нету его.

Сколько русских женщин похоронило себя в чужих семьях, на нелегальной работе — нянями и уборщицами! Скольких я потом перевидала — потухших, преждевременно состарившихся, поставивших крест на личной жизни, погрязших в чужих болезнях и кастрюлях!

Замуж мне хотелось и поэтому, и просто так — по зову пола, крови и устоявшихся традиций.

Опьяневшая Тамара заставляет меня пересказать Нине свои майамские приключения.

Они охали и ахали, просили описать наряды дам, убранство домов, машины и времяпровождение богатеев. В их глазах светилась неприкрытая зависть, восхищение и искреннее непонимание, как я могла отказаться от всего этого. Я не могла объяснить, почему мне было так плохо там. Нина, ярко крашенная брюнетка, мечтательно говорила:

— Уж я бы ласкала твоего пузанчика! Я за новую шмотку какого хошь мужика вытерплю! Мне как подарят чего, так я хоть с чёртом пересплю!

Меня шокировала циничная откровенность и практичный подход к отношениям полов.

— А как же любовь, уважение, элементарный интерес друг к другу, совместимость?

Пьяная Нина пророчила мне грядущие ужасы:

— Не ценишь ты себя, подруга! От такого счастья отказалась! Ну, чем так плох бы Дэвид? Ты дала ему? Не дала? Ну, и что жалуешься, что не кормил. Может, и не кормил от злости. Ух, я бы его раскрутила на подарки!

Тамара, опасливо поглядывая на мужа, изредка поддакивала. Я же совсем запуталась, и сама не могла толком объяснить, почему же не воспользовалась данной возможностью окрутить богатого мужика. То, что я не могла залезть в постель к Дэвиду, не испытывая к нему никакой симпатии, в расчёт не принимали — мне не верили.

— Тю, — возмутилась Нина. — Посмотрим, какой свободной ты себя почувствуешь, когда будешь получать пять долларов в час и брать бабу с проживанием, чтобы выжить и скопить крохи...

— А если будешь работать восемь часов в день, то, как заплатишь за квартиру, так и будешь сидеть в ней не жрамши, — пугали меня женщины. Я совсем сникла, бегство из Майами расценивала, глядя на себя глазами новых подруг, как глупость и недалёковидность.

Неожиданно горячая поддержка пришла от Николая.

— Не дурите девке голову, балаболки! — крикнул он, — она нормальный человек, а эта ваша бабья шлюшь философия — выбирать себе мужа по его кошельку! И ты, Тамарка, вспомни, как сбегала из хорошей парикмахерской, когда хозяин стал тебя лапать! А он же богатенький! Что же меня не бросила?

— Коля, ну, он же бы противный, жирный, гадкий!

— А если не гадкий, а молодой и богатый? Бросила бы меня?

— Ну, что ты, Коля! — заныла Тамара.

— А я бы в проститутки пошла, — мечтательно протянула Нина. — А что, во всяком случае, честно. Заплатил — и к чёртовой матери. А то-любовь, морковь, и тут же сами запрыгивают на шею. (Нина работала медсестрой в госпитале, была незамужней. Своё крепкое материальное благополучие скрывала — с трудом удавалось избавиться от очередного альфонса, а с американцами встречаться не получалось. «Не завязывается контакт», — как она сама поясняла)

В незашторенное по причине забывчивости кухонное окно уже давно заглядывало круглое лицо луны. Сколько блестили в тарелке маринованные грибы, политые маслом. Краснела лужа пролитого Томасом клюквенного сока, пепельница была переполнена окурками. Кухня опустела — Тамара пошла провожать соседку до дверей, Николай укладывал детей спать, а я стала мыть посуду.

Глава 4

Посланица «Белого Ангела»

Итак, Айрина Ханигман. Имя будущей пациентки и её адрес мне выдали в агентстве с многозначительным названием «Белый Ангел», в котором учителями, инструкторами и секретарями были чернокожие женщины. Сердобольная хохлушка, непонятно каким образом затесавшаяся на государственную работу, — предел мечтаний всех

иммигрантов, помогла мне устроиться на курсы. Рекомендательные письма, коробка шоколадных конфет и кружевной, собственноручно сплетённый, воротничок сделали своё дело.

Чтобы получить самую низкооплачиваемую и непрестижную работу, пришлось пройти недельный курс лекций, практические занятия и тест, сравнимый по сложности с экзаменом на звание доктора. Усилия увенчались получением сертификата с загадочной аббревиатурой P. C. Накануне вступления на пост мы выпили, всплакнули. Тамара, которая мне уже была как сестра, помогла собрать всё самое необходимое. С меня взяли слово звонить, приходиться на выходные и разрешили держать у них свои вещи.

Вооружённая сумкой, в которой был полный боекомплект, то есть — простыня, полотенце, ложка, кружка, тарелка, маленькая кастрюлька и личные вещи, я прибыла по указанному в направлении адресу в вышеупомянутый переулок в понедельник в девять часов утра и с замиранием сердца позвонила в обшарпанную дверь обшито́го дранкой двухэтажного дома, худого, зажатого с обеих сторон забором и мощными стволами деревьев. Мне открыла милостивая женщина, очень приветливая, и пока я поднималась за ней по узкой и крутой лестнице на второй этаж, засыпала меня вопросами. Спросив, откуда мой акцент и узнав, что я из России, она буквально зашла от восторга. Оказывается, её мама, за которой теперь мне предстояло ухаживать двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, была трёхлетней девочкой привезена родителями из Бобруйска в начале века, но русский язык в их семье был утрачен безвозвратно. Так объяснилось происхождение имени Айрин, то есть Ирина.

Сарра была очень любезна. Она провела новоиспечённую хомматенду по всей квартире, показала спальню матери и комнату для меня — махонькую, с продавленным диваном и полуразвалившимся бюро. Узкое окно почти закрывала крона пышно разросшегося дерева, и в комнату заглядывала любопытная белка. У окна стоял низенький круглый столик, и на этом спартанская обстановка исчерпывалась. С видимым удовольствием Сарра отклонялась — она спешила на работу, и я осталась наедине с подопечной.

Царственного вида дама восседала на кухне за огромным круглым столом. По-бычьему наклонив голову и глядя сквозь толстые стёкла очков, она читала потрёпанную книгу с жёлтыми страницами, беззвучно шевеля губами. Я с опаской примостилась напротив и кашлянула, призывая познаться.

Не поднимая глаз от испещрённых непонятными знаками страниц, она величественно взмахнула рукой — так прогоняют глупую приставучую курицу...

Я ушла в свою комнату, в которой не было дверей, и принялась обживать — разложила бельё в ящиках комода, расставила сверху какие-то безделушки, дорогие сердцу и странствующие со мной по миру...

Так началось это почти двухлетнее добровольно-вынужденное заточение в полуразвалившемся доме, этот странный союз, основанный на вражде,

ненависти, желании понять и принять, терпении и взаимной зависимости.

Каждое утро начиналось одинаково — сначала Ханигман принимала ванну, потом я варила ей кашу. Нехитрые процедуры были возведены до ритуала священнодействия, правда, одностроннего — она балдела, я же тихо бесилась. Пока Ханигман нежилась в пенистой воде, я уныло сидела на унитазе и прела от влажного и спёртого воздуха — она боялась оставаться в ванной комнате одна и не позволяла открыть дверь, чтобы ей не надуло. Потом, дрожа от отвращения, я натирала кремом её рыхлое разваливающееся тело и одевала. Довольная и свежая, Айрын шествовала на кухню, с важным видом цепляла на нос очки и погружалась в чтение своего талмуда. Я не знала, что это была за книга. Но по тому, что каждое утро начиналось с одной и той же страницы, догадалась, что это вроде Библии, но для евреев, и она не читает, а молится. А текст, наверно, на иврите.

Я же минут сорок мешала томившуюся на маленьком огне овсяную кашу. Помолвившись, она откладывала книгу в сторону, и я с облегчением снимала с огня кастрюльку. Следующий этап был — уборка. Каждый день нужно было пылесосить, вытирать пыль с многочисленных шкафчиков, пуфиков и фарфоровых собачек и кошечек, мыть пол на кухне и в ванной, стирать в тазике её грязное бельё. Позже, чисто из вредности, я пыталась увильнуть от рутинности утренней уборки, мотивируя тем, что я же христианка, и хотя бы в воскресенье можно не мыть полы, из уважения к моей религии — я ведь уважаю её. Ответ был таков, что мои ценности её не интересуют, а я бы лучше исполняла свои служебные обязанности.

Я же впервые столкнулась с ортодоксальными евреями и с любопытством вникала в чужую культуру. Мне полюбились пятницы. Ханигман зажигала свечи, прекращала шпионить за мной и дёргать по пустякам. Она становилась необыкновенно важной, временно приостанавливала телефонный террор дочерей, замолкала, усаживалась у круглого, уставленного свечами стола в гостиной и шептала молитвы. Я на цыпочках сновала мимо неё на кухню и в ванную — варила себе кофе и могла спокойно, раз в неделю, посидеть в туалете.

Изнутри ванной комнаты дверь не закрывалась, была сломана задвижка. Дочь пациентки клялась прислать кого-нибудь починить задвижку, но так и не прислала. Ханигман страдала недержанием мочи и неконтролируемой вредностью — ей нравилось, когда я злилась. Стоило мне просочиться в комнату индивидуального пользования, как забыв про большие ноги, со слоновьим топотом в ванную неслась Айрына и с размаху, как громадный мотыль, билась в дверь. Ночью, заслышав её богатырский храп, я на цыпочках кралась в сортир, мечтая освободить вздутый желудок, но пациентка не теряла бдительности и во сне. С криком «Я первая!» она срывалась с постели.

Замок, наконец, починили, но мою нервную систему это не сохранило. Всё то время, пока я принимала душ или сидела на горшке, Айрын неистово колотилась в дверь, рискуя выломать её вместе с рамой. Я научилась хладнокровно принимать водные процедуры под грохот и крики.

В пятницу жизнь замирала. Чтение молитв продолжалась недолго. Сидя на стуле, Айрын засыпала. Выглядела она уморительно — сбившийся на ухо парик, лежащая на груди голова, нижняя губа оттопырена, горой вздымается огромный живот, короткие и неожидаемо худые ножки в перекосившихся реках вен вытянуты, с них свалились тапки, руки безвольно висят вдоль тела...

Под её шумные всхлипы и всхрапывания я спешила воспользоваться недолгой свободой — спокойно принимала душ, делала себе гренки или яичницу, звонила по телефону приобретённым за время учёбы на курсах приятельницам, таких же невольниц, работающих хомматендами с проживанием, и в пятницу вечером у нас была возможность перемыть косточки своим старухам. Обязательно я звонила Тамаре и Николаю и громким шепотом рассказывала, какая старуха сволочь.

Вечера я обычно проводила в своей келье, сидя на полу и читая газеты.

Спать же перебралась с дивана на пол — на моих бедных боках уже были отпечатаны все диванные пружины, а тело стало принимать форму его выбоин и ямок. На полу спать было вольготнее, хотя жёстко.

Обычно я долго лежала без сна, прислушиваясь к шорохам и поскрипываниям старого дома, наблюдая за тенями от огромного дерева, которое заглядывало в комнату и стучало ветками в оконное стекло. Покой этот нарушали лишь призрачный свет луны и возня трёх мышек, которые устраивали беготню по квартире, но ни разу не забежали на моё ложе. Мышки казались разумными и славными, они явно играли в догонялки, когда же я однажды их по глупости спугнула, они мгновенно рассыпались, прыснули в стороны, исчезли и больше не появлялись.

Зимой стало тоскливо. Темнело рано. Сидя на полу, я прислушивалась к бубнению телевизора на кухне, Ханигман по-прежнему спала за столом, но всякий раз просыпалась, когда я на цыпочках крадась в туалет. Прогулки выводили меня из себя — я постыдно мёрзла. Попрыгались по домам соседи и их детишки, здания и деревья оголились до самого основания, исчезли все цвета, кроме серого, чёрного и коричневого. Два часа каждый день мы мотались туда-сюда по пустой улице. Я изнывала от скуки и холода, Ханигман получала огромное удовольствие.

Несколько раз я пыталась сменить пациентку, но всегда попадала из огня да в полымя. Потом я сбегала от лежачих больных, орущих ночи напролёт, и окончательно сумасшедших и агрессивных, и опять попадала к Ханигман — у неё по причине её необыкновенной вредности не могла прижиться ни одна хомматенда — я оказалась самой терпеливой или самой невезучей. Вернувшись, я отогревалась в тепле её квартиры, отдыхала в тишине, наслаждалась покоем и необременительными обязанностями и — всё начиналось сначала.

Тихенькая и вежливая, Айрына давала мне возможность отдохнуть, расслабиться, а потом начинала придумывать новые каверзы и вредности. Сарра просила меня терпеть и не уходить — она устала от частой смены помощниц для матери, устала от конфликтов и постоянных жалоб на мать:

— Да, мама не подарок. Мне тоже с ней нелегко, но что делать?

Меня она соблазнила тем, что обещала часто забирать мать к себе в дом на многочисленные еврейские праздники, освободив, таким образом, меня от заточения. В праздничные дни, уже с утра, нарумянившись и нарядившись, Ханигман сидела у окна, похожая на окаменевшего суслика, и я, потерявшая способность читать, в ожидании свободы маялась неприкаянно, прислушиваясь к звукам.

За пару дней, належавшись в ванне в квартире своих друзей, наговорившись с ними всласть, наигравшись с детьми и набежавшись по Манхеттену, я отходила от вечной усталости и раздражения, но затем ненависть к пациентке обрушивалась на меня с новой силой, хотя в то же время она меня страшно смешила — все эти подглядывания, уморительная важность, нелепые выходки...

Я пыталась с ней подружиться, но это было бесполезно. Она не хотела никого и ничего впускать в свою душу. Она хотела только — жить. Хотела неистово и страстно. Она наслаждалась каждым отпущенным ей часом, наполняя однообразную жизнь всеми доступными ей эмоциями и развлечениями, из которых самыми любимыми были моя злость и раздражение.

Я же таяла, бледнела и гасла. Мне, тридцатилетней молодой женщине, которой, кстати, больше двадцати пяти никто не давал, была тяжела жизнь монашки. Моя задача была — скопить как можно больше денег, осмотреться и постараться выйти замуж. Но как можно искать мужа, будучи запертой в доме с полусумасшедшей старухой?

В выходные я с восторгом шлялась по Манхеттену, музеям и паркам. Здесь не принято знакомиться на улицах, и на судьбоносную встречу надежд было мало, но я надеялась, что что-нибудь произойдёт. Долгими тоскливыми вечерами меня спасало рукоделие — я обожала вязать крючком кружева, — и бумагомарание, к которому я пристрастилась, спасаясь от одиночества, ещё в Майами. Вытащив у Ханигман из буфета стопку сиреневой, для писем, бумаги, украшенной по краям вензелями и цветочками, я записывала всё, что приходило в голову.

Приобщение к мировой культуре и воспоминания детства. Воспоминания такие, что младший братик забрал себе всех «Мишек», а мама сказала, что он маленький и его обижать нельзя. Он был маленький, а я была большая, целых шесть лет. Но конфет безумно хотелось. И я проявила первые педагогические способности. Увлекла братца перевозкой конфет с одного склада на другой на игрушечном грузовике. Таким образом удалось стырить пару конфет. Я всегда была большая, а когда выросла, вдруг стала маленькой. Зациклилась где-то на двадцатилетнем возрасте.

Да, отвлеклась. Возвращаюсь. Так вот, первые время моей работы в Америке страшно жадничала. Считала, сколько чашек кофе выпила, сколько пицц съела, сколько раз проехала в метро. И ужасалась своей расточительности. Потом надоели эти терзания, и удовольствие от еды пересилило сожаление о потраченных баксах. В итоге распустилась окончательно — ликёр

и шоколадные конфеты. Бутылка даже украсила мою монашескую келью, я не стала прятать её в ящик. Предавалась сегодня в одиночестве самому отвратительному пороку — пьянству. Захотелось туда, в Россию, к девочкам! Какой ослепительно богатой и благополучной выглядела бы я там! Пренебрежно угощала бы приятелей и подружек, и велась бы под сладкую рюмочку богемные разговоры. И запах кофе... О этот запах кофе! Снимаю шапку перед тобой! Правда, шапок не ношу, но это уже не важно.

Что-то ностальгией потянуло от моих воспоминаний, хотя не хочу возвращаться и не вернуться. Прощайте, жареные грибочки, прощай, рюмка водки! Привет, тонкие вина и зелёные клёцки! Прощайте, русские мальчики в кожаных куртках, рвущие жилы в погоне за баксами! Я теперь валютная девочка! Только я не продавалась за валюту, я заработала её тряпкой и пылесосом.

Вот так и сижу. Сидела у окошка в своей далёкой теперь и милой Белоруссии, сидела в Майами в знойном стеклянном доме. И сегодня вдруг меня остро пронзила мысль: «Неужели я приехала в Америку для того, чтобы таскать мешок с мусором за этой сумасшедшей старухой?»

Я подняла голову и увидела вечернее розовое небо, догорающее над крышами, и ребёнка на балконе, и одинокую машину, и горстку белых голубей...

Сижу у окна в переулке возле Брайтона, смотрю на маленький дворик, на стену соседнего дома, на деловых белок. Смотрю и успокаиваю себя. Ну, что тебе ещё надо? Сыта и покойна, сиди себе и пиши! Сколько времени я высвободила для себя! Я не стою в очередях за маслом и крупой, я не езжу на работу в другой конец города, я не хожу в прачечные и ремонтные мастерские, я не стою у плиты и не ломаю голову, как запастись картошкой на зиму и у кого «стрельнуть» до полочки. Я свободна от этого. Но я не свободна в другом. Я не могу выйти пособирать осенние листья, я не могу празднично болтаться по улицам города, разглядывая людей и себя в отражениях витрин. Ну, что ж.

Зато я обладательница Времени. Его так мало. И я спешу. Всё что-то вяжу, всё что-то пишу на этих белых листках. Всё что-то хочу сказать. Вы поняли что?

И мои записки — как бег по пересечённой местности. Я всё бегу, всю жизнь. Мне кажется, что я ещё не добежала. Что это что-то вот-вот оно, за поворотом. А что это будет, я не знаю.

Глава 5

Моряк на крючке

Так вот я убивала время — непомерно тягучее и растянутое, записывая что в голову придёт, сплетая вымысел и правду в причудливые кружева. Мне стал звонить Игорь, Майамский спаситель, раздобыв номер телефона у Николая.

Несмотря на все непредсказуемости зигзагов судьбы, мне казалось, что кто-то невидимый и могущественный поддерживает и охраняет глупую провинциалку. Поставив препятствие на её пути, он же посылает помощь и подсказку, как это препятствие преодолеть. Откуда ни возьмись,

появляются люди, которые играют ключевую роль в моей судьбе или просто помогают выжить. Ни одно случайное знакомство, как оказалось, не было бесполезным. Каждый встреченный человек сыграл определённую роль в моей судьбе, и, сыграв её, уходил в сторону, за кулисы, как окончивший своё выступление актёр. Интересно, помогала ли я кому-нибудь, хоть невольно, своим примером или морально, или только потребляла бессовестно возникающую ниоткуда помощь? В то же время интуитивно я знала, что на мою долю отпущено какое-то количество трудностей и испытаний, и терпеливо тянула постыдную лямку в надежде, что скоро судьба моя переменится самым кардинальным образом. Домой я вернуться никак не могла — на пепелище не возвращаются. Согрела мысль, что когда-нибудь приеду туда — обретшая американский статус, работу и суженого. Только тогда расскажу друзьям о днях унылой постылой работы, об одиночестве, страшном, сводящем с ума одиночестве, о невыносимых неутолённых желаниях, о неосуществлённых фантазиях.

Итак, мне стал звонить Игорь. Вначале меня коробило его полублатное обращение «сестрёнка», но потом привыкла. Игорь служил во флоте, и оттуда этот фривольный жаргон, полуразвязные манеры, но и — желание прийти на помощь по первому зову, взять на себя чужие проблемы. Ханигман страшно злилась, когда её домработницу отрывали от дела, она передавала мне трубку, но тут же начинала орать, заглушая все звуки — то требовала кофе, то немедленно нужно было идти гулять. Поговорить было невозможно — голос у Айрын отменный, она трубила, как молодая слониха. Поболтать по телефону удавалось лишь по пятницам, когда власть намолившаяся и хлебнувшая Манушевича пациентка без задних ног дрыхла в кресле у окна в гостиной. Услышав первую трель, я неслась в кухню, срывала трубку со стены и, усевшись за круглым столом, шёпотом отводила душу.

Игорь рассказывает о себе. История его приключений затейлива — чистый детектив. Он закончил вгик, операторский факультет, был помощником оператора во многих, ставших классическими, фильмах. До вгика — служил во флоте, учился во флотском училище в Питере. Ходил в заграничку. Так и совмещал — кино и флот. Во время очередного плавания сошёл на берег в капиталистической Швеции, сдался полиции и попросил политического убежища. Это был год 1990. Я недоумевала.

— У тебя что, жизнь плохая была? Чего тебе не хватало — денег, впечатлений, интересной работы?

— Да, — соглашался он. — Бес попутал. Теперь и не помню, были какие-то трудности, хотелось лучшего. Казалось, что за рубежом будет не жизнь, а сказка.

Урывками, насколько позволяло время, он рассказал о своих мытарствах. В Швеции его определили в лагерь для беженцев. Это было что-то вроде общежития. В каждой комнате жило по четыре человека, так называемые перемещённые лица, беженцы из Югославии, Румынии и различных республик бывшего Советского Союза. Ребята с ума сходили от скуки, ожидая решения своей участи, играли в карты, гуляли по городу. Кормили

их три раза в день, в девять вечера была поимённая проверка. На день каждому выдавали наличные в размере двух долларов. Курильщикам приходилось тяжело, пачка сигарет стоила пять долларов. Как в армии, растягивали затяжки, хранили бычки, некурящим продавали вещи и еду, которой также было недостаточно...

Со временем ребята научились лихо воровать в супермаркетах еду, выпивку и сигареты. Через четыре месяца неизвестности и изнурительных собеседований, более похожих на допросы, их стали распределять по странам. Игорь хотел остаться в Швеции и очень расстроился, что ему дали вид на жительство в Соединённые Штаты. Беженцам оплачивали билет на самолёт по выбору в любой город. После недолгого раздумья Игорь выбрал Майами. Знакомых у него в Америке нигде не было, а Майами чисто подсознательно вызвало положительные эмоции — там тепло и весело. Оказалось, что там слишком тепло, особенно летом, скучно и нет работы. Работу, как ни странно, он нашёл на телевидении — помощником оператора, а если без налёта поэзии, то мальчиком на побегушках. Игорь злился, ему было стыдно прислуживать, именно так он относился к своим обязанностям — приносить коллегам бутерброды и кофе из буфета, выполнять мелкие поручения, прибирать и подавать. Он хотел более квалифицированной работы, которую умел выполнять, и более высокой зарплаты. Потребовав этого у менеджера, Игорь тут же вылетел из киностудии. Уволили его быстро, вежливо и элегантно.

Пришлось садиться за баранку. Теперь незадачливый оператор вспоминал, как о высшем счастье, о своём пребывании на киностудии. Он рассказал, как со съёмочной бригадой он плавал на корабле в Карибском море, где они работали над сериалом, обещал показать фотографии, на которых он снят с известными американскими актёрами. Платили ему тогда всего пять долларов в час, но можно было бесплатно пить кофе и есть бутерброды, сколько душе угодно — всем этим бесплатно снабжали съёмочную группу, и на питание ему не приходилось тратить.

Сейчас в среднем он тоже зарабатывал пять долларов в час, но приходилось часами простаивать в ожидании клиентов, выискивать, где можно купить бензин и еду подешевле. Он мне рассказывал, как нагревается руль в машине, к которому можно дотронуться только, надев кожаные перчатки, как нечем дышать в раскалённой железной коробке, а кондиционер он включает только для клиентов, как в фанерную будку, служащую жильём, заполняют разные тропические гады, а по ночам он слушает звуки ночи и клянёт себя, на чём свет стоит за глупые амбиции.

Игорь собирался приехать в Нью-Йорк на пару дней, чтобы развеяться и навестить друга. Он хотел встретиться со мной. Я звонила в агентство и просила замену на один день, но они не нашли свободной женщины. О том, чтобы уйти из дому, не могло быть и речи. В свой законный час я бы не уложилась — только дорога до дома Тамары и Николая занимала минут сорок. Стоит мне задержаться — и Айрын немедленно известит агентство, что хомматенда её беременна. Поочерёдно

мне звонили то Игорь, то Николай, то Тамара — весёлые, оживлённые и хмельные. Они кричали: «Пошли на х... ты эту бабку! Подумаешь, куда она не денется, поорёт и успокоится».

Я боялась, что меня уволят — всё-таки эта работа, связавшая меня невольным кодексом и обязательствами, позволяла подготовиться к светлому будущему.

Как никогда, я тяжело воспринимала добровольное заточение, обусловленное условиями контракта. Забыв о том, что за это заточение получаю неплохие деньги, которые преобразую в кубышку, я невыносимо мучалась от пребывания в тюрьме, которую не имела права покинуть.

Вечером я устроилась у окна и с завистью и тоской наблюдала за жизнью соседского двора. Трудно поверить, что в небоскрёбностеклянномрамной столице мира сохранились такие патриархальные оазисы, где протекает тихая деревенская жизнь. Отгороженный от дома Айрын лишь крупной сеткой, соседский дом являл любопытным захлащенный двор, полуразвалившийся сарай, недостроенный гараж, густоразросшиеся кусты неидентифицированного растения, замурзанный деревянный стол и разнокалиберные пластиковые стулья, живописно разбросанные там и сям. Двор постепенно наполнился народом. Коренастые матроны в ярких платьях, стайка крикливых чумазых ребятишек, кряжистые мужики в белых рубашках, с загорелыми до черноты шеями и руками гомонили, таскали из дома блюда, разжигали мангал, визжали и прыгали. Вскоре потянуло дымом и запахло жареным мясом.

Я извертелась у узкого подоконника, втягивая в себя вкусные запахи. Так хотелось туда, в чужую компанию, во двор, под звёздное небо, есть мясо, пить вино и смеяться без причины. Просто потому, что ты молода, свободна и бездумно наслаждаешься Богом тебе отпущенным временем...

Свобода! Как мучительно я страдала без тебя, а обретая, не знала, что с тобою делать.

Веселье между тем набирало силу. Увели спать детей, а мужики продолжали пить, заметно хмелея. Голоса за окном крепчали и звенели — хриплые мужские и визгливые женские... Испанская посиделка до боли напоминала русскую — так же много пили и так же неистово веселились...

Уже Ханигман перебралась в спальню, а я всё сидела у окна, не зажигая света...

Игорю даже не пришлось швырять камешек в окно, я его увидела сразу, как только он вынырнул из темноты, белея светлой одеждой...

Трудно описать, как я ему обрадовалась. Это не была радость женщины, встретившей возлюбленного после долгого ожидания, это не была радость предвкушения приятного свидания... Подобное чувство я, помнится, испытывала лишь в детстве, когда мама приходила меня забирать вечером из детского сада.

Всё, закончен этот ужасный день среди противных дерущихся детей, равнодушной воспитательницы, ворчливой нянечки. Мама пришла! Родная, светлая, в ореоле кудряшек и вкусных запахов. Пора идти домой, крепко держась за надёжную мамину руку, зная, что тебя она защитит и окружит заботой и комфортом.

Это была радость от встречи единомышленника, человека, имеющего такой же, как и у тебя, опыт, и такие же проблемы, и пол его стоял на последнем месте.

Я не могла ни кокетничать, ни набивать себе цену — это было бы смешно. Пришёл человек, который принял участие в моей судьбе, выручил, не остался равнодушным к случайной путнице. И какое мне дело до того, что он налысо брит, поминутно сплёвывает и повторяет: «Не ссы, сестрёнка, проблемся!»

На цыпочках, сдерживая рвущееся сердце, я спустилась по скрипучей лестнице вниз, ежесекундно молясь и заклиная, чтобы не разбудить могучую старуху. Отойти от дома я решительно отказалась, и мы с полчаса просидели на нижней ступеньке, взахлёб поверяя друг другу самое сокровенное.

С тех пор самой большой радостью для меня был приезд Игоря, который зачастил в Нью-Йорк. Мне почему-то хотелось надеяться, что приезжал он потому, что хотел видеть меня, а не в поисках работы по официальной версии.

Наступила чудесная для Нью-Йорка пора, осень. Моя первая американская осень. Спала душающая жара, ранние вечера обогатились цветом и запахами. В однообразии зелени появились вкрапления красного, жёлтого и оранжевого. Прогулки с Ханигман превратились в приятное развлечение. Очевидно, при более холодной погоде она стала лучше себя чувствовать, и наш маршрут продлился до парка, с которого открывался вид на канал. Мы подолгу молча сидели на лавочке, созерцая воду, просвечивающую между деревьями и белые пароходы.

Старуха оставляла меня в покое. Она пожирала взглядом окружающее, заостряя внимание на любой мелочи, будь то пробегающая рядом белка, спланировавший с дерева коричневый лист, либо откормленные наглые голуби. Она шумно, со всхлипом, вдыхала свежий ветер, провожала взглядом каждый заблудившийся в листве солнечный лучик.

Я понимала, что она воспринимает каждый день как последний, но жалеть её не могла, мне казалось, что она никогда не умрёт.

Я же страстно мечтала о предложении руки и сердца, найдя Игоря привлекательным, надёжным, верным и не лишённым потенциала. Я мучительно ждала изменений в судьбе и дорожила каждым днём жизни.

«Молоко и сено! Вы думаете, друзья, что ещё много у нас будет молока и сена! Нет, это была лучшая ночь в нашей жизни!» И эту же мысль высказывает Булгаков устами бездарного поэта Рюхина, переживающего оскорбление прозревшего Ивана. Рюхин на рассвете прибывает в ресторан К Грибоедову, и, даже получивши стопку водки и рыбец, сокрушается о безвозвратно пропавшей ночи... И так, на сегодняшний день у меня был один кандидат в мужья — Игорь, получивший недавно американское гражданство. Этим вечером мы все собирались на ужин у Тамары и Николая.

Я страшно волновалась и с утра не находила себе места. За Ханигман должна была приехать дочка, и она, уже наругавшись и наведя

толстым чёрным карандашом брови, наряженная в парадное синее в белый горох платье, сидела у окна.

Наконец, после долгих часов ожидания, загремел телефон. Мы вздрогнули и одновременно сорвались со своих мест, как спортсмены со старта. Ханигман, видя, что отстаёт, замахала руками, показывая, чтобы я не смела брать трубку.

Поговорив, она дала знак, что пора выходить. Я подхватила два пакета, свой и её, сложенный волкер, транспортировала это добро вниз и вернулась наверх, чтобы под локоток помочь спуститься пациентке. Дежурно расцеловалась с Саррой, дежурно отказавшись позволить себя подвезти, и осталась, наконец, одна.

Было ещё пять часов пополудни, и я решила прогуляться пешком по Бродвоку. Какое счастье — просто идти вдоль океана, не спеша, улыбаться, подставляя лицо тёплому ветру, рассматривая блестящую водную гладь и белые паруса яхт. Впервые за время пребывания в Нью-Йорке я надела юбку. Работа к нарядам не располагала, и я не вылезала из джинсов или шорт. Но ноги мои за время краткосрочных эскапад за едой всё-таки успели загореть, волосы я высвободила из надоевшего хвоста, и сейчас только успевала отвечать на улыбки и приветствия мужских особей. Всё будет просто замечательно! Я относительно молода, не глупа, не уродлива, я в Америке, у меня есть работа, пускай пока завалищенькая, друзья и, возможно, сегодня вечером мне сделают предложение!

Глава 6

Стыдись, провинциалка!

Итак, я направляла свои стопы к гряде серых одиннадцатиэтажек, столпившихся у самых Морских Ворот — огороженного участка, жильцы которого владели частным пляжем, охраной и россыпью живописных домиков с верандами, мансардами и колоннами. Закончился Брайтон, и остались позади столики под разноцветными зонтами, отстали от меня зазывалы, завлекающие прохожих отведать в их ресторане холодного борща или котлет по-киевски. Затихли вдали выкрики игроков в шашки и домино, перестали доноситься обрывки разговоров русских пенсионеров, густо облепивших лавочки,

Только я, деревянные доски настила, море слева, чайки и небо...

Иногда меня перегоняли велосипедисты или подростки на роликах. Вот я миновала расписанную уродливыми рыбами стену Аквариума, и опять стало людно. Колесо обозрения, горки, машины расположились внизу, а здесь, на навесной деревянной дороге, всюю торговали сосисками, жареной картошкой, пепси, пивом, кукурузой, а публика резко посмуглела, заголосила, затарахтела на всех языках мира — испанском, английском, арабском, китайском. Этот район Конн-Айленда описывал с восторгом Маяковский.

Помню, впервые попав сюда, я была ошеломлена и поражена пестротой толпы, богатством предоставленных услуг для улады души и тела, и подробно описывала Маринке свои впечатления, как в ветреный апрельский день купила у весёлого мексиканца пластиковый стаканчик с горячим

кофе и ароматный хот-дог, и как была счастлива, сидя на лавке лицом к океану, в окружении чаек и ветра, грела руки о стаканчик и смеялась, просто так, без причины.

В России в то время ещё не додумались до пластмассо-картонного совершенства, и дожидаясь поезда в Москву в тот судьбоносный ноябрь, я отстояла длинную очередь в промёрзшем вокзальном буфете, чтобы получить из рук неопрятной хмурой бабы тёплый жидкий чай в заляпанном гранёном стакане.

Сразу за колесом обозрения начинались развалины, какие-то заросшие огороды, фанерные будки, испещрённые письменами. Прохожие пропали, и с милю дорога была абсолютно пустынна, как будто никогда тут не ступала нога человека, а дорога эта построена пришельцами и ведёт в никуда. На этом участке я всегда трусила и прибавляла шагу — параллельно деревянному настилу, за пустыми участками земли и развалинами, был район чёрных, со всем набором сопутствующих прелестей — торговлей наркотиками и преступностью. Там, где Сёрф Авеню упиралась в ворота частного посёлка Морских Ворот, столпилась кучка высотных домов, полных прототипов российских, в типовых квартирах которых селятся в основном русские и чёрные, то есть афроамериканцы. Русские и чёрные — любители одежды из кожи, высоких каблуков, разделяющие страсть много и вкусно поесть и любовь к вольной жизни, ищут жильё подешевле и потому часто оказываются соседями.

Поднявшись в заплёванном лифте с подозрительной лужей в углу на нужный этаж, я позвонила в дверь. Все были в сборе. Никогда в жизни не работавшая, приземистая и черноволосая Софья Львовна была тщательно и дорого одета, на мой взгляд, чересчур пёстро и вызывающе. Так одевались только вновь прибывшие или пенсионерки, которые никогда не адаптируются и не желают подстраиваться под новую среду.

Я вспомнила себя, майамскую, как всегда старалась нарядиться и как от моих туалетов морщился Дэвид — и мне стало стыдно. Иван Кузьмич был высок, сутул и чопорен. В нём чувствовалась выправка дипломатического работника. Привычка быть светским и вежливо отстранённым вьелась в кровь и плоть. От этой пары, растерявшей все свои привилегии и влившейся в армию иммигрантов, явственно несло холодом снобизма. Они, коренные москвичи, жившие в элитном доме элитного района, с ужасом воспринимали действительность.

На зятя, вытацившего их дочь в эту оказавшуюся совсем не привлекательной Америку и не сумевшего обеспечить ей и внукам достойного существования, они загаили тяжёлую обиду.

Джулия грэндов, так презрительно она назвала деда с бабкой, игнорировала, в отместку на нескончаемые поучения, что девочка должна быть скромной, не носить таких коротких маечек и шортиков, а также не заплетать в волосы цветные бусинки, не слушать рэп, не есть фрэч фрайс, чипсы, не пить колу — всё это сплошная гадость, и ещё много разных «не». Девочка объявила надоедала бойкот и шокировала их и пёстрым ранцем,

и разноцветным плейером, и привычкой валиться на кровать в обуви.

Вручив бутылку вина и тортик уставшей Тамаре, я прошла к столу, за которым сидели уже и Игорь, и соседка Нина, и Николай. Наконец все утомились, расселись и подняли рюмки за встречу, потом за удачу, за будущее детей, за процветание и богатство. Я знала от Тамары, что родители её продали в Москве квартиру, машину и дачу, и у них есть деньги на покупку своего жилья здесь. Вначале они хотели снять недорогую квартиру, осмотреться, прицениться, а потом сделать решение, хотя бы квартиру или дом, и в каком районе.

Софья Львовна, несмотря на любовь к светской жизни, оказалась замечательной хозяйкой, и я с восторгом уплетала её заливное, котлеты, домашнюю буженину и блинчики с икрой. Мы заговорщически переглядывались с Игорем, и меня всю колотило от нервного возбуждения. Разговор шёл с трудом. Николай, обладая тактом, подвешенным языком и живым умом, переводил разговор с опасных бытовых тем на более безопасные.

Так, Иван Кузьмич слегка расслабился и стал рассказывать о забавных случаях, происходивших в его дипломатической практике. Много лет он работал в советском посольстве в Дели (понятно стало происхождение пёстрой шали на плечах его жены), и мы с увлечением слушали его красочные описания экзотического быта... Все постепенно разговорились, загалдели. Нина, только прогнавшая очередного альфонса, беззастенчиво строила глазки Игорю, забыв о проповедуемой теории, что женщина должна только продаваться, а не спать за просто так. Томас залез на колени к бабушке и тщательно слюнявил концы её роскошной шали, Джулия демонстративно слушала громкую музыку в спальне, Тамара следила за столом, мужчины строили планы быстрого обогащения и решали, каким бизнесом стоит заняться — Иван Кузьмич был готов выделить зятю некоторую сумму для старта.

Софья Львовна раскапризничалась и требовала у мужа и квартиру в Манхэттене, и дачу в Поконо, не принимая доводов, что у них едва хватит средств на одно жилище.

За сладким компания окончательно рассиропилась, и её потянуло на воспоминания. Я, в основном помалкивавшая, вдруг захотела рассказать что-то страшно интересное и заговорщическим тоном начала:

— Однажды моя мамка...

Закончить не удалось. Расслабившийся и даже снявший галстук Иван Кузьмич вдруг рассвирепел. Вообще-то он голос не повышал, а показывал своё неудовольствие тоном или взглядом. А тут он закричал, теряя остатки самообладания,

— Что за выражение, Клава! Что за мамка, это не из русского языка! Извольте объясняться по-русски!

Я залепетала,

— Да, я из Белоруссии, и там это выражение вполне приемлемо, да и в сказках оно часто употребляется...

Иван Кузьмич не слушал. Он бушевал. За минуту я узнала, что я необразованная провинциалка, и такие, как я, позорят нацию и русский язык.

Тамара застыла с кофейником в руках, Николай бросился меня защищать. Сквозь слёзы я слышала его голос.

— Иван Кузьмич, это не принципиально. У неё образная, колоритная речь, в конце концов, если человек неправильно употребил слово или ударение, это совсем не говорит о его тупости или отсталости. Клава очень начитанная и образованная девушка, просто она выросла в другой языковой и культурной среде.

Впервые услышав от любителя афоризмов и красного словца Николая такую правильную и грамотную речь, я вдруг расплакалась. Было невмоготу сохранять лицо, когда тебя так откровенно незаслуженно презирали.

Расвирепевший дипломатический работник забыл о дипломатии напрочь. Он кричал, что кругом хамы и деревенщина.

Я выскочила из-за стола, схватила сумку и бросилась вон. Вызвать лифт не пришло в голову. Завывая и заливаясь слезами, по ступеням с шестого этажа я побежала вниз, испугав какую-то чёрную бабу, которая жалостливо произнесла мне в спину:

— Do not cry, baby. (Не плачь, детка)

Уже во дворе меня догнал Игорь, обнял за плечи и повёл, всхлипывающую, в свою машину. Я плакала, положив голову на согнутые колени и обхватив их руками. В открытое окно врвался солёный ветер, звуки рэпа и заглядывали низко висящие звёзды. Игорь что-то примирительно бубнил, но я ещё больше заходила в плаче. Тогда он обнял меня за плечи и притянул к себе.

Я расслабилась в кольце его сильных и горячих рук, но завывала ещё жалостливее. Это был мой первый американский плач, и странно было плакать от оскорбления, нанесённого русским человеком. Тем более было обидно получить его не от какого-нибудь быдла — я была достаточно закалена и не обижалась по пустякам, а от интеллигентного человека, каким определённо считала и себя. Иван Кузьмич своим презрением перечеркнул многое в оценке самой себя, это было как заглянуть в зеркало, ожидая увидеть там оживлённое симпатичное личико, а увидев беззубую противную морду.

Я понимала, и Игорь, глядя меня по спине и целуя в шею, безуспешно пытался объяснить, что в зеркале я видела не себя, а искажённый образ неадекватного Ивана Кузьмича, которому в глаз попал ледяной осколок злого зеркала Снежной Королевы, но это не помогало.

Иван Кузьмич оскорбил мою маму и бабушку, оскорбил моё тёплое уютное детство, в котором умершая уже бабушка напевно говорила, вынимая из печи противень с перепечками — так назывались вкуснющие пирожки, сладкие, пышные, с глянцевигой хрустящей корочкой,

— Скоро мамка твоя приедет. Как городской заделалась, так и стала маяться, а такая девка была — гарна да весёла! И ты, ворона городская, пошто всё в книжки глядишь? Давай вот, научу тебя корову доить, курей шупать, хлеб пяхи...

Бабушка моя, кстати, закончила гимназию, знала латынь и греческий, разбиралась в Римском праве и древних богах, и развлекала меня,

малолетку, рассказами о проказах богов, когда мы с ней с утра до вечера проводили время в лесу, то пробираясь по топким болотам к плюшевому оазису, красному от поспевшей клюквы, то нещадно борясь с крапивой в зарослях малинника, то забредая в поисках грибов в сумрачные боры.

Позже мама мне рассказала, что бабушка писала стихи, и что ей царь Николай давал содержание на обучение в Петербургской Академии Художеств. У меня было много вопросов по этому поводу, тут была какая-то тайна, которую бабушка унесла с собой в могилу, но и мама моя ничего не знала. Я нафантазировала, что бабушка была из дворянской питерской семьи, что с началом революции её семья бежала в белорусскую деревню, где ей пришлось провести всю жизнь, учиться деревенским премудростям, копировать язык аборигенов, чтобы не выделяться и спасти семью и детей во времена коллективизации, и всю жизнь ей приходилось держать язык за зубами.

Мне было обидно, что я, проводившая жизнь в чтении и размышлениях, знавшая хорошо русскую классику, поэзию Серебряного Века и увлекавшаяся философией и историей, слышавшая эрудиткой и достойной собеседницей в своём городе даже среди коллег по газете, каждый из которых окончил или факультет журналистики в столице, или Литературный институт имени Горького, здесь, среди москвичей и петербуржцев, удостоиваюсь презрения из-за одного неправильно произнесённого слова.

Разъединённые, страдающие ностальгией, непризнанием и неприкаянностью иммигранты из России не могут или не хотят преодолеть снобизм и высокомерие по отношению к тем, кто родился не в столице и чья речь хоть чуть-чуть отличается от их.

Что слова? Слова часто не могут передать работу мысли или ощущения, глубину ума. Неужели нельзя почувствовать мир другого человека, заглянув в его глаза, попытавшись, подавляя раздражение, простить кому-то плохой английский или не совсем правильный русский?

Я понимала, что несчастный Иван Кузьмич сломался, что я послужила козлом отпущения, что в этой вспышке агрессии он выплеснул своё неприятие чуждого мира, крушение иллюзий о земле обетованной, досаду на дочку и зятя. Но облегчения это не принесло.

А тогда, в машине, я стала упиваться жалостью Игоря. Так хотелось попасть под надёжную мужскую защиту! Я стала отвечать на поцелуи, вначале робкие, а потом всё более и более настоячивые. Чтобы успокоить меня, Игорь через изогнутый дугой мост привёз меня в Нью-Джерси и нашёл уединённое место на высоком берегу залива. Из окна машины открывался невероятный, потрясающий вид на ночной Нью-Йорк. Крутом были мириады звёзд — они сверкали в окнах небоскрёбов, отражались в воде, крупными алмазами блистали в небе, блестящей гирляндой опоясывали и берег, и мост, и было непонятно, которые из них пришли из Космоса, а которые — производные рук человеческих.

Ближе к утру, разомлевшие и счастливые, мы почувствовали, что проголодались. Игорь повёз

меня домой, вернее, к месту работы — Ханигман должна была вернуться к десяти утра.

Летящее по кружевному мосту тело машины вспарывало голубое нежное великолепие тишины. Огромный, лежащий впереди город, только начал вылупливаться из окутавшего его тумана.

Возле Брайтона в круглосуточном работающем арабском минисупермаркете Игорь купил два стаканчика кофе и булочки с маслом. Мы поели. Игоря что-то мучило. Я ждала серьезного разговора и собиралась сказать: «Да».

Мы снимем квартиру, пусть маленькую, я возьму двенадцатичасовую бабку, он пока может продолжать работать таксистом. Я получу гринкарту и обязательно освою какую-нибудь профессию, а он с Николаем может начать свой бизнес...

Игорь долго мялся, а потом произнёс:

— Ты знаешь, вообще-то я пришёл попрощаться. Я обомлела.

— А бизнес? Вы же собирались открыть с Николаем бизнес...

— Это я так, пофантазировал напоследок. Устал я. В Питере у меня квартира. Мама умерла, вот, оставила. Там на киностудии меня возьмут с руками и ногами. В загранки, опять же, можно ходить. Дурак я, что всю эту лабуду затеял с иммиграцией. Думал, вообще в рай попаду. И ты, что тут маешься, доведёт тебя эта жидовка! У, убил бы старуху! Сволочь старая! Возвращалась бы ты домой, что тут делать, кругом одни жиды.

Горя я не чувствовала, а только огромную пустоту. Пустота росла, ширилась. Она походила на огромную чёрную воронку, засосавшую в своё чрево и этот город, и переулочек, и чувства, мысли и желания. Безбрежная пустота, как пустыня, выжгла все краски и запахи. Ничего не существует, только пустота и тишина.

Я молча вышла из машины, тихонько закрыв дверь. Побрела к дому, уселась на ступеньку крыльца и даже не заплакала.

Глава 7

*Спасение утопающих —
дело рук самих утопающих*

К чёрту Игоря! Пускай уезжает в свой Питер, раз не может парень жить в Америке. Наверняка, ему стоило помучиться в иммиграции, потерять иллюзии и вернуться, по новому оценив то, что имел на Родине.

Единственное, что меня шокировало, это его неприкрытый антисемитизм. Я всегда делила людей на хороших и плохих, интересных или нет, и так далее по этой же шкале. До моего отъезда республики бывшего Союза стали активно самоопределяться, и это ни к чему хорошему не привело, только к ненависти и конфликтам.

Я заметила, что в Америке быстрее адаптируются и приживаются те люди, которые не очень-то роскошествовали в России и привыкли к тяжёлой работе. Они и здесь спокойно продолжают вкалывать, без нытья и причитаний. Тут хотя бы зарплата хватает на еду, да и за дефицитом не нужно гоняться. Тяжело приходится бывшим номенклатурным работникам, если только они не вывезли чемоданы денег и не купили сразу же дом и бизнес.

Неприятно слышать, как они, не в состоянии смириться с потерянными привилегиями и почестями, костят Америку, на чём свет стоит, получая, кстати, незаслуженную пенсию, талоны на еду и почти бесплатное жильё.

Итак, я засучила рукава и решила искать себе мужа. Муж нужен был срочно и немедленно. В любой момент меня могли вызвать на интервью, и тогда чиновники моментально раскусят, что вся та лабуда про дедушку еврея и про преследования меня русскими националами, которую вдохновенно сочинил и написал Николай, чтобы я получила разрешение на работу, гнусное враньё. Достаточно взглянуть на рязанскую физиономию заявителя, прочесть имя — Клавдия Мотылёва, чтобы отказать врунишке в зелёной карте по политическим мотивам и подвергнуть унизительной депортации.

Никаких особых представлений о том, каков должен быть избранник, у меня не было. Единственное требование — он должен быть гражданином Соединённых Штатов и хотеть на мне жениться. Позже я поняла, что нужно немного поколдовать, посылать в Небеса запрос.

Но не зря у китайцев есть поговорка: «Не дай Бог, твои мечты сбудутся». Мои сбывались, даже самые фантастические, но в каком-то куцем исполнении, требующем приличной корректировки.

Хочешь в Америку? Пожалуйста! На тебе Америку. Маринка писала, что в городе передаются устные обо мне легенды, как я умудрилась уехать на Землю Обетованную, не являясь еврейкой, не имея денег на билет и каких-либо родственников. В мои обморочные Задорские сны, во времена вселенского оплакивания предательства друга, выплыло однажды видение — красного автомобиля и стеклянного дома. В том сне-видении-обмороке ощущалась близость океана, там сквозь стеклянную стену огромного дома солнце пригоршнями бросало блики на чистый плиточный пол.

Вскочив с тахты вся вспотевшая, с бьющимся оглушительно сердцем, я долго не могла понять, где нахожусь. Только подойдя к окну и обозрев унылые пятиэтажные коробки, заморочное от мороза и заводского дыма небо, чёрные тараканы фигурки прохожих на белой простыне снега поняла — сон. (Упоминала ли я, что машина Дэвида была красного цвета?)

Хочешь мужа? На тебе мужа. Мне протягивается колода карт, и из всех я выбираю самую проигрышную.

Первым делом в агенстве я потребовала двенадцатичасовую бабушку — таков был наш профессиональный жаргон.

Ханигман наябедничала Сарре о замышляемом предательстве, и та атаковала меня уговорами не уходить, посулами и подарками. Подарки, насильственно вручённые, ненужное розовое атласное платье с шифоновым шарфом и атласными перчатками, которое, я знала, ни за что не надену, битая молью шубка неизвестной зверюшки, умерщвлённой лет сто назад, давно вышедшая из моды лаковая сумочка на защёлке, — равнодушно мною принимались и складывались в шкаф.

В агенстве я всё-таки уболтала ведущую, используя, опять-таки, личный фактор. Пришлось

признаться, что у меня якобы появился поклонник, который зовёт к себе жить, а встречаться при круглосуточной работе нет никакой возможности, и если я его потеряю, то руки на себя наложу, а Ханигман придушу.

Чёрная тётка рассмеялась и пообещала во имя спасения любви подобрать для меня хорошую старушку и для вредной Айрын терпеливую женщину.

Во время наших с ней прогулок в парк я познакомилась с русской бабушкой, очень милой, чистенькой и вежливой. Лихо заломленная панамка и белоснежные носочки делали её похожей на внезапно состарившуюся пионерку. Бабушка читала русские газеты, сидя на соседней лавке, и как-то раз сама со мной заговорила. Ханигман страшно злилась, и больше в этот парк мы не ходили, во избежание контактов с кем бы то ни было всецело принадлежащей ей хомматенды, но поздно.

Судьбоносный контакт произошёл. Видно, в Небесной Канцелярии решили, что хватит меня томить неопределённостью, и на шахматное поле судьбы вывели новый персонаж — бабушку в носочках, которая насильственно вручила мне телефон своей внучки.

Внучка эта снимала двухкомнатную квартиру и хотела сдать одну комнату, чтобы уменьшить свою долю выплаты хозяину дома, и чтобы было не так скучно жить одной. Опытная бабушка сразу поняла, что я подходящая кандидатура — не склочница, не воровка, и взяла быка за рога. Взревновав к нашей оживлённой беседе на непонятном языке, Ханигман резко сорвалась со скамейки и посеменила прочь, отключив зад и раздражённо втыкая ножки волкера в рыхлую чёрную землю.

Пришлось её догонять, но бумажка, клочок газеты с записанным на нём телефоном, уже перекочевала в карман моих джинсов.

Расставание с Ханигман было душераздирающим. Вернее, выглядело таковым. Каждая из нас эффектно сыграла свою роль. Я, закалённая постоянными скандалами, хладнокровно бросала расплотившиеся вещи в открытый зев спортивной сумки.

Бабка театрально вздымала к облупленному потолку короткие ручки и завывала, какая я неблагоприятная тварь, что лучше неё пациентки не найти, что у неё я отдыхала, ничего не делала и вместо благодарности, ухажу. (Старуха страшно боялась чёрных, и я заранее мелко и подло радовалась — вместо меня должна была прийти чёрная женщина).

Вообще я заметила, что американцы часто ведут двойную игру. Африканцев опекает государство, и у них по сравнению с белыми много преимущества. Ещё бы, стоит выгнать с работы за нерадивость чернокожего ленивца, как тут же поднимается хай о расизме и притеснении. В своей нелюбви к чёрным американцы признаются шёпотом, под большим секретом и только тем, кому доверяют. Мне было странно, что Айрын, прожившая восемьдесят лет в Америке, впитавшая её ценности, идеи и культуру, панически боялась представителей чернокожей расы. В этом она трогательно походила на русских пенсионеров. Ну, те-то понятно — не говорящие по-английски, никогда не видевшие негров, воспитанные в духе приоритета белой расы.

Итак, я сладострастно парировала,
— Вы, Айрын, не такая уж и больная. Вот как бегаєте вокруг меня! Ноги не болят?

В ответ разъярённая пациентка потребовала вернуть ей подарки. Я с удовольствием, без тени сожаления бросила на диван розовое платье, побитую молю шубку, блестящую сумочку — и впервые в глазах Айрын мелькнула растерянность. Мне даже стало её жалко, но расслабляться было нельзя.

Начало новой жизни я отпраздновала походом в универмаг Мэйсис и сейчас поднималась по обшарпанному ступеням на четвёртый этаж в квартиру, где мне с завтрашнего дня предстояло работать, облачённая в длинное крепдешинное сиреневое в мелкий цветочек платье и соломенную шляпку, купленную на распродаже в Блюминдейле.

В коридор выбегали из дверей комнат всё новые члены оказавшейся многочисленной семьи, чтобы познакомиться с хомматендой, и каждый из них что-то восклицал. Так, они удивлялись, что хомматенда молода, модно одета и, препровождённая в комнату для знакомства с бабушкой, я услышала за спиной:

— Гойка, а такая интеллигентная девочка...

Так я узнала о том, что я гойка. Это не прозвучало обидно. Во-первых, я не знала, какой смысл вложен в это слово, кроме определения человека-не еврея. Во-вторых, существуют же названия для украинцев — хохлы, бульбяши для белорусов, москали для выходцев из России. Отчего же гонимой нации не обзывать как-то своих обидчиков? Гойка так гойка. В этом не было ничего оскорбительного для меня как личности, вот когда меня называли провинциалкой, я обижалась.

Хотя по определению, провинциалы — это всего лишь люди, не родившиеся в столице, каковых у нас две — Москва, и северная — Питер. Но никто не использовал географический термин по назначению. Это как москвичи презрительно называют всех приезжих лимитчиками, прихоти природы определяя себе в личную заслугу, так и «провинциалка» произносилось чаще всего с той же нотой пренебрежения и высокомерия. Не вступая в оправдания или спор по данному поводу, памятуя, что из двух спорщиков один — негодяй, а второй — дурак, я не доказывала с пеной у рта, что и в провинции живут люди, и многие из них — гении или таланты, а заносила высокомерного столичного жителя в свой личный чёрный список.

Итак, начался новый виток кошмара. Кошмар заключался в том, что я была привязана к Зинаиде Леонидовне в буквальном смысле слова двенадцать часов в день. От неё было нукуда не деться, с девяти утра до девяти вечера мы находились в её комнате, сидя рядышком, как попугаи на жёрдочке, на диване — тут уж я не раз вспомнила своё многочасовое сидение в собственной комнате в квартире покинутой мною Ханигман — сколько я читала, думала, вспоминала, сочиняла и вязала!

Здесь же о том, чтобы заниматься собой, не могло быть и речи. Зато каждый вечер я возвращалась в свою маленькую комнатку, и это было счастьем!

Анечка, хозяйка квартиры, оказалась милой, доброжелательной и очень занятой. Утром она училась на медсестру, вечером работала

официанткой в ресторане, и мы с ней практически не виделись. Мы сразу же договорились без нужды друг другу не надоедать, а если захочется поговорить — встречаться на нейтральной территории, то есть на кухне. Предосторожности оказались напрасны, — мы с удовольствием болтали, когда поздно вечером она возвращалась с работы. Если из-под моей двери пробивалась полоска света, то Анечка деликатно кашляла в коридоре, и я выходила на кухню, чтобы пообщаться и поужинать — она всегда приносила что-нибудь вкусненькое.

Общими усилиями мы с ней быстренько обставили мою, прежде пустовавшую, комнату — притащили с улицы столик, тумбочку, нашли даже работающий телевизор. Кровать пришлось покупать, и я купила самую дешёвую, с железной рамой, и с гаечным ключом ползала полночи по полу, скрепляя непослушные железные рельсы.

На новую работу я приходила ровно к девяти. Дверь мне открывала Зинаида Леонидовна, с расчёпанными седыми волосами, в ночной сорочке. Первым делом она бросала многозначительный взгляд на часы, висевшие в коридоре на стене, и укоризненно поджимала губы, если даже было без одной минуты девять, и меня это тут же выводило из себя. Я умывала её, кормила, усаживала в инвалидное кресло и вывозила на прогулку в парк, сидела рядом с ней на скамейке, в окружении русских пенсионеров, каждый и каждая из которых усиленно жалели или осуждали меня за то, что молодая здоровая девка нянчится со старухой.

Непрекращающийся позор терпела и вечером, выкатывая подопечную к подъезду и находясь в обществе старух и их комматенд. Бабка изысканно издевалась. Обделённая вниманием в семье, она требовала каждую секунду моего внимания. Я пыталась отгораживаться от неё книгами и газетами, пыталась читать ей вслух, но она не слушала. Кровоотсос из меня шёл постоянно и ежесекундно. Мне было смертельно скучно и смертельно я постоянно хотела только одного — спать, спать и спать.

Домочадцы старались как можно меньше контактировать с бабушкой, мамой и свекровью. Они жили своей жизнью в других комнатах, вызывая меня в коридор для инструкций и убегая всякий раз с кухни, когда там появлялись мы. Это были милые люди, и со временем мы подружились.

Сын Зинаиды Леонидовны, сорокалетний Семён, инженер, симпатичный, активный и интеллигентный, нежно заботился о матери и потакал её капризам. Его жена Рита, тоже инженер, свекровь ненавидела, но это была ответная ненависть — свекровь всю жизнь выказывала невестке своё презрение. Их дети — двадцатилетняя Даша и пятнадцатилетний Рома. Рома к бабушке относился почтительно, целовал её в щёку и уходил по своим делам. Даша — равнодушно и слегка пренебрежительно, ведь бабушку уже нельзя было воспринимать всерьёз ни как собеседника, ни как наперсницу. Рита скрывала неприязнь к матери мужа, чтобы не обижать любимого. Много лет точимая невысказанной ненавистью, нежная и тихая Рита слабла, мучалась мигренями и старалась свести контакты с властной в прошлом и

контролировавшей их жизнь свекровью к минимуму.

Мать и дочь были абсолютными антиподами. Отстоявшие по возрастной шкале от меня на одинаковом расстоянии — я была старше дочери на десять лет и младше мамы на ту же десятку, во мне они неожиданно нашли подругу. Даша видела во мне ровесницу — я всегда выглядела младше своего возраста, да и по жизни отличалась некой инфантильностью и незрелостью. Рита — возможно, потому что никого она здесь ещё не знала, запертая внутри семьи со своими проблемами, а я была как случайная попутчица, вошедшая в их купе, которая должна сойти на какой-то станции и забыть временных попутчиков вместе с их бедами, тревогами и радостями.

Так оно и случилось, я сошла на своей станции и никогда им не позвонила... Пока я доставала на кухне из холодильника для бабушки баночку йогурта, сок и булочку, вихрем туда врывалась, как всегда, проспавшая, Даша, маленькая, трогательно хрупкая, но обладавшая сокрушительной энергией и непонятной властью над окружающими. Лохматая, в ночной сорочке, она делала себе кофе, бегая с топотом туда-сюда, и через десять минут, вбрав из заспанного взъерошенного зверёныша превратившись в элегантную леди, не допив пару глотков и оставив на чашке кровавые следы помады, на высоких каблуках мчалась к двери, с грохотом захлопывала её и долго ещё в кухне стоял аромат её духов, беспокойства и энергии... Постепенно звуки и запахи таяли, оседая медленными каплями на белых в красный горох занавесках, на потёртой клеёнке, покрывавшей круглый стол, на высоком в трещинах потолке, и всё опять погружалось в тягучую липкую дрёму, нарушаемую лишь звяканьем ложки и сопением — Зинаида Леонидовна вяло ковырялась в каше и йогурте, хмыкала, морщилась и капризничала.

Усадив её на диване в комнате, напоминающей богадельню, — старушечья узкая кровать с вывезенным из России белым, таким непривычным здесь, постельным бельём, тумбочка, заставленная бутылочками с лекарствами, волкер, ночной горшок — унылые атрибуты старости, застелив постель, выдав ей лекарства, вынеся и вымыв ночной горшок, затем тщательным вымыв руки и лицо, чтобы стряхнуть с себя эту унылость, приступаю на кухне к священнодействию.

Варю себе кофе, достаю бутерброд. Кофе, сахар и кружка у меня свои, принесённые из дому, так же как и еда, для которой аккуратная Рита выделила в холодильнике полку, заверив, что мою еду трогать никто не будет, а я поклялась, что не буду посягать на их.

Реальность, как по мановению волшебной палочки, преобразается. Мне безумно нравится кухня, занавески, большой круглый стол. Полное ощущение того, что я никуда не иммигрировала, что я дома. Смакую кофе, каждый глоточек, смотрю в окно. Как хочется пошляться по улицам, как хочется зайти в гости к Маринке, попить с ней чаю, послетничать...

В кухню бочком проникает Рита, затравленно мне улыбается. Она старается двигаться и говорить тише, чтобы не привлечь внимания любопытной

свекрови. Если нам везёт и бдительная старуха задремала, то мы шепотом разговариваем, пока Рита готовит завтрак себе и мужу. Скоро они уйдут на курсы английского языка, Рома с утра уже в школе при синагоге.

С короткой стрижкой и огромными карими глазами, в которых навеки застыло растерянное выражение, она напоминала испуганного оленёнка. Как ни странно, давно умерший свёкор занимал когда-то в Херсоне крупный пост, жил с семьёй в огромной квартире и имел прислугу. Зинаида Леонидовна никогда ни в чём не нуждалась, была капризна, избалована и в штучки приняла невестку — тихую бедную студентку.

Их бескровная война продолжалась многие годы и была причиной Ритинового постоянного невроза и плохого настроения. Я утешала несчастную:

— Не обращай на свекровь внимания, ведь она уже утратила своё влияние на тебя, это просто очень старый, доживающий свой век человек, нуждающийся в уходе и заботе. Ухаживай за ней бесстрастно, как медсестра в больнице. Заметила, что сёстры всегда веселы, несмотря на капризы и страдания больных, плохой запах и массу работы? Профессиональная приспособляемость...

— Не могу, не получается, — шептала Рита и сразу же уходила из кухни, когда там, обеспокоенная моим долгим отсутствием, появлялась, стуча волкером, сердитая Зинаида Леонидовна.

Мне повезло работать у неё ранней осенью, когда шикарный Нью-Йоркский сентябрь давал возможность передохнуть после летнего зноя, и когда не начались ещё холодные ветра. С ужасом думала я о зиме, которую мне всё-таки пришлось провести с этой пациенткой, сидя долгими часами рядком на диване.

От ужасной скуки я спасалась тем, что постоянно писала «письма», якобы многочисленным подружкам и родственникам, сама же писала что-то вроде эссе, заметок и пыталась сочинять рассказы.

Работа и общение со старостью наложили отпечаток — рассказы получались все какие-то страшные, в которых фигурировал загробный мир, святой Пётр с ключами от рая, ангелы и демоны.

Даша после утренних занятий в колледже работала маникюршей и возвращалась домой часов в семь вечера, еле живая от усталости.

Даша переживала драму — в Херсоне у неё остался жених, русский парень Миша. Они, вопреки воле родителей, собирались пожениться, и Даша без него не хотела иммигрировать. Родителям она поставила условие — поедет только с Мишей. Русского жениха не выпустили. Тем не менее, Даша тайком от родителей расписалась с любимым и поставила родителей в известность. Миша должен был приехать позже, после того, как она получит зелёную карту и подаст на воссоединение семьи. В Америке они были уже восемь месяцев, но с документами выходили разные задержки и трудности. Миша писал страстные письма — Даша дала мне прочесть пару штук. Он называл её зайчиком, клялся в вечной любви, описывал, как ему трудно без любимой девочки и считал дни до встречи.

Маме не нравилась дочкина компания в Нью-Йорке, и в то же время она пыталась переломить дочь, заставить ту отказаться от Миши. Однажды невольно я услышала их спор.

Всегда тихая и тактичная Рита кричала на дочь. В крике её не было истерики и внезапной вспышки эмоций, и потому это было страшно — меня ошеломила и её позиция, и та жестокость, с которой мать разлучала дочь с возлюбленным.

— Мама, что ты делаешь! Ты понимаешь, мы с Мишей любим друг друга! Я жить без него не могу! — с плачем взывала к пониманию взбешенная Даша. Натянутая, как струна, с неприемлемым выражением на лице, не проявляя ни капли сочувствия к страданиям дочери, Рита громко чеканила:

— Он русский, понимаешь, русский, а ты еврейка...

— Ну и что, мама! Какое это имеет значение! Мы же не верующие, мы просто люди. Я люблю его, мама!

Оцепенев от ужаса, я не рискнула зайти на кухню, и замерла у дверей спальни.

— А что ты запоёшь, дочка, когда твой Миша будет приходить домой пьяным, воровать деньги и вещи...

— Мама, зачем ты обобщаешь! Почему ты заранее знаешь, как будет! Миша замечательный!

— Да потому что он русский! Они все пьяницы, у них нет ответственности за семью, и твой замечательный Миша однажды назовёт тебя жидовкой!

Я вздрогнула за дверью, как от удара хлыстом. Даша громко зарыдала, а Рита её добивала:

— Ты сможешь жить с ним после того, как он назовёт тебя жидовкой?

— Он не назовёт, он не такой! — Даша жалобно всхлипывала.

— Назовёт, дочка, и не раз, — голос Риты потух, опустившись в нижний регистр.

Зинаида Леонидовна во время всей этой сцены не проронила ни слова, она сидела на диване, вытянувшись, держа прямо спину и опираясь на палку. Глаза её были похожи на свиные — круглые, подёрнутые плёнкой, не мигая, они были обращены в никуда.

Глава 8

Богатые тоже плачут

С тех пор, как я стала работать в русскоговорящей семье, мне стало казаться, что я никуда не уезжала, не иммигрировала, а просто переселилась в другой город. Нью-Йорк похож на слоёный пирог, и можно всю, наверное, жизнь провести в одном его слое, чувствуя себя более или менее комфортно. Но я же уезжала в Америку, и я хотела жить в Америке, а не в гетто.

Нет, я не хотела отказываться от своего языка, культуры и общения на русском, но я и не хотела застревать в той обеднённой, изолированной жизни, на которую себя обрекают многие иммигранты. Этот район Бенсорхёрста до мелочей повторял спальный район любого российского захолустного городка — скучные типовые шестиэтажки, стандартные квартиры с узкими прихожими, крохотными кухоньками и полчищами

тараканов, кучкующимися у подъездов пенсионерами, русской речью кругом. Тесные и грязные арабские супермаркеты, маленькие русские гастрономы, забитые милыми сердцу сосисками, ветчиной, докторской колбасой, конфетами «Мишка на Севере» и прочими привычными лакомствами. Масса газет — Новое Русское Слово, Русский Курьер, Еврейский Мир. Как будто никуда и не уезжала.

На меня вдруг опять навалилась такая тоска и тяжесть, хоть волком вой. С Тamarой и Николаем дружба наша после того инцидента прекратилась. Иногда я им звонила, но ни разу больше не пришла в гости — с приездом амбициозных родителей их жизнь превратилась в кошмар. Игорь вернулся в Питер, и я о нём никогда не спрашивала и не имела никакой о нём информации. Вначале я сильно переживала, но вскоре смирилась с потерей — я становилась более закалённой и спокойнее принимала непредсказуемость судьбы.

Люди появлялись в моей жизни и исчезали, как звёзды на небосклоне. Я догадывалась, что в этом заложен какой-то определённый смысл и более не гналась за ускользающими надеждами. Не сложилось, значит, не сложилось. Значит, будут другие встречи.

Возвратившись домой в восемь или девять вечера, я испытывала невероятную нервозность и беспокойство. Идти, двигаться, что-то делать! Вырваться из этого болота, скуки, нудной работы, нищеты.

Я чувствовала, как словно песок сквозь пальцы, струится время. Мне казалось, что я живу не своей жизнью — днём я пыталась отгородиться от соседства со старостью, вечером чужая молодость выставляла невидимый стеклянный щит, за который мне было не попасть. Мне казалось, что жизнь проходит мимо, а я её лишь сторонний наблюдатель, причём несвободный наблюдатель. Былые опасения оказались не напрасны — в доме Ханигман я жила. Запертая, ущемлённая в правах, сидя на полу в маленькой комнатке, я всё-таки жила. Я думала, писала, вязала, мечтала. Сейчас мне казалось, что меня вытолкнули из поезда на ходу, и я никак не могла взобраться обратно в вагон, и топчусь только на платформе, теряя силы и надежду, обречённая прожить на полустанке, встречая и провожая поезда, на которых мне не суждено никуда уехать.

А утром начиналось всё сначала — быстрый душ, торопливая чашка кофе, двадцатиминутная прогулка до дома пациентки. Я растягивала эти минуты, секунды, упивалась сладостью побить наедине с собой. Грязная лестница, вытертые плиты пола. Задерживаю дыхание перед дверью — ещё секунда свободы. Вздохнув, звоню...

Она открывает сразу же, она уже стояла за дверью, лохматая, в ночной рубашке. Возможно, пролежавшая несколько утренних часов без сна, в полном одиночестве, во власти воспоминаний и во власти страшного желания — жить! Никому не нужная, она требует внимания, заботы, участия. Ей плевать, что мне смертельно скучно находиться с ней рядом невыносимо длинные двенадцать часов. Ей уже ничего не интересно — что происходит в мире или в городе. Ей интересно только

следить за моим взглядом, приковывать к себе моё внимание, подслушивать и подсматривать за жизнью членов семьи, которые отгородились от неё, выставили между собой и ею заслон — меня, государственную служащую.

День проходит по раз и навсегда отведённому распорядку. Вот выкатилась на лестницу опаздывающая Даша. Как она выдерживает такой режим — колледж, работа и ночные гулянки?

Уже прошелестела и спряталась у себя в комнате Рита, убежал на очередные курсы или интервью Семён. Иногда удавалось увидеть Рому, который вёл свою странную параллельную жизнь. Он появлялся, весь в чёрном, в высокой шляпе, сдержанный, немногословный, с выправкой, как у военного. Мама суетилась, брякала на кухне кастрюльками, кормила сына.

Я же, с распадом молодёжной компании, кружила вечерами в своей маленькой комнатке, остервенело её украшая и обживая. Я чувствовала, что недолго в ней задержусь, но, как волчица в нору, тащила и тащила — то салфетку, то подобранный на улице стул, то покупала плетёный коврик, то ненужную безделушку.

Судьбоносной встречи не происходило.

Наступила зима, прогулки в парк прекратились. Теперь весь день мы с Зинаидой Леонидовной сидели рядышком на диване. Телевизора в комнате не было. Домой меня отпускали часов в семь, хотя я должна была работать до девяти — из агентства звонили каждый день, проверяли, требовали меня к телефону. Я старалась побольше поторчать на кухне, посеCRETничать с мамой или дочкой. Но как только туда, стуча волкером, притаскивалась любопытная пациентка, все разговоры прекращались. Вязание было моим спасением, уже всем я связала по свитеру, шарфу и шапке.

Меня засасывало в чёрную воронку ранних вечеров, меня засасывало в проблемы чужой семьи. Когда я вглядывалась в зеркало, то удивлялась, что оттуда на меня смотрело довольно-таки молодое лицо, я ожидала увидеть, по меньшей мере, семидесятилетнюю женщину. Глаза вот только грустные. Ну, когда, ну, когда же что-то сдвинется с мёртвой точки?

Ночь, ночь кругом, на всей Земле — тёмная ранняя глухая ночь. Сырой пронизывающий ветер дует с океана, и тучи закрывают звёзды. Даже Луна спряталась в какой-то чёрной дыре и иногда острожно из неё выглядывает. Словно купальщик, пробуя холодную воду, она окунает в волны туч узкий серебристый рожок и тут же отдёргивает его, прячась в своём надёжном убежище.

Ветер забирается под куртку, выстуживает голову, сыростью растекается по костям. Двадцать минут бега по пустой чёрной улице, как по туннелю, и лишь слабые фонари, подвешенные над подъездами, освещают мой торопливый некомфортный путь.

Как я скучаю по хрусткому морозу, по снегу, по низко висящим крупным звёздам и ощущению беспричинного невероятного счастья.

Анны дома нет, и я оккупирую телефон. Звоню всем, чьи телефоны поселились в моём блокноте, — девочкам по агентству, Люде в Майами, Тамаре с Николаем и даже их соседке Нине.

Погрязшая в чужих проблемах и ненужных компаниях, я утратила на время контакт со своими друзьями, и ошеломительные новости посыпались на меня, как горох из рваного мешка. Николай, не выдержав руководства заботливых родственников, сбежал из семьи. Куда? В тот же подъезд, к лишённой комплексов разбитной Нине, мечтавшей стать проституткой. Нина с Тамарой, несмотря на образование и насильственное внедрение любящими родителями благородных манер, по-бабски, мерзко и вульгарно подрались на лестничной площадке, к восторгу чёрных соседей, которые разделились на команды и болели каждая за свою фаворитку, вопя во всё горло и аплодируя удачным пассам. Победила более крупная и агрессивная Нина, и теперь они с обречённым в процессе нешуточной борьбы мужем подыскивают квартиру в другом доме, чтобы не сталкиваться в подъезде с бывшей женой и соперницей. После того, как страсти немного улеглись, Николай выторговал Томаса на воспитание и Тамара, замученная в одиночку тащить на себе обоз из двух детей и непримиримых и бесполезных стариков, согласилась.

Одна из знакомых по агентству вышла замуж за сына подопечной, другая вернулась домой, в нищую деревню, не выдержав американской жизни. Ещё одна жила припеваючи у богатой старухи, осыпаемая подарками благодарных родственников, другая сломала руку, пролежала в госпитале, заплатив все заработанные деньги за операцию, а оставшиеся с горя пропила потом со встреченными на Бродвоке Брайтона русскими забулдыгами и теперь собирала по знакомым деньги на билет домой.

В пылу страстей я позвонила в Задорск. К телефону подошёл пьяненький поэт и сообщил, что Маринка удрала в Майами, к бывшему моему жениху Дэвиду. Она ему написала, присовокупив к письму свою фотографию. Дэвид, поражённый длиной её ног, красотой и общностью взглядов в оценке меня, прислал ей билет и приглашение.

Известие это ошеломило меня, и я долгое время потрясённо выслушивала проклятия Антона в адрес подруги, забыв о дороговизне звонка.

Конструктивное предложение внесла майямская Люда. Она всё-таки охомутала недоверчивого и осторожного старичка, уверила его в вечной любви, и они сыграли пышную свадьбу. Амбициозную украинку не устраивала роль домашней хозяйки и, получив документы и право на работу, она устроилась работать по специальности в химическую лабораторию. В заведении этом трудилось несколько русских, и у Людиной новой подруги был брат Миша, по-тутошнему Майкл, который приезжал пару раз навестить сестру из затерянного в лесной глуши городочка вблизи Вашингтона. Майкл был одинок и страстно хотел жениться.

Люда уже вполне освоилась, и теперь ничего в ней не напоминало ту, запуганную и растерянную, которой она была в первые недели жизни в Америке. В голосе её звучал металл. Чётко, как секретарь канувшей в лету парторганизации, она изложила ближайшие перспективы — для себя и меня. Она терпела слюнявые поцелуи Росса, ждала

его смерти, тем не менее потихоньку внедряясь в высший свет — ходила с мужем на все презентации, тусовки и городские мероприятия. Испытывала там невыносимую скуку, но заводила нужные знакомства. Целью её жизни было сделать карьеру и разбогатеть.

Оправдываясь — слишком некрасива вышла Люда в моём изложении, — скажу, что она не собиралась отсидеться на чьей-то шее, а хотела работать сама. Люда любила свою профессию и хотела добиться в ней ощутимых результатов. Обладая аналитическим складом ума, она просчитывала каждый свой шаг. Для неё жизнь была шахматной партией, и она долго обдумывала каждый ход, а обдумав, без сантиментов перешагивала на следующую клетку доски.

Люда долго отчитывала меня, что я, будучи незрелой, глупой и не в меру романтической, упустила такую партию, как Дэвид. Помышлись, она тем не менее сообщила, что к Дэвиду приехала из России очередная красотка, которая, в отличие от меня, дуры, глаз с жениха не спускает и что выглядят они счастливыми. Люда с Россом часто встречаются с новоявленной парочкой в гостях у общих знакомых и в клубах. Не в пример мне его новая пассия всем довольна. Узнав, что Люда русская, она тем не менее не стала с ней секретничать, а держится официально-вежливо, что, кстати, рациональная Люда оценила.

Я уже знала, что эта красотка и есть моя подруга Марина, но не стала об этом говорить.

Люда вырвала разрешение дать мой телефон Майклу и ещё раз посетовала на мою глупость. Чтобы я в полной мере поняла, какую ошибку совершила, она несколько раз повторила:

— Ты знаешь, сколько стоит машина Дэвида? Знаешь? Двести тысяч! Ты тогда просто не разбиралась в этом!

Ответив, что это не играет никакой роли, жить-то мне с человеком, а не с машиной, я пыталась распрощаться, но это удалось лишь тогда, когда я покорно выслушала все инструкции и обещала встретиться с Майклом.

Люда заявила, что я буду просто дурой, если упущу Майкла, обладателя доходного бизнеса и собственного дома в дорогом районе. К тому же он весёлый и обаятельный — приехав в Майами навестить сестру, он очаровал всех её коллег неподражаемым юмором и виртуозной игрой на гитаре.

Судьбоносная встреча произошла 15 февраля. Уже в пятницу вечером меня начало, как здесь говорят, колбасить. В субботу я места себе не находила. За много месяцев работы это был мой первый выходной, и я отвыкла находиться одна. Этим вечером предстояло свидание, и я не знала за что хвататься — за меллу или за косметичку. Аня с утра ушла в колледж, и так непривычно было находиться одной в пустой квартире — я бегала из комнаты в коридор, на кухню, в ванную и обратно, громко стуча пятками об пол. Я даже заглянула в комнату соседки, чего никогда не позволяла себе раньше. Испытав смущение, как будто была воришкой, и меня могли застукать на месте преступления, тихонько притворила дверь, поразившись царившему в комнате беспорядку. Я без

конца подбегала к окну, без конца варила кофе и к пяти вечера совершенно одурела от тишины, счастья и гулких ударов сердца. Впервые за зиму, робко, словно сомневаясь, стоит ли это делать, повалил редкий снег. Толстые пушистые снежинки облагородили грязный двор, прикрыв кружевом мусорные баки, и превратили чёрно-бурый пейзаж в девственную белизну холста, на котором только угадывались контуры домов и деревьев, словно прописанные кистью начинающего художника. Из приоткрытой рамы окна дохнуло свежестью. Перемены, будут перемены — в этом я не сомневалась.

В шесть часов вечера, почему-то решив не наряжаться, чтобы не показать свою заинтересованность, перемерив весь нехитрый гардероб и оставившись на голубых джинсах, красном свитере и чёрном полупальто, я вышла во двор.

Глава 9

Овечка на заклание

Он понравился мне сразу. Это был тот самый толчок в сердце, о котором мечтает всякая девушка. Помните, как это случилось у Татьяны Лариной?

— Ты лишь вошёл, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала, и в мыслях молвила: Вот Он! Не правда ль, Ты ко мне являлся, Ты говорил со мной в тиши...

Герой будущего романа явился к своей принцессе не на коне и не под парусами, а банально, в духе времени, в машине. Машина была вся какая-то чистенькая, славненькая, приятных округлостей и изумительного изумрудно-бирюзового цвета. В Нью-Йорке, во-первых, не бывает таких чисто вымытых машин, во-вторых, мне безумно понравился её цвет — и изысканный, и радостный, и чистый. Мне понравилось весёлое круглое лицо с живыми смешливыми глазами, выглядывающее из окна автомобиля. Мне понравился его костюм — серый, с искоркой, из какой-то светящейся ткани.

Костюм и машина казались очень дорогими, и сам он — respectable, обаятельным и надёжным. От него дохнуло тем самым скромным обаянием буржуазии — запахами сытой жизни, хрустящих простынь, просторного дома со светлыми зайчиками на зеркально отполированном паркете, шезлонгом в саду, запахом ванильных булочек и свежесваренного кофе по утрам.

Он не вышел из машины, а просто открыл дверцу, и я без раздумий и опасений села и смело взглянула в его лицо, и мы заговорили так, словно знали друг друга сто миллионов лет.

Позже я поняла, почему он проигнорировал законы ухаживания — Майкл был маленького роста, и чтобы скрыть это, позволил себе небольшую хитрость. То, что я выше его чуть ли не на полголовы, обнаружилось, когда мы вместе вышли из машины — Майкл остановился возле какого-то русского ресторана на Брайтоне. Но это уже не имело никакого значения, я была безнадежно влюблена.

Коньяк, вино, салат «Оливье», мясное и рыбное ассорти, котлеты по-киевски, цыплёнок-табака, грибной жульен, пирожки, пирожные, мороженое

с фруктами — Майкл оказался по-царски щедр, весел, эрудирован, обаятелен и заботлив.

Все достоинства были налицо, и ничего меня не насторожило. Не прозвонил внутри маленький колокольчик: «Осторожно, опасность!»

Обычно я прислушивалась к самому тихому и единичному его звяканью — но нет, молчала интуиция, не встрепенулся мой Ангел Хранитель, не толкнул меня под столом ногой, не разлил бокал с вином, не подал никакого знака. Жрал, небось, гадина, пил и веселился, пристроившись где-нибудь на помпезной хрустальной люстре и прихлопывая в такт дорожной, затянутой в чёрный люрекс певице, которая прикладывала к пышной груди пухлые ручки и выводила низким контральто «Калинка, калинка, калинка моя!»

Может быть, рекомендации Людды оказались достаточно, чтобы поверить выданной ею характеристике Майкла, но я не учла того, что она начисто была лишена романтизма и к людям подходила исключительно с практической точки зрения. Может быть, сказался недостаток жизненного опыта — теперь я точно знаю, что весёлый и приятный человек может оказаться подлецом и негодяем, а скучный и невразумительный — благородным и честнейшим. Может быть, я не хотела думать о том, что у каждой медали есть две стороны, что человек многолик, и видела то, что хотела видеть. У меня не было ни времени, ни сил ни на долгие свидания, ни на проверку чувств.

Судьба опять подшучивала надо мной: «Тебе нужно замуж, ну, вот — выходи!»

Вещи поместились в машину — немного одежды, немного книг. Всю нехитрую мою посуду и постельное бельё он велел оставить, не позволил взять ни прикратоватый коврик, ни шторы с окон. Всё это милое барахло, которым я обживала, украшала комнату, будет мне не нужно в новой жизни, и я с лёгкостью с ним рассталась.

Сев в машину, я окинула взглядом бумажные коробки шестиэтажных зданий, серую слякоть, голые деревья — и почувствовала себя так, словно опять иммигрирую. Позади остаётся беспросветная тоска, бесперспективность, тупая и нудная работа, одиночество и бесправность. Вперёд, в будущее!

В светлом будущем я угнездилась радостно, с уверенностью любимой женщины, хозяйки и полноценного гражданина, вернее, гражданки. Майкл гордился тем, что я выше его, и я почти не замечала низкого роста избранника, который был «настоящим полковником» — уверенным, целеустремлённым и активным человеком.

Сработал классический стереотип — неказистый, но крепко стоящий на ногах мужчина и высокая блондинка, с удовольствием потрошащая его кошелёк. Ему нужны её рост и красота, как возмещение комплексов и визитная карточка успеха, ей — комфорт, стабильность и отсутствие борьбы за выживание.

Это я сейчас так ехидничаю, отплыв на несколько лет от идиллической картинки, оказавшейся на самом деле фильмом ужасов — Хичкок отдыхает.

Красавица и Чудовище — так нас называли знакомые и родственники. У него была куча

родственников, довольно милых людей, целый дружный, монолитный семейный клан евреев. Про Майкла они сами и говорили:

— В семье не без урода...

Майкл и был самым настоящим уродом — патологически жестоком, свирепым, самовлюблённым, нетерпимым и скучным.

На другой стороне медали он был довольно обаятельным, я уже описывала его остроумие, эрудицию, приятный голос.

Он был прав. С ним нельзя было долго встречаться — волчьей морда рано или поздно вылезла бы из-под овечьей шкуры. Он честно влюбился и сразу же уволок невесту в логово холостяка, из которого уже сбежала парочка невест, как из замка Синей Бороды. Он честно старался быть хорошим — но его старания хватило ровно на два месяца.

Через два месяца голубиных сюсюканей, уженов при свечах и прочей лабуды мне было сказано, что я часто писаю, то есть расходую много воды для сливания продуктов жизнедеятельности, много пишу писем в Россию — аж по два в месяц, и на марки выходит приличная сумма. Он даже посчитал на калькуляторе и показал мне, безмолвной и трепещущей, экранчик дисплея для вящей убедительности.

Выходило что-то вроде шестнадцати долларов в год. Потом, в доме горит свет, пока он на работе, приходится больше покупать еды и так далее, и тому подобное.

Я, до той поры пребывавшая в статусе любимой женщины и потому обретшая томные повадки, поволоку во взоре, плавность движений, одетая в шёлковые или бархатные халаты, чулочки на подвязках и браслет с бриллиантами, вдруг почувствовала себя мерзким, прожорливым гиппопотамом, прокормить и содержать которого нет никакой возможности. В жалкое своё оправдание хочу сказать, что, ожидая любимого с работы, убирала двухэтажный дом и извращалась в кулинарии. Частенько приходилось топтать километра четыре по лесу к ближайшему супермаркету — то за картошкой, то за соком, то за горошком к салату «Оливье», который я сооружала, как апофеоз счастливой жизни.

Ощувив вдруг свою огромность и неуклюжесть, я присела на диван, и теперь уже он возвышался надо мной и отчитывал, и говорил, какая я неаккуратная — я ела банан не за столом в столовой, а на диване, и он нашёл, нашёл крошечку от банана на полу, и курицу я готовить не умею — она всегда жестковата. Мне казалось, что он шутит, он любил шутить и смешить меня. Но он не шутил. Щетинка на бритой голове встала дыбом, и я вдруг увидела, (и как раньше не замечала?), что у него короткие сарделькообразные пальцы, а на шее толстая складка.

А приметы? Сколько было нехороших примет, когда мы ездили расписываться в мэрию: и зашеленный дверкой машины букет цветов — тогда напрочь срезало все верхушки роз, а когда Майкл побегал за вторым букетом, полицейский влепил штраф за неправильную парковку, и разбитое зеркальце, и позорно опоздавшие, прибывшие к концу церемонии свидетели. Бежать надо было

ещё тогда! А как же счастье, а зелёная карта? Пол в буквальном смысле поплыл у меня под ногами. Каменный остров превратился в хлипкий плот.

Устойчивая крепость-дом, муж, положение, отпуск зимой на островах, Рождество с подарками, тихие семейные вечера у камина, рождение ребёночка — оказались картонным бараклом, карточным домиком, хлипкой иллюзией, разлетевшейся от первого порыва ветра. Я ощутила себя на плоту, в бурном штормящем море. Плот несёт по волнам, вверху равнодушные звёзды, наблюдавшие не одну драму. Доплыву ли до берега? И существует ли она, прочная каменная твердь? Мне казалось, что нет.

Меня сдувает, сносит в открытое море, а я не хочу умирать, нужно выжить любой ценой, выжить! Нужно уцепиться, хотя бы за сучок в бревне, притвориться веточкой, букашкой, только доплыть до берега, выжить, а там бежать...

Я попала в замок к Синей Бороде, к сумашедшему, хитрому и опасному типу, умело притворяющемуся нормальным человеком. Да, молчала моя интуиция, опять я принимала желаемое за действительное. Конечная цель — даже не замужество, рождение ребёнка и спокойная жизнь — всё то, к чему сознательно и подсознательно стремится всякая женщина, а стремление к свободе в государстве, повязавшем своих граждан условностями: пропиской, паспортами, видами на жительство, визами — привело меня в теперь тюрьму.

Я могла, конечно, уехать назад, в хомматендство и бесправие, и опять ждать, но зачем возвращаться в хорошо знакомое прошлое? И наживка была проглочена — документы наши были в иммиграционном офисе, и я ждала приглашения на интервью. Зелёная карта-пропуск в рай, первая ступенька у подножия лестницы, которую венчает Мечта.

Нельзя быть наивной и доверчивой. Нельзя идеализировать людей — за недалёковидность и благодушие приходится дорого платить. Но одинаково боюсь стать циничной, недоверчивой и злой. Где же золотая середина? Как не попадаться в расставленные ловушки? Бог мой, видел ты, видел — не хотела я быть стервой, расчётливой и хитрой. Не хотелось мне возненавидеть мужчин и встать под убогие знамёна феминисток. Есть же нормальные люди, ходят где-то, живут, радуются и печалются, смотрят, как и я, на луну, пытаюсь разгадать смысл мироздания и собственной жизни.

Есть любовь, среди моря пошлости и лжи, и я её найду! А пока я училась выживать, училась понимать других и себя, училась быть хитрой. У меня был враг — собственный муж.

Я теперь всегда притворяюсь. Говорят, что женщины — хорошие актрисы. Да, я училась быть актрисой — отвечать на поцелуи, когда хотелось разодрать когтями ненавистное лицо. Я устраивала хорошо продуманные скандалы, но чётко следила, чтобы не переборщить. Я умело пускала в ход слёзы — но не частила, чтобы он не привык к слезам, и они не стали его раздражать. Я подерживала в нём иллюзию того, что он любим, и лестью и хитростью выщигивала себе поблажки. Я ходила по краю, над пропастью, по перекинутой через неё тонкой дощечке. Одно неверное

движение, слово, взгляд — и я лечу вниз, в бездомность, бесправие, безденежье.

Он меня сразу предупредил, что я должна его во всём слушаться. Конечно, я была согласна — да убойтся жена мужа своего. Мне даже хотелось слушаться, то есть снять с себя ответственность, спрятаться за чью-то спину. Но в это понятие входили абсурдные запреты — не заводить подруг, не разговаривать по телефону, писать одно в два месяца письмо в Россию, не разговаривать ни с кем из мужского пола, когда мы в гостях. Никуда не ходить без него, разве только в супермаркет, не общаться с его же родственниками в его отсутствие.

Мы подписали брачный контракт, из которого выходило, что всё его — это его. В случае развода я имею право только на носильные вещи, в случае его смерти — то же самое. Дом, машина и счёт в банке переходит к его дочери от первого брака, в ту пору девятилетней Джун, живущей с матерью во Флориде. У меня не было выбора — он сказал, что это формальность, он просто хочет подстраховаться на случай, если я — банальная искательница чужого кошелка, и что когда он убедится, что я бескорыстно люблю его, пункт на случай его смерти будет переписан — он мне завещает машину и счёт в банке.

Борьба велась нешуточная. Он давил, душил, связывал по рукам и ногам. Нужно было, не показывая, что жизнь с ним невыносима, отвоевать себе пространство. Начиная с мелочей.

Первое, за что я билась до полусмерти — это чтобы он не беспокоил меня, когда я запираюсь в ванной. Это моё прайвеси, единственная возможность побыть одной. Ну и что, что долго. Может, у меня проблемы с желудком. А если не приму ванну, то буду плохо спать, и это отразится на моём мироощущении — не хочет же он видеть вечно унылую рожу? Стучать только в случае пожара.

Когда становилось невыносимо, я запираюсь в холодном бело-розовом убежище. Сидя на унитазе, читала русскую газету, купленную днём возле супермаркета, в маленьком русском магазинчике. Газету я прятала — мне было запрещено их покупать. Прочитав, тоже прятала и потом выбрасывала.

Там же прочитывались письма от мамы. Ей я писала, что всё замечательно — я живу в большом доме, у нас красивая машина, зимой мы ездим на острова, я сыта, разодета и купаюсь, как сыр в масле. Мама плакала от счастья, благодарила Бога и ничего для себя не просила.

Меня раздражало, как он ел. Девушкам на вооружение — когда женщина любит мужчину, её умиляет всё, что он делает — как он умывается, ест или спит. Если её раздражает, как он ест, то дело неладно.

Ел он быстро и жадно, по-звериному. Широко открывал рот, глаза его при этом стекленели, откусывал огромный кусок и с шумом, чавканьем и придыханием жевал. По окончании еды в рот засовывалась зубочистка, извлекалась, осматривалась и с присвистом обсасывалась.

Однажды он поймал мой скользнувший и попытавшийся тут же спрятаться взгляд. Мы были в Нью-Йорке и ужинали в тихом, благоуханном

ресторане в Манхеттене, и мне было стыдно за то, как он ел, — соседи обращали на него внимание. Странно, что в ту первую нашу с ним встречу я совершенно не обратила внимания на это. А может, он и не ел, подпаивая и охмуря меня?

Я спрятала взгляд, сохраняя на лице невозмутимость. Майкл встал, отбросил белую льняную салфетку, с грохотом отодвинул стул. Подбежавшему официанту сунул кредитку. Я посеменила за разгневанным мужем, и по дороге до машины не было произнесено ни слова. Он рванул с места, и только тогда раскричался. Уже не помню, какие были претензии. Что-то вроде того, что если он мне противен, я могу умять. Сейчас я понимаю, что несчастный коротышка был неуверен в себе и нуждался в любви, и требовал доказательства любви любым способом, не осознавая, что сам же её и убивает. Но тогда я испугалась его гнева и обиделась — зачем он кричит? Вначале я пыталась отшутиться, успокоить его. Потом замолчала, затем стала огрызаться. Гнев же его набирал силу. Это было как лавина, которую невозможно остановить, камнепад, водопад упрёков и обвинений. Голос его, громкий, басовитый, с визгливыми нотами, заполнил собой салон, пульсировал в моём мозгу, разрывая череп.

Молчание, отшучивание, разговор по душам не принесли никаких плодов. Муж орал громче и громче. Я плакала, сжавшись на сиденье. Он орал. И чтобы голова моя не лопнула, я открыла дверцу машины и попыталась выпрыгнуть на полном ходу. Мне было уже всё равно, лишь бы прекратился этот крик, лишь бы глотнуть свежего воздуха. Как он успел ухватить меня за рукав, как он успел затормозить на скоростном ночном шоссе, загадка... Но я всё-таки выскочила из машины.

Так случилась моя первая настоящая истерика. Я отбивалась от этого жестокого человека, перелезала через ограду и рвалась в лес, вырывалась и кусалась, била его по щекам, молотила ногами, бросалась на землю и на животе пыталась уползти. Он испугался, просил прощения, ловил меня и, наконец, затолкал, обессиленную, в порванных колготках и платье, с разбитыми в кровь коленями и локтями на заднее сиденье.

Дней пять я лежала в постели, с опухшим, как подушка, лицом, с разбитыми губами и сквозь щёлочки заплывших глаз равнодушно смотрела в окно на равнодушные деревья. Он входил на цыпочках, гладил мою руку, приносил на подносе вкусности и дорогое вино, подолгу говорил, что любит меня и просит не бросать его, что он сам знает, какая он сволочь и эгоист, но мучается от этого, что учится владеть собой, учится быть добрее, и я должна ему помочь.

Я помогала. Иногда прощала и соглашалась с ним, иногда запираюсь в упорном несогласии. Он бесился, его раздражала моя кислая морда, но я была непреклонна и говорила ему:

— Ты требуешь подчинения? Хорошо, я подчиняюсь потому, что не хочу скандалов в семье, не хочу тебя терять, но я не могу быть счастливой при таких запретах и ограничениях. Тебе что важнее — чтобы тебя беспрекословно слушались или видеть меня весёлой и довольной? То и то вместе не получается, потому что ты несправедлив

ко мне, не доверяешь, а твои подозрения меня оскорбляют...

Он отвечал, что лучше знает жизнь, и если семья закрыта и в неё ничего не попадает извне, то не бывает ни искусов, ни соблазнов и больше шансов сохранить семью...

Я не соглашалась.

— Такая семья становится похожа на тюрьму, а из тюрьмы рано или поздно бегут. Не лучше ли доверять друг другу, разнообразить свою жизнь общением с друзьями, путешествиями?

Он отвечал:

— Нет! Я не хочу, чтобы ты ходила куда-нибудь без меня, даже к подружке! Ведь ты можешь кого-нибудь встретить.

— А ты будь лучше всех, и любой встреченный распрекрасный мужчина оставит меня равнодушной, если я счастлива с тобой. А когда ты такой придирчивый, злобный, подозрительный, то я захочу встретить другого.

Он:

— Значит, ты любишь меня не потому, что это Я, а за то хорошее, что я тебе делаю...

Рассуждая на эту тему, мы всегда упирались в тупик. Майкл никак не мог расстаться со своими убеждениями. Я пыталась убедить его, что полюбила его за увиденную широту души, внимательность, заботливость, самостоятельность и щедрость.

А когда он повернулся своей другой стороной, то мне трудно стало сохранять к нему нежные чувства, будучи обложенной миллионом ненужных, затрудняющих жизнь запретов.

Он недоумевал:

— Значит, ты не любишь Меня как Меня, ты любишь меня, только когда я тихий и добрый, и выполняю твои желания. Тогда получается, что ты эгоистка.

Я, как могла, пыталась ему объяснить:

— Ну, трудно же любить неуживчивого, занудливого и вечно придирающегося мужа. И потом, по какому праву ты решил, что можешь вечно насилловать душу другого человека, заставлять его делать то, что нравится тебе? Ведь у меня есть свои взгляды, желания, привычки, но мне приходится всем поступаться ради твоего спокойствия. А ты поступаешься чем-нибудь ради меня?

Глава 10

Скромное обаяние буржуазии

Несмотря на все описываемые выше ужасы, жизнь моя не была лишена приятности. Обладая счастливыми (или нет?) природными качествами — незлобностью, упрямым нежеланием видеть очевидное, быстрой отходчивостью, идеализацией окружающих и мощным инстинктом самосохранения, я быстро восстанавливалась после скандалов, имея призрачную надежду приспособиться и перевоспитать Майкла, заставить его считаться с собой. Первое время он действительно старался, я же в свою очередь быстро обростала толстой кожей и навыками лицемерить.

Жизнь с Майклом походила на шахматную партию — нужно было разгадать ход противника, подготавливаться к нему и победить врага.

Первое время после переезда я была очень счастлива. Мне понравилось жить в большом доме, спрятанном от людских глаз. Окружающая обстановка была если не роскошной, то во всяком случае комфортной и приятной. Всё дышало сытой, чистой, размеренной жизнью американского середнячка. Поражали размеры дома, количество комнат, незатейливая, но добротная обстановка, обилие техники и прекрасно оборудованная кухня. Холодильник, в отличие от майамского, был забит милой сердцу колбасой и сардельками, в морозилке были мясо, пельмени. На столе всегда стояло большое блюдо с фруктами, не переводились сладости.

Проводив Майкла на работу — это входило в мои обязанности, — я долго маячила у окна, посылая любимому поцелуи, пока его машина не скрылась за поворотом, и валилась в постель досыпать, балдея от тишины и от того, что не нужно бежать на работу и проводить весь день подле умирающих старух. Потом бесцельно шлялась по комнатам, пила кофе, принимала ванну, долго и изощрённо готовила ужин, много вязала, сидя у телевизора, по многолетней привычке вела дневник, который тщательно прятала среди белья. Даже в утаре первых любовных дней у меня хватало ума не проговориться о нём, и дневник всегда был моим единственным другом.

Мне даже не было скучно проводить целый день одной, практически запертой в доме — я упивалась отдыхом. Я и не представляла, насколько устала от своей предыдущей работы, от ожидания и неопределённости. Сейчас у меня ещё не было сил думать о будущей карьере. Как муха в меду, я купалась в лени и бездействии, ожидая приглашения на интервью. Не верилось, что, наконец, свершилось, исполнились самые смелые ожидания, и то, что я в который раз начала новую жизнь, сумев не отчаяться, а повернув её самым кардинальным образом, и что теперь у меня надёжный муж, крепкий дом и желание быть счастливой.

Вскоре Майкл вытаскил наивную жёнущу из сонного болота, встряхнёт, заставит суетиться, но пока роль домохозяйки меня устраивала. Ах, если бы можно было протянуть так всю жизнь — в тепле и сытости. Но я знала, что не получится, что скоро или станет скучно, или жизнь приподнесёт сюрприз. Меня не оставляло ощущение нереальности происходящего, даже майамская обстановка сейчас воспринималась более естественно.

Здесь как-то всё было донельзя прилизанным, чересчур комфортным, слишком изолированным. Наши выходы в свет, или аут, как здесь говорят, приторно сладкими.

Вот мы сидим за столиком в ресторане (при всей скупости Майкл обожал ходить в рестораны, там он денег не жалел), нарядные и весёлые. Провинциальные ресторанчики в Америке — просто чудо. Этот был оформлен в виде военного блиндажа — старые карты и фотографии покрывают бревенчатые стены, ржавые гильзы выступают в качестве вазочек, крыло самолёта служит барной стойкой, официанты одеты в военную пятнистую форму. Тем не менее, публика тут изысканная. Дамы почти все в вечерних платьях, мужчины в смокингах.

Майкл держит мою руку в своей, влюблённо на меня смотрит и шепчет:

— Так будет всегда, мы всегда будем вместе!

И хотя это самое начало нашей жизни, и я ещё не увидела волчью морду, ощущение фальши не отпускает.

Мне кажется, что столик наш находится на сцене, тем более что в зале темно, а свеча освещает лишь малое пространство вокруг, и лиц окружающих не разобрать... Я вижу смутное отражение в осколке зеркала, висящем на стене рядом. Чьё-то слишком красивое, сытое и холёное лицо отражается в нём вкупе с обнажённым плечом и бретелькой вишнёвого бархатного платья. Это не я, это не моя роль.

В мозгу высветилось воспоминание — вот я в редакции, дописываю статью. Голодно, наколено... Она входит, кладёт на заваленный бумагами стол батон, секретарша Майя ставит электрический чайник, подтягиваются журналисты, смех, шутки. Сердце больно кольнуло. Издалека выплыл голос Майкла:

— Ты плачешь? От счастья?

— Да, милый, от счастья...

Многочисленные тётушки мужа, а также три его двоюродных брата и сестра жили в этом же лесу. Дружное еврейское семейство поддерживало жизнь клана, и не прийти на день рождения, крестины-родины и прочие даты не представлялось возможным. В этом была и своя прелесть, и недостаток. С одной стороны, хорошо иметь, к кому пойти на праздник, с другой, на свой день рождения мне не хотелось приглашать целую толпу. Иногда вынужденное общение было радостью, иногда — рутинной и обузой.

Родственники встретили меня дружелюбно, но и с расспросами не лезли, особому изучению не подвергали. Жёны братьев показались мне симпатичными, но нелюбопытными и закрытыми. Оказывается, все обладали горьким опытом общения с милым братцем и племянником, жёны к тому же были строго проинструктированы тётёй Миртой — главой клана. Они только гадали — как долго я продержусь. Продержалась я долго, почти четыре года, в чём не было необходимости — долгожданную зелёную карту получила года через два с половиной.

Итак, не без трепета под руку с новоявленным мужем вступила я во владения тётёи Мирты. В саду уже собрались гости, и Майкл с гордостью представлял собравшимся нового члена коллектива.

Ниточка ассоциаций потащила мою память опять в Майамы. Всё было очень похоже — и роскошный огромный дом, и толпа народных людей. С одной лишь поправкой — здесь все эти люди были иммигрантами, и мне было интересно, как они прижились, какие у них проблемы и как они смогли построить себе видимое благосостояние. На меня, казалось, никто не обращал никакого внимания, я же украдкой рассматривала окружающих. Все три брата Майкла — Рома, Гари и Влад, — несмотря на внешний апломб и некоторую вальяжность, оказались трудягами и подкаблучниками. Рома и Гари были вывезены в страну обетованную в подростковом возрасте и по-английски говорили лучше, чем по-русски.

Влад, младший из братьев, почему-то прибыл с семьёй только месяца три назад, и они с женой Леной, круглолицей блондинкой, поселились в снятой для них заблаговременно заботливыми родственниками узкой и тёмной квартире в длинном двухэтажном, напоминающем барак доме, ходили на курсы английского и присматривались, примеряя к себе возможные варианты развития жизни.

Жёны еврейских братьев были русскими. Двухлетнего пацана Влада и Лены нянчили все по очереди тётушки. Ромина жена, Галя, испугала меня своей некрасивостью. Бывает так, что человек напоминает какое-нибудь животное. Мне случилось встречать людей-обезьян, собак, хомяков или кенгуру. Галя же удивительно напоминала ящерицу — маленькое треугольное личико её было начисто лишено подбородка, кожа ниже тонкого губа рта была натянута до самой впадины на шее, глаза же походили на теннисные шарики, заключенные в морщинистые мешочки. Рома, добрый, ответственный семьянин, показавшийся мне недалёким, оказывал ей постоянно знаки внимания, и Галя, казалось, совсем не страдала никакими комплексами по поводу внешности. Кстати, это была самая счастливая, крепкая и дружная семья, у которой, у единственной, не оказалось никаких скелетов в шкафу. Галя работала парикмахером, Рома на каком-то заводе, в семье царил матриархат, приказы жены не обсуждались.

Гари, талантливый программист, в данный момент разводился со своей американской женой, служащей банка. Он был неразговорчив и погружён в невесёлые свои проблемы. Борьба с уже бывшей женой шла нешуточная — за сумму алиментов и за график посещения Гари своего трёхлетнего сынишки. Ему будет позволено забирать к себе сына каждые вторые выходные, а сейчас он ушёл из совместно купленного дома и пока снимал небольшую квартиру.

Все три брата были высокими, плечистыми и довольно симпатичными ребятами.

Рома — недалёкий добряк, Влад — смешливый и компанейский, Гари — замкнутый и молчаливый.

Майкл среди них выглядел, как кукушонок в гнезде аистов, настолько он был злобен и мал ростом. Тем не менее, к мнению Майкла прислушивались, так как он был умён, эрудирован, обладал житейской хваткой и аналитическим умом.

А характер терпели, в конфликты с ним по возможности не вступали. Какая-то из тётушек сказала мне, что Майкл и повадками, и ростом полностью повторил своего деда. Мама же у него была добрейшим человеком, самой весёлой и доброй из сестёр.

В наши хорошие минуты Майкл сам мне признавался, как мама удивлялась:

— Что ж ты, сыночек, сволочью такой уродился?

После смерти мамы злоба — естественное его состояние, — долго сдерживаемая, полезла наружу, как взопревшее тесто из горшка.

Братья часто собирались вместе, чаще всего у Ромы, владельца двух некрасивых, шустрых дочек и большого дома, в подвале которого разместились стол для бильярда и музыкальная аппаратура.

Не утратившая иллюзий, я тихо любовалась раскрасневшимся Майклом, который с остервенением терзал гитару и пел, в то время как Рома играл на синтезаторе. С Галей подружиться не удалось — она была занята домом и детьми, на откровения её не тянуло.

Так я маялась, неприкаянная, пока братья музицировали.

Из тётушек мне больше всех понравилась Таня, с самой незадавшейся судьбой. Мужем Тани был русский Вася — живая иллюстрация союза еврейки с русским, когда муж спивается и обзывает жену жиловкой (воплощённая в наглядной пугалка нью-йоркской Риты для непутёвой дочки).

Мне было жаль Таню. Грузная, немного неприятная, какая-то потерянная, единственная из сестёр живущая очень скромно, в маленькой квартире, Таня была помешана на чтении, и только с ней я могла поговорить о книгах. Ещё она была доброй и очень радовалась нашим к ней приходам, заставляя стол вкусностями. Вася быстро пьянел, начинал нести ахинею, Майкл язвил, и мы уходили, к сожалению невыговорившейся, одинокой хозяйки.

Кстати, это их дочь, Катя, и была пособницей нашего с Майклом знакомства. Какая-то нелёгкая занесла её в Майами, это она оказалась сослуживицей Люды и дала такую сногсшибательную характеристику двоюродному братцу.

Хромоножка от рождения, бледнолицая худышка с шапкой чёрных кудрей, она обладала какой-то дьявольской энергией к разрушению и созиданию, и была заражена вирусом скепсиса. Я видела, с каким презрением она относится к сытым и благополучным родственникам. Она всё время переезжала с места на место, часто меняя сожителей, на языке милицейского протокола, а по-здешнему бойфрендов. Богатые дядьки бизнесмены возили её по Европам и курортам, одевали от кутюрье, но Катя неизменно училась и работала, периодически бросая возлюбленного и начиная всё сначала.

Говорить о ней было табу, жалели Таню, лишь шёпотом обменивались информацией, отслеживая маршрут Катиных бросков по миру и койкам.

Мне кажется, что бедная девочка глубоко страдала от своей хромоты, она никому не доверяла, не верила в прочный союз и потому первой бросала мужчину. Количеством их она лечила свой комплекс неполноценности, по сути же она была добрым и ранимым человечком.

Так вот, девочка эта в порыве созидания свела ещё одну пару. Гари и Люда — вот её удавшийся эксперимент.

Да, да, майамская Люда приехала в наш Лес, прямо в гости к Гари, у них случилась любовь с первого взгляда. Тот старикашка, Росс, который всё-таки женился на упорно его окучивавшей хо-лушке, неожиданно скончался от сердечного приступа. Не думаю, что жёнущка сильно его оплакивала, потерю благосостояния она переживала гораздо сильнее. Дело в том, что по садистским иммиграционным законам брак считается недействительным, если в нём состояли менее полугода. Не важно, что произошло, удрал ли один из супругов или отдал Богу душу. Осторожный,

как все американцы, Росс и в могиле отстоял своё добро. До пресловутой черты, за которой Людмила наследовала бы дом и счёт мужа, не хватило всего трёх недель. Адвокат преставившегося молодожёна, пленившись глубиной горя симпатичной вдовы, не смог перехитрить закон, и имущество прибрало к рукам алчные сёстры усопшего. Мало того, аннулировали Людин статус и разрешение на работу, и она оказалась буквально на улице.

Катя пригрела сослуживицу, вызвала брата и тот, оправдывая возложенные на него ожидания, не стал ломать рамки написанного для него сценария, а без памяти влюбился в Люду.

Глава 11

Страсти по Макдональдсу

Жизнь между тем продолжалась. Мы с мужем то ссорились, то мирились, отстаивая право на собственные заблуждения, привычки и взгляды. Майкл был как двуликий Янус — то очень хороший, то очень плохой, середины не было.

Не знаю, гены ли это вредного дедушки работали, свирепствовал ли комплекс Наполеона, либо проявлялась какая-либо психическая болезнь. Я, как могла, приспособливалась к жизни с ним.

Мягкая, уступчивая снаружи, внутри себя я обнаруживала железный стержень, который не могли переломить ни злоба мужа, ни жизненные перипетии. В зеркало на меня смотрело круглое лицо, довольно милое, светящееся сытостью и довольством — хорошее питание, свежий воздух и отдых делали своё дело.

Приближаюсь к зеркалу... Ближе... Ближе... Почти прижимаю к нему нос и обнаруживаю, что за розовой улыбочкой плотью прячется что-то хитрое, жёсткое, умудрённое жизнью и грустное. Лицо жило своей жизнью: улыбалось, сердито дуло губки, морщило лобик, сохраняло невозмутимость, — глаза же в это время изучали, высчитывали, скорбели, ненавидели или откровенно скучали. Я научилась прятать их выражение, как человек прячет некрасивую болячку под манжетой рубашки или под стойкой воротника.

Безделье моё закончилось — я была поставлена перед необходимостью работать. Оказывается, зарплаты мужа катастрофически не хватало. Много было трат: алименты, страховка на машину, за дом выплачивалась ссуда банку, существовал налог на землю. Выплаты велись местной полицией и даже мусорщикам.

Далее шло кабельное телевидение, свет, газ, телефон, и в месяц набегала кругленькая сумма. К тому же мы часто ужинали вне дома, и раз или два в месяц ездили в Нью-Йорк, где в любимых Майклом русских ресторанах на Брайтоне предавались разнузданному обжорству.

Я любила приезжать в Нью-Йорк, хотя терпела там много душевных неудобств, и часто поездки эти заканчивались скандалом и слезами.

Останавливались мы в квартире ещё одной его тётки, пятой по счёту и самой молодой.

Тётка эта с фольклорным именем Алёна была, в моих глазах, настоящей светской львицей. Высокая, стройная, уверенная, закончившая Гнесинку по классу вокала, она пела в ресторане «Золотая

Ложка» на Брайтоне и, соответственно, вела своеобразную божественную жизнь — возвращалась домой под утро, спала до трёх пополудни, в семь часов вечера, одетая либо в одно из многочисленных вечерних платьев, либо в расшитый золотом мундир, подтянутая и наэлектризованная, шла на работу.

Майкла, как магнитом, тянуло в этот ресторан, где, по праву ближайшего родственника певицы, обслуживался по высшему разряду, где ему всегда занижали счёт, чему он беззащитно радовался, и частенько приносили в дар бутылку коньяка. Я наша прелесть в употреблении ранее ненавистной водки.

После первой же выпитой рюмки горячая хмельная субстанция толстым одеялом окутывала меня, и в ней тонули и хамство супруга, и придирки, почему я не смотрю на него влюблённым взглядом, и угрозы набить морду тому наглецу, который посмеет заговорить со мной или пригласить на танец.

Истеричное веселье накатывало на меня, и я пила рюмку за рюмкой, разгоняя липкий туман на танцевальной площадке, и Майкл переставал шпионить и злословить, а, раскинув руки в танце, как павлин, притоптывал и приплясывал вокруг, явно демонстрируя окружающим гордость за свою самку.

Если же я интеллигентно употребляла вино, обостряющее чувствительность, то невыносимо мучилась от ритуального танца, когда весёлая тётка объявляла в микрофон:

— А эту песню я посвящаю своему любимому племяннику и его очаровательной Клавочке!

Мы выходили на опустевшую площадку, Майкл театрально укладывал голову на моё плече, отчего я возвышалась над ним почти на голову, и мы демонстрировали пьяной публике танец влюблённых голубков.

В конце вечера, дойдя до нужной алкогольной кондиции, Майкл залезал на сцену, бесцеремонно отбирал гитару у аккомпаниатора, оттеснял от микрофона Алёну и исполнял несколько песен. Если ему удавалось это сделать, он добрел, становился заботливым и блистательно остроумным. Часто тем же вечером он садился за руль, и долгую четырёхчасовую дорогу до дома я непрерывно болтала, не давая ему заснуть, и пару раз вовремя заметила поворот или бордюр, что спасло нас от неминуемой гибели.

Если мы оставались в Нью-Йорке на выходные, то Алёна селила нас в комнате сына, который на эти два дня оставался ночевать у подруги.

В дальнейшем подруга эта, Галя, тоже сыграла определённую роль в моей жизни, оправдывая подозрение, что Судьба, наверное, всё-таки существует — ниточка её тянулась от того самого полёта из Москвы в Майами. На ниточку постепенно по дороге нанизывались бусинки — ключевые события и знакомства, приведшие к моему теперешнему состоянию.

Алёне на тот момент было сорок лет, но выглядела она моложе, сыну её Вадиму было двадцать лет, но выглядел он постарше. Галя была старше Вадима, своего бойфренда, на целых десять лет, но этого видно не было. Свежая, бледнолицая,

порывистая, с мальчишеской стрижкой, с вечной сигаретой в тонких пальцах она хорошо смотрелась с высоким аполлонистым Вадимом.

Алёнин бойфренд Костик был младше подруги на десять лет, и когда вся семейка была в сборе, невозможно было разобраться, кто есть кто и кто кому кем приходится.

Все они были москвичи, и между ними существовало некое тайное братство, что-то вроде масонской ложи, в которую не допускали посторонних. Посторонней была я, и хотя ко мне хорошо относились, (попробовали бы отнестись плохо! Майк играл роль верного и заботливого супруга, и за меня мог глотку перегрызть обидчику), я всегда чувствовала к себе их тайное лёгкое пренебрежение.

Может быть, работал мой комплекс провинциалки, ежели таковой существует, но я всегда чувствовала их от себя отстранённость, и это было больно осознавать, все эти люди были симпатичны и интересны, мне хотелось с ними подружиться, но этого не получалось — для всех них я не существовала как самостоятельная единица, а была женой Майкла.

Да, «жена Майкла» — таков был мой статус, и ко мне относились как к хрупкой фарфоровой чашке, которая должна стоять на столе, но которую нельзя разбить и прикасаться к которой лучше тоже не стоит.

Мне нравилась тёткина квартира, просторная, светлая, с окнами на океан, с паркетным полом, весёлым и жёлтым. Нравилась мебель — европейская, лёгкая и элегантная. В этой квартире было радостно и легко дышать, я даже немного завидовала — мне тоже хотелось жить в светлом доме на берегу океана. Просторная кухня вмещала всех нас шестерых — Вадим с Галкой обязательно приходили во время ланча, для нас же, проводящих полночи в «Золотой Ложке», это был поздний завтрак. Брызжущая энергией Алёна шутила, громко смеялась, кричала в телефон, самозабвенно спорила с Майклом по всяким жизненным вопросам. Частенько они сталкивались на почве религии — будучи евреями, они оба объявили о своём переходе в христианство и до хрипоты обсуждали двусмысленные моменты в Библии.

Вадим, которого я обозвала аполлонистым, был настоящим красавчиком, он действительно походил на статую Леохара «Аполлон Бельведерский». Он был высок, строен, обладал рельефными мускулами, прямым римским носом, крутым подбородком, чёрными вразлёт бровями, синими глазами и шапкой густых вьющихся волос.

Майкл рядом с ним казался настоящим карликом и уродцем. Но Майкл был как маленькая собачка — он яростно нападал на окружающих, всех поучал, довольно едко и остроумно высмеивал, давал дельные советы. Меня приводило в восхищение, что у Галки не было никаких комплексов по поводу разницы в возрасте и в дальнейшем я не раз высказывалась в защиту её союза с Вадимом.

К моему изумлению, красавец был застенчив, молчалив, даже несколько косноязычен и работал автослесарем — только посмотрев на его руки с вьёвшимся под ногти машинным маслом, можно было в это поверить. Вадим обожал маму,

побаивался двоюродного брата и боготворил Галку-поэтессу и фотографа.

Галка входила в какие-то неформальные творческие объединения, таскала Вадима на поэтические чтения в прокуренные клубы, у неё было множество странных знакомых, неординарных личностей, русскоязычных бардов и поэтов, неизвестно как выживающих в Америке. Галка блистала на этих сборищах, со всеми была накоротке, пела под гитару свои стихи и стихи одной городской сумасшедшей, как та себя сама обозначила в книге «Несчастные Девушки».

Красавец Вадим был неизменным спутником Галки, молчаливым обожающим пажем.

Я была влюблена в эту пару и готова была выносить и танцы влюблённых, и сумасшедший разгул пьяной брайтоновской публики, лишь бы приехать в Нью-Йорк и видеться с ними.

Однажды Галка предложила взять нас с Майклом в гости к Осе Вельминскому, покровителю поэтов, составителю антологии «Поэты Андеграунда», к которому все поэты тянулись на поклон за одобрением и в надежде на признание, и у которого чуть ли не круглосуточно тусовалась творческая молодёжь.

Я страшно хотела поехать и даже пихнула Майкла под стол ногой, но, игнорируя сии страстные призывы, он разразился длинной тирадой. Смысл её был в том, что он ненавидит всяких бумагомарателей, а Ося не кто иной, как шут и м...к, и на вечеринках этих творятся разврат и б...о.

Развлечения развлечениями, а работу нужно было искать. Что это можно делать по интернету, о котором я имела весьма смутное представление, мне никто не подсказал. Машины не было. Теперь каждое утро, дежурно проводив мужа на работу, вооружённая бутылкой с замороженной водой и энтузиазмом, я отправлялась на поиски.

Несмотря на начало июня, было жарко. Влажность, бич здешнего климата, сводила с ума. Небо было свинцово-серым, неподвижным и тяжёлым. Как раскалённый уголь, оно лежало прямо на голове, и спасения не было. Идиллические картинки не радовали. Непахнувшие кусты казались вырезанными из картона, а я сама себе — Дороти из сказки «Волшебник Изумрудного города», идущей по бесконечно длинной песчаной дороге.

Я была полна решимости найти любую работу, лишь бы прекратились непрекращающиеся упреки. До ближайшего супермаркета нужно было идти километра четыре. Там же, на большой плазе, располагались закусочные, магазинчики, парикмахерские и кинотеатр. В каждом из этих мест я заполняла форму о приёме на работу. Мне улыбались, обещали позвонить, и ни разу никто не позвонил. Может быть, виной тому был плохой английский, или акцент, или я была недостаточно молода. Меня очень возмутило, что не взяли работать даже в Макдональдс, хотя на двери у них висело объявление о вакансиях.

Не взяли меня ни в магазин косметики, хотя я поняла все вопросы хозяйки и хорошо на них отвечала, широко улыбаясь и держась свободно, ни в пиццерию, ни контролёром в кинотеатр, ни кассиром в банк. За неделю я обошла все учреждения,

куда только могла пойти, очертив вокруг дома круг радиусом в километров пять. Эта неудача меня шокировала, раздавила и напугала. Хотя я жила в комфортном доме, ела досыта, развлекалась и не испытывала недостатка в одежде, мне казалось, что я живу одной ногой на улице, практически не отличаясь от нью-йоркских бездомных побирушек, и скоро могу разделить их судьбу — это лишь вопрос времени.

Скорее от отчаяния, не надеясь на положительный результат, я отправила свой учительский диплом в Мировой Центр Образования, даже в самых смелых мечтах не представляя, к каким последствиям приведёт сей шаг. Я просто методично отработывала любые возможности получить работу.

Адрес Центра пришёл ко мне какими-то извилистыми путями, случайно, и я могла бы не обратиться на него внимания, но обратила, и это вовремя зафиксированное внимание, как стрелочник, перевело вагончик моей судьбы на другие рельсы.

А пока я терпела гнев супруга, который бушевал, попрекая меня никчемностью, что, мол, я такая дура, что меня даже в Макдональдс не взяли работать. К моему счастью, он поделился своим негодованием с родственниками на очередной семейной вечеринке и подвергся беспощадной критике.

Они единодушно высказали одно и то же мнение:

— Макдональдс не спасение, нужно думать о перспективной или хотя бы приличной работе, необходимо учиться и овладеть какой-либо востребованной здесь специальностью.

Примером были новоприбывшие Влад и Лена. Они отказались от пособия, так называемого тут вэлфера, полагая, что лёгкие незаработанные, хоть и малые деньги их развратят, что, прикормленные, они разлентятся и никогда не вырвутся из полуншего существования.

Влад и Лена действовали по принципу, что, чтобы научиться плавать, нужно выпрыгнуть из лодки в самом глубоком месте. Это была дружная семья, и у них стоило поучиться, как, не жалуясь, на пределе сил, они оба закладывали фундамент будущего благополучия. По утрам Влад учился на компьютерных курсах, куда ездил в Вашингтон, вечером развозил пиццу в окрестностях.

Он же отвозил Лену вечером на занятия, где она училась на медсестру по забору крови, а утром работала в какой-то конторе, куда её устроила тётя Мирта по большому благу, где нужно было снимать с документов копии на ротапринте за зарплату четыре доллара в час.

Мы с Майклом съездили в то же заведение, где училась Лена, но ни одна медицинская специальность меня не привлекала. От вида плакатов с частями человеческого тела меня тошнило, и я не представляла, как смогу воткнуть иглу в чью-то вену. Обучение, к тому же, не гарантировало трудоустройства. Косметолог или маникюрша тоже не моя стихия. Перед компьютерами я испытывала смутное почтение и ужас.

Даже по окончании школы я не стояла перед таким мучительным выбором, кем быть.

Перспектива всю жизнь работать ради денег хоть где-то приводила в отчаяние. До пяти вечера

мучиться на нелюбимой работе, приходиться домой обессиленной, жить без радости и надежды — точно приключится какая-нибудь депрессия.

Я с тоской вспоминала счастливое время работы в газете — и творческий азарт, и активную жизнь, полную общения и впечатлений, и нашу весёлую компанию — это был тот вариант, когда работа становится частью жизни, хобби и призванием.

Работа вскоре нашлась. Всё в той же, судьбоносной Газете, которую я уже не прятала от мужа, поместили объявление, что требуются рабочие по фасовке на фабрику. Название фабрики — кошмарной копии российского предприятия, запрятанного в глубинке, стёрлось из памяти.

Теперь по утрам Майкл отвозил меня на какие-то задворки, где заканчивалась россыпь мармеладных домиков, а вдоль дороги валялись ржавые остовы машин, горы мусора, состоящие из обломков человеческого тщеславия и благополучия. Он выгружал меня возле длинного хмурого беззаконного сарая и, лихо развернувшись, уезжал.

О том, что это всё-таки Америка, напоминали машины, припаркованные на площадке перед входом. Цех выглядел как помещение для съёмки фильма ужасов — тёмный, мрачный и грязный, он был оснащён длинными деревянными столами, конвейером и завален ящиками с товаром. Принял меня на работу, почти не поднимая глаз от захламлённого стола, хмурый мужик с напыленными на мятый костюм наукавниками — любимым атрибутом российских бухгалтеров. Он лишь глянул на бумажку, уведомляющую, что такой-то разрешено официально трудиться, пододвинул для подписи заполненные им анкеты, буркнул, что платить будут пять долларов в час и махнул рукой в сторону цеха.

Так я стала постигать науку взвешивания смеси орешков и сухофруктов. Мне выдали весы, халат и косынку и поставили к рабочему столу. Менеджер, толстенный невысокий дядька с добрым лицом, спуску не давал никому — суетясь вокруг, руководя грузчиками и бесперебойной поставкой продукта, он следил, чтобы невольницы не отвлекались и не болтали друг с другом.

Время остановилось. Взмахи белых рук, как лезвия клинков, режут плотный, набитый пылью воздух. По конвейеру плывут серые трупчики мешочков. Нужно успеть схватить мятую тряпочку левой рукой, совком зачерпнуть смесь из стоящего справа ящика, брякнуть пакет на весы, отнять-добавить смеси, чтобы было ровно 18 унций, или 24, и бросить его на конвейер. В конце пути раздувшиеся пакетики ловили, ловко заклеивали и укладывали в ящики другие работницы.

Я чувствую, что эта фабрика — временная гавань моего корабля, который скоро отправится в большое плавание. После разговоров с коллегами становится страшно — многие вместе с мужьями работают здесь двадцать лет, со дня основания фабрики, кто-то — пятнадцать или десять лет. Зарплата их — восемь или десять долларов в час. Они страшно дорожат своей работой и боятся её потерять. По-английски знают только несколько ключевых слов, таких, как госпиталь, спасибо, пожалуйста.

Я в шоке. Стоило ли иммигрировать, терять родных и близких, чтобы вот так гнить на фабрике, с трудом зарабатывая деньги только на проживание, не позволяя себе ни развлечений, ни поездок? А если фабрика закроется? Что они будут делать, где работать? Моё предположение сбылось — к новому году функционировавшее двадцать лет предприятие перестало существовать, но об этом пока никто не знал.

В четыре часа звучит гонг. Долго ожидавшие этого мгновения рабыни Изауры, которые от усталости уже еле могут двигать руками и работают, привалившись животами к столам, поджимая под себя поочерёдно, как цапли, распухшие ноги, вздрагивают, как от удара хлыстом, и радостно бросают на конвейер последний пакет.

Долго бреду бесконечной дорогой до основного шоссе — там остановка автобуса. Пытаюсь в который раз осмыслить, почему я иммигрировала — я просто пыталась спастись от страха и неуверенности. В Белоруссии в 1992 году была тоска, почти голод. Предприятия закрывались, всё рушилось. С Юга, из Грузии и Чечни шли беженцы, русские бежали из Прибалтики. В продовольственных на полках стояли лишь банки с морской капустой. С Ним было спокойней. Растворившись в любви к Нему, я легче воспринимала действительность.

Как хорошо, что Он меня бросил!

С пересечением границы я попала в другой мир, который воспринимаю как-то мистически. Я не просто приехала в другую страну, я заново родилась, перейдя по узкому туннелю в Зазеркалье. И хотя приходится нелегко, мне интересно, как будто я играю в увлекательную игру с невидимым противником, и ощущение того, что по тому же туннелю можно вернуться обратно, придаёт сил.

Майкл недоволен, что зарплата моя всего 140 долларов в неделю — но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Он повеселел и ненадолго перестал вредничать.

Первую мою зарплату мы обмыли в том самолётно-военизированном ресторане, и муж был очень мил и щедр. Трогательно за мной ухаживая, объявил, что счёт у нас будет совместный, но банковскую карточку мне не закажем, в этом нет нужды. У меня есть всё необходимое для жизни и счастья.

— Правда, милая? — он пылливо буравил меня ледяными змеиными пуговками глаз.

— Правда, дорогой... — не дрогнув, я вынесла этот взгляд.

— Мы с тобой вместе, до гробовой доски?

— До гробовой доски... — эхом отзываюсь я...

До решающего интервью было ещё целых полгода.

Глава 12

Лестница в небо

Директивы спустили свыше. В Небесной Канцелярии решили, что хватит томить подопытную в закрытой банке и слегка приоткрыли крышку.

Решение проблемы было упаковано в два толстых конверта, опущенных, не иначе, как Ангелом, в почтовый ящик. В одном конверте был возвращён мой русский диплом. Там же покоилась

толстая пачка бумаг, украшенная объёмной гербовой печатью. Листы были испещрены названиями предметов, которые я когда-то постигала в педагогическом институте и — цифрами — скрупулёзным переводом русских учебных часов в американские кредиты. Заключительный, скромный листок бумаги возвещал, что его обладательница имеет Степень Бакалавра по обучению детей младших классов общеобразовательной школы.

С января мне предстояло начать учёбу в Городском Колледже. Директор отделения Начального Образования, доктор Фитцпатрик, с изумлением обнаружила в университетском дипломе будущей студентки такие дисциплины, как хирургия и основы машиностроения. Я пыталась ей объяснить, что в стране Советов в педагогических вузах существовала кафедра гражданской обороны, где будущие учителя изучали свойства удушающих газов, виды ранений и методы оказания первой помощи раненым — население держали в постоянной готовности к труду и обороне. Доктор американских педагогических наук осталась в глубоком недоумении, но, впечатлившись количеством часов, потраченных на изучение физического и психического развития детей, определила, что мне необходимо только пройти курс истории Американского Образования и два курса Методики Обучения.

Директорша была любезна, мила, держалась дружески. С любопытством, склонив голову набок, слушала корявую речь будущей студентки и часто помогала подобрать нужное слово. В бухгалтерии я подписала кучу бумаг, не задумываясь о том, что беру деньги в долг у банка под высокий процент и в дальнейшем долго не смогу расхлебаться с этим долгом, который вырастет в три раза. Так надо, значит, надо. Чтобы работать в школе, я должна взять эти чёртовы девять кредитов. Я должна иметь хорошую работу, чтобы выжить.

О том, что я никогда не работала в школе, я заставила забыть самоё себя и подробно рассказывала доверчивой директорше о методике преподавания в России и о своём личном опыте.

О том, что я смертельно боюсь идти работать в школу, я старалась не думать. Надо, значит, надо.

Всё, закончился самый унылый и тяжёлый период моей жизни. Я больше не буду себя чувствовать аутсайдером и иммигранткой, не буду больше ухаживать за старухами — не говорите мне, что это благородная работа, не хочу даже и слушать.

Я не буду больше работать на фабрике, точной копии фабрики из российской глубинки.

Я буду студенткой! Невероятно!

Мне даже стали сниться другие сны. В прежних я без конца приезжала в Задорск, но дома своего найти не могла. Тогда я шла к Маринке, но блудилась в каких-то новостройках, залезала в грязь, обходила котлованы и тоже никак не могла попасть к подруге.

Да, кстати, Маринкин вояж в Майами закончился бесславно — Дэвид самолично посадил её на самолёт до Москвы, дав ей в качестве утешения триста долларов и мою, благородно оставленную в шкафу, одежду.

Марина написала, что Он развёлся, жена его оказалась жуткой стервой и, воспользовавшись

случаем, сбежала за границу со старым и богатым австрийцем.

Мне Он тоже иногда снился, но издали, я не могла до него докричаться, не могла перепрыгнуть котлован, и он всегда уходил до того, как я успевала проснуться.

Теперь же я стала видеть какие-то космические сны. В них всегда присутствовала Земля, как планета, и космические светила. Так, во снах я взбиралась по обледеневшей лестнице прямо в небо, далеко внизу была чёрная, маленькая, круглая Земля, и я знала, что если не удержусь и полечу вниз, то разобьюсь. От ужаса я медленно, перебирая обледеневшие перекладины, ползла вверх и вверх, прямо к сияющим звёздам, и замирала от ужаса — что я буду там делать, в этой холодной глубине, среди космического безмолвия?

Иногда я качалась на качелях, которые взлетали так высоко, что носом я чуть не утыкалась в край Луны, и страшно боялась посмотреть вниз, на далёкие крыши домов и маленькую Землю.

Сны снами, а наяву я медленно продвигалась по наметившейся дороге — письмо из колледжа, извещавшее о том, что я принята на учёбу, отнесла в маленький особняк, в котором располагался Отдел Народного Образования. В Особняке работали одни чернокожие женщины, которые, казалось, изощрялись друг перед другом по части нарядов — они были одеты в розовые, салатные или жёлтые костюмы, у всех были сложные причёски и длинные наманикюренные ногти.

Бледнолицые интеллигентные училки, как серые мышки, скользили по коридорам и робко сидели у кабинетов на деревянных стульях, сжимаемая в руках пластиковые папки с документами. Хорошо, что я много общалась с Марией и немного начала понимать речь афроамериканцев, которые невнятно проговаривают слова и съедают окончания. Мой английский нарядные тётки тоже плохо понимали. Закоченев от обязательных улыбок и от натуги понять хоть что-то, я всё-таки умудрилась пройти все бюрократические процедуры вкупе с собеседованием, на котором подписала кучу бумаг и опять виртуозно врала о своём российском учительском опыте.

Той же зимой я начала учиться. Ещё в Нью-Йорке от Даши услышала выражение — брать кредиты, которое мне ни о чём не говорило, а только вызывало ассоциации со сленгом разведчиков — брать языка. То ли дело было там, в России — поступаешь в институт и ходишь на занятия, как на работу, с утра и почти до вечера — лекции, практические занятия, библиотека...

Работали единицы, только те, кому не могли помогать родители в виду абсолютной их бедности, в основном это были деревенские жители. Но они посильно поддерживали своих чад, высылая в город нехитрые гостинцы, плоды сельскохозяйственной деятельности.

В комнате общежития жило нас шестеро. Три девочки были деревенские, а три — городские. Когда низкорослые, крепкие и рассудительные Алла, Галя и Нина приносили в комнату очередную посылку — заклеенный сургучами и ошетиленный гвоздями деревянный ящик, то визгу, пisku и радости не было конца. Обдирая до крови

пальцы, мы по очереди сражались с ощерившейся гвоздями зубастой крышкой и извлекали из вкусно пахнущей стружки крупные, испачканные куриным помётом яйца, розоватое сало, липкую банку с мёдом и ароматный белый налив.

Скудный ужин — пшённая без масла каша или одиннадцатикопеечный творожок из продуктового заменялся на жирную сворчащую яичницу и жареную на сале картошку. В гости ложились голодные однокурсники, в качестве взноса к общему столу предлагая то запотевшую поллитровку, то бутылку креплёного вина.

Городским, то есть мне, Свете и Люде приходили денежные переводы, с которых, это была традиция, покупались билеты в кино для всей командной компании.

Иногда городские мамы присылали бедным дочечкам всякие пикантности — мандарины, шоколадные конфеты, домашнее печенье и батоны сухой колбасы.

Так вот, к разнице о системе образования... Пока российский студент методично, как на службу, пять лет ходит в институт, живя почти впроголодь и почти бесплатно в общежитии, получает стипендию и награждается в итоге дипломом, (во всяком случае, так было до моего отъезда), американский студент за этим самым дипломом может гоняться и два года, и восемь лет, в зависимости от материального состояния.

Если родители оплачивают чуждое обучение, питание и жизнь в кампусе, то есть в студенческом городке, то он упорно берёт эти самые кредиты, сокращая время обучения. В большинстве своём студент вынужден работать, а обучается по мере возможности. Для этого существуют утренние и вечерние классы. Три кредита — курс изучения какой-либо дисциплины, рассчитанный на три месяца, по одному трёхчасовому классу раз в неделю. Чтобы получить степень бакалавра учителя школы, нужно взять этих кредитов сто восемьдесят, к примеру, штук.

Так называемых групп и курсов не существует, обучаешься в разных командах, в разных комбинациях и сочетаниях одних и тех же студентов.

Как я боялась идти в колледж на самое первое занятие! К счастью, класс Истории Американского Образования вела сама миссис Фитцпатрик, к которой я немного привыкла и которая была мне симпатична. Ирландских корней, она была беловолосой, краснолицей, высокой, широкой в кости и напоминала отмытую и хорошо одетую деревенскую бабу. Директорша никогда не повышала голос, никуда не спешила и относилась к студентам по-матерински ласково.

Кроме этих достоинств, у неё имелся один существенный недостаток — миссис Фитцпатрик говорила витиевато, туманно и многозначительно. Монотонный голос её не делал ни пауз, ни остановок — он лился, ровно журчал и убаюкивал, вгоняя в сон. Она никогда не давала чёткого ответа даже на самый простой вопрос, и смысл её речей ускользал от моего сознания. После первого занятия, стыдясь, я спросила у одноклассницы, что же нам всё-таки задали на дом, я хочу проверить, правильно ли поняла, ведь мой английский... Девушка решительно перебила,

— У нас с английским всё в порядке, но мы сами не поняли, что нам задали и идём сейчас к ней в офис, уточнить.

На занятиях я потела, напрягалась, сжимала кулаки и приоткрывала рот, но из улетающих, как лёгкие облака, массы предложений вычленила лишь пару знакомых слов, которые болтались в пустом пространстве, не связанные ни с каким конкретным понятием. Я спешила пригвоздить карандашом к листу узанное слово, и брело оно по белой бумаге, как бедная овечка, не знаю откуда и куда...

Не лучше обстояло дело и с Методикой Преподавания, которую вела профессорша, похожая на воробушка — миссис Полански была ростом метр с кепкой, серые волосы заправляла за уши, одевалась в короткие юбки и была вся обвешана дизайнерской бижутерией. Вела она обычно занятия, сидя на столе и дрыгая ногами.

Речь её была сложной, быстрой и щедро пересыпанной профессиональными терминами. Безостановочно извергаемые слова струились и журчали, словно родниковая вода, делали всплески на поворотах и замирали на острых камнях.

На первом же занятии у меня разыгралась жестокая мигрень. Но, будучи единственной иностранкой, я прилагала в десять раз больше усилий, чем остальные — заданные для прочтения страницы чуть ли не выучивала наизусть, над сочинениями и планами уроков просиживала ночами. Не знаю, как я всё это выдержала — по натуре я ужасная соня. При полной напряжённости дня спать удавалось не более четырёх-пяти часов. Когда я занималась, то рядом с собой на стол ставила мисочки со льдом и с горячей водой и попеременно протирала лицо и слипающиеся глаза то горячей салфеткой, то льдом.

Постепенно туман рассеивался, среди затянутого тучами небосклона стали проглядывать чистые голубые участки, и наступил день, когда я вступила на твёрдую голубую гладь, сияющую и простирающуюся до самого горизонта.

Оказалось, что занятия совсем не сложные. Скорее, это было что-то вроде групповых игр, когда ставилась задача, и разрешалась она сообща. Задачи эти часто смешили меня, но к ним все относилось серьёзно, и я, развлекаясь, сохраняла серьёзную мину. По сравнению с тем, как нас мучали преподаватели Там, здесь учёба была сплошное удовольствие.

Оказалось, мне помогли давно забытые, но всплывшие в памяти знания, полученные в педагогическом институте и на практике в школе. К тому же я была в обеих группах самой старшей, и жизненный опыт, несомненно, помогал восприятию материала.

Параллельно с учёбой я стала работать в школах, так называемым учителем по вызову, и у меня был какой-никакой американский опыт, в то время как мои сокурсницы, девятнадцатилетние девочки, смертельно боялись войти в класс к школьникам.

Помню такое задание — Миссис Фитцпатрик предложила нам подумать, к какой группе мы себя причисляем, и подготовить маленькую презентацию. Группу можно выбирать по любому при-

знаку — этническому, семейному, социальному или религиозному.

Я определилась к группе иммигрантов и рассказывала, как постоянно себя неуверенно чувствую, как стесняюсь акцента, как ненавижу вопросы, откуда я и почему иммигрировала. Эти вопросы отделяют меня от остальных членов группы, заставляют почувствовать, что я не такая, как все.

Например, я хочу участвовать в общем разговоре о новых фильмах, или обсудить, кто лучше — Сандра Баллок или Джулия Робертс, но, стоит моим собеседникам услышать акцент, раздаётся сакраментальное «Откуда ты приехала и почему?»

Заводятся дурацкие разговоры о матрёшках, перестройке и причудах российских президентов.

— Правда ли, что пьяный Ельцин руководил немецким оркестром, и правда ли, что Хрущёв стоял по столу ботинком?..

Поэтому я всё больше молчу, хотя страдаю от недостатка общения.

Добрая миссис Фитцпатрик чуть не прослезилась и в дальнейшем вознесла бедную провинциалку на вершину американской карьеры, с которой я по доброй воле с гиканьем и свистом скатилась, как на санках с ледяной горы, и не смогла больше вскарабкаться на сверкающий Эверест. Но об этом позже.

Никто, кроме меня, не причислял себя к таким глобальным обществам, и с изумлением я, воспитанная на отказе от индивидуальности, выслушивала трогательные семейные истории и рассматривала детские фотографии выступавших. Студентки выбрали для себя группы — Семья, Я и Сестра, Я и Бойфренд.

Да, они чувствовали себя не членами общества, а островками индивидуальности и скользили по жизни в надёжных лодках, защищённых от волн святой верой в конституционные права, маминым яблочным пирогом, отчим домом и папиным счётом в банке.

В десять вечера, возбуждённые и обменивающиеся впечатлениями, мы укладывали папки, блокноты и книги в свои сумки. Через несколько минут происходила метаморфоза — сплочённый коллектив, будучи единым организмом в течение трёх часов, рассыпался, распадался на глазах, превращаясь во множество отдельных личностей.

Дистанция между особями увеличивалась, разговоры прекращались. Наверняка эта картина напоминает процесс деления амёбы — это незабываемое впечатление я вынесла из уроков химии. От круглого тела беспозвоночного начинают отходить щупальца, потом они отделяются от тела, скагиваются в шарик и уходят в самостоятельное плавание.

Через пять минут после окончания занятия в стеклянном холле здания оставалась одна я. Иногда мимо торопливым галопом проскакивал кто-то, уже почти неузнаваемый из-за отчуждённости, бросая на ходу:

— Си ю, — заместитель прощания Бай, которое нужно произносить неторопливо и нараспев.

«Си ю», — увидимся, и я выходила в пустоту ночи и топталась на освещённом пятачке, мишень для заблудившихся снежинок и собеседница для одинокой звезды.

Глава 13

Любовь и финансы

Теперь у меня был свой счёт в банке, и раз в месяц я оплачивала счета — за телефон, газ, свет, телевизор и компьютер. Набегало долларов триста пятьдесят, а летом, когда постоянно работал кондиционер, и все пятьсот. Платить не хотелось, но делать было нечего — уговор дороже денег. Чем хуже было моё настроение, тем лучше оно становилось у супруга — он откровенно радовался, что жена теперь ему приносит не убытки, а прибыль. Я же страдала — дамочловым мечом надо мной висел наш брачный контракт.

Получалось, что я плачу за дом, который не мой. Всё равно как если бы я снимала жильё.

Зачем я тогда вышла замуж, если мне от замужества нет никакой пользы? Ладно бы жили хорошо, а то — как на пороховой бочке. Получается, что у меня муж — не друг, не любовник, не содержатель, а так, одно от него беспокойство и неприязности. В то же самое время мне было стыдно перед самой собой за собственную мелочность — я всегда проповедовала женскую самостоятельность и равные права супругов. Когда я снимала комнату в Нью-Йорке, то платила за неё, не задумываясь, — это я в оправдание себе, что дело было не просто в жадности.

А тут — рука не поднималась выписать эти проклятые чеки. Я хмуро усаживалась за стол, а Майкл крутился рядом, довольно потирая руки и подхихкивая. Я молча выписывала чеки, укладывала их в конверты, приклеивала марки и пару-тройку часов приходила в себя от перенесённого стресса. Чаще всего я поднималась в спальню, ложилась на застеленную постель и тупо пялилась в телевизор, без чувств, мыслей и настроения.

Между делом я получила по почте тот самый Альманах. Редактор, Юрий Васильевич, долго смеялся, когда я ему живописала, как искала сборник в Вашингтонских арабских магазинах. Он оказался весёлым и остроумным, и разговаривать с ним было легко и просто. Дома вечером разразился скандал — я не стала прятать сборник, а показала его супругу. Чёрный от злости, Майкл шипел

— Так ты звонишь тут мужикам каким-то, пока я на работе...

— Не каким-то, а редактору. А что, я должна была спросить твоего разрешения, чтобы позвонить?

— Конечно! Узнаю, что ты за моей спиной тут шуры-муры разводишь, выгоню. Можешь сразу вещи собирать.

Я горько рыдала, но Майкл был неумолим — он взял с меня слово, что продолжать знакомство я не буду, и ни на какую встречу он меня не отпускает, и вместе тоже не пойдём. Глупости это. Если я нарушу приказ, то он не пойдёт на интервью в иммиграционный офис.

Время шло, незаметно наступила дата второго интервью, которого я так ждала и боялась. Это значило, что пришло время получить легальный статус со всеми вытекающими отсюда привилегиями — постоянным правом на работу, возможностью путешествовать, учиться, занимать деньги у банков и пользоваться, при необходимости,

социальными программами. Майкл грустно шутил, что как только я пройду собеседование, то сразу же сделаю ноги, я его уверяла, что нет, не сделаю или не сразу. Немедленное бегство казалось некрасивым и нечестным, это бы обнародовало моё теперешнее притворство, в котором я не хотела публично признаваться — ведь вышла же я замуж, как считала, навеки. К тому же к своей теперешней жизни я вполне приспособилась — меня серьёзно увлекла учёба в колледже и работа в школе. Майкл часто бывал милым и трогательным. Иногда он признавался, что сам устал от собственного несносного характера, а со мной он стал добрее и терпимее и просил не оставлять его.

Добрая миссис Фитцпатрик отселила непутёвую ассистентку, от греха подальше, в кабинет секретарши, где я часами сортировала папки и личные дела студентов, чихая от пыли и поминутно сверяясь с с алфавитом, написанным для меня невозмутимой секретаршей.

Мария, старая дева и кошатница, ловко управлялась с двумя телефонами, факсом и компьютером. Иногда она выныривала из виртуального мира и гортанно, полувнятно, используя непонятные термины, клокотала о проделках и привычках своих семи кошек. Я нечаянно и незаслуженно завоевала её расположение, явившись на работу в блузке, усеянной изображениями милых сердцу Марии животных. Однажды, оставшись в кабинете одна, я воровато отыскала собственное личное дело и, чувствуя себя шпионкой, крадущей секретную информацию, с громко бьющимся сердцем прочла: «Контактна, вежлива, адекватна. Хорошие манеры. Самокритична. Обладает здравым смыслом и творческим потенциалом. По-английски говорит плохо, но очень старается. Считаю возможным зачислить её на курс».

Пока я осваивалась в новых для себя ролях студентки и учительницы, родственники времени тоже даром не теряли. Люда и Гари купили совместный дом и поженились. С короткими промежутками мы гуляли новоселье и свадьбу. Робкая и запуганная в Майами, здесь Люда стремительно менялась. Хочется сравнить её с растением, стебелёк которого плотно закручен в неблагоприятных условиях, а пересаженный на благодатную почву, начинает расправляться, наливаясь силой, выстреливать в стороны упругими листочками и пускать корни. Перейдя из эмбриозной замороженной стадии в стадию выживания, она включила всё обаяние, чтобы охмурить доверчивого Гари — лампочками засияли сливовые глаза, засверкали в милых улыбках белоснежные зубы. Люда была само очарование — трогательно заботилась о муже, стоически переносила свекровье любопытство и никак не ограничивала общение Гари с сыном.

Стадия очарования всех и вся перешла в стадию подчинения и властвования. Как спрут щупальцами, Люда опутала окружающих сложной иерархией отношений. Будучи в Майами для неё подружкой и единственным человеком, могущим её утешить, выслушать и помочь, теперь я переместилась на последнюю по значимости для неё ступень. И хотя она была доброжелательна и мила, но

всё чаще я чувствовала её железную волю, лишённую сантиментов, разгадывала её игру и отношения наши стали отстранённо-официальными.

Гари был влюблён до умопомрачения. Подруга оградила его от решения всех житейских проблем, а ему только и нужно было, чтобы все его оставили в покое — он буквально жил в виртуальном мире и ценил жену за созданные ею покой и комфорт, не замечая, что она беззастенчиво пользуется его доверием. Люда ловко ограничила влияние свекрови на любимого сыночка, вызволила из российского плена родителей и семью брата, виртуозно прекратила посещения мужем бывшей семьи и вынашивала план, как свести к минимуму общение Гари с сыном.

Свадьбу играли в русском ресторане Вашингтона. На церемонию венчания в церкви мы с Майклом не поехали. Еврейские тётушки давно смирились с тем, что все их сыновья были женаты на русских — как утверждает поверие, такие браки самые крепкие, если только наш с Майклом союз не пошатнул их веру в данное утверждение.

Муж мой к тому времени успел перессориться почти со всей роднёй. С тётёй Миртой он поссорился из-за меня. Как-то она позвонила и пригласила нас на концерт Лаймы Вайкуле, так как у неё пропадало два билета. Майкл с возмущением приглашение отверг, заявив в своей обычной безапелляционной манере, что на концерты блудливых коз он не ходил в Москве и тем более не пойдёт в Америке. Мы с тётёй Миртой обиделись за певицу — перед отъездом я рыдала над её песней «Мой последний Адам», ощущая себя старой и никому не нужной. Может быть, эта песня была одним из факторов, которые помогли мне осуществить неосуществимое — без денег, связей и еврейского паспорта уехать из страны, чтобы найти этого самого Адама...

Когда наша защита потерпела сокрушительный крах, и мы были обвинены в плохом вкусе и глупости, началась битва за мою свободу. Но даже с собственной тётёй он меня на концерт не отпустил. Чувствуя поддержку, я вопила о правах, о его жестокости — ну, что плохого, если глупая жена немного развлечётся, ей ведь нужны отдых, эмоции и впечатления. Тётя Мирта возмущалась диким нравами племянника, на что племянник посоветовал ей не лезть в нашу семью, намекая, что она абсолютно потеряла влияние на сына Гари с тех пор, как тот связался с Людой, то есть наступил на её большую мозоль, и бросил трубку.

Накануне Майкл всмерть разругался с Владом и Леной.

У нью-йорских родственников также были перемены. Весёлая тётушка Майкла, певица и тусовщица Алёна, украшенная буйными кудрями и увесистым носом, вдруг заделалась рьяной баптисткой.

Не раз я наблюдала такие удивительные вещи, как евреи ударялись в христианство, а православные шли в синагогу или в мечеть. Не лучше ли верить в единого Бога, в мировой разум, отказаться от распрей на религиозные темы? Все читали, надеюсь, «Розу Мира» Даниила Андреева...

Странно, что идеи единой религии и мировой гармонии не приживаются, людям более

свойственно воевать друг с другом и находить врагов.

Накануне нас навещала Алёна с весьма конкретной практической задачей — ей нужно было заручиться согласием племянника на то, что якобы она проживает по нашему адресу — страховка на машину в пригородах Вашингтона была гораздо меньше, чем в Нью-Йорке. Алёна приехала вечером, я ей была очень рада, но в оживлённом разговоре почти не могла принять участия. Алёна и Майкл ожесточённо спорили о религии, причём о различиях в Писании и об особенностях баптизма. Выпивоха Алёна отказалась от алкоголя совершенно, убеждая, что лучше совсем не пить, чем нечаянно перебрать.

Майкл же доказывал, что без питья никак не обойтись, нужно только знать норму, и к чему уж совсем превращаться в ханжу, отказываясь от мирских радостей?

Сексуальная тётюшка, менявшая прежде любовников, как перчатки, извлекла из сумочки косынку, белую в крапинку, повязала её и кокетливо спросила:

— Ну как я, хороша?

Из-под косынки монахини сверкали блудливые глазщицы, малиновый рот, растянутый в сверкающей улыбке, открывал крупные влажные жемчужные зубы.

Алёна собиралась сделать пластическую операцию по приведению еврейского носа к классическим канонам. Майкл кипятился. Он уличал тётюшку в лукавстве,

— Ты же верующая. От блуда отказалась. Зачем тебе другой нос? Ты и так хороша, а будешь ещё лучше, мужиков в соблазн вводить не надоело?

Тётюшка ловко парировала:

— Хочу быть совершенной перед лицом Господа нашего.

Я икала, потела, но встрять в беседу никак не могла — высказывания обеих сторон мне казались чересчур экстремальными. Пока я обдумывала свою позицию, было уже поздно высказываться — спор стремительно, как шустрая бабочка, перепархивал на другую тему. Причём было непонятно, насколько серьёзна Алёна — кокетничает ли она, играя роль баптистки, или искренне пришла к вере. Я пригубливая вино и незаметно для себя напилась, явив для спора живую иллюстрацию того, что с нормой можно ошибиться. Алёна принесла новость, что её сын Вадик наконец-то разошёлся с Галкой, которая никак ему в жёны не годилась, потому что фотограф, а что это за профессия для девушки, и ещё она была старше её сына и вообще он нашёл другую, хозяйственную еврейскую девушку вот с такими ногами! Сквозь пьяное забытё слышала, как Майкл говорил:

— Ты уж определись, что для тебя главнее — хозяйственность невестки или её еврейство, а уж к чему тут длинные ноги, не понимаю. Ты теперь у нас верующая, должна на душу внимание обращать, а не на ноги.

— Ах, Майкл, вечно ты придираешься! Всё важно — и душа, и ноги.

Проваливаясь в беспамятство, я ещё подумала: чем их не устраивали Галкины душа и ноги. По-моему, с ними было всё в порядке.

Оказалось, что Галка беременна, и возлюбленный объявил ей о разрыве в тот момент, когда она известила его о будущем отцовстве. Верный, покладистый Вадим мигом заявил, что как раз хотел ей сообщить, что её не любит, просто он не решался раньше сказать об этом, и жить с нелюбимой женщиной не может. В тот же вечер он собрал вещи и ушёл к маме, в светлую квартиру на берегу океана, оставив беременную неработающую подругу в съёмной квартире.

Глава 14

Разрыв

Наступила короткая, быстрая весна. Зимы штата Дистрик Коламбия невыразительны и бесснежны. Сырые и ветреные, они почему-то кажутся очень холодными, хотя температура редко опускается ниже нуля.

Погодную сводку в Америке слушают так, как в годы войны россияне слушали сводки с фронта. Лёд, снегопад — катастрофа. Процент сорок работающего люда не едут на службу. Хотя, конечно, понятно — дороги здесь гладенькие, скользкие, при малейшей непогоде большой риск попасть в аварию.

Снег здесь, чтобы оправдать свою редкость, выпадает мощно и превращает наш цивилизный городок в некоторое подобие затерянной на краю света Деревни. Однажды в такой снегопад дом наш завалило по самую крышу, Майкл звонил братьям, и те приехали с огромными деревянными лопатами и несколько часов потратили на то, чтобы прокопать дорожку к двери и расчистить крыльцо.

Сколько лет прошло, а я помню остановившееся время, абсолютную тишину и нестерпимую вокруг белизну. Это было великолепное, незабываемое ощущение. Возможно, если бы снежный плен продлился чуть дольше, меня бы охватила паника — не очень приятно оказаться в ловушке и зависеть от того, хватит ли продуктов до того момента, когда придёт оттепель. В той ситуации были новые ощущения — покоя и радости. Наверное, единственное, что я вспоминаю с грустью за четыре года своего пребывания в замужестве — эти пару снежных светлых часов.

Родственники в это время бурно обсуждали ситуацию с Вадимом и Галкой и разделились на два противоборствующих лагеря. Одни радовались за Вадима, что он наконец-то одумался и порвал с богемной особой, другие осуждали Вадима за подлость. Майкл относился к первым, я ко вторым. Это происшествие и было той самой лакмусовой бумажкой, которая проявила все язвы нашего брака. Я как с цепи сорвалась — ведь воевала не за себя, а высказывала своё мнение в частности, и Майкл не мог подавить меня никакими ни запретами, ни условиями — мы же ведь говорили не о себе. Почти каждый день мы ругались — я с пеной у рта доказывала, что Вадим негодяй.

Майкл защищал всех мужчин, я защищала всех женщин. Я стала без конца звонить Галке по телефону, впервые начав на запреты мужа.

— Я должна её поддержать! Это подло, вот так все бросили человека в беде! И потом — какое твоё дело, за телефон ведь не ты платишь!

Мы с Майклом почему-то постоянно обсуждали эту тему, уставали от споров, но упрямо стояли каждый на своём.

Во второй раз подбираюсь к началу своей главы.

Итак, была весна. В одну из суббот, устав сидеть дома, мы пошли прогуляться в лес и нечаянно углубились в самую чащу, туда, где закончили посыпанные песком дорожки, а из-за поворотов уже не показывались крыши и колонны особняков.

Сейчас Лес уже не казался декоративным антуражем, он был частью дикой, непричёсанной человеком природы. Деревья неожиданно выпрямились и выросли, и почти закрывали небо сплетёнными ветвями, покрытыми рыжими, не сгнившими за зиму листьями. Мы с трудом следовали за петляющей, уводящей нас в заросли колючих, раскоряченных кустов с цепкими чёрными ветками, тропинкой. Почки на деревьях ещё не показались, и лес был глух, мрачен и враждебен.

Беседа не клеилась. О чём бы мы ни начинали разговаривать, мы тут же сбивались на ссору. Просто удивительно, насколько у нас были разные взгляды. Странно, что в тот день разногласия наши не заканчивались ни оскорблениями, ни агрессией со стороны Майкла. Мы действительно пытались достучаться друг до друга, но не могли.

Нам даже неловко было на этой узкой лесной тропинке, как будто мы абсолютно чужие, ненужные друг другу люди, которых обстоятельства вынудили провести совместно какое-то время. И ты маешься, изнываешь от скуки и неловкости, и пытаешься найти темы для разговора с неинтересным тебе человеком, а время, как назло, застряло, зависло, загучало в висках тяжёлым молотом. Лес обострил восприятия — тут нельзя было спрятаться ни за телевизором, ни за книгой.

И вдруг Майкл, как бы спохватившись, что мы всё таки муж и жена, а не случайные попутчики, вынужденные блюсти вежливость, завёлся, взяв на вооружение мою несущественную, давно забытую и прощённую провинность. Словно нащупав твёрдую почву, он раскраснелся, оживился и стал с упоением отчитывать меня, укорять и ругать.

Я долго молчала, слушая его, не возражала и не раздражалась. Затем автоматически, независимо от моей воли мой рот произнёс:

— Ты знаешь, я так устала. Наверное, будет лучше, если мы разойдёмся.

Так же тихо и серьёзно муж эхом отозвался:

— Да, наверное...

Реальность мгновенно изменилось — словно кто-то острым ножом одним махом разрубил ту невидимую, слабо соединяющую нас ниточку. Рядом шёл настолько чужой человек, что я стала даже ощущать его запах, и запах этот был враждебный. В то же время стало как-то пусто и легко. Я чувствовала себя как заполненный гелием воздушный шарик — бездомной и свободной.

Майкл замолчал, словно выключенное радио, перестал хамить и язвить, и углубился в себя... Молча, мы вернулись в уже чужой для меня дом. Я поднялась в спальню и бездушно, словно робот, стала собирать вещи. Майкл потоптался у порога спальни и буркнул, что поедет к супермаркету, подобрать пустые картонные коробки для моего

имущества. Странно, но впервые за все эти годы он вёл себя по-человечески.

На ночь я устроилась на первом этаже, в гостиной на диване, и всю ночь не спала — было и страшно, и радостно. Опять всё сначала. Сквозь плохо закрытые жалюзи сочился серебристый лунный свет и лужицами плескался на ковре. По стенам многорукими чудовищами двигались тени от деревьев. Фары проезжающих машин скользили по комнате, высвечивая из темноты то стоящий на подставке и напоминающий застывшего оленя киборд, то фотографию, где мы с Майклом, счастливые, крепко обнявшись, со смехом всматриваемся вперёд, в будущее, которое не смогли построить.

Постепенно углы гостиной утонули в абсолютной темноте, а центр комнаты почему-то высветился, и я таращилась на этот освещённый кусочек ковра, как на пустую сцену. Внезапно мне почувнилось, что диван мой поднялся вверх и застрял, покачиваясь, в космической пустоте. А вокруг тишина и холод.

Вдруг в лицо мне ткнулось что-то мягкое и тёплое. Муся, бедная моя Муся, что же мне с тобой делать?

И тут я заплакала.

(Мусю, маленького серенького котёнка, Майкл подарил мне на день рождения три года назад. Кастрированная Муся растолстела, но не утратила игривых повадок. Она любила бегать за мухами и прятать под ковёр мелкие вещи- монеты, заколки для волос, сброшенные со стола ложечки и конверты).

Уже на следующий день к вечеру Майкл отвёз меня в дом к Люде и Гари. Словно устыдившись вчерашнего благородства, он целый день тщательно следил, чтобы я не взяла ничего из его вещей. Когда он отвлекался на туалет, то потом проверял — не стырила ли я за время его отсутствия что-нибудь, и бегал к книжным полкам проверять — все ли книги на месте?

Сама я, тем не менее, погубила невинную душу Муси. Дело в том, что Люда категорически заявила, что кошке в её доме не место, хотя у неё самой была кошечка. Майкл отказался оставить Мусю у себя, сказав, что не потерпит никакого напоминания обо мне. На выручку пришла Валя, моя приятельница. Она согласилась забрать Мусю, тем более, что дочка её давно просила котика. Муся в доме у Вали не прижилась, ушла в подполье, в полном смысле этого слова.

Валя мне больше не звонила, и я ей тоже. Я только надеялась, что Муся ушла на улицу, и живёт в саду, под розовым кустом, ловит мушкет и птичек. Так моя свобода обернулась трагедией для Божьей твари.

Глава 15

Пленница пустого дома

Люда обладала замечательным достоинством — она была хорошим товарищем в полном смысле этого слова. Да, она без стеснения пользовалась знакомствами, вычисляла, какую пользу может принести тот или иной человек. В то же время

она сама была готова оказать посильную помощь попавшим в затруднительные ситуации друзьям и знакомым.

Итак, я переехала к Люде, которая предложила пожить у неё, пока я не определюсь, что же делать дальше. Она заявила:

— Я тебе его подсунула, я и помогу тебе выбраться из этого дерьма.

В дальнейшем мы не обсуждали ничего из моей замужней жизни, всё случилось так, как случилось, и жевать сопли было ни к чему.

Гари не возражал — он во всём соглашался с женой. Моё пребывание в доме не изменило их привычного распорядка — я мышкой сидела в отведённой мне комнате, заходить в спальню гостеприимных хозяев и в кабинет, когда там работал Гари, было негласным табу, которое я и не думала нарушать. Люда и Гари много работали, у них обоих был ненормированный рабочий день, и каждый жил по собственному распорядку. Возвращались они поздно, и я опять таки не высывалась из комнаты, лишь по тихим звукам, доносящимся из-за стен, догадываясь о наличии в доме живых людей. Мне был выдан ключ от противостественно чистого, практически пустовавшего дома, по которому я ходила на цыпочках, маниакально уничтожая следы своего здесь пребывания и панически боясь что-нибудь испортить или испачкать.

Так, гостиницей я не пользовалась — она предназначалась только для просмотра телевизора, и в ней было неуютно, несмотря на тщательно продуманный интерьер. Посреди огромного пространства на сверкающем, напоминающем каток полу томился квадрат персидского ковра, вделанный в стену огромный экран телевизора отражал дизайнерский диван красной кожи у противоположной стены. На диване ровной шеренгой были выстроены шёлковые подушки, а на стеклянном низком столике стояло декоративное блюдо. В гостинице было так чисто, пусто и скучно, что казалось кощунством забраться на диван с ногами, укрыться пледом и жевать к тому же чипсы или орехи. А чинно сидеть было неинтересно, да и жутковато — справа за стеклянной стеной копошились тени ещё дикого, неухоженного сада, а слева открывалось необозримое пространство столовой и далёкой, погружённой во мрак кухни.

Когда хозяев не было дома, я заходила в кабинет и набирала для себя книг с полок, тянувшихся вдоль всей стены. Кабинет мне нравился, в нём я испытывала нечто вроде священного трепета и немного завидовала — будет ли у меня когда-нибудь такое место, где будет так хорошо и уютно отдыхать и работать?

Комната была большой и светлой, в центре её на столе светлого дерева стоял компьютер, лежали папки с бумагами. На полках красовались горшочки с цветами, мелкие статуэтки, на кожаном чёрном диване лежал клетчатый плед. Выходить отсюда не хотелось. Я брала книги и тихонько, как будто меня могли видеть и слышать, прикрывала за собой дверь.

Комнатка, куда меня поселили, была маленькой и полупустой. Для меня из гаража принесли раскладную кровать, поставили на пол лампу. Сумки

с вещами стояли в подвале, и, переобувшись у лестницы, ведущей вниз, в специальные тапки, я спускалась в подвал и отыскивала нужную вещь.

Был май, школьный год заканчивался в двадцатых числах июня, предстояло доработать до каникул и попутно решать свои проблемы — где жить.

К счастью, до школы я могла дойти пешком. Это была утомительная, долгая дорога длиною ровно в час. По злой иронии судьбы работники транспорта объявили забастовку, и автобусы не ходили.

После работы время путешествия увеличилось до полутора часов, и возвращалась я вся мокрая от пота, с разламывающейся от боли головой и с распухшими ногами.

Вернувшись в своё временное пристанище, уединённо стоявшее в лесу, я оказывалась его пленницей и до поздней ночи слонялась по дому, думала о дальнейшей жизни, просматривала в газетах объявления о сдаче квартир и о продажах машин.

Нужно было думать о покупке машины, но никаких накоплений у меня не было, к тому же отпуск мой не оплачивался — учитель на замену не имеет никаких льгот. Нужно было учиться водить и сдавать на права — без машины в отдалённые места я добраться не могла, и поэтому ставилась под сомнение возможность работать. Теперь нельзя было и думать о том, чтобы сдать на права — отсюда я просто не могла добраться до нужных мест.

Я сто раз проклинала Майкла, что он не позволил мне учиться водить машину. Нужно было искать для себя подходящую квартирку — небольшую и недорогую, желательно студию. Часами я обзванивала домовладельцев, но сдавались только целиком дома, или этажи, или квартиры в так называемых таунхаусах — типовых двух или трёхэтажных домах. Студий не было, и в этих местах не было практики делить квартиру с румейтами, то есть с незнакомыми людьми, которые становятся твоими соседями на долгое время и жить приходится в подобии советской коммуналки.

Постепенно пришло понимание, что из лесу нужно выбираться — тут мне не выжить.

В Вашингтон перебираться тоже не хотелось — в центре жить было очень дорого, а окраины, оккупированные чернокожим населением, выглядели устрашающе. В Вашингтоне белого населения всего двадцать процентов, и соответственно, в публичных школах в основном одни чёрные ребята, с которыми я работать категорически не хотела.

Как я уже упоминала, уйдя от Майкла, я сразу же выпала из обоймы родственников и осталась в полном одиночестве. Вспомнилась старая песня «Отряд не заметил потери бойца, и Яблочко песню допел до конца».

Что-то похожее произошло и сейчас. Майкл принадлежит Семье. Как бы хорошо члены Семьи ни относились ко мне, но я существовала для них только в связке с Майклом. Никто не хотел лишних проблем, все слишком заняты собой. Мне не позвонили — ни тётки, ни даже Лена, с которой, я думала, у нас была симпатия и дружеские отношения. Почти каждый выходной родственники собирались — то отмечать чей-либо день рождения,

то крестины, то поминки, то обмывали покупку нового дома, то получение новой работы. Люда не любила эти сборища, как не любила никого из родственников мужа, но, чтобы не обижать Гари и не отлучаться от стада, не игнорировала приглашения. Когда она прикрывалась работой, то тётушки тут же начинали громко возмущаться и теревить Гари. Итак, по вечерам в пятницу или в субботу они уезжали в гости, а я оставалась одна.

Как призрак замка, бродила я по огромному пустому дому, не зная, куда спрятаться и чем себя занять. В гостиной было пусто и холодно — на всю катушку работал кондиционер. Притаившись у стены, я сквозь щели в жалюзи подсматривала за жизнью парка. Снаружи было страшно — чёрные деревья вплотную подступали к дому, в чёрном омуте неба плавала, как попавшаяся в сети рыбка, серебряная луна. Утробно ухали зловещие существа — не то звери, не то птицы.

Почему-то на цыпочках, мимо столовой, в которой длинный овальный стол окружали стулья с высокими ажурными спинками, я прокрадывалась в кухню, всю блестяще-белую, сверкающую металлом и пластиком, и включала свет. И здесь я не чувствовала себя покойно и уютно — в стене кухни было пробито окно, выходящее в столовую, а там, в свою очередь, было окно в гостиную. Безжалостно яркий свет то ли кухни, то ли медицинской лаборатории забрасывал длинные щупальца через эти окна и скупо освещал огромные пространства, в углах которых притаились тени. Дом был населён тенями, и мне не было в нём места.

Притулившись на неудобном белом табурете, я торопливо выпивала чашку чаю, делала бутерброд, тщательно уничтожала следы жизнедеятельности — капельку на столе, точечку на плите, след от тапка на идеально чистом белом полу, и скрывалась в маленькой полупустой детской.

Там я плотно закрывала двери, укладывалась на кровать-раскладушку, открывала книгу и думала. Не читалось. Сквозь узкие щёлочки жалюзи сочилась густая чернота ночи, под белой дверью слышалась опасность тёмная щель. Из-под лампы вырывался жёлтый круг, и я вся старалась втиснуться, уместиться в этот кусочек тепла и света.

Лежание не приносило кайфа — я не расслаблялась, а просто убивала время, ждала, как ждут в зале ожидания опаздывающий поезд.

Эта ситуация удивительно походила на ту, шестилетней давности, когда в Майамском доме я так же слонялась, в ожидании развития событий и будучи в полном неведении относительно дальнейшей своей судьбы.

Всё движется по кругу — то я лежала на диване в панельном доме города Задорска, оплакивая предательство друга и не представляя себе жизни без него, то в Майамском стеклянном доме смотрела сквозь стену на сад, пытаясь увидеть там будущее, то коротала время и торопила его, сидя у постелей старух. Четырёхлетний период жизни у Майкла превратился для меня теперь в одно мгновение, и снова и снова я возвращалась к исходной точке — зависала в пространстве без прошлого и будущего.

— Спрошу у зеркала, где муть и сон туманящий. Спрошу у зеркала где путь, и где пристанище...

Опять почему-то хотелось есть. На цыпочках по тёмной лестнице я спускалась вниз и, стараясь не смотреть по сторонам, торопливо делала бутерброд, заворачивала его в салфетку и, крадучись, возвращалась под спасительный жёлтый круг лампы. Когда во входной двери поворачивался ключ, я выключала свет и затихала до утра.

Глава 16

Призрак из прошлого

Однажды синим тусклым вечером, обманчиво обещающим прохладу, в тишине пустого дома раздался звонок. Трубку я не поднимала — много было сообщений для Люды и Гари. Наконец раздался голос. Мужской и смутно знакомый. Голос, запинаясь, медленно, как бы сомневаясь, что его услышат и поймут, произносил:

— Добрый день. Меня зовут Влад. Я привёз для Клавды посылку из Задорска. Мой телефон...

Я подняла трубку и внезапно севшим голосом произнесла:

— Аллё...

Это был Он, бывший возлюбленный, предавший и бросивший меня в самый неожиданный и неподходящий момент. Это был Он, который дал мне толчок начать новую жизнь, чтобы не умереть.

Я заранее приехала в Вашингтон и с трудом нашла свободный столик в переполненном кафе. Небо было серо-свинцовым от переполнявшей его влаги. Раскалённым брюхом оно утюжило тротуар, от которого поднимался пар. Фигуры прохожих дрожали и двоились в знойном киселе и казались миражами.

В кафе всю работу выполнял кондиционер. Кучки молодёжи оккупировали диваны, оттуда доносились взрывы хохота и громкие голоса. Парочка геев секретничала за круглым столом, не обращая на окружающих никакого внимания, одинокие дамы слишком сосредоточенно смотрели в газеты, сидя, как куры на жёрдочках, на высоких табуретах у окна.

Я с трудом втиснулась за низкий угловой столик на двоих и заказала себе бокал белого вина, бутылку пепси и бутерброд, который оказался огромным и был помпезно, в окружении салатных листьев, уложен на блюде. В этом была моя маленькая хитрость, не от доброты душевной, а во избежание конфуза и неловкости. Как у новоявленного безработного иммигранта, у него, конечно, не было денег и наверняка он не позволяет себе тратить на бутерброд десять долларов. В этом кафе назначила встречу я — он ещё очень плохо ориентировался, и я беспокоилась, найдёт ли он вообще это место. Мобильных телефонов у нас не было.

Я вспоминала, как шесть лет назад он кричал мне в лицо:

— Я не обязан на тебе жениться! Я тебе ничего не обещаю!

До сих пор стыдно за ту безобразную сцену. Кипя от обиды, горя, растерянности и переполненная справедливым негодованием, на следующий день я позвонила в его квартиру — жаждала выяснения отношений. Детали беседы стёрлись из памяти. Он был растерян. Прикрыв дверь, объяснялся на лестничной площадке громким шёпотом

и в конце сорвался на крик. Прибежала какая-то дамочка и, привставая на цыпочки, выглядывала из-за его плеча, испуганно бормоча:

— Успокойся, Влад, успокойся! Не разговаривай с ней. Пошли...

То, что я беременна, сказать я не успела, да это было и ни к чему — зачем? Тогда я молча развернулась и пошла вниз по лестнице.

Зачем-то он бежал за мной и кричал:

— Клава, Клава, стой!

На пороге подъезда его решимость закончилась, и, потоптавшись на снегу в носках, он скрылся в подъезде. Захлопнувшись за ним дверь отрезала от меня счастливое время, уже ставшее прошлым.

В сияющей лодке уплыли в небеса наши посиделки в задымленной редакции, походы в театр, совместные ужины — а я осталась одна в синем, промёрзшем от мороза и укутанном снегом городе. Чтобы совершенно оторвать от себя любое сожаление и воспоминание, я послала ему посылку без записки, в которую упаковала злобно порванные на куски все наши совместные фотографии и его подарки. Досталось даже ни в чём не повинным чёрным французским колготкам, обрывки которых особенно зловеще смотрелись в куче мусора и осколков.

Да, конечно, он не обещал жениться. Наверное, я была влюблённая дура и не могла оценить наши отношения. Мне казалось, что я ему нужна. А я была коллегой и удобной подругой — заботливой и безотказной. Он вообще по жизни шёл с лёгкостью. Шутя, писал статьи, легко сходился с людьми и легко их забывал.

Он жил в водовороте встреч, событий, в паузине слов и клубах сигаретного дыма. Он никогда не носил курток, и даже в морозы ходил с непокрытой головой и в длинном чёрном пальто. Ах, это длинное чёрное пальто! До сих пор я вздрагиваю, увидев мужчину, одетого так, как призрак из прошлого.

Я смутно помню, смутно помню
Улыбку грустную, но чью?
Пальто крылом чертило чёрным
Судьбу чужую, не мою...

Когда он вошёл, я приканчивала второй бокал вина. Бутерброд лежал нетронутым. Не торопясь обнаруживать своё присутствие, я рассматривала его, пока он, застыв у порога, крутил головой, пытаясь найти меня в кишашей и гомоющей толпе.

Я смотрела на него сквозь шесть лет разлуки, сквозь свой жестокий иммигрантский опыт. Шесть лет я не заходила в прокуренную редакцию, не видела нашу Задорскую знаменитую каланчу — источник вдохновения местных художников и поэтов. Шесть лет я мечтала о снежной зиме и ещё больше — пройти пешком от своего дома до Каланчи, ощупывая ногой каждый камень и улыбаясь каждому встречному фонарю.

Эта память была свёрнута в кулёк в моём сердце, в кулёк с острыми углами, которые царапали, ранили и саднили. Но стоящий у двери молодой высокий и привлекательный мужчина не имел ничего общего с этой памятью.

Между нами лежал океан, росли пальмы Майами, торчали небоскрёбы Нью-Йорка, и это даже стало серьёзнее, чем наш нерождённый ребёнок.

Я окликнула его и заказала третий бокал вина для себя и виски с содовой для него. Там для меня он был эталоном мужской красоты и интеллигентности — в нём было что-то аристократическое. Сейчас я видела нервного, подавленного, излишне светливого человека. И провинциального. Не знаю, в чём это заключается, не могу даже описать свои впечатления, но он был глубоко провинциален. В жару на нём были глухие серые брюки, тенниска в полоску и старые кроссовки. Он был напуган и растерян, хотя хорохорился и оттого выглядел жалко. Я вспомнила, как в Майами Дэвида раздражала моя растерянность. Сейчас меня раздражало явное несоответствие окружающему моему бывшему возлюбленного. Может, к моему тогдашнему поклонению примешивалась толика тщеславия — ведь он был успешен, талантлив и уверен в себе.

Сейчас ему предстоял долгий путь к себе, а у меня не было сил быть даже попутчиком для той дороги, которую я почти уже прошла, и у меня не было к нему сочувствия.

Он пытался шутить, называл меня по-прежнему, Клавонькой, а мне было стыдно за то, что он ни слова не понимал по-английски, но не пытался говорить и понимать, а злился. Ну да, конечно, — он же всегда был лучшим, первым, а тут он просто человек в толпе. Причём человек, который не знает правил толпы, и потому агрессивен и беззащитен.

Разговор не клеился. Он пытался быть неприуждённым:

— Ты, Клавонька, так загорела, возмужала...

Я была одета просто, в короткие голубые шорты и белую майку, и я видела, что эта простота его шокировала — он многого ещё не понимал. Наверное, он ожидал, что к встрече с ним я наряжусь во всё лучшее.

Он попытался накрыть своей ладонью мою, но я убрала руку со стола. Он мне передал пакет, в которых были деньги за квартиру — десять тысяч долларов. Тысячу долларов Маринка взяла себе и тысячу переслала моей маме.

Оказалось, что он сам разыскал Маринку перед тем как иммигрировать и просил мой телефон. Жена его невольно отомстила за меня — она сбегала, как я упоминала, в Австрию, с богатым стариком, которого подцепила на выставке в Задорске. Тот приезжал по линии обмена культурными ценностями, а она курировала выставку.

В Америку Влад приехал вместе с матерью. Оказалось, что мать его была еврейкой, а отец русским. Прежде скрываемую пятую графу сейчас использовали как средство передвижения. С помощью взятки выправились паспорта для неё и сына, где русская национальность сменилась на еврейскую, что дало возможность уехать и пользоваться на первых порах помощью еврейской организации.

Влад был близок со своей матерью — в Задорске они жили в четырёхкомнатной квартире. Отец его, известный журналист, давно умер. Пару раз я её видела — хлопотливая тихая женщина, не прозвездшая на меня никакого впечатления, имела огромное влияние на сына. По неопытности я

было вступила с ней в тайное соревнование, но мой возлюбленный всегда упоминал, что мамыны борщи и пирожки лучше. Забота о маме у него была на первом месте — трогательно и похвально, но, по моему теперешнему убеждению, мужчина должен уходить из отчего дома хотя бы в двадцать лет, иначе ему всю жизнь придётся строить по маминому предвставлению.

Но это я отвлеклась. Тогда, в кафе, во мне борлись противоречивые чувства, но одного в них не было — любви к нему, которая осталась лишь в памяти. Не было уже и обиды — новая жизнь целиком поглотила её, как поглощает болото упавший на её поверхность лист — без следа...

Он флиртовал, комплиментил, называл себя дураком, вспоминал трогательные моменты, просил рассказать о себе. Я дала ему слово, что мы встретимся в следующей выходной.

Теперь я знаю, что это заблуждение и ошибка — жить в ожидании жизни. Поиски счастья затягивались. Я сама себе напоминала путешественницу, едущую неизвестно куда неизвестно за каким призом. Вот я выхожу на одной станции — приза там не нахожу, отправляюсь за ним дальше. Так я выхожу в каких-то городах, что-то ищу, не найдя, следую дальше, долго томясь на вокзалах маленьких и чужих станций. Мой поезд делал остановки в Майами, Нью-Йорке, Вашингтоне — но у меня всё ещё не было дома и ощущения того, что я дома.

Влад повадился звонить мне каждый вечер. Его я понимала — я была его единственной ниточкой, тянущейся в знакомый прочный мир, единственная, кроме матери, русскоговорящая. Я была его старой знакомой, у нас за плечами остался общий город и общие друзья. Здесь ему предстояло заново научиться ходить. Как и любой иммигрант, он решал дилемму — как жить, кем быть. Журналист, он страдал от своей здесь не востребоваемости. Нужно было как-то зарабатывать на жизнь — пенсия матери была крошечной. Пока он устроился на автозаправку разнорабочим. Я его понимала, но ничего не могла с собой поделать — эти проблемы меня совершенно не трогали. Я же нужна была ему для поддержки и информации.

Я уступила его просьбам — и правда, почему бы не встретиться? Я уже заледенела в скорлупе одиночества. В школе долгие часы существовала в комнате с парочкой напуганных робких детишек, долгие полчаса часа вышагивала назад вдоль автострады, единственная прохожая, вызывающая недоумение у водителей пролетавших автомобилей, многие из которых оглушительно меня приветствовали рёвом клаксонов. В пустом и необъятном доме до ночи разговаривала с призраками, пугалась теней и подглядывала в окно за постоянно пытавшейся меня разоблачить лунной.

Встреча та радости не принесла. Убогая, ещё не обжитая крохотная квартирка в ужасном полуразрушенном районе Вашингтона. Торопливая механическая любовь — мама скоро придёт. Быстрой скороговоркой — жалобы. Трудная работа, платят копейки, американцы дураки, русские снобы, будут с мамой покупать дом — удачно продали Там квартиру...

Зачем мне была нужна эта ненужная встреча? Только лишь для того, чтобы расставить все точки.

Моё женское тщеславие было вознаграждено — он просил моей руки, а я отказала. Отказала без злорадства — с досадой и неловкостью. Стоило любить его все эти годы?

Юноша, которого я любила, остался где-то там, в городе, в котором красные дребезжащие трамваи весело поют на поворотах, в котором каланча кренится на бок, чтобы рассмотреть получше крохотных спешащих непонятно куда человечков.

Юноша, которого я любила, до сих пор носит длинное чёрное пальто, на котором долго не тают снежинки. Вот он идёт по Задунавской, в руках у него газета, а в кармане — крепкое румяное яблоко.

Глава 17

Ветер с Гудзона

Я дала себе слово не делать более того, чего мне не хочется, даже если в глазах окружающих прослышу бессердечной эгоисткой.

Время экспериментов прошло. Пора прекратить эту безумную гонку и просто — жить. Статус, опыт, профессия у меня есть.

Нет иллюзий, любопытства и желания проехать за чужой счёт.

Пора собираться в дорогу.

Последний день работы был долгим, жарким, шумным и суетным. Мне не жаль было оставлять школу, в которой я уже зарекомендовала себя с хорошей стороны и могла получить с сентября постоянную позицию. Хотелось поскорее вырваться из этой каменной, нагретой солнцем коробки — в школе не было кондиционеров. Навязчиво гудели вентиляторы, оценки были выставлены, дети докучали — обходили всех учителей с просьбой оставить памятную запись в альбомах, трогательных подобиях российских дембельных. Торжественная линейка состоялась на улице. Отхлопав ладоши после заключительной речи директора, все стали фотографироваться, и у меня где-то хранится снимок, на котором запечатлены в обнимку мы с Валей, моей приятельницей и коллегой. На её лице блуждает тщательно скрываемое счастье, на моём — отчуждение.

В колледже, в котором я работала по субботам по протекции доброй Фитцпатрик и о чём из-за сумбурности записок толком так и не успела рассказать, было тихо и прохладно. Профессорша расстрогалась, расстроилась, отговаривала меня уезжать, говорила, что в Нью-Йорке тяжелее сделать карьеру и уж в колледж на работу там мне точно не пробиться. Доводов у меня не было никаких, кроме:

— Я не могу здесь больше оставаться...

Вздыхнув, в запечатанном конверте она выдала мне все необходимые бумаги и, порывшись в записной книжке, снабдила адресом своей доброй приятельницы, живущей в Нью-Йорке, в Манхэттене, которая могла бы ненадолго приютить меня (адрес я тут же потеряла.)

В подвале дома стояли в коробках заранее уложенные вещи. Оставалось только позвонить в фирму, чтобы за ними приехали и отправили их в долгое плавание на корабле — осчастливить на Родине подруг и родственников. Себе я оставила самое необходимое.

В ресторан Люда идти отказалась, мотивируя страшной занятостью и усталостью, и предложила отметить мой отъезд дома. С утра из супермаркета привезли продукты, и весь день я готовила — оливье, голубцы и селёдку под шубой.

Вечером втроём мы посидели за столом. Гари я подарила бутылку дорогого коньяка, Люде — что-то из бижутерии. Задуманных посиделок не получилось. Гари, которому всё, кроме работы, было безразлично, сославшись на усталость, ушёл спать. Люда тоже была очень уставшей. Рано утром они куда-то вместе уезжали, и она беспокоилась, не забуду ли я запереть за собой дверь и просила быть осторожной и не поцарапать вещами стену. Мне почему-то стало обидно, что, несмотря на проживание в одном доме, участие в судьбе друг друга и общих родственников, подруг из нас не получилось — в Майами мы были гораздо ближе.

Посиделки наши отдавали унылой скукой запротоколированного собрания. Я выпадала из жизни Люды легко, как бильярдный шарик из лузы, да и, чего греха таить, сама не страдала от предстоящей разлуки. Расстались мы очень недовольные друг другом — я проговорилась, что в школе с сентября мне предлагали место постоянного учителя первого класса, а я отказалась. Это невинное замечание почему-то взбесило хозяйку дома, вывело её из полусонного состояния:

— Как! — взвилась она. — Как ты могла отказаться? Это же обеспеченная жизнь! Сколько учителям платят на старт? Тысяч тридцать шесть годовых — это уже в три раза больше того, что ты зарабатываешь! И возможность роста, прибавки каждый год, а зарплата летом, а бенефиты! Да ты что, сдурела?

Я пыталась объяснить, что не могу жить в Лесу, что чувствую себя здесь мёртвой, что не хочу быть запертой в маленькой квартире в окружении пустых автострад. Я хочу гулять по улицам, заходить в кафе, ездить в метро, видеть на улицах людей, а не одни припаркованные автомобили. В конце концов, я пишу рассказы и буду искать возможность их публиковать. Люда откинулась на спинку стула и смотрела на меня, как на сумасшедшую.

Она разразилась страстным монологом, суть которого сводилась к тому, что она ненавидит неудачников, безответственных людей, которые в погоне за Хочу игнорируют делать то, что Надо. В данном случае мне надо было бы соглашаться, селиться где-то поближе к школе, делать карьеру, копить на дом. А там, глядишь, и нашла бы себе какого учителя физкультуры.

Человек, который не в состоянии купить дом, не состоялся. Кто я такая? Перекати-поле, безответственная мечтательница, у которой был блистательный шанс выйти замуж за миллионера. Я попыталась возразить, что ведь она помнит, как мне, да и ей, было тяжело в Майами, что наши женихи-миллионеры были далеко не привлекательными людьми и что я не смогла притворяться, и не то, что без любви, просто без симпатии к Дэвиду не смогла жить с ним.

— Глупости! — отрезала она. — Что значит, не смогла! Я же смогла! Ценящая себя женщина должна быть в соответствующей упаковке.

Я разозлилась этому проститутскому, неоднократно произнесённому мерилу успеха и резко возразила:

— А я вот, представь, ценю себя за те качества, которыми обладаю, и для чувства самоуважения мне не нужны бриллианты и кабриолеты.

Она хмыкала:

— Это оправдание для неудачников. Ты со своими ценными внутренними качествами ни себя не смогла продать подороже, ни карьере построить. Ты даже не можешь развестись с толком! Ты ведь не потребовала алиментов, и брачный контракт не будешь оспаривать. Ведь правда? Как пришла к Майклу нищей, так и ушла.

— Правда. А мы с Галкой займёмся литературным журналом.

— Литература... Журнал... Кому это нужно? Дуры! На компьютерные курсы нужно идти.

Так наш бесплодный, ненужный спор ни к чему не привёл. Меня огорчала ярость всегда сдержанной и рассудительной Люды. Было обидно, что я не могу в её глазах отстоять свои ценности. Внезапно пришло озарение — Люда яростно защищает себя, она глубоко несчастна, ведь когда-то, по пьянке, она было призналась, что Гари не любит и наверняка она так же не любит свою работу и всю свою жизнь самоутверждается посредством количества материальных благ. В своём несчастье она никому не признается и никогда не сойдёт с избранного пути.

Я перестала возражать, и спор наш угас, разговор еле тлел, как угли в догорающем костре, и Люда, сославшись на усталость, пошла в свою спальню.

Я долго сидела у окна, думая о том, что, скорее всего, никогда не приеду сюда в гости, даже чтобы похвастаться успехами и испытать реванш. Эта страница жизни перевернута. Уже которая по счёту за несколько последних лет.

Удивительно, насколько у людей различны жизненные ценности и насколько они непримиримы к отличной от собственной точке зрения.

Одно я поняла — я не буду гробить свою жизнь ради того, чтобы что-то доказать таким, как Люда. Если я чувствую себя чужой среди этих людей, то значит, мне нужно другое окружение.

Я еду в Нью-Йорк начинать новую жизнь. Теперь мне не придётся терпеть из-за каких-то меркантильных соображений ненужных людей, будь то муж, подруга или начальник. Теперь я не буду мыть полы и сидеть со старухами. Я не буду делать ничего того, что идёт вразрез с моими внутренними убеждениями. И уверена — в одиночестве не останусь.

Одиночество окружает человека, если он выдаёт себя не за того, кто он есть, или если он живёт не своей жизнью. Как я где-то читала — каждый человек должен быть в своей стае. Я попала не в свою. Это то же самое, как если бы ястреб пытался жить среди кур, или кошка среди собак... Я еду в Нью-Йорк найти саму себя и найти свою стаю.

Накануне я обзвонила тётушек, мы быстро и без особой грусти попрощались.

Люду я никогда больше не видела.

В семь утра дом был пуст, и ни одна душа не помахала мне платочком с крыльца. Моросил

нудный серый дождь, не приносивший облегчения. На расстоянии вытянутой руки уже не было ничего видно.

Жёлтое такси вынырнуло из пелены, и я ему обрадовалась так, как обрадовался бы Миклухо-Маклай кораблю, показавшемуся на горизонте.

Прощай, Лес! Прощайте, тётушки, бывший муж и несостоявшиеся подруги...

Я никогда, никогда, никогда больше не буду так несчастлива, как была здесь!

Спасибо всем — вы меня многому научили. Спасибо и прощайте.

Я хотела проехать мимо дома Майкла, посмотреть на жилище, в котором прошли четыре года моей жизни, со стороны, но в этом не было смысла — за окном такси стояла сплошная серая стена. Ну и к лучшему — у меня не оставалось ни малейшего шанса ни для грусти, ни для сожалений, ни для страха. Словно сама природа выталакивала меня в новую жизнь.

Я взяла билет на самый дорогой поезд, и меня радовало всё — и вид отъехавшей платформы, и мягкое сиденье, и застеленный красным ковром проход, и стакан горячего сладкого чаю с лимоном.

Мы договорились, что Галка на вокзал не поедет. Она снабдила меня своим новым адресом и самыми подробными инструкциями, как найти дом. Я решила пока пожить у неё, разделить с ней плату за квартиру и помочь ей с малышом — до Нового года она должна была родить. А в сентябре

я надеялась начать работу в школах, учителем на замену.

В Нью-Йорке дождя не было. Как только я вынырнула из здания Пенн-станции в уличную толчею, то сразу поняла — что бы ни произошло, я должна жить в этом городе. Город был живой — он двигался, дышал, пульсировал. В нём все и всё были взаимосвязаны — люди, дома, машины и небо. Город напоминал гигантский муравейник — вроде бы всякая букашка и бежит по своим личным делам, но в то же время подчиняется невидимому дирижёру, управляющим и жизнью букашки, и пульсацией гигантского мегаполиса. От города шла невероятная живительная энергия — в нём не было месту унынию и одиночеству. Нужно только не отгораживаться от него — а прислушаться, всмотреться, и — шагнуть...

Оглушённая и восхищённая, я шагнула с последней ступеньки прямо в кишачую и стремительно текущую, как полноводная река, толпу.

Господи, неужели всё позади — уныние и скука, одиночество и неприкаянность... Я свободна! Свободна! Наблюдавший за мной весёлый нищий попросил денежку, и я дала ему доллар. Рассиявшись великолепной белозубой улыбкой, угадав моё состояние, он с чувством произнёс:

— Не бойся, мэ. Нью-Йорк тебя полюбит!

С Гудзона дул свежий ветер. На краю тротуара сиял оранжевым боком упругий крупный апельсин.

г. Нью-Йорк

Владимир Любицкий

Путепроводный свет



Прощение

«Душа обязана трудиться...» —
Закон известный. Но уже
Приходит час остепениться —
Самим подумать о душе.

Душе — необратимо грешной —
Давайте время уделим
И потолкуем с ней неспешно,
И все грехи её простим.

Простим, друзья, самим себе
Завышенные ожидания —
Пусть нам не причинят страданья
Укоры поздние судьбе.

Простим учителям своим,
Что мы не круглые невежды,
А их наивные надежды
Забудем тихо — и простим.

Простим удачливым глупцам
Чванливое очарованье:
Ведь им неведомо заранее,
Что чары обратятся в хлам.

И неудачникам простим
К нам незаслуженную зависть:
Кто обвинять решится завязь,
Не ставшую плодом тугим?

Врагов простим, какие есть —
За то, что их в лицо не знаем
И козней их не замечаем,
И нас чарующую лесь.

Родителям своим простим
Любовь от самой колыбели,
А всё, чего от нас хотели,
Наследникам передадим.

Простить давайте поспешим
Все будущие поколенья:
Погрязнув в собственных бореньях,
Мы им недодали души.

Простим не завтра, а сейчас, —
Чтоб стало им необходимо,
Познав, что жизнь неумолима,
Когда-нибудь простить и нас.

Рождение стиха

Мною вкопаны, как деревца,
Одинокие слова.
На верхушках ерепенится
Чуть заметная листва.

И дрожат они, стесняются
Обнажённости своей.
Мне послушные, склоняются
Нити будущих ветвей.

Значит, живы, не засушены
И душой напоены,
Будут солнышком разбужены
С наступлением весны.

Оросятся мыслью свежеею
Эти деревца-слова,
Напоит их корни
вешняя
Говорливая молва.

И проснётся сила смутная
В тонкой трубочке ствола,
Почки-точки бесприютные
Распахнутся добела.

И захочется надеяться,
Что под солнечным лучом
Закружит над каждым деревцем
Рой весёлых щедрых пчёл.

Чтобы мёдом улья наполнились,
Чтобы соты — в каждый дом...

...Мне бы осени — так болдинской!
Ну, хоть с новым деревцом!

243

Владимир Любицкий ■ Путепроводный свет

Прощение

А. И. Боголюбскому

Есть таинство познания.
 Есть мужество открытия.
 И без второго
 первое
 не стоит ни гроша.
 История слагается из множества событий —
 Но как они сплетаются,
 судьбу твою верша?

Родись хоть новым Пушкиным,
 хоть новым Микеланджело —
 Эпоха повлечёт тебя в свой тайный лабиринт.
 А там — пути нехожены,
 премудрости не нажиты,
 И как до цели двигаться —
 никто не упредит.

Идёшь по жизни ошупью,
 ступаешь — по наитию,
 Как в подземельях древних фараонских пирамид.
 И таинство познания
 без мужества открытия
 Бессильных — разуверит,
 а сильных — утомит.

Когда-то, в пору юности
 и пылкого невежества,
 Рванулось человечество к секретам бытия...
 Но пастыри — замучены,
 бунтовщики — повешены,
 Пророки — опозорены,
 в беславии гния.

Настало время скептиков,
 бездумных попугаев,
 Открытия им не надобны,
 сомнений — ни на чуть.
 И как на детях гениев природа отдыхает —
 На целом поколении решила отдохнуть.

Но тайны — непридуманы.
 Природа — нескончаема.
 А колесо Истории нельзя остановить.
 И в лабиринте жизненном —
 пусть тонкая, случайная! —
 Колеблется
 познания нервущаяся нить.

И вспомнит человечество
 пророков и романтиков.
 Увидят наши правнуки
 путепроводный свет.
 И мужеством открытия
 за таинство познания
 Расплатятся за пращуров,
 которых нынче нет.

Николай Ерёмин На уровне любви



245

Николай Ерёмин ■ На уровне любви



Я пил рюмашку за рюмашкой,
Пока в душе хватало сил...
Держал я душу нараспашку,
Пока её не простудил...
.....

Теперь болею и жалею,
Кляню своё житьё-бытьё...
Душа! Что я наделал с нею,
Едва не загубив её...



Не знаю, что со мной творится?
Всё больше спится, больше снится...
Всё радостней с тобою мне
В далёкой сказочной стране,
Где жизнь, как сновиденье длится,
Совсем похожая на счастье,
И хочется навек забыться
И никогда не возвращаться...



Левой рукой — рассказы,
Правой рукой — стихи...
Вот они, муз проказы,
Точно удары, легки —
В глаз, а не в бровь, без промашки,
Сразу на вечный суд...
.....
...А для кого-то — тяжкий
И непосильный труд.



Как хорошо поэтом быть на свете!
Печататься всё время в Литгазете,
Где временами за любой изъян
Журит в статьях Сергей Мнацаканян
Поэтов и, конечно, графоманов...
Ведь у него, по счастью, нет изъянов,
И в Литгазете все до одного
Равняются за это — на него!



Сибирская тоска —
Морозно-ножевая —
Касается виска,
Мириться не желая,
От края и до края,
С заката до рассвета
Вопросы воскрешая,
Которым нет ответа...



Все
Мы должны умереть,
Все мы всерьёз задолжали.

Цены за жизнь и за смерть
Сильно, мой друг, вздорожали...
Тут серебро или медь
Нам пригодятся едва ли.
Золото нужно иметь
И в кошельке, и в подвале! —
Чтобы держаться за жизнь
Крепко, надёжно и долго...

Впрочем,
Держись, не держись —
Не откупиться от долга.

Стихи эмигрантов

Русские стихи из США
Эмигранты снова шлют в Россию...
Просит понимания душа,
Прочит в собеседники мессию.
И в журнал тоскующим стихам
Доллары дорогу пробивают,
И поэты, рады, тут и там
Их по Интернету пропивают...
Хочет славы русская душа,
По российским сми вслепую бродит,
И в конце концов её находит —
Здесь, в России, а не в США.

Мчался поезд

Мчался поезд, туманом окутан,
Грохоча меж вокзальных огней...
И таинственно пахло мазутом,
И в душе становилось теплей...
Мчалось детство — за датую дата,
Поезда продолжали греть.
И хотелось уехать куда-то
И, руками взмахнув, улететь...



Я в сером городе живу,
Где серость на душе тревожна,
Где ни во сне, ни наяву
Кино цветное невозможно...
Где мавзолей-мемориал —
По центру, и музей — по краю...
Где чёрно-белый сериал
Я день и ночь всю жизнь снимаю...

Крестьянка и рабочий

На марках, между прочим,
Когда и я был молод,
Крестьянка и рабочий
Сжимали серп и молот.

Увы, большую пьянку
Вели зимой и летом
Рабочий и крестьянка
Втроём с интеллигентом.

Любили и дружили
И в ведро, и в ненастье,
Вино хмельное пили
От горя и от счастья,

Увы, в жару и в холод —
От встреч и до разлук...
И выпал серп и молот
Из утомлённых рук...

Ещё в старинных парках,
Мой друг, ты можешь встретить
Их гипсовый дуэт.

А на почтовых марках,
Как можешь ты заметить,
Им нынче места нет.



Всех преступающих запреты
Больница ждёт или тюрьма.
И люди сходят незаметно
С теченьем времени с ума...

.....
А им твердят, полны лукавства,
Пророк, философ и поэт, —
Что от безумия лекарства
В природе не было и нет.



Поэзия кончается в душе,
Костром дымит, под ветром догорая...
Я не могу теперь сказать уже:

«Любимая моя и дорогая», —
Хотя люблю тебя и дорожу
Тобой одной
не меньше, чем когда-то...
Дымит костёр, я на ветру дрожу...

.....
— Не надо! Ты ни в чём не виновата.

Памятник

Неприкаянный памятник,
Не подвластный молве,
Через время,
как маятник,
Я иду по Москве...

Нет мне места
на кладбищах
И на улицах нет.
Слава Богу, что рад ещё
Здесь поэту поэт!

Пушкин смотрит на Гоголя —
Кто кому по плечу?
Их с гранитного цоколя
Я смещать
не хочу.

Не подвластные времени,
Пусть
в столице утрат
Маяковский с Есениным
Без меня постоят!

Неприкаянный маятник,
Неуютной Москвой
Я шагаю,
как памятник, —
Слава Богу, живой!

Диалог

— Почему ты отказался
От классических размеров,
Рифм и ритмов, выразивших
Мысль и чувство в прошлом веке?

— Потому и отказался
От классических размеров,
Что в душе тысячелетье
Безразмерное настало...
Не хочу привычных штампов,
Государственных стандартов,
Не терплю банальных истин
И чувствительных шаблонов.

Хватит! Устарела лира
И гитара мне плоха...
Открываю век верлибра
И свободного стиха!

г. Красноярск

Нина Ягодинцева

Обретая родные черты



Драхма

Я прежде жила у моря, и море пело,
Когда я к нему сходила крутою тропкой,
Тёплой пылью, розовыми камнями,
Сухой и скользкой травой, щекотавшей пятки.

Море было обидчивым и ревнивым,
Безрассудным и щедрым — оно дарило
Диковинные раковины и камни...

Однажды оно швырнуло к ногам монету —
Так ревнивец бросает на пол улику
Измены, которая будет ещё не скоро,
Но он предвидит судьбу и её торопит,
Бессильным гневом своё надрывая сердце.

Я подняла монету. Тяжёлый профиль
Неведомого царя проступал и таял
На чёрном холодном диске. Рука застыла,
Как бы согреть пыталась морскую бездну.

Какими тайными тропами сновидений
Нашёл меня этот образ? Какой галерой
Везли его? Какие шторма разбили
Скорлупку судна, посеяв зерно в пучине?
Каких ожидали всходов тоски и страсти?

Море лежало ничком и казалось мёртвым.
Прошлое стало будущим и забыло
Меня, легконогую, в грубом холщовом платье.

Я молча поднялась по тропинке к дому.
Мать не обернулась, шагов не слыша.
Занавес не колыхнулся, и только солнце
На миг почернело: это жестокий профиль
Едва проступил — и тут же сгорел бесследно...

...Теперь я живу далеко-далеко от моря.
Мы виделись лишь однажды. Будто чужие,
Мы встретились и расстались. Но я не помню
Тысячелетия нашей разлуки — значит,
Рим не царил, не горел, не скитался прахом
В небе и на земле. Просто я проснулась —
И позабыла сон. Только этот профиль,

Всеми страстями обугленный, проступает
Сквозь невесомую ткань моего забвенья...
Словно к ней с другой стороны подносят
Чёрный огонь чужого воспоминанья...



Целуя руки ветру и воде,
Я плакала и спрашивала: где
Душа его, в каких мирах отныне?
Вода молчала, прятала глаза,
А ветер сеял в поле голоса,
Как прежде сеял он пески в пустыне.

Когда бы знала я, в каких мирах
Его душа испытывает страх
Прошедшей жизни, тьмы её и свету,
Я возвратила бы её назад,
В исполненный цветенья майский сад,
Где есть одна любовь, а смерти нету...

Вода и ветер, ветер и вода...
Я выучила слово «никогда»,
Но и его когда-нибудь забуду —
Забуду, как завьюженный погост,
Где снег лежал безмолвно в полный рост,
И таял в небесах, и жил повсюду.



В средоточье города и мира
На туберкулёзном сквозняке
Что тебя спасло и сохранило,
Как ребёнок — пёрышко в руке,

Иногда, стремительно и кратко,
Словно лёгкий солнечный ожог,
Взглядывая на тебя украдкой
И опять сжимая кулачок?

В темноте невыносимо тесной,
Крыльшками смятыми дрожа,
Замирала в муке бесполезной
Крохотная слабая душа:

Разве голос? — Где ему на клирос!
Разве сердце? — Купят, не соврут!
Но темница тёплая раскрылась
И открылось тайное вокруг:

Что ж, взлетай легко и неумело,
Где бессчётно в землю полегли...
Родина — таинственная мера
Боли и любви.

Тайная жизнь одиноких деревьев полна
Шёпота, шелеста, полупрозрачного гула...
Словно в забытый колодец душа заглянула
И не увидела дна.

Там, в глубине, обретая родные черты,
Имя и голос, одежды из ветра и света,
Что-то волнуется, плещется, ищет ответа —
И осыпается белой пылью с высоты...

Очи деревьев темны и замкнуты уста —
Небо своё обживают они бессловесно.
Нас прижимает к земле многозвёздная бездна —
Их, словно мать, поднимает к лицу высота.

Это они, погружаясь по грудь в забытьё,
Как невода, заплетают немymi ветвями
Чистое, гулкое, неумолимое пламя —
Нежное и невесомое пламя Твоё.

Покуда нет в тоске таинственного брода,
Пока она стоит, как тёмный океан,
И ты на берегу, и так проходят годы,
Тебя из тишины зовя по именам —

Покуда нет в тоске ни паруса, ни лодки,
И скользкого бревна не вынесет прибой,
И все слова пусты, и все надежды кротки,
И ты на берегу, и только Бог с тобой —

Покуда нет в тоске рассвета и заката,
Зелёный сумрак сна и каменная гладь,
Всё кажется: тебе какой-то смысл загадан,
И если ты его сумеешь отгадать —

Как посуху пойдёшь! И только Бог с тобою,
Когда из глубины, незримые почти,
Проступят как прожгут пучины под стопую
Диковинных существ холодные зрачки...

На острова травы, в зелёные астралы!
И тихой жизнью жить, и умирать, как травы...
На острова травы, на острия печали,
Где вечности река, и мы в её начале:

Туманные поля, молочные ложбины...
Мы позабыты здесь и навсегда любимы
За тихую мольбу, за шелест бессловесный
Над звёздной пустотой, над золотистой бездной.

Не слово, но ему предшествующий ветер
Проносится во тьме, и кто из нас ответил —
Тот зиму простоит и оживёт весною
Соломкой золотой, свирелькою сквозною.

Смотрите, спящие, смотрите же,
Как звон гуляет в граде Китеже,
Расшатывая окоём
В смятенье яростном своём!

Смотрите, если вы не слышите,
Как волны, молниями вышиты,
Идут и падают внахлест
На берег, полный сбитых звёзд!

Звон поднимая до Всевышнего,
Беззвучно ратуя: услышь его! —
К востоку обратясь лицом,
Звонарь раскачивает сон.

А наяву гуляют ордами,
Глумясь над спящими и мёртвыми,
И голь не срам, и стыд не дым,
И веки тяжки — неподым...

Сквозная память, тайная беда,
Извечное кочевье в никуда...

Бессонницы зелёная звезда
Бессмысленно горит в пустых осинах,
И низко-низко виснут провода
Под тяжестью вестей невыразимых:

И острый скрип несмазанных колёс,
И полуптичьи окрики возникших,
И сладковатый вкус кровавых слёз,
Из ниоткуда памяти возникших,

И слабый крик младенца, и плащи,
Трепещущие рваными краями,
Безмолвно раздувающие пламя
Ноци...

Ты знаешь всё. Раскрыты небеса,
Как том стихов, и смятые страницы
Сияют так, что прочитать нельзя,
И слиятся вздохнуть и распрямиться.

г. Челябинск

Иван Зорин Снова в СССР



Перепелиные яйца

Глухо вскрикнула птица и, захлопав крыльями, тяжело снялась с ветки. Распластав руки по коромыслу, мимо огороженных могил проплыла деревенская баба. «Надо же, толстуха, — поглядел ей вслед Егор Бородуля, — от неё, небось, и зеркало трещит...»

И решил, что день не сложится.

«Дурная примета, — прочитал его мысли Корней Гостомысл, — вёдра-то пустые...»

Они лежали под развесистой липой и считали падавшие сверху жёлтые листья.

«Хочешь спать — не прислушивайся к шорохам», — осадил его Егор. Но обращался он больше к себе: «Всю жизнь не загадаешь, как будет, так будет...»

И, вынув из кармана гребень с набившейся пертью, стал вычёсывать упрямые колтуны.

Корней вздохнул: «Мне иногда так кажется...»

«Когда кажется, крестятся», — беззлобно вставил Егор.

Корней закашлялся, поднес кулак, покосился на могильные кресты, о которые чистили клюв чёрные грачи.

«Да нет же, послушай, мне иногда кажется, что у каждого есть кто-то наверху, ангел или двойник... — сняв кепку, он погладил лысину. — Двойник этот живёт вместо нас — любит, творит, мыслит, по желанию едет то на юг, то на север, ставя перед собой ясную цель... А мы, как тени, лишь безотчётно повторяем его движения, и оттого жизнь представляется нам чередой бессмысленных поступков...»

«Ну ты, философ, может, заткнёшься...» — сплонул Егор и, дёрнув чуть сильнее густую шевелюру, вскрикнул от боли.

«И связь наша с этим „кто-то“ односторонняя, — пропустил мимо ушей Корней. — Лишь иногда нам удаётся коснуться его — во сне или мечтах... Тогда мы видим истинную жизнь, которая не натывается на убогие, мелкие препятствия, а парит над ними, как птица, взирая на громоздящуюся внизу неразбериху...»

«Во даёт... — не выдержал Егор. — Ну, зачем мне знать про другую жизнь, если свою проведу здесь? Я и так жалею, что лишнее узнал, что в школе математике учили и заставляли на пианинах играть...»

Про себя он подумал, что образование, как горб или рюкзак, тянет вниз, что жизнь, как клинок янычара, рубит тех, кто высовывается, а невежество заразно — стоит одному встать под его мерку, как остальные тут же равняются...

«Нет, наша подлинная сущность, настоящее „я“ находится вне тела...» — достав платок, Корней

промокнул лысину, сняв очки, протёр запотевшие стёкла. За линзами его рыбы глаза казались крохотными, про такие говорят, что они видят все, а их — никто. «Бывает, видишь себя со стороны — ходит, ест, спит какой-то механический автомат, ругается, злится, деньги считает... И так стыдно за него делается, до чего бездарно он дни проводит... Будто слепой, будто несмышлёный... А это не ты себя видишь, это кто-то на свою тень земную косится...»

Повисшее молчание резало уши, как протекающий кран.

«Или вот как бывает, — отвечая своим мыслям, заметил вслух Корней. — Во сне вызывают тебя к доске, учитель задаёт трудную задачу... Ты пытишь, краснеешь, уж и пот на лбу выступил, и в мелу весь, да только напрасно... Чешешь затылок, а в голову ничего не лезет... И вдруг сосед по парте руку тянет, чтобы в два счёта задачу решить... И ты не понимаешь, как же ты сам раньше не догадался... Но ведь это твой сон, ты одновременно в нём и зритель, и режиссёр, тогда почему решение было тебе неизвестно? Если ты один выступаешь в трёх лицах — и за себя, и за товарища, и за учителя? Значит, внутри себя мы вовсе не одни, и снами распоряжаемся лишь частично, как и жизнью...»

Разговор не клеился. Слова подбирали тяжело, точно тащили из колодца полное ведро.

Корней подумал, что люди, как перепелиные яйца — их кропят разные пятна, а в гнезде не различить. Но сказал совсем другое: «К прозрению, как к рекорду или смерти, идёшь всю жизнь...»

«А мне сдаётся, — не попад заметил Егор, ковыряя ногтем расчёску, — что мы давно умерли и теперь бродим по земле, как призраки...»

Егор прожил с женой так долго, что после развода навсегда запомнил свою первую, казалось ему, безбрачную ночь. «Заруби на носу, дорогой, — мурлыкала жена, жмурясь так, что её изогнутые ятаганом ресницы прятали кошачьи зрачки, — о чём бы ни говорили мужчина и женщина, речь всегда идёт о сексе». Жена была страстная, и Егор просыпался со следами зубов на щеке. А в то утро вместо укусов на щеке красовался отпечаток от пуговицы на наволочке.

Семейная жизнь, как безопасная бритва, — от постоянного пользования притупляется. Корней был женат, казалось, с рождения. У его жены был абсолютный музыкальный слух, она все время напевала популярные мелодии, попадая в ноты также легко, как ему в лицо, когда плевала. Корнею врезалась в память их поездка к морю, дешёвая гостиница, в которой они провели медовый

месяц, и пропахший тиной пляж, на котором ему впервые захотелось прекратить её пение. Он так и не понял, почему не убил жену, прожив с ней столько лет. «Жизнь — это суд, на котором разбирается одно и то же дело: судьба против человека», — подумал Корней, слушая, как Егор шепчется с Богом, в которого не верит.

Было время, когда мысли сливаются с воспоминаниями, а желания сбываются, если загадать их, скрестив за спиной пальцы.

Тусклое солнце плющило о горизонт, и на шестах уже горланили зорю петухи.

«С лица воду не пить...» — безразлично заметил Корней.

«Встречаются такие, что им у зеркала ужинать, значит аппетит портить... — меланхолично откликнулся Егор. — От них даже двойник в зеркале морщится...»

И опять замолчали.

«Наша жизнь, как драный тулуп, — вдруг произнёс Егор, — выверни её наизнанку — никто и не заметит... — Его язык удивлённо извлекал слова, будто впервые пробовал их на вкус. — И носить её можно задом наперёд, проживая от смерти к рождению...»

Почувствовав, что сморозил глупость, он попробовал выкрутиться.

«В жизни-то все перемешано — и горе, и радость, и слёзы, и смех...»

«Оттого она такая серая?» — взвизгнул Корней.

«Чёрная полоса в жизни соседствует с белой, — важно пробасил Егор. — А человеку разрешается её кроить... Можно, к примеру, на несчастнейшую полосу заплатку из счастья поставить...»

«Значит, по-твоему, нельзя всё страданье одним махом оттяпать?»

«Нашёлся такой мудрец... Перед тем, как родиться, ему показали его будущую жизнь... Так он отрезал у неё самые чёрные куски, а потом мало показалось... Когда куцую жизнь посмотрел, взмолился — дайте ещё попробовать... Ему дали. Он снова откромсал те куски, что почернее... И опять недоволен. Можно ещё? А кончилось тем, что от жизни ничего не осталось, так он и не родился...»

«Во, брешет, — покрутил у виска Корней. — Что же это по твоему человеку жизнь его показывают? Значит, он целую жизнь её смотрит? Тогда зачем же ему на свет появляться?»

«Мы своё будущее наперёд знаем, — гнул своё Егор. — Может, и вельможами побывали... Только забываем, кем были на предварительном просмотре...»

Стало слышно, как гусеница ест дырявый лист. Молчать было невыносимо, и снова шевелили губами, накальвая тишину на слова.

«На свете все близнецы, — вырвалось у Егора. — Кто напялит парик, тот похож на аристократа XVIII века».

Егор стянул парик, сверкая лысиной, растёр по одежде пудру.

«Можно?» — протянул руку Корней.

Лето выдалось сухим, жарким, опалённые листья, точно бумажки с нарисованными скелетами, то и дело слетали с развесистой липы.

Егор промолчал, наблюдая, как оса точит в складках коры ядовитое жало.

«Не все люди одинаковые, — пробурчал Корней, — их отличает положение под солнцем... Даже поменявшись с отражением в зеркале, становишься другим... Хочешь, попробуем?»

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется», — кивая, усмехнулся Егор.

Теперь справа оказался Корней.

А слева — Егор.

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется», — кивая, усмехнулся Корней.

«Не все люди одинаковые, — пробурчал Егор, — их отличает положение под солнцем... Даже поменявшись с отражением в зеркале, становишься другим... Хочешь, попробуем?»

Корней промолчал, наблюдая, как оса точит в складках коры ядовитое жало.

Лето выдалось сухим, жарким, опалённые листья, точно бумажки с нарисованными скелетами, то и дело слетали с развесистой липы.

«Можно?» — протянул руку Егор.

Корней стянул парик, сверкая лысиной, растёр по одежде пудру.

«На свете все близнецы, — вырвалось у него. — Кто напялит парик, тот похож на аристократа XVIII века»

Стало слышно, как гусеница ест дырявый лист. Молчать было невыносимо, и снова шевелили губами, накальвая тишину на слова.

«Мы своё будущее наперёд знаем, — гнул своё Корней. — Может и вельможами побывали... Только забываем, кем были на предварительном просмотре...»

«Во, брешет, — покрутил у виска Егор. — Что же это по твоему человеку жизнь его показывают? Значит, он целую жизнь её смотрит? Тогда зачем же ему на свет появляться?»

«Нашёлся такой мудрец... Перед тем, как родиться, ему показали его будущую жизнь... Так он отрезал у неё самые чёрные куски, а потом мало показалось... Когда куцую жизнь посмотрел, взмолился — дайте ещё попробовать... Ему дали. Он снова откромсал те куски, что почернее... И опять недоволен. Можно ещё? А кончилось тем, что от жизни ничего не осталось, так он и не родился...»

«Значит, по-твоему, нельзя всё страданье одним махом оттяпать?»

«Чёрная полоса в жизни соседствует с белой, — важно пробасил Корней. — А человеку разрешается её кроить... Можно на несчастнейшую полосу заплатку из счастья поставить...»

«Оттого она такая серая?» — взвизгнул Егор.

«В жизни-то всё перемешано — и горе и радость, и слёзы и смех...»

Почувствовав, что сморозил глупость, Корней попробовал выкрутиться.

«Наша жизнь, как драный тулуп, выверни её наизнанку — никто и не заметит... — Его язык удивлённо извлекал слова, будто впервые пробовал на вкус. — И носить её можно задом наперёд, проживая от смерти к рождению...»

И опять замолчали.

«Встречаются такие, что им у зеркала ужинать, значит аппетит портить... — меланхолично заметил Корней. — От них даже двойник в зеркале морщится...»

«С лица воду не пить...» — безразлично откликнулся Егор.

Тусклое солнце плющилося о горизонт, и на шестах уже горланили зорю петухи.

Было время, когда мысли сливаются с воспоминаниями, а желания сбываются, если загадать их, скрестив за спиной пальцы.

Егор был женат, казалось, с рождения. У его жены был абсолютный музыкальный слух, она все время напевала популярные мелодии, попадая в ноты также легко, как ему в лицо, когда плевала. Егору врезалась в память их поездка к морю, дешёвая гостиница, в которой они провели медовый месяц, и пропахший тиной пляж, на котором ему впервые захотелось прекратить её пение. Он так и не понял, почему не убил жену, прожив с ней столько лет. «Жизнь — это суд, на котором разбирается одно и то же дело: судьба против человека», — подумал Егор, слушая, как Корней шепчется с Богом, в которого не верит.

Семейная жизнь, как бритва, — от постоянного пользования становится безопасной. Корней прожил с женой так долго, что после развода навсегда запомнил свою первую, казалось ему, безбрачную ночь. «Заруби на носу, дорогой, — мурлыкала жена, жмурясь так, что её изогнутые ятаганом ресницы прятали кошачьи зрачки, — о чём бы ни говорили мужчина и женщина, речь всегда идёт о сексе». Жена была страстная, и он просыпался со следами зубов на щеке. А в то утро вместо укусов на щеке красовался отпечаток от пуговицы на наволочке.

«А мне сдаётся, — невпопад заметил Корней, ковыряя ногтем расчёску, — что мы давно умерли и теперь бродим по земле, как призраки...»

Егор подумал, что люди, как перепелиные яйца — их кропят разные пятна, а в гнезде не различить. Но сказал совсем другое: «К прозрению, как к рекорду или смерти, идёшь всю жизнь...»

Разговор не клеился. Слова подбирали тяжело, точно тащили из колодца полное ведро.

«Или вот как бывает, — отвечая своим мыслям, заметил вслух Егор, — во сне вызывают тебя к доске, учитель задаёт трудную задачу... Ты пытишь, краснеешь, уж и пот на лбу выступил, и в мелу весь, да только напрасно... Чешешь затылок, а в голову ничего не приходит... И вдруг сосед по парте руку тянет, чтобы в два счёта задачу решить... И ты не понимаешь, как же ты сам раньше не догадался... Но ведь это твой сон, ты одновременно в нём и зритель, и режиссёр, тогда почему решение было тебе неизвестно с самого начала? Если ты один выступаешь в трёх лицах — и за себя, и за товарища, и за учителя? Значит, внутри себя мы вовсе не одни, и снами распоряжаемся лишь частично, как и жизнью...»

Повисшее молчание резало уши, как протекающий кран.

«Бывает, видишь себя со стороны — ходит, ест, спит какой-то механический автомат, ругается, злится, деньги считает... И так стыдно за него делается, до чего бездарно он дни проводит... Будто слепой, будто несмышлёный... А это не ты себя видишь, это кто-то с небес на свою тень земную косится... — достав платок, Егор промокнул лысину, сняв очки, протёр запотевшие стёкла.

За линзами его рыбы глаза казались крохотными, про такие говорят, что они видят все, а их — никто.

«Нет, наша подлинная сущность, настоящее „я“ находится вне тела...»

Про себя Корней подумал, что образование, как горб или рюкзак, тянет вниз, что жизнь, как клинок янычара, рубит тех, кто высовывается, а невежество заразно — стоит одному попасть под его прицел, как остальные тут же равняются...

«Во даёт... — не выдержал он. — Ну, зачем мне знать про другую жизнь, если свою проведу здесь? Я и так жалею, что лишнее узнал, что в школе математике учили и заставляли на пианинах играть...»

«И связь наша с этим „кто-то“ односторонняя, — пропустил мимо ушей Егор. — Лишь иногда нам удаётся его коснуться — во сне или мечтах... Тогда мы видим истинную жизнь, которая не натывается на убогие, мелкие препятствия, а парит над ними, как птица, взирая на громоздящуюся внизу неразбериху...»

«Ну ты, философ, может, заткнёшься...» — сплунул Корней и, дёрнув чуть сильнее густую шевелюру, вскрикнул от боли.

«Да нет же, послушай, мне иногда кажется, что у каждого есть кто-то наверху, ангел или двойник... — сняв кепку, Егор погладил лысину. — Двойник этот живёт вместо нас — любит, творит, мыслит, по желанию едет то на юг, то на север, ставя перед собой ясную цель... А мы, как тени, лишь безотчётно повторяем его движения, и оттого жизнь представляется нам чередой бессмысленных поступков...»

Егор закашлялся, поднеся кулак, покосился на могильные кресты, о которые чистили клюв чёрные грачи.

«Когда кажется, крестятся», — беззлобно вставил Корней.

Егор вздохнул: «Мне иногда так кажется...»

И вынув из кармана гребёнку с набившейся перхотью, стал вычёсывать упрямые колтуны.

«Хочешь спать — не прислушивайся к шорохам, — осадил его Корней. Но обращался он больше к себе: Всю жизнь не загадаешь, как будет, так будет...»

Они лежали под развесистой липой и считали падавшие сверху жёлтые листья.

«Дурная примета, — поглядел на дорогу Егор Бородуля, — ведра-то пустые...»

И решил, что день не сложится.

«Надо же, толстуха, — согласился Корней Гостомysl, — от неё, небось, и зеркало трещит...»

Распластав руки по коромыслу, мимо огороженных могил проплыла деревенская баба. Остановившись, она высвободила пятерню и перекрестилась на сугробики жухлой листвы, разделявшие могильные плиты:

«Егор Бородуля» от «Корней Гостомysl».

Глухо вскрикнула птица и, захлопав крыльями, тяжело снялась с ветки.

Снова в СССР

В угловом доме по Ордынке, в квартире бывшего государственного чиновника под именем Леопольда Юрьевича Цифера какое-то время жил сатана. Нечистый зарабатывал на жизнь ворожбой, превращал вещи сны в обманчивые

и практиковал недуги, на борьбу с которыми больные готовы положить остатки здоровья. Фамилию прежнего владельца на двери замазали, и поверх неё значилось: «Л. Ю. Цифер». У Леопольда Юрьевича была заячья губа, скрывающая которую он отпустил усы, и теперь казалось, будто щетина растёт у него на зубах. Под белым колпаком у него, как росток под асфальтом, иногда выступали рога, на щёки лезли змеями рыжие бакенбарды, а под халатом едва слышно стучало копыто. Он не отбрасывал тени, мочился хвостом, и его голос не имел эха. Впрочем, сатана, обезьянничая Троицу, существовал сразу в трёх лицах: у Леопольда Юрьевича была секретарша, уже год как беременная на шестом месяце, и скрывавшийся под капюшоном сторбленный ассистент. Однажды какой-то любопытный сдёрнул материю, она скользнула помощнику на плечи, и на гостя жадно усталились провалившиеся глазницы, в которых он прочитал свою судьбу. Он тут же ослеп, и с тех пор во мраке, как в зеркале, стал различать силуэты смертей являвшихся его близким, и каждый раз трясся от страха, думая, что пришли за ним...

По желанию клиентов Леопольд Юрьевич навёл порчу, насылал бородавки и болезнь, при которой текут слюни. «На всякого заику сыщется свой тугодум, — приговаривал он, дуя на воду или катая яйцо. — У каждого своя правда, да не у каждого истина...».

Ему приписывают также следующие изречения.

1. «В сотворении мира участвовали двое». Доказательством он вынимал из стола две левых руки: «Попробуй что-нибудь сделать ими». «На одной лыже далеко не уедешь, — добавлял он, — половиной ножиком не отрежешь хвост даже корове, один башмак — что босой...». Напоминая, что в сотворении до сих пор участвуют двое, на него красноречиво косилась беременная секретарша...

2. «Ваши сны ткнут другим явь, но и ваша явь — это чужие сны».

3. За комментариями Цифер отсылал к одному английскому лётчику и древнему китайскому мудрецу, стараниями которых любой мальчишка сегодня знает, что время течёт по руслу другого времени, а то в свою очередь стиснуто берегами следующего из времён, которые можно считать до тех пор, пока не закружится голова.

Леопольд Юрьевич легко находил общий язык, утверждая при этом, что у каждого язык — свой: он торчит молчанием из косноязычного рта. Сам он говорил по-еврейски, по-русски, по-китайски, с лёгким акцентом — на коптском наречии арабского и курдском диалекте фарси. Он также заговаривал грыжу, забалтывал правду и шептался с летучими мышами, но везде избегал слова «Бог». «Жить — все равно, что изъясняться на языке, которого не понимаешь, — учил он, безразлично зевая в волосатый кулак. — Языки народов только буквы, слагающие небесный алфавит...».

Говоря, однажды к Леопольду Юрьевичу пришёл учитель математики. Он жаловался на скуку: все его дни были похожи, и он точно знал, что после четверга наступит пятница. Цифер обещал помочь, но предупредил, что назад хода не будет. «А, все равно, — отмахнулся математик, — и так хоть верёвку мыль...». Сатана устался на него стеклянным

взглядом, затем, достав из воздуха его дни, перетащив, как колоду карт, разложил их веером и, вынув наугад несколько, вновь перемешал. С тех пор у математика на неделе стало семь пятниц: в один день он просыпался стариком, таким дряхлым, что мочился в постель не в силах дойти до писсуара, в другой — делал то же самое, потому что оказывался младенцем. Так вместе с порядком он избавился от скуки. А чтобы он больше не приставал, Леопольд Юрьевич разорвал и выбросил в окно день их встречи, тот полетел осенним листом и упал в лужу под водосточной трубой. Там его подобрал пускавший кораблики мальчишка, примерил на себя, ощутив вкус скуки, с отвращением выбросил, но его улыбка, ставшая с тех пор пресной, как маца, сделала эту историю достоянием молвы. В другой раз явился молодой человек, страдающий мизантропией. «Ты даже не подозреваешь, насколько дурны люди», — произнёс Леопольд Юрьевич голосом, вызывающим сочувствие. И действительно, мы видим лишь пороки, бушующие в себе, эгоист — эгоизм, похотливый — похоть, и только воплощение Порока видит сразу все. Леча подобное подобным, Цифер открыл после этого юноше глаза — тот ужаснулся и сошёл с ума. В жёлтом доме он слывёт добрейшим малым, любит врачей, облачивших его в смиренную рубашку, и санитаров, запирающих на ночь в карцер. Дело, о котором пойдёт речь, происходило в двухтысячном году, в день, который февраль занял у марта.

— Карты, звёзды, кофейная гуща? — спросил очередного посетителя Леопольд Юрьевич.

Тот покачал головой, стал топтаться, как корова на бойне, потом, сунув в рот сигарету, закурил, будто ковырял зубочисткой, и дым за его спиной свернулся письменами, которые сообщили, что он, Пётр Васильевич Горю, уже достиг возраста, когда встал вопрос, почему жизнь прошла мимо. Теперь его интересовало, с какого момента она стала декорацией, а он превратился в зрителя. Когда потерял работу? Или со скандалом ушла жена? Он цеплялся за прошлое, как за потерянный рай, оказавшись в положении человека ступившего одной ногой в отплывающую от берега лодку.

— Ах, вот оно что... Стало быть, Вы хотите заново увидеть этот сон...

У Петра Васильевича мелькнули чёртики.

— Я слышал, Вы можете... — промямлил он.

— Могу, — перебирая чётки, подтвердил Леопольд Юрьевич, — только, боюсь, он Вас разочарует...

Цифер задумчиво погладил бакенбарды, скользнул по усам, стряхивая в рот застрявшие от обеда крошки, и рассказал о том, как одному книжному червю с лицом таким узким, что мог бы облизывать собственные уши, нагадал смерть от книг. «Бедняга понял меня метафорически, — бритвой по стеклу, скрипел голос Цифера, — стал читать избирательно, украдкой перелистывая страницы, написанные желчным пером. Он опасался скрытого в них яда, а кончилось тем, что в библиотеке рухнули полки, и «Молот ведьмы», издания 1876 года, проломил ему висок». Хозяин преисподней обернул руку чётками и ребром ладони провёл по горлу: «Жизнь — простая загадка, которая с годами делается неразрешимой...».

«Судьбу, как жену, не выбирают», — поддакнул за стенкой ассистент, созерцая запавшими глазницами свой пуп.

Тишина густела водой в омуте, делаясь тяжёлой и тёмной. Но гость гнул своё.

— Я должен вернуться... Любой ценой...

За стенкой захихикали.

— Ну, цена-то неизменна, — фыркнул Леопольд Юрьевич, намекая на ту лапшу, которую с деланным безразличием вешала на уши его секретарша: «Бог дарит вечность — время одалживает Вельзевул». Цифер выдержал паузу. «Только учтите, будущее, как девственница, продукт скоропортящийся». Но пришедший, казалось, не слышал, он шарил глазами по шкафам со старинными рукописями, оплывшим семисвечником и прислонившимся затылком к стеклу пыльным черепом, который — хвастал Леопольд Юрьевич — извлёк Гамлетовский могильщик. «Однако Шекспир ошибся, — меланхолично замечал он, — это не Йорик — шуты исчезают бесследно вместе со своими шутками». Леопольд Юрьевич покрутил ус и нервно забарабанил пальцами, отчего на гостя напал чих, и он полез за платком. Тряпка уже коснулась носа, и тут Пётр Васильевич нечаянно моргнул. Когда его ресницы вновь взметнулись к бровям, шёл одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год, у него в кармане лежал паспорт на имя Василия Петровича Рогова, доктора психиатрии, он стоял на Красной площади и нелепо размахивал платком в сторону мавзолея. Мимо несли транспаранты, пахло водкой, а из транзистора шагавшего рядом парня неслась песенка «Beatles—Back in the U. s. s. r.».

Прошлое внезапно свернулось в трубочку, сквозь которую Василий Петрович видел будущее.

Недели висели теперь ключьями бороды, он опять стал частью общего сна. По утрам его будила жена, которая выделялась среди женщин, как воскресенье среди будней, он завтракал бутербродами, и на работе его окружали стосковавшиеся за ночь пациенты.

«Если время течёт, — жаловался один из них, заикаясь от волнения так сильно, что эхо между его словами успевало угаснуть, — то почему стареют всегда одинаково?» «Времени нет, — перебивал другой, — оно кончилось с победой нашей революции...». И тогда Василий Петрович вспоминал о своей исторической миссии.

Вокруг него брели лунатики, беспорядочно ощущая тьму. Он открывал газеты и поражался их слепоте. В них хвалили произведения, которые через пару лет забудут, и пророчили будущее, которое рассыплется, как карточный домик. За тучными коровами бредут тощие, читал Василий Петрович между строк, скоромное мгновение сменяет постное. «Да, да, — бормотал он, — мы уже взвешены, все мы — легче пустоты...».

В окружении скоро узнали, что у него появился пунктик. «Врач-то наш маленько тронулся», — шушукались по углам больные, сопровождая открытие смехом неслышным, как плач камней. Но сослуживцы понимали, что ненормальность только страшит от безумия, и сочувствовали. «Чтобы не ехала крыша, поезжай в Крым», — советовали они и слышали в ответ, что это за граница. «Украина — граница? — всплеснул руками один из них. — Да у меня тёща на Украине...». Напрасно Василий Петрович бился о стену, чувствуя, как капает время. «Такое и в страшном сне не привидится, — смеялись над его

апокалипсисом. Он добился лишь, что его стали подозревать в хитрости, сплетничая, что он способен вывернуть наизнанку ветер, и, сидя на стуле, целится на другой. Тогда Василий Петрович пошёл по инстанциям.

Но дальше канцелярий его не пускали. «Вы же сами врач и должны понимать, что больны, — говорили ему строго, будто сыпали за шиворот перец, и Василий Петрович ощущал себя ничтожной букашкой, в которую тычут пальцем со словами: «Давить жаль — скатерть замарают, а придётся...».

Страна представлялась ему заповедником, жадно припавшим к железным прутьям, и с завистью глядевшим на хищников, гуляющих на свободе. Интеллигенты по-прежнему засиживали слизняками кухни, коптили небо, а к его рассказам относились, как к тени от пугала.

Он бил во все колокола, но это был стрекот кузнечика в чужом сне. «Партия, — стучал костяшками домино скорченный от подагры тесть, — она на века». — «Ну, ну... — отвечал Василий Петрович. — От твоей партии уже могилой несёт». Он пробовал писать в стол, назвал роман «Покаянные дни», но дальше первой строки так и не продвинулся.

Был и другой путь: служить людям, чьи имена скоро запорошат глаза, как снежинки в метель, но Рогов с презрением отверг его — это значило стать одним из них. А бесы ему чудились уже повсюду. Он хотел пойти в церковь, но не мог. «Меня ты встречаешь на каждом углу, — скрипел внутри голос, не оставляющий эха, — а Его — только в мечтах, да книгах... Может, и правы атеисты: Он — выдумка слабых...»

Василий Петрович был упрям, и скоро его уекли в лечебницу с решётками на окнах и дверьми без ручек.

«Я так люблю родину, — признавался он соседу-невропату, и в глазах его наворачивались слёзы, — так люблю — до ненависти...».

Ночь устала моноклем луны, по занавескам плюжились клетки от решётки.

И тут он услышал знакомый голос: «Маленький, маленький Василий Петрович, ты уже понял, что мгновение — это гильотина, и люди мечутся, как зарезанные курицы, стуча крыльями по земле...».

«Да, да, — соглашался Василий Петрович, — чему быть, того не миновать». Он вспомнил вдруг птицу, которую видел мальчишкой в деревенской глуши — брызгая кровью, она бегала по двору, а её голова лежала в корзине.

И он понял, что тупик бесконечен, что судьба ведёт одинаково сразу во всех временах, потому что по множеству тропинок к могиле движется один человек — её будущий хозяин...

Василий Петрович пошёл на кухню, выпросил у дежурного чаю и развёл в нём дозу снотворного, способную свалить лошадь. Был день, который февраль занимает у марта. Наблюдая это воскрешение на заднем дворе, Леопольд Юрьевич равнодушно вздохнул: «Во сне возможно все, только поправить ничего нельзя».

На столе зевал циферблатом телефон, беременная секретарша штопала рыбьей костью рваные колготки, и тускло светились глазницы ассистента, в которых не было ни прошлого, ни будущего, а от их настоящего замертво падали птицы...

Арина Романова

Я—зерно



Когда на экране сотового
высвечивается твой номер,
мой пульс спокоен.
И сердце в покое.
Нет, я не путаю любовь с кардионеврозом,
просто то, что считала поэзией
Обернулось суровой прозой.

Вот только не надо
слушать Мальмстина.
Не делать дыхания искусственного любви.
Не возвращать ей ушедшей силы.

Нет нужды воскрешать,
делать из неё зомби,
оживлять то,
что душу уже не питает,
то, что жизнью её не кормит.

Но,
Все же я — не беглец какой-нибудь.
Столько пройдено.
Столько понято.
Просто — храброй безумству спой и
дальше — до самого-самого края,
и загляни туда,
что там — за?

Боже мой, боже.
Ещё дороже...
Такие родные — твои глаза...



Расставляю ловушки для снов,
зеркальцем карманным ловлю лунных зайцев,
лунный свет серебристой пылью
оседает на моих пальцах.
Из песочных часов тонкой струйкой течёт
время — песок.
Просеиваю пустыню.
И разглядываю, разглядываю пустое решето:
дата, имя и — иже с ними...
А на балконе моём целуются голуби,
увеличивая количество любви в мире.
Я не знаю сама — чего мне хочется,
пустоту этой ночи
какими наполнить мечтами?

...Надо мною утробно хохочет
безголовая языческая Буабо.
Она видит меня насквозь —
сосками.



Такая жара...
жарит и жарит,
расплавлены мысли, изжарены чувства —
пусто...
Хочется грозы
всеочищающей,
чтобы молния вспорола
небесный занавес
косо,
и гром зарыдал из-за туч,
как в трагедиях греческих хор
многоголоса.
И тогда —
я заплачу
из-за всех своих масеньких трагедий,
подчиняясь зову, и, вторя хору:
Amore, ami, amaretto, amore !
Ом! Аум! Аминь!
Зной иссушающий, смойся,
исчезни, сгинь!
Но парит и парит,
на лбу — испарина
Я — пария
Я — рифма непарная.
Превозмогая сплин,
пересиливая сон.
Я притягиваю руками молнии —
пусть предназначенное
свершится вовремя.
Я призываю гром,
пусть то, чему быть —
сбудется,
отмолю, если получится.
А, впрочем, неважно,
что будет
потом.



Выбираясь из плена собственных Элевсинских мистерий,
учусь не бояться тени, не выставлять ей счёт и не устраивать истерик.
Но, грозовой тучей, собирает громы на мою голову тайна,
сотрясая устои моего мира, а в нём — меня,
вторгшаяся в мою жизнь, своей закономерностью случайной.
Строгий судия, он же — палач, прямо в ухо твердит:

«Пленных — не брать!»

И я придумываю: в оправдание, что бы такое ему,
а заодно, и себе соврать?

И, тогда, тень, испугавшись меня, убегает прочь.

И, в тот же миг — заканчивается Мой День,
и начинается Моя Ночь.

Теперь я буду Персефоно-Корой бродить
в потёмках собственных подземелий,
собирая корни нездешних трав
для воскрешающих меня зелий.

И мой звонкий смех превратится в беззвучный плач,
потому и не услышит его, и не смилуется мой палач.

А, когда иссохнут потоки слёз,
в бесконечной ночи, ночи без сна,
воплощая в реальность, самую сладкую из грёз —
в мою жизнь рассветом ворвётся весна...



Начинается период Великого оледенения
В моей личной Новейшей истории,
миллионам лет равен этот день,
каждая секунда течёт тягучим тысячелетием...
Бабочкой, согретой слезами смолистых сосен,
застываю,

в янтарь оправленная,
собрана пыльца с трав медоносных,
а крылышки — для полёта расправлены...

Нет!

Я лучше уподоблюсь Тоту
и сыграю в шашки
с самой Селеной,
выиграю часть её свечения —

в дар получу эпагомену
и отпраздную новое рождение.

Я по-своему перечитаю все мифы, тексты пирамид
и саркофагов,

путешествуя, не вставая с кресла,
побываю, помолюсь во всех храмах.

Устремляю свой взор к небу —
их глубинной памяти всплывает:

«Я живу и расту в Непри»,
возрождаюсь и умираю...

Я — зерно,

Я — не исчезаю.



Аригато дзайсё!

Спасибо иллюзиям!

Вы мне были и другом, и мужем, и музами.

Умела видеть только то, что хотела.

И слышала только то, что хотела.

Выватывая между строк, как кошка, уворованный
сладкий для слуха кусок.

И то, что совы совсем не то, чем они кажутся —

К общей выгоде для меня
обязательно свяжется.

Но так случилось, что этот лес, это небо и эта река
меня возвращают к самой себе издалека.

Издалека-издалека я
возвращаюсь к себе,
возвращая себе вся и всё.
Аригато дзайсё.



Начинаю новую жизнь с понедельника.

Мой понедельник начинается в среду,
где-то — ближе к обеду...

Составляю план дел,
и, ему строго следуя,
с презрением к лени —
тружусь до победы я.

По выходным — молитвы и медитации,
все пустые иллюзии — под контролем
у рацию.

Невротичность собственной личности
спрячу Богу за пазуху.

...В среду, после обеда.

по пути на работу размышляю

о Дао физики Копры,

но, на беду, оглянулся мне вслед
такой красивый мужчина,

и я, обернувшись в ответ,

По-кошачьи изгибаю спину.

ТЬфу-ты!!! Вот ведь — Евино семя,
нашла же время!

Но именно этот факт
поднимает мне настроение.

г. Анжеро-Судженск



Айрат Бик-Булатов На солнечной странице букваря

256
Диагноз



Платье белое милой я вышью,
Рукодельник, волшебник, поэт,
И отправлюсь серебряной мышью
В первый раз открывать белый свет...

Где живёт моя милая донна?
Может быть в тридевятих дворцах,
И бездонная чаша — корона
Утопает в её волосах.

Не для нас те дворцы возводили,
Зря на зуб я пытал их замок.
В сельской школе, слышал, возродили
Злые дети живой уголочек.

Вот туда мне прямая дорога,
В клеть войду стар и седоволос,
Там меня мальчуган худоногий
Приподнимет за розовый хвост.

Весь от страха сожмусь, как зародыш,
Часто лапками я засучу,
И воскликнет пацан: «Ого-го, мышь!»
И отправят меня к ветврачу.

Что-то белое вколот под сердце,
И когда наконец-то усну,
То увидеть смогу, как невеста
По дорожке взойдёт на луну.

Я за ней никогда не поеду,
Тонко плакают капельки с крыш,
Просыпаюсь в квартире соседа —
Я — поэт, я — волшебник, я мышшь!



Милиционер остановил меня, полного чемоданом, а ну-ка,
Де, предьявите, документики, товарищ иногородний.
С какой целью в Москву, де, пожаловали, к кому, как
Долго планируете пробыть в столице нашей Родины?
А я — тщедушный — прижимал чемоданчик к коленям...
Смотрел на него, и глаза свои мне мерещились синими.
Я, геолог, знаете ли, я всю Сибирь исколесил, а нынче из самой
Последней иду экспедиции, вот, не хотите ли, шпаты!
И предьявил ему сад из прекрасных камней,
Аккуратно сложенных вдоль бассейна всего чемодана...
Я видел, милиционер, смотрел на меня обескуражено.
Мой чемодан был распахнут, и пасть чемоданья мне закрывала колени...
А из неё торчали ненужные государству шпаты...
И глупо смотрел на меня человек, он был бесхитростный и неуклюжий,
Как первый гений...



От рождения я не стал поляком,
И чехом не стал, и негром,
И девочкой, и инвалидом с рождения...
В одиннадцать лет — я уже фигуристом не стал,
Не стал я танцором балетным,
В семнадцать лет — дирижёром не стал,
В двадцать девять — геологом,
Физиком, химиком, холостяком,
А позже — не стал я ни разу не разведённым,
Не стал монархистом и коммунистом не стал,
Коллекцию марок не стал — а думал, что стану
Копить, умножать для себя, вместо денег и славы...
Я говорю лишь о том здесь, кем стать уже поздно,
Не поздно — собаководом и садоводом,
И эмигрантом не поздно, и репатриантом,
И в Бога уверовать, выучить два монолога
Из «Гамлета» — тоже вполне ещё
Я в состоянии... я в состоянии сна...
А вот — я в состоянии страха...
Я в состоянии смеха и удивления...
Я в состоянии гнева... Я в состоянии Любви —
Я несчастный... Счастливый... Я от рождения голый.
Я от рождения мальчик. Я от рождения сын.
Мне читали стихи от рожденья...
И уже вот я — что-то люблю,
А что-то не очень, а что-то терпеть не могу,
А вот — на мне жёлтые брюки,
А вот — я слушаю джаз,
А вот — я смотрю на верхушки
Деревьев, деревьев, деревьев... неба... деревьев...

Хоть что-то смогу,
а чего-то лишённый с начала,
Я гуляю по саду босыми ногами младенца...



Когда губы тонки
 И плечи тонки
 И грудь тонка
 Тогда
 Встаёшь у токарного станка!
 Тогда
 Становишься твёрд!
 Тогда вперёд и вперёд!
 Тогда выросл и серьёзен!
 И лозунг честен и грозен,
 А не как «лозунг» — стар и прост.
 Тогда моё «верю» — становится «верую»...
 Тогда не подслушиваю за дверью
 В домашних тапочках и пижамце,
 Как мама причитает при отце.
 Тогда сам я — мужчина и отец!
 Я научу жить моего ребёнка.
 Когда губы тонки.
 И плечи тонки.
 И грудь тонка и нога
 Влезает свободно в горло сапога!
 И мне тринадцать
 Ещё не исполнилось.
 И я — выросл,
 Как никогда после.
 В тридцать пять я буду худшим отцом,
 Чем был бы в тринадцать,
 Когда губы... трогают слепое солнце.

Признание в любви

Как рассказать тебе о своём пути?
 Когда не услышал гласа: «Встань и иди!»
 Когда пошёл без чьего-то «встань», а просто — встал.
 И пошёл. И где там, и что искал?

И когда весь путь мой был — не велик, не мал,
 Но я всё же шёл по нему. А ты — по делам,
 По моим, между прочим, делам семенишь с утра
 (а я из карты вырезаю Байкал).
 А у меня, между прочим, есть мать и ещё сестра.
 И ты у меня, и дома — такой бедлам...

До самой далёкой и нужной звезды у меня
 Путь проходит вдоль во-о-он того плетня...
 Видишь? Пойдёшь со мною до самых пор?
 Что ж, остановимся здесь...

Начинай чинить забор,
 А я, пожалуй, пойду...

Вы — чините, чините...
 Мне без вас не добыть звезду.
 Мне нужен новый забор, и старый овраг.

По-другому — нельзя...

Извини, но по-другому никак.
 Но завтра, прошу я, за завтраком и разговором...
 Не пеняй мне моей звезды ты своим забором.

Я люблю тебя...



Москва. Октябрь. Хмурый город.
 Иду под дождь в одно из утр,
 Рукой поддерживая ворот,
 В парк-сад заброшенных скульптур.

Здесь кто-то — с самого начала,
 А кто-то — содран с площадей.
 Ах, где их только не стояло,
 Стоящих ныне вдоль алей.

Вхожу! Мне нечего бояться!
 Навстречу мне у входа в сад:
 Пустой киоск с табличкой «касса»,
 Пожалуй, первый экспонат!

Вот Лениных немая стая
 Глядится в марево небес,
 А здесь стоит товарищ Сталин,
 И репрессированных лес...

Железный Феликс смотрит востро.
 Толпой низложен, падал ниц,
 А утром — капельками слёзы
 Текли из бронзовых глазниц.

Теперь стоит он здесь, болезный,
 И я подумал ни с того:
 «И даже Феликс — не железный!»,
 И даже жаль чуть-чуть его.

А за забором — город целый,
 Машин московских нервный рой,
 Там Пётр, работы Церетели,
 Как за кладбищенской стеной,

Глядит дородным истуканом
 Он, видно, сильно виноват,
 Раз водружён на эстакаду,
 И не допущен к прочим в сад,

Где маршал Жуков при параде,
 Эйнштейн с Нильс Бором на паях,
 Махатма Ганди в листопаде
 Красив, как ласковый монах...

Молчат застывшие фигуры
 Печальный садик — вот ты весь:
 Такие разные скульптуры
 Зачем-то собранные здесь.

Я у одной — стою, задумчив,
 И отвести не смею взгляд:
 На бронзовом кресте могучем
 Солдатик голенький распят...

~
 Любимая, припомни свой восторг.
 Дождь в рукавах нащупал водосток
 И вытекал. И я насквозь промок.
 И Ватикан
 Своих святых отцов
 Услал на верфи.

Мы строили
 большие корабли,
 То лодочки, то «брёвна собери,
 И будет плот», и «среди нас, смотри —
 Сам Пётр Первый».

Припомни милая... Ты не припомнишь?... что же...
 Пять лет назад я был стократ моложе.
 Я был Сократ.

Погода стала мрачной
 С утра. И номера для новобрачных
 Все заняты, и это значит — нам
 По разным разбредаться номерам.

Я вырос в пса. И от того, тем паче,
 Былой восторг не сможет стать щенячьим,
 Что я и сам щенком бы стать не смог.
 Я невпопад припомнил свой восторг!

Ах, милая!
 Ну что всё это значит?

~
 Заболеваю вдрызг от перебранок,
 Иль бросить всё? Опять найти кровать?
 Нет, лучше я куплю себе рубанок
 И буду доскам кудри завивать.
 Я буду плотник, это лучше, выше,
 Чем нервно жить в предчувствии войны,
 К тому ж у них, у плотников, я слышал,
 Рождаются достойные сыны.
 Я за работой — и силён, и статен,
 Я так красив за плотницким столом.
 Нам Богом был рубанок в руки даден,
 Чтоб всяк сумел себе построить дом.
 Всё решено, надену старый фартук
 (Его в наследство мне оставил дед),
 Схвачу... Схвачусь! Руками за рубанок! —
 Мой Буратино явится на свет!

~
 Я русских рек верховий и низовий
 Истаптывал довольно.

Испытывал Бетховена Везувий

А нас с тобою — голос колокольный
 И гладкоствольный

Пытали. Ты уступчив. Я усталый.
 Мы утолим над водами Италии
 Во-первых — сон.
 Наш возраст — во-вторых,
 И третьим — Рим!

Мы утолим.

Я соберу под флаг,
 Под белый флаг — полки своих бездомных,
 Таких как я, забытых, отселённых
 Гуртом за сто какой-то километр.

Я жив ещё среди своих безумий.
 Считают про меня, что я духовен.
 А до меня испытывал Везувий —
 Бетховен!

~
 Святое детство въёжилось в букварь
 И там заснуло на пяти страницах.
 Чудак-поэт ушёл грустить в январь,
 Ему ночами одному не спится.
 Он бродит среди вьюг и фонарей,
 Как допотопный сторож с колотушкой
 У детских снов и детских букварей,
 Подставленных под крохотные ушки.
 О, не вспугните хрупкость детских снов,
 И тишины святой не потревожьте!
 Поэт найдёт себе и дом, и кров,
 А нынче — спит в нетопленной сторожке.
 Весной и утром встанет рано-рано,
 Когда в лесу не занялась заря...
 О, как прекрасно — ма-ма мы-ла ра-му —
 На солнечной странице букваря!

г. Казань

Антон Прозоров

Краеугольный выбор



ВЕЩИ

записка любовная школьных лет,
случайный мотив в эфире,
рубашка на выход, входной билет
и всё, что бывает в мире,

а именно: имя, трава, звезда,
и вдруг — в подворотне эхо,
и необратимые поезда,
и те, кто на них уехал,

и этот раскинувшийся кругом,
опутанный сетью трещин,
пронизанный светом
огромный дом,
где ты собираешь вещи.

ВЫСОТКИ

даже высотки знают, что небо — дом,
тянут ладони к свету, пока растут,
это потом их сковывает бетон
и обвивает горло железный прут.
я крановщик, я знаю, что говорю,
видел не раз, как падает в небо кран,
как арматура вспарывает зарю
и окропляет пепельный котлован,
как расправляет крылья над пустырём
архитектурный комплекс, пыля окрест,
стряхивая леса, и, ты знаешь, в нём
минимум миллион пассажирских мест.

ТРАНЗИТ

только подумать: кажется, добрались,
вот оно — лето, вот он — ночлег страховочный,
а к лобовому вдруг прилипает лист,
словно талон парковочный.

двинуться дальше, в сумерках утопать,
помнить, что лето в этом году — последнее,
и за баранкой медленно засыпать...
осень стоит нелётная и нелетняя.

осень писать — бумагу зазря марать.
лучше, чем было сказано, не получится:
жизнь понемногу учится умирать,
смерть ничему не учится.

СОННИК

а она ты знаешь жила негромко
собирала мысли слова дела
собирала марки с волнистой кромкой
собирала счастье не собрала

подступила осень усталость старость
и рефрен такой мол пора пора
в телефонной книге её остались
только раритетные номера

а какие платья поди надень их
не по моде нынче не тот стандарт
но её коллекция сновидений
и сейчас невиданный авангард

так бывало ночью в лицо ударит
белоснежный ветер но вот беда
эти сны кому их потом куда их
никому наверное никуда

до свиданья жаворонки и совы
трепетанье ситцевой пелены
до чего мы господа невесомы
несладимы прозрачны неполны



Отец меня брал под мышки, переносил за перила.
С той стороны моста
болтались смешные сандалики.
Там внизу по воде мурашки бежали.
Воды боялся, и высоты боялся, но перестал.
Теперь ничего не страшно — и это страшно.

Голуби. Мостовые. Замок на берегу.
Психологи говорят, от двух до семи —
краеугольный выбор.
У меня был город Выборг, и я его берегу.
У меня и сейчас есть Выборг.

259

январь

будет январь и будет январь опять,
 белый, словно алгебра ледяной,
 будешь в сугробах падать и утопать,
 как сухопутный ной.

будет январь стоять, а тебе идти,
 герда ли, кай ли — не разобрать в метель,
 на циферблате вечность без девяти,
 мир сорвало с петель

будут отныне: гулкая синева,
 холод сквозной, след, уходящий след,
 снег медленный-медленный как в синема,
 непоправимый свет.

титры

- солнце разбрызгано по сугробам
- ставят капельницу зиме
 [не отвлекаемся, смотрим в оба]
- май дрожит как воздушный змей
- шумный широкоформатный ливень
- палой листвы на полу возня...

можно было и кропотливей,
 можно было подробней снять.
 малобюджетный, короткометражный
 год на исходе, экран погас,
 и в кинозале пустом и страшном
 валяются титры, заносят нас.

отец

так учил он меня летать забрасывал в небо и говорил лети
 хапай крыльями пустоту набирай высоту обживай простор
 сын мой будет тебе закат позади восход впереди
 не смотри на мать что рыдает что тянет руки постой постой
 у неё другая сила иное дело на то и мать
 дай ей волю век бы жалела держала тебя птенцом
 а тебе положено облака кроить синеву просеивать ветер мять
 выйдет срок сын мой станешь и ты отцом

г. Санкт-Петербург

сентябрь

надо же было мальчиком или кем
 вляпаться в осень врезаться в листопад
 рухнуть как подкошенный манекен
 в самый крошечный сумеречный разлад

в тело без спроса вламывается жизнь
 ветер идёт раскосый идёт вода
 валяются декорации муляжи
 ложные трафаретные города

нет ничего помимо любви и лжи
 есть нагота омытая сентябрём
 нет ничего что не означает жизнь
 нет ничего что значило бы умрём

октябрь

Чёрный сарай на станции погорелой,
 в воздухе горечь, кровью земля пропитана,
 хмурые дни, охваченные гангреной,
 прелые листья пахнут печалью приторной.

Выкурить самокрутку, запечь картошку,
 вымазать руки в саже, и вдруг привидится:
 нас закопают в красной кирпичной крошке,
 где-нибудь тут, под Винницей.

Елена Оболикшта

Стынущее дерево у бедного окна



1.
Ли Бо вернулся либо это боль
ходила по воде ко мне спиной
и реки были долгой тишиною
Ли Бо вернулся чтобы стать одной

там где дожди у Бога в рукавах
он видел он шептал они отвесны
и что-то странное об островах
и детстве

2.
когда поёт непреднамеренно страна
порезанные страшно прятать пальцы
он говорил но зажили слова

и оборачивается словарь
в косых снегах слетевшихся от Бога
слова как лодки прорастающие в лёд
и вот уже не видно этих лодок
а дерево корнями небо пьёт



*«...единственное тёплое течение»
С. Ивкин*

а на земле где пламя шелестит
и время пьётся долгими глотками
наутро восковой ребёнок спит
раскинув руки в воздухе над нами

пустая деревянная страна
звучит как рифма будущего крика
на первый вдох она белым-бела
на выдох незнакома безъязыка

как парашют наш круглый потолок
исписан нерассказанными снами
несёт его прозрачными руками
ребёнок оставаясь между строк



длится молчание в лицах
столько-то лет

изо рта высыпаются птицы
каменные и нет

слов легковесных воду я
Господи лил водой

Там никого кроме голубя
сказанного Тобой



вполголоса вдоль голого моста
где рыбы моих пролитых молитв
шептали нам осталось нам до ста
и реки заколоченные встык

на гнёзда улыбается вода
и ходит по разбитым и причалам
голод оглянувшийся когда
оправдываясь говорит сначала

ему несут сколоченные из
еловые хлеба с одним и тем же словом
такие берега что к ночи добрались
и со слезами ел он хлеб сосновый

теперь один невидимый для всех
шатаясь новорожденным трамваем
идёт (плавник приподымая вверх)
и круглый лоб на воду опускает



я стынущее дерево у бедного окна
единственное где молчание легчайше
проваливаюсь в сон и глиняна стена
где тонкие рябины у воды пропащи
висят слепые сны по лестницам у стен
я верую в кругом расставленных крылатых
сквозной петлёю слов затынется на мне
венки их рук протянутых куда-то



доплыли до меня в темноте
так углём на бумагу
осыпаются линии
плотно уютятся по кругу
а уголь отточен неровно
они направляются к югу
катятся рядышком
ранами плачут бескровно
и я их одна стерегу
мои сны меня водят по кругу
из которого некуда плыть
даже если испишется уголь
любить
это дар пить с ладони
дай руку

261



звук целится в тебя когда рукам свинцово
 твоим ста головам прохладно у виска
 переводимо все от слова и до слова
 но птичьего не помня языка

я за тебя (молчать) боюсь но зрячая до боли
 я прохожу насквозь закрытые дома
 не зажимая рта на что не хватает воли
 когда зима

я раскололась выходя из тела
 забыла о себе (читай: о смерти)
 прокрустова доска белее мела
 которм чёрный снег рисуют дети



горловая песня мёртвая петля
 стой на честном месте не тесни меня

этот воздух ранен сталью звуковой
 край родной мой ровной раны ножевой

заболело нёбо небом языка
 так темно у Бога но бела рука

покрывая землю иней нелюбви
 в теменную темень выпорхнет лови

соловья на сало
 хлеб на валуны

недосол обычный на столе страны

горловая песня мёртвая петля
 затыни потуже только не меня

разведя колени вплоть до поколений
 по колено в дыме ходим
 говоря



отчего ты горишь
 деревянный пустой вокзал
 я встречаю дожди
 я вхожу в них как в кинозал
 где собаки живут
 и рядами летает вой
 где кого-то несут
 улыбается как живой
 привыкая к зиме
 что не снилась ещё а ждёт
 с кем об этом вдвойне
 недоговорить найдёт
 исходя как ни в чём
 в тихий почерк вобравший стыд
 мы по кругу речем
 бестелесно почти навзрыд



от камень выронившей руки
 хожу прудами кругами рук
 вода расступится на круги
 ищу глазами на небе крик

четыре стороны хоть куда
 прости Марина я не о том
 берёт беда и ведёт беда
 в наполовину забытый дом

пустого слова не бери
 твоя ли чаша другим легка
 иди на дым ибо дым в груди
 полна ли память а коротка



стеклянный дом из белой немоты
 на тонком стебле

прозрачный дом распахнутой воды
 водой колеблем

ты засыпаешь потолок струится
 струятся нити

из темноты сплетённые страницы
 на свет несите

меня одну плывущую по шву
 подводных окон

снаружи сон похож на ультразвук
 на цепкий кокон

из нитей страха игл и обид
 водой колеблем

новорождённый дом ещё не спит
 ещё не слеплен



пристально молчит
 ласточка на камень
 девочка поёт
 глядя в темноту
 где-то посреди
 северных названий
 я тебя как веру обрету
 поезда везут
 мёртвые деревья
 поперёк страны
 вдоль живых берёз
 я прочту тебя
 как стихотворение
 тихо затвержу
 и проснусь от слёз

г. Новоуральск

Владимир Беляев Ре минор



Тревожный воздух железнодорожный.
За лесом гул, и свет зелёный дан.
На лавочке в солдатиков играет
ребёнок ростом с папин чемодан.

А ты, дурак, недельную разлуку
переживаешь чуть ли не до слёз.
Смакуешь грусть. Ты даже не заметил —
малыш тебе солдатика принёс...

Так скорый мчится мимо полустанка,
где жизнь твоя в сандаликах стоит
и ест пломбир за двадцать две копейки,
перебивая сладким аппетит.



Так учили курить взятяг —
вбираешь дым, говоришь «ап-те-ка».
Позже — девочки, дискотека,
дешёвый коньяк в канистре.
Бюстгальтер — на люстре.
В общем, бардак.

Как разложить это все по полкам?
Как совместить с тем опытом,
о котором — только намёком,
только шёпотом?
Вот ты поставил себе задачу,
и сразу — уйма хлопот.
Читатель требует мороженое на сдачу,
на третье — компот.

Найдёшь в себе силы сказать «нет»,
выйти из кухни, из магазина?
Ведь поэзия — это свет,
а не потребительская корзина.

И ты выходишь в уютный дворик.
Думаешь — здесь легко?
Курит на корточках дядя Боря
в рваном трико.
Ладит скворечник дядя Серёжа,
сам с собой говоря.
Ты ведь хотел быть на них похожим...
Зря.
Твои одногодки — Антон и Катя.
У Антона — новый значок.
У Кати — модное платье.
Завидуешь им, дурачок.



вот уже собраны листья, как личные вещи.
утром разбудят, выведут на мороз.
какие увидишь лица, кем будешь встречен?
ты знаешь ответ, но не на этот вопрос.

все близкие там, где память — ещё не память.
где всяких диковинок полон июньский двор.
жук на ладони, жасмина белое пламя...
зима — больничный пустой коридор.

тот коридор, который впервые покинув,
увидел, как солнце прячется в облаках.
это сегодня ветер толкает в спину,
а тогда — несли на руках.



Снова северный дует, колдует -
наугад открывает тетрадь
и осеннюю тему диктует:
«Почему я боюсь умирать».

Снова несовершенство разлуки
начинается с красной строки.
И вдыхают хрустальные звуки
на скамейке в саду старики.

Заучив пунктуацию улиц,
орфографию чащи людской,
я вот так же, кряхтя и сутулясь,
через парк побреду на покой.

И никто мне не скажет «до встречи»,
и замкнётся за мной алфавит.
Только тишь, недоступная речи,
только мраморных слов монолит.

Так зачем в этом розовом свете
отшпептавшие листья горят,
это дерево, облако, ветер
говорят, говорят, говорят...

азбука леса — крестики, точки, тире.
 считаешь следы, застывшие в январе.
 знак превращается в звук, и со всех сторон —
 разноголосица галок, синиц, ворон.
 люди прошли здесь или ещё пройдут.
 люди всему названия раздают.
 каждый пытается песню свою нести.
 снежные горы на млечном встают пути.
 там облака выдыхает холодный бог.
 сон его так непролазен и так глубок,
 что в буреломах, расщелинах этого сна
 музыка нам просторна, а речь тесна.

Но я живу — и жизнь моя легка,
 как свет в конце, как вдох издалека.
 И тени убегают с потолка
 воскресной спальни.

И время застывает на стене,
 пока я таю в медленном окне,
 пока ловлю в небесной глубине
 напев пасхальный.

И нет уже ни страха, ни вины.
 И только — мир с обратной стороны,
 где проросли ромашковые сны
 сквозь одеяло.

И я звучу — на радиоволне,
 на парапетах в птичьей толкотне.
 И все антенны тянутся ко мне
 и ждут сигнала.

Ре минор

эта музыка,
 как стеклянный рождественский шар,
 но внутри — настоящий декабрь,
 всё настоящее — небо и город под ним
 поднимают шлагбаум. из ворот выезжает повозка.
 неуклюжая лошадь бредёт по булыжной дороге.
 отозвавшись на скрип колеса,
 с ветки вспорхнула ворона — падают белые ноты...
 так негашёная известь летит в могилу...
 и разбивается вдребезги пойманный свет.

Иди за мной черёмуховым снегом,
 иди за мной сиреневым дождём,
 пока ты не придуман человеком
 и не рождён.

Иди и просыпайся лепестками —
 и времени, и месту вопреки —
 на плачущую девушку, на камень,
 на черепки.

Иди и не придумывай — могли мы
 отдать себя унылому божку?
 В каком аду нас вылепят из глины
 и обожгут?

Песенка

Там, где позднее окно
 в ранний сад отворено,
 где на лавочке зелёной
 вянет красное вино,
 где сверчковая гульба,
 светлячковая гурьба,
 ходит-бродит взрослый мальчик
 с детской песней на губах.

Тают сладкие слова.
 Зреют горькие слова.
 Скоро-скоро в синем небе
 вспыхнет жёлтая листва.
 Мышь затихнет, жук заснёт,
 в нору спрячется енот,
 и заплачет старый мальчик,
 испугавшись новых нот.

Полно слёзы лить, старик.
 Улыбнись скорей, старик!
 Ты забудешь летний щебет,
 ледяной вороний крик.
 Не красива, не страшна —
 всех укроет тишина
 там, где жизнь не различима —
 где не названа она.



Да забудь ты про всех, и примерь пятистопный анапест —
хоть затаскан уже, хоть слегка, так сказать, длинноват.
Без оглядки шагай, — зацелован и пьян, разухабист, —
и дерзи, балагурь, улюлюкай, рифмуй наугад.
Признавайся в любви той затейнице, девочке Тае,
чья подробность одежды болтается в пятой строке.
Но затянешься словом «аптека», и юность растает...
Снова детство, деревня. Родные стоят вдалеке.
Слышен грохот ведра, разгоняется ручка колодца
с нарастающим гулом у глупой моей головы.
Кто зовёт и отводит меня, кто так тонко смеётся?
Поднимается ветер. Теряется в шуме листвы
голос слабый второй, призывавший на месте остаться.
А тогда бы, представь, на секунду поверить ему...
Что ты плачешь, дурак, — здесь по тексту нельзя разрыдаться
и признаться в бессилье своём — никому, никому.



Видишь, пристань укрыта плакучей ветлой —
дачный август забытого года.
Там подросток склонился над чёрной водой,
будто в поисках чёрного хода
из опасной, запутанной, длинной, чужой...
Оглянись — по своей и короткой
он шагает с простой среднерусской душой,
щеголя испанской бородкой, —
через гулкий, заросший акацией двор,
улыбаясь студенткам и вдовам.
Сам себе донжуан, сам себе командор —
семафорной звездой околдован,
что, лукаво мерцая, вела наугад —
в Волгоград, в Элисту, или в Ровно.
Вот в саду сновидений построились в ряд
все его галатеи петровны.
Вот старик наблюдает за поздней баржой,
уходящей по лунному следу.
Он бы также ушёл — по желанной, чужой,
бросив камешек в сельскую Лету.
Не сумевший принять эту жизнь, как намёк,
что он видел в туманном пределе?
Между гипсовых статуй блуждал огонёк
и терялся в цветах асфодели.

г. Царское Село



Рахман Кусимов

Carpe diem

Троллейбус

1.
Пространство возьмём небольшое,
Пейзаж: остановка и снег.
Стоит человек в капюшоне,
Троллейбуса ждёт человек.

С ним жизнь поступила жестоко,
И можно в уныние впасть:
Он — часть пассажиропотока,
При этом не лучшая часть.

2.
И хочется ехать, и надо,
И значит, уйти не резон,
Но куда спрятаться взгляду:
Куда ни взгляни — горизонт.

Он скачет по кругу, как пони.
Маршрут: ожидание — путь,
И всё, что положено, помни,
И всё остальное забудь.

3.
Займись хоть борьбой джиу-джитсу,
Кури хоть «Казбек», хоть «L&M»,
А чем это всё завершится —
Возможно, что вовсе ничем.

Но тянутся наши дороги,
И ангел не спит за плечом.
Мы тоже по-своему боги,
А в чём — да без разницы, в чём.

4.
Ты знаешь,
в делах и скитаньях,
меняя в окне города,
Я понял великую тайну:
я понял, что всё — ерунда.

Звони, если помнишь мой номер.
Звони, чтоб услышать о том,
Что всё незначительно, кроме...

А, впрочем, об этом потом...

Ч/6

говорила
мне пора
мне пора
собиралась
не дождавшись утра
оставляла непогашенным свет
в коридоре
и вослед
и вослед

стали третьим друг для друга плечом
рассуждали ни о чём
ни о чём
наизусть запоминали слова
в коих смысла набиралось едва

были счастливы ловили такси
от удельной колесили к лиси
пахло
свежестью
сиренью
весной
приблизительно в районе лесной

выезжали на пленэр иногда
успокаивали лес и вода
возвращались в темп столичный с трудом
сколько улиц в петербурге
дурдом

у знакомого
что редко звонит
неожиданно нашёлся зенит
и застыли эти два чудака
с фотографии смотрят в облака

~ К. С.

И вот, в книге жизни, в такой-то главе,
Едва собираешься быть нерадивым,
Не совесть, не Бог, а другой человек
Становится нравственным императивом.

И он, без почёта к замкам и дверям
Являясь во сне, улыбаясь на фото,
Так честен с тобой, неподделен и прям,
Что видишь в себе бутафорское что-то.

Живёшь, как жилось, будто всё проглядел,
Бровей не подняв и не дрогнув рукою,
Но чувствуешь мелочность мыслей и дел,
И что-то ещё.
Совершенно другое.

Сестрорецк

И вовсе не затем, чтоб чтил искусствовед,
С восторгом посвятив статью твоей картине,
Ты нарисуй июль, раскрась в зелёный цвет,
Добавить не забыв двоих посередине.
Пусть это будешь ты — веснушками рябя,
Идущая к воде, красива, молчалива;
Пусть это буду я, глядящий на тебя,
Пусть это будем мы на берегу залива.
Вот чайка над волной, вот яхта вдалеке,
И тишина вокруг стоит глухонемая.
Скажи мне на каком угодно языке —
Я всё, как есть, пойму, дивясь, что понимаю.
Внимаю, как школяр, покою здешних вод,
А в гомон городской пока ещё не тянет,
И вовсе не затем, чтоб чтил экскурсовод,
Незрими́ми ему
Веди меня путями.

белое

Это что-то из детства, из школьных лет:
Вот он падает, белый, большой;
Я в ларьке покупаю печенье и свежий хлеб,
И ещё ничего за душой.

Это что-то и вправду из той поры,
Время вспятит, того и гляди, —
Я съезжаю на санках с высокой горы,
И ещё ничего позади.

И метель в лицо мне, и, сквозь прищур,
Сам себя вижу в старом пальто:
Я ищу тех, кто спрятался, я ищу,
А ещё не потерял никто.

И учитель в школе, суров и зол,
Смотрит очень нехорошо:
На дом задали жизнь, а ты, вот позор,
Неготовым к уроку пришёл.

Майская метель

По улицам, которых не узнал,
Ступаешь, воротник приподнимая, —
В снегу Екатерининский канал;
Метель во все концы в разгаре мая.

И хочется домой, домой, домой,
Но ходишь, удивлённо лицезрея
Такие пробки, что ни Боже мой:
Пешком быстрее.

День выдался на редкость непогож,
Синоптиков не выполнив приказ, но
В такие дни острей осознаёшь,
Как жизнь грустна, бессмысленна, прекрасна.

А можно, позабыв о ерунде,
Сощурившись от снега и от ветра,
Шепнуть сакраментальное «Ты где?», —
И ждать ответа.

Carpe diem

В этот медленный, медленный день,
Заносящий листвою пути,
Будет холодно, что ни надень,
И невесело, как ни шути.

Есть причины для боли в виске,
И, когда всё на свете вверх дном,
На каком бы сказать языке
Что не выскажешь ни на одном?

Только то и умею, могу;
Только тем я, наверно, и жив,
Что ловлю каждый миг на бегу
И жалею о нём, упустив.

Нам бы времени чуть одолжить —
Мы бы в счёт этих дней и ночей
Стали по-настоящему жить:
До подробностей, до мелочей.

Мы бы в счёт этих месяцев-лет
Обустроили собственный рай.
Вот и жалко, что времени нет,
Даже если его — через край.

Троллейбус II

Сидеть в троллейбусе голубом,
Без всяких «быстрее, ну!»,
И слушать плеер, прижавшись лбом
К троллейбусному окну,
А там — пейзажи, что хоть в альбом,
Но кисти не обмакну.

Плывёт, как рыба, в окне собор.
Я призрак — я глух и нем.
А кем и быть-то, как не собой,
И как не с тобой, так с кем?
Но транспорт едет мой голубой,
Невольник маршрутных схем.

И в этом, собственно, вся беда:
Он едет, включив огни,
Пока протянуты провода,
А дальше уже ни-ни.
И лишь кондукторша скажет: «Мда.
Конечная, извини».

У всех — дорога. Никто не свят.
И не предсказать маршрут.
Иные едут куда хотят;
Другие — куда везут.

Пойдём, родная,
кормить
утят.
Я знаю чудесный пруд.

белое

в метеолотерее, в один из дней,
выпадет белым жребием снег на землю, и снег над ней
будет последнее, что я увижу перед.
что мне сказать в конце, помимо спасибо за
несбывшееся слово, преданные глаза,
спасибо за настоящее, что будущему не верит.

поймёшь, говоря голове и снегу: кружись,
что нет лишних черт, ни одной, в иероглифе «жизнь»,
проводишь до остановки время, смешон и жалок, —
и мир покачнётся, уже не беря в расчёт
детали, мысли, проблемы, что там ещё,
вопросы морали, решаемые без шпаргалок.

но небо не рушится, осень стоит, где была,
и если ты спросишь, как у меня дела,
рассказывать долго, а если вкратце:
как будто не зная, что роль их слаба, слаба,
как заведённый, я складываю слова,
когда вычитанию самый сезон начаться.



я бы мог и взахлёб, навзрыд, мне нашлось бы, о чём навзрыд,
чтобы строчка дала эффект пресловутого кома в горле,
потому что и впрямь — болит, ведь у всех что-нибудь болит,
но, сдержавшись в который раз, я зачем-то пишу другое.

нет бы выглянуть из-за штор, да и, выглянув из-за штор,
заявить, что неважно — как, что могу хоть глагол с глаголом;
ведь и вправду неважно — как, но гораздо важнее — что
эй, трубите на все лады, что король оказался голым.

мир печален, но он красив, улыбнись, он же так красив,
ничего не хочу писать, я тобой хочу любоваться,
потому что люблю тебя, разрешения не спросив;
потому что уходят дни, и за двадцать уже, за двадцать.

я в словесной тону воде, но когда не тону в воде —
я стою. подо мной земля. неизбежное небо — выше.
так стоят поезда порой на пустых полустанках, где
никогда б не вошёл никто
и никто не вышел.

37

на удачу не уповая, примирившись и с тем, и с тем,
я на тридцать седьмом трамвае еду мимо облезлых стен,
и, пока эту чуть живую проезжает он полосу,
несущественно существую, несусветную чушь несу.

будто жаждут передавиться пассажиры, устроив гам.
я ж уткнулся в передовицу и не верю её словам.
мы с политикою бок о бок: я не с ней, но она со мной.
у неё милицейский облик, неприветливый и земной.

вот он — край мой, родной, капризный, да не капри, не сенегал.
пусть другой назовёт «отчизной», я названий бы избегал;
край, где каждый правитель — хмурый, оснащённый бревном в глазу.
далее — вырезано цензурой;
далее — вырезано цензу

Алексей Сомов Snuff



Осталось так мало теплых дней лета.
Крематорий



Кому — бесстыдная весна,
кому-то песенка шальная,
Кому-то весточка из сна:
Я умерла, а ты как знаешь.

И только ветер простонал
да закачались деревья,
как забухавший Пастернак
в обнимку с Анною Андревной.

Ты кончилась, а я живу,
зачем живу — и сам не знаю,
а все как будто наяву,
и снова песенка дурная

поёт, поёт, звенит, звенит,
бесстыдно перепутав даты,
а в небе радуга стоит,
а в горле — мёртвый команданте.

Однажды, ядерной весной,
мы все вернёмся, как очнёмся,
в горячий город, свой-не свой,
и мы начнём, и мы начнемся.

Скребут совки, картавит лёд,
шипят авто, плюются шины.
а в небе радио поёт
про то, что все мы где-то живы.



...белесые сухие небеса,
глядящие осмысленно и цепко.
И воздух будто взвешен на весах
аптекарских —
ни грана без рецепта.
И церковь, и ограда, и кресты —
все слишком просто, буднично, осенне,
поскольку мир спасён от красоты
и заодно — от веры во спасенье.
И только удивлённый холодок
проскальзывает где-то между рёбер.
Ты видишь —
ангел в пластиковой робе
босой ступнёю пробует ледок?

И снова настигают голоса,
дома, деревья, улицы и лица.
И надо всем — пустые небеса,
простые небеса Аустерлица.



Воскресение, радость, сухие глаза,
самый медленный поезд на свете,
все, что можно представить и все, что нельзя —
лишь бы только не видели дети.

(Запрокинется в небо чужое лицо —
и каштаны посыплются под колесо.)

Променад по больничному дворику — глянь,
как несуетна жизнь год за годом.
Я в неё проникаю до самых до гланд,
я вхожу в этот прничный город.

(А потом — только пряди намокших волос.
Я взорву этот город, знакомый до слёз.)

Но прошу тебя, ты обозначь, проследи
траекторию главного чуда
перед тем, как забьюсь-упаду посреди
оживлённо молчащего люда.

(И каштаны посыплются на тротуар,
как последний,
сладчайший,
немыслимый дар.)



...Зима как расплата, зима как ответ
по прочным понятиям спящих кварталов.
Да только и слов-то за паузой нет —
так странно, а раньше как будто хватало.
А раньше хватало и слов через край,
и силы, и славы — по самые звёзды.
Пробьётся нечаянная искра —
и карточный домик взлетает на воздух.
И — голое поле, где выдох и вдох
нарезаны ветром на равные доли.
Звериная тяга, внимательный ток —
так что же случилось, скажи, ради боли?
...Не надо, не стоит, не трожь, не замай —
декабрь успокоит, январь утрамбует.
Зима как осечка. Зима как зима,
да только вот снега не будет. Не будет.

269

Алексей Сомов ■ Snuff

~ *Рождественская колыбельная*
 Закрываются глаза окраин.
 Ангел держит свечку в вышине.
 И шуршит-порхает на экране
 яркий телевизионный снег.

В вышине — то вспыхнет, то померкнет —
 самолёт ползёт сквозь облака,
 сквозь грозу и радиопомехи,
 словно сквозь опущенные веки,
 словно сквозь дремучие века.

Спят антенны, провода и мачты.
 Гоблины. Пейзане. Короли.
 Все мертво на сотни тысяч ли.
 Что же ты не спишь, мой бледный мальчик,
 там, под слоем тлеющей земли?

Никуда не выйти нам из дома.
 Посмотри на ржавый потолок —
 вот звезда Тюрьмы, звезда Содома,
 а над ней — звезда Чертополох.

Усажу тебя, как куклу, в угол,
 сказочкой нелепой рассмешу,
 только б ты не слышал через вьюгу
 этот белый, белый-белый шум.

Расскажу про тридцать три печали,
 муравьиный яд и ведьмин плач.
 Как стонали, поводя плечами,
 страшными далёкими ночами
 линии электропередач.

А по корневищам и траншеям,
 сторонясь нечаянной молвы,
 по костям, по вывернутым шеям
 шли скупые мёртвые волхвы.

Мучились от голода и жажды,
 табачок ссыпали на ладонь,
 тишиной божились.
 И однажды
 забрели в наш неприятный дом.

Сны перебирали, словно ветошь,
 пили, на зуб пробовали швы.
 Просидели за столом до света,
 а со светом — встали и ушли.

Шли тайгою, плакали и пели,
 жрали дикий мёд и черемшу.
 Слушали бел-белый, белый, белый,
 белый, белый, белый-белый шум.

Спи, мой кареглазый цесаревич —
 там, в стране красивых белых пчёл,
 больше не растёшь и не стареешь,
 не грустишь ни капли ни о чём.

Ведь пока мелькает на экране
 мёрзлый телевизионный прах —
 ангел Пустоты стоит у края,
 держит свечку на семи ветрах.

г. Санкт-Петербург



Евгений Беркович Прецедент

Альберт Эйнштейн и Томас Манн в начале диктатуры

271

Евгений Беркович ■ Прецедент

Опальные академики

Рассказывают,¹ что в семидесятых годах двадцатого века руководство Советского Союза собралось исключить Андрея Дмитриевича Сахарова из Академии наук СССР. По поручению Политбюро ЦК КПСС президент академии М. В. Келдыш собрал узкий круг ведущих учёных, среди них присутствовали П. Л. Капица и Н. Н. Семёнов, и спросил, как бы они отнеслись к постановке на Общем собрании Академии наук вопроса об исключении Сахарова. После долгого молчания Н. Н. Семёнов произнёс: *«Но ведь прецедента такого не было»*. На это П. Л. Капица возразил: *«Почему не было прецедента? Был такой прецедент. Гитлер исключил Альберта Эйнштейна из Берлинской академии наук»*.

Думаю, что оба уважаемых академика сознательно чуть-чуть отступили от истины, чтобы добиться главной цели — не допустить исключения Сахарова из академии. И действительно, после этого разговора вопрос о лишении А. Н. Сахарова академического звания больше не ставился, хотя Андрей Дмитриевич был лишён всех правительственных наград и званий лауреата государственных премий.

Сознательная, скорее всего, неточность академика Н. Н. Семёнова состояла в том, что из Академии наук СССР не раз исключали членов, попавших под колёса сталинских репрессий. Ещё в 1931 году на Чрезвычайном Общем собрании АН СССР были лишены звания академиком арестованные Платонов, Тарле, Лихачёв и Любавский, проходившие по так называемому «Академическому делу».²

В 1938 году из членов академии исключили список сразу 21 человека, некоторых из них уже посмертно, после расстрела как врагов народа. Среди исключённых был известный авиаконструктор, член-корреспондент АН СССР Андрей Николаевич Туполев.

Незадолго до смерти Сталина в 1953 году лишили звания академика историка И. М. Майского (настоящая фамилия Ляховецкий). И это далеко не все примеры, показывающие, что *«прецедент был»*.

На неточность академика Капицы, тоже, думаю, сознательную, указал в цитированном выше докладе Борис Михайлович Болотовский, совершенно справедливо отметив: *«В действительности Эйнштейн сам вышел из Берлинской академии наук»*. Правда, далее Борис Михайлович пытается уточнить время и причину выхода великого физика из академии: *«...после того, как получил письмо от руководства академии, где от имени членов академии его осуждали за антифашистские выступления»*, и тоже допускает неточность

в хронологии. Эйнштейн узнал об обличительной декларации руководства Прусской академии уже после того, как написал заявление о сложении с себя звания академика.

«Решил не ступить больше на немецкую землю»

Академию, кстати, правильно называть именно «Прусской», потому что в Германии, в отличие от большинства других стран, существует несколько самостоятельных научных академий: Прусская, Баварская, Гёттингенская, Берлин-Бранденбургская и т. д. Эйнштейн, к слову, был членом Прусской академии наук с 1914 года и членом-корреспондентом Баварской академии наук с 1927 года. До наступления нацистской эры великого физика охотно принимали в свои члены и другие германские академические сообщества, например, Немецкая академия естествоиспытателей «Леопольдина» в городе Галле. Правда, с приходом нацистов к власти, имя Эйнштейна было вычеркнуто из списка членов «Леопольдины» без всякого заявления учёного.

С Прусской академией всё было по-другому. История разрыва Альберта Эйнштейна с научной организацией, которой он отдал почти двадцать лет жизни, интересна и поучительна не только сама по себе. Она позволяет лучше понять трагедию всех учёных в Третьем Рейхе, неожиданно для себя оказавшихся врагами государства и изгоями общества.

Когда Гитлер пришёл к власти, Эйнштейн находился в Америке в качестве приглашённого профессора в Калифорнийском политехническом институте в Пасадене, вблизи Лос-Анджелеса. Назначение нового рейхсканцлера Германии не стало для Эйнштейна большой неожиданностью. Чувствовалось, что он был к такому повороту истории готов.

Уже через два дня после вступления Гитлера в новую должность учёный обратился к руководству Прусской академии наук с просьбой выплатить ему полугодовую зарплату сразу, а не к началу апреля, как планировалось ранее. Жизнь очень скоро показала, что такая предусмотрительность учёного оказалась не лишней.

Видно, уже в начале февраля Альберт не верил, что вернётся на родину, хотя у него было

1 Болотовский Борис. Государство, наука, ученые. Доклад, прочитанный на конференции DAMU (Немецкого общества выпускников Московского университета), Берлин, 2001 г.

2 А. Н. Цамутали. «Академическое дело». В книге «Репрессированные геологи». М.-СПб. 1999, с. 391-395.

запланировано там много дел, среди них серьёзный доклад в Прусской академии наук. Все эти планы пришлось резко изменить. В частном письме своей близкой знакомой Маргарите Лебах (Margarete Lebach) 27 февраля 1933 года учёный писал: «Из-за Гитлера я решил не ступить больше на немецкую землю... От доклада в Прусской академии наук я уже отказался».³

На следующий день после поджога рейхстага в ночь на 28 февраля 1933 года были запрещены многие газеты и журналы, стоявшие в оппозиции к новому немецкому правительству. Власти закрыли, среди прочих, еженедельник «Вельтбюне» («Weltbühne», «Мировая арена»). Последний номер вышел седьмого марта, на последней странице читатель мог прочесть: «После событий 27 февраля ряд лиц был арестован. Среди них наш издатель Карл фон Осецкий».⁴

Пацифист, писатель и журналист, лауреат Нобелевской премии мира за 1935 год, так и не получивший её и умерший в тюремной больнице в 1936 году, Осецкий был близок по взглядам с Эйнштейном, состоял с ним в длительной переписке. Именно Эйнштейн предложил в 1935 году кандидатуру арестованного журналиста нобелевскому комитету. Весть об аресте Осецкого в феврале 1933 года потрясла Альберта. Накануне своего отъезда из Лос-Анджелеса, состоявшегося 12 марта, учёный дал интервью корреспонденту газеты «Нью-Йорк Уорлд Телеграм» («New York World Telegram») Эвелин Сили (Evelyn Seeley). Его заявление, сделанное в этом интервью, потом перепечатывали газеты всего мира. Эйнштейн нашёл простые и убедительные слова, объясняющие его решение, и дал чёткую характеристику происходящего в Германии: «Пока у меня есть возможность, я буду находиться только в такой стране, в которой господствует политическая свобода, толерантность и равенство всех граждан перед законом. Политическая свобода означает возможность устного и письменного изложения своих убеждений, толерантность — внимание к убеждениям каждого индивидуума. В настоящее время эти условия в Германии не выполняются. Там как раз преследуются те, кто в международном понимании имеет самые высокие заслуги, в том числе, ведущие деятели искусств. Как любой индивидуум, психически заболеть может каждая общественная организация, особенно когда жизнь в стране становится тяжёлой. Другие народы должны помочь выстоять в такой болезни. Я надеюсь, что и в Германии скоро наступят здоровые отношения и великих немцев, таких как Кант и Гёте, люди будут не только чествовать в дни редких праздников и юбилеев, но в общественную жизнь



Альберт Эйнштейн у корабля перед трансатлантическим рейсом

и сознание каждого гражданина проникнут основополагающие идеи этих гениев».⁵

Эйнштейн вынужден был прервать интервью, так как его ждали на научном семинаре. Эвелин Сили в заключение статьи написала, что когда великий физик после окончания семинара пересек университетский двор, земля дрожала под его ногами: в Лос-Анджелесе именно в этот момент случилось одно из самых сильных землетрясений в истории города. Но учёный спокойно шёл к себе домой.

«Обличение немецких зверств»

Нацистов антигитлеровские заявления Эйнштейна буквально доводили до бешенства. Геббельсовская пропаганда вспомнила кампанию осуждения «немецких зверств» («Gräuel-Hetze»), якобы творимых кайзеровскими солдатами в Бельгии, проводившуюся ещё в годы Первой мировой войны в газетах стран Антанты. Теперь любую критику властей верные Гитлеру газеты называли «обличением немецких зверств».

Привыкшие к насилию нацисты не собирались ограничиваться словами. Толпа вооружённых людей 20 марта 1933 года ворвалась в летний дом Эйнштейна в курортном местечке со странным названием Капут («Caputh») на берегу красивого озера недалеко от Потсдама. В доме искали якобы спрятанное физиком оружие. Потом объявили дом конфискованным. Заодно конфисковали яхту Альберта и заблокировали его счёт в банке. Формальным основанием для этих акций было обвинение учёного и его жены Эльзы в коммунистической деятельности. Общие потери для семьи Эйнштейнов оценивались такими суммами: счёт в банке — 60 тысяч рейхсмарок, летний дом в Капуте — 16200 рейхсмарок, любимую яхту Эйнштейна нацисты продали за 1300 рейхсмарок.⁶ Но и этого властям показалось мало. Они объявили учёного в розыск и обещали за его голову немаленькое вознаграждение в пятьдесят тысяч рейхсмарок.⁷ Группа штурмовиков в форме СА ворвалась и разграбила берлинскую квартиру учёного, где устроили настоящий погром, забрав или сломав всё более или менее ценное.

Со стороны немецких властей усилилось давление на Прусскую академию. Будущий рейхсминистр науки, воспитания и народного образования Бернхард Руст до первого мая 1934, когда

3 Einstein Albert. Über den Frieden. Herausgegeben von Otto Natan und Heinz Norden. Parkland Verlag, Köln 2004, S. 227 (здесь и далее перевод выделенных курсивом фрагментов писем и заявлений Альберта Эйнштейна сделан мной — Е. Б.).

4 Goenner Hubert. Einstein in Berlin. Verlag C. H. Beck, München 2005, S. 336.

5 Einstein Albert. Über den Frieden (см. примечание 3).

6 Goenner Hubert. Einstein in Berlin (см. примечание 4), S. 342.

7 Grundmann Siegfried. Der deutsche Imperialismus, Einstein und die Relativitätstheorie (1914–1933). TU, Dresden 1964.

было образовано министерство, исполнял те же обязанности на правах комиссара министерства внутренних дел. Ему подчинялась, в частности, и Прусская академия наук. В ответ на обвинения со стороны Эйнштейна в адрес немецких властей, прозвучавшие в интервью от 11 марта, Руст потребовал от академии провести расследование и дать заключение, участвовал ли Эйнштейн в кампании «обличения немецких зверств», которая ведётся за границей. Следующим шагом академии должно было быть исключение Эйнштейна за антиправительственную деятельность. Письмо с требованием Руста ушло в академию 29 марта, за три дня до проводимого нацистами первого апреля всегерманского бойкота еврейских предприятий.

Тогда ещё ни Руст, ни академики не знали, что за день до этого, 28 марта 1933 года, великий физик сам написал заявление о выходе из академии. Почта тогда работала не быстро, и письмо с заявлением, написанным в Бельгии, попало к адресату, т. е. в академию, только 6 апреля. Можно считать случайностью, хотя и очень символической, что на следующий день был опубликован печально знаменитый закон «О восстановлении профессионального чиновничества», давший юридическое обоснование тотальной чистке кадров в немецкой науке.

Весть о налёте нацистов на его летний домик дошла до Эйнштейна, когда его трансатлантический корабль был ещё на пути в Европу. Экономная супруга учёного Эльза убеждала мужа выступить с протестом и привлечь мировое внимание к бесчинствам гитлеровских властей, чтобы добиться хотя бы какой-то материальной компенсации, но физик решительно отказался — он не хотел своё мировое влияние использовать для решения личных неурядиц. Относившийся ко многим житейским проблемам с юмором, Альберт нашёл и здесь повод пошутить: «В Берлине у меня оставалась яхта и подруги. Гитлер забрал только первую, что для последних явно оскорбительно».⁸

Заявление для прессы с борта корабля он всё же сделал, сказав, что случившееся в его легнем доме есть только один небольшой пример многочисленных актов насилия, которые происходят сейчас по всей Германии. Эти акты есть результат того, что полицейские функции попали в руки дикого сброда нацистской милиции.

Первоначальные планы поехать в Швейцарию Эйнштейн изменил и остановился в бельгийском курортном местечке Ле Кок-сур-мер (Le Coq-sur-mer) недалеко от города Остенде (Ostende). В тот же день, 28 марта 1933 года, когда его корабль бросил якорь в бельгийском порту, учёный написал своё знаменитое заявление руководству Прусской академии наук: «Господствующие в Германии в настоящее время порядки вынуждают меня сложить с себя обязанности члена Прусской академии наук. Академия в течение 19 лет давала мне возможность быть свободным от любых профессиональных обязанностей и целиком посвящать себя научной работе. Я знаю, насколько велика должна быть моя благодарность за это. С сожалением выхожу я из вашего круга творческих и прекрасных человеческих отношений, которыми я, будучи вашим членом, столь долгое время наслаждался».

Главным поводом к отставке Эйнштейн назвал невозможность для себя при нынешних порядках в стране быть зависимым, в том числе, материально, от правительства в Берлине, проводящего откровенно антиеврейскую и бесчеловечную политику.

В тот же день 28 марта в «Кёльнской газете» («Kölnische Zeitung») появилось ещё одно заявление, подписанное Эйнштейном и адресованное в «Международную лигу борьбы с антисемитизмом». Похоже, великий физик многое предвидел, хотя часто желаемое выдавал за действительное, говоря, например, о соевести: «Акты грубого насилия и подавления, направленные против всех людей, свободных духом, а также против евреев, эти акты, которые происходили и происходят в Германии, разбудили, к счастью, совесть тех, кто остался верен идеям гуманизма и политической свободы».⁹

Подобные оценки происходящего в стране, как и интервью 11 марта, действовали на нацистские власти, как красная тряпка на быка.

В то время как письмо Эйнштейна об отставке было на пути в Берлин, руководство Прусской академии, состоявшее из четырёх непременных секретарей, не сидело, сложа руки. Правда, один непременный секретарь физик Макс Планк, пригласивший в 1914 году молодого Эйнштейна в Берлин и предложивший его кандидатуру в академики, находился в те дни в отпуске в Сицилии. Зато другой непременный секретарь юрист Эрнст Хайман¹⁰ поторопился выполнить указание Руста и составил от имени академии заявление для прессы. В нём подтверждалось, что Эйнштейн участвует в кампании «обличения немецких зверств», ведущейся за границей, и поэтому академия не будет печалиться, если Эйнштейн выйдет из её состава. Заявление появилось в прессе как раз в день бойкота еврейских предприятий — первого апреля 1933 года.

В тот же день имя Альберта Эйнштейна попало и в речь Йозефа Геббельса, назначенного 13 марта рейхсминистром народного просвещения и пропаганды. Выступая по случаю широко разрекламированной антиеврейской акции, он на всю Германию объявил: «Мы часто поступали в отношении мирового еврейства милостиво, чего они вовсе не заслуживали. И какова же благодарность евреев? У нас в стране они каются, а за границей раздувают лживую пропаганду о «немецких зверствах», что даже превосходит антинемецкую кампанию во время мировой войны. Евреи в Германии могут благодарить таких перебежчиков, как Эйнштейн, за то, что они теперь — полностью законно и легально — призваны к ответу».¹¹

8 Hassler Marianne, Wertheimer Jürgen (Hrsg.). Der Exodus aus Nazideutschland und die Folgen. Jüdische Wissenschaftler im Exil. Attempo Verlag, Tübingen 1997, S. 23.

9 Goenner Hubert. Einstein in Berlin (см. примечание 4), S. 337.

10 Эрнст Хайман (Ernst Heumann, 1870–1946) — немецкий юрист, специалист по теории права, член Прусской академии наук с 1918 года, тайный советник юстиции, в 1931–33 годах — президент Берлинского общества юристов.

11 Цитируется по книге Beyerchen Alan. Wissenschaftler unter Hitler. Ullstein Sachbuch. Frankfurt/M. — Berlin — Wien 1982, S. 33.

«Война на уничтожение»

С первых дней Третьего рейха Эйнштейн выбрал путь бескомпромиссной борьбы с гитлеровским режимом. Власти сделали его имя синонимом предательства. И даже близкие друзья учёного не могли полностью встать на его сторону. Редкие попытки пойти против течения заканчивались, как правило, ничем.

На состоявшемся шестого апреля в отсутствие Планка общем собрании Прусской академии наук Макс фон Лауэ¹² выступил против того, что заявление для прессы, сделанное Эрнстом Хайманом первого апреля, шло от имени всей академии, ведь мнений её членов никто не спрашивал. Однако другие академики фон Лауэ не поддержали, и заявление для прессы сохранило свою силу. Было ясно, что в любом случае Эйнштейна исключат подавляющим большинством голосов. Практически все учёные склонились перед властью и были готовы полностью поддержать нацистов в их борьбе с неисправимым пацифистом и борцом за демократию. И всё же многих смущала возможная потеря уважения иностранных коллег: ведь предстояло исключить из академии всемирно признанного гения. Но пришедшее в тот же день заявление Эйнштейна о добровольной отставке разрядило обстановку. Академия облегчённо вздохнула и удовлетворила просьбу опального учёного.

В мае вернувшись из Сицилии непреходящий секретарь академии Макс Планк, президент Общества имени кайзера Вильгельма, объединяющего крупнейшие научно-исследовательские институты Германии. Он не без оснований считался одним из близких к Эйнштейну людей, в двадцатые годы не раз защищал автора теории относительности от нападок физиков-националистов. Планк попытался спасти лицо академии. Он потребовал внести в протокол майского собрания, что «опубликованные в рамках академии работы господина Эйнштейна настолько услужили наши физические знания, что его деятельность может сравниться лишь с трудами Йохана Кеплера и Исаака Ньютона». Этими красивыми словами непреходящий секретарь хотел обезопасить академию от упреков всего мира, что коллеги-академики не в состоянии оценить значение Эйнштейна для мировой науки. Правда, запись в протоколе заканчивалась не так привлекательно, как начиналась: «Можно глубоко сожалеть о том, что господин Эйнштейн своими



Вальтер Нернст, Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Роберт Милликен, Макс фон Лауэ, Берлин, 1928

политическими поступками сам сделал невозможным его пребывание в академии».¹³

В хвалебных словах о работах Эйнштейна не было преувеличения. Когда в 1914 году по настоянию Планка автор специальной теории относительности перебрался в Берлин, он с обычным для него юмором отмечал: «Господа берлинцы носятся со мной, как с несущей рекордисткой. При этом я сам не знаю, смогу ли ещё снести яйца».¹⁴ Однако эти опасения были напрасны. В ноябре 1915 года появилась на свет первая статья¹⁵ Эйнштейна, посвящённая общей теории относительности, за ней последовал ещё ряд работ, в результате чего была сформулирована и обоснована самая выдающаяся, по признанию многих учёных, научная идея двадцатого века.

Эта весьма абстрактная теория получила вскоре неожиданное экспериментальное подтверждение во время полного солнечного затмения 29 мая 1919 года, которое можно было наблюдать только в тропиках. Английские астрономы организовали две экспедиции — одну на север Бразилии, другую на остров Принца у африканского побережья. В ноябре того же года на совместном заседании Королевского общества и Королевского астрономического общества в Лондоне английский астрофизик Артур Эддингтон¹⁶ сообщил, что обе экспедиции наблюдали отклонения света вблизи Солнца в момент полного затмения, при этом измеренные отклонения поразительно точно совпали с предсказанным Эйнштейном значением. Общая теория относительности стала у всех на устах, имя Эйнштейна не сходило с первых полос газет и журналов всего мира. Это был настоящий триумф. Учёный шутил: «Мир стал похож на какой-то сумасшедший дом. Каждый кучер или официант рассуждает о том, справедлива ли общая теория относительности».

С этого времени учёный был признан большинством научного мира величайшим физиком своего времени, к его слову прислушивались не только коллеги, но и коронованные особы, политики, журналисты... Заявки на доклады и лекции посыпались со всего мира. Немецкие дипломаты сообщали в министерство иностранных дел: «Выступления господина Эйнштейна приносят авторитету Германии громадную пользу». Еврей по рождению, швейцарец по одному из гражданств, Эйнштейн воспринимался во всём мире как представитель именно немецкой науки.

12 Макс фон Лауэ (Max von Laue; 1879–1960) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1914 г. «за открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах».

13 Hassler Marianne, Wertheimer Jürgen (Hrsg.). Der Exodus aus Nazideutschland und die Folgen (см. Примечание 8), S. 22.

14 Там же, S. 21.

15 Albert Einstein. (25 ноября 1915). «Die Feldgleichungen der Gravitation». Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin: 844–847.

16 Артур Стэнли Эддингтон (sir Arthur Stanley Eddington; 1882–1944) — английский астрофизик, в 1921–1923 президент Королевского астрономического общества в Лондоне, с 1925 года — иностранный член АН СССР, в 1938 избран президентом Международного астрономического союза.



Альберт Эйнштейн



Макс Планк

С блеском прошли его выступления в 1921 году в Соединённых Штатах Америки и Англии и весной 1922 года во Франции.

Лекции физика сделали для сближения недавно враждебных народов больше, чем все усилия дипломатов. Сам облик и манеры учёного разбивали стереотипы «тупого немца-врага». Журналисты тогда называли Эйнштейна «Гинденбургом немецкой науки» — немцам под командованием генерала-фельдмаршала в 1914 году не удалось завоевать Париж, зато это легко сделал после войны остроумный и общительный профессор из Берлина.

Правительство Веймарской республики высоко ценило заслуги Эйнштейна перед Германией, ему выражали признательность дипломаты, и не его вина, что с приходом Гитлера к власти чёрное стало считаться белым, а герой — предателем.

Макс Планк лучше многих понимал роль творца теорий относительности в современном мире, и поэтому для него особенно болезненным был процесс исключения Эйнштейна из академии. Как один из руководителей немецкой официальной науки он не решался на открытое выступление против властей, с другой стороны, потеря лица академии, исключаяющей из своего состава учёного такого ранга, была и по авторитету самого Планка. Поэтому ещё в конце марта и начале апреля Планк написал Альберту несколько писем от себя лично, в которых убеждал его добровольно покинуть академию, чтобы не доставлять «своим друзьям лишней боли и забот». К моменту получения первого письма от Планка Эйнштейн уже отправил своё заявление об уходе из академии, но узнать, что тот самый Планк, который, собственно, и привёл его в академию, фактически присоединяется к обвинениям нацистов и разделяет мнения геббельсовской пропаганды, было для Эйнштейна особенно горько.

В ответном письме от шестого апреля 1933 года Эйнштейн возражает Планку: «Должен особенно подчеркнуть, что я ни в какой кампании о «немецких зверствах» не участвую. Я допускаю в пользу академии, что подобные клеветнические высказывания сделаны под внешним давлением. Но и это её не красит, и некоторые из лучших её

членов испытывают сегодня стыд. Вы слышали, наверное, что из-за подобных лживых обвинений мой дом в Германии был разгромлен и конфискован. Это привело к тому, что голландские коллеги объединились, чтобы на первых порах помочь мне материально. Я эту помощь не могу принять, так как проявил предусмотрительность и подготовился к такому повороту событий. Но по этому примеру Вы можете легко представить себе, что думает за граница о применяемых ко мне мерах в Германии. Вот уж, действительно, настало такое время, когда порядочный человек в Германии должен стыдиться того, как низко со мной здесь поступают».¹⁷

Далее учёный напомнил о своих заслугах перед Германией и о той кампании травли, которая в последнее время разворачивается против него в газетах правого толка. При этом ни один член академии не вступился за коллегу, которого шельмуя на глазах у всего мира прогитлеровская пресса. Теперь же речь идёт о судьбе целого народа: «Объявленная война на уничтожение против моих беззащитных еврейских братьев вынуждает меня бросить на чашу весов всё моё влияние, которое есть у меня в мире».

Отметим, что слова «война на уничтожение» против евреев были сказаны весной 1933 года, когда большинство людей в Германии и в остальном мире не видели ещё смертельной опасности от гитлеровского режима, надеялись, что «естя не так горячо, как варится» и скоро сами собой вернутся «золотые времена демократии и свободы». Ни о какой Катастрофе тогда почти никто не думал.

Далее Эйнштейн попытался ещё доходчивей растолковать старшему на двадцать лет коллеге свою позицию, и как опытный лектор привёл основателю квантовой физики и нобелевскому лауреату наглядный пример: «Чтобы Вы лучше поняли, я прошу Вас на минуту представить себе такую картину — Вы профессор в пражском университете. И там приходит к власти правительство, которое лишает чешских немцев средств к существованию, одновременно путём насилия запрещает им покидать страну. Вдоль границы устанавливаются посты, которые стреляют в тех людей, кто хочет уехать без разрешения из страны, чьё правительство ведёт против них бескровную войну на уничтожение. Считали ли Вы тогда правильным всё это молчаливо принимать, не вступаясь за них? И разве уничтожение немецких евреев взятием их на измор не является официальной программой сегодняшнего немецкого правительства?».¹⁸

Слухам о том, будто Макс Планк целиком и полностью поддерживает Гитлера, Эйнштейн не верил. Но и поведение своего старшего товарища при новой власти он не одобрял. Давая моральную оценку действий своих друзей и коллег в этом конфликте, творец теорий относительности писал: «Планк пытался, где возможно, смягчить ситуацию, но не нашёл никакого компромисса между своими словами и делами. И Лауз, и

¹⁷ Einstein Albert. Über den Frieden (см. примечание 3), S. 233.

¹⁸ Там же.

Нернст,¹⁹ особенно первый, вели себя образцово. И всё же, я бы, будь даже и не евреем, при подобных обстоятельствах не остался бы президентом Общества имени кайзера Вильгельма».²⁰

Эйнштейновскую оценку деятельности Планка подтверждает попытка президента Общества кайзера Вильгельма лично заступиться за выдающегося учёных-евреев. Об этом сам Макс Планк рассказал уже после войны в специальном отчёте, составленном в 1947 году. В мае 1933 года он добился приёма у Гитлера и пытался убедить свежееиспечённого рейхсканцлера, что такие люди, как Габер или Эйнштейн полезны для страны. По мнению Планка, для таких евреев следовало бы сделать исключение и дать им возможность продолжать научные исследования на благо Германии. Планк убеждал фюрера, что существуют, мол, разные евреи, встречаются старые семьи, верные лучшим немецким традициям, носители истинно немецкой культуры.

Планк настаивал, что нужно подходить к евреям дифференцированно, делать различия между ними. Гитлер резко возразил: «*Это неверно. Жид есть жид, все евреи связаны одной цепью. Где есть один жид, там сразу соберутся евреи всех видов*».²¹

Макс Планк осмелился возразить рейхсканцлеру, что изгнание за рубеж лучших учёных ослабит Германию и, наоборот, укрепит наших возможных противников. В ответ на это Гитлер стал хвастаться, что обойдётся без евреев, его речь становилась всё более быстрой и возбуждённой, в конце концов, фюрер впал в такой раж, что сильно ударил себя по колену и закончил с угрозой: «*Говорят, что я страдаю временами от нервной слабости. Это клевета. У меня стальные нервы*».

Планку не оставалось ничего другого, как замолчать и попрощаться.

Узнав о выходе Альберта Эйнштейна из Прусской академии наук, забеспокоилась и другая академия — баварская, чьим членом-корреспондентом являлся великий физик. В письме учёному от 8 апреля баварские академики выразили свою солидарность с прусскими коллегами и задали вопрос, как в свете разрыва с Прусской академией видит Эйнштейн свои будущие отношения с её мюнхенским аналогом. Ответ учёного не оставлял сомнений, что и с этой немецкой академией он не хочет иметь ничего общего. Правда, в ответе от 21 апреля он привёл другие аргументы, чем для Берлина: «*Академии созданы, в первую очередь, для*

того, чтобы защищать и обеспечивать научную жизнь в своей стране. Но немецкое научное общество, как мне известно, с молчаливым встретило то, у немалой части немецких учёных и студентов отнята возможность жить и работать в Германии. Я не хочу принадлежать обществу, которое это молчаливо принимает, пусть даже под внешним давлением».²²

Наивность гения или дар пророка?

Гений физики часто демонстрировал детскую наивность в политических вопросах. Будучи убеждённым пацифистом, он долгое время протестовал против любой военной службы, пока не понял, что нацистское зло можно победить только силой. Понимание пришло к нему именно весной 1933 года, когда он из бельгийского курортного городка Ле Кок-сур-мер наблюдал за развитием событий в Германии. Повлияли на него беседы с бельгийским королём — тоже Альбертом, — случившиеся тем же летом. Бельгийскую королевскую чету профессор знал и раньше, вместе с королевой он играл в одном струнном квартете, в котором Элизабет исполняла партию второй скрипки, а Альберт Эйнштейн — первой.

Будучи во Франции, Эйнштейн обещал известному французскому пацифисту Альфреду Нахону²³ заступиться за двух его товарищей, сидящих в бельгийской тюрьме за отказ от воинской службы. Теперь в Бельгии такой случай представился, однако, аргументы короля и, главное, стремительное развитие событий на родине повлияли на взгляды некогда безоговорочного пацифиста.

Эйнштейн ответил Нахону так: «*В принципе, мои убеждения не изменились. Но в сегодняшних условиях, будь я бельгийцем, я бы не отказывался от военной службы, а, напротив, охотно принял бы её с чувством, что защищаю европейскую цивилизацию*».²⁴

Интересно, что французский пацифист понял своего старшего товарища и сообщил ему весной следующего года, что добровольно записался на военную службу. Зато другие бывшие единомышленники расценили новые убеждения Эйнштейна как опасную глупость. Письмо Нахону, которое перепечатали многие газеты, так прокомментировал Робен Роллан в письме от 15 сентября 1933 года Стефану Цвейгу: «*Эйнштейн как друг в некоторых вещах опаснее, чем враг. Он гениален только в своей науке. В других областях он глупец. Верить самому и убеждать молодых людей поверить, что их отказ от воинской службы может остановить войну, было преступной наивностью, так как очевидно, что война всё равно придёт, хоть по трунам мучеников. Теперь он делает крутой разворот и предаёт военных отказников с тем же легкомыслием, с которым их раньше поддерживал*».²⁵

Зато в оценке опасности Гитлера и, в целом, национал-социалистической Германии великий физик опередил многих политиков и интеллектуалов. Некоторые из них даже издевались над страхами Эйнштейна.

Известный немецкий художник-карикатурист Георг Грош²⁶ (при рождении у него была фамилия Гросс, но он поменял её в зрелом возрасте)

19 Вальтер Герман Нернст (Walther Hermann Nernst, 1864–1941) — немецкий физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии в 1920 году «в признание его работ по термодинамике».

20 Hassler Marianne, Wertheimer Jürgen (Hrsg.). Der Exodus aus Nazideutschland und die Folgen (см. Примечание 8), S. 27.

21 Отчёт Планка 1947 года опубликован в книге Albrecht Helmut (Hrsg.). Naturwissenschaft und Technik in der Geschichte. GNT-Verlag, Stuttgart 1993.

22 Einstein Albert. Über den Frieden (см. примечание 3), S. 232.

23 Альфред Нахон (Alfred Nahon, 1911–1990) — французский психолог, философ и графолог.

24 Goenner Hubert. Einstein in Berlin (см. примечание 4), S. 340.

25 Там же.

эмигрировал в США в 1932 году. Оттуда он писал 13 марта 1933 года своим друзьям в Германии: «Вы утвердили своим главным теперь вашего Гитлера. Теперь я особенно рад своему решению эмигрировать». И продолжал: «Я знаю по собственному опыту, что, в конце концов, через какое-то время, когда первый шок пройдет, все вернутся загорельцами со своих ривьер, и всё пойдет по-старому, может, чуть правее, чем раньше».

Интервью Эйнштейна 11 марта 1933 года, данное газете Нью-Йорк Уорлд Телеграм, где он критиковал Германию за отсутствие свобод, Грош комментировал с издёвкой, смешанной с хамством и откровенным антисемитизмом, словно пародируя речи Геббельса: «Ты слышал этого ординарного подкупленного предателя Эйнштейна? Вульгарный, судя по его поведению, зачем только называет себя учёным, под завязку набитый деньгами, которые евреи отбирают у бедных людей в своих магазинах, он позволяет себе открывать тут грязную пасть».²⁷ По-видимому, так понимал Грош патриотизм: нельзя критиковать Германию, находясь за границей. То, что свободный голос на родине уже нельзя было услышать, свежеспечённого эмигранта не интересовало.

Убеждение, что приход Гитлера сулит только временные неприятности и скоро всё вернётся на круги своя, было столь распространено среди немецких интеллектуалов, что даже такие проницательные и дальновидные мыслители, как Томас Манн, поддавались искушению не думать о страшном.

Прославленный автор романа «Будденброки», за который он в 1929 году получил Нобелевскую премию по литературе, Томас Манн с женой Катей выехал из Германии в феврале 1933 года в длительную заграничную поездку. Целью путешествия было прочитать лекцию «Страдания и величие Рихарда Вагнера» в Амстердаме, Брюсселе и Париже, а затем отдохнуть на швейцарском курорте Ароза, где в своё время Катя лечилась от туберкулёза. Никто не представлял себе тогда, что обратного пути домой в Германию для писателя уже не будет никогда.

За происходящим на родине Томас Манн следит со смешанным чувством. Ему, утончённому интеллектуалу, волшебнику слова, без сомнений, претили грубые методы нацистов расправляться с неугодными. В то же время, шаги новой власти по вытеснению евреев из общественной и культурной жизни общества, писатель-гуманист воспринимает не только негативно.²⁸

Буквально через три дня после появления в печати закона «О восстановлении профессионального чиновничества», направленного, прежде всего, против «лиц неарийского происхождения», Манн пишет в дневниковой записи от 10 апреля 1933 года: «Евреи... В том, чтобы прекратились высокомерные и ядовитые картавые наскоки Керра на Ницше, большой беды не вижу; равно как и в удалении евреев из сферы права — скрытное, беспоконное, натужное мышление. Отвратительная враждебность, подлость, отсутствие немецкого духа в высоком смысле этого слова присутствуют здесь наверняка. Но я начинаю предчув-

ствовать, что этот процесс всё-таки — палка о двух концах».²⁹

То, что Томас Манн «начал предчувствовать» в апреле, было ясно Альберту Эйнштейну ещё в феврале. Правда, снежный ком мюнхенских событий, непосредственно затронувших благополучие его семьи, заставили более реально взглянуть на надвигающиеся опасности. Донос мюнхенских знаменитостей привлёк к Манну внимание полиции. Речь идёт о появившемся 16 апреля в газетах «Протесте Мюнхена — города Рихарда Вагнера», подписанном многими известными гражданами города. Они дружно протестовали против доклада, сделанного писателем недавно за границей, и, якобы, унижавшего немецкое достоинство. За этим откровенно верноподданническим пасквилем последовал обыск на вилле Манна в баварской столице и конфискация автомобиля. На жалобу Манна, отправленную баварскому рейхскомиссару Францу фон Эппу, последовали более серьёзные меры: писателя обвинили в неуплате налогов, и в конце мая всё мюнхенское имущество Манна было конфисковано, а в июне был выдан ордер на арест нобелевского лауреата по литературе.

Через две недели после появления пасквиля мюнхенских интеллектуалов против Манна Альберт Эйнштейн нашёл возможность поддержать своего товарища. В письме от 29 апреля 1933 года учёный отмечает заслуги писателя: «Сознательное и ответственное поведение Вас и Вашего брата было для меня одним из немногих лучей света в цепи событий, что происходили в последнее время в Германии. Остальные люди, призванные к духовному руководству нацией, не имели ни мужества, ни силы характера, чтобы провести чёткую раздельную линию между собой и теми, кто творит насилие от имени государства. Этим упущением они только усиливают роковые черты власти и наносят немецкому имени несказанный вред... Опять и опять стоит повторить, что судьба общества определяется в первую очередь его моральным уровнем. Если образуется руководство, которое достойно такого имени, как, например, Вы и Ваш брат, то отсюда, как от центров кристаллизации, начнётся и общий рост. Даже если Вам не суждено будет до этого дожить, пусть это будет Вам лучшим утешением в наши горькие времена, которые мы переживаем и в те, что нам ещё суждено пережить».³⁰

Великий физик высказал свои комплименты великому писателю во многом авансом. Время для «сознательного и ответственного» в полном смысле этого слова поведения Томаса Манна

²⁶ Георг Грош (George Grosz, 1893–1959) — немецкий и американский художник, график, карикатурист. В Третьем Рейхе считался представителем «дегенеративного искусства».

²⁷ Goenner Hubert. Einstein in Berlin (см. примечание 4), S. 341.

²⁸ Более подробно см. в статье Беркович Евгений. Томас Манн: меж двух полюсов. «Студия», №12 2008, с. 73–96.

²⁹ Цит. по книге Kurzke Hermann: Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. Eine Biographie. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M. 2005, S. 225.

³⁰ Einstein Albert. Über den Frieden (см. примечание 3), S. 238.

ещё не пришло. Растерянность и смятение чувств ещё долго не оставляли Волшебника (как называли его в семье), и только в 1936 году он окончательно и бесповоротно встал на путь борьбы с Гитлером и его кликой.

А летом 1933 года Томас с Катей проводили несколько месяцев на юге Франции, на Лазурном берегу Средиземного моря, в тех самых «Ривьерах», про которые насмешливо писал Георг Грош. Неделю жили они в отеле городка Бандоль (Bandol), потом с июля по сентябрь снимали домик в Санари-сюр-мер (Sanary-sur-Mer). В местечке Лаванда (Le Lavandou) устроили как-то встречу друзей.

На Лазурном берегу отдыхала интеллектуальная элита Европы. Там можно было встретить знаменитых писателей, художников, музыкантов, среди них многих знакомых семьи Манн. В Лаванде с Маннами проводил время их давний приятель, литератор Рене Шикеле³¹, родом из Эльзаса. От его наблюдательного взгляда не укрылось главное в облике Манна и его жены: «Они прекрасно видят, что происходит и что ещё произойдёт, но они не хотят этому верить».³²

В кострах, горевших 10 мая 1933 года во многих городах Германии, национал-социалистические студенты сжигали «вредные для немецкого духа книги». В Берлине были сожжены около двадцати тысяч книг, в других крупных немецких городах — от двух до трёх тысяч. В столице огромный костёр был разожжён вблизи государственной оперы. Среди других горели труды Альберта Эйнштейна, Генриха и Клауса Манн... Книги Томаса Манна не были включены в официальный список «вредных» произведений. Может быть, из-за этого у великого писателя оставалась ещё надежда, что издание его книг в Германии возможно, и он воздерживался от резких политических заявлений против Гитлера. Его старшие дети Эрика и Клаус вели себя более решительно и с первых дней эмиграции показали себя непримиримыми антифашистами. Нерешительность отца была им непонятна и неприятна.

Правда, весной 1933 года Томас Манн отказался подписать письменную клятву в верности национал-социалистическим идеалам, которую потребовал от всех членов Прусской академии художеств её новый президент Макс фон Шиллингс. Девять из двадцати семи членов секции поэзии тоже отказались подписать эту клятву, и были вместе с Томасом Манном исключены их академии. Но открыто осудить гитлеровский режим Волшебник не решался ещё три года.

Только в 1936 году в ответ на циничное заявление редактора известной «Новой цюрихской газеты» Эдуарда Корроди (Eduard Korrodi), что



Альберт Эйнштейн и Томас Манн

«единственная немецкая литература, которая эмигрировала, была еврейской», Манн публично сказал те слова, которые от него давно ждали ценители его таланта: «Чтобы быть немцем, одной национальности мало. С духовной точки зрения немецкая ненависть к евреям или то, что насаждают немецкие власти, относится совсем не к евреям или не только к ним одним. Она относится ко всей Европе и к самому высокому понятию «германство»; она относится, как нетрудно показать, к христианско-античному фундаменту европейской цивилизации: она есть попытка порвать цивилизаторские связи, что угрожает страшным отчуждением страны Гёте от остального мира».³³

То, что Эйнштейн говорил в тридцать третьем, Томас Манн написал в тридцать шестом. Перчатка гитлеровскому режиму была, наконец, брошена. И власти поняли вызов писателя с полуслова. В течение нескольких месяцев лишили гражданства всех членов его семьи, которые ещё считались немцами. Декан философского факультета Боннского университета сообщил Томасу Манну 19 декабря 1936 года, что его имя вычеркнуто из списка почётных докторов университета. Такова была месть нацистов за то, что писатель стал в итоге антифашистом.

В отличие от большинства европейских интеллектуалов, Эйнштейн сразу осознал, какую опасность евреям и всему миру несёт коричневая чума нацизма. И с первых дней прихода Гитлера к власти боролся с ним и его режимом всеми доступными средствами. Поэтому закономерным и логичным видится письмо Эйнштейна президенту Рузвельту от 2 августа 1939 года,³⁴ положившее начало американскому атомному проекту — так идеалист-пацифист оказался у истоков создания самого страшного оружия, применённого в конце Второй мировой войны и определившего лицо всего послевоенного мира.

Гражданин мира

Через неделю после заявления о выходе из Прусской академии, 4 апреля 1933 года, Эйнштейн написал второе в своей жизни прошение о лишении немецкого гражданства. Первый раз он решил перестать быть немцем в 1896 году, когда ему было всего 17 лет. Тогда он уладил дело за пять

³¹ Рене Шикеле (René Schickele, 1883–1940) — немецко-французский писатель, эссеист, переводчик.

³² Mann Thomas, Schickele René. Jahre des Unmuts. Thomas Manns Briefwechsel mit René Schickele 1930–1940. Thomas Mann Studien, Band 10. Klostermann, Vittorio Verlag. Frankfurt am Main 1992.

³³ Mann Thomas. Briefe 1889–1936, hrsg. von Erika Mann, Frankfurt a. M. 1961, S. 413.

³⁴ См., например, в книге Кузнецов Борис. Эйнштейн. Жизнь. Смерть. Бессмертие. Издательство «Наука», М. 1980.

минут, заплатив всего три марки. Пять лет после этого молодой человек вообще не имел никакого гражданства, и, судя по всему, такое положение «гражданина мира» его устраивало. Но взрослая жизнь без паспорта оказывалась слишком неудобной, и в 1901 году Эйнштейн получил швейцарское гражданство, от которого не отказывался до конца жизни. Учёному пришлось некоторое время побывать и австрийцем. Полтора года — с апреля 1911 по октябрь 1912 года — Эйнштейн работал профессором в Немецком университете Праги. Чтобы выполнить формальности, он на этот период получил гражданство Австро-Венгерской империи.

После переселения в Берлин и получения звания академика Прусской академии наук, учёный снова получил «почётное немецкое гражданство», которое помогало ему без проблем путешествовать по миру. Нобелевскую премию за 1921 год Альберту вручали как немецкому физик.

Однако весной 1933 года он ясно видел, что с гитлеровской Германией ему не по пути. В начале мая из местечка Ле Кок-сюр-мер он написал голландскому физик и математику Вандеру де Хаасу³⁵: «Положение в Германии страшное и не видно никаких изменений. Из надёжных источников я слышал, что из всех сил изготавливаются военные материалы. Если этим людям дать ещё три года, с Европой произойдёт нечто чудовищное, что сейчас ещё можно было бы энергичными экономическими акциями предотвратить. Но мир, к сожалению, ничему не учится у истории».³⁶

Власти не торопились удовлетворить просьбу Эйнштейна о лишении гражданства. Они решили не допускать добровольного выхода, а отобрать гражданство в порядке наказания. Специально для таких случаев 14 июля 1933 года был принят закон,³⁷ согласно которому могли перестать быть гражданами Германии все «враги рейха и немецкого народа».

В августе 1933 года был опубликован первый список из 33 человек, лишаемых немецкого гражданства на основании закона от 14 июля. Среди «лишенцев» были известные литераторы: Лион Фейхтвангер, Генрих Манн, давний творческий противник Томаса Манна Альфред Керр... Всего за 12 лет Третьего Рейха было опубликовано 359 подобных списков.

Эйнштейну пришлось ждать своей очереди почти целый год. Столь велика была мировая слава учёного, что два гитлеровских министерства — внутренних и иностранных дел — долго не могли согласовать детали этой акции. Только 24 марта 1934 года появился список лишённых гражданства, содержащий фамилию великого физика. Кроме Эйнштейна, в список попал, например, писатель-коммунист Йоханнес Бехер, в последствии первый президент Союза деятелей культуры Восточной Германии, автор слов гимна ГДР.

После них в ноябре 1934 года оказался «лишенцем прав» Клаус Манн. Его отец, Томас, потерял немецкое гражданство в декабре 1936 года.

Альберт Эйнштейн не стал дожидаться решения гитлеровских властей, и уже в октябре 1933 года учёный в сопровождении пары близких людей

прибыл в США, чтобы навсегда распрощаться с Европой. В 1940 году великий физик получил американское гражданство, хотя и не отказался от швейцарского.

По длительности пребывания подданным той или иной страны Эйнштейн был австрийцем полтора года, американцем — 15 лет, немцем — 36 лет и швейцарцем 54 года. И практически всю сознательную жизнь он ощущал себя евреем.

В октябре 1946 года к Эйнштейну обратился один из старейших и наиболее уважаемых немецких физиков Арнольд Зоммерфельд из Мюнхена с предложением «зарыть топор войны» и вернуться в Баварскую академию наук. Альберт ответил любезно по тону, но твёрдо: «После того, что немцы уничтожили в Европе моих еврейских братьев, я не хочу иметь с ними никаких дел, даже если речь идёт об относительно безобидной академии».³⁸

Как-то один друг Эйнштейна сказал, что Альберт всегда склонен прощать людей, и очень трудно стать его врагом. Но если всё же с кем-то отношения были порваны, то он навсегда оставался безжалостным и непреклонным. Таким он остался до конца жизни к немцам, чью вину он видел во всех преступлениях гитлеровской Германии.

Величайший физик двадцатого века умер 18 апреля 1955 года в принстонском госпитале. В блокноте на тумбочке у его кровати остались несколько написанных им в последнюю ночь формул и короткие заметки к докладу, который он собирался сделать по случаю седьмой годовщины образования государства Израиль. Среди других там была такая строчка: «Всё, к чему я стремился, — это своими слабыми силами служить правде и справедливости, даже рискуя при этом никому не понравиться».³⁹

Учёный всегда искал лаконичную и выразительную форму своих физических теорий. Именно так, просто, без пафоса и самолюбования сформулировал он в последнюю ночь на этой земле тот главный моральный принцип, которому был верен всю жизнь.

Германия



Альберт Эйнштейн у своего дома в Принстоне

279

35 Вандер де Хаас (Wander Johannes de Haas, 1878–1960) — голландский физик и математик.

36 Goenner Hubert. Einstein in Berlin (см. примечание 4), S. 338.

37 Полное название закона выглядит так: «Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit».

38 Hassler Marianne, Wertheimer Jürgen (Hrsg.). Der Exodus aus Nazideutschland und die Folgen (см. Примечание 8), S. 29.

39 Там же, S. 30.



Пётр Ореховский, Евгений Попов Динамика поколений: 60-е–90-е...

Пётр Ореховский (П.О.) К какому поколению вы себя относите?

Евгений Анатольевич Попов¹ (Е.П.) Если бы наша беседа состоялась лет пять, а то и десять назад, я бы ничего не смог ответить. Я бы бекал, мекал, врал бы вам, что какое там поколение?.. я этого ничего не понимаю. Но сейчас уже какая-то ясность наступила за это время, за 15 лет. Да какие там 15, уже 23 года прошло с начала так называемой «перестройки». Я и сам много думал на эти темы, прикидывал. Поэтому я, наверно, могу вам более чётко сейчас сказать — я отношу себя, несомненно, к определённом поколению, и глупо бы было, если бы этого не было, потому что каждый человек к какому-то поколению принадлежит.²

Я бы так сказал — это такие запоздавшие шестидесятники. Когда мне было 16 лет, я прочитал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына и «Звёздный билет» Аксёнова. Эти книги оказали на меня огромное влияние. Я тогда читал очень много, но не очень понимал, как литератор, каковым я считал себя уже тогда, должен ориентироваться в жизни. Что он должен писать, как себя вести. Хотя меркантильных целей у меня не было, как и у каждого настоящего литератора, который, как я думаю, определяется одним, очень простым критерием: писатель — это тот, кто не может не писать. А всё остальное — это второстепенное. Так вот, почему запоздавшие шестидесятники? Потому что я родился в 1946 году, и в семь лет присутствовал — естественно, не физически, а находясь в составе страны — при смерти Сталина. Этот день я помню прекрасно — 5 марта. И дальнейшее всё происходило под влиянием той идеологии, которая официально была выдвинута Хрущёвым. То есть — развенчание Сталина, ужасы сталинизма, — всё это я узнавал даже не из «самиздата», которого я тогда не ведал, а по радио. Так я и начал что-то соображать.

В 16 лет я написал довольно глупую щенячью статью под названием «Культ личности и «Звёздный билет», где не было ничего оригинального, а излагалась тривиальная мысль — в стране совершались преступления, и надо как-то из этого выйти.³ Так вот — почему «запоздавшие шестидесятники», к которым я, кстати, отношу и ряд других литераторов? Потому что когда мы начали писать и пробиваться к печатному станку, время оттепели уже кончилось. Мы — опоздали. Тогда уже цензурные рамки и вообще обстановка стали такими, что вещи, которые наше сознание ощущало как нормальные, для цензуры и редакторов были аномальными. Они воспринимались уже как антисоветчина и диссидентство. Хотя ни

в одном из моих текстов — и тех лет, и позднейших, я смею утверждать, нет антисоветской идеологии. Там есть скорее идеология несоветская.⁴ Но Виноградов, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, наконец, Высоцкий — это другое поколение. Это всё-таки люди, которые в детстве войны хватанули. И плюс были на их памяти дикие репрессии конца тридцатых и сороковых. Как у Аксёнова, у которого долгие годы и отец сидел, и мать сидела.

П.О. Это люди, которые хватанули войны в детстве, но войны не прошли. Ведь было же военное поколение, про самоидентификацию которого теперь можно говорить только ретроспективно, оно уже, к сожалению, ушло. Однако часть шестидесятников говорит, что принципиальной разницы между военным поколением и собой, поколенческой разницы, они не ощущали.

Е.П. Нет, мне кажется, всё-таки эта разница ощущалась. Если человек в качестве солдата прошёл войну, как Астафьев, Окуджава, Василь Быков — это одно. А вот, допустим Аксёнов 1932 года рождения, несмотря на все жуткие испытания его детства и юности — это другое.

А что касается того, что они разницы не чувствовали, то ведь всё это достаточно условно — и слово «шестидесятники», и даже термин «поколение». Потому что у меня так сложилось, что всю жизнь компания моя — уж её-то вряд ли можно было назвать поколением — была разновозрастная. Одно время я был самый молодой в компании, а компания в 70-е годы состояла из моего друга-поэта Льва Тарана 1939 г.р., историка Леонида Новака 1935 г.р., прозаиков Романа Солнцева 1939 г.р. и Эдуарда Русакова 1942 г.р., старых эзков-писателей Федота Федотовича Сучкова 1915 г.р. и Юрия Осиповича Домбровского, не помню, какого он года рождения, по-моему, 1909. И это была компания, где не то чтобы все были на равных, но там не было отношений «ученик — учитель». Было общение коллег и единомышленников. Нет, ещё был в компании ныне очень известный художник-сценограф Владимир Боер 1950 г.р. Так что я ещё не самый был молодой.

П.О. Тогда это — групповая динамика. А поколенческая — она другая.

Е.П. Да. И чтобы охарактеризовать поколенческую, переходим сейчас к «сталинистам» и к тем моим сверстникам, которые — не «шестидесятники» в общем понятии этого слова. «Сталинисты» в жизни непременно присутствовали, потому что многими людьми, укоренёнными в прежнем социуме, всё это, всякое развенчание Сталина казалось разрушением основ. Основ жизни. И они яростно

против этого протестовали. Я помню прекрасно их ненависть к Хрущёву из-за этого. По их мнению раньше был порядок, страна развивалась, Сталин выиграл войну. И эти люди полагали, что страна катится в пропасть, разлагается идеологически... Всё, жизнь в стране закончилась, и никогда уже ничего хорошего не будет, и они как могли против этого боролись.

Были и писатели, например, тот же Кочетов, или Стаднюк. Была борьба, причём в официальной литературе, а не в андеграунде, который позже появился. Так что «сталинисты» непременно присутствовали, и присутствовали везде. Однажды меня забрали в милицию за распевание песен Окуджавы в городе Красноярске около крайкома КПСС. Нашу компанию всю сгребли и увезли в кутузку, а там была народная дружина.

Они говорят: «Вы песни поёте, чего вы пели?» — «Окуджаву пели». Дружинник спрашивает: «Японец?» Ему мой приятель отвечает: «Сам ты японец». Его немедленно — под микитки. А я догадался в ответ спросить: «Скажите, а что вы делали при Сталине?» А он мне: «Сейчас я тебе покажу, что я делал при Сталине» — и меня тоже заперли мгновенно. Это люди, которые ориентировались на тридцатые-сороковые. Это и был сталинизм.

П. О. Можно ли говорить, что репрессии по отношению к другим и далее репрессии по отношению к себе — поколение сталинистов воспринимало как должное, как естественную часть образа жизни?

Е. П. Да. Насколько я с ними общался — я же работал геологом — да, они это воспринимали как должное. И всегда была песня о том, что — если я говорил, например: так ты же и сам сидел? — они отвечали: это ошибка была. Остальные все сидели правильно. Это осталось навсегда у них. Даже у тех, кто отсидел. У «сталинистов», которые отсидели.

П. О. Но, видимо, были и такие люди, которые маскировались под сталинистов, они не готовы были идти до конца? То есть они были не против, чтобы при случае кого-нибудь расстреляли, но если и не расстреляли, а только отодвинули от кормушки, то этого было достаточно?

Е. П. Вы абсолютно правы. Мне кажется, что этот многолетний террор выработал у них некие грандиозные мимикрические способности. То есть говорить то, что требуется, чтобы тебя не репрессировали. Они ведь не кричали: «Долой Хрущёва!», а говорили, что «партия, конечно, права, но всё-таки учла бы партия, что товарищ Сталин — великий человек». И мне кажется, что одной из причин этого было уже желание выжить, сохранить себя, карьеру, жизнь, семью и так далее. Им казалось, что — так лучше.

Я не имею в виду дураков, которые вообще ничего не понимали, я имею в виду умных людей. Каким, несомненно, был Кочетов. Несмотря на все его вывихи. Это мимикрические, конечно, дела были. В чистом виде сталинистов было очень мало. Они были, возможно, в это время на Западе, среди левой интеллигенции, ещё оставались там «любители дядюшки Джо» и «председателя Мао».

П. О. Но среди писателей тоже были защитники Сталина. Например, когда развенчивали культ

личности, г-н Шолохов сказал такую важную фразу, что — да, был культ, но была и личность. Или — Фадеев. И это переживалось как трагедия. Причём переживалось сложно — ведь Шолохов как писатель: «Тихий Дон» — это же не советская литература, безусловно, не социалистический реализм. Но они были теми самыми людьми, которые были готовы идти до конца. А ситуация после 1956 г. — Кочетов, Стаднюк и другие. Там уже нет такого ощущения.

Е. П. Да, там нет такого ощущения. Но вы называете имена очень яркие и даже эксклюзивные, я бы сказал. Потому что Фадеев, несомненно, был честен внутренне, ощущал огромный стыд за свою жизнь... Как мне рассказывал Семён Израилевич Липкин, был такой писатель Иван Катаев, который был другом Фадеева, и он вечером к нему пришёл, Фадеев. У Катаева ребёнок грудной, они мыли ребёнка в корытце, выпивали, а наутро Ивана Катаева арестовали, и там была подпись Фадеева. Потому что прежде чем писателя арестовывать, его кандидатуру согласовывали с Союзом писателей. У Фадеева, очевидно, много было таких историй. Плюс алкоголизм, Поэтому и самоубийство, пуля в лоб.

А Шолохов — уж вы меня не судите за моё личное мнение — Шолохов был лукавый старичок. Сталина он непременно мог любить, поскольку тот его не посадил, хотя имел на это все основания. Вся знаменитая переписка Шолохова со Сталиным об этом говорит. Но в этот раз так работала сталинская машинка, что Шолохов остался цел. И «как честный человек» должен был сказать свою броскую фразу — про культ и личность.

П. О. Исключения подтверждают правило.

Е. П. Да.

П. О. Шестидесятники и запоздавшие шестидесятники тоже шли до конца. Правда, кончалось это всё-таки, как правило, не расстрелом, но арестами и изгнанием за рубеж.

Е. П. Если о «шестидесятниках», то здесь вы правы, многие из них шли до конца. Но они зачастую были людьми разных мироощущений. Например, известный диссидент, создатель «Континента» Владимир Максимов одно время работал в журнале «Октябрь» у Кочетова.

П. О. Не знал.

Е. П. Работал у Кочетова. Он был, я думаю, ярый враг Виноградова, ярый враг «Нового мира». Два противостоящих друг другу журнала было — «Новый мир» либеральный, демократический, Твардовского и «Октябрь» — оплот сталинизма, кочетовский. Так вот Максимов у него работал, у Кочетова. А потом пошли головомозжительные диссидентские дела. Публикации на Западе, отъезд, «Континент». Парадокс судьбы состоит в том, что Игорь Виноградов, если так примитивно, грубо судить, был идейным противником кочетовского «Октября», а стал сменщиком Максимова в журнале «Континент», когда «Континент» начали издавать в России. Максимов был его другом.

П. О. Поразительно. Люди, которые сейчас, в наше время являются идейными оппонентами, не могут совмещать это с личными отношениями. И такую трансформацию, чтобы один человек, который конфликтовал или конфликтует с кем-то сейчас,

оставил журнал своему бывшему оппоненту, абсолютно невозможно себе представить.

Е.П. А сейчас есть ли вообще идейные противники?

П.О. Конечно, есть.

Е.П. В литературном мире я таких больше не знаю. По-моему, сейчас все бывшие «официалы» усиленно делают бывшую писательскую собственность. Тому примером перманентные скандалы вокруг Литфонда — там совершенно странные возникают комбинации персон, уже не по идейные соотношения, а просто — групповуха, где якобы «почвенник» братается с якобы «западником». Ради денег.

Я же не в буквальном виде вам историю Виноградова-Максимова передал. Я не могу знать, какие у них были отношения, когда они были молодыми людьми. Но я знаю — я был знаком с Максимовым, — что он первоначально ненавидел всю эту компанию, как ему казалось, «звёздных мальчиков» и девочек — Аксёнова, Вознесенского, Евтушенко, Окуджаву, Ахмадулину. Об этом у него есть в романах: он, например, описывает, как они выходят из ресторана Центрального дома литераторов и снег со своих личных машин сметают.

П.О. Но они-то действительно — звёздные мальчики, и из них в конце концов сформировали контрэлиту. А запоздавшие шестидесятники, да ещё из провинции, как вы, вы в принципе не могли попасть в этот поезд.

Е.П. Так я об этом и говорю. Это и есть мои слова. Потому что когда мы издавали ещё в Красноярске подпольный, можно сказать, самодельный литературный журнал, мне было 16 лет. Как раз в это время громили Аксёнова, Вознесенского, Евтушенко, и один из наших авторов, я его помню — Ян Аникин, тоже провинциальный мальчик, с Урала, сказал: «Хрущёв их хоть по именам знает, а нас-то вообще никто не знает». Вот в чём и дело-то всё. Мы в игре уже не участвовали, то есть отстранены были от игры. И здесь, наверно, можно сравнивать послевоенное поколение, или рождённое во время войны с довоенным. В юности, вы сами понимаете, особое значение имеют 3–4 года. Допустим, человек 35, 40, 46 или 50 года рождения. Разные вещи чуть-чуть.

П.О. В юности — да.

Е.П. Тогда, в конце 60-х начале 70-х разумеется, существовала — если возвращаться к литературе — литература комсомольская, существовала литература деревенская, городская... то есть мы разные были молодые люди. И сначала мы были все вместе. Нет, не то чтобы вместе, но мы все знали друг друга. Например, я был хорошо знаком в юные годы с критиком Бондаренко, который сейчас издаёт газету «День литературы». Вы знаете эту фамилию?

П.О. Нет.

Е.П. Владимир Бондаренко — это такой в либеральном мнении... жупел, работающий в связке с Александром Прохановым. А в то время, которое мы обсуждаем, он был молодой человек... как бы вам сказать... культурный и лояльный к «шестидесятникам», родом из Архангельска, мы обменялись «самиздатом», Набокова, помню, обсуждали. Он, уже работая в «Литературной России»,

пару раз обо мне писал. Это потом дороги разошлись. И здесь, наверно, вот что главное, и эта мысль будет предварять наш разговор об официальной литературе и андеграунде. В это время люди моего поколения уже чётко могли делать какой-то выбор: или ты хочешь писать и быть писателем таким, каким ты хочешь быть, или ты строишь советскую карьеру.

Как только я тоже стал высовываться с рассказами, меня довольно хорошо узнали в редакциях, во многих редакциях — и в «Новом мире», и в «Молодой гвардии», и в «Юности». Знали, но — не печатали. «Сельская молодёжь» — был такой хороший журнал, тоже не печатали. Я помню разговор с Б.Р., одним из сотрудников этого журнала, он сказал мне: «Жень, что ты делаешь вообще? Что ты ходишь с рассказами, которые никто печатать не будет? Ты это должен понимать прекрасно, потому что их в таком виде печатать не будут. Поэтому тебе надо войти в этот круг. Ты кончай все свои дела, я тебе дам сейчас командировку на БАМ или на комсомольскую стройку, ты пишешь очерк, получаешь 300 рублей, купишь себе свитер — ты в дырявом свитере ходишь, ты всё сделаешь — и пошло-поехало. А там, глядишь, понемножечку и рассказик как-нибудь тиснем под это дело».

Вот так вот все и лавировали, крутились. Но я знал одно: ты один раз такое сделаешь — и это на моих глазах было с моими сверстниками, очень талантливыми людьми — один раз стоит это сделать, и ты пропал. И это никакие не нравственные соображения, а просто чисто бытовые, ремесленные. Потому что если ты едешь туда, на условную «стройку» — там прекрасно, там водка, костёр, рыбалка, ты там видишь хороших мужиков, пишешь требуемый очерк с советской идеологией. А потом это тебя затягивает, потому что ты видишь: а деньги-то кончились, 300 рублей кончились, надо ещё 300 рублей. Ты меняешь образ жизни, понемногу втягиваешься и забываешь о том, как писать прозу. И этого соблазна очень многие избегают не смогли.⁵

Один путь был, так сказать, конформизма полного, а другой — «смирение паче гордыни». Это когда молодой писатель пребывал в глубокой уверенности, что весь окружающий социум — полное говно, все кругом — сталинисты, сволочи, дураки, ничего не понимающие в искусстве, а он есть великий писатель и его гоняют именно потому, что он — великий писатель. «Я буду писать то, что хочу», — надменно декларирует он. И при этом ни хрена не пишет. Ибо слишком увлечён *анализом обстановки*. И время своё, которое ему Бог дал для того, чтобы сидеть и писать ручкой или на пишущей машинке тексты, он тратит на то, что не работает, а лишь бесконечно говорит о литературе и *ждёт случая*. Он начинает изрядно пить, это, кстати родовая черта нашего поколения, много пить. Он — посетитель Центрального дома литераторов, куда его кто-нибудь из сочувствующих ему членов Союза писателей проводит, поскольку его самого туда не пускают. Там он сидит в кафе и мечтает: вдруг на него, такого талантливого, случайно обратит внимание редактор «толстого» журнала. Или Евтушенко вдруг его обласкает. Всё! Это тоже гибельный путь. А если он в это время уже,

допустим, женат? Замучает жену, деточек своей нищетой, полной безысходностью.

П.О. Ощущение, что вы говорите о середине 70-х.
Е.П. Нет. Это — конец 60-х — начало 70-х, но я говорю о своём поколении. В это время уже были «литературные генералы», каковыми «писательская масса» числила Аксёнова, Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину, Роберта Рождественского, но даже не Окуджаву ещё и уж тем более не Высоцкого. Здесь речь идёт об обычных литераторах, о тех, которые слоняются и ждут, когда начнётся жизнь. И проигрывают, даже талантливые люди. Я в данном случае не говорю о тех, кто перешёл в разряд «диссидентов» или «продался большевикам». Хотя по мне так путь избегания крайностей и есть самый продуктивный для писателя путь. Нужно воспринимать ситуацию как реальность и заниматься своим делом. А там уж как Бог даст. «Не верь, не бойся, не проси» — это и к литературе относится.

П.О. Всё-таки, возвращаясь к теме, из вашего поколения, те, кто родился после войны, но не был шестидесятником и занимался творчеством, — такие люди были? Я вам как-то присылал резюме одного нашего семинара — нам удалось выделить 3 типа эстетики: одну мы назвали эстетикой свершений (героическая), другую — эстетикой упадка и третью, в области «нуля» — «эстетикой уюта». Если построить фазовое пространство, то в окрестностях нуля — уют, «плюс» — это свершения, «минус» — упадок. И, скажем, Сорокин, Пелевин, Саша Соколов — всё это — эстетика упадка в отличие от шестидесятников. Прокомментируйте, пожалуйста.

Е.П. У вас несколько механистический подход, поскольку Саша Соколов — это моё поколение, а Сорокина, чей год рождения 1955, я чётко ощущаю, как другое поколение. Он и Пелевин — наиболее яркие персоны в новой литературе, и вполне достойны имени писателя, и тот, и другой. В отличие от многих других модных имён, которые так рядом гуляют. И поэтому, вы скорей всего правы относительно «эстетики упадка» у них, пожалуй что, она несомненно, присутствует.

Ведь есть нечто роднящее совершенно разных писателей: и якобы «западника» Аксёнова, и условно «славянофила» Шукшина. Я сейчас писал послесловие и комментарии к тому «Избранному» Шукшина, и очень много о нём прочитал, обнаружил много схожего с Аксёновым, включая биографию, — у обоих отцы были репрессированы. И аксёновский Кирпиченко из рассказа «На пути к Луне» явно предвзвешивает шукшинских «чудилов». Разница была в социальном статусе — Аксёнов как бы столичная штучка, Шукшин как бы деревенская. То же самое касается Саши Соколова, который, в принципе, даже внутри себя расщепляется. Потому что Саша Соколов, например, в «Палисандрии» — это другой писатель, нежели — автор «Между собакой и волком». Если уж на то пошло, то я бы «Между собакой и волком» даже к «почвенническим» сочинениям отнёс, если смотреть на это непредвзято. А вот от таких писателей, как Сорокин и Пелевин, возникает уже совершенно иное ощущение, которое мне трудно вычлениить... Мне трудно его сформулировать — опять

же, я не литературовед, я — практик, я скорее дух нашего ремесла чувствую...

П.О. Но «Палисандрия» Саши Соколова — роман, из которого вышло впоследствии <...> Сорокина. Разве не так?

Е.П. Я думаю, не так. Возможно, это броская и красивая мысль, но дело в том, что Сорокин многие свои тексты написал ещё до «Палисандрии». Я читал его ещё в рукописях, так что здесь сопоставление Саши Соколова и Владимира Сорокина мне кажется неточным. На Сорокина, скорее, влияли не литераторы, а художники. А именно — концептуалисты, лидеры «соцарта», в первую очередь Илья Кабаков, Эрик Булатов.

П.О. Однако если говорить о концептуалистах, то одна из самых крупных фигур там — это Пригов.⁶ И в живописи, и в литературе. Именно с ним и с Пригова у нас начинается не только концептуализм, но и постмодернизм, поскольку переосмысление реальности, т. е. — другая реальность; и одновременно — уничтожение реальности требует того, чтобы сначала показали, что этих реальностей — много. Когда реальность одна, её трудно расчлениить.

Е.П. Опять же я вам скажу, что до Пригова была Лианозовская школа⁷, а именно Игорь Холин и Генрих Сапгир. Если вы возьмёте стихи Холина, например: «У метро у «Сокола» / Дочка мать уюкала / Причина смерти — раздел вещей, / Это теперь в порядке вещей», что-то приговское вы услышите в этом. Так что он не на пустом месте возник, Дмитрий Александрович.

П.О. Безусловно. Но — вы бы отнесли Пригова к своему поколению, к шестидесятникам? У меня-то ощущение, что он уже другое поколение, несмотря на то что он ваш ровесник.

Е.П. Тогда мы к другой теме переходим, а именно — официоз и андеграунд. Потому что Дмитрий Александрович — дитя андеграунда. Вот он в андеграунде родился, вырос и помер.

Признание к нему пришло, но это тоже отдельная тема. Потому что признание пришло, но как бы сказать... другого сорта признание. Скорее, как поп-звезды, а не как литератора и художника. Вот в чём дело. В конце 70-х мой задушевный друг Дмитрий Александрович был всего лишь «широко известен в узких кругах».

П.О. В 80-е уже по новосибирскому Академгородку ходило его стихотворение «Урожай повысится, будет больше хлеба, будет больше времени задуматься о небе. Будет больше времени задуматься о небе, урожай понизится, будет меньше хлеба».

Е.П. Это да, несомненно... Но тогда классиком, гуру был не Пригов, а другие персоны, например, Фазиль Искандер. Помню проводы в эмиграцию поэта Юрия Кублановского. Фазиль с покойным Юрием Карабчиевским, автором книги о Маяковском, романов, стихов, тоже участником «Метрополя», сидели отдельно и о чём-то важном, с их точки зрения, толковали. Пригова, который был здесь же, они тогда в расчёт не брали. Он казался им почти... ну... сатириком-юмористом, что ли. Понимаете?

Вы и цитируете: «Урожай повысится»... этот, так сказать, эстрадный номер, если уж на то пошло.



Очень мудрый, смешной... Я вообще стихи Пригова люблю, особенно ранние.

Здесь я всё-таки настаиваю на том, что после 1968 года, который вы правильно определяете как конец оттепели, всё стало чётко делиться на два потока. Один — официальная литература, то есть конформистская, она могла быть лучше, хуже, но делалась по законам того общества, которое её оплачивало... И другая — литература андеграунда. Опять же, почему я себя назвал поздним шестидесятником? Потому что, по-видимому, я и несколько моих товарищей — последнее поколение, которое пыталось печататься в официальных изданиях. Все рассказы мы носили в редакции. Каждый из нас имеет коллекцию отзывов, такую пачку, типа: «прочитали вашу вещь, она не пойдёт, читайте больше художественной литературы, учитесь у классиков» или: «темы, затронутые вами, не очень-то интересны» и так далее. По-разному отвечали. Когда мы беседовали как-то с Приговым и Львом Рубинштейном, они — я сначала думал, что они кривляются, — они, например, не знали, где расположена редакция журнала «Юность». И Лёва мне рассказывал, что в их в кругу, когда обсуждали чьи-то стихи, то худшим критерием их качества было: «Это и в журнале «Юность» можно напечатать». Понимаете как? То есть это был сознательный уход в подполье. Опять же без планирования конечного результата, без меркантильных ожиданий литературного и жизненного успеха. Просто вот нашли себе среду обитания и там жили. Это потом уже пришло — появление западных славистов, переправка рукописей за рубеж, в зарубежные издания типа «Аполлон-76», издательство «Ардис», которое Сашу Соколова открыло.

До этого, до 70-х, было — литература или советская, или антисоветская. И журналов-то не было. Или были советские журналы, или был

«Посев» — орган НТС и «Грани». И кто там печатался, того сажали сразу же, поскольку НТС не скрывал, что у них в программе стоит борьба с советской властью. Или «Вестник РХД» — Российского христианского движения, в Париже издававшийся тогда. Или всё, что вокруг Солженицына. Было чёткое разделение. Эстетика — то, о чём мы говорим, — в расчёт не бралась. Ты за нас или против нас.

П.О. То есть та трагедия, которая у вас произошла через переоценку Солженицыным социализма...

Е.П. А, нет-нет. Это ваш второй вопрос. У меня переоценки не было никакой. Пересмотра ценностей не было. С десяти лет я уже думал так, как думаю и сейчас. А солженицынские книги, особенно «Архипелаг» подтвердили мои выводы, и всё. Наглядно показали, что у нас происходило и происходит в стране.

П.О. Но как тогда всё-таки было, в конце 70-х? Поскольку вы придерживаетесь определённых ценностей, у вас возникает определённый круг общения, люди, которые придерживаются тех же взглядов, что и вы. А те, кто были другими? Кто был другим? Где были те индикаторы, по которым вы отличали своих от чужих? Или не от чужих, но от других?

Е.П. Я вам сейчас глупости буду говорить, и умного от меня ничего не ждите. У меня только наблюдения, а не мысли. «Наши», те, прежние «наши» — они были разные. Были графоманы, были идиоты, были пьяницы... Но не были они — коммунистами или даже комсомольцами.⁸ Потому что одним из основных вопросов у человека моего поколения было — вступать или не вступать в партию. Это очень чётко ощущалось. Всегда. И когда человек колебался-колебался, а потом всё-таки вступал, ну — и хрен с тобой, его уже нет.

П.О. То есть выпадал из компании?

Е.П. Мы ведь обобщённо говорим? Выпадал, разумеется. Я помню, когда я жил в Красноярске, поэт, мой старый старший друг З.Я. ко мне пришёл с бутылкой плодово-ягодного вина и сказал, что он сегодня вступил в партию. Я говорю: «Зачем ты туда вступил?» Он отвечает: «Мне надоело сидеть в коридоре за закрытой дверью и ждать, когда там будут решать насчёт моей рукописи или вообще что-либо решать. Я хочу там сидеть и принимать участие в решении». Я ему: «Ну и сиди, говорю, там». А он: «Нет, ты же ко мне придёшь, чтобы я помог тебе напечататься». Я сказал: «Хрен я к тебе приду, и вино я твоё пить не буду, я плодово-ягодное не пью. Это слишком дешёвое вино, чтобы я его пил». А судьба этого человека интересна, потому что мы ещё ведь на одну тему не поговорили — о ленинских нормах так называемых. У этого поэта всё это, весь этот бред в голове был: про ленинские нормы, про романтику 20-х годов. И он не один такой был. Посмотрите на фильмы типа «Бумбараша», это же романтика целая. А они же убийцы были, эти «комиссары в пыльных шлемах», если честно говорить...

Кстати, что касается старых большевиков. Вы спросили, видел ли я человека из того поколения. Я видел отца Аксёнова. Перед отъездом Аксёнова за рубеж в 80-м году ему было уже за восемьдесят. Он приехал сына проводить.

Отец Аксёнова отсидел какое-то немыслимое количество лет, я не помню, лет 27. Выпускали, снова сажали. А потом мне Аксёнов рассказывает: «Я вот с папашей беседую — всё нормально идёт. Брежнев — говно? Говно. Хрущёв — говно? Говно. Сталин — говно? Сволочь, убийца. Но Ленина — не трожь». И всё, понимаете? И это, наверное, и был рубеж, который перешли «шестидесятники».

А мне его уже не надо было переходить, потому что я с самого начала не был в восторге от Ленина, мягко говоря. А потом и книжечек антисоветских начитался, что стало подтверждением каких-то внутренних моих ощущений. Мне это всё не нравилось, *савецкое*. Мне тогда Колчак нравился.

П.О. Но там тоже много «весёлого» было. В омском краеведческом музее, например, перчатка из снятой с руки человека кожи, с ногтями, которая была у анненковского офицера. Сейчас её убрали из экспозиции, чтобы не травмировать посетителей: у нас же теперь белые — идеал.

Е.П. Я не собираюсь говорить, что там с одной стороны были «красные черти», а с другой — «ангелы-херувимы». Били друг друга, и всё. И Колчак тоже. Если в двадцать лет он у меня был романтическим героем, то я сейчас очень много о нём другого знаю.

Как бы вам объяснить свою-то позицию? Я против любых видов экстремизма и любой мифологии. И оснований для этой моей, извините за выражение «позиции» очень много в России. И в прежней, и в нынешней. Я вижу, я уверен, что каждый человек неоднозначен, его трудно загнать, как вы сейчас пытаетесь, в какую-то группировку типа «поколения». Очень трудно. В этом смысле у вас задача адски трудная. Архитрудная, как товарищ Ленин сказал бы.

П.О. Писатели 70-х–80-х гг., которых вы непосредственно наблюдали, — можно ли о них говорить

как о поколении, вычленив какие-то школы, кружки, направления?

Е.П. О 70-х–80-х я могу говорить компетентно. Я в какой-то степени прошёл официальную литературу: ходил по редакциям, пытался напечататься, меня знали, обо мне даже писали немножко, участник совещаний молодых писателей, пробыв 7 месяцев 13 дней в Союзе писателей официально. После чего был оттуда низвергнут и оказался в андеграунде, где жизнь, как оказалось, к моему удивлению тоже цвела полным цветом и была ключом. До этого я знал лишь нескольких людей из андеграунда, но мало с ними общался. Как-то меня не тянуло туда. И я за это благодарю судьбу, потому что я человек увлекающийся. Если бы я в 60-е годы, в 1963 году, например, когда я впервые приехал в Москву, связался бы со СМОГИстами, я бы тогда наверняка до конца пошёл, посадили бы уж точно. СМОГИсты — это была самая популярная тогда андеграундная группа литераторов во главе с Леонидом Губановым.⁹ СМОГ — самое молодое общество гениев. Это была самая яркая литературная группа начала 60-х годов. В неё входили, кстати сказать, уже упомянутый Саша Соколов и Юрий Кублановский, но не в качестве её главных членов. Главными там были Леонид Губанов и Владимир Алейников. Они были связаны с уже нарастающим диссидентским движением тогда.

Этот путь мне не нравился, потому что я хотел жить и печататься здесь, у себя на родине. Какая она ни на есть, а вдруг будет всё-таки немножко другая? И здесь я вынужден сказать об альманахе «Метрополь», хотя о нём уже писано-переписано, говорено-переговорено. Дело в том, что альманах «Метрополь» был попыткой раздвинуть сужавшиеся рамки официоза. И шанс на успех был. Потому что за два года до этого в Москве была «бульдозерная выставка» художников, со страшным их избиением. Но потом им выделили выставочный зал на Малой Грузинской, и они обрели официальный статус. В какой-то степени на это и был расчёт, на то, что власть подумает: «А что с этими... они политикой не занимаются. Они листовки не пишут. Литераторы... подумаешь, эстетика другая у них. Да пускай, хрен с ним, напечатаем этим м... 1000 экземпляров их бреда, чтоб не воняли». И всё. И кстати, это не только моё мнение, но даже такого типа, как Филипп Денисович Бобков, начальник 5-го управления ГБ, которое тогда всех диссидентов гоняло. После «перестройки» он, кстати, стал советником у Гусинского, владельца НТВ. Я читал его мемуары, «КГБ и власть». Он там пишет, что была такая группа «Метрополь» декадентствующих литераторов не очень высокого уровня, ставшая причиной грандиозного международного скандала. Насколько ему можно верить — не знаю, но там было такое: мы в КГБ, дескать, считали — пусть их издадут ничтожным тиражом, и вся недолга. Но карьеристы из Союза писателей во главе с Феликсом Кузнецовым раздули скандал, пишет Бобков.

Вообще-то, между нами говоря, резонно пишет тов. Бобков: писательские начальники в этом скорей всего увидели посягательство на свой жирный кусок. Как же так? Вдруг Партия «Метрополь» сдурю одобрит, и главным у кормушки будет уже не

Феликс Кузнецов, а, например, Аксёнов. Поэтому и начались репрессии, инициированные именно СП. Им невозможно было смириться с ситуацией, когда молодые писатели — я и Виктор Ерофеев, которых только что приняли в Союз, сделали альманах, переправили его за границу, напечатали на Западе, раздавая интервью... И им за это *ничего не будет?* Нет, так нельзя. И они решили, что в воспитательных целях надо выпереть нас из писательского Союза.

П.О. Когда вы организовывали альманах, как это происходило?

Е.П. Были собраны рукописи, скомпонован альманах, отпечатан на пишущей машинке в двенадцати экземплярах и лишь после этого всё было представлено Союзу писателей. Ещё в ВААП — агентство по защите авторских прав — экземпляр отдали, в Комитет по делам печати, плюс куда-то ещё, чуть ли не в издательство «Советский писатель», я сейчас уже не помню. Смотрите в словарях и энциклопедиях.

П.О. То есть это шло официальным путём. Вы не сразу переправили это на Запад.

Е.П. Мы были бы дураками, если бы сразу этого не сделали! Пропал бы «Метрополь» — замотали бы всё или изъяли. Мы просто никого из начальствующих в известность об альманахе не ставили. Но об этом узнали в Союзе писателей, они нас вызвали, стали спрашивать, что за альманах, ребята, то да сё, а мы в ответ, что мы — люди ленивые, всё медленно делаем, сделаем, так принесём вам. И в один прекрасный день я и Виктор Ерофеев взяли этот альманах и вручили его Феликсу Кузнецову. После чего и начались все репрессии.

П.О. Председателем альманаха был Аксёнов?

Е.П. Нет, у нас не было председателя. Аксёнов был лидером, негласным лидером, а всего было пять составителей: Аксёнов, Битов, Ерофеев, Искандер и я. Пять человек, которые несли за это ответственность.

П.О. Но дальше? Вы пытались его издать в СССР?

Е.П. Попытка заключалась в следующем. Он был принесён в Союз писателей, Кузнецову, он был принесён в ВААП, в Комитет по печати, отовсюду его возвратили без разговоров. Кроме «кузнецовского» экземпляра, который тут же был передан в ЦК КПСС. А так — даже не хотели брать. Я помню, как ВААП — они всячески отбояривались. Мы им говорим: «Вот, альманах принесли». Они говорят: «Ну, а что там... принесли, так лучше бы забрали». Мы говорим: «Нет, документ дайте, что приняли его, альманах».

И, тем не менее, это была официальная попытка издать на родине. Но только она была в новых уже эстетических, что ли, формах, без чинопочитания без всякого. Для них это было в новинку, когда где-то в преамбуле альманаха стоял знак копирайта, который, скорее, из пижонства поставили, плохо понимая, в чём его смысл. И было написано, что альманах может быть опубликован только в таком виде, в каком он представлен, без купюр. Как выразился Феликс Кузнецов, это же шантаж немислимый! Так не бывает *никогда*, утверждал он, чтобы вообще печатать что-либо без изменений, это шантаж, это наглость.

П.О. То есть — в авторской редакции?

Е.П. В авторской редакции, как теперь называется. Так что формально попытка была. Но поскольку мы знали, где живём, поэтому — и правильно сделали между прочим — в это же время через западных дипломатов два экземпляра альманаха ушло на Запад. Один во Францию, другой — в Америку. Когда начались репрессии, если бы на Западе не было этих экземпляров, то — всё, пошумели, покричали, разошлись. А тут получилось мощное продолжение. И моральная правота у нас была — вы не хотите его печатать? Значит, его напечатают в другом месте.

П.О. Давали ли вам какие-то письменные заключения, что это — антисоветская литература?

Е.П. Было больше, чем письменное заключение. Собирали целые орды писателей громить альманах. Имеется газетка «Московский литератор» там в двух номерах мнения *десятков* советских писателей о «Метрополе». Под заголовком «Альманах «Метрополь» — порнография духа». Цитата, кстати, у Вознесенского украдена, это его фраза — «порнография духа».

П.О. Но это же после того, как он вышел?

Е.П. Нет, это до того.

П.О. До того?

Е.П. До того. Дело в том, что когда мы с Ерофеевым принесли альманах вот этот самый, было часов пять вечера примерно. Мы с ним отдали экземпляр Кузнецову и пошли в ресторан Центрального дома литераторов пьянствовать. Когда мы выходили из ресторана, услышали стрёкот пишущих машинок. Как выяснилось, вызвали срочно машинисток и размножили его в сорока экземплярах. Они сами его размножили, нарушая, кстати, этот самый копирайт.

Дальше было так. Нам рассказывали, что лояльных к власти писателей *заставляли* читать альманах «Метрополь» и писать отзыв отрицательный. Причём их запирали в парткоме, не давали экземпляр домой, они там читали, под замком. Другие члены СП сами просили, чтобы им дали почитать, — так им альманах наоборот не давали, подозревая, что они сомнительно настроены и напишут не то, что требуется. Так что все эти мнения, обсуждения — всё это было *до выхода* всякого. И там не было обвинений в прямой антисоветчине. А было там, если вспомнить вашу схему, обвинение в «эстетике упадка». Что это, дескать, изображение теневых сторон действительности... Хулиганство, мистика, эротика. Это всё были отрицательные характеристики.

П.О. И — неконтролируемый подтекст?

Е.П. Здесь-то его и искать не надо было, вот он, налицо. Плюс очернительство, модернизм, секс. Подлец какой-то написал: «Нас волнует судьба молодых писателей, например, Евгения Попова, который пишет только о пьянстве и половых извращениях».

П.О. Слово «модернизм» было ругательством?

Е.П. Разумеется. Оно всегда сопровождалось другими какими-нибудь эпитетами или прилагательными, например: «жалкие потуги модернизма», или «повторяют азы западных модернистов», вот так ещё. Но это была, повторяю, последняя официальная попытка последний раз вступить в контакт с властями.

П.О. Это 1978 или уже 1979?

Е.П. Это — начало 1979 года. И это всё дело пролетело, причём повторю — я до конца не понимаю почему. Там в это время уже была борьба — и в Политбюро, и в ЦК. Мне, например, рассказывали соседи Феликс Кузнецова, что его жена ходила по писательскому двору в Безбожном переулке и приговаривала: «Что так Феликс волнуется? Снимут его, так у нас же всё уже есть: квартира есть, машина есть. Будет снова статьи писать, чем-нибудь руководить»...

Шанс был. Но он не осуществился. Может из-за того, что 1979 — это год, когда Афганистан начался, потому вообще решили гайки закручивать. В газете «Куранты» в начале 90-х была напечатана из архивов, в свободной колонке переписка Андропова с Политбюро. Я не знал, что это на таком высоком уровне обсуждалось. Андропов пишет Суслову или кому-то там из правителей страны: «по оперативным данным на квартире Евгении Гинзбург, где проживает Попов, состоялась сходка участников альманаха «Метрополь». Там Попов сказал, что он находится на позициях Солженицына, и предложил восстать в книгах. Фазиль Искандер сказал, что надо устроить террор внутри Союза писателей».

П.О. А Искандер говорил такое?

Е.П. Это было полное враньё, этого не было никогда! Во-первых, я никогда на позициях Солженицына не был, несмотря на полное к нему уважение, и в книгах, естественно, не предлагал восставать, что за бред? И надо было хоть немного знать Искандера, чтобы понять, какая это глупая чушь. Я потом спросил опытного диссидента — «оперативные данные» — это что, подслушка какая-нибудь или что? Нет, отвечает, это писал стучака.

Мы же ничего не скрывали. Болтали, что хотели, где угодно. Часто ходили в ресторан ЦДЛ, как вызовут в Союз писателей, так мы после встречи идём, садимся за стол, и нас окружает сразу человек двадцать-тридцать. Спрашивают, что там было да как. И среди них были осведомители. Донесения стекались к Андропову, он их ещё переписывал, усиливал и в Политбюро посылал, что здесь ужаснейшая банда. Новой Чехословакии или там Венгрии, что ли, они боялись? Всё это было намного преувеличено.

П.О. Кундера в «Невыносимой лёгкости бытия» приводит высказывания тогдашних чешских литераторов в шестидесятые. На словах доходило до того, что предлагалось выкалывать глаза коммунистам, очевидно, в переносном, не в буквальном смысле...

Е.П. Уверяю вас, что здесь не было никакого политического контекста, шла совсем другая игра. Когда начались репрессии, то писались обиженные письма Леониду Ильичу Брежневу: обрати, де, внимание, дорогой Леонид Ильич, что происходит в Союзе писателей. Проявили инициативу, а чиновники в ответ преследуют... Не было, и даже в разговорах не было «повесь коммуниста» или ещё что-то подобное. Мера напряжённости в отношениях с властями — всё это было личным делом каждого, потому что там разные люди были, в альманахе. Карабчиевский печатался уже в

«Гранях» тогда, ранее упомянутых, Кублановский печатался на Западе всюду, и для них участие в «Метрополе» было не минусом, а плюсом. Потому что они были уже на грани посадки, понимаете? А здесь они всё-таки в компании со «звёздными людьми». С Вознесенским, с Ахмадулиной. То есть это для КГБ повышало их статус. Для советских писателей — наоборот, Ахмадулина, Вознесенский, Искандер отступники от всего официоза. Поэтому вся история с «Метрополем», где собрались и *те*, и *эти* на мой взгляд, — не потому, что я там участвовал, а объективно — это последняя глобальная литературная история перед распадом коммунизма, получившая международную огласку. Наряду с «делом Пастернака», «процессом Синявского и Даниэля». Я не зарываюсь, не сравниваю одну советскую мерзость с другой, однако это — факт.

П.О. Но она вообще рубежная, эта история. С одной стороны, раскол прошёл здесь, его невозможно стало замалчивать, но, с другой стороны, где-то чуть позже, по-моему, это — «Ловля пескарей в Грузии» у Астафьева. И другой скандал, уже на уровне Союза писателей СССР.

Е.П. Одна интересная деталь. Когда только появился «Метрополь», и первые дни скандала начались, была реакция того же Максимова, который сказал, что это с жиру бесятся литераторы, эти все аксёновы-ахмадулины. Есть стенограмма обсуждения «Метрополя» в Вестнике РХД, где говорится о том, что это эстетика модернизма, что там ничего нового нет. Не воспринимались там, например, стихи Сапгира того же. Но как только начались репрессии — всё. Тон мгновенно сменился — мученики за демократию. Мгновенно. И кстати замечу, что ко мне как к литератору претензий не было особых. Хотя и писал чиновный хам про «пьянство и половые извращения», но, тем не менее, мой литературный уровень оценивался довольно высоко на разных властных этажах. Парень, дескать, хороший, талантливый, из Сибири, просто попал не в ту компанию. Как-то одну редакторшу встречаю тогда, она говорит: «Ну что, Женя, нервы не выдержали, славы захотелось? Не захотел ждать, медленно, постепенно войти в литературу?». Я говорю: «Чего мне ещё дожидаться, я двести рассказов написал, а пять — напечатали». Так что вот как было.

Ведь он был выверен, «Метрополь», что скрывать. Нельзя было формально придрасться, что это, дескать, «диссидентская лавочка». Там ведь не было тогдашних патентованных диссидентов — Владимова, Войновича, Копелева. И это не случайность. Потому что иначе им было бы слишком легко объявить это прямой антисоветчиной. А тут для погрома им надо было делать сильные натяжки. Врать, подвирать, как в истории с «борцом-террористом» Искандером. Поэтому моральная правота была не у них, а у нас. Мы открыто всё делали, ничего не скрывали: на, читай, обсуждай, пожалуйста.

За исключением того, что к тому времени альманах мы на Запад уже переправили. Но если бы здесь напечатали хотя бы пятьсот экземпляров, так мы бы дали отбой и не публиковали бы его в США, это уже была победа. Победа *здесь*...

П.О. Эта история показывает, что элиты дошли до маразма. Если бы даже напечатали не 500, а 5 000 экземпляров, то — что это было для такой страны, как СССР... С другой стороны, по сравнению с тем, что пошло публиковаться во второй половине восьмидесятых, это же несравнимо.

Е.П. Я бы не сказал, что элиты дошли до маразма. Скорее дошли до предела, за которым им уже нельзя было существовать, за ним начиналось уже саморазрушение. Смотрите — вот явление в альманахе Ахмадулиной, например. С прозой. Прозу она не могла опубликовать. Там же были напечатаны вещи даже у звёздных людей, которые они на родине не могли опубликовать, а за границей не хотели. Пьесы Аксёнова, которые и не ставились, и не печатались, считались какими-то модернистскими кунштюками. Рассказ Битова, отвергнутый редакциями... Весь Высоцкий, фактически это была первая его публикация огромная, до этого у него два стишка было напечатано, да и то в искажённом виде. Мне Ахмадулина сказала — как-то мы с ней беседовали — она говорит: «А мне к тому времени всё надоело, и я увидела, что-то не то происходит. Я в телевизоре появляюсь в мехах и каких-то перьях. Я решила, что эту вещь, раз я её напечатать не могу, отдам в альманах». У неё был рассказ «Много собак и собака». Во-первых, там про ГУЛАГ, про канал Москва — Волга есть кусок, а эстетически — Пруст такой. Так что это не распад элиты был, а самовывживание.

П.О. Я-то про элиту политическую говорю. И официальную в целом. Здесь же видите, что получается: «хвост начинает махать собакой». Я впервые с этим столкнулся, когда брал, и здесь то же самое: литераторы для разборок друг с другом используют партийные органы и КГБ. Не партия использует литераторов, а наоборот.

Е.П. Совершенно верно.

П.О. Если правящую элиту начинают использовать в своих целях люди, стоящие намного ниже её в этой иерархии, это означает, что вверху уже никакой идеологии не осталось.

Е.П. Это вы точно сейчас формулируете. Я об этом тогда так не думал, но это точная формулировка. Я вам ещё на одном примере это покажу, потому что меня неоднократно вызывали на «промычку мозгов» и Феликс Кузнецов, и Юрий Николаевич Верченко. Верченко, говорят, генералом КГБ был. Знаменитая персона, его все писатели знали, заместитель Георгия Мокеевича Маркова, оргсекретарь. Марков был Председателем правления Союза писателей СССР, эдакая королева английская, а Верченко — премьер-министр. Так с Верченко разговоры были примерно одни и те же — пиши покаянную. Но к Верченко у меня никаких претензий не было и нет. Потому что, как у Солженицына эски говорят: волкодав прав, а людоед — нет. Потому что он — волкодав, он на службе, он — полиций. Жанدارм. Он себя так соответственно и вёл. И ко мне у него личной неприязни не было. Это я твёрдо могу сказать. Наоборот, даже некая была ухмылка на лице — ух, ребята, крутят как.

А Феликс Кузнецов — падший либерал. Это ведь он — автор термина «четвёртое поколение». Очень смешно читать сейчас его статью

из «шестидесятых», где он пишет, что четвёртое поколение *советских* писателей блюдёт ленинские нормы. И называет имена — Аксёнов, Кузнецов, Гладиллин, Владимов, Анатолий Кузнецов. Все они со временем стали диссидентами, а Феликс Феодосиевич — крупным функционером от литературы. Разумеется, писательские начальники спасали свою шкуру. Потому что понятно было — если это разрешить, то как им-то жить тогда? Вот ещё был такой Юрий Жуков — писатель-международник, всё за мир боролся да против американского империализма. Он говорил, что такая сейчас международная обстановка сложная, да не были бы мы в кольце врагов, да мы любую чушь бы напечатали. И это бы напечатали, «Метрополь». Но сейчас нельзя.

П.О. А когда было иначе?

Е.П. Это уж я не знаю, я при нэпе не жил, а при Сталине был ребёнком. А ещё в нашей затее были, конечно же, элементы карнавала и хэппенинга. Мы собирались устроить вернисаж альманаха «Метрополь», куда хотели пригласить «пол-Москвы» — режиссёров, художников, артистов, дипломатов... По нынешним временам это именовалось бы презентацией. Но тогда-то и слова такого не знали. Мы собрали деньги, сняли кафе, которое потом закрыли в этот день «по техническим причинам». Там должны были быть только шампанское, калачи и красная икра. И как Аксёнов сказал, нужно нам было примерно двадцать манекенщиц — тогда слова «модель» тоже ещё не было — чтобы они, как цветы, между интеллектуалами гуляли.

Эти скромные планы расценили как провокацию чёрт знает какую и сказали, что если этот вернисаж состоится, то всех его участников тут же исключат из Союза писателей. Мы полночи совещались, вернисаж отменили. Сами. Но, для того чтобы уж окончательно всё было о'кей, они сделали так, что это кафе «Ритм» в Миусах, было «закрыто по техническим причинам» на замок. Вот тут-то и поднялся шум на весь мир.

Здесь интересно, кем хвост-то виляет, — они же сами устроили скандал. Я туда подошёл, чтобы предупредить гостей, если кто-то придёт, что «кина не будет». И гляжу — идёт корреспондент «Ажан Франс Пресс» с двумя бабами такими, вальжными. Подошёл француз, прочитал — «закрыто по техническим причинам». И пиратская такая улыбка расцветает на его загорелом лице, и вечером уже «Голос Америки» передаёт — тарарара-ра, репрессии, гонения на писателей, запретили, и всё, пошло-поехало. Если цинично рассуждать, то они сами и сделали бесплатную рекламу «Метрополю», которая стоит, пожалуй, миллион долларов.

И, если заканчивать о «Метрополе», почему они такую стойку сделали. Потому что здесь впервые объединились андеграунд и официоз. Звёзды андеграунда были и звёзды официоза. Эта гремучая смесь, критическая масса — они не могли её выдержать.

П.О. Из андеграунда... Кого вы имеете в виду?

Е.П. Евгений Рейн, например. Не печатался тогда, никак не печатался.

П.О. Рейн был в андеграунде? Это же друг и ровесник Бродского?

Е.П. Тогда друг и ровесник Бродского зарабатывал на жизнь тем, что переводил стихи с подстрочника. Писал какие-то сценарии для документального кино. Его оригинальные стихи не печатались. Книг и званий у него не было.

П.О. Но всё-таки это неофициальная литература, почему — андеграунд? Ведь СМОГ или Пригов — это были концепции, которые вообще, в принципе не могли существовать тогда в официальной литературе.

Е.П. И поэзия Рейна не могла существовать в официальной литературе, потому что если человек приходит в издательство со стихами «Да, я жил испуганно и подло, / И подлее ещё заживу», его тут же посылают куда подальше. Мы с ним однажды, с Рейном, стояли около издательства «Советский писатель» и рассуждали о том, почему ни его, ни меня не печатают, хотя мы ничего не пишем против большевиков. И сошлись на том, что они чувствуют крысиным носом своим свободу. Можно это эстетикой называть, об этике — не знаю. Свободный текст... то есть я пишу так, как я хочу. А для них это было абсолютно невыносимо.

Была же система не такая, как сейчас, была же система редакции. Если человек приносил роман, это не означало, что его напечатают в том виде, в каком он написан, над ним будут, видите ли, *работать*, будут что-то убирать, даже у хороших писателей это было. Сравните разные издания Шукшина — из старых изданий всё время что-то вылетает. То о водке вылетает, то намёк на Берию, то ещё что-нибудь. Только не подумайте, что я против редакции. Были великие редакторы, например тот же Игорь Виноградов, или Анна Самойловна Берзер, или Инна Петровна Борисова. Настоящий редактор — это тот человек, который твой текст знает лучше тебя и способен обнаружить в нём глупости и ляпы. Редактор любому писателю необходим. Даже «звезде». Но редактор. А не цензор. Вот сейчас редакции практически нет, и многие издаваемые тексты ужасны.

Андеграунд, пожалуйста... полным андеграундом был Карабчиевский. Или Кублановский — только в андеграунде существовал, никогда не печатался. Молодой был Петя Кожевников из Питера. А у звёзд... Высоцкий был всемирно известен как актёр и бард, но он считал себя поэтом, и не было напечатанных текстов. Здесь, в альманахе, пожалуйста, тридцать с лишним стихов. Я и составлял его подборку. И Аксёнов плавно перетёк в андеграунд. И Липкин, и Лиснянская.

П.О. Можно констатировать, что после «Метрополя» уже советская официальная литература кончилась.¹⁰

Е.П. Это было бы неправильно и нечестно с моей стороны так утверждать. Были и в официальной литературе такие чтимые, уважаемые мной литераторы, как Юрий Трифонов, например. Я твёрдо знаю, что Аксёнов предлагал ему участвовать в «Метрополе». Но он сказал: ребята, у меня своя игра. Он в это время уже связался с издательством «Ардис», он печатал в «Ардисе» полный текст книги «Отблеск костра» об отце репрессированном.

Хотя в какой-то степени вы, наверное, правы, потому что она в основном кончилась именно тогда. Что-то я ничего крупного в печатной легальной литературе с 1980 года до «перестройки» не видел за редкими исключениями вроде Астафьева и Трифонова.

П.О. У меня ощущение, что последний, возможно, запоздавший роман Трифонова «Время и место», 1982 год, и более в официальной литературе ничего не было. Вторая половина восьмидесятых начинается с публикаций таких вещей, как «Факультет ненужных вещей» Домбровского — произведений, которые написаны были давно и лежали уже. И уже с 90-х годов начинается, по сути, другая литература: Пелевин, Петрушевская, Толстая.

Е.П. Это другая литература, да. Что касается тех лет — да, на полном безрыбье такие вещи, как «Буранный полустанок» Айтматова или его же «Плаха» преподносились как безусловные шедевры. Критиками писались десятки статей, что это «философический роман», огромное явление и т. д. Это всё сейчас смешно читать. Там есть удачные куски в этих романах. Но всё это абсолютно «не тянет», если уж по гамбургскому счёту.

П.О. Каково ваше впечатление от 80-х? Были ли писатели, которые родились после 50-го года, после 45-го года, но которые представляли нечто иное, нежели шестидесятники?

Е.П. Людей таких было довольно много, и они очень интересно работали. Вот первые пришедшие на ум имена родившихся в 50-м или чуть позже: Владимир Салимон, Зуфар Гареев, Тимур Кибиров, Алексей Парщиков, Александр Ерёмченко, Сергей Гандлевский, Александр Сопровский, Владимир Сорокин, Владимир Тучков, Татьяна Щербина, Пётр Алешковский, Юлий Гуголев, Олеся Николаева, Игорь Клев, Андрей Дмитриев, таинственный Пелевин.

Пригов — он конечно же значительно старше, но это расцвет его был, восьмидесятые годы. Я хочу вам рассказать, как я с ним познакомился.

Летом 1980, после «Метрополя» мне предложили создать ещё один альманах, «Каталог», который, увы, теперь мало кто помнит. Там составила компания уже из «новых». Пригов, замечательный прозаик и философ Владимир Кормер, Николай Климонтович, Филипп Берман (эмигрировал), Евгений Козловский, Евгений Харионов, который на следующий год умер в сорок лет на Пушкинской улице от инфаркта. Он сейчас стал таким своеобразным идиологом нынешней гей-культуры. Владимир Кормер тоже умер, в 1986, так и не увидев свои книги изданными ни на родине, ни «за бугром». В этом году к его 70-летию вышел двухтомник его уникальных прозаических и публицистических работ.

Во время «метропольского» скандала гэбэшники ходили по писателям и прямым текстом им говорили, что первым «Метрополем» занимается Союз писателей, а вторым будет заниматься КГБ. Ибо шли слухи, что уже готовится второй номер альманаха. Этого не было, прямо скажу. Просто, когда мы рукописи отвергали, то, чтобы не обижать авторов, отвечали им, что это, возможно, пойдёт в следующем номере. Отсюда и слухи.

Кормера я знал, а с Приговым и Харитоновым познакомился только тогда. О существовании Пригова я вообще не подозревал, а о Харитонове наслышан был — через Людмилу Петрушевскую, он дружил с ней и я тоже. Мы собрали альманах и мало того — послали письмо в московское Управление культуры о том, что имеем определённые разногласия с Союзом писателей по эстетике, этике, по тому — сему, но мы — литераторы, мы живём здесь. Поэтому просим — мы вот создали Клуб беллетристов — и нельзя ли, чтобы нам выделили помещение маленькое, где мы могли бы устраивать чтения, встречи. И издавать ничтожным тиражом, ну хоть 500 экземпляров, наши сочинения. Вот их образец, пожалуйста, альманах «Каталог». Реакция была мгновенной, на следующий день почти у всех «подписантов» устроили обыски, машина включилась очень быстро. Начиная с того вечера, когда альманах «Каталог» был готов, только-только всё сложили, расклеили, и ребята повезли его на машине человеку, который должен был передать его на Запад. Очевидно, была прослушка, ибо сижу я в квартире Евгения Козловского вместе с его тогдашней женой актрисой Лизой Никищихиной, а уехавших всё нет и нет. Час нет, два нет, а через три часа они звонят уже из милиции. Их остановили — машину — и сказали, что они подозреваются в краже, похожи по описаниям. Привезли в отделение, первым делом отобрали «Каталог», сняли показания, и отпустили, не ответив на вопрос, какое отношение имеет «Каталог» к мифической краже. Да ведь и в «Каталоге» не было никакой «антисоветчины»! Если не считать таковой дозированное употребление «ненормативной лексики» и описание шоковых ситуаций. Там был совершенно нейтральный текст Кормера, огромная первая подборка стихов Пригова, пьеса Климонтовича, сочинения Бермана, Козловского, мастерская проза Харитонова. Для меня публикация моих рассказов в «Каталоге» особого значения не имела, я уже был к тому времени достаточно известен.

Здесь-то и возникает андеграунд в моей жизни напрямую. И там я увидел — вы спрашиваете, кто там существовал, — там были и группы, и отдельные литераторы. Мощная сеть андеграунда была в Питере. Там были Виктор Кривулин, Олег Охалкин, Елена Шварц, Олег Григорьев, Борис Дышленко, Михаил Берг, Аркадий Драгомощенко...

П.О. Питерские Валерий Попов и Уфлянд — они всё-таки ещё как-то успели пройти через официоз.

Е.П. Так они старше потому что. Они — шестидесятники настоящие по возрасту. Очень хороший прапрадед Валерий Попов к андеграунду отношения практически не имел, он член Союза писателей с 1969 года. Старый «самиздатчик» Уфлянд — другое дело. Бурлила подпольная жизнь в Питере, там даже было пять или шесть самиздатских журналов. «Часы», например, был журнал, «Обводный канал», «Митин журнал», «Красный щедринец». Причём тираж у них был там — ну, десять — двадцать экземпляров. Но ведь имелись даже и подписчики у них!

В Питере непечатающиеся литераторы все друг друга знали, и город меньше, и компания практически одна. Интересная деталь — ответом на

наше предложение в 1980 году создать в Москве Клуб беллетристов были обыски и прокурорские предупреждения: «гражданину такому-то делается предупреждение, что он находится на пути совершения преступления»...

П.О. Какая формулировка интересная.

Е.П. Да. «КГБ по Москве и Московской области предупреждает гражданина такого-то, что он находится на пути совершения преступления». У Пригова было, что он в стихах «глумится над общественным строем», и так далее. Меня предупреждали сразу по трём пунктам: «поставляет клеветническую информацию западным корреспондентам» — раз, второе — «поддерживает связь с отщепенцем Аксёновым» — поскольку эти формулировочки *те ещё*, я их на всю жизнь запомнил — «поддерживает связь с отщепенцем Аксёновым и согласует с ним свои антиобщественные планы», и третий был пункт — «создал ряд идейно-ущербных, близких к клеветническим сочинений с элементами цинизма и порнографии». Всё это, разумеется, было чушью, враньём либо натяжками. Но там ещё написано было, что сей документ передаётся в прокуратуру по месту жительства гражданина. Это уже серьёзно, практически — это гласный надзор.

И вот, когда меня и Владимира Кормера вызвали в это самое Управление культуры, то там какие-то чекисты ли, чекисты сказали нам, что наше предложение о создании Клуба не принимается, что мы ведём двойную игру, всё передаём на «Голос Америки» и вообще не о литературе думаем. И напоследок скаламбурили: «Тихо сидите, пока не посадили».¹¹

Это был 1980-й год. А на следующий год, абсолютно по нашему рецепту, в Питере создали «Клуб-81». А именно — собрали всю питерскую «шпану андеграундную», выделили им место сначала в музее Достоевского, потом на улице Петра Лаврова, где они устраивали читки. Шла речь и о том, что через какое-то время издадут альманах с их сочинениями. Абсолютно по нашему рецепту! Я приехал в Питер, встречаю Кривулина, спрашиваю: «Как вы тут живёте?» Он говорит: «Да ничего вроде, вот устроили вечер христианской поэзии на Рождество». Я говорю: «Интересно». Он: «Семинар по Солженицыну провели». Получилась «зубатовщина» такая. Под гласным надзором.

П.О. Да, очень похоже. Точно так же в Питере создали рок-клуб.

Е.П. Рок-клуб, Малая Грузинская для художников. Там то же самое всё было, тоже всё под колпаком. Но это был способ выживания для питерских. Им морочили голову года два-три. Они всё составляли альманах какой-то, в результате там всё напечатано было с дикими купюрами, некоторых выгнали из Клуба, самых ярких. Но тем не менее, повторяю, это была жизнь. И туда, в этот «Клуб — 81» стали приезжать для выступлений Виктор Ерофеев, Пригов, Сорокин. Я приезжал однажды. Причём мне рассказывали питерские «коллеги», что их вызвали в местное ГБ и сказали: «Ребята, мы так не договаривались. Вы — читайте, а чтобы там всякая ещё московская сволочь приезжала, так не договаривались. Пускай они сами у себя там в Москве разбираются».

П.О. Горизонтальная коммуникация была запрещена?

Е.П. Да, но к тому времени мы все знали друг друга¹². Михаил Берг роман написал об андеграунде — питерском и московском, об их взаимоотношениях. Такой парадоксалистский роман, там все узнаваемые персоны под прозрачными псевдонимами.

П.О. Если их знаешь.

Е.П. Конечно. Хотя он их там довольно ярко характеризует, так что всегда можно спросить у кого-нибудь: а это кто? Я тоже не всех там знаю, разумеется. И это всё продолжалось практически до 1985 года.

П.О. В «Метрополе» были звёзды и официоза, и андеграунда, и он противостоял тогда официальной элите. Потом андеграунд, по сути, стал художественной контрэлитой?

Е.П. Да, там были свои генералы, свои графоманы... Я где-то писал, что я был в той среде и в этой, и процент графоманов — одинаковый. Там и там. И градус амбиций такой же.

П.О. 1985 год и дальше... должен был пойти процесс легализации контрэлиты и каким-то образом её открытого противостояния с элитой. Было ли это? Как это происходило?

Е.П. Не было противостояния. Был просто процесс легализации. Например, Пригов выступает в библиотеке, кричит «кикиморой», ухает, непотребные стихи читает... На следующий день увольняют директора библиотеки за это, а директор уже не унывает: «Да и хрен с ним, что уволили. Зато будет, что вспомнить». Меня и Андрея Мальгина пригласили на телевидение, в прямой эфир, это год примерно 1987. И мне, и ему прозрачно намекали, чтобы мы не упоминали имя Аксёнова, который в это время ещё числился в эмигрантах, на него журнал «Крокодил» собак спускал ещё в 1988 году, обвиняя в преклонении перед за границей. Мы с Мальгиным, не договариваясь друг с другом, гнём своё. Я: «Вот как писал Василий Павлович Аксёнов то-то, то-то и то-то». Мальгин: «Или вот как удачно выразился Аксёнов в «Затоваренной бочкотаре»... Мы заканчиваем передачу, вежливо спрашиваем у редактора: «Что, всё в порядке?». Он в ответ машет рукой, отворачивается. А на следующее утро звонит счастливый: «А ведь и на самом деле ничего не было, из начальства никто даже слова не сказал, и никто сверху не звонил». То есть тогда уже *можно было* — от тебя зависело, бери, открыто всё. Хочешь — бери, не хочешь — не бери.

Или как-то вечер был того же Аксёнова. Заочный — Василий Павлович тогда жил ещё в Америке, фотографии с того вечера остались: Сапгир, Окуджава, Виктор Славкин, Александр Чудаков. Всё это устраивал на свой страх и риск Саша Майоров из Дома архитектора. Его потом дёрнули в гб, он мне рассказывал, допытываются — кто разрешил вечер, кого спрашивали. Он отвечает: а чего спрашивать? Там ведь ничего не было особенного, чай пили. Те говорят: как это не спрашивать? А так, говорит. В наглую отболтался.

Это первый был этап, устный. Потом появились печатные издания. В Питере — журнал «Вестник новой литературы». В Риге — журнал «Родник»,

который Андрей Левкин издавал. Уже мало кого интересовало — публикуется или нет автор на Западе. Слависты, которые раньше писали про Айтматова и Бондарева, стали окучивать Пригова, других концептуалистов. Началось торжественное шествие по стране писателя Сорокина. Постоянно возникали какие-то инициативы, например, при издательстве «Московский рабочий» издавалась книжная серия «Анонс», где я уже был членом редколлегии.

П.О. Вас полностью реабилитировали?

Е.П. Меня восстановили в Союзе писателей в 1988. Я уже мог, например, ходить по редакциям и предлагать рассказы Анатолия Гаврилова, его до «новых времён» близко к «толстым журналам» не подпускали. Он, кстати, один из лучших современных мастеров короткого рассказа. Жил и живёт во Владимире.

В 1989 году создаётся Русский ПЕН-центр, его основателем, вообще-то, является Игорь Виноградов, а не кто-то иной. Игорь Иванович всё это придумал и осуществил с помощью Владимира Максимова, не след это забывать... Ну, вот, я вам вроде всё рассказал...

П.О. Нет, не всё. Это восьмидесятые, процесс легализации. Что произошло в 90-е? Если мы берём 10-е и 20-е, и царскую, и Советскую Россию — ведь куча же всего — и символисты, и акмеисты, и футуристы и бог знает что. И после революции — сколько ещё всё продолжалось до того, как был создан сталинский Союз писателей. А что у нас произошло в 90-е? И дальше, с продолжением в нулевые, как вы видите молодых писателей?

Е.П. Хорошо, я сейчас попытаюсь ясно это сформулировать. Во-первых, я где-то об этом уже писал, когда всё это произошло, то произошла некая *индигестия*.¹³ Появилось море разлитое западной, эмигрантской и некогда запрещённой литературы, включая «Архипелаг ГУЛАГ». Журналы выходили миллионными тиражами. В основном печатались уже известные имена. Началось это с книги «Дети Арбата», и это, наверно, была последняя книга, которую читала вся страна. Я как-то зашёл в метро и увидел, что полвагона читает «Детей Арбата». Произошло, во-первых — обожрались новой литературой с голодухи, отчего немедленно стали появляться какие-то странные соцветия из новых литераторов, у которых наглости и агрессии было больше, чем таланта. Которые, например, площадным матом переписывали стихи Ахматовой и утверждали, что именно это и есть искусство, а всё остальное — трусость и конформизм. Вместо среднего советского писателя вдруг возник средний постсоветский писатель: стихи без рифм, заглавных букв, неумелая матерщина, декларативная антисоветчина, разудалая, скучная эротика. Возникли и исчезли какие-то журналы, журнальчики. В основном они меня разочаровывали, казалось, что это — «осетрина второй свежести», что всё это я уже где-то читал. Или в эмигрантских изданиях, или в «самиздате». Это была дурная литература, в принципе, такая.

П.О. Но сначала-то количество названий растёт. Тогда, если я правильно понимаю, произошло

уменьшение тиражей, и резкое — на порядок — увеличение количества изданий. Это касается в основном периода с 1985 по 1994 годы, потому что примерно с середины 90-х всё «схлопывается». Хотя в тот период происходит и рост количества переводной литературы, Толкиен, фэнтези, детективы. А потом — всё. Начинается Дарья Донцова, Устинова, Маринина — и возникает сегодняшняя структура книжного рынка и издательств.

Е.П. Всё «как у людей», как на Западе. Там тоже есть своя Донцова.

П.О. В чём причина того, что общество перестало быть литературоцентричным?

Е.П. По-моему, тогда был если и не золотой век, то, во всяком случае, позолоченный. Цензуры уже не было, а деньги у издательств ещё были. Только этим можно объяснить миллионные тиражи журналов «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов». Подписчики были, журналы были дешёвые, бумаги было полно.

Например, был такой журнал «Волга», замечательный, издававшийся в Саратове, при Советах влачивший жалкое существование, а к концу 80-х ставший одним из лучших «толстых» литературных журналов. За ним читатели гонялись, там были напечатаны главы из «Архипелага». Там впервые был опубликован Саша Соколов. И я там был напечатан, роман «Душа патриота».

Моя первая книжка «Веселие Руси» вышла в 1981 году, в США, в «Ардисе», а на родине у меня сборник рассказов появился лишь в 1989 году, зато тиражом в 100 тыс. экземпляров. И книга мгновенно исчезла, всё, её не было в магазинах через неделю уже. Сейчас, вы знаете, тираж «серьёзной» литературы пять — десять тысяч экземпляров.

Нового я ничего не скажу. Литературоцентричной страна была ещё и от собственной несвободы. Инженер парится в нии, работать ему за копейки скучно, сидит часами в курилке, где обсуждают то, что вчера услышали по «Голосу Америки» или прочитали в «самиздате». Инженер знал, что ему 150 рублей в любом случае выдадут, 75 в аванс, остальное в получку, и особо-то стараться решительно незачем. Вдруг здесь появились новые условия, когда человек действительно может заработать миллион. Или его внезапно вышибают с работы. нии, который работал на оборонку, закрыт, и он должен думать, что ему теперь делать, чем кормиться. Тоже уже не до книжек. Экономические поводы, пожалуй, одна из самых важных причин оттока читателей от литературы. И изменившиеся правила жизни.

Другая причина: советские читатели, обделённые знанием, искали в советской художественной литературе ответа на все свои вопросы. Роман Валентина Пикчуля про Григория Распутина был бестселлером для огромной части населения, потому что ничего более внятного о Распутине больше нигде было прочитать, всё в спецхране. Практически не было научно-просветительские книги о сексе. Поэтому, если в книге попадались откровенные сцены, эти тоже делало её популярной. Помню, когда я работал геологом, то смотрю — рабочий-бич с увлечением читает революционную эпопею Анатолия Иванова, как там она называлась? «Тени исчезают в полдень». Что,

спрашиваю, здесь тебе нравится? А здесь, начальник, он мне отвечает, одна похабщина написана, как кто кого трахнуть хочет, кому баба дала, а кому нет. Смотри, чё печатают. И читает мне псевдонимную частушку о том, как девки прыгали через костёр и одна из них опалила «хохолок». Как-то не понял бич идейной направленности этого советского произведения, не восхитили его сцены становления родной советской власти в Сибири! Или в каком-нибудь романе можно было (в пересказе персонажей, большей частью отрицательных) хоть чуть-чуть познакомиться с русской религиозной философией. Первоисточники ведь тоже были под запретом.

Поэтому, когда всё появилось в открытом доступе, читатели расслоились, определённая их часть вообще отошла от чтения. И престиж собственно художественной литературы упал. Соответственно и престиж писателя, властителя дум.

Ведь советский писатель — был не просто писатель, а в первую очередь помощник партии. Это была каста со своими привилегиями, с Домом литераторов, с практически бесплатными Домами творчества, с обеспеченным заработком — путём выстужений перед трудящимися, например. У каждого, даже захудалого члена СП, раз в два-три года книжка всё равно выходила. Ведь даже некоторые личности андеграунда наивно полагали в начале «новых времён», что, дескать, раньше официоз правил бал, пировал в ЦДЛ, а теперь — дудки, настало наше время.

Произошло такое же разочарование, как и у эмигрантов. Многие эмигранты, уезжая на Запад, думали, что там — рай, что там они наконец-то избавятся от ужасов тоталитаризма, а заодно и от бытовых трудностей. И вдруг они с удивлением обнаружили — оказывается и здесь нужно искать место под солнцем, платить за квартиру, тяжело работать. Или получать гроши по вэлфери.¹⁴

Вот и писатели. Став свободными, через некоторое время возопили: а где деньги-то наши? Помню, у меня брал интервью в те годы какой-то иностранец. Посочувствовал: «Вам наверно, сейчас трудно, как всем писателям, потому что гонорары сейчас маленькие, издания закрываются, печатается мало». Я говорю: «Вы неправильно немножко меня оцениваете. Для меня это естественный ход событий. Раньше я и многие мои коллеги вообще ничего не получали за свою литературу, кроме повесток в КГБ. А то, что нас теперь печатают, да ещё и деньги за это дают — для нас не то, чтобы совсем чудо, но очень приятное событие».

Писателю *во всём мире* трудно или невозможно жить только на литературные заработки. Западный писатель обязательно где-нибудь или преподаёт, или занимается журналистикой, или живёт на гранты. Там ведь мощная система грантов. Меня всегда удивляло — встречаешь где-нибудь во Франкфурте или Мюнхене заумного модерниста, сочинения которого «страшно далеки от народа». А он прекрасно существует, получая одну стипендию за другой за свои *проекты*. То есть, общество признаёт его туманную, гуманную полезность для себя. Он — нищий по сравнению с представителем middle класса, но денег ему достаточно на оплату квартиры и даже на пиво. И уровень его

жизни значительно выше, чем у прежнего «поколения дворников и сторожей» или подавляющего числа нынешних российских литераторов. У нас такой чёткой системы грантов нет, она так и не выработана. Да что там говорить — Закон о творческих союзах или творческой личности никак не могут сочинить и принять, отчего профессиональные писатели с 1991 года не имеют рабочего стажа для пенсии.

П.О. Нулевые годы — сейчас есть новая литература. Например, Захар Прилепин, которого, кстати, очень высоко ценит Виноградов.

Е.П. Я прочитал роман Прилепина «Санька», хороший роман, и сам мне Захар понравился, когда я с ним встретился. Ещё больше мне нравится его сборник «Ботинки, полные горячей водкой», так он, по-моему, называется. Один рассказ из этого сборника — шедевр.

П.О. Сейчас есть некий поворот от концептуализма к реализму, причём достаточно много жёстких оценок. Входит в жизнь новое поколение. Как вы их оцениваете, и как бы вы выделили их доминанты, можно ли говорить о них как о новом поколении? Это первый вопрос.

И второй, в заключение того, что вы сказали, на Западе жизнь всё равно литературоцентрична. Хотя бы потому, что книжки обсуждаются, в том числе и в газетах. Одно время у нас это выпадало полностью, теперь хорошим тоном в некоторых газетах и журналах считается делать литературные обозрения. Как бы вы эту ситуацию оценили с точки зрения литературного процесса?

Е.П. Я могу ответить на первый вопрос, потому что я довольно много занимаюсь так называемым молодым литератором. Я несколько раз вёл семинары на Форуме литературной российской молодёжи в Липках, организованном Фондом Сергея Филатова, на совещаниях молодых писателей, которые, несмотря на денежные трудности, ежегодно устраивает Союз писателей Москвы, был в составе жюри мощной молодёжной премии «Дебют», участвовал в работе красноярского Фонда Астафьева.

Как бы мне выразиться точнее, чтобы меня не упрекнули в некой категоричности? Мне кажется, что закончилось время разброда, смуты, всеядности, небрежности, необязательности. Я уже говорил, что на смену среднему советскому писателю, который описывал деревню, стройку, героев и кукольную любовь, пришёл в начале 90-х средний постсоветский писатель. Его родовые признаки: неперенный мат в стихах, записанных, как попало, без заглавных букв и знаков препинания, в прозе — мажор, шокирующие сексуальные сцены, подчеркнутый цинизм, всемирное негодяйство и так далее. И всё это довольно скучно, потому, в первую очередь, что — не своё. То, что Пригов, Рубинштейн, Сорокин, Лимонов, Мамлеев избрели сами, то, что ими было выстрадано — всё это копировалось. Появились такие маленькие «приговы», «лимончики», «мамлейчики». То же самое произошло, кстати, с художниками. На моих глазах Эрик Булатов полгода писал картину под названием «Слава КПСС»: и море, и буквы *слава КПСС* — мистические. Он решал сложнейшие задачи — добра, зла, света и гармонии,

композиции. Когда наступили новые времена, молодые люди решили — что там париться-то? Холст купил за трешку, написал — «Долой коммунизм» и пошёл на Арбат втюхивать это глупому «форину». Произошла девальвация этого всего.

Возникли новые идолы — я уже не мог слышать щебетанье в околотолитературных кругах — Кастанеда-Кастанеда, Деррида-Деррида. Плюс глубокомысленное «дискурс», «имплицитно», «тренд», «бренд» — что там ещё из нового жаргона новых образованщиков? Элита, видите ли!

С другой стороны — желание немедленных денег или жажда успеха во что бы то ни стало. Знаю, например, книги, которые уже написаны с прицелом на «Букера», «Нацбест», другие премии, видел тексты, которые предназначены скорее не для простых читателей, а для узкого круга западных славистов со всем их постмодернизмом и «дискурсами».

Сейчас мне кажется, литературная картина меняется. Меня очень интересует первое, по настоящему свободное от коммунизма поколение. То есть те, кому сейчас под тридцать или чуть за тридцать. Тридцать лет назад — это 1978 год. Меня интересуют те, которые ещё лепетали в детском саду, когда началась перестройка, которые с трудом могут объяснить, что такое «пионер». Этой молодёжи свобода пошла на пользу. Они не обожрались западной философией, а изучили её. Многие из них владеют языками, читают в оригинале. Они воспринимают эту жизнь как составную часть своей жизни. Они пытаются не мифологизировать действительность. Они не занимаются хунвэйбинством, как это было модно — громить «шестидесятников» в 90-е. Они никого не сбрасывают с «парохода современности». Некоторые из них создают изумительные тексты, которые не может написать человек моего поколения, потому что я не знаю этих новых реалий.

Это — всего несколько имён. И я их считаю — условно конечно — новыми реалистами, потому что они впитали в свои сочинения жизнь и потому отличную литературную школу. Они сидели на уроках, а не хулиганили в коридорах. Они не хулиганили в коридорах, когда читался курс Набокова или Генри Миллера, например. Они впитали всё, и это присутствует в их прозе, в их поэзии — я с поэзией меньше сталкиваюсь и плохо в ней понимаю, но и в поэзии это чувствуется тоже. Их тоже очень мало, но писателей всегда мало. В принципе, всегда, при любом режиме, при любом строе. Вот это поколение — оно меня очень интересует.¹⁵

Если говорить о будущем литературы, то они — обнадёживающее явление. Они, эти писатели, ещё проявятся, я уверен. Ибо время работает на них, сейчас писателей, слава Богу, пока не дают, речь идёт только о выживании экономическом. И здесь тоже есть определённые сдвиги.

Нормальная литература вновь становится престижной. Крупные издательства, например АСТ, создают специальные подразделения, где печатается некоммерческая, неходовая, но качественная литература. В АСТ у меня сейчас выходит трёхтомник, они меня пригласили, и я с удовольствием пошёл на это сотрудничество. И не только потому, что их гонорар — это уже не те гроши, которые

совсем недавно платили «интеллектуалам», ссылаясь на всеобщую бедность. АСТ имеет сеть распространения по всей стране, у них в каждом крупном городе есть свои пункты продаж, и я рад, что мои книги теперь будут доступны всей читающей публике, а не только высококолым посетителям московских элитарных книжных магазинов.

Так что крупные издательства идут сейчас по правильному пути, вписываясь в общемировую модель культурной издательской политики.

Меня, например, много переводили в Германии, и в старом, почтенном издательстве «S. Fishers» я увидел на видном месте портрет Франца Кафки. Сотрудники издательства объяснили мне, что Кафка — их автор, но в своё время был убыточным. Зато теперь ситуация кардинально изменилась, когда он стал величиной мирового значения. И что они печатают интеллектуальные, «сложные» книги, не надеясь на выгоду, а для повышения собственного престижа, что в свою очередь увеличивает продажи других, «простеньких», массовых книг.

И грешно говорить, что литературная ситуация сейчас скверная. В принципе, любой человек сейчас может напечатать свою книгу. В конце концов заработав на издание разгрузкой вагонов, если ещё молод и здоров. Другой вопрос — хороша ли будет эта книга, примут ли её. Но признание писателя писателем — это вечная история, а не только советская.

И Россия — как была литературоцентричной страной, таковой и остаётся. Пожалуй, никому больше в мире не придёт в голову столь массово печататься за свой счёт. В самых маленьких городках выходят сборники стихов и прозы. Тираж — 100–200 экземпляров. Рекорд поставил поэт из города К., чья книжка вышла тиражом 7 (семь) экземпляров. Хорошая, кстати, книжка.

Или упомянутая премия «Дебют». В тот год, когда я был председателем жюри, на конкурс пришло около *сорока тысяч* рукописей. Это значит, что в России сорок тысяч молодых людей в возрасте до двадцати пяти лет пишут тексты. Как и везде, среди участников конкурса и графоманы, и сумасшедшие, всё есть.¹⁶ Один просто, наивно пишет — «узнал, что есть такая премия, написал рассказ, потому что мне деньги нужны в виду тяжёлых жизненных обстоятельств».

Прошедшие через «Дебют» поэты, прозаики, критики, драматурги Марианна Гейде, Мария Ботева, Валерия Пустовая, Александр Снегирёв, Владимир Лорченков, Александр Силаев, Сергей Шаргунов, Дмитрий Фалеев, Василий Сигарев теперь известные литераторы. Упомянутый Захар Прилепин был «открыт» на Форуме в Липках. Так что всё как-то движется, и слухи о смерти литературы сильно преувеличены. Литература — живая и разная. И я надеюсь, что никогда не придёт больше время, когда вся страна опять будет читать одну книгу.

П.О. Когда мы сейчас говорим о нулевых — как вы видите модель отношений «власть — художник»? И если об издательствах и журналах, то нет ли у вас ощущения, что вокруг них происходит иерархизация, выстраивание иерархии из писателей? Место партии здесь занимает собственники

издательства, и их позиции, их вкусы? Или это всё-таки какой-то бизнес, и издательство как-то изучает и отвечает на запросы общества?

Е.П. Разумеется, в какой-то степени вкус собственника имеет значение, особенно в маленьких издательствах. Есть издательства, которые припевают исключительно интеллектуалов, нЛО¹⁷, например. Есть издательства, где правят бал макабр, эротика, экзотика, эзотерика. Есть православные, «почвеннические» издательства. Есть издательства, которые исключительно «бабки пилят».

П.О. Как рыночные ниши?

Е.П. Я думаю, что здесь помогают новые рыночные отношения, потому что умный человек прекрасно понимает — если он будет ориентироваться только на собственный вкус, он прогорит. Он вынужден плюралистом быть. Он вынужден печатать и то, и то, и это. И диктата уже не может быть всё-таки. В конечном итоге — хотя всё опять же зависит от денег — если тебе говорят, что я тебя печатать не буду, потому что ты мне не нравишься, — так до свидания, я пойду искать другого издателя. Пойду к третьему, четвёртому, если я непризнанный гений. А потом, в конце концов, поеду на Север, заработаю две тысячи долларов и издам за свой счёт. И если книга будет хороша, то её заметят в любом случае.

П.О. Вы не идеализируете?¹⁸

Е.П. Нет, я не идеализирую. Потому что если мне бы вот сегодня попалась книга «Между собакой и волком» Саши Соколова, изданная тиражом, например, в 100 экземпляров, я бы её оценил, непременно. Если бы мне попался Сорокин, я бы его оценил. Другое дело, я же говорю, что хороших писателей всегда мало. Ну, а то, что бизнес во всё вмешивается, так это непременно. Я-то думал, что вы ещё о другом спросите — не происходит ли опять давление государства на писателей?

П.О. Мне кажется, что пока такого нет.

Е.П. По-моему — тоже. Кажется, власть имущие наконец-то поняли, что литература есть культурная ценность, а не прокламация. А то, что новые комсомольцы книжки жгли того же Сорокина, так это их частная дурость и желание выслужиться, а не государственная политика.

Власти наконец не ощущают литературу как идеологию. Я где-то уже на эту тему высказывался, что лично для меня литература — это «сказки для взрослых», которые на ночь читают. Любая литература. А уж что там каждый из этих сказок отвечает — его дело, каждый сам за себя должен отвечать. И степень понимания того, что нравственно или безнравственно у всех разная. Мне вот недавно Александр Кабаков рассказывал, как он был на встрече с читателями в Кенигсберге-Калининграде, где какой-то любитель его сочинений ему говорит: «Ну что ж вы это? Уж от вас-то никак не ожидал. И у вас в тексте попадается слово из трёх букв. Как я смогу детям это читать?» Кабаков отвечает: «Понимаете, у меня слово из трёх букв произносит солдат, который из армии пришёл. Он только на таком языке изъясняется, другого нет у него языка». А я бы, оказавшись на месте Кабакова, вдобавок, посоветовал вопрошающему

начать детское чтение с «Судьбы барабанщика» Аркадия Гайдара или «Острова сокровищ» Стивенсона. Или предложил ребёночку выучить наизусть «Буря мглою небо кроет».

Слава тебе, Господи, что нет прежней системы запретов. Человек начинает что-то сочинять, а дальше — уж как Бог даст. Принципиально здесь ничего не зависит — ни от страны, ни от географии её, ни от её истории. Писательство — это древнее. Из Хаоса возникает Твердь. Это почти биологический акт.

П. О. Спасибо большое, извините, что я отнял у вас так много времени.

Комментарии П. О.

1 Краткая биографическая справка: Евгений Анатольевич Попов (родился 5 января 1946, Красноярск) — русский писатель. В 1962 году за участие в «самиздатском» журнале в Красноярске был исключён из комсомола, в котором, однако, никогда не состоял. Первый рассказ «Спасибо» опубликовал в 1962 году в газете «Красноярский комсомолец». После окончания Московского геологоразведочного института им. С. Орджоникидзе (1968 г.), работая геологом на северо-восточных «просторах нашей Родины чудесной», он создал множество рассказов, где в качестве скромных героев эпохи выступали сибирские бичи, пьяницы, проститутки, чиновники, интеллектуалы, графоманы и коммунисты.

Первая серьёзная публикация в журнале «Новый мир» (1976) с предисловием Василия Шукшина принесла ему всесоюзную славу. Принятый в Союз писателей в 1978 году, Попов через семь месяцев и тринадцать дней был из Союза исключён за создание (вместе с Василием Аксёновым, Андреем Битовым, Виктором Ерофеевым и Фазилом Искандером) легендарного неподцензурного альманаха «Метрополь», вышедшего на Западе и ставшего причиной последнего крупного литературного скандала «брежневской эпохи». В 1980 преследовался КГБ как один из авторов и редакторов альманаха современной литературы «Каталог», опубликованного в США. В 1988 году восстановлен в Союзе писателей.

В последнее время широко печатается как прозаик и эссеист в российских журналах, альманахах, газетах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Весть», «Зеркала», «Вестник новой литературы», «Вестник Европы», «Огонёк», «Согласие», «Дружба народов», «Континент», «Октябрь», «Эсквайр», «Взор», интернет-издание «Грани.ру» и др.

Евгений Попов является секретарём Союза московских писателей, одним из основателей Русского пен-центра, ассоциированным членом Шведского пен-центра. Отмечен премиями журналов «Волга» (1989), «Стрелец» (1995), «Знамя» (1998), «Октябрь» (2002), премией Союза писателей Москвы «Венец» (2003), памятным знаком венгерского Министерства культуры «Pro cultura Hungaria». (2005). Источник.

2 Это не так: просто многие путают «поколение» с «возрастной когортой»; к последнему понятию, конечно, принадлежат все. Как о «поколении» о себе говорят либо «уходящие», либо «модернисты». «Практики» и «герои-одиночки»

не предъявляют свои жизненные стратегии обществу; и их представители редко называют себя «поколением». Когда же происходит последнее, то идентификация идёт не по годам, а по «представителям», по «символам», например: поколение «Битлз» или «Машины времени».

3 Е. А. Попову, конечно, виднее, что на него повлияло больше — произведение Аксёнова и Солженицына, которые он прочёл, или последствия его «глупой» статьи, за которую, среди прочего, его «исключили» из комсомола, при том, что — обычный формальный парадокс того времени — в ВЛКСМ он не вступал. Но ретроспективно это означает, что тогда он получил «вольный билет», гуманитарные специальности в вузах, включая литературу и историю, для него оказались закрыты.

4 «Несоветская идеология», повторяя примечание к основному тексту — всё, что отличалось от «социалистического реализма», концепции, которую в своей статье «Что такое социалистический реализм» замечательно определил А. Синявский.

5 Нельзя не отметить, что Е. Попов в данном случае почти не говорит об идеологии. Сказанное сильно пересекается с романом Джека Лондона «Мартин Иден», когда главного героя убеждает его любимая девушка, что ему, чтобы прорваться «в писатели», нужно сначала стать репортёром и сделать себе журналистское имя. Он отвечает, что это занятие «портит стиль».

6 Краткая биография: Дмитрий Александрович Пригов родился 5 ноября 1940 года в интеллигентной семье: отец — инженер, мать — пианистка. По окончании средней школы работал некоторое время на заводе слесарем. Потом учился в Московском высшем художественно-промышленном училище им. Строганова (1959–1966). По образованию скульптор. В 1966–1974 годах работал при архитектурном управлении Москвы. В конце 1960 — начале 1970-х годов идейно сблизился с художниками московского андерграунда. В 1975 году был принят в члены Союза художников СССР. Однако в СССР не было организовано ни одной его выставки. С 1989 года — участник московского Клуба Авангардистов (КЛАВА). Стихи Пригов сочинял с 1956 года. До 1986 года на родине не печатался. До этого времени неоднократно печатался за границей с 1975 года в русскоязычных изданиях: в газете «Русская мысль», журнале «А–Я», альманахе «Каталог».

Пригов — автор большого числа текстов, графических работ, коллажей, инсталляций, перформансов. Неоднократно были организованы его выставки. Снимался в кино. Участвовал в музыкальных проектах, одним из которых, в частности, была «организованная из московских художников-авангардистов» пародийная рок-группа «Среднерусская Возвышенность». Участники группы, по их утверждениям, брались доказать, что в русском роке музыкальная составляющая не имеет никакого значения и что слушатели всего лишь реагируют на ключевые слова в тексте. С 1993 по 1998 г. Пригов неоднократно выступал с рок-группой «НТО Рецепт», которая использовала его тексты в своём творчестве. Ведущие лирические образы поэтики Пригова — «милиционер» и абстрактный

«он». Лирические герои смотрят на мир глазами тупого советского обывателя. Главными прозаическими текстами Пригова являются две первые части незавершённой трилогии, в которой автор испробует три традиционных жанра западного письма: автобиография в романе «Живите в Москве», записки путешественника в романе «Только моя Япония». В третьем романе должен был быть представлен жанр исповеди. Общее количество стихотворных работ Пригова — свыше 35 тысяч.

Скончался в ночь на 16 июля 2007 года в 23-й московской больнице вследствие осложнений после инфаркта. Похоронен в Москве, на Донском кладбище. Источник.

7 Лианозовская школа, Лианозовская группа — творческое объединение поставангардистов существовало с конца 1950-х до середины 70-х годов. Группа поэтов и художников андеграунда, собиравшихся в квартирке барачного дома в посёлке Лианозово, куда входили поэты Генрих Сапгир, Игорь Холин, Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов и художники Оскар Рабин, Николай Вечтомов, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, а также художник и поэт Лев Кропивницкий. Центральной фигурой был художник и поэт Евгений Леонидович Кропивницкий, а в конце 60-х годов появлялся молодой поэт из Харькова Эдуард Лимонов.

Группу принято относить к поставангардизму, с его экспериментом и взрывом канонов. Поэты уходят от претензии на абсолютность личности, свойственной авангарду начала века, агипертрофируют личностное начало и редуцируют лирическое «я» автора, оставляя только взгляд, который с беспристрастностью видеокамеры запечатлевает окружающий мир. / Дамба. Клумба. Облезлая липа. / Дом барачного типа. / Коридор. Восемнадцать квартир. / На стенке лозунг: *Миру — мир!* / Во дворе Иванов / морит клопов, — / он — бухгалтер Гознака. / У Макаровых пьянка. / У Барановых драка. (Игорь Холин).

Лианозовцы используют язык подчеркнуто непоэтический, тот, который звучит в бараках, в очереди, на заводах — язык маленького человека, отринутого на окраину жизни. В противовес советской поэзии, наполненной громокипящим пафосом, призывами борьбы с мещанством и т. д., группа ориентируется на инфантильную, аскетическую поэзию — такая оборотная сторона строек коммунизма. /Я поэт окраины /И мещанских домиков /Сколько, сколько тайного /В этом малом томике: /Тусклые окошечки /С красными геранями, /Дремлют Мурки-кошечки, /Тани ходят с Ванями. (Евгений Кропивницкий). Источник.

8 Это — не глупости. Безусловно, что вступление в КПСС, в отличие от вступления в комсомол, было одним из таких «идентификационных признаков». В комсомол, как и в пионерию, почти автоматически вступали-принимали всех, в отличие от КПСС. Для интеллигенции были установлены специальные ограничительные квоты, чтобы обеспечить большинство рабочих. В рамках поколенческой динамики вступление в КПСС означало реализацию жизненной стратегии «практиков», которых ранее И. И. Виноградов определил как

«карьеристов». Но, видимо, были и какие-то другие признаки идентификации «своих» и «чужих».

9 Краткая биография: Губанов Леонид Георгиевич (20.07.1946, Москва — 08.09.1983, Москва). Сын инженера. Писать стихи начал с детства, в 1962 поступил в литературную студию при районной библиотеке, несколько его стихотворений были опубликованы в газете «Пионерская правда». Тогда же увлёкся футуризмом и создал неофутуристический журнал «Бом», вместе с друзьями провёл несколько поэтических выступлений в московских школах. Затем поступил в литературную студию Московского Дворца пионеров. На него обратили внимание известные поэты. В 1964 Е. Евтушенко помог напечатать отрывок из поэмы Г. в журнале «Юность» (это была последняя прижизненная публикация Г. в советской прессе). «Губанов начал рано и блистательно. Большой талант его был очевиден для всех. Стихи его прекрасно воспринимались с голоса. А читал он охотно, много, везде. В течение года литературная Москва была им покорена. Можно сказать, это русский вариант Рембо» (Алейников В. Имя времени // нЛО. 1998. № 29).

В начале 1965 вместе с Алейниковым, В. Батшевым, Ю. Вишневской и др. участвовал в создании независимого литературно-художественного объединения СМОГ. Стал одним из авторов его программы, устроил на своей квартире «штаб» СМОГА. Первый поэтический вечер объединения состоялся 19.02.1965 в одной из московских районных библиотек. Весной 1965 стихи Г. были опубликованы в трёх самиздатских поэтических альманахах: «Авангард» («Журнал авангарда левого искусства», под редакцией самого Г.), «Чу!» и «Сфинксы». Всегда декларировал своё отвращение к митингам и коллективным массовым действиям, воспринимался друзьями как «камерный» поэт. Тем не менее именно по его предложению СМОГ 14.04.1965 провёл знаменитую демонстрацию в защиту «левого искусства», а 5.12.1965 Г. принял участие в «митинге гласности» на Пушкинской площади (возможно, потому, что одним из требований было освободить двух смогистов, задержанных за участие в подготовке митинга). Вскоре Г. ненадолго был госпитализирован в психиатрическую больницу общего типа, где у него потребовали показаний против А. Гинзбурга: в июне 1966 тот передал Г. вырезки из зарубежных газет о СМОГе. И Гинзбург, и Г. подтвердили факт передачи — получения материалов о СМОГе, этот эпизод фигурировал на «процессе четырёх». Родителей Г. вызвали в горком партии, где предупредили, что их сын будет арестован, если не прекратит выступать со стихами. В конце 1966 СМОГ практически прекратил существование. В дальнейшем Г. не принимал участия в официальной литературной жизни. Общеобразовательную школу оставил после девятого класса, учился недолго в вечерней художественной школе, но не закончил её. На жизнь зарабатывал неквалифицированным трудом (был пожарным, фотолаборантом, почтальоном, грузчиком). Читал свои стихи на собраниях молодых неизвестных поэтов и художников — в их квартирах и мастерских. Произведения Г. — перепечатанные

и в магнитофонных записях — широко ходили в самиздате. Многие из них были положены на музыку и часто исполнялись бардами. В 1966 журнал «Грани» напечатал подборку стихов смогистов. С этих пор Г. стали публиковать в западной периодике, включать в антологии неподцензурной русской поэзии. Умер, как и предсказал в своей поэме «Полина», в возрасте тридцати семи лет, похоронен в Москве на Хованском кладбище. Источник.

10 История «Метрополя» явилась последней точкой в попытке сохранения уже угасшей общей формальной коммуникации официальных «элиты» и «оппозиции». Трудно сказать, насколько «официальные писатели» ощущали разницу в величине собственного символического располагаемого капитала — и капитала участников «Метрополя». Но угроза их положению, несомненно, присутствовала.

11 Любопытно сравнить «войну» властей с «Новым миром» Твардовского и истории с «Метрополем» и «Каталогом». Если в первом случае всё же это были «свои», с которыми пытались «разбираться», «торговаться», находить компромиссы, «Метрополь» — шумный скандал и разгром «своих», ставших «чужими» («непобеждённых»), «Каталог» — полное отчуждение и запрет, здесь уже «своих» для официальной элиты не было.

12 Полная аналогия с «научными школами» в экономике, социологии, истории. И семинары для «своих», где собирался небольшой кружок посвящённых. И издание «трудов» (препринты) в количестве одного-двух десятков экземпляров.

13 Устар.: несварение желудка.

14 Социальное пособие.

15 В сущности, Е. А. Попов говорит о немногочисленном поколении «уходящих». В литературе они и должны иметь успех, если они конкурируют с «практиками». Но других в этой возрастной когорте пока особо не заметно.

16 Е. А. Попов не боится показаться непоследовательным — до этого он объяснил, почему Россия — не литературоцентричная страна ныне. 40 000 молодых, желающих стать писателями, — цифра, которая действительно поражает воображение. Но имеет ли она отношение к литературоцентричности? Как и те люди, которые ведут свои блоги в Интернете, — литераторы ли они? Может, имеет место обратный процесс — массовой потери

культуры слова и представлений о минимальных требованиях к литературному произведению?

17 «Новое литературное обозрение».

18 Здесь мне трудно согласиться с Е. А. Поповым. Как система издательства, так и система литературных журналов основана на лояльности авторов в первую очередь к редакционной политике; во вторую — к личностям самих редакторов. В свою очередь, последних подбирает собственник, человек — или группа людей — располагающих относительно большим экономическим капиталом, а стало быть, прошедший через определённые социальные фильтры. Наконец, процедура отбора «своих писателей» в этих организациях является намного более жёсткой, нежели конкурсный набор на замещение номенклатурных должностей чиновников в органах власти или менеджеров в корпорациях. И требование лояльности в российском издательско-книготорговом бизнесе соблюдается не менее жёстко, чем в условиях советской цензуры.

Действительно, желающие могут теперь издаваться за «свой счёт». Но писательство, как и любое творчество, предполагает приобретение претендентами символического капитала, и проблема XXI века — не собственно издание, печать, а каналы распространения, сети, по которым произведение доставляется к потребителю. Нынешнему писателю не надо ехать на Север и зарабатывать 2 тыс. у.е. — он может выложить свой текст в Интернете. Однако чтобы этот текст прочли, он должен выложить его на посещаемом портале, через администрацию портала. Это равносильно публикации через издательство или журнал, и здесь точно также возникает проблема лояльности.

Альтернативой может быть скандал, связанный с личностью автора: известность гарантирует читательский интерес. Собственно, и об этом ещё в «Мартине Идене» писал Джек Лондон. Именно это происходит сейчас с «нацболами» или лидерами «гламура».

Другими словами, на мой взгляд, нет никаких оснований полагать, что высококачественное художественное или научное произведение автора, не входящего в состав современной российской «элиты-номенклатуры» и не имеющего скандальной известности, дойдёт до заинтересованного читателя.

Синяя тетрадь

« Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами. »

Ахматова

Евгений Хохлов 10 класс

п. Бахта Туруханского р-на Красноярского края.

Деревенька

Я не хотел бы покинуть свою малую родину.

На крутом берегу Енисея-реки,
Деревенька моя затерялась,
Среди тайги, среди болот,
Нет дороги к тебе,
Только ранней весной,
Теплоходами к нам добираются.

Тишина и простор, размах сибирской — северной природы.

Могучие леса вокруг деревни, и звериные тропы со всех сторон.

Не диво, если в деревню забредёт бурый мишка, или соболь пробежит, а уж белки обязательно обследуют кедровый лесочек, что вплотную подходит к деревне.

Только осторожный лось не подойдёт близко к жилю у него свои дороги в тайге, ведомые только ему.

А какие осетры водятся в неизведанных глубинах Енисея! Мне довелось видеть, как из воды вынырнула огромная голова тайменя и проглотила белку, переплывавшую через реку. А благородные олени, мигрирующие по северу, без страха переплывают бурные реки. Высокие берега Бахтинки, шивера, перекаты и отмели кажущейся спокойной реки. Весенние разливы так велики, что заливаются покосы и прибрежные лесочки,

сливаясь с болотами в единое целое, огромное пространство, залитое холодной водой. Когда плывёшь на лодке и час, и два, и не видно ни берега, ни клочка земли, только весело перекликаются утки, огромными стаями пролетая над головой, крича: «Домой, домой, мы вернулись домой». Кто хоть однажды побывал здесь, тот не сможет забыть эту маленькую деревеньку — мою малую родину. Я здесь родился и вырос. Здесь вырос мой папа, отсюда уходил на войну мой дед, которого мне не довелось увидеть.

Я очень люблю нашу деревню, и мне трудно представить разлуку с ней, с моими родителями, с просторами Енисея. Наверно, мне трудно придётся в городе, но скоро предстоит отъезд на учёбу и изменить ничего нельзя.

Может быть, когда я выучусь, вернусь на север и буду работать по специальности, постараюсь вернуться в нашу маленькую прекрасную деревеньку.

Раздумья

Вероятно, все или многие в юношеском возрасте пытаются писать, что-либо и как-либо. Вот и я пишу о моей любви, об огромной любви к жизни, к моему краю, к моим родителям, ко всему, что окружает меня. Мир такой огромный, в нём столько прекрасного, такого нового и неизведанного, что наша деревня кажется такой маленькой, такой крошечной, но такой любимой, прекрасной и родной.

А вокруг деревни вековая тайга, непроходимые болота, покрытые буровато-зелёным ковром причудливо сплетённого мха. Кажется, такой мягкий, ласковый покров манит, притягивает к себе. Так оно и есть, первые шаги по болоту непривычно пружинят и укачивают, но болото коварно, вдруг нога теряет опору и проваливается в жидкую топкую массу, почему-то называемую окном. И нет тебе спасения, если рядом не окажется твёрдой и сильной руки.

А вот и вековые кедры, с вершинами, уходящими далеко ввысь, в самое голубое небо. Стоят, покачивают огромными лапами, на которых — огромные съедобные шишки, излюбленное лакомство белок, бурундуков и крикливых пёстрых птиц — кедровок, которые не столько съедят, сколько уронят вниз, за что им благодарны маленькие полевые, или, скорее, лесные мышки, успевающие наполнить свои закрома сытным питательным орехом, ведь впереди холодная северная зима, двух — трёхметровый слой снега засыпает всё вокруг, и нерадивому мышонку негде будет добыть пищи.

Сорока-пятидесятиградусные морозы скуют все тропинки, и только весеннее солнце согреет и растопит снега, но и это время опасно для обитателей леса, солнышко согреет верхний слой снега, а ночью мороз, не торопясь сдавать свои позиции, вновь закуёт в ледяной панцирь всё вокруг, и нет сил пробиться сквозь него, ни маленькому мышонку, ни куропатке и прочим птичкам, ночующим в снегу, и если долго не наступает тепло, их ночёвки превращаются в страшный, смертельный капкан. В это время страдают и копытные, под их тяжестью проламывается обледеневший пласт снега и острыми краями режет ногу, и нет им спасения ни от охотников, терпеливо ожидающих этого времени, ни от волка, легко бегающего по насту и преодолевающего огромные расстояния. Коварно, стаями нападают волки на беззащитных животных. Тайга не прощает никаких ошибок. Только сильнейший выживает и продолжает род.

У нас в деревне есть одинокий пожилой человек. Этой весной он чистил покос, и вдруг из леса вышел маленький, слабенький, еле передвигающий ноги лосёнок. Вероятно, его мать погибла, а он долго бродил один. Он был очень слаб и погибал от истощения. Сердобольный старик взял его на руки, принёс в лодку. Обессилевший лосёнок всю дорогу жалобно стонал, прижавшись к ногам старика. Дома его напоили молоком, но самое смешное, что лосёнок привык к конфетам, любил кашу, хлеб и с удовольствием ел суп и рыбу. Живёт он во дворе, а когда захочет есть, начинает стучать копытцами, прося покормить его, он очень привязался к одинокому старику, отвечает на имя и, по возможности, бродит за ним по пятам. Вот только всё равно эта история трагична, ведь что будет с этим лосёнком дальше, никто не знает. А он из маленького телёнка постепенно превращается в красивого длинноногого лося, и скоро мал станет двор, что же будет с ним?

А жизнь в деревне продолжается, спокойная и размеренная. Здесь каждый должен обеспечить себя сам. Одни занимаются охотой, другие рыбалкой, здесь давно занимаются огородами. У работающих, кропотливых хозяев выстроены в огородах теплицы и парники, из которых заодно выглядывают зелёные огурчики, а буровато-зеленоватые помидоры обвисают на крепеньких кустах. А в огороде моей мамы на огромных, ползущих на крышу лианах вырастают десятикилограммовые тыквы, жёлтыми пузатыми боками выглядывающие из-под огромных листьев. Самое распространённое занятие, необходимое для выживания в этой глуши — это рыбалка. Рыбачат все: и стар, и мал. Ловят огромных осетров, налимов, сигов, малюсенького тугунка и прочую мелочь. Рыбалка — это очень интересная, но тяжёлая работа, иногда это и любимый отдых. Больше всего я люблю вечером, для души, порыбачить на удочку прожорливых, похожих на лапоть окуней или покидать спиннинг где-нибудь на перекате, где звонко и весело бьются о камни струи холодной, прозрачной воды, отражающей в себе необъятные просторы неба и обрывистые, извилистые берега. Вот у самой воды раскинулась молодая ракета, будто прекрасная молодая девушка склонилась к воде, опустив в воду руки, и длинные косы поплыли по течению, а вот из воды торчит коряжина, будто огромная голова тайменя, хотя можно увидеть и настоящего тайменя, если проявить терпение, он любит плескаться в холодных, быстрых перекатах, подкарауливая выводки зазевавшихся утят и гусей. Не успеет мать увести свой выводок на отмель — вот и потеряет птенца-несмышлёныша. Из воды, бесшумно сделав свечу, выскальзывает сильное упругое, продолговатое туловище тайменя, отливающее яркими красками, и нет спасения от этой беспощадной силы. Огромная пасть заглатывает всё на пути, вот и блесна, извивающаяся по течению, оказывается в ней. Страшный рывок сотрясает удилище спиннинга, и нужна быстрая реакция и умение, чтобы удержать эту мощную, громадную, грациозную рыбу. Тройник, закреплённый на блесне, впивается в пасть тайменя, и теперь только два исхода: или таймень уйдёт, оторвав и изрядно изломав спиннинг, или

долго и умело выматываешь рыбу, заводишь её на отмель. Мощные рывки потрясают удилище, вокруг летят брызги. Необычайной красоты и мощи рыба то выскакивает на поверхность, то ныряет в глубину, но вот сила и у тайменя, и у рыбака на исходе, рывки слабеют и начинаешь потихоньку подтягивать рыбу на отмель. И вотура! Быстрый рывок, и пятнадцатикилограммовая рыбина бьётся на берегу, широко раскрывая пасть. Делая огромные скачки и извиваясь всем телом. Ловко скатываем рыбу в траву и, запыхавшись, счастливые, разглядываем редкую добычу. На сегодня рыбалка закончена. Совсем не интересно после такой добычи подсекать на крючок беляков, сорожек и ельчиков. Да и клёв к обеду заканчивается. Полдень. Невыносимая жара, всё притихло, поникли листочки, цветы склонили свои прекрасные головки, даже жуки и стрекозы притихли в траве, спасаясь от полуденного зноя. А река манит к себе прохладой чистой воды, вдалеке скользит по безбрежной глади лодка, чуть слышно позвякивает мотор. Самое время для купания. А купаться в Бахтинке — одно удовольствие. Вода чистая, прозрачная, прогревается на отмелях почти до кипятка. Дно песчаное, золотистый песок по берегам лежит шелковистым ковром, ласково приманивающим в свои объятия купальщиков. Красота вокруг сопровождает здесь каждого с рождения. Только что рождённого ребёнка укладывают в расписную деревянную качалку, сделанную или любящим отцом, или ещё пра-пра-пра-дедом и переходящую из поколения в поколение. Здесь сохранилось ещё много старинных обычаев, люди чтут своих родителей, и ещё очень хорошая черта: в нашей деревне нет почти разводов, хотя в последнее время случается и такое.

Мама рассказывала мне, что ещё несколько лет назад никто не закрывал дом на замок. Щеколда, небрежно накинутая на дверную петлю, означала, что хозяев нет дома, и никто никогда не зайдёт в дом самовольно.

Север по своей сути так суров, что здесь нельзя жить с камнем за пазухой. Если вы случайно окажетесь в нашей деревне, и у вас нет знакомых, вас обязательно приютят, накормят, напоят, оставят под своей крышей до тех пор, пока вы не сможете уехать.

Мои родители знали такие случаи, когда из северных лагерей пешком по берегу Енисея шли беглые, но никогда не было случая, чтобы они что-нибудь украли или совершили какое-то преступление. Очень редко противозаконные случаи, за исключением разве что браконьерства. Жизнь здесь совершенно отличается от городской. В деревне с давнего времени поселились: русские, кето, немцы, украинцы, эстонцы. Перемешалась религия, национальности, привычки и культуры, все привыкли друг к другу, так и живут по своеобразному Бахтинскому укладу, у нас нет даже милиционера, он иногда приезжает из близлежащего села. Во время репрессий сюда было много сослано эстонцев, немцев, это, наверное, было самое страшное время. Людей привозили на баржах раздетыми и разутыми, жилья для них не было, они строили землянки. Голодали,

простывали и умирали. Местные жители, сами испытывавшие большую нужду, чем могли помогли ссильным. Да и чем сильно-то можешь, когда в каждом доме 5–7 ребятишек, а мужики на фронте?! Как всегда, спасал кормилец Енисей. Маленькие, босоногие ребятишки с упорством на самодельный крючок ловили мелкую рыбёшку. Смотришь, за день и на уху насобирают. А родители и ребята постарше работали в совхозе: косили сено, держали скот, табуны коней бродили по лугам, не зная пастуха. А вечером артель рыбаков отправлялась на лов рыбы неводом. Пойманная ночью рыба тщательно чистилась, солилась в бочках и отправлялась в город. Труд был направлен на одно — Победу. Девиз был один «Всё для фронта. Всё для Победы!»

С фронта вернулись не многие. Нужно было жить, и деревня постепенно оживала.

Появились новые дети, появились новые радости. Жизнь продолжалась. Продолжается она и сейчас, растёт новое поколение, вот только работы в деревне нет. Но я надеюсь, что всё будет хорошо. Моё родное село не умрёт, будет жить и развиваться.

Оксана Толстоноженко 9 класс

Ермаковский район Красноярского края

Куда сбежать от роботов

Когда-то давно людям надоело жить в гармонии с окружающим миром. Они спрятались за каменными стенами, закрылись на железные замки, недоверчиво смотрят в пластиковые окна. Достижения человеческого ума, которые окрестили серьёзным словом «цивилизация», сделали людей малодушными, заставили их поклоняться вымышленным идолам. Но есть ещё на Земле места, где человек предстаёт перед истинной красотой природы, где даже самая чёрствая душа вдруг начинает понимать, насколько ничтожны и беспомощны технические новинки перед силой стихии. Одно из таких мест — природный парк «Ергаки».

Туристическая база «Тушканчик» в этом дивном краю ещё не блистает особой «природностью». Здесь всё устроено для удобства неопытных туристов. Но стоит перейти с рюкзаком за мостик над речкой Тушканчик, как все иллюзии вмиг растворяются. Ты можешь взять с собой лишь то, что способен унести на собственной спине. Тропа только сначала кажется хоженной. Но уже через пару километров идти становится труднее, всё больше подъёмов и толстых стволов деревьев, лежащих на пути. Никакая техника не пройдёт!

А вокруг всё сосны да ёлки, редко где берёзка попадёт. Они величаво и даже грозно устремились ввысь, острые верхушки, кажется, царапают небо, не отпускают облака плыть дальше. Те хмурятся, копятя, темнеют да и проливаются вниз крупными прозрачными бусинами так, что солнце не скрывается за пеленой, и все его лучики, проходя через капли, многократно сверкают и искрятся меж хвойных ветвей. Водяные искры падают на поросшие мхом камни и мёртвые стволы, укутанные в атласные коврики брусники. Капли повисают на зелёных ягодах — и это

в самый разгар лета, — перебегают по хвоинкам, вкусно шумят, теряясь в Тушканчике.

Именная река прыгает по камушкам, сверкает от радости на солнце. И нет здесь места усталости. Ты бодро шагаешь вперёд, забывая всю кутерьму «технически оснащённой» жизни. От одного только понимания, что ты идёшь с друзьями на место, где природа ещё красивее и величественнее, уже становится радостно.

На тропе часто встречаются туристы. И нет среди них того, кто бы с тобой не поздоровался. Нигде острый глаз не отыщет забытого мусора: консервных банок или фантиков от конфет. Только если в дымящемся кострище...

Чем меньше километров остаётся до цели, тем веселее идти. Вот уже виден водопад. Холодные потоки с грозным громом катятся по ступенькам, достойным великана. Вокруг горы, снег наשמеливо белеет во впадинах. Цвет валунов сначала кажется оптическим обманом, но, подойдя поближе, можно убедиться в естественности светло-салатного оттенка. Это лишайники. По камням забираемся на самый верх водопада. Отсюда берёт начало Тушканчик. Отсюда открывается вид, от которого просто дух захватывает!

И вот, наконец, цель путешествия — озеро Мраморное. Оно окружено цепью знаменитых горных вершин. Его гладь даже больше, чем зеркальная. Она невидима, но жива. Когда босыми ногами ступаешь на скользкие камни на дне, и волнующиеся круги расходятся по воде, то кажется, что это дрожит тончайшая материя, разделяющая два Мира. Один наш. А другой перевёрнутый. И ты зайдёшь подальше, нырнёшь и выйдешь уже в том, другом Мира. И там воздух будет таким же прозрачным, как слёзы первого снега.

Но не всех посвящает в свои тайны природа. Самолюбивых и не в меру бесстрашных горы не терпят, могут серьёзно проучить. Порой эта плата слишком высока. Тут уже никакие достижения цивилизации не помогут...

Наверное, люди, уставшие от обиденной суеты, всё чаще стремятся попасть в такой тихий уголок, чтобы разобраться в самих себе и почувствовать настоящую почву под ногами. И очень важно сохранить такие тихие уголки, ведь иначе людям будет негде обращаться к истокам. И, на мой взгляд, человек может пропасть, потеряться в мире, где правят бездушные роботы.

Утро в Ергаках

...Последняя гитара замолчала. В глазах ещё мелькают искры от костра. В крошечной темноте пробираться к своей палатке. Очень холодно. Тихо, чтобы никого не разбудить, укутываюсь в спальник и закрываю глаза...

Уже не сплю, но глаза открывать пока не собираюсь. Ещё несколько минут можно просто полежать. Рядом начинается шуршание, растерянная суета. Все уже проснулись, и каждый думает, что остальные спят. Поэтому тихо-претихо, осторожно-преосторожно кто-нибудь самый смелый пытается выбраться из спальника и быстренько сбежать из палатки. Постепенно остальные начинают открывать сонные глаза. Слышится растерянный шёпот:

«Ой, это я тебя разбудила, извини! Я, правда, не хотела. Сейчас я быстренько уйду, и можешь дальше спать!» И этот кто-то смелый с грациозностью бегемота, стоя на четвереньках, теряет равновесие и падает на несчастных соседей по палатке! Затем следует море извинений, ойканья, айканья, звон невесты откуда взявшейся железной посуды и по хорошей походной традиции — смех! Тут уже никому спать не захочется!

Все выбираются из спальников-коконов и бегут к реке, чтобы умыться. Затем следует завтрак, потом каждый может найти себе занятие по душе. Но важно не это. Главное в Ергаках и утром, и днём, и вечером, и даже ночью — это природа. Суровая и непокорная. Родная и свободная. Необычная, почти экзотическая.

В горах быстро темнеет, сразу после того, как солнце опускается за горизонт. Но и рассвет здесь стремителен. Утром туман долго не покидает низины. Сосны величественно выступают из непроглядной пелены. Всего несколько часов назад их хвоинки были покрыты мелкими кристалликами инея. И это в самый разгар лета. Здесь в тенёке лежит снег, не смотря на сезон. А если и растает, то очень скоро на его месте уляжется новый, свежий и чистый. А горные реки — просто сказка! Прозрачнее хрусталя и холоднее льда. В них виден каждый камушек, каждая песчинка. Из такой водички и суп, и чай получаются необыкновенно вкусными, дома такого не попробуешь.

Здесь горы цепью стоят над полянами и тайгой. От их мощи и величия захватывает дух! Особенно, когда видишь их в первый раз. Люди, чей словарный запас более, чем беден, стараются описать такую картину одним словом. Мне приходилось слышать и молодёжное «жесть!», и удивлённое «мощно!», и простое «красота!», и даже забавное «ох, ну Ё-ё-ё!!!». А я не стану разбрасываться высокими словами, о великая природа. Ведь до меня было столько сказано, столько написано песен и стихов, что мои пафосные реплики просто затеряются в этом потоке. Я буду просто любоваться.

Столько эмоций за одно утро! А день такой длинный. А жизнь ещё длинней! Здесь ты это понимаешь.

Как погибают открытия

Слезинка покатила по щеке. Остановилась. И вопреки Закону всемирного тяготения поползла обратно, назло всем. Потом она стала кружить, оставляя на коже блестящие дорожки. Она жила всего несколько минут, но и за это время своим космическим вальсом разрушила сотни гипотез. Но никому не суждено было увидеть её триумфа. Никто не смотрел на маленькую девочку, от страха забившуюся в угол. Возможно, так погибло выдающееся открытие, предвещавшее славу учёным. Но ни одно научное достижение, пусть даже самое великое, не стоит детской слезинки.

Геометрический вальс

Равнобедренный треугольник. Очень равнобедренный. Он повернулся на 360 градусов против часовой стрелки. Хотя ему хватило бы и 120. Но, так или иначе, вершины описали полную окружность с известным диаметром. И вот

четыре касательных длиной в диаметр, при этом попарно параллельные и взаимно перпендикулярные, выросли тут же. Получившийся квадрат тоже стал вертеться, но только по часовой стрелке. Он описал несколько кругов, хоть это было и необязательно, получилась ещё одна правильная окружность. Но её диаметром стали уже диагонали квадрата. Которая из них, первая или вторая, точно не известно. И что интересно: первая окружность описывала треугольник и вписывалась в квадрат! А квадрат был вписан во вторую окружность. Потом в первоначальном треугольнике появились биссектрисы, они же медианы, они же высоты. В точку их пересечения угодила точка начала координат.

И тут началось! Откуда ни возьмись, выскочила формула косинуса треугольника через координаты векторов в скалярном произведении! А к ней подоспел и сам косинус. Да каков! Корень из двух пополам. Ну, тут всем стало ясно, что он только что из угла 45 градусов. Только непонятно, из какого именно. Их здесь целых восемь. Остальные углы решили не отставать. Один, который 120 градусов, наверное, внешний, поспешил в центр фигуры, чтобы показаться во всей красе. Вот только куда же ему без синуса! И только формула приведения смогла его спасти. Но толку всё равно вышло мало. Он же теперь отрицательный, потому что на координатной плоскости входит во вторую четверть. А там уж не забалуешь! Ордината со знаком «-» живо на место поставит! Отличились близнецы — вертикальные углы. Взялись за руки и пошли щеголять по периметру. Окружности хотели было покружиться, да только никто бы этого не заметил: у них сразу и осевая, и центральная симметрия, как диаметр ни проводи. И решили они схитрить. Провели по шесть равных хорд так, что получились у них внутри правильные шестиугольники. Первой окружности было проще. В ней уже готовый треугольник с проведёнными медианами был. Осталось их продолжить до бесконечных прямых и соединить все точки пересечения с окружностью. А вот второй пришлось потрудиться. Но вскоре она поняла, что можно всё устроить по подобию с первой, тем более что прямые и её тоже пересекали. Тут и наши модницы стали кружиться! Эх, если бы ещё музыку туда...

Это не сумасшествие. И даже не теорема из учебника. Это геометрический вальс!

Яблоко

Люблю яблоки! Сочные, красные! Это, выражаясь книжными словами, кладёшь витаминов и микроэлементов (скажу по секрету, что железо, которого в яблоках предостаточно — биогенный макроэлемент). Но так или иначе, сочный фрукт — лучшее средство от плохого настроения.

А однажды я совершенно случайно попала в 22 век. Не важно, как. Эта история, думаю, будет освещена в другом рассказе. Но захотелось мне там, в будущем, яблок. Я пошла в магазин и купила одно. Оно было в прозрачной упаковке. Меня это сразу насторожило, но в голове тут же пронеслась мысль: «Чего бояться? Зато оно стерильное!» Придя домой (да, даже в 22 веке у меня есть дом),

я сняла упаковку, выбросила её в мусорное ведро и по привычке помыла яблоко. Странно, но красная кожура потрескалась и со звоном осыпалась в раковину. В моих руках оказалась серая желеобразная масса. Она дымилась и издавала тошнотворный запах, от которого слезились глаза. Я быстро стряхнула с рук непонятное вещество, но ладони всё-таки успели покрыться зелёной сыпью.

Воспитание не позволяет мне копать в мусорном ведре. Но в такой момент позволительно забыть о приличии. Я нашла выброшенную упаковку из-под так называемого яблока и принялась читать. «Не токсично» — уже радуется. «Продукт полностью готов к употреблению» — сомневаюсь. «Состав: ...» — а это ещё зачем?! «... фруктоза синтетическая, сорбит калия, бензол лития, нетоксичные отходы нефтепродуктов, краситель, идентичный натуральному, ароматизатор «Яблоко под снегом», консерванты...» — хорошенький состав! И как они это едят?

Читаю дальше: «Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, воды, огня, сероводородных соединений. При попадании в глаза или нос промыть тёплой водой с хлором и срочно обратиться к врачу. *Не выбрасывать в раковину! Опасно! Возможно отравление всей канализационной системы!*» Поздно мне уже его из раковины доставать... А вот к врачу сходить не помешает.

Интересно, а что могло случиться, если бы я его подожгла?

Никита Улько 4 класс

Красноярский литературный лицей

Из чего только сделаны девочки?

Наши девчонки состоят из перьев. Они нежные. Они могут летать, но скрывают это, потому что они не хотят, чтобы к ним приставали мальчики с просьбой: «Пожалуйста, научите нас летать!».

Но ведь они состоят не только из перьев, они состоят ещё из роз. Когда нет мальчиков, розы вырастают и расцветают, но не только в это время, а ещё ночью и когда им радостно.

Яша Колёсников 6 класс

Красноярский литературный лицей

Водяной

Жил в одной деревне кузнец, а звали его Макар. Любил он на пруд ходить, купаться. Вот пришёл он на пруд и видит: камыши корова ворошит. А корова та чёрная. Подошёл он ближе, а корова посмотрела на него красными глазами и усы страшные из носа пустила. Потом пыхнула зубастой пастью — и в воду нырнула!

Ивашка, кузнецов сын, тогда малолетний был. Вернувшись домой, Макар рассказал ему о водяном да припугнул. А Ивашка не поверил отцу и побежал на водяного поглядеть. Прибежал к пруду, посмотрел в воду и плюнул туда. Вдруг забурилась вода, зашумели камыши, и вылез зелёный водяной на берег песчаный. Хвать Ивашку за воротник — и топить! Заголосил Ивашка, завопил, что есть мочи. Услыхал кузнец, прибежал, отбил сына у водяного. С тех пор Ивашка стал слушать, что отец говорит.

Русалкин день

В одну из тёмных ночей, когда над деревней луна стояла, пошёл Андрей — местный писарь — по воду и пропал. Никто не видел его, и никто не знал, что с ним случилось.

Пошла Матрёна, дочь Андреева, в полдень на пруд искупаться — и тоже исчезла.

Собрался народ решать, что делать. И тут увидели кузнеца Макара хмурого. Тот сидел и глядел на чашку с водой, как заворожённый. Вдруг выглянуло оттуда лицо девичье и говорит: «Андрей водяному худо сделал, он дочь его выкрал. Вот водяной теперь и мстит роду его, пока дочку не воротит».

Было решено: кузнец пойдёт на пруд и одолеет водяного.

Кузнец пошёл на пруд в полдень и думает: «Кто-то крадётся сзади!» — обернулся и крест показал. Русалка оказалась! Она отпрыгнула — и в воду канула. И тут водяной вылез и потребовал дочку свою вернуть в обмен на Андрея и Матрёну. Кузнец Макар пошёл в деревню и приволок к водяному дочку его бледную. Водяной улыбнулся и унырнул с дочкой. Обманул, супостат проклятый!

Кузнец рассердился и пошёл в лес, чтобы горе вывести. Схватило его что-то за руку и спросило: «Чего пригорюнился?»

Кузнец обернулся и увидел лешего. Выложил он ему всё как есть. И собрал тогда леший живность лесную. Болотные коряги оживил. Пошли они на пруд, а коряги-то в пруду не тонут! Нырнул тогда Скряга Болотный и выудил водяного.

А леший поднял водяного над прудом и держал так, пока не выменял на него у русалок Андрея с Матрёной.

Только водяной в наказание лишил Андрея дара речи. А у Матрёны, если в воду войдёт, ноги в хвост обращаются и забывает она о жизни земной, пока её из воды не выудят.

Кузнец награду получил, а эту историю сынку своему рассказал (тому самому Ивашке, что отца не слушал).

С тех пор русалки из деревни исчезли.

Юля Макаренко 8 класс

Красноярский литературный лицей

Так сказал Денис

(из черновиков мобильного телефона)

...шум автобусного мотора заглушает музыку в наушниках, которые и так работают на полной громкости... Сонная кондукторша уже пятый раз спрашивает у меня, платила ли я за проезд. Платила!

Еду, кстати, от подруги — ночевала у неё. Хотела вместе с ней пойти в школу, да только передумала, и вот теперь еду домой.

...смотрю в окно... Что-то заставляет меня улыбнуться. Я вспоминаю слова Дениса: «Улыбка — это твой фонарик. Чем чаще ты его включаешь, тем больше света в твоей жизни, потому что другие люди, глядя на твой фонарик, включают свои. Улыбка — это пропуск к решению любых проблем...». Сразу, как вспомнила Дениса, моё

настроение поднялось выше нуля! Я вспомнила, как на молодёжном курсе изображала его: садилась в «полулotos», щёлкала пальцами и громко с улыбкой произносила: «Настоящий момент! Настоящий момент! Вот он! 100 процентов! 100 процентов!».

А помню, как я заревела, стоя на лавочке, когда меня заставляли прямо с неё упасть спиной на руки другим девчонкам и мальчишкам. Было страшно...

...как-то встретила с Денисом на улице, призналась ему, что мне не нравится этот серый мир, на что он возразил: «Серый?! Оглянись по сторонам! Покажи хоть одно серое пятно! Если ты считаешь, что жизнь какого-нибудь человека скучная, серая и ужасная — добавь красок! Каждый человек проживает интересную и неповторимую жизнь. А теперь посмотри на себя и на мир, сравните друг друга! Это твой мир, ты считаешь его серым? Сама ты серая! Шапка, куртка, джинсы — всё серое! Каждый видит этот мир таким, каким он видит себя. Купи себе красный шарфик и ярко-зелёные перчатки и сразу начнёшь замечать, что у каждого есть свой цвет...».

...ещё одна мысль Дениса (очень умная): «Человек подобен кофейному автомату. Подошёл к нему, ткнул на нужные кнопки (температура, сахар, количество и т. п.) — и вот тебе горячий кофе... например, капучино. Так же и человек, нажал на одну кнопку — получил гнев; нажал на другую — и вот тебе симпатия! Конечно, кнопки, вызывающие гнев нажимаются легче, чем другие, поэтому чаще используются. Естественно, от такой глубокой мысли мы все загрузились — не сразу поняли, к чему он клонит...

«Так будьте же кнопконенажимаемыми! — после долгой паузы воскликнул Денис. — На вас орут, вас посылают очень далеко, в общем, пытаются вызвать ответную реакцию, чтобы продолжить конфликт. Поймите, такие слова говорятся каждый день уйме людей. Ну, посылают вас в баню, и что? Вы же всё равно туда не пойдёте? Так зачем на них обижаться? Реагировать на кнопку?»

...ну вот! Проехала свою остановку! Зато прогуляюсь немного. Хорошо, что ещё темно на улице. Не люблю гулять зимой, когда светло... Мне нравится ночной город, когда стоишь на балконе и смотришь на завораживающие огни...

Но сейчас утро. Магазины закрыты, но витрины ещё светятся. Мало-помалу на улицах появляется всё больше народу — спешат на работу...

Алексей Дорохин 6 класс

Красноярская гимназия №10

Рассказ, который нельзя читать никому

Знаете, этот рассказ нельзя читать никому! Спросите, почему? Ну, это же просто, как «радиус равен диаметру умножить на два»! Ой, теперь этот рассказ ни в коем случае нельзя читать нашей учительнице по математике. Ладно, на чём мы остановились? Да, этот рассказ читать никому нельзя,

ну, это так же просто, как то, что слово «шоколад» — не глагол, а причастие! Ой... Да и учительнице по русскому читать это тоже нельзя...

Едем дальше. Это так же верно, как и то, что если мальчик над девочкой издевается, то он её любит. Ой... Теперь и мальчикам это читать нельзя... Ладно. Ну, это так же понятно, как и то, что у половины девочек до 14 лет под килограммом грунтовок скрывается прыщавое личико. Ой-ой! Что я наделал... Ну, вы поняли, да? И девочкам читать этот рассказ нельзя.

Это так же верно, как то, что когда наша подлодка потонула, русские не приняли помощь от американцев из-за того, что на лодке были секретные ракеты, а иностранцам это знать ни в коем случае нельзя... Ой, я сейчас пойду, проверю, не стоит ли за дверью иностранный шпион, а потом буду писать дальше...

Так, продолжим. Ну, это так же просто, как и то, что в игре World of Warcraft ужасная графика, да и вообще эта игра полное... Да-а-а, теперь этот рассказ нельзя читать практически никому... до 14-ти и кое-кому постарше...

Ну, в общем, смысл этого рассказа вы поняли, хотя я сам толком ничего не понял, но читать этот рассказ нельзя никому. Стопудово. И это так же ясно, как...

Евгений Бирик 5 класс

Ермаковский литературный лицей

Время

Любой предмет существует во времени. Неодушевлённые предметы становятся ветхими и разрушаются. Одушевлённые — стареют и умирают. Каждый человек должен успеть в жизни много узнать, передать свои знания другим и сделать много полезного. Без дела шататься по улицам, смотреть пустые передачи по телевизору — значит напрасно терять время.

Кристина Мещанова 5 класс

Ермаковский литературный лицей

О мифах

Есть такое поверье: если встретишь женщину с полными вёдрами — жди удачи, а если с пустыми — всё будет не так хорошо, как хотелось бы. Вроде бы, ну, встретил — не встретил, с полными или пустыми... какая разница?! Ну... есть какой-то миф... А вот и нет! Я один раз встретила женщину с полными вёдрами — и всё было хорошо! А в следующий раз перешла мне дорогу та же женщина, но с пустыми вёдрами: я с подружкой — не из-за чего — поссорилась, и в школе всё было плохо, да ещё и колесо на велосипеде спустило! Вот так! Два ведра — пустое и полное. Разница — огромная!

Павел Сорокин 8 класс

Ермаковский литературный лицей

Какой подарок я хотел бы получить?

Раньше, когда я был помладше, я мечтал о компьютере и телефоне. Теперь это всё у меня есть. Сейчас я мечтаю о лыжах. Я люблю ходить на

лыжах, люблю бывать на свежем воздухе. Лыжня у нас в деревне проходит по лесу, и поэтому, когда едешь на лыжах, очень интересно рассматривать следы зверей и птиц. Мне нравится заряд энергии, который я получаю, катаясь на лыжах в лесу. А совсем недавно я прокатился с большой горы. Настолько мне это понравилось, настолько захватывает дух, что мне захотелось ещё прокатиться и на горных лыжах. Хотя... такие лыжи сейчас — не дешёвое удовольствие, я всё-таки надеюсь их получить.

Сергей Югов 5 класс

Ермаковский литературный лицей

Как теряют время

Каждый из нас читал басню «Стрекоза и муравей». Я считаю, что стрекоза теряет время понапрасну. Она не задумывалась, что когда-нибудь праздник закончится, что в жизни могут возникнуть проблемы, и их нелегко будет решить. Чтобы нам не оказаться в такой же ситуации, надо уже сейчас смотреть в далёкое будущее. Надо распределять время так, чтобы его хватило не только на праздники. Сейчас в школе так много интересного! А время летит так быстро, что хочется как можно больше узнать, научиться чему-нибудь полезному. Всем хочу посоветовать: «Ходите, занимайтесь, не теряйте времени зря!».

Артём Трофимов 5 класс

Красноярский литературный лицей

Таинственное зеркало

В одной мастерской сделали зеркало. Оно было ещё совсем молодое и толком не видело мира.

И вот его купил один мужчина (он очень любил свою внешность). Однажды он очень долго смотрел в зеркало — любовался собой. Проходит час, а он всё смотрится, смотрится, смотрится... И вдруг его отражение подняло руку и поманило: иди, мол, ко мне! Мужчина испугался, но отражение настаивало. Мужчина набрался смелости и... шагнул в неизвестность.

Вначале он ничего не понял: в Зазеркалье были деревья, но они не росли в земле, а летали в воздухе; там были солнечные блики, но самого солнца не было. В общем, там было всё, но чего-то не хватало. А ещё там жили люди. Наш мужчина спросил у одного господина:

— Что здесь происходит?

— В мире Зазеркалье есть только то, что видело зеркало в своей жизни, — ответил господин. — Например, зеркало видело деревья, но не видело земли; зеркало видело солнечные блики, но самого солнца не видело.

— А как выйти из этого мира? — спросил мужчина.

— Для этого нужен ключ, который отпирает Зазеркалье. Но, увы, его нет в природе.

А тем временем в квартире, где жил бесследно исчезнувший мужчина, поселился художник. И вот однажды он нарисовал ключ и решил посмотреть, как выглядит его отражение. Он подошёл к зеркалу, ключ в нём отразился — и появился в Зазеркалье!

Мужчина взял этот ключ и отпер им Зазеркалье. И все его жители освободились.

Витя Орлов 5 класс

Красноярский литературный лицей

Влюблённый портфель

У одного мальчика был странный портфель. Он был красного цвета, и у него была эмблема «adidas». Он очень много ел, но не супы и картошку, а ел он учебники и тетрадки. А когда их пытались достать, он не хотел отдавать свои сокровища, он ломался, упирался и не отдавал учебники. Но мальчик был сильнее и всё-таки их доставал.

Мальчика звали Федя, он каждый раз брал с собой портфель в школу. Но портфелю это не нравилось, потому что в школе его пинали, им дрались, на нём катались с горки. Поэтому по дороге в школу он тихонько рычал: «Р-р-р!»

А когда звенел звонок, у портфеля начинала болеть голова, и он пыхтел: «Пых-пых-пых!»

И только одно его радовало в школе: ему очень нравилась сумка розового цвета! Она была очень красивой, с большими блестящими глазами-застёжками и прозрачными карманами...

Федя приходил домой, бросал портфель, учил уроки и ложился спать.

А портфель думал о том, как ему понравиться розовой сумке...

Александра

Корабельникова 10 класс

Красноярск

Он всё время боялся всё терять

Даже старые носки

Поэтому ему приходилось засовывать их под подушку

И друзей если бы он мог засунул бы туда же

Когда его спрашивали про большую мечту

Он отвечал: подушка

После такого все думали что он чудак

И быстро отходили от него

Так он ещё что то терял

Ещё он боялся что его ярко-зелёная майка

Потеряет цвет

Поэтому взял и засунул все майки, фиолетовый шарф

Трусы с утятами и клетчатую кепку в стиральную машинку

С пледом красного цвета

Через два часа всё стало одного оттенка

Зато цвет не потерялся отдельно от человека

А сам человек потерял цвет

А это очень важно

Чтобы мы были уверены что сами потеряли а не нам

Однажды этот чудила был в гостях и там встретил девушку

В общем непонятно как но они понравились друг другу

Потому ему пришлось в целях безопасности Засунуть голову под единственную подушку Которую там нашёл

И вдруг он понял что не один там.

~

— привет.

звоню, чтобы рассказать тебе про рыбу. мою рыбу. она плавает в воде. в океане. глубоко. там есть много других рыб. они не такие, разные, в косяках.

думают, что разные.

моя рыба она добрая, она хищная рыба. никогда не ест других рыб, пока они не попросят.

когда рыбам становится плохо, когда их кидают другие рыбы. они приплывают к моей рыбе и просят на колених, чтобы она их съела. моя рыба она добрая — ест. так и живёт.

ест грустных рыб. дышит кислородом.

рыбы могут дышать только пузырьками, ловят их губами. разноцветные пузырьки с разным кислородом.

думают, что разным.

а моя рыба она добрая, она хищная рыба. поднимается наверх, чтобы подышать. не ест беззащитные пузырьки, которые разные.

которые думают, что разные.

она одна такая. моя рыба.

поднимается раз. дышит. и увидела моя рыба корабль. корабль один. деревянный. сделанный из дерева.

и моя рыба понимает.

она плывёт за ним. дыша по-человечески сверху. и плывёт.

а тысячи косяков разных рыб за ней. им грустно. им хочется, чтобы их съели.

она ест, моя добрая рыба. так и живёт. плывёт за кораблём. ест воздух. дышит грустными рыбами.

и понимает, моя рыба.

а усатый дядя на корабле. он ловит разных рыб. которые думают, что они разные. он тоже. он Специальный Усатый Дядя. рыбак. думает, что разный. не такой, как остальные миллионы рыбаков. которые ловят разных рыб.

кормит семью. растут его усы. а он кормит. что ему ещё остаётся.

ведь он не такой.

а моя рыба она добрая. она понимает. ест грустных. дышит сверху.

плывёт за кораблём. усатым дядей. приплыла. корабль не видит. видит тысячи рыб. на берегу. распластанные рыбы. тысячи разных.

и рыба понимает.

и её жарят.

вот что я хотела тебе рассказать. но я ещё много всего могу. обо всём на свете.

— я бы ещё послушал, но мне надо по делам. пока. до связи.

Елизавета Космидис 8 класс
Красноярский литературный лицей

Благонравие и злонравие в комедии Фонвизина «Недоросль»

Благонравие и Злонравие (я не случайно написала эти слова с заглавной буквы) — понятия, которые выступают в комедии Фонвизина, как постоянные «герои» разговоров между «положительными» персонажами. Да и сами персонажи (в том числе и «отрицательные») являются как бы живыми воплощениями этих нравственных понятий. На протяжении всей комедии между ними идёт борьба. Стародум, Правдин, Милон, Софья — эталоны Благонравия. Каждый из них добр и честен, думает в первую очередь не о себе, а о своих обязанностях по отношению к другим.

Злонравие представляют госпожа Простакова, её сын Митрофанушка и Скотинин. Мне, со стороны читателя, было интереснее наблюдать именно за ними. Одна госпожа Простакова настолько колоритна, что к её выходкам не успеваешь привыкнуть, они удивляют, возмущают, смешат до самой последней сцены.

Я была поражена, в какой степени выражено злонравие в семьях Простаковых и Скотининых. Стоит только посмотреть, как складываются отношения в этих семьях. Здесь никто не знает, что такое уважение. Может показаться, что Простаков с уважением относится к своей жене, но на деле он её всего лишь боится.

То же самое можно сказать и о «скотининской» любви. Простакова любит сына неразумной, животной любовью; и всё, что она делает под влиянием своих материнских чувств, Митрофанушке только во вред. Простакова и Скотинин никогда не заглядывали дальше своих эгоистических, таких же — диких, животных, сиюминутных интересов, поэтому и в других не предполагают ни собственной воли, ни достоинства, ни какой-то отдельной от их желаний, самостоятельной жизни. Поэтому, я думаю, Митрофанушка — жертва такого отношения не меньше, чем Софья или любой крепостной в поместье Простаковых. Скотинин и Митрофанушка буквально дерутся из-за Софьи, но ни тот, ни другой ни на секунду не задумываются о том, что чувствует и чего хочет она. Для них, как и для госпожи Простаковой, Софья — всего лишь вещь, десять тысяч рублей да деревенька со свинками. Такова цена «скотининской» любви.

И вообще, абсолютно всё, что касается отношений и чувств, связанных со Скотиниными, кажется нам ужасным, а порою даже чудовищным!

Благонравные герои в «Недоросле» — полная противоположность этому «нравственному полюсу». Они отличаются от Простаковых-Скотининых характерами, отношениями и, в первую очередь, ценностями. Между ними неизбежен конфликт. Мы прекрасно понимаем, что Софья — с её твёрдым характером и несгибаемой волей — ни за что не смиритсЯ с участью домашней

рабыни Скотинина или Простаковой. Внезапно явившийся Стародум волшебным образом спасает её от трагического конца, неизбежного по логике этого конфликта. А Милон, столь же неожиданно оказавшийся поблизости, выступает в качестве награды за благонравие и терпение. Всё это — фантастические, вряд ли возможные в реальной жизни счастливые случайности. Но если бы не они, гибель Софьи была бы неизбежна. В этой комедии сплошь и рядом просвечивает трагедия; и смех, которым драматург одаривает читателя, — это смех сквозь слёзы.

Но комедия есть комедия! Поэтому добро, конечно же, побеждает. Благонравные герои торжествуют, а Злонравие наказано по заслугам.

Лично мне эта комедия понравилась. Я получила удовольствие, смеясь над госпожой Простаковой и Скотининым. Иногда, когда я читала монологи Стародума или Правдина, мне приходилось задумываться. Прошли столетия, кажется, мир стал совершенно другим, но не встречаем ли мы и сегодня — на каждом шагу! — Скотининых и Простаковых и вечных недорослей Митрофанушек? Значит, комедия Фонвизина и в наши дни «работает» для улучшения нравов и пробуждения «добрых чувств».

Александр Гайдученя 8 класс

Красноярский литературный лицей

О, гетман Мазепа!

Сочинение по поэме А. С. Пушкина «Полтава»

Можно ли назвать Мазепу героем-любовником? Несомненно, Мазепа был ещё тот распутник. И в молодости, и в старости за ним роём вились прекрасные девы, которые иногда даже не подозревали, во что решились ввязаться и какой будет плата за любовь и ласки страшного сатира. Но в любой бочке мёда найдётся ложка дёгтя, а Мазепа распробовал на вкус чёрную массу ещё в раскалённом виде, когда о его похождениях узнал богатый барин, с женой которого Мазепа согрешил. Хотя и тут-то была лишь мимолётная страсть, однако наказание оказалось вовсе не мимолётным, но жестоким и действенным. Как долго после скачки нагишом на лошади через острые, как иглы, колючки кустов Мазепа не мог оправиться!

О, гетман Мазепа!
 Куда ты глядел?
 Твой взгляд мимолётный
 Рубашку смиренья готовил тебе...
 Мазепа, твой взгляд — это яд.
 Мазепа не слышит.
 Мазепа в страстях!

Мазепа никогда не любил по-настоящему. У него было всего три страсти, двигавшие им, как марионеткой: женщины, власть и слава. Остальное не имело значения. Герой-любовник? Несомненно, он был им и всегда останется. Стихотворцем, любовником и тираном.

...В чём причина безумия Марии? Она сошла с ума из-за любви, страстной и чувственной любви

к старому гетману, который разочаровал её и сокрушил её нежное хрупкое сердце. Он подарил ей минуты, часы и даже дни счастья. Но в нашем мире существуют три вида расплаты: деньги, «бартер» и кровь. Чем заплатить страшнее? Именно так и заплатила Мария. Только заплатила она не своей кровью, а кровью отца и его друга. Это и наложило неизгладимую печать на сердце молодой женщины.

Что же так нравилось Марии в старике? Невежливо, но его... духовность. Его умение слагать стихи и песни. И однажды она потеряется между реальностью и беспамятством, сойдёт с ума. И только тут старый гетман поймёт, что натворил. Но будет поздно! Мария — лишь игрушка, доставшаяся избалованному ребёнку. Она не виновата, что любит. Но всё происходит так, как только и могло произойти. Даже игрушки когда-нибудь ломаются.

Ася Пузанова 5 класс

Красноярский литературный лицей

Куриные сны

В одной деревне живут странные курицы. С виду самые обычные: ходят, кудахчут, ищут что-то в земле... Да вот только не раз замечали ночью шорох в курятнике. Выйдут посмотреть — а оттуда птица белоснежная вылетает: не гусь, не лебедь, не голубь... Ночью в той деревне темно, а птица эта будто светится. Смотрят люди: куриц меньше стало. А птицы те уже на небе звёзды клюют, да от луны кусочки отщипывают. Наберут звёзд да луны (но только в меру!) и летят к людям — сны им творить да навевать. Каждая звёздочка — сон. Кто добрые дела делал, о других думал и не гордился собой — тому птицы самые лучшие сны навевают, самые яркие звёздочки под подушку кладут. А кто зло вершил, о других не думал, да ещё и собой гордился — тому уж что потусклее останется... А утром курицы опять в курятнике кудахчут, ищут что-то в земле...

Маша Вербицкая, 5 класс

Красноярский литературный лицей

Госпожа Клубничка

Однажды папа привёз мне и маме огромную корзину клубники. Я принялась мыть клубнику, пока мама готовила ужин. Все клубнички были очень маленькие! Но вдруг мне попала очень большая клубника, и я решила с ней поговорить. Мне казалось, что у неё было красненькое платье в чёрную крапинку. И зелёная шляпка из листиков. «Добрый день, Госпожа Клубничка! У вас очень красивое платье и шляпка!» — сказала я. А Госпожа Клубничка улыбнулась во весь красный рот. Я продолжила: «Как там у вас под землёй, Госпожа Клубничка? Много ли женихов достойных? А вы, наверное, очень знатная дама! Ведь не все могут выйти в свет из-под земли! А вы попали в свет, выступили перед людьми, работающими в огороде и в саду. Вот и побывали вы, Госпожа Клубничка, в двух мирах: под землёй и на земле! А сейчас вы побываете в третьем мире. Я вас съем!... Ам!» — «Буррр!»

Настя Буланова 4 класс
Красноярский литературный лицей

Звёздный человечек

Жил-был милый человечек,
Очень звёздный человечек,
Как созвездие на небе,
Он светился по ночам.
Жил он в маленьком домишке,
Очень маленьком домишке.
Этот маленький домишка
Сам светился по ночам.

И ходил он на работу,
Очень звёздную работу,
Он актёром там работал
На созвездии своём.
И однажды как-то летом
Полетел он на планету,
На далёкую планету
Под названием Земля.

У него был звёздный пёсик
(Он светился по ночам)
Он указывал дорогу
Всем кометам... И ворчал
На космических пиратов —
И за пятки их хватал!
У него есть пять медалей:
«За космическую храбрость»,
«За весёлую улыбку» —
В общем, всех не перечесть!

До свидания, друзья!
Человечку в путь пора!
Очень звёздный человечек
Вам привет передаёт!
Милый звёздный человечек
Отправляется в полёт!

Юля Жилкина 8 класс
Ермаковский литературный лицей



Снег таять начинает
И с крыш бежит ручьём.
Весна ведь наступает:
Сосульки здесь летают —
И вкусные причём!

Михаил Волков 5 класс
Ермаковский литературный лицей



Ручьи текут
По весенним тропам.
Хотят войти в русло.



Засветились светлячки,
Словно фонари,
Около дома.

Любовь Смолькина 7 класс
Ермаковский литературный лицей

Элегия

Смотрю на морщинистое
лицо своей бабушки
И сразу вижу всю её жизнь...
Голод. Холод. Нищету и скитания.
Вижу, как война
Убивает людей,
Не щадя никого.
Но все пытаются выжить.
Сквозь слёзы.
И у тебя — получается,
Если этого очень хочешь.
Война *прошла*.
И возвращается радость,
Но вслед одной войне — другая.
Снова — голод, холод,
Нищета и скитания.
Вот — и жизнь *прошла*
У всех наших бабушек.

Зинаида Кудрявцева 8 класс
Ермаковский литературный лицей

Колыбельная

Желаю самых сладких снов,
Но будь к любому сну готов!
А вдруг тебе приснится... мышшь?!!
Да это шутка! Спи, малыш...

Артур Косенко 7 класс
Ермаковский литературный лицей



Осенью, когда деревья теряют листья,
они как бы играют прощальный бал и
наряжаются в свои самые лучшие платья,
чтобы показаться миру в последний раз
в году во всей красе. Когда я прохожу
мимо своей любимой яблони весной или
осенью, то обязательно обращаю на неё
внимание: в каком платье она расцветает,
а в каком — прощается на лесном балу.



Однажды маленький мостик над речкой
Стал для меня преодолением страха.
Мне было шесть лет, я умел плавать,
Но не умел нырять под воду.
И вот летом я пошёл купаться,
Зашёл на мостик, чтобы спуститься на воду,
И вдруг невзначай поскользнулся —
и упал в реку...

С этого момента я понял,
Что страх всегда преодолевается,
Когда смотришь ему в глаза...
И без этого мостика я не смог бы
Заглянуть в глаза своему страху.

В номере

Рукописи принимаются по адресу:
66 00 28, Красноярск, %11 937,
редакция журнала «День и Ночь».
Желателен диск с набором,
фотография, краткие
биографические сведения.
e-mail: din_krsk@mail.ru

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Ответственность за
достоверность фактов несут авторы
материалов. Мнения авторов могут
не совпадать с мнением редакции.
При перепечатке материалов
ссылка на журнал «День и Ночь»
обязательна.

Для приобретения номера
и размещения рекламы
социальной направленности
обращайтесь в отдел маркетинга
и распространения журнала
«День и Ночь»: т. 8 906 916 56 55
e-mail: kras_spr@mail.ru

Интернет-версия журнала
www.krasdin.ru поддерживается
ООО «КИТ»

ООО «Редакция литературного
журнала «День и Ночь».

ИНН
246 304 27 49
Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале
«Банка Москвы»
в г. Красноярске.
БИК
040 407 967
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75^а,
офис «ДиН»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Сдано в набор: 14.03.2009
Подписано к печати: 14.04.2009
Объём: 26.46
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинала
в типографии ООО ИПЧ «КАСС»

Адрес: 66 00 48, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 65, стр. 23

ДиН память

- 2 **Торжество духовной трезвости**
Николай Гоголь
- 10 **Семь кругов блужданий**
Ольга Карлова
- 16 **Верю, что силы найдутся**
В. П. Астафьев на страницах «ДиН»
- 17 **О войне и мире**
Виктор Астафьев
- 26 **Говоришь, и тебя не перебивают**
Евгений Колобов
- 30 **Совершенно народный человек**
- 31 **И меня не отпускает война**
Розмари Титце
- 33 **Умели! Да ещё как!**
Виктор Астафьев
- 36 **Виктор Петрович,
он же Сергей Митрофанович**
Владимир Зубков
- 40 **В преддверии высокой
и чистой жизни**
Виктор Астафьев
- 43 **Радость встреч**
Сергей Шумский
- 91 **Родине. Осень. 1939 г.**
Ольга Берггольц
- 124 **На дне моей жизни**
Александр Твардовский
- 134 **Из неопубликованного**
Роман Солнцев
- 49 **Номинанты фонда Астафьева**

ДиН традиция

- 77 **Крик лебедя**
Владимир Леонович
- 81 **А видений чураться не надо**
Александр Медведев
- 84 **Как в первый день**
Анна Верина
- 85 **Из разных тетрадей**
Олег Хомяков
- 86 **Подорожник**
Александр Кердан
- 87 **И замолкают вдруг колокола**
Иван Денисенко
- 90 **Заплакать и запеть**
Юрий Марков
- 92 **Полыни горше**
Галина Тертова
- 106 **Это было в прошлом веке**
Виктор Машнин
- 112 **Эти глаза напротив**
Тамара Гончарова
- 125 **Смерть Джа-ламы**
Елена Крюкова

ДиН диалог

- 280 **Динамика поколений**
Пётр Ореховский, Евгений Попов

Солнцевский круг

- 170 **Настоятель
литературного храма**
Лев Роднов
- 174 **Долг памяти**
- 176 **Веруем в своё призванье**
Николай Беляев
- 179 **Из глаз—в глаза**
Эдуард Русаков
- 181 **Держусь**
Михаил Стрельцов
- 183 **Я стану дождём**
Гамлет Аругтюнян
- 186 **Слышу голос на том берегу**
Сергей Мамзин
- 188 **Солнце нЛО**
Айдар Хусаинов
- 192 **Перед охотой**
Михаил Тарковский
- 195 **Лестница в небо**
Лана Райберг
- 243 **Путепроводный свет**
Владимир Любичский
- 245 **На уровне любви**
Николай Ерёмин
- 247 **Обретая родные черты**
Нина Ягодинцева

ДиН прогноз

- 249 **Снова в СССР**
Иван Зорин
- 254 **Я—зерно**
Арина Романова
- 256 **На солнечной
странице букваря**
Айрат Бик-Булатов
- 259 **Краеугольный выбор**
Антон Прозоров
- 261 **Стынувшее дерево
у бедного окна**
Елена Оболишхта
- 263 **Ре минор**
Владимир Беляев
- 266 **Carpe diem**
Рахман Кусимов
- 269 **Snuff**
Алексей Сомов

ДиН публицистика

- 271 **Прецедент**
Евгений Беркович

ДиН дети

- 298 **Синяя тетрадь**